







АЛЕКСАНДР

ГАЛИЧ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ

РЕПЕТИЦИЯ

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1991

ББК 84 Р7  
Г 15

Составитель  
А. Н. Шаталов

Вступительная статья  
*А. М. Зверева*

*Художник*  
ИРИНА САЛЬНИКОВА

47020 10201—463  
Г ————— КБ—17—31—90  
083(02)—91

ISBN 5—265—02163—X

© Издательство  
«Советский писатель», 1991  
© А. Архангельская (Галич), 1991

### «...ЭТО ВРЕМЯ В НАС ВВИНЧЕНО ШТОПОРОМ»

О Галиче невозможно писать с чувством непричастности. Пока невозможно. Когда-нибудь наверняка появятся монографии, в которых будет сказано все нужное о его творческом пути, темах, мотивах, поэтике, образности. Но эти книги создадут люди другого поколения. А для нашего, для тех, кто был современниками Галича — не важно, старшими или младшими, — он никогда не станет просто литературным явлением в ряду остальных, более или менее с ним сопоставимых. Его песни, его личность, его драма — все это накрепко вплетено в нашу судьбу.

Поэтому мне очень трудно добиться, чтобы получилась статья о Галиче, а не объяснение в любви к нему. Я никогда не видел его на сцене, а кто видел? Легальных концертов ведь практически и не бывало, за исключением того знаменитого, в новосибирском Академгородке, когда он спел «Памяти Пастернака» и двухтысячный зал поднялся в молчании — отдавая дань любви Борису Леонидовичу, отдавая должное мужеству Галича, открыто сказавшему то, что говорить категорически запрещалось. Было это в марте 1968 года. Галич знал, что сжигает за собой корабль.

Пел он часто и помногу — на квартирах у друзей, у знакомых и полужнакомых, не смущаясь тем, что почти без сомнения среди слушателей попадались и такие, кто докладывал о его репертуаре куда следует. Несколько раз и меня звали на эти импровизационные его выступления; не могу себе простить, что из-за какой-то застенчивости, а может, из страха, что ему не понравится присутствие неизвестных лиц, я отказывался. Так или иначе, Галич как актер — и, говорят, замечательный — остался для меня тайной. Но не Галич-певец.

Певца Галича я услышал на последнем курсе университета, стало быть, осенью 1962 года, когда взлет его только начинался. В факультетской курилке кто-то, перебирая слова и от хохота захлебываясь нехитрой мелодией, исполнял балладу о милиционерше, сделавшейся шахиней Эл. Потаповой после того, как закончил с папой ее неожиданно-негаданно свалившийся царственный супруг. Это была «Леночка», первая песня Галича, уже облетевшая весь Союз. Галич? Для нас тогда это имя было совершенно новым. Оно не связывалось со стоявшим в афише популярной комедии «Вас вызывает Таймыр» и значившимся в титрах еще более популярного фильма «Верные друзья».

В ту осень занималась его слава. Все это и сейчас видится так ясно, словно было вчера: битком набитая комната в коммуналке, сваленные на шкафу куртки и шапки, пепельницы, переполненные окурками, тяжеленная, как кованный сундук, «Яуза» с бобинами величиной в суповую тарелку — и просевший от курения, то ироничный, то гневный голос, что-то ерническое, трагическое, высокое, насмешливое, горькое, что-то неслыханное по дерзости, непримиримости и прямоте:

Вот как просто попасть в богачи,  
Вот как просто попасть в первачи,  
Вот как просто попасть в палачи:  
Промолчи, промолчи, промолчи!

Этой песней — «Старательский вальсок», — пригвоздившей молчальников, которые вышли в начальники, Галич открыл свою книгу «Поколение обреченных». Книга вышла в эмиграции. Нечего было и думать напечатать ее на родине, хотя бы в самом урезанном виде.

Мне рассказывали, что «Старательский вальсок» прокрутили на заседании секретариата, исключавшего Галича из Союза писателей. Как вещественное доказательство его неблагонадежности.

Благонадежными считались в ту пору одни лизоблюды и эти — правда, уже с определенной натяжкой — молчавшие.

\* \* \*

Отродясь не имел он ничего общего со старателями, твердо знающими, что молчание — золото, и овладевшими искусством молчать «не против, конечно, а за!». Но к крикунам, к начальникам тоже смолоду не принадлежал. Как всем в его поколении обреченных, Галичу была оставлена одна возможность — существовать

незаметно. «Молчи, скрывайся и тай...» Не умевшие этого либо сгинули в ГУЛАГе, либо — хуже — непоправимо запятнали себя.

Судьба уберегла Галича и от того, и от другого. Он жил, «не изведав бесчестья чинов и милость сановных наград». Впрочем, говоря о тех, кто не бряцал «ни гневом, ни порицаньем», он подразумевает и себя. Подобно большинству, он просто жил, запретив себе желанную свободу быть самим собой.

Как он потом будет себя казнить за эти годы, проведенные «в сонности», за «непротивление совести — удобнейшее из чудачеств»! По самым разным поводам возникает в его песнях эта тема. И «мы», наиболее частая форма его повествования, безусловно, включает в себя авторское «я».

А случается, и прямо от первого лица сказано им о том же самом — о том, до чего противно оглядываться на прожитое, до чего тягостна память давних лет. Особенно настойчиво звучит этот мотив в песнях, которые Галич писал накануне своей вынужденной эмиграции. Например, в «Черновике эпитафии»:

Дуралеи спешат смеяться,  
Чистоплюи воротят морду...  
Как легко мне было сломаться,  
И сорваться, и спиться к черту!

Или в «Опыте ностальгии», где ни малейшей умиленности не вызывают даже образы детства:

Я не вспомню, клянусь, я и первые годы  
не вспомню,

Севастопольский берег,  
Почти небывалая быль.  
И таинственный спуск в Херсонесскую  
каменоломню.

И на детской матроске —  
Эллады певучая пыль.  
Я не вспомню, клянусь!

Вспоминается совсем другое: усмешка «на гадком чиновном лице», и собственные неуклюжие старания к чиновным понятиям приладиться, и «жалкая ярость в конце». Галич беспощаден к эпохе, но и к себе тоже. Хотя казнить все-таки надлежало бы в первую очередь время, заставившее выучиться науке компромиссов.

Мне нет необходимости подробно излагать биографию Александра Аркадьевича. Он сделал это сам в «Генеральной репе-



тиции», своей исповеди, написанной еще в России. «Я ни о чем не жалею,— сказано там.— Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро!»

Прибавить к этому нечего: Галич был не из тех, кто легко кается (ни к чему себя этим не обязывая) или, наоборот, самодовольно любит себя каждым своим поступком, не ведая сомнений. Самого себя он неизменно воспринимал в потоке своего времени, разделяющим все его горести, и все иллюзии, и всю наивность, за которую приходилось дорого платить. Искус гордыни, побуждающий вознестись на котурны, сурово бичуя современников за их малодушие и близорукую веру в «благие намерения», был органически ему чужд. Этим многое объясняется в его искусстве. И в судьбе.

Я люблю вас — глаза ваши, губы и волосы,  
Вас, усталых, что стали до времени старыми,  
Вас, убогих, которых газетные полосы  
Что ни день, то бесстыдными славят фанфарами.  
И пускай это время в нас ввинчено штопором,  
Пусть мы сами почти до предела заверчены,  
Но оставьте, пожалуйста, бдительность — «операм»!  
Я люблю вас, люди  
Будьте доверчивы!

«Вас» — касается очень многих: отнести к себе это признание вправе не только генеральская дочь, вспоминающая в Караганде расстрелянных родителей и «камень с Медным всадником», но и Егор Петрович Мальцев, и ставший бессмертным Клим Петрович Коломийцев. Мертвые, лежащие где-то на солдатском кладбище под Нарвой, но и везучая Леночка тоже. Уезжающие «от анкет и ночных тревог». Спивающийся старый лагерник, который и на свободе завидует облакам, вольным без амнистии.

Не нравилось ему многое и многие, и все-таки почти для всех он старался найти что-то смягчающее, извинительное. Ну разве что за вычетом вчерашних вертухаев да задубелых сталинистов. Да еще тех, ржущих над анекдотом, когда распинают гения, или кушающих шашлык за семью запорами под охраной топтунов.

Таков Галич.

Доверчивость не покинула его, сколько бы ни пришлось повстречать в жизни тех, кто, вроде стариков и старух из санатория Облсовпрофа, распускал о нем обличительные слухи. Сколько

бы ни напарывался он на свидетельства низости, шкурной психологии, глубоко въевшегося страха, который склонял к предательству.

И если бы не эта доверчивость, совсем другими были бы его песни. Они лишились бы самого главного — доброты и понимания, пробивающихся через весь их сарказм, через весь необходимый скепсис.

А время — оно в Галича действительно «ввинчено штопором», оттого и напоминает о себе буквально каждой его строкой. Созданное им — памятник времени: послесталинскому, с недолгой, чтобы не сказать миражной, оттепелью, с новыми заморозками, с удупшливостью и мертвой зыбью наших семидесятых. По-своему этот памятник уникален.

\* \* \*

Теперь, когда Галич стал признанным классиком авторской песни, почти не вспоминают ни его пьесы, ни фильмы. Если же вспоминают, то единственно вот для чего: был благоденствующий автор-комедиограф, которого допускали на престижные академические сцены, писал вполне профессионально, даже очень неплохие водевили и сценарии, ничего одиозного не сочинил, оставался равен своему дарованию, пусть скромному, но несомненному. Какая сила заставила его отказаться от этого комфортного существования? Сознавал ли он, записывая на магнитофон «Леночку», что вступает в конфликт с властью и с самим собой, каким был до этого шага? А если сознавал, что его побудило к такому выбору?

Мне кажется, эти вопросы, обычные в разговорах о Галиче, некорректно поставлены.

Задающие их убеждены, что Галич, пока он не взял в руки гитару, был обыкновенным конформистом, переродившимся стремительно и непостижимо. Они вспоминают пустыньские его сочинения — «Будни и праздники», «Походный марш», идиллических «Верных друзей», но не вспоминают другое — «Август» и «Матросскую тишину», которые были запрещены. Оба эти рассказа для театра, конечно, рядом с песнями меркнут, и сам Галич их вовсе не переоценивал, назвав ту же «Матросскую тишину» пьесой «почти наивно-патриотической». Но приспособленец, конъюнктурщик ничего хотя бы отдаленно их напоминающего написать не мог.

Не о мимикрии тут бы надо вести речь, а о психологии и о взгляде на жизнь целого поколения — тех, кому исполнилось по десять — двенадцать лет в первую пятилетку и о ком в «Матрос-

ской тишине» сказано, что трудностями быта они не тяготились: «Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками...»

Юрий Нагибин, друживший с Галичем много лет, отмечает «его самообладание и умение без потерь принимать уродливые неизбежности жизни». Тут сказывались свойства не только характера, но и поколения. Жизнь лупцевала и мытарила немилосердно, а все-таки не превратила в скопище мизантропов и циников, сохранила в этом поколении что-то романтическое, какой-то упрямый оптимизм, резкой чертой отмежеванный от казенного жизнелюбия и предписанного сверху восторга.

Он был вовсе не официозен, этот оптимизм. «Мы жили молодостью,— пишет Нагибин,— которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами». Людям другого исторического опыта очень трудно понять, на что можно было надеяться среди бесправия, рабелепия, доносительства и страха, день за днем соприкасаясь со всем, что творилось на российских просторах в тридцатые, в сороковые годы. Но надежда — пусть вопреки всему — сохранялась. И была формой духовного спасения.

Не ощутив этого, очень легко с порога отвергнуть все, что Галич писал первые пятнадцать лет после войны. А тогда его творчество распадается на две сферы, не то что неравные, просто несопоставимые. Даже одна с другой не связанные, как будто песни созданы кем-то еще.

Но у настоящих писателей так не бывает. Могут быть очень глубокие творческие сдвиги, однако перерождения невозможны.

И поэтому не спешите укорять Галича тем, что он не относил к самому себе горькие слова о друзьях, которые уходят на первой странице, где печатались в ту пору одни только идеологически выдержанные — комар носа не подточит — статьи. Такое мне приходилось о нем слышать: зря считает лишь «потери по соседству», лучше бы оглянулся на себя. И, дескать, не ему бы вспоминать в другой своей песне старое, как мир: «Не судите, да не судимы» — с негодующим комментарием:

Нет, презренна по самой сути  
Эта формула бытия!  
Те, кто выбраны, те и судьи?!  
Я не выбран, но я судья!

Право судить у Галича было, потому что честностью он не погряз. Я понимаю, многим это заявление покажется натяжкой,

когда они прочтут хотя бы такую пьесу, как «Пути, которые мы выбираем». Да, слабая пьеса — с картонными персонажами, с натужными конфликтами, развивающимися в жесткой рамке: от сих до сих, и ни на сантиметр дальше.

Но по тому времени — 1953 год — появление на сцене крупного руководителя, который оказался жуликом и обиралой, кое-что значило. Разве может случиться такое, чтобы аферист шел в гору, попирая честного труженика? У нас ничего подобного не бывает. Самая передовая в мире советская эстетика раз навсегда доказала, что в нашей замечательной стране есть только хорошее и еще более хорошее. Вот и вся допустимая коллизия. И какие выдающиеся произведения на ней построены! Эпохальный фильм «Кубанские казаки». Эпохальный роман «Кавалер Золотой Звезды».

Вы думаете, я преувеличиваю? Ничуть. Любопытства ради полистайте тогдашнюю «Литературную газету» — вам покажется, что вы перенеслись в неандертальскую эпоху, но это было даже на памяти моего, не самого старшего поколения. Был и скандал вокруг тогда же, в 1953 году, напечатанной статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе». При чем тут искренность? Литератору надлежит оберегать чистоту наших идей. И подтягивать «хорошее» до лучшего на свете.

Но для Галича искренность всегда была первым условием творчества. Ею не обязательно восторгаться, к ней примешивалось странное, по нашим меркам, стремление не до конца считаться с истиной, даже инстинктивно ею пренебрегать, как будто от этого она станет не настолько печальной. Наверное, гнетущая атмосфера тех лет требовала веры хоть во что-то. Не в сияющее будущее, разумеется, просто в обыкновенную порядочность. Она должна была, она была обязана оказаться сильнее большой лжи, царившей вокруг. Потому что если и она капитулирует перед ложью, в самом деле останется только «сорваться и спиться к черту».

И вот эту искренность, которая кому-то может теперь показаться смешной, уполномоченные управлять искусством распознавали в пьесах Галича лучше нас с вами, оттого и ставили ему барьер за барьером. Отчего, например, был не разрешен к постановке «Август»? Ведь автор вроде бы заплатил требуемую дань соцреализму. Налицо положительный герой. Он работает в газете, отвечает за материалы, информирующие о подвигах ставропольских хлеборобов и прочих трудовых победах. Чего же еще?

Недреманное око углядело, однако, что герой не без изъяна. Разговаривает по-человечески, а не одними лозунгами. И вообще

что-то не очень полыхает энтузиазмом. Да еще отправляется с незнакомыми девицами в «Арагви», а между прочим, семейный человек.

Ах, автор хотел сказать, что у всех выдаются минуты кризиса, сомнений, душевной маеты? Но разве это взволнует нашего зрителя? Он, зритель, охвачен исключительно мыслью о новых великих свершениях. Он спит и видит, когда же родному предприятию вручат переходящее Красное знамя.

Соколовы-Соловьевы, ответственные товарищи, не пропустившие «Матросскую тишину», которой должен был открыться новый московский театр «Современник», верней всего, знали цену всей этой запретительской демагогии, которую Оруэлл назвал «новоязом». Но ни говорить, ни думать иначе, чем на «новоязе», они не умели. Во всяком случае, не хотели. Приличия ради могли что-то промямлить о просчетах в драматургии, но в действительности забота у них была одна — пресечь любую попытку искреннего разговора со сцены. Галич устроить их никак не мог.

Он написал о том, каким бедствием была война и какой она вызвала патриотический подъем, — для объясняющихся на «новоязе» его пьеса означала провокационное возвеличивание евреев. Он сказал о своем поколении, самоотверженном до жестокости к себе и близким, прямолинейном, наивном, столько вынесшем на своих плечах; «новояз» интерпретировал — много рефлексий, мало героики. Он выразил витавшее в воздухе после XX съезда чувство перемен: люди возвращаются из лагерей, как из небытия, и настала пора задавать вопросы о нашем недавнем прошлом, о нашем будущем. «Новояз» не признавал вопросительных интонаций. На все вопросы имелись соответствующие постановления.

Так она и не увидела света ramпы, «Матросская тишина», о которой Москва была уже наслышана и за которую отчаянно бился начинающий режиссер Олег Ефремов вместе со своими молодыми студийцами. Пьеса, где так явственно отзывается Чехов, прежде всего «Три сестры». Где атмосфера времени передана с непосредственностью, доступной только участнику, а не постороннему свидетелю. И где все подчинено лейтмотиву — паровозный гудок, перестук колес на стыках. Тульчинский вокзал, откуда для героев начинается дорога в большой и тревожный мир. Сгоревшие станции, мимо которых тянется состав с ранеными и умирающими. Северные, сибирские поезда, их пассажиры, которых годы, десятилетия назад увозили под конвоем...

Если присмотреться, здесь, в «Матросской тишине», завязаны сюжеты песен, которые вскоре будет слушать вся Россия, переписи-

сывая с кассеты на кассету. И «Поезда», посвященного Михоэлсу. И «Песни про острова». И «Песни про велосипед». И вот этой, для Галича едва ли не программной:

Спрашивайте, как и почему?  
Спрашивайте, как и почему?  
Как, и отчего, и почему?  
Спрашивайте, мальчики, отцов!  
.....  
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!  
Спрашивайте!!!

\* \* \*

А все-таки настоящий театр Галича — это написанное им не для сцены, а для гитары. Я не оговорился: именно театр, не в переносном, а в самом буквальном смысле понятия. Театр одного актера, бесконечно перевоплощающегося, словно ему это ничего не стоит сделать.

В мгновение ока из столичного интеллигента он становится забуддыгой-маляром, понимающим толк в «Жигулевском» и в «дубняке», или отставником, подавшимся в ВОХРу. Зятем большого начальника, получившим, чего добивался, — дом полной чашей, холуев у ворот, «а по праздникам кино с Целиковскою». Милиционершей-регулирующей, день напролет ругающейся с шоферами. Среднестатистическим гражданином, который ошалел от свалившегося на него заграничного наследства, хотя до того по части идеологической борьбы никому не давал спуска.

Этих масок, созданных с отменным знанием всевозможных человеческих типов, у Галича не счесть. В его поэзии заговорила о себе текущая по улице толпа, население коммуналок и задворков, завсегдатаи шалманов и забегаловок, где случайно забредший писатель Зоценко удивляет буфетчицу Тамарку, спросив вместо портвейна невиданный здесь боржом. С Галичем в литературу прорвался специфический жаргон рядового советского обывателя, говорок мещанина — не суть важно, крутит ли он баранку, просиживает ли штаны в канцелярии, или, выйдя на пенсию, вздыхает по золотым сталинским временам, — шершавая речь тех, кто «двадцать лет протрубил по лагерям», и «новояз» охранников в генеральских, в сержантских погонах, намертво приросших к их именам.

Называя Галича Гомером наших будней, а каждую его песню «Одиссеей», «путешествием по лабиринтам души советского человека», Владимир Буковский, думаю, преувеличил, но главное в подобной оценке уловлено точно. Ведь и вправду песни Галича,

если хотите, род современного эпоса, охватившего самые разные грани нашей действительности.

В этом смысле Галич, конечно, прямой предшественник Владимира Высоцкого и до какой-то степени антагонист чистейшего лирика Булата Окуджавы. Впрочем, мне кажется, не следует слишком уж увлекаться противопоставлениями такого рода. Окуджава и Галич появились почти одновременно и были очень разными поэтами, что только естественно, — оба наделены сильной, яркой индивидуальностью, а она неповторима. Но дело они делали общее, расшатывая задубелые стереотипы мышления, вторгаясь в сферы, куда подцензурной лире вход был закрыт, и выражая чувства, которые, по казенным представлениям, нашему соотечественнику глубоко чужды, хотя ими-то, этими чувствами, он как раз жил день за днем. В условиях тогдашней полунемоты они сумели выразить время, убедив, что оно действительно «в нас ввинчено штопором» — накрепко, неотторжимо, хотим мы того или нет.

Вот эта способность не оглядываясь на запреты говорить о времени впрямую, без ретуши, без лести, без утаек, была знаменательна в авторской песне, пока жанр не выродился, не стал вполне признанным, получив для себя лужниковский вместительный зал и первую телевизионную программу, — сколько угодно воспевай счастье трудных дорог, поездки за туманом и за запахом тайги да истрепанную романтику костров под полярными звездами.

В шестидесятые все обстояло иначе: ни Лужников, ни телевидения, одни разносные статьи, за которыми следовали оргвыводы в виде грозных предостережений властей.

Зато была в авторской песне тех лет поэзия первооткрытия самых мучительных тем, прикосновения к самым больным точкам нашей жизни. И оттого был безнадежно ею теперь утраченный престиж. В ней безошибочно чувствовали правду, замалчиваемую и теснимую. В ней находили истинную литературу о современности.

Об этом сказано у Галича:

Время сеет ветер, мечет молнии,  
Создает советы и комиссии,  
Что ни день — фанфарное безмолвие  
Славит многодумное безмыслие.  
Бродит Кривда с полосы на полосу,  
Делится с соседской Кривдой опытом,  
Но гремит напетое вполголоса,  
Но гудит прочитанное шепотом...

Что же, в определенном смысле они на самом деле были «не хуже Горация», барды шестидесятых годов. Не притязая на лавры, они точно так же, как римский гений, выполняли свой долг перед поэзией, давая имена множеству явлений, официально не существующих или, как это формулировалось на тогдашнем «новоязе», «отодвинутых в прошлое в результате работы, проделанной по искоренению культа личности и его последствий».

Галич отбросил язык осторожных полунамеков, расплывчатых иносказаний и предельно зашифрованных обличений. Откровенно и жестко декларировал он истины, может быть, азбучные, но самые необходимые во все времена, а в то, послесталинское, особенно. Что нет в мире ценности выше, чем человеческая свобода. Что достоинство личности важнее любых государственных надобностей. Что наше общество задавлено страхом, оплетено паутиной диких понятий и предрассудков, стиснуто удавками нетерпимости, подозрительности, насильственного единодушия, придавлено всевластием богов аппарата с их бесчисленной челядью. Что постоянная ложь означает каждодневный духовный разврат и что мы только начинаем пробуждаться от морального оцепенения, с ужасом удостоверяясь, в какую пропасть скатились за годы сталинизма.

Для Галича это прошлое не было преодоленным. Он предполагал возможность рецидивов и, как удостоверено временем, не ошибся. Мы с тех пор насмотрелись на шутовскую процессию вслед усопшему генералиссимусу, мы знаем, что не фантазмагорией, не скверным сном, а провидением реальности была картина, нарисованная в «Ночном дозоре»:

Одинокий шагает памятник,  
Повторенный тысячекратно,  
То он в бронзе, а то он в мраморе,  
То он с трубкой, а то без трубки,  
И за ним, как барашки на море,  
Чешут гипсовые обрубки.

Эту песню Галич написал в пору расцвета либеральных надежд, вызванных хрущевскими послаблениями. Многим казалось, что кошмары остались для советского общества позади и наконец-то восторжествуют элементарный разум, элементарная справедливость.

Галич не разделял таких упований. Сбываться они начали только через два десятилетия, ему же казалось, что не сбудутся никогда. Пусть его осудят за этот пессимизм пережившие застой без особенно серьезных утрат для себя и даже без особого дискон-



форта. А он оплатил свою горечь, свое неверие собственной судьбой.

Посмотрите на дату под «Петербургским романсом». 21 августа 1968 года советские танки вошли в Прагу. День спустя на Красной площади шесть наших сограждан, бросая вызов системе, подняли плакат со словами протеста. Их, этих безумцев, ожидали психушки, пересылки и тюрьмы. Им, осмелившимся высказаться, когда у других хватило мужества разве что уклониться от одобрения «братской, бескорыстной помощи» на митингах в поддержку, Галич посвятил песню, которая останется документом истории.

Дело даже не в конкретном поводе, которым эта песня вызвана. Не в напрашивающихся аналогиях с декабристами. Не в том, что «повторяем следы». Самое поразительное — неслыханная прямота, с какой «Петербургским романсом» поставлена коллизия, в той или иной форме знакомая из непосредственного, личного опыта всем, пережившим времена «реального социализма». Нельзя от каждого требовать самопожертвования и укорять за то, что недостало душевных сил открыто выразить несогласие. Но требовать честности хотя бы перед самим собой — справедливо.

А этим-то все тогда и поверялось в человеке — способностью отвергнуть ложь или по крайней мере ее не умножать, не впадать из трусости в конформизм, не поддаваться искушению благополучием в обмен на независимость мысли и поступка. Ведь Галич был прав:

...все так же, не проще,  
Век наш пробует нас —  
Можешь выйти на площадь,  
Смеешь выйти на площадь  
В тот назначенный час?!

И выходили — или, отыскав тысячи недостойных оправданий, увертывались; остаться в стороне не удавалось никому. Воистину «такой по столетию ветер гудит», что от него не спрячешься.

Так что напрасно уговаривал себя автор: «Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть». Этого Галич просто не умел. Зато и доставалось ему больше других бардов. Над ними издавались в газетах, не давали выступать, но, в общем-то, терпели. С Галичем начальство не успокоилось, пока буквально не вытолкало в эмиграцию, полностью перекрыв ему кислород.

А ведь не так уж у него и много песен, напрямую затрагивающих политику. «Петербургский романс», конечно, знали в

любой интеллигентской компании, и разговор в ресторане из «Поэмы о Сталине» тоже, и «Я выбираю Свободу», и цикл с посвящениями нашим замученным, оплеванным писателям — Мандельштаму, Хармсу, Ахматовой, Пастернаку. Но вот и все, пожалуй. Правда, для гонителей Галича этого криминала хватило с избытком.

Галич раздражал их не только своими темами — может быть, даже еще сильнее своей стилистикой, интонацией, своим излюбленным жанром. Слово «романс» в заглавии знаменитой его песни вовсе не случайное. Как поэт Галич всего более обязан фольклору, а конкретнее — городскому романсу, который напрасно считают низкопробным искусством, презрительно добавляя: «мещанское». Из городского романса в русской поэзии росли блоковское «Под насыпью, во рву некошеном...» и метафоры Заболоцкого периода «Столбцов». Не настолько убога гитарная лирика, если отозвалась такими литературными версиями.

В песнях Галича соединены блоковский щемящий надрыв и убийственный сарказм Заболоцкого, но питательной их почвой остались низовые, почти лубочные вирши, которые с давних времен сочиняли, распевая под гитару, анонимные авторы из приказчиков и канцеляристов. Как свидетельство поверий, пристрастий, понятий этой среды, как ее трагифарсовая исповедь они незаменимы, и Галич нашел в них художественный ход, позволивший говорить об эпохе языком внятным ей и вполне ее достойным. Он понял, что такой язык необыкновенно пластичен, ибо подходит для патетики и шаржа, для высокой гражданственности и ситуаций, граничащих с абсурдом, но в особенности — для монолога героя, любимого его героя, маленького человека наших дней. И вот эти монологи, эти баллады, в которых общество, смеясь, досадуя и плача, узнавало самое себя, сделались центром поэтического мира Галича. Если хотите, его фирменным знаком.

Они требовали не только мастерства имитации, не только безукоризненного слуха: сфальшивить хотя бы единым словом значило убить весь эффект. Прежде всего, они требовали абсолютно точного понимания социальной психологии, сформированной временем. Глубоко заблуждались те, кто видел в Галиче насмешника или только сатирика. Ему куда органичнее была, по-старинному выражаясь, роль живописца нравов. Другое дело, что он никогда не бывал беспристрастным.

Чем он восхищается, что ненавидит — этого не понадобится растолковывать никому. Позиция Галича не знает внутренних противоречий. Все договорено до конца, иной раз даже с чрезмерным нажимом.

Но так — лишь в его песенной публицистике. В балладах,

в городских романах все куда сложнее. Там прихотливый спектр оттенков и полутонов, законченные характеры, которые, согласно законам драматургии, обладают собственной логикой развития, фабула, всегда отмеченная жизненной достоверностью, хотя ситуации чаще всего анекдотичны. Сам автор в движение фабулы не вмешивается, не навязывает персонажам собственных взглядов и оценок. Он незаметен. Его присутствие, как в рассказах Зощенко, выдает только манера повествования.

Ее точнее всего назвать ироничным сказом. В таких случаях необходим взгляд изнутри героя, а не извне — на него. Взгляд извне обладает рядом преимуществ, но и недостатков тоже: легко впасть в дидактику, в обличительность. Этого Галич старался избегать всеми силами. Он хотел понять и выразить время. И твердо рассчитывал, что если отойти в сторону, дав слово персонажу, то персонаж — наследник тетушки из Фингалии или супруг товарища Парамоновой, угодивший в красный треугольник, — прекрасно его выразит сам, без авторской подсказки. А уж тем более Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, член бюро и кавалер многих орденов.

Даже если всё написанное Галичем забудут, Клим Петрович, я уверен, останется, потому что это редкий пример, когда эпоха нашла своего настоящего героя. Он ведь из самой городской толщи, незадачливый этот оратор и борец за своеобразно понятую социальную справедливость, отмечающий запоями собственные неудачи в начальственных кабинетах. Для власть предержащих он, разумеется, марионетка, образцово показательный пролетарий, которого таскают по митингам с приготовленной референтом выдающейся речью, а в награду за труды удостоивают чести с делегацией ЦК профсоюза посетить дружественный Алжир. И, до подкорки пропитавшись «новоязом», он добросовестно требует к ответу израильскую военщину, долдонит про юбилейную вахту и про «продукцию на весь наш соцлагерь». Словом, он «партийный человек, а не зюзя», — могли бы лишний раз ему об этом и не напоминать в обкоме.

Но в том-то и фокус, что не просто «партийный человек» Клим Петрович. Как его ни воспитывали, как ни обтесывали да обстругивали, до конца выгравить в нем человека природного — достаточно сметливого, чтобы сообразить, что к чему, — не получилось. И вот он прямо у нас на глазах раздваивается: есть функция, которую Коломийцев старательно выполняет, и есть подлинная его жизнь, с этой функцией не соприкасающаяся ни в общем, ни в частностях. Функция требует, чтобы он по шпаргалке боролся за мир во всем мире, поучал интеллигентов мыслить, как «лично — вы знаете кто», и крыл НАТО на встречах с алжирцами. А жизнь —

это совсем другое: это принять с утра сто граммов «для почину», попариться в баньке. Запастись, улетаая за рубеж, консервированной салакой, чтобы по пустякам не тратить пусть маломощную, но валюту. Выбить поприличнее жилплощадь, посолиднее полочку.

С функцией бывают накладки. Перепутали бумаги, и вот ораторствует наш Клим Петрович от имени матери-героини. Но это совершенно все равно — ритуал есть ритуал, главное, чтобы машина крутилась без остановок, и зря Коломийцев заколебался, не сойти ли с трибуны:

В зале вроде ни смешочков, ни вою...  
Первый тоже, вижу, рож не корчит,  
А кивает мне своей головою!

Так с функцией. А с жизнью? С нею непорядок посерьезнее, поскольку вся она к тому одному и сводится, чтобы, исполнив функцию, кое-что урвать для себя — и еще хорошо, если не делая другим гадостей. Она замусорена лишними малейшего смысла лозунгами и клише, которые от бесконечного повторения приобрели вид абсолютных истин и властвуют над сознанием. Она деформирована настолько, что люди, ею живущие, всерьез воспринимают водевиль как драму, а в собственном ничтожестве усматривают неоспоримое достоинство. В ней все перевернуто с ног на голову, все напоминает увешанную кривыми зеркалами комнату смеха, где почему-то совсем не смешно, а тянет запустить в первого попавшегося заборным словом да развеять тоску исконным российским способом.

Примириться с такой действительностью Галич не мог. Еще меньше мог хоть что-то в ней исправить. Но своим бессилием не утешался. Не признавал дешевого отчаяния, как и очень в ту пору распространеннейшей висельной иронии, которая освобождала от всех тревог: не нами, мол, заведено, и не на нас кончится.

Галич думал по-другому:

Люди мне простят от равнодушия,  
Я им — равнодушным — не прощу!

Для него это было кредо.

\* \* \*

Среди проработчиков нашлись такие, у кого повернулся язык корить Галича нелюбовью к России. В шестидесятые, правда, подобные приемы расправы с неугодными еще были не очень в

ходу, но уже начали к ним примериваться. И на Галиче их опробовали. Трудно представить себе более злонамеренную тенденциозность.

Это он не любил Россию? Прочтите «Песню исхода», написанную накануне исключения из Союза писателей, когда решилось для Галича все последующее. Она посвящена Галине и Виктору Некрасовым, которых поставили в условия, сделавшие жизнь на родине невозможной. И Галич их менее всего осуждал, зная, что терпение не беспредельно, а продолжать борьбу за право остаться киевлянами и быть свободными уже нет смысла. «Улетайте — и дай вам Бог!» Но для себя Галич решил твердо: «Я останусь». Не мог иначе:

Разве есть земля богоданней,  
Чем безбожная эта земля?!

Обстоятельства, однако, оказались сильнее его желаний, его упорства. Вскоре уезжать пришлось и ему.

Не все пишущие воспринимают эмиграцию как несчастье. Случается, люди там находят себя, устраивают свою жизнь и ни о чем не жалеют. Для кого-то отъезд стал если не благом, то шансом вырваться из литературного небытия, осуществиться в качестве писателя. У Галича вышло иначе.

Внешне его дела складывались неплохо. Он, отовсюду изгнанный, снова стал печататься. С концертами много ездил по свету. Критики из русского зарубежья были к нему щедры.

Но все это не так уж много значило рядом с другим: на чужбине Галичу стало трудно писать. Не знаю, сказалось ли тут психологическое потрясение от вынужденной разлуки с Россией, семейные сложности или еще что-то, но убежден, что как поэт он не мог миновать кризиса, начавшегося с переселением на Запад. Такие пересадки сравнительно легко переносят писатели, тяготеющие к умозрению, философичности, к аллегориям и притчам, но для тех, чье творчество питает живая реальность, они губительны. А какой же Галич без нашей фантастической повседневной жизни?

В разреженном воздухе эмиграции ему скверно дышалось. Он остро чувствовал нехватку речевой стихии русских улиц, ему не доставало новых сюжетов, новых типажей, которые родная будничность рождала в таком обилии. Эмоциональная память, видимо, не была ему присуща в той степени, как Бунину или Шмелеву, которым ее одной хватало, чтобы создавать шедевры. Галич тоже писал, черпая из воспоминаний. Но удача ему не сопутствовала.

На мой взгляд, и повесть «Блошиный рынок», и поэма «Ве-

черные прогулки» — обе написаны в последние, эмигрантские годы — не лучшее, что им создано. Не хочу сказать, что они просто не получились, это не так. Есть и в повести, и в поэме штрихи, выдающие руку Галича, и ничью иную, есть его характерные мотивы — мытарства Семена Таратуты по милицейским инстанциям, например, или чудесное превращение учителя физики в «завбуфетом в цвете лет». Есть мотив непредсказуемости поворотов судьбы, которая вертит и крутит человеком по собственной прихоти, благо человеку не опереться ни на законы, ни на права. Есть атмосфера заплеванного шалмана, одесской толкучки — метафоры всего жизнеустройства в тогдашнюю пору.

Словом, есть многое. Но только не то мгновенно возникающее чувство нового слова о действительности, которое пробуждали лучшие песни Галича.

Нелепую его смерть, конечно, надо бы считать трагической случайностью. Но в биографиях поэтов случайность всегда таит в себе нечто преуказанное. Никелированный «Грундиг» новейшей марки, который Галич приобрел себе на погибель, был для него свершением давней мечты. Раньше приходилось довольствоваться аппаратурой посромнее, а то и вовсе отечественными изделиями, далекими от мировых стандартов. На «Яузе» рвалась пленка и сгорал предохранитель. Но «Яуза» Галича не убила. Наоборот, помогла ему найти свое настоящее призвание.

Говорят, на его концерты в эмиграции собирались тысячи людей. Не берусь судить, не присутствовал. Видел только запись одного его выступления, показанную на наших телеэкранах. Какая-то ярмарка не то в Германии, не то в Швеции. Карусели, балаганы, праздная толпа. Усталый, погрубевший человек с набрякшими веками поет на эстраде под тентом, окруженный десятком-другим зевак. Взгляд поющего устремлен вверх их голов, он не с ними, он весь в себе, словно и поет только для себя. Два здоровяка, посмеиваясь, кусают мороженое...

Галич пел «Когда я вернусь», лучшую из своих песен. Пел об оставленном там, дома, тепле и ночлеге, о городе, «которым казнюсь и клянусь». О февральском снеге на московских мостовых, о птичьем зове с московских деревьев, о том, как, вернувшись,

Я пойду в тот единственный дом,  
Где с куполом синим не властно соперничать небо,  
И ладана запах, как запах приютского хлеба,  
Ударит в меня и заплещется в сердце моем —  
Когда я вернусь.

Его похоронили на русском кладбище неподалеку от Парижа. Прошло десять лет; в нью-йоркской газете «Новое русское слово»

довелось мне с горечью и недоумением прочесть следующее: «Я очень прошу Вас, Александр Галич! Не возвращайтесь — Вы будете чужеземцем в Вашей родной России».

Бог весть, кто он — Геннадий Брейман, автор этого потустороннего обращения. Знаю одно: уж не говоря о странности такого рода жестов, оно бессмысленно по сути. Галича пытались оторвать от России и заставили уехать, но он с нами оставался все те годы, что жил вдалеке. Галича пытаются теперь не впускать обратно, но он с нами, как бы это кого-то ни удручало.

Он вернулся, хотя, если говорить честно, никогда он нас и не покидал. И не покинет, потому что он слишком нужен нам всем.

**А. ЗВЕРЕВ**

( т и х о т в о р е н и я

и

п о э м ы



## НОЧНОЙ ДОЗОР

### СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ!

Спрашивает мальчик — почему?  
Спрашивает мальчик — почему?  
Двести раз и триста — почему?  
Тучка набегает на чело,  
А папаша режет ветчину,  
Он сопит и режет ветчину  
И не отвечает ничего.

Снова замаячили быль, боль,  
Снова рвутся мальчики в пыль, в бой!  
Вы их не пугайте, не отваживайте,  
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,  
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,  
Спрашивайте, спрашивайте!

Спрашивайте, как и почему?  
Спрашивайте, как и почему?  
Как, и отчего, и почему?  
Спрашивайте, мальчики, отцов!  
Сколько бы ни резать ветчину,  
Сколько бы ни резать ветчину —  
Надо ж отвечать в конце концов!

Но в зрачке-хрусталике — вдруг муть,  
А старые сандалики, ух, жмут!  
Ну, и не жалейте их, снашивайте!  
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!  
Спрашивайте!!!

(1964—1966)

## ОШИБКА

Мы похоронены где-то под Нарвой,  
Под Нарвой, под Нарвой,  
Мы похоронены где-то под Нарвой,  
Мы были — и нет.  
Так и лежим, как шагали, попарно,  
Попарно, попарно,  
Так и лежим, как шагали, попарно,  
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,  
Побудка, побудка,  
И не тревожит ни враг, ни побудка  
Померзших ребят.  
Только однажды мы слышим, как будто,  
Как будто, как будто,  
Только однажды мы слышим, как будто  
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,  
Такие-сякие,  
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,  
Ведь кровь — не вода!  
Если зовет своих мертвых Россия,  
Россия, Россия,  
Если зовет своих мертвых Россия,  
Так значит — беда!

Вот мы и встали, в крестах да в нашивках,  
В нашивках, в нашивках,  
Вот мы и встали, в крестах да в нашивках,  
В снежном дыму.  
Смотрим — и видим, что вышла ошибка,  
Ошибка, ошибка,  
Смотрим и видим, что вышла ошибка,  
И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,  
Пехота, пехота,  
Где полегла в сорок третьем пехота,  
Без толку, зазря,  
Там по пороше гуляет охота,  
Охота, охота,

Там по пороше гуляет охота,  
Трубят егеря!

Там по пороше гуляет охота,  
Трубят егеря...

(1962)

## НОЧНОЙ ДОЗОР

Когда в городе гаснут праздники,  
Когда грешники спят и праведники,  
Государственные запасники  
Покидают тихонько памятники.  
Сотни тысяч (и все — похожие)  
Вдоль по лунной идут дорожке,  
И случайные прохожие  
Кувыркаются в «неотложки».

И бьют барабаны!..  
Бьют барабаны,  
Бьют, бьют, бьют!

На часах замирает маятник,  
Стрелки рвутся бежать обратно:  
Одинокий шагает памятник,  
Повторенный тысячекратно.  
То он в бронзе, а то он в мраморе,  
То он с трубкой, а то без трубки,  
И за ним, как барашки на море,  
Чешут гипсовые обрубки.

И бьют барабаны!..  
Бьют барабаны,  
Бьют, бьют, бьют!

Я открою окно, я высунусь,  
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!  
Вижу: бронзовый генералиссимус  
Шутовскую ведет процессию.  
Он выходит на место лобное —  
«Гений всех времен и народов!» —  
И как в старое время доброе  
Принимает парад уродов!

И бьют барабаны!..  
Бьют барабаны,  
Бьют, бьют, бьют!

Прет стеной мимо дома нашего  
Хлам, забытый в углу уборщицей,  
Вот сапог громыхает маршево,  
Вот обломанный ус топорщится!  
Им пока — скрипеть, да поругиваться,  
Да следы оставлять линючие,  
Но уверена даже пуговица,  
Что сгодится еще при случае.

И будут бить барабаны!..  
Бить барабаны,  
Бить, бить, бить!

Утро родины нашей розово,  
Позывные летят, попискивая,  
Восвояси уходит бронзовый,  
Но лежат, притаившись, гипсовые.  
Пусть до времени покалечены,  
Но и в прахе хранят обличие,  
Им бы, гипсовым, человечины —  
Они вновь обретут величие!

И будут бить барабаны!..  
Бить барабаны,  
Бить, бить, бить!

(1962—1964)

### СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК

Мы давно называемся взрослыми  
И не платим мальчишеству дань,  
И за кладом на сказочном острове  
Не стремимся мы в дальнюю даль.  
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,  
Ни на катере... к этакой матери.  
Но поскольку молчание — золото,  
То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи — попадешь в богачи!  
Промолчи, промолчи, промолчи!

И, не веря ни сердцу, ни разуму,  
Для надежности спрятав глаза,  
Сколько раз мы молчали по-разному,  
Но не против, конечно, а за!  
Где теперь крикуны и печальники?  
Отшумели и сгнули смолоду...  
А молчальники вышли в начальники,  
Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадешь в первачи!  
Промолчи, промолчи, промолчи!

И теперь, когда стали мы первыми,  
Нас заела речей маята,  
Но под всеми словесными перлами  
Проступает пятном немота.  
Пусть другие кричат от отчаянья,  
От обиды, от боли, от голода!  
Мы-то знаем — доходней молчание,  
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,  
Вот как просто попасть в первачи,  
Вот как просто попасть — в палачи:  
Промолчи, промолчи, промолчи!

(1963)

## ЛЕНОЧКА

*(Про Леночку и эфиопского принца)*

Апрельской ночью Леночка  
Стояла на посту.  
Красоточка, шатеночка  
Стояла на посту.  
Прекрасная и гордая,  
Заметна за версту,  
У выезда из города  
Стояла на посту.

Судьба милиционерская —  
Ругайся цельный день,  
Хоть скромная, хоть дерзкая —  
Ругайся цельный день.  
Гулять бы ей с подругами  
И нюхать бы сирень!  
А надо с шоферагами  
Ругаться цельный день.

Итак, стояла Леночка,  
Милиции сержант,  
Останкинская девочка,  
Милиции сержант.  
Иной снимает пеночки,  
Любому свой талант,  
А Леночка, а Леночка —  
Милиции сержант.

Как вдруг она заметила —  
Огни летят, огни,  
В Москву из Шереметьева  
Огни летят, огни.  
Ревут сирены зычные,  
Прохожий — ни-ни-ни!  
На Лену заграничные  
Огни летят, огни!

Дает отмашку Леночка,  
А ручка не дрожит,  
Чуть-чуть дрожит коленочка,  
А ручка не дрожит.  
Машины, чай, не в шашечку,  
Колеса — вжик да вжик!  
Дает она отмашечку,  
А ручка не дрожит.

Как вдруг машина главная  
Свой замедляет ход,  
Хоть и была исправная,  
Свой замедляет ход.  
Вокруг охрана стеночкой  
Из КГБ, но вот  
Машина рядом с Леночкой  
Свой замедляет ход.

А в той машине писаный  
Красавец-эфиоп,  
Глядит на Лену пристально  
Красавец-эфиоп.  
И, встав с подушки кремовой  
(Не промахнуться чтоб!),  
Бросает хризантему ей  
Красавец-эфиоп!

А утром мчится нарочный  
ЦК КПСС  
В мотоциклетке марочной  
ЦК КПСС.  
Он машет Лене шляпою,  
Спешит наперерез:  
— Пожалте, Эл. Потапова,  
В ЦК КПСС.

А там, на Старой площади,  
Тот самый эфиоп,  
Он принимает почести,  
Тот самый эфиоп,  
Он чинно благодарствует  
И трет ладонью лоб,  
Поскольку званья царского  
Тот самый эфиоп!

Уж свита водки выпила,  
А он глядит на дверь,  
Сидит с моделью вымпела  
И все глядит на дверь.  
Все потчуют союзника,  
А он сопит, как зверь...  
Но тут раздалась музыка  
И отворилась дверь!

Вся в тюле и панбархате  
В зал Леночка вошла,  
Все прямо так и ахнули,  
Когда она вошла.  
И сам красавец царственный  
Ахмед-Али-паша  
Воскликнул: «Вот так здравствуйте!» —  
Когда она вошла.

И вскоре нашу Леночку  
Узнал весь белый свет!  
Останкинскую девочку  
Узнал весь белый свет!  
Когда, покончив с папою,  
Стал шахом принц Ахмед,  
Шахиню Эл. Потапову  
Узнал весь белый свет!

(1961)

### ПЕСНЯ ПРО СЧАСТЬЕ

Ты можешь найти на улице копейку  
И купить коробок спичек,  
Ты можешь найти две копейки  
И позвонить кому-нибудь из автомата,  
Ну а если звонить тебе некому,  
Так зачем тебе две копейки?  
Не покупать же на две копейки  
Два коробка спичек!

Можно вообще обойтись без спичек,  
А просто прикурить у прохожего,  
И заговорить с этим прохожим,  
И познакомиться с этим прохожим.  
И он даст тебе номер своего телефона,  
Чтоб ты позвонил ему из автомата...  
Но как же ты сможешь позвонить ему  
из автомата,  
Если у тебя нет двух копеек?!

Так что лучше уж не прикуривать у прохожего,  
Лучше просто купить коробок спичек,  
Впрочем, и для этого сначала нужно  
Найти на улице одну копейку...

(1964)



## НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ

Старики управляют миром,  
Суетятся, как злые мыши,  
Им по справке, выданной МИДом,  
От семидесяти и выше.

Откружили в боях и в вальсах,  
Отмолили годам продление  
И в сведенных подагрой пальцах  
Держат крепко бразды правленья.

По утрам их терзает кашель,  
И поводят глазами шало  
Над тарелками с манной кашей  
Президенты Земного Шара!

Старики управляют миром,  
Где обличья подобны маскам,  
Пахнут весны — яичным мылом,  
Пахнут зимы — камфарным маслом.

В этом мире — ни слов, ни сути,  
В этом мире — ни слез, ни крови!  
А уж наши с тобою судьбы  
Не играют и вовсе роли!

Им важнее, где рваться минам,  
Им важнее, где быть границам...  
Старики управляют миром,  
Только им по ночам не спится.

А девчонка гуляет с милым,  
А в лесу раскричалась птица!  
Старики управляют миром,  
Только им по ночам не спится.

А в саду набухает завязь,  
А мальчишки трубят: «По коням!»  
И, острее, чем совесть, — зависть  
Старикам не дает покоя!

Грозный счет покоренным милям  
Отчеркнет пожелтевший ноготь.  
Старики управляют миром,  
А вот сладить со сном — не могут!

(1964—1966)

## ЗА СЕМЬЮ ЗАБОРАМИ

Мы поехали за город,  
А за городом дожди,  
А за городом заборы,  
За заборами — Вожди.

Там трава несмятая,  
Дышится легко,  
Там конфеты мятные  
«Птичье молоко»!

За семью заборами,  
За семью запорами,  
Там конфеты мятные  
«Птичье молоко»!

Там и фауна, и флора,  
Там и галки, и грачи,  
Там глядят из-за забора  
На прохожих стукачи,

Ходят вдоль да около,  
Кверху воротник...  
А сталинские соколы  
Кушают шашлык!

За семью заборами,  
За семью запорами  
Сталинские соколы  
Кушают шашлык!

А ночами, а ночами  
Для ответственных людей,  
Для высокого начальства  
Крутят фильмы про блядей!





Зачем же потом случилось,  
Что меркнет копейкой ржавой  
Всей славы моей лучинность  
Пред солнечной ихней славой?!

...Болят к непогоде раны,  
Уныло проходят годы...  
Но я же кричал: «Тираны!»  
И славил зарю свободы!

Повторяется шепот,  
Повторяем следы.  
Никого еще опыт  
Не спасал от беды!

О, доколе, доколе,  
И не здесь, а везде  
Будут Клодтовы кони  
Подчиняться узде?!

И все так же, не проще  
Век наш пробует нас —  
Можешь выйти на площадь,  
Смеешь выйти на площадь,  
Можешь выйти на площадь,  
Смеешь выйти на площадь  
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату  
В ожиданье полки —  
От Синода к Сенату,  
Как четыре строки?!

*22 августа 1968 года*

\* \* \*

*Р. Беньяш*

Вот пришли и ко мне седины,  
Распеваётся воронье!  
«Не судите, да не судимы...» —  
Заклинает меня вранье.

Ах, забвенья глоток студень,  
Ты охотно напомнишь мне,  
Как роскошный герой — Буденный —  
На роскошном скакал коне.

Так давайте ж, друзья, устроим  
Наших сил золотой запас,  
«Нас не трогай, и мы не тронем...» —  
Это пели мы! И не раз!..

«Не судите!»  
Смирней, чем Авель,  
Падай в ноги за хлеб и кров...  
Ну, писал там какой-то Бабель,  
И не стало его — делов!

«Не судите!»  
И нет мерила,  
Все дозволено, кроме слов...  
Ну, какая-то там Марина  
Захлебнулась в петле — делов!

«Не судите!»  
Малюйте зори,  
Забивайте своих козлов...  
Ну, какой-то там «чайник» в зоне  
Все о Федре кричал — делов!

— Я не увижу знаменитой Федры  
В старинном, многоярусном театре...

...Он не увидит знаменитой Федры  
В старинном, многоярусном театре! —

Пребывая в туманной черноте,  
Обращаюсь с мольбой к историку —  
От великой своей учености  
Удели мне хотя бы толику!

Я ж пути не ищу раскольного,  
Я готов шагать по законному!  
Успокой меня, беспокойного,  
Растолкуй ты мне, бестолковому!

Если правда у нас на знамени,  
Если смертной гордимся годностью,—  
Так чего ж мы в испуге замерли  
Перед ложью и перед подлостью?

А историк мне отвечает:  
«Я другой такой страны не знаю...»

Будьте ж счастливы, голосуйте,  
Маршируйте к плечу плечом,  
Те, кто выбраны, те и судьи,  
Посторонним вход воспрещен!

Ах, как быстро несусветимы  
Дни пошли нам виски седить...  
«Не судите, да не судимы...»  
Так вот, значит, и не судить?!

Так вот, значит, и спать спокойно,  
Опускать пятаки в метро?!  
А судить и рядить — на кой нам?!  
«Нас не трогай, и мы не тро...»

Нет! Презренна по самой сути  
Эта формула бытия!  
Те, кто выбран, те и судьи?!  
Я не выбран. Но я — судья!

(1968)

## ОБЛАКА

Облака плывут, облака,  
Не спеша плывут, как в кино.  
А я цыпленка ем табака,  
Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,  
Не спеша плывут облакам,  
Им тепло небось, облакам,  
А я продрог насквозь, на века!

Я подковой вмерз в санный след,  
В лед, что я кайлом ковырял!  
Ведь недаром я двадцать лет  
Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах снега наст!  
До сих пор в ушах шмона гам!..  
Эй, подайте ж мне ананас  
И коньячку еще двести грамм!

Облака плывут, облака,  
В милый край плывут, в Колыму,  
И не нужен им адвокат,  
Им амнистия — ни к чему.

Я и сам живу — первый сорт!  
Двадцать лет, как день, разменял!  
Я в пивной сижу, словно лорд,  
И даже зубы есть у меня!

Облака плывут на восход,  
Им ни пенсии, ни хлопот...  
А мне четвертого — перевод,  
И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,  
Полстраны сидит в кабаках!  
И нашей памятью в те края  
Облака плывут, облака...

И нашей памятью в те края  
Облака плывут, облака...

(1962)



## БАЛЛАДЫ

### БАЛЛАДА О СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

*(Подражание Д. Хармсу)*

*Э. Канделю*

Егор Петрович Мальцев  
Хворает, и всерьез:  
Уходит жизнь из пальцев,  
Уходит из желез.

Из прочих членов тоже  
Уходит жизнь его,  
И вскорости, похоже,  
Не будет ничего.

Когда нагрянет свора  
Савеловских родных,  
То что же от Егора  
Останется для них?

Останется пальтишко,  
Подушка, чтобы спать,  
И книжка, и сберкнижка  
На девять двадцать пять.

И таз, и две кастрюли,  
И рваный подписной,  
Просроченный в июле  
Единый проездной.

И все. И нет Егора!  
Был человек и нет!  
И мы об этом скоро  
Узнаем из газет.

Пьют газировку дети  
И пончики едят,  
Ему ж при диабете  
Все это — чистый яд!

Вот спит Егор в постели,  
Почти что невесом,  
И дышит еле-еле,  
И смотрит дивный сон...

В большом красивом зале,  
Резону вопреки,  
Лежит Егор, а сзади  
Знамена и венки,

И алым светом залит  
Большой его портрет,  
Но сам Егор не знает,  
Живой он или нет.

Он смаргивает мошек,  
Как смаргивал живой,  
Но он вращать не может  
При этом головой.

И дух по залу спертый,  
Как в общей душевой,  
И он скорее мертвый,  
Чем все-таки живой.

Но хором над Егором  
Краснознаменный хор  
Краснознаменным хором  
Поет: «Вставай, Егор!

Вставай, Егор Петрович,  
Во всю свою длину,  
Давай, Егор Петрович,  
Не подводи страну!

Центральная газета  
Оповестила свет,  
Что больше диабета  
В стране Советской нет!

Пойми, что с этим, кореш,  
Нельзя озорничать,  
Пойми, что ты позоришь  
Родимую печать».

И сел товарищ Мальцев,  
Услышав эту речь,  
И жизнь его из пальцев  
Не стала больше течь.

Егор трусы стирает,  
Он койку застелил,  
И тает, тает, тает  
В крови холестерина...

По площади по Трубной  
Идет он, милый друг,  
И все ему доступно,  
Что видит он вокруг!

Доступно кушать сласти  
И газировку пить,  
Лишь при Советской власти  
Такое может быть!

(1967)

## ПЕСНЯ-БАЛЛАДА ПРО ГЕНЕРАЛЬСКУЮ ДОЧЬ

Он был титулярный советник,  
Она генеральская дочь...

Постелилась я и в печь — уголек...  
Накрошила огурцов и мяца,  
А он явился, ноги вынул и лег:  
У мадам у его — мясца.

А он и рад тому, сучок, он и рад,  
Скушал водочки и в сон наповал!..  
А там — в России — где-то есть Ленинград,  
А в Ленинграде том — Обводный канал.

А там мамынька жила с папонькой,  
Называли меня «лапонькой»,  
Не считали меня лишнею,  
Да им дали обоим высшую!

Ой, Караганда ты Караганда!  
Ты угольком даешь на-гора года!  
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,  
А что с чужим живу — так своего-то нет!  
Кара-ган-да...

А он, сучок, из гулевых шоферов,  
Он барыга, и калымщик, и жмот,  
Он на торговой дает будь здоров —  
Где за рупь, а где какую прижмет!

Подвозил он меня раз в гастроном,  
Даже слова не сказал, как полез,  
Я бы в крик, да на стекле ветровом  
Он картиночку приклеил, подлец!

А на картиночке — площадь с садиком,  
А перед ней камень с Медным всадником,  
А тридцать лет назад я с мамой в том саду...  
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!

Ой, Караганда ты Караганда!  
Ты мать и мачеха, для кого когда,  
А для меня была так навсегда нежна,  
Что я самой себе стала не нужна!  
Кара-ган-да!

Он проснулся, закурил «Беломор»,  
Взял пинжак, где у него кошелек,  
И прошлепал босиком в коридор,  
А вернулся — и обратно залег.

Он сопит, а я сижу у огня,  
Режу мелко на водку лучок,  
А ведь все-тки он жалеет меня,  
Все-тки ходит, все-тки дышит, сучок!

А и спи, проспись ты, мое золотце,  
А слезы — что ж, от слез — хлеб не солится,  
А что мадам его крутит мордою,  
Так мне плевать на то, я не гордая...

Ой, Караганда ты Караганда!  
Если тут горда, так и на кой годна!  
Хлеб насущный наш дай нам, Боже, днесь,  
А что в России есть, так то не хуже здесь!  
Кара-ган-да!

Что-то сон нейдет, был, да вышел весь,  
А завтра делать дел — прорву адскую!  
Завтра с базы нам сельдь должны завезть,  
Говорили, что ленинградскую.

Я себе возьму и кой-кому раздам,  
Надо ж к празднику подзаправиться!  
А пяток сельдей я пошлю мадам,  
Пусть покушает, позабавится!

Пусть покушает она, дура жалкая,  
Пусть не думает она, что я жадная,  
Это, знать, с лучка глазам колется,  
Голова на низ чтой-то клонится...

Ой, Караганда ты Караганда!  
Ты угольком даешь на-гора года,  
А на картиночке — площадь с садиком,  
А перед ней камень...  
Ка-ра-ган-да!..

(1967)

## БАЛЛАДА О ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Призрак бродит по Европе,  
призрак коммунизма...

Я научность марксистскую пестовал,  
Даже точками в строчке не брезговал.  
Запятым по пятам, а не дуриком  
Изучал «Капитал» с «Анти-Дюрингом».  
Не стеснясь мужским своим признаком,  
Наряжался на праздники «призраком»,  
И повсюду, где устно, где письменно,  
Утверждал я, что все это истинно.

От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих,  
И пусть я псих, а кто не псих?.. А вы — не псих?

Но недавно случилась история —  
Я купил радиолу «Эстония»,  
И в свободный часок на полчаса  
Я прилег позабавиться классикой.  
Ну, гремела та самая опера,  
Где Кармен свою бросила опера,  
И, когда открывал Эскамилиё,  
Вдруг свое я слышал фамилиё,

Ну черт-те что, ну черт-те что, ну черт-те что!  
Кому смеш о, мне не смешно. А вам — смешно?

Гражданин, мол, такой-то и далее —  
Померла у вас тетка в Фингалии,  
И по делу той тети Калерии  
Ожидают вас в Инюрколлегии.  
Ох и вскинулся я прямо на дыбы,  
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!  
Больно тема какая-то склизкая,  
Не марксистская, ох, не марксистская!

Ну прямо срам, ну прямо срам, ну стыд и срам!  
А я-то сам почти что зам!.. А вы — не зам?

Ну, промаялся ночь, как в холере, я.  
Подвела меня, падла, Калерия!  
Ну, жена тоже плачет, печалится —  
Культ — не культ, а чего не случается?!  
Ну, бельишко в портфель, щетку, мыльницу,  
Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться.  
Ну, являюсь, дрожу аж по потрохи,  
А они меня чуть что не под руки.

И смех и шум, и смех и шум, и смех и шум!  
А я стою — и ни бум-бум... А вы — бум-бум?

Первым делом у нас — совещание,  
Зачитали мне вслух завещание —  
Мол, такая-то, имя и отчество,  
В трезвой памяти, все честью по чести,  
Завещаю, мол, землю и фабрику  
Не супругу, засранцу и бабнику,  
А родной мой племянник Володичка  
Пусть владеет всем тем на здоровьичко!

Вот это да, вот это да, вот это да!  
Выходит так, что мне туда!.. А вам — куда?

Ну, являюсь на службу я в пятницу,  
Посылаю начальство я в задницу,  
Мол, привет подобру-поспокойненьку,  
Ваши сто мне — как насморк покойнику!  
Пью субботу я, пью воскресенье,  
Чуть посплю — и опять в окосение.  
Пью за родину, и за не родину,  
И за вечную память за тетину.

Ну, пью и пью, а после счет, а после счет,  
А мне б не счет, а мне б еще... И вам — еще?!

В общем, я за усопшую тетеньку  
Пропил с книжки последнюю сотенку,  
А как встал, так друзья мои, бражники,

Прямо все как один за бумажники:  
— Дорогой ты наш, бархатный, саржевый,  
Ты не брезговай, Вова, одалживай!  
Мол, сочтемся когда-нибудь дружбою,  
Мол, пришлешь нам, что будет ненужное.

Ну, если так, то гран-мерси, то гран-мерси,  
А я за это всем — джерси. И вам — джерси.

Наодалживал, в общем, до тыщи я,  
Я ж отдам, слава Богу, не нищий я,  
А уж с тыщи-то рад расстараться я —  
И пошла ходуном ресторация...  
С контрабаса на галстук — басовую!  
Не «Столичную» пьем, а «Особую»,  
И какие-то две с перманентиком  
Все назвать норовят меня Эдиком.

Гуляем день, гуляем ночь, и снова ночь,  
А я не прочь, и вы не прочь, и все — не прочь.

С воскресенья и до воскресения  
Шло у нас вот такое веселие,  
А очухался чуть к понедельнику. —  
Сел глядеть передачу по телику.  
Сообщает мне дикторша новости  
Про успехи в космической области,

А потом: «Передаем сообщения из-за границы.  
Революция в Фингалии! Первый декрет народной  
власти о национализации земель, фабрик, заво-  
дов и всех прочих промышленных предприятий.  
Народы Советского Союза приветствуют и поз-  
дравляют братский народ Фингалии со славной  
победой!»

Я гляжу на экран, как на рвотное,  
То есть как это так, все народное?!  
— Это ж наше, — кричу, — с тетей Калею,  
Я ж за этим собрался в Фингалию!  
Негодяи, бандиты, нахалы вы!  
Это все, — я кричу, — штучки Карловы!



Ох, нет на свете печальнее повести,  
Чем об этой прибавочной стоимости!

А я ж ее — от сих до сих, от сих до сих!  
И вот теперь я полный псих! А кто — не псих?!

(1964—1966)

БАЛЛАДА О СТАРИКАХ И СТАРУХАХ,  
С КОТОРЫМИ Я ВМЕСТЕ ЖИЛ И ЛЕЧИЛСЯ  
В САНАТОРИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА  
В 110 КМ ОТ МОСКВЫ

Все завидовали мне — «Эко денег!» —  
Был загадкой я для старцев и стариц.  
Говорили про меня: «Академик!» —  
Говорили: «Генерал-иностранец!»

О бессонниц и сновторных отрав! —  
Может статься, это вы виноваты,  
Что привиделась мне вздорная слава  
В полумраке санаторной палаты?

А недуг со мной хитрил поминутно:  
То терзал, то отпускал на поруки.  
И все было мне так странно и трудно,  
А труднее всего — были звуки.

Доминошники стучали в запале,  
Привалившись к покорябанной пальме;  
Старцы в чесанках с галошами спали  
Прямо в холле, как в общественной спальне.

Я неслышно проходил — «Англичанин!».  
Я козла не забивал — «Академик!».  
И звонки мои в Москву обличали:  
«Эко денег у него, эко денег!»

И казалось мне, что вздор этот вечен,  
Неподвижен, словно солнце в зените...  
И когда я говорил: «Добрый вечер!» —  
Отвечали старики: «Извините».

И кивали, как глухие глухому,  
Улыбались не губами, а краем:  
Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому,  
Но как надо, извините, не знаем...

Я твердил им в их мохнатые уши  
В перекурах за сортирную дверью:  
«Я такой же, как и вы, только хуже!»  
И поддакивали старцы, не веря.

И в кино я не ходил — «Ясно, немец!».  
И на танцах не бывал — «Академик!».  
И в палатке я купил чай и перец —  
«Эко денег у него, эко денег!»

Ну и ладно, и не надо о славе...  
Смерть подарит нам бубенчики славы!  
А живем мы в этом мире послами  
Не имеющей названья державы...

*Декабрь 1967*

БАЛЛАДА  
О ТОМ, КАК ОДНА ПРИНЦЕССА РАЗ В ДВА МЕСЯЦА  
ПРИХОДИЛА ПОУЖИНАТЬ В РЕСТОРАН «ДИНАМО»

...И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна...  
*А. Блок*

Кивал с эстрады ей трубач,  
Сипел трубой, как в насморке,  
Он и прозвал ее, трепач,  
Принцессой с Нижней Масловки.  
Он подтянул, трепач, штаны  
И выдал румбу с перчиком,  
А ей, принцессе, хоть бы хны,  
Едва качнула плечиком —  
Мол, только пальцем поманю,  
Слетятся сотни соколов,  
И села, и прочла меню,  
И выбрала бефстроганов.

И все бухие пролетарии,  
Все тунеядцы и жулье,  
Как на комету в планетарии,  
Глядели, суки, на нее...

Бабье вокруг, издавши стон,  
Пошло махать платочками,  
Она ж, как леди Гамильтон,  
Пила ситро глоточками.  
Бабье вокруг — сплошной собес! —  
Воздев, как пики, вилочки,  
Рубают водку под супец,  
Шампанское под килечки.  
И, сталь коронок заголя,  
Расправой бредят скорою:  
Ах, эту б дочку короля  
Шарахнуть бы «Авророю»!

И все бухие пролетарии,  
Смирив идейные сердца,  
Готовы к праведной баталии  
И к штурму Зимнего дворца!

Душнеет в зале, как в метро,  
От пергидрольных локонов,  
Принцесса выпила ситро  
И съела свой бефстроганов.  
И вновь тарашится бабье  
На стать ее картинную,  
На узком пальце у нее  
Кольцо за два с полтиною.  
А время, подлое, течет,  
И, зал пройдя, как пасеку,  
«Шестерка» ей приносит счет,  
И все, и крышка празднику!

А между тем пила и кушала,  
Вложив всю душу в сей процесс,  
Благополучнейшая шушера,  
Не признающая принцесс.

...Держись, держись, держись, держись,  
Крепись и чисти перышки,  
Такая жизнь — плохая жизнь —

У современной Золушки!  
Не ждет на улице ее  
С каретой фея крестная...  
Жует бабье, сопит бабье,  
Придумывает грозное!  
А ей — не царство на веку,  
Посулы да побасенки.  
А там — вались по холодку,  
«Принцесса» с Нижней Масловки!

И вот она идет меж столиков  
В своем костюмчике джерси,  
Ах, ей далеко до Сокольников,  
Ах, ей не хватит на такси!

(1967)

О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ВОССТАЛ  
ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
СЛАБОРАЗВИТЫМ СТРАНАМ

История эта очень печальная. Клим Петрович рассказывает ее в состоянии крайнего раздражения и позволяет себе поэтому некоторые не вполне парламентские выражения.

...Прямо — думал я одно: быть бы живу!  
Прямо — думал: до нутря просолюсь!  
А мотались мы тогда по Алжиру  
С делегацией ЦК профсоюза.

Речи-встречи, то да се, кроем НАТО,  
Но вконец оголодал я, катаясь.  
Мне ж лягушек ихних на дух не надо,  
Я им, сукиным детям, не китаец!

Тут и Мао, сам-рассам, окосел бы!  
Быть бы живу, говорю, не до жира!  
И одно мое спасенье —  
Консервы,  
Что мне Дарья в чемодан положила.

Но случилось, что она с переляку  
Положила мне одну лишь салаку.  
Я в отеле их засратом, в «Паласе»,  
Запираюсь, как вернемся, в палате,

Помолюсь, как говорится, Аллаху  
И рубаю в маринаде салаку.  
А наутро я от жажды мычу,  
И хоть воду мне давай, хоть мочу!

Ну, извелся я!  
И как-то под вечер  
Не стерпел и очутился в продмаге...

Я ж не лысый, мать их так!  
Я ж не вечен!  
Я ж могу и помереть с той салаки!

Вот стою я, прямо злой, как Малюта,  
То мне зябко в пинжаке, то мне жарко.  
Хоть дерьмовая, а все же валюта,  
Все же тратить исключительно жалко!

И беру я чтой-то вроде закуски,  
Захудаленькую баночку с краю.  
Но написано на ей не по-русски,  
А по-ихнему я плохо читаю.

Подхожу я тут к одной синьорите:  
— Извините, мол, ком бьен,  
Битте-дритте,  
Подскажите, мол, не с мясом ли банка?..—  
А она в ответ кивает, засранка!

И пошел я, как в беспамятстве, к кассе,  
И очнулся лишь в палате, в «Паласе» —  
Вот на койке я сажу нагишом  
И орудую консервным ножом!

И до самого рассветного часа  
Матерился я в ту ночь, как собака.  
Оказалось — в этой банке не мясо,  
Оказалась в этой банке салака!

И не где-нибудь в Бразилии «маде»,  
А написано ж внизу, на наклейке,  
Что, мол, «маде» в СССР,  
В маринаде,  
В Ленинграде,  
Рупь четыре копейки!

...Нет уж, братцы, надо ездить поближе,  
Не на край, расперемать его, света!  
Мы ж им, гадам, помогаем —  
И мы же  
Пропадаем, как клопы, через это!

Я-то думал: как-никак заграница,  
Думал, память как-никак сохранится.  
Оказалось, что они, голодранцы,  
Понимают так, что мы — иностранцы!

И вся жизнь их заграничная — лажа!  
Даже хуже, извините, чем наша!

*(1968—1970)*

#### О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ВЫСТУПАЛ НА МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ МИРА

У жене моей спросите, у Даши,  
У сестре ее спросите, у Клавки,  
Ну ни капельки я не был поддавши,  
Разве только что маленько — с поправки!

Я культурно проводил воскресенье,  
Я помылся и попарился в баньке.  
А к обеду, как сошлась моя сёмья,  
Начались у нас подначки да байки!

Только принял я грамм сто для почина  
(Ну, не более чем сто, чтоб я помер!),  
Вижу — к дому подъезжает машина,  
И гляжу — на ней обкомовский номер!

Ну, я на крылечко — мол, что за гость,  
Кого привезли, не чеха ли?!

А там — порученец, чернильный гвоздь,  
«Сидай, — говорит, — поехали!»

Ну, ежели зовут меня,  
То — майна-вира!  
В ДК идет заутреня  
В защиту мира!  
И Первый там, и прочие — из области.

Ну, сажусь я порученцу на нóги.  
Он — листок мне.  
Я и тут не перечу.  
«Ознакомься,— говорит,— по дороге  
Со своею выдающейся речью!»

Ладно, мыслю, набивай себе цену,  
Я ж в зачтениях мастак, слава Богу!  
Приезжаем, прохожу я на сцену  
И сажусь со всей культурностью сбоку.

Вот моргает мне, гляжу, председатель:  
Мол, скажи свое рабочее слово!  
Выхожу я  
И не дробно, как дятел,  
А неспешно говорю и сурово.

«Израильская,— говорю,— военщина  
Известна всему свету!  
Как мать,— говорю,— и как женщина,  
Требую их к ответу!

Который год я вдовая,  
Все счастье — мимо,  
Но я стоять готовая  
За дело мира!  
Как мать вам заявляю и как женщина!..»

Тут отвисла у меня прямо челюсть —  
Ведь бывают же такие промашки! —  
Это сучий сын, пижон-порученец,  
Перепутал в суматохе бумажки!

И не знаю — продолжать или кончить,  
В зале вроде ни смешочков, ни вою...  
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,  
А кивает мне своей головою!



Ну, и дал я тут галопом — по фразам  
(Слава Богу, навсегда все и то же!),  
А как кончил —  
Все захлопали разом,  
Первый тоже — лично — сдвинул ладони.

Опосля зазвал в свою вотчину  
И сказал при всем окружении:  
«Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!  
Очень верно осветил положение!»

Такая вот история!

(1968)

О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ДОБИВАЛСЯ,  
ЧТОБ ЕГО ЦЕХУ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ  
«ЦЕХА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»,  
И, НЕ ДОБИВШИСЬ ЭТОГО,— ЗАПИЛ

...Все смеются на бюро:  
«Ты ж как витязь —  
И жилплощадь, и получка по-царски!»  
Ну, а я им:  
«Извините, подвиньтесь!  
Я ж за правду хлопочу, не за цацки!  
Как хотите — на доске ль, на бумаге ль,  
Цельным цехом отмечайте, не лично.  
Мы ж работаем на весь наш соцлагерь,  
Мы ж продукцию даем на отлично!  
И совсем мне, — говорю, — не до смеху,  
Это чье же, — говорю, — указанье,  
Чтоб такому выдающему цеху  
Не присваивать почетное званье?!»

А мне говорят  
(Все друзья говорят —  
И Фюл, и Пахомов с Тонькою):  
«Никак, — говорят, — нельзя, — говорят, —  
Уж больно тут дело тонкое!»

«А я,— говорю (матком говорю!),—  
Пойду,— говорю,— в обком,— говорю!»  
А в обкоме мне всё то же:  
«Не суйся!  
Не долдонь, как пономарь поминанье.  
Ты ж партийный человек, а не зюзя,  
Должен все ж таки иметь пониманье!  
Мало, что ли, пресса ихняя треплет  
Все, что делается в нашем доме?  
Скажешь — дремлет Пентагон?  
Нет, не дремлет!  
Он не дремлет, мать его, он на стреме!»

Как завелся я тут с пол-оборота:  
«Так и будем сачковать?!  
Так и будем?!  
Мы же в счет восьмидесятого года  
Выдаем свою продукцию людям!»

А мне говорят:  
«Ты чего,— говорят,—  
Орешь, как пастух на выпасе?!  
Давай,— говорят,— молчи,— говорят,—  
Сиди,— говорят,— и не рыпайся!»

А я говорю, в тоске говорю:  
«Продолжим наш спор в Москве»,— говорю!

...Проживаюсь я в Москве, как собака.  
Отсылает референт к референту.  
«Ты и прав,— мне говорят,— но, однако,  
не подходит это дело к моменту.  
Ну, а вздумается вашему цеху,  
Скажем, встать на юбилейную вахту?  
Представляешь сам, какую оценку  
Би-Би-Си дадут подобному факту?!»

Ну, а потом — про ордена, про жилплощадь,  
А прощаясь, говорит на прощанье:  
«Было б в мире положенье попроще,  
Мы б охотно вам присвоили званье».

«А так,— говорят,— ну, ты прав,— говорят,—  
И продукция ваша лучшая!  
Но все ж,— говорят,— не д р а п,— говорят,—  
А проволока колючая!..»

«Ну что ж,— говорю,—  
Отбой! — говорю.—  
Пойду,— говорю,—  
В запой»,— говорю.

Взял — и запил.

*(1968—1970)*

## ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

### ПАМЯТИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

...Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года, на 71-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного.

*Единственное появившееся в газетах, вернее, в одной — «Литературной газете», сообщение о смерти Б. Л. Пастернака.*

Разобрали венки на венки,  
На полчаса погрустнели...  
Как гордимся мы, современники,  
Что он умер в своей постели!

И терзали Шопена лабухи.  
И торжественно шло прощанье...  
Он не мылил петли в Елабуге  
И с ума не сходил в Сучане!

Даже киевские «письмэнники»  
На поминки его поспели!..  
Как гордимся мы, современники,  
Что он умер в своей постели!

И не то чтобы с чем-то за сорок.  
Ровно семьдесят — возраст смертный,  
И не просто какой-то пасынок,  
Член Литфонда — усопший сметный!

Ах, осыпались лапы елочки,  
Отзвенели его метели...  
До чего ж мы гордимся, сволочи,  
Что он умер в своей постели!

«Мело, мело, по всей земле,  
Во все пределы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела».

Нет, никакая не свеча,  
Горела люстра!  
Очки на морде палача  
Сверкали шустро!

А зал зевал, а зал скучал —  
Мели, Емеля!  
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,  
Не к «высшей мере»!

И не к терновому венцу  
Колесованьем,  
А, как поленом по лицу,  
Голесованьем!

И кто-то спьяну вопрошал:  
«За что? Кого там?»  
И кто-то жрал, и кто-то ржал  
Над анекдотом...

Мы не забудем этот смех  
И эту скуку!  
Мы поименно вспомним всех,  
Кто поднял руку!

«Гул затих. Я вышел на подмостки,  
Прислонясь к дверному косяку...»

Вот и смолкли клевета и споры,  
Словно взят у вечности отгул...  
А над гробом встали мародеры,  
И несут почетный...

Ка-ра-ул!

4 декабря 1966

## БЕЗ НАЗВАНИЯ

...И благодарного народа  
Он слышит голос: «Мы пришли  
Сказать: где Сталин, там свобода,  
Мир и величие земли!»

А. Ахматова

Ей страшно. И душно. И хочется лечь.  
Ей с каждой секундой ясней,  
Что это не совесть, а русская речь  
Сегодня глумится над Ней!

И все-таки надо писать эпилог,  
Хоть ломит от боли висок.  
Хоть каждая строчка, и слово, и слог  
Скрипят на зубах, как песок.

...Скрипели слова, как песок на зубах.  
И вдруг — расплывались в пятно.  
Белели слова, как предсмертных рубах  
Белеет во мгле полотно.

...По белому снегу вели на расстрел  
Над берегом белой реки.  
И сын Ее вслед уходившим смотрел  
И ждал — этой самой строки!

Торчала строка, как сухое жнивье,  
Шуршала опавшей листвой.  
Но Ангел стоял за плечом у Нее.  
И скорбно кивал головой.

(1972—1973)

## ЛЕГЕНДА О ТАБАКЕ

Посвящается памяти замечательного человека, Даниила Ивановича Ювачева, придумавшего себе странный псевдоним — Даниил Хармс, писавшего прекрасные стихи и прозу, ходившего в автомобильной кепке и с неизменной трубкой в зубах, который действительно исчез, просто вышел на улицу и исчез. У него есть такая пророческая песенка:

«Из дома вышел человек  
С веревкой и мешком  
И в дальний путь, и в дальний путь  
Отправился пешком.  
Он шел и все глядел вперед,  
И все вперед глядел.  
Не спал, не пил,  
Не спал, не пил,  
Не спал, не пил, не ел.  
И вот однажды поутру  
Вошел он в темный лес.  
И с той поры, и с той поры,  
И с той поры исчез...»

Лил жуткий дождь.  
Шел страшный снег.  
Вовсю дурил двадцатый век.  
Кричала кошка на трубе,  
И выли сто собак.  
И, встав с постели, человек  
Увидел кошку на трубе,  
Зевнул и сам сказал себе:  
«Кончается табак!  
Табак кончается — беда.  
Пойду куплю табак».  
И вот... но это ерунда,  
И было все не так.

Из дома вышел человек  
С веревкой и мешком.  
И в дальний путь,  
И в дальний путь  
Отправился пешком...

И тут же, проглотив смешок,  
Он сам себя спросил:  
«А для чего он взял мешок?  
Ответьте, Даниил!»  
Вопрос резонный, нечем крыть,  
Летит к чертям строка,  
И надо, видно, докурить  
Остаток табака...

Итак, однажды человек  
Та-та-та с посошком...  
И в дальний путь,  
И в дальний путь  
Отправился пешком.

Он шел и все глядел вперед,  
И все вперед глядел,  
Не спал, не пил,  
Не спал, не пил,  
Не спал, не пил, не ел...

А может, снова все начать  
И бросить этот вздор?!  
Уже на ордере печать  
Оттиснул прокурор...

Начнем все эдак: пять зайчат  
Решили ехать в Тверь...  
А в дверь стучат,  
А в дверь стучат —  
Пока не в эту дверь.

Пришли зайчата на вокзал,  
Прошли зайчата в зальце.  
И сам кассир, смеясь, сказал:  
«Впервые вижу зайца!»

Но этот чертов человек  
С веревкой и мешком,  
Он и без спроса в дальний путь  
Отправился пешком.  
Он шел и все глядел вперед,  
И все вперед глядел,  
Не спал, не пил,



Не спал, не пил,  
Не спал, не пил, не ел.  
И вот однажды поутру  
Вошел он в темный лес.  
И с той поры, и с той поры,  
И с той поры исчез.

На поле — снег, на кухне — чад.  
Вся комната в дыму,  
А в дверь стучат,  
А в дверь стучат.  
На этот раз — к нему!

О чем он думает теперь,  
Теперь, потом, всегда,  
Когда стучит ногою в дверь  
Чугунная беда?!

А тут ломается строка,  
Строфа теряет статью,  
И нет ни капли табака.  
А там — уж не достать!  
И надо дописать стишок,  
Пока они стучат...  
И значит, все-таки — мешок.  
И побоку зайчат.  
(А в дверь стучат!)  
В двадцатый век!  
(Стучат!)  
Как в темный лес,  
Ушел однажды человек  
И навсегда исчез!..

Но Парка нить его тайком  
По-прежнему прядет.  
А он ушел за табаком.  
Он вскорости придет.

За ним бежали сто собак,  
И кот по крышам лез...  
Но только в городе табак  
В тот день как раз исчез.

И он пошел в Петродворец.  
Потом пешком в Торжок...

Он догадался наконец,  
Зачем он взял мешок...

Он шел сквозь снег  
И шел сквозь тьму,  
Он был в Сибири и в Крыму,  
А опер каждый день к нему  
Стучится, как дурак...  
И много, много лет подряд  
Соседи хором говорят:  
«Он вышел пять минут назад,  
Пошел купить табак...»

(1968—1969)

## ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

*Памяти О. Э. Мандельштама*

...В квартире, где он жил, находились  
он, Надежда Яковлевна и Анна Анд-  
реевна Ахматова, которая приехала  
его навестить из Ленинграда. И вот  
они сидели все вместе, пока длился  
обыск до утра, и, пока шел этот обыск,  
за стеною, тоже до утра, у соседа их,  
Кирсанова, ничего не знавшего об обы-  
ске, запускали пластинки с модной в  
ту пору гавайской гитарой...

И только и света,  
Что в звездной колючей неправде.  
А жизнь промелькнет  
Театрального капора пеной.  
И некому молвить  
Из табора улицы темной...

*О. Мандельштам*

Всю ночь за стеной ворковала гитара,  
Сосед-процелыга крутил юбилей,  
А два понятых, словно два санитары,  
А два понятых, словно два санитары,  
Зевая, томились у черных дверей.

И жирные пальцы с неспешной заботой  
Кромешной своей занимались работой.

И две королевы глядели в молчанье,  
Как пальцы копались в бумажном мочале,

Как жирно листали за книжкой книжку,  
А сам-то король — все бочком да вприпрыжку,  
Чтоб взглядом не выдать — не та ли страница.  
Чтоб рядом не видеть безглазые лица!

А пальцы искали крамолу, крамолу...  
А там, за стеной, все гоняли «Рамону»:  
«Рамона, какой простор вокруг, взгляни,  
Рамона, в целом мире мы одни».

«...А жизнь промелькнет  
Театрального капора пеной...»

И, глядя, как пальцы шуруют в обивке,  
«Вольно ж тебе было, — он думал, — вольно!  
Глотай своего якобинства опивки!  
Глотай своего якобинства опивки!  
Не уксус еще, но уже не вино».

Щелкунчик-скворец, простофиля Емеля,  
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?!  
На что ты истратил свои золотые?!  
И скушно следили за ним понятия...

А две королевы бездарно курили  
И тоже казнили себя и корили —  
За лень, за небрежный кивок на вокзале,  
За все, что ему второпях не сказали...

А пальцы копались, и рвалась бумага...  
И пел за стеной тенорок-бедолага:  
«Рамона, моя любовь, мои мечты,  
Рамона, везде и всюду только ты...»

«...И только и света,  
Что в звездной колючей неправде...»

По улице черной, за «вороном» черным,  
За этой каретой, где окна крестом,  
Я буду метаться в дозоре почетном,  
Я буду метаться в дозоре почетном,  
Пока, обессилев, не рухну пластом!

Но слово останется, слово осталось!  
Не к слову, а к сердцу приходит усталость.  
И хочешь не хочешь — слезай с карусели.  
И хочешь не хочешь — конец одиссеи!

Но нас не помчат паруса на Итаку:  
В наш век на Итаку везут по этапу.  
Везут Одиссея в телячьем вагоне,  
Где только и счастья, что нету погони!

Где, выпив «ханжи», на потеху вагону  
Блатарь-одессит распевает «Рамону»:  
«Рамона, ты слышишь ветра нежный зов,  
Рамона, ведь это песнь любви без слов...»

«...И некому, некому,  
Некому молвить  
Из табора улицы темной...»

(1969)

## НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

*Памяти М. М. Зощенко*

В матершинном субботнем загуле шалманчика  
Обезьянка спала на плече у шарманщика.  
А когда просыпалась, глаза ее жуткие  
Выражали почти человечью отчаянность,  
А шарманка дудела про сопки маньчжурские,  
И Тамарка-буфетчица очень печалилась...

«Спит гаолян,  
Сопки покрыты мглой...»

Были и у Томки трали-вали.  
И не Томкой — Томочкою звали.  
Целовалась с миленьким в осоке.  
И не пивом пахло, а апрелем,  
Может быть, и впрямь на той высоте  
Сгинул он, порубан и пострелян...

«Вот из-за туч блеснула луна.  
Могилы хранят покой...»

А последний шарманщик — обломок империи  
Все пылил перед Томкой павлиньими перьями.  
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские.  
То, мол, теплое пиво, то мясо прохладное.  
А шарманка дудела про сопки маньчжурские.  
И спала на плече обезьянка прокатная...

«Тихо вокруг.  
Ветер туман унес...»

И, делясь тоской, как барышами,  
Подпевали шлюхи с алкашами.  
А шарманщик ел, зараза, хаши,  
Алкашам подмигивал прелестно —  
Дескать, деньги ваши — будут наши,  
Дескать, вам приятно — мне полезно!

«На сопках Маньчжурии воины спят.  
И русских не слышно слез...»

А часов этак в десять, а может, и ранее  
Непонятный чудака появился в шалмании.  
Был похож он на вдруг постаревшего мальчика.  
За рассказ, напечатанный неким журнальчиком,  
Толстомордый подонок с глазами обманщика  
Объявил чудака всенародно обманщиком...

«Пусть гаолян  
Нам навевает сны...»

Сел чудака за стол и вжался в угол,  
И легонько пальцами постукал,

И сказал, что отдохнет немного,  
Помолчав, добавил напряженно:  
«Если есть боржом, то, ради Бога,  
Дайте мне бутылочку боржома...»

«Спите, герои русской земли,  
Отчизны родной сыны...»

Обезьянка проснулась, тихонько зацокала,  
Загляделась на гостя, присевшего около,  
А Тамарка-буфетчица — сука рублевая —  
Покачала смущенно прическою пегую  
И сказала: «Пардон, но у нас не столовая,  
Только вы обождите, я за угол сбегая...»

«Спит гаолян,  
Сопки покрыты мглой...»

А чудака глядел на обезьянку,  
Пальцами выстукивал морзянку,  
Словно бы он звал ее на помощь,  
Удивляясь своему бездомью.  
Словно бы он спрашивал: «Запомнишь?»  
И она кивала: «Да, запомню».

«Вот из-за туч блеснула луна,  
Могилы хранят покой...»

Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою,  
Прибежала Тамарка с боржомной бутылкою  
И сама налила чудаку полстаканчика  
(Не знавали в шалмане подобные почести).  
А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика,  
Приказала: «Играй, человек в одиночестве».

«Тихо вокруг,  
Ветер туман унес...»

Замолчали шлюхи с алкашами,  
Только мухи крыльями шуршали...  
Стало почему-то очень тихо.  
Наступила странная минута —  
Непонятное, чужое лихо  
Стало общим лихом почему-то!

«На сопках Маньчжурии войны спят.  
И русских не слышно слез...»

Не взрывалось молчанье ни матом, ни брехами,  
Обезьянка сипела спаленными бронхами,  
И шарманщик, забыв трепотню свою барскую,  
Сам назначил себе — мол, играй да помалкивай.  
И, почти что неслышно сказав: «Благодарствую», —  
Наклонился чудак над рукою Тamarкиной...

«Пусть гаолян  
Нам навевает сны...»

И ушел чудак, не взявши сдачи,  
Всем в шалмане пожелал удачи...  
Вот какая странная эпоха —  
Не горим в огне — и тонем в луже!  
Обезьянке было очень плохо,  
Человеку было много хуже!

«Спите, герои русской земли,  
Отчизны родной сыны...»

(1969)

## ПОЕЗД

*Памяти С. М. Михоэлса*

Ни гневом, ни порицаньем  
Давно уж мы не бряцаем:  
Здороваемся с подлецами,  
Раскланиваемся с полицаем.

Не рвемся ни в бой, ни в поиск —  
Все праведно, все душевно.  
Но помни — отходит поезд!  
Ты слышишь? Уходит поезд  
Сегодня и ежедневно.

А мы балагурим, а мы куролесим,  
Нам недругов лезть — как вода из колодца!  
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам —  
Колеса, колеса, колеса, колеса...

Такой у нас нрав спокойный,  
Что без никаких стараний  
Нам кажется путь окольный  
Кратчайшим из расстояний.

Оплачен страховки полис,  
Готовит обед царевна...  
Но помни — отходит поезд,  
Ты слышишь?! Уходит поезд  
Сегодня и ежедневно.

Мы пол отциклюем, мы шторы повесим,  
Чтоб нашему раю — ни краю, ни сноса.  
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам —  
Колеса, колеса, колеса, колеса...

От скорости века в сонности  
Живем мы, в живых не значась...  
Непротивление совести —  
Удобнейшее из чудачеств!

И только порой под сердцем  
Кольнет тоскливо и гневно —  
Уходит наш поезд в Освенцим,  
Наш поезд уходит в Освенцим  
Сегодня и ежедневно!

А как наши судьбы — как будто похожи —  
И на гору вместе, и вместе с откоса!  
Но вечно — по рельсам, по сердцу, по коже —  
Колеса, колеса, колеса, колеса!

(1964—1966)



## СНОВА АВГУСТ

*Памяти А. А. Ахматовой*

Анна Андреевна очень боялась и не любила месяц август, и считала этот месяц для себя несчастливым, и имела к этому все основания, поскольку в августе был расстрелян Гумилев на станции Бернгардовка, в августе был арестован ее сын Лев, в августе вышло известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и т. д.

«Кресты» — ленинградская тюрьма; Пряжка — река в Ленинграде.

...а так как мне бумаги не хватило,  
Я на твоём пишу черновике.

*Анна Ахматова*

В той злой тишине, в той неверной,  
В тени разведенных мостов  
Ходила она по Шпалерной,  
Моталась она у «Крестов».

Ей в тягость? Да нет, ей не в тягость —  
Привычно, как росчерк пера,  
Вот если бы только не август.  
Не чертова эта пора!

Таким же неверно-нелепым  
Был давний тот август, когда  
Над черным бернгардовским небом  
Стрельнула, как птица, беда.

И разве не в августе снова,  
В еще не отмеренный год,  
Осудят мычанием слово  
И совесть отправят в расход?!

Но это потом, а покуда  
Которую ночь — над Невой,  
Уже не надеясь на чудо,  
А только бы знать, что живой!

И в сумерки вписана четко,  
Как вписана в нашу судьбу,  
По-царски небрежная челка,  
Прилипшая к мокрому лбу.

О шелест финских сосен,  
Награда за труды!  
Но вновь приходит осень —  
Пора твоей беды!

И август, и как будто  
Все то же, как тогда,  
И врет мордастый Будда,  
Что горе — не беда!

Но вьется, вьется челка  
Колечками на лбу.  
Уходит в ночь девчонка  
Пытать твою судьбу.

По улице бессветной,  
Под окрик патрулей  
Идет она бессмертной  
Походкою твоей.

На праздник и на плаху  
Идет она, как ты!  
По Пряжке, через Прагу —  
Искать свои «Кресты»!

И пусть судачат глупые соседи.  
Пусть кто-то обругает не со зла,  
Она домой вернется на рассвете  
И никому ни слова — где была...

Но с мокрых пальцев облизнет чернила  
И скажет, примостившись в уголке:  
«Прости, но мне бумаги не хватило,  
Я на твоём пишу черновике...»

*(1968—1969)*

## СЛУШАЯ БАХА

*М. Ростроповичу*

На стене прозвенела гитара,  
Зацвели на обоях цветы.  
Одиночество Божьего дара —  
Как прекрасно  
И горестно ты!

Есть ли в мире волшебней,  
Чем это  
(Всей доюке земной вопреки)  
Одиночество звука и цвета,  
И паденья последней строки?

Отправляется небыль в дорогу  
И становится былью потом.  
Кто же смеет указывать Богу  
И заведовать Божьим путем?!

Но к словам, ограненным строкою,  
Но к холсту, превращенному в дым,  
Так легко прикоснуться рукою,  
И соблазн этот так нестерпим!

И не знают вельможные каты,  
Что не всякая близость близка  
И что в храм ре-минорной токкаты  
Недействительны их пропуска!

(1973)

## УХОДЯТ ДРУЗЬЯ

*Памяти Фриды Вигдоровой*

На последней странице газет печатаются объявления о смерти, а на первых — статьи, сообщения и покайные письма.

Уходят, уходят, уходят друзья,  
Одни — в никуда, а другие — в князя...

В осенние дни и в весенние дни,  
Как будто в году воскресенья одни,  
Уходят, уходят, уходят,  
Уходят мои друзья!

Не спешите сообщить по секрету:  
Я не верю вам, не верю, не верю!  
Но приносят на рассвете газету,  
И газета подтверждает потерю.

Знать бы загодя, кого сторониться,  
А кому была улыбка — причастьем!  
Есть — уходят на последней странице,  
Но которые на первых — те чаще...

Уходят, уходят, уходят друзья,  
Каюк одному, а другому — стезя.  
Такой по столетию ветер гудит,  
Что косит своих и чужих не щадит,  
Уходят, уходят, уходят,  
Уходят мои друзья!

Мы мечтали о морях-океанах,  
Собирались прямиком на Гавайи!  
И, как спятивший трубач, спозаранок  
Уцелевших я друзей созываю.

Я на ощупь, и на вкус, и по весу  
Учиняю им поверку, но вскоре  
Вновь приносят мне газету-повестку  
К отбыванию повинности горя.

Уходят, уходят, уходят друзья!  
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях,  
Им право — не право, им совесть — пустяк,  
Одни наплюют, а другие простят!  
Уходят, уходят, уходят,  
Уходят мои друзья!

И когда потеря громом крушенья  
Оглушила, полоснула по сердцу,

Не спешите сообщить в утешенье,  
Что немало есть потерь по соседству.

Не дарите мне беду, словно сдачу,  
Словно сдачу, словно гривенник стертый!  
Я ведь все равно по мертвым не плачу —  
Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый.

Уходят, уходят, уходят друзья —  
Одни — в никуда, а другие — в князья...  
В осенние дни и в весенние дни,  
Как будто в году воскресенья одни,  
Уходят, уходят, уходят,  
Уходят мои друзья...

(1965)

### МЫ НЕ ХУЖЕ ГОРАЦИЯ

Вы такие нестерпимо ражие  
И такие, в сущности, примерные,  
Все томят вас бури вернисажные,  
Все шатают паводки премьерные.

Ходите, тишайшие, в неистовых,  
Феями цензурными заняньканы!  
Ну, а если — ни премьер, ни выставок,  
Десять метров комната в Останкине!

Где улыбкой стражники-наставники  
Не сияют благостно и святочно,  
Но стоит картина на подрамнике,  
Вот и все!

...А этого достаточно!  
Там стоит картина на подрамнике —  
Этого достаточно!

Осудив и совесть и бесстрашие  
(Вроде не заложишь и не купишь их),  
Ах, как вы присутствуете, ражие,  
По карманам рассовавши кукиши!

Что ж, зовите небылицы былями,  
Окликайте стражников по имени!  
Бродят между ражими Добрынями  
Тунеядцы Несторы и Пимены.

Их имен с эстрад не рассиропили,  
В супер их не тискают облаточный,  
«Эрика» берет четыре копии,  
Вот и все!

...А этого достаточно!  
Пусть пока всего четыре копии —  
Этого достаточно!

Время сеет ветры, мечет молнии,  
Создает советы и комиссии,  
Что ни день — фанфарное безмолвие  
Славит многодумное безмыслие.

Бродит Кривда с полосы на полосу,  
Делится с соседской Кривдой опытом,  
Но гремит напетое вполголоса,  
Но гудит прочитанное шепотом,

Ни партера нет, ни лож, ни яруса,  
Клака не безумствует припадочно,  
Есть магнитофон системы «Луза»,  
Вот и все!

...А этого достаточно!

Есть, стоит картина на подрамнике!  
Есть, отстукано четыре копии!  
Есть магнитофон системы «Луза»!  
И этого достаточно!

(1964—1966)

## РУССКИЕ ПЛАЧИ

### ПАМЯТИ ЖИВАГО

*О. Ивинской*

...Два вола, впряженные в арбу, медленно подымались на крутой холм. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что везете?» — «Грибобеда».

*А. Пушкин*

Опять над Москвою пожары  
И грязная наледь в крови.  
И это уже не татары,  
Похуже Мамаю — свои!

В предчувствии гибели низкой  
Октябрь разыгрался с утра,  
Цепочкой, по Малой Никитской,  
Прорваться хотят юнкера.

Не надо, оставьте, отставить!  
Мы загодя знаем итог!  
А снегу придется растаять  
И с кровью уплыть в водосток.

Но катится снова и снова  
«Ура!» сквозь глухую пальбу.  
И челка московского сноба  
Под выстрелы пляшет на лбу!

Из окон, ворот, подворотен  
Глядит, притаясь, дребедень.  
А суть мы потом наворотим  
И тень наведем на плетень!

И станет далекое близким,  
И кровь притворится водой,  
Когда по Ямским и Грузинским  
Покой обернется бедой!

И станет преступное дерзким,  
И будет обидно, хоть плачь,  
Когда протрусит Камергерским  
В испарине страха лихач!

Свернет на Тверскую к Страстному,  
Трясаясь, матерясь и дрожа,  
И это положат в основу  
Рассказа о днях мятежа.

А ты, до беспамятства рада,  
У Иверской купишь цветы,  
Сидельцев Охотного ряда  
Поздравишь с победою ты.

Ты скажешь — пахнуло озоном,  
Трудящимся дали права!  
И город малиновым звоном  
Ответит на эти слова.

О Боже мой, Боже мой, Боже!  
Кто выдумал эту игру!  
И снова погода, похоже,  
Испортиться хочет к утру.

Предвестьем Всевышнего гнева  
Посыплется с неба крупа,  
У церкви Бориса и Глеба  
Сойдется в молчанье толпа.

И тут ты заплачешь. И даже  
Пригнешься от боли тупой.  
А кто-то, нахальный и ражий,  
Взмахнет картузом над толпой!





Все пригодится — и денежки, и выпивка, и жратва!  
Ах, до чего же весело гуляем мы, мародеры,  
Ах, до чего же веские придумываем слова!

Слушайте марш мародеров!..

Сладко снят победители,  
Им снятся золотые горы,  
Им снится Знамя Победы, рябое от рваных дыр.  
А нам и поспать-то некогда,  
Потому что мы — мародеры.  
Но, спятив с ума от страха,  
Нам — рукоплещет мир!

Слушайте марш мародеров!..

И это еще не главное.  
Главного вы не видели.  
Будет утро и солнце в праздничных облаках.  
Горнист протрубит побудку.  
Сон стряхнут победители  
И увидят, что Знамя Победы не у них, а у нас в руках!

Слушайте марш... Марш...

И тут уж нечего спорить.  
Пустая забава — споры.  
Когда улягутся страсти и развеется бранный дым,  
Историки разберутся — кто из нас мародеры,  
А мы-то уж им подскажем!  
А уж мы-то их просветим!

Слушайте марш победителей!

Играют оркестры марши над пропастью плац-парада.  
Девки машут цветами.  
Строй нерушим и прям.  
И, стало быть, — всё в порядке!

И, стало быть,— всё как надо  
Вам, мародерам, пуля!  
А девки и марши — нам!

Слушайте марш победителей!  
(Скрип сапогов по гравиию.)  
Славьте нас, победителей,  
И великую нашу армию!  
Слава! Слава! Слава нам!..

(1974)

## ЗАНЯЛИСЬ ПОЖАРЫ

...Пахнет гарью. Четыре недели  
Торф сухой по болотам горит.  
Даже птицы сегодня не пели,  
И осина уже не дрожит.

*А. Ахматова*

Отравленный ветер гудит и дурит  
Которые сутки подряд.  
А мы утешаем своих Маргарит,  
Что рукописи не горят!  
А мы утешаем своих Маргарит,  
Что просто земля под ногами горит,  
Горят и дымятся болота —  
И это не наша забота!

Такое уж время — весна не красна,  
И, право же, просто смешно,  
Как «опер» в саду забивает «козла»  
И смотрит на наше окно,  
Где даже и утром темно.  
А «опер» усердно играет в «козла»,  
Он вовсе не держит за пазухой зла,  
Ему нам вредить неохота,  
А просто — такая работа.

А наше окно на втором этаже,  
А наша судьба на виду...  
И все это было когда-то уже,  
В таком же крошечном году!  
Вот так же, за чаем, сидела семья,

Вот так же дымилась и тлела земля,  
И гость, опьяненный пожаром,  
Пророчил, что это недаром!

Пророчу и я, что земля неспроста  
Кряхтит, словно взорванный лед,  
И в небе серебряной тенью креста  
Недвижно висит самолет.  
А наше окно на втором этаже,  
А наша судьба на крутом рубеже,  
И даже для этой эпохи —  
Дела наши здорово плохи!

А что до пожаров — гаси не гаси,  
Кляни окаянное лето,—  
Уж если пошло полыхать на Руси,  
То даром не кончится это!

Усни, Маргарита, за прялкой своей,  
А я — отдохнуть бы и рад,  
Но стелется дым, и дурит суховой,  
И рукописи горят.  
И «опер», смешав на столе домино,  
Глядит на часы и на наше окно,  
Он, брови нахмутив густые,  
Партнеров зовет в понятия.

И черные кости лежат на столе,  
И кошка крадется по черной земле  
На вежливых сумрачных лапах.  
И мне уже дверь не успеть запереть,  
Чтоб книги поспрятать, и воду согреть,  
И смыть керосиновый запах!

(1972)

## РУССКИЕ ПЛАЧИ

На степные урочища,  
На лесные берлоги  
Шли Олеговы полчища  
По дремучей дороге.

И, на марш этот глядячи,  
В окаянном бессилье  
В голос плакали вятичи,  
Что не стало России!

Ах, Россия, Расея —  
Ни конца, ни спасенья!

...И живые, и мертвые,  
Все молчат, как немые.  
Мы, Иваны Четвертые,—  
Место лобное в мыле!  
Лишь, босой да уродливый,  
Рот беззубый разиня,  
Плакал в церкви юродивый,  
Что пропала Россия!

Ах, Расея, Россия —  
Все пророки босые!

Горькой горестью мечены  
Наши тихие плачи —  
От петровской неметчины  
До нагайки казачьей!  
Птица вещая — троечка,  
Тряска вечная, чертова!  
Не смущаясь ни столечка,  
Объявилась ты, троечка,  
Чрезвычайкой в Лефортово!

Ах, Россия, Расея —  
Чем набат не веселье?!

Что ни год — лихолетие,  
Что ни враль, то мессия!  
Плачет тысячелетие

По Расее — Россия  
Выкликает проклятия...  
А попробуй спроси —

Да была ль она, братие,  
Эта Русь на Руси?

Эта — с щедрыми нивами,  
Эта — в пене сирени,  
Где рожьется счастливыми  
И отходят в смиренье.  
Где как лебеди — девицы,  
Где под ласковым небом  
Каждый с каждым поделится  
Божьим словом и хлебом.

...Листья капают с деревца  
В безмятежные воды,  
И звенят, как метелица,  
Над землей хороводы.  
А за прялкой беседы,  
На крыльце полосатом,  
Старики-домоседы  
Знай дымят самосадам.  
Осень в золото набрана,  
Как икона в оклад...

Значит — все это наврано,  
Лишь бы в рифму да в лад?!  
Чтоб, как птицы на дереве,  
Затихали в грозу,  
Чтоб не знали, но верили  
И роняли слезу,  
Чтоб начальничкам кланялись  
За дареную пядь,  
Чтоб грешили, и каялись,  
И грешили опять?..

То ли сын, то ли пасынок,  
То ли вор, то ли князь, —  
Разомлев от побасенок,  
Тычешь каждого в грязь!  
Переполнена скверною  
От покрывки до дна...

Но ведь где-то, наверное,  
Существует — Она?!  
Та — с привольными нивами,  
Та — с кипеньем сирени,  
Где рождаются счастливыми  
И отходят в смиренье...

Птица вещая, троечка,  
Буйный свист под крылом!  
Птица, искорка, точечка  
В бездорожье глухом.  
Я молю тебя:  
— Выдюжи!  
Будь и в тленье живой,  
Чтоб хоть в сердце, как в Китеже,  
Слышать благовест твой!..

(1972)

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ,  
или, как было написано на воротах Бухенвальда, —  
«JEDEM DAS SEINE» — «Каждому — свое»

Начинаются день и дневные дела,  
Но треклятая месса уснуть не дала,  
Ломит поясницу, и ноет бок,  
Бесконечной стиркою дом пропах...  
— С добрым утром, Бах,— говорит Бог.  
— С добрым утром, Бог,— говорит Бах.—  
С добрым утром!..

...А над нами с утра, а над нами с утра,  
Как кричит воронье на пожарище,  
Голосят рупора, голосят рупора —  
С добрым утром, вставайте, товарищи!

А потом, досыпая, мы едем в метро,  
В электричке, в трамвае, в автобусе,  
И орут, выворачивая нутро,  
Рупора о победах и доблести.

И спросонья бывает такая пора,  
Что готов я в припадке отчаянья  
Посшибать рупора, посбивать рупора  
И услышать прекрасность молчания...

Под попреки жены исхитрись-ка изволь  
Сочинить переход из це-дура в ха-моль,  
От семейных ссор, от долгов и склок  
Никуда не деться, и дело — швах.  
— Не печалься, Бах,— говорит Бог.  
— Да уж ладно, Бог,— говорит Бах.—  
Да уж ладно!..

...А у бабки insult, и хворает жена,  
И того не хватает, и этого,  
И лекарства нужны, и больница нужна,  
Только место не светит покедова.

И меня в перерыв вызывают в местком,  
Ходит зав по местному присядкою,  
Раз уж дело такое, то мы подмогнем,  
Безвозвратно ссудим десяткою.

И кассир мне деньгу отслонит по рублю,  
Ухмыльнется ухмылкой грабительской,  
Я пол-литра куплю, валидолу куплю,  
Двести сыра и двести «любительской»...

А пронзительный ветер, предвестник зимы,  
Дует в двери капеллы Святого Фомы,  
И поет орган, что всему итог —  
Это вечный сон, это тлен и прах!  
— Но не кощунствуй, Бах,— говорит Бог.  
— А ты дослушай, Бог,— говорит Бах,—  
Ты дослушай!..

А у суки-соседки гулянка в соку,  
Воят девки, хихикают хахали,  
Я пол-литра открою, нарежу сырку,  
Дам жене валидолу на сахаре,



И по первой налью, и налью по второй,  
И сырку, и колбаски покушаю,  
И о том, что я самый геройский герой,  
Передачу охотно послушаю.

И трофейную трубку свою запалю,  
Посмеюсь над мычащею бабкою,  
И еще раз налью, и еще раз налью,  
И к соседке схожу за добавкою...

Он снимает камзол, он сдирает парик,  
Дети шепчутся в детской — вернулся старик,  
Что ж — ему за сорок, немалый срок,  
Синева, как пыль, на его губах...  
— Доброй ночи, Бах,— говорит Бог.  
— Доброй ночи, Бог,— говорит Бах.—  
Доброй ночи!..

(1968)

### ЗАСЫПАЯ И ПРОСЫПАЯСЬ

Все снежком январским припорошено,  
Стали ночи долгие лютей...  
Только потому, что так положено,  
Я прошу прощенья у людей.

Воробьи попрятались в скворешники,  
Улетели за море скворцы...  
Грешного меня — простите, грешники,  
Подлого — простите, подлецы!

Вот горит звезда моя субботняя,  
Равнодушна к лести и хуле...  
Я надену чистое исподнее,  
Семь свечей расставлю на столе.

Расшумятся к ночи дурни-лабухи:  
Ветра и поземки чертовня...

Я усну, и мне приснятся запахи  
Мокрой шерсти, снега и огня.

А потом из прошлого бездонного  
Выплывет озябший голосок —  
Это мне Арина Родионовна  
Скажет: «Нит гедайге<sup>1</sup>, спи, сынок.

Сгнило в вошебойке платье узника,  
Всем печалям подведен итог,  
А над Бабьим Яром — смех и музыка...  
Так что все в порядке, спи, сынок.

Спи, но в кулаке зажми оружие —  
Ветхую Давидову пращу!»  
...Люди мне простят от равнодушия,  
Я им — равнодушным — не прощу!

(1966—1971)

## ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДЕССЕ

...Когда бы не Елена,  
Что Троя вам одна, ахейские мужи?!

*О. Мандельштам*

Научили пилить на скрипочке,  
Что ж — пили!  
Опер Сема кричит:  
— Спасибочки! —  
Словно:  
— Пли!

Опер Сема гуляет с дамою,  
Весел, пьян.  
Что мы скажем про даму данную?  
Не фонтан!

---

<sup>1</sup> Не расстраивайся, не огорчайся (искаж. нем.— *Здесь и далее примеч. сост.*).

Синий бантик на рыжем хвостике  
Высший шик!  
Впрочем, я при Давиде Ойстрахе  
Тоже — пшик.

Но — под Ойстраха — непростительно  
Пить портвейн.  
Так что в мире все относительно,  
Прав Эйнштейн!

Все накручено в нашей участи —  
Радость, боль.  
Ля-диез — это ж тоже в сущности  
Си-бемоль!

Сколько выдано-перевыдано,  
Через край!  
Сколько видано-перевидано,  
Ад и рай!..

Так давайте ж, Любовь Давыдовна,  
Начинайте, Любовь Давыдовна,  
Ваше соло, Любовь Давыдовна,  
Раз — цвай — драй!..

Над шалманом тоска и запахи,  
Сгинь, душа!  
Хорошо хоть, не как на Западе,  
В полночь — ша!

В полночь можно хватить по маленькой,  
Боже ж мой!  
Снять штиблеты, напялить валенки  
И — домой!..

...Я иду домой. Я очень устал и хочу спать. Говорят, когда людям по ночам снится, что они летают, — это значит, что они растут. Мне много лет, но едва ли не каждую ночь мне снится, что я летаю.

...Мои стрекозиные крылья  
Под ветром трепещут едва.  
И сосен зеленые клинья  
Шумят подо мной, как трава.  
А дальше —  
Таласса, Таласса!  
Вселенной волшебная статья!  
Я — мальчик из третьего класса,  
Но как я умею летать!

Смотрите —  
Лечу, словно в сказке,  
Лечу сквозь предутренний дым,  
Над лодками в пестрой оснастке,  
Над городом вечно седым,  
Над пылью автобусных станций —  
И в край приснопамятный тот,  
Где снова ахейские старцы  
Лады снаряжают в поход.

Чужое и глупое горе  
Велит им на Трою грести.  
А мне —  
За Эгейское море!  
А мне еще дальше расти!  
Я вырасту смелым и сильным  
И мир, как подарок, приму.  
И девочка  
С бантиком синим  
Прижмется к плечу моему.

И снова в разрушенной Трое  
«Елена!»  
Труба возвестит.  
И снова...

На углу Садовой какие-то трое остановили меня. Они сбили с меня шапку, засмеялись и спросили:

— Ты еще не в Израиле, старый хрен?!

— Ну что вы, что вы?! Я дома. Я — пока — дома. Я еще летаю во сне.

Я еще расту!..

(1973—1974)

## РАЗГОВОР С МУЗОЙ

Наплевать, если сгину в какой-то Инте,  
Все равно мне бессмертные счастьем потрафили  
На такой широте и такой долготе,  
Что ее не найти ни в какой географии...

В этом доме у маяка!..  
В этом доме не стучат ставни,  
Не таращатся в углах вещи,  
Там не бредят о пустой славе,  
Там все истинно и все вечно!  
В этом доме у маяка!..

Если имя мое в разговоре пустом  
Будут втаптывать в грязь с безразличным усердием,  
Возвратись в этот дом, возвратись в этот дом,  
Где тебя и меня наградили бессмертием...

В этом доме у маяка!..  
В этом доме не бренчать моде,  
В этом доме не греметь джазам,  
Но приходит в этот дом море,  
Не волной, а всё как есть, разом!  
В этот дом у маяка...

Если враль записной тебе скажет о том,  
Что, мол, друг-то ваш был, мол, и «вышедши»...  
Возвратись в этот дом, возвратись в этот дом,  
Я там жду тебя, слышишь?! Я жду тебя, слышишь ты?

В этом доме у маяка,  
В этом доме все часы — полдни,

И дурные не черны вести,  
Где бы мы ни были с тобой, помни  
В этом доме мы всегда вместе!  
В этом доме у маяка!..

Если с радостью тихой партком и местком  
Сообщат, наконец, о моем погребении,  
Возвратись в этот дом, возвратись в этот дом,  
Где спасенье мое и мое воскресение!

(1968)

### ЧЕРНОВИК ЭПИТАФИИ

Худо было мне, люди, худо...  
Но едва лишь начну про это,  
Люди спрашивают — откуда,  
Где подслушано, кем напето?

Дуралеи спешат смеяться,  
Чистоплюи воротят морду...  
Как легко мне было сломаться,  
И сорваться, и спиться к черту!

Не моя это вроде боль,  
Так чего ж я кидаюсь в бой?  
А вела меня в бой судьба,  
Как солдата ведет труба!

Сколько раз на меня стучали  
И дивились, что я на воле.  
Ну а если б я гнил в Сучане,  
Вам бы легче дышалось, что ли?

И яснее б вам, что ли, было,  
Где — по совести, а где — кроме?  
И зачем я, как сторож в било,  
Сам в себя колочусь до крови?

И какая, к чертям, судьба?  
И какая, к чертям, труба?  
Мне б частушкой по струнам, влёт,  
Да гитара, как видно, врет!

А хотелось-то мне в дорогу,  
Налегке, при попутном ветре,  
Я бы пил молоко, ей-Богу,  
Я б в лесу ночевал, поверьте!

И шагал бы, как вольный цыган,  
Никого бы нигде не трогал,  
Я б во Пскове по-птичьи цыкал,  
И округло б на Волге окал,

И частушкой по струнам — влёт,  
Да гитара, как видно, врет,  
Лишь, мучительна и странна,  
Все одна дребезжит струна!

Понимаю, что просьба тщетна,—  
Поминают поименитей!  
Ну, не тризною, так хоть чем-то,  
Хоть всухую, да помяните!

Хоть за то, что я верил в чудо,  
И за песни, что пел без склада,  
А про то, что мне было худо,  
Никогда вспоминать не надо!

И мучительна, и странна,  
Все одна дребезжит струна,  
И приладиться к ней, ничьей,  
Пусть попробует, кто ловчей!

А я не мог!

(1971)

## КОГДА Я ВЕРНУСЬ...

\* \* \*

Я в путь собирался всегда налегке,  
Без долгих прощальных торжеств,  
И маршальский жезл не таскал в рюкзаке,  
На кой он мне, маршальский жезл!

Я был рядовым и умру рядовым.  
Всей щедрой земли рядовой,  
Что светом дарила меня даровым,  
Поила водой даровой.

До старости лет молоко на губах,  
До тьмы гробовой — рядовой.  
А маршалы пусть обсуждают в штабах  
Военный бюджет годовой.

Пускай заседают за круглым столом  
Вселенской охоты псари,  
А мудрость их вся заключается в том,  
Что два — это меньше, чем три.

Я сам не люблю старичков-ворчунов  
И все-таки — истово рад,  
Что я не изведал бесчестья чинов  
И низости барских наград.

Земля под ногами и посох в руке  
Торжественней всяких божеств,  
А маршальский жезл у меня в рюкзаке —  
Свирель, а не маршальский жезл.

*9 марта 1972 года*



## НОМЕРА

И. Б.

Вьюга листья на крыльцо намела,  
Глупый ворон прилетел под окно  
И выкаркивает мне номера  
Телефонов, что умолкли давно.

Словно сдвинулись во мгле полюса,  
Словно сшиблись над огнем топоры —  
Оживают в тишине голоса  
Телефонов довоенной поры.

И внезапно обретая черты,  
Шепелявит озорной шепоток:  
— Пять — тринадцать — сорок три, это ты?  
Ровно в восемь приходи на каток!

Пляшут галочки следы на снегу,  
Ветер ставнею стучит на бегу,  
Ровно в восемь я прийти не могу...  
Да и в девять я прийти не могу!

Ты напрасно в телефон не дыши,  
На заброшенном катке ни души,  
И давно уже свои «бегаша»  
Я старьевщику сдал за гроши.

И совсем я говорю не с тобой,  
А с надменной телефонной судьбой.  
Я приказываю:  
— Дайте отбой! —  
Умоляю:  
— Поскорее отбой!

Но печально из ночной темноты  
Как надежда,  
И упрек,  
И итог:  
— Пять — тринадцать — сорок три, это ты?  
Ровно в восемь приходи на каток!

(1972—1973)

## ПЕСНЯ ИСХОДА

*Галеньке и Виктору<sup>1</sup> — мой прощальный подарок.*

Но Идущий за мною сильнее меня...

*Евангелие от Матфея*

Уезжаете?! Уезжайте —  
За таможни и облака.  
От прощальных рукопожатий  
Похудела моя рука!

Я не плакальщик и не стража  
И в литавры не стану бить.  
Уезжаете?! Воля ваша!  
Значит — так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,  
Что прощанье — как в горле ком...  
Больше нету ни сил, ни смысла  
Ставить ставку на этот кон!

Разыграешься только-только,  
А уже из колоды — прыг! —  
Не семерка, не туз, не тройка,  
Окаянная дама пик!

И от этих усатых шатий,  
От анкет и ночных тревог —  
Уезжаете?! Уезжайте,  
Улетайте — и дай вам Бог!  
Улетайте к неверной правде  
От взаправдашних мерзлых зон.  
Только мертвых своих оставьте,  
Не тревожьте их мертвый сон.

Там — в Понарах и в Бабьем Яре,  
Где поныне и следа нет,  
Лишь пронзительный запах гари  
Будет жить еще сотни лет!

<sup>1</sup> Некрасовым.

В Казахстане и в Магадане,  
Среди снега и ковыля...  
Разве есть земля богоданней,  
Чем безбожная та земля?!

И под мраморным обелиском  
На распутице площадей,  
Где, крещенных единым списком,  
Превратила их смерть в людей!

А над ними шумят березы —  
У деревьев свое родство!  
А над ними звенят морозы  
На Крещение и Рождество!

...Я стою на пороге года —  
Ваш сородич и ваш изгой,  
Ваш последний певец исхода,  
Но за мною придет Другой!

На глаза нахлобучив шляпу,  
Дерзкой рыбой, пробившей лед,  
Он пойдет не спеша по трапу  
В отлетающий самолет!

Я стою... Велика ли странность?!  
Я привычно машу рукой!  
Уезжайте! А я останусь.  
Я на этой земле останусь.  
Кто-то ж должен, презрев усталость,  
Наших мертвых стеречь покой!

*20 декабря 1971 года*

\* \* \*

*Е. Невзглядовой*

Понеслись кувырком, кувырком  
Опечатки последнего тома!  
Сколько лет я с тобою знаком?  
Сколько дней ты со мною знакома?

Сколько медленных дней и минут...  
Упустили мы время, разини!  
Променяют — потом помянут —  
Так не зря повелось на России!

Только чем ты помянешь меня?  
Бросишь в ящика пыльную прорубь?  
Вдруг опять, среди белого дня,  
Семиструнный заплещется голубь,

Заворкуют неладно лады  
Под нытье обесславленной квинты...  
Если мы и не ждали беды,  
То теперь мы воистину квиты!

Худо нам на восьмом этаже  
Нашей блочно-панельной Голгофы!  
Это есть. Это было уже,  
Это спето — и сложено в строфы.

Это хворост для наших костров...  
Снова лезут докучные гости.  
И кривой кладовщик Иванов  
Отпустил на распятие гвозди!

*8 августа 1973 года*

## ПЕСНЯ О НОЧНОМ ПОЛЕТЕ

...Был, да ушел в нети!

Ах, как трудно улетают люди,  
Вот идут по трапу на ветру,  
Вспоминая ангельские лютни  
И тому подобную муру!  
Улетают, как уходят в нети,  
Исчезают угольком в золе,  
До чего все трудно людям в небе,  
До чего все мило на земле!

Пристегните ремни, пристегните ремни!  
Ну, давай, посошок на дорожку налей!  
Тут уж, ясное дело, — темни не темни,  
А на поезде ездить людям веселей...  
Пристегните ремни, пристегните ремни!  
Не курить! Пристегните ремни!

И такой, на землю непохожий  
Синий мир за взлетной крутизной...  
Пахнет небо хлоркою и кожей,  
А не теплой горестью земной!  
И вино в пластмассовой посуде  
Не сулит ни хмеля, ни чудес,  
Улетают, улетают люди  
В злую даль за тридцать небес!

Пристегните ремни, пристегните ремни,  
Помоги, дорогой, чемоданчик поднять...  
И какие-то вдруг побежали огни,  
И уже ничего невозможно понять,  
Пристегните ремни, пристегните ремни,  
Не курить! Пристегните ремни!

Люди спят, измученные смутой,  
Снятся людям их земные сны  
Перед тою роковой минутой  
Вечной и последней тишины!  
А потом, отдав себя крушенью,  
Камнем вниз, не слушая руля!  
И земля ломает людям шею,  
Их благословенная земля.

Пристегните ремни! Пристегните ремни!  
Мы взлетели уже? Я не понял. А вы?  
А в окно еще виден кусочек земли,  
И немножко бетона, немножко травы...  
Отстегните ремни! Отстегните ремни!  
Навсегда отстегните ремни!

(1966)

## ПСАЛОМ

*Б. Чичибабину*

Я вышел на поиски Бога.  
В предгорье уже рассвело.  
А нужно мне было немного —  
Две пригоршни глины всего.

И с гор я спустился в долину,  
Развел над рекою костер,  
И вязкую красную глину  
В ладонях размял и растер.

Что знал я в ту пору о Боге,  
На тихой заре бытия?  
Я вылепил руки и ноги,  
И голову вылепил я.

И, полон предчувствием смутным,  
Мечтал я при свете огня,  
Что будет Он добрым и мудрым,  
Что Он пожалеет меня!

Когда ж он померк, этот длинный  
День страхов, надежд и скорбей,—  
Мой бог, сотворенный из глины,  
Сказал мне:  
— Иди и убей!..

И канули годы.  
И снова —  
Все так же, но только грубей,  
Мой бог, сотворенный из слова,  
Твердил мне:  
— Иди и убей!

И шел я дорогою праха,  
Мне в платье впивался репей,  
И бог, сотворенный из страха,  
Шептал мне:  
— Иди и убей!

Но вновь я печально и строго  
С утра выхожу за порог —  
На поиски доброго Бога,  
И — ах, да поможет мне Бог!

(1971)

## ОПЫТ НОСТАЛЬГИИ

...Когда переезжали через Неву, Пушкин шутливо спросил:

— Уж не в крепость ли ты меня везешь?

— Нет,— ответил Данзас,— просто через крепость на Черную речку самая близкая дорога!

*Записано В. А. Жуковским со слов секунданта Пушкина — Данзаса.*

Мело весь месяц в феврале,  
И то и дело  
Свеча горела на столе...

*В. Пастернак*

...Мурка, не ходи, там сыч  
На подушке вышит!

*А. Ахматова*

Не жалею ничуть, ни о чем, ни о чем не жалею,  
Ни границы над сердцем моим не вольны,  
Ни года!  
Так зачем же я вдруг при одной только мысли шалею,  
Что уже никогда, никогда...  
Боже мой, никогда!..

Погоди, успокойся, подумай —  
А что — никогда?!  
Широт заполярных метели,  
Тарханы, Владимир, Ирпень —  
Как много мы не доглядели,  
Не поздно ль казниться теперь?!

Мы с каждым мгновеньем бессильней,  
Хоть наша вина — не вина.

Над блочно-панельной Россией,  
Как лагерный номер,— луна.

Обкомы, горкомы, райкомы  
В потеках снегов и дождей.  
В их окнах, как бельма трахомы  
(Давно никому не знакомы),  
Безликие лики вождей.

В их залах прокуренных — волки  
Пинают людей, как собак.  
А после те самые волки  
Усядутся в черные «Волги»,  
Закурят вирджинский табак.

И дач государственных охра  
Укроет посадских светил,  
И будет мордастая ВОХРа  
Следить, чтоб никто не следил.

И в баньке, протопленной жарко,  
Запляшет косматая чудь...  
Ужель тебе этого жалко?  
Ни капли не жалко, ничуть!

Я не вспомню, клянусь,  
Я и в первые годы не вспомню  
Севастопольский берег,  
Почти небывалая быль.  
И таинственный спуск  
В Херсонесскую каменоломню.  
И на детской матроске —  
Эллады певучая пыль.  
Я не вспомню, клянусь!  
Ну, а что же я вспомню?

А что же я вспомню?  
Усмешку  
На гадком чиновном лице,  
Мою неуклюжую спешку  
И жалкую ярость в конце.



Я в грусть по березкам не верю,  
Разлуку слезами не мерь.  
И надо ли эту потерю  
Приписывать к счету потерь?  
Как каменный лес, онемело  
Стоим мы на том рубеже,  
Где тело — как будто не тело,  
Где слово — не только не дело,  
Но даже не слово уже.

Идут мимо нас поколенья,  
Проходят и машут рукой.  
Презренье, презренье, презренье  
Дано нам, как новое зренье  
И пропуск в грядущий покой!

А кони?  
Крылатые кони,  
Что рвутся с гранитных торцов,  
Разбойничий посвист погони,  
Игрушечный звон бубенцов?!

А святки?  
А прядь полушалка,  
Что жарко спадает на грудь?  
Ужель тебе этого жалко?  
Не очень...  
А впрочем — чуть-чуть!

Но тает февральская свечка,  
Но спят на подушке сычи,  
Но есть еще Черная речка,  
Но есть еще Черная речка,  
Но — есть — еще — Черная речка...

Об этом не надо!  
Молчи!

(1973)

### ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Не хочу посмертных антраша,  
Никаких красотей не выберу.  
Пусть моя нетленная душа  
Подлецу достанется и шиберу!

Пусть он, сволочь, врет и предает,  
Пусть он ходит, ворон, в перьях сокола,  
Все на свете пули — в недолет,  
Все невзгоды — не к нему, а около!

Хорошо ему у пирога,  
Все полно приязни и приятельства —  
И номенклатурные блага,  
И номенклатурные предательства!

С каждым днем любезнее житье,  
Но в минуту самую внезапную  
Пусть ему — отчаянье мое  
Сдавит сучье горло черной лапою!

(1971)

### Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ

Сердце мое заштопано,  
В серой пыли виски,  
Но я выбираю Свободу,  
И — свистите во все свистки!

И лопается терпенье,  
И тысячи три рубак  
Вострят, словно финки, перья.  
Спускают с цепи собак.

Брест и Унгены заперты,  
Дозоры и там и тут,  
И все меня ждут на Западе,  
Но только напрасно ждут!

Я выбираю Свободу, —  
Но не из боя, а в бой,  
Я выбираю свободу  
Быть просто самим собой.

И это моя Свобода,  
Нужны ли слова ясней?!  
И это моя забота —  
Как мне поладить с ней.

Но слаще, чем ваши байки,  
Мне гордость моей беды,  
Свобода казенной пайки,  
Свобода глотка воды.

Я выбираю Свободу,  
Я пью с нею нынче на «ты».  
Я выбираю свободу  
Норильска и Воркуты.

Где вновь огородной тяпкой  
Над всходами пляшет кнут.  
Где пулею или тряпкой  
Однажды мне рот заткнут.

Но славно звенит дорога,  
И каждый приют как храм.  
А пуля весит немного —  
Не больше чем восемь грамм.

Я выбираю Свободу —  
Пускай груба и ряба,  
А вы валяйте, по капле  
«Выдавливайте раба»!

По капле и есть по капле —  
Пользительно и хитро,  
По капле — это не Капри,  
А нам — подставляй ведро!

А нам — подавай корыто,  
И встанем во всей красе!  
Не тайно, не шито-крыто,  
А чтоб любовались все!

Я выбираю Свободу,  
И знайте — не я один!  
И мне говорит «свобода»:  
«Ну что ж, — говорит, — одевайтесь,  
И пройдемте-ка, гражданин».

(1971)

## ЗАКЛИНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА

Здесь в окне по утрам просыпается свет,  
Здесь мне все, как слепому, на ощупь знакомо...  
Уезжаю из дома!  
Уезжаю из дома!  
Уезжаю из дома, которого нет.

Это дом и не дом. Это дым без огня.  
Это пыльный мираж, или фата-моргана.  
Здесь Добро в сапогах рукояткой нагана  
В дверь стучало мою, надзирая меня.

А со мной кочевало беспечное Зло,  
Отражало вторженья любые попытки,  
И кофейник с кастрюлькой на газовой плитке  
Не дурили и знали свое ремесло.

Все смешалось — Добро, Равнодушие, Зло.  
Пел сверчок деревенский в московской квартире,  
Целый год благодати в безрадостном мире,—  
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

И пою что хочу, и кричу что хочу,  
И хожу в благодати, как нищий в обновке.  
Пусть движенья мои в этом платье неловки —  
Я себе его сам выбирал по плечу!

Но Добро, как известно, на то и Добро,  
Чтоб уметь притвориться и добрым, и смелым,  
И назначить при случае черное — белым,  
И веселую ртуть превращать в серебро.

Все причастно Добру.  
Все подвластно Добру.  
Только с этим Добрынею взятки не гладки,  
И готов я бежать от него без оглядки  
И забиться, зарыться в любую нору!..

Первым сдался кофейник:  
Его разнесло,  
Заливая конфорки и воздух поганя...  
И Добро прокричало, гремя сапогами,  
Что во всем виновато беспечное Зло!

Представитель Добра к нам пришел поутру  
В милицейской (почудилось мне!) плащ-палатке...  
От такого попробуй сбеги без оглядки,  
От такого поди-ка, заройся в нору!

И сказал Представитель, почтительно-строг,  
Что дела выездные решают в ОВИРе,  
Но что Зло не прописано в нашей квартире  
И что сутки на сборы — достаточный срок!

Что ж, прощай, мое Зло!  
Мое доброе Зло!

Ярым воском закапаны строчки в псалтыри.  
Целый год благодати в безрадостном мире,—  
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

Что ж, прощай и — прости!

Набухает зерно.  
Корабельщики ладят смоленые доски.  
И страницы псалтыри — в слезах, а не в воске,  
И прощальное в кружках гуляет вино!

Я растил эту ниву две тысячи лет —  
Не пора ль поспешить к своему урожаю?!  
Не грусти!  
Я всего лишь навек уезжаю  
От Добра и из дома —  
Которого нет!

(1974)

### ПЕСНЯ ПРО ВЕЛОСИПЕД

Ах, как мне хотелось, мальчишке,  
Проехаться на велосипеде.  
На детском, на трехколесном —  
Взрослом велосипеде!

И мчатся навстречу соснам —  
Туда, где сосны и ели,  
И чтоб из окна глядели,  
Завидуя мне, соседи:  
«Смотрите, смотрите, смотрите,  
Смотрите, мальчишка едет  
На взрослом велосипеде!..»

...Ехал мальчишка по улице  
На взрослом велосипеде.  
«Наркомовский Петька, умница», —  
Шептались вокруг соседи.

Я крикнул: «Дай прокатиться!»  
А он ничего не ответил.  
Он ехал медленно-медленно.  
А я бы летел, как ветер,  
А я бы звоночком цокал,  
А я бы крутил педали,  
Промчался бы мимо окон —  
И только б меня видали!..

...Теперь у меня в передней  
Пылится велосипед.  
Пылится уже, наверно,  
С добрый десяток лет.  
Но только того мальчишки  
Больше на свете нет.  
А взрослому мне не нужен  
Взрослый велосипед!

Ох, как мне хочется, взрослому,  
Потрогать пальцами книжку.  
И прочесть на обложке фамилию  
Не чтю-нибудь, а мою!..

Нельзя воскресить мальчишку,  
Считайте — погиб в бою...  
Но если нельзя — мальчишку,  
И в прошлое ни на шаг.  
То книжку-то можно? Книжку?  
Ее почему — никак?!

Величественный, как росчерк,  
Он книжки держал под мышкой.  
Привет тебе, друг-доносчик,  
Привет тебе, с новой книжкой!

Партийная Илиада!  
Подарочный холуяж!  
Не надо мне так, не надо —  
Пусть тысяча — весь тираж!  
Дорого с суперобложкой?  
К черту суперобложку!  
Но нету суперобложки,  
И переплета нет.

...Немножко пройдет, немножко,  
Каких-нибудь тридцать лет,  
И вот она, эта книжка,  
Не в будущем — в этом веке!  
Снимает ее мальчишка  
С полки в библиотеке!  
А вы говорили — бредни!  
А вот через тридцать лет...

Пылится в моей передней  
Взрослый велосипед.

(1970)

### ПЕСНЯ ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ

Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,  
Золотой мой, недолгий век.  
Но все то, что случится со мной потом, —  
Все отсюда берет разбег!

Здесь однажды очнулся я, сын земной,  
И в глазах моих свет возник.  
Здесь мой первый гром говорил со мной,  
И я понял его язык.

Как же странно мне было, мой Отчий Дом,  
Когда Некто с пустым лицом  
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том  
Я не сыном был, а жильцом.

Угловым жильцом, что копит деньгу —  
Расплатиться за хлеб и кров.  
Он копит деньгу, и всегда в долгу,  
И не вырвется из долгов!

— А в сыновней верности в мире сем  
Клялись многие — и не раз! —  
Так сказал мне Некто с пустым лицом  
И прищурил свинцовый глаз.

И добавил:

— А впрочем, слукавь, солги,—  
Может, вымолишь тишь да гладь!..—  
Но уж если я должен платить долги,  
То зачем же при этом лгать?!

И пускай я гроши наскребу с трудом,  
И пускай велика цена —  
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,  
Я с тобой расплачусь сполна!

Но когда под грохот чужих подков  
Грянет свет роковой зари —  
Я уйду, свободный от всех долгов,  
И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,  
Не зови разделить беду.  
Не зови меня!  
Не зови меня...  
Не зови —  
Я и так приду!

(1973)



## ПРОЩАНИЕ С ГИТАРОЙ

(Подражание Аполлону Григорьеву)

...Чиби́ряк, чиби́ряк, чиби́ряшечка,  
Ах, как скушно мне с тобой, моя душечка

Осенняя простудная,  
Печальная пора,  
Гитара семиструнная,  
Ни пуха ни пера!  
Ты с виду — тонкорунная,  
На слух — ворожея,  
Подруга семиструнная,  
Прелестница моя!  
Ах, как ты пела смолоду,  
Вся — музыка и стать,  
Что трудно было голову  
С тобой не потерять!

Чиби́ряк, чиби́ряк, чиби́ряшечка,  
Ах, как плыла голова, моя душечка!

Когда ж ты стала каяться  
В преклонные лета,—  
И стать не та, красавица,  
И музыка не та!  
Все в говорок про странствия,  
Про ночи у костра,  
Была б, мол, только санкция,  
Романтики сестра.  
Романтика, романтика  
Небесных колеров!  
Нехитрая грамматика  
Небитых школяров.

Чиби́ряк, чиби́ряк, чиби́ряшечка,  
Ах, как скушно мне с тобой, моя душечка!

И вот, как дождь по луночке,  
Который год подряд  
Все на одной на струночке,  
А шесть других молчат.

И лишь затем без просыпа  
Разыгрываешь страсть,  
Что, может, та, курносая,  
«Послушает и даст»?..  
Так и живешь, бездумная,  
В приятности примет,  
Гитара однострунная —  
Полезный инструмент.

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,  
Ах, не совестно ль тебе, моя душечка!

Плевать, что стала курвою,  
Что стать — под стать блядям,  
Зато номенклатурная,  
Зато нужна людям!  
А что души касается,  
Про то забыть пора.  
Ну что ж, прощай, красавица!  
Ни пуха ни пера!

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,  
Что ж, ни пуха ни пера, моя душечка!

(1964—1966)

\* \* \*

Когда-нибудь дошлый историк  
Возьмет и напишет про нас,  
И будет насмешливо-горек  
Его неспешный рассказ.

Напишет он с чувством и толком,  
Ошибки учтет наперед,  
И все он расставит по полкам,  
И всех по костям разберет.

И вылезет сразу в середку  
Та главная наглая кость,

Как будто окурок в селедку  
Засунет упившийся гость.

Чего уж, казалось бы, проще —  
Отбросить ее и забыть?  
Но в горле застрявшие мощи  
Забвенья вином не запить.

А далее кости поплоче  
Пойдут, по сравнению с той,—  
Поплоче, но странно похожи  
Бесстыдной своей наготой.

Обмылки, огрызки, обноски,  
Ошметки чужого огня.  
А в сноске —  
вот именно, в сноске —  
Помянет историк меня.

Так, значит, за эту вот строчку,  
За жалкую каплю чернил,  
Воздвиг я себе одиночку  
И крест свой на плечи взвалил.

Так, значит, за строчку вот эту,  
Что бросит мне время на чай,  
Веселому щедрому свету  
Сказал я однажды: «Прощай!»

И милых до срока состарил,  
И с песней шагнул за предел,  
И любящих плакать заставил,  
И слышать их плач не хотел.

Но будут мои подголоски  
Звенеть и до Судного дня...  
И даже не важно, что в сноске  
Историк не вспомнит меня!

*15 января 1972 года.*

## ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ

Под утро, когда устанут  
Влюбленность, и грусть, и зависть  
И гости опохмелятся  
И выпьют воды со льдом,  
Скажет хозяйка: «Хотите  
Послушать старую запись?» —  
И мой глуховатый голос  
Войдет в незнакомый дом.

И кубики льда в стакане  
Звякнут легко и ломко,  
И странный узор на скатерти  
Начнет рисовать рука,  
И будет бренчать гитара,  
И будет крутиться пленка,  
И в дальний путь к Абакану  
Отправятся облака...

И гость какой-нибудь скажет:  
«От шуточек этих зябко,  
И автор напрасно думает,  
Что сам ему черт не брат!»  
«Ну что вы, Иван Петрович,—  
Ответит ему хозяйка,—  
Бояться автору нечего,  
Он умер лет сто назад...»

(1971)

\* \* \*

Когда я вернусь...  
Ты не смейся, когда я вернусь,  
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,

По еле заметному следу — к теплу и ночлегу —  
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь,  
Когда я вернусь.  
О, когда я вернусь!..

Послушай, послушай, не смейся,  
Когда я вернусь  
И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней,  
И прямо с вокзала — в кромешный, ничтожный, раешный —  
Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,  
Когда я вернусь.  
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь,  
Я пойду в тот единственный дом,  
Где с куполом синим не властно соперничать небо,  
И ладана запах, как запах приютского хлеба,  
Ударит в меня и заплещется в сердце моем<sup>1</sup>,  
Когда я вернусь.  
О, когда я вернусь!

Когда я вернусь,  
Засвистят в феврале соловьи  
Тот старый мотив — тот давнишний, забытый, запетый.

И я упаду,  
Побежденный своею победой,  
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои!  
Когда я вернусь.

А когда я вернусь?..

(1972)

---

<sup>1</sup> Имеется в виду церковь Сретения (г. Пушкин Моск. обл.), в которой А. Галича крестил настоятель церкви, о. Александр Мень.

## ПОЭМЫ

### КАДИШ<sup>1</sup>

*Эта поэма посвящена памяти великого польского писателя, врача и педагога Якова Гольдшмидта (Януша Корчака), погибшего вместе со своими воспитанниками из школы-интерната «Дом сирот» в Варшаве, в лагере уничтожения Трехлинка.*

Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,  
Падать и вновь на своя возвращаться круги.  
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,  
Я не умею молиться, прости меня и помоги...

А по вечерам все так же как ни в чем не бывало играет музыка:

Сэн-Луи блюз — ты во мне как боль, как ожог,  
Сэн-Луи блюз — захлебывается рожок!  
А вы сидите, и слушаете,  
И с меня не сводите глаз,  
Вы платите деньги, и слушаете,  
И с меня не сводите глаз,  
Вы жрете, пьете, и слушаете,  
И с меня не сводите глаз,  
И поет мой рожок про дерево,  
На котором я вздерну вас! Да-с, да-с...

«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».

*Януш Корчак. Дневник.*

---

<sup>1</sup> К а д и ш — еврейская молитва, которую произносит сын в память о покойном отце.

Уходят из Варшавы поезда,  
И все пустее гетто, все темней,  
Глядит в окно чердачная звезда,  
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,  
И я прощаюсь с памятью своей...

Цыган был вор, цыган был врун,  
Но тем милей вдвойне,  
Он трогал семь певучих струн,  
И улыбался мне,  
И говорил: «Учи, сынок,  
Учи цыганский счет —  
Семь дней недели создал Бог,  
Семь струн гитары — черт,  
И он ведется неспроста,  
Тот хитрый счет, пойми,  
Ведь даже радуга и та  
Из тех же из семи  
Цветов...»

Осенней медью город опален,  
А я — хранитель всех его чудес,  
Я неразменным одарен рублем,  
Мне ровно дважды семь, и я влюблен  
Во всех дурнушек и во всех принцесс!

Осень меня своим крылом,  
Город детства с тайнами неназванными,  
Счастлив я, что и в беде и в праздновании  
Был слугой твоим и королем.  
Я старался сделать все, что мог,  
Не просил судьбу ни разу: высвободи!  
И скажу на самой смертной исповеди,  
Если есть на свете детский Бог:  
Все я, Боже, получил сполна,  
Где, в которой расписаться ведомости?  
Об одном прошу: спаси от ненависти,  
Мне не причитается она.

И вот я врач, и вот военный год,  
Мне семью пять, а веку семью два,  
В обозе госпитальном кровь и пот,  
И кто-то, помню, бредит и поет  
Печальные и странные слова:

«Гори, гори, моя звезда,  
Звезда любви, звезда приветная,  
Ты у меня одна заветная,  
Другой не будет...»  
Ах, какая в тот день приключилась беда —  
По дороге затопленной, по лесу,  
Чтоб проститься со мною, с чужим, навсегда,  
Ты прошла пограничную полосу.  
И могли ль мы понять в том году роковым,  
Что беда эта станет пощадою?  
Полинявшее знамя пустым рукавом  
Над платформой качалось дощатою.  
Наступила внезапно чужая зима,  
И чужая, и все-таки близкая,  
Шла французская фильма в дрянном «синемá»,  
Барахло торговали австрийское,  
Понукали извозчики дохлых коняг,  
И в кафе, заколоченном наглухо,  
Мы с тобою сидели и пили коньяк  
И жевали засохшее яблоко.  
И в молчанье мы знали про нашу беду,  
И надеждой не тешились гиблою,  
И в молчанье мы пили за эту звезду,  
Что печально горит над могилою:  
«Умру ли я, ты над могилою  
Гори, сияй, моя звезда...»

Уходят из Варшавы поезда,  
И скоро наш черед, как ни крути,  
Ну что ж, гори, гори, моя звезда,  
Моя шестиконечная звезда,  
Гори на рукаве и на груди!

Окликнет эхо давним прозвищем,  
И ляжет снег покровом пряничным,  
Когда я снова стану маленьким,  
А мир — опять большим и праздничным,  
Когда я снова стану облаком,  
Когда я снова стану зябликом,  
Когда я снова стану маленьким,  
И снег опять запахнет яблоком,  
Меня снесут с крылечка, сонного,



И я проснусь от скрипа санного,  
Когда я снова стану маленьким,  
И мир чудес открою заново.

Звезда в окне, и на груди звезда,  
И не поймешь, которая ясней,  
И я устал, и, верно, неспроста  
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,  
И я прощаюсь с памятью моей...

А еще жила в «Доме сирот» девочка Ната. После тяжелой болезни она не могла ходить, но зато хорошо рисовала и сочиняла песенки — вот одна из них...

ПЕСЕНКА ДЕВОЧКИ НАТИ  
ПРО КОРАБЛИК

Я кораблик клеила  
Из цветной бумаги,  
Из коры и клевера,  
С клевером на флаге.  
Он зеленый, розовый,  
Он в смолистых каплях,  
Клеверный, березовый,  
Славный мой кораблик, славный мой кораблик.  
А когда забулькают ручейки весенние,  
Дальнею дорогою, синевою морской  
Поплывет кораблик мой к острову Спасения,  
Где ни войн, ни выстрелов — солнце и покой.  
Я кораблик ладила,  
Нела, словно зяблик,  
Зря я время тратила,  
Сгинул мой кораблик.  
Не в грозовом отблеске,  
В буре, урагане —  
Попросту при обыске  
Смяли сапогами...  
Но когда забулькают ручейки весенние,  
В облаках приветственно протрубит журавль,  
К солнечному берегу, к острову Спасения  
Чей-то обязательно доплывет корабль!

Когда-нибудь, когда вы будете вспоминать имена героев, не забудьте, пожалуйста, я очень прошу вас, не забудьте Петра Залевского, бывшего гренадера, инвалида войны, служившего сторожем у нас в «Доме сирот» и убитого польскими полициями во дворе осенью 1942 года.

Он убирал наш бедный двор,  
Когда они пришли,  
И странен был их разговор —  
Как на краю земли,  
Как разговор у той черты,  
Где только «нет» и «да».  
Они ему сказали: «Ты,  
А ну, иди сюда!»  
Они спросили: «Ты поляк?»  
И он сказал: «Поляк».  
Они спросили: «Как же так?»  
И он сказал: «Вот так».  
«Но ты ж, культяпый, хочешь жить,  
Зачем же, черт возьми,  
Ты в гетто нянчишься, как жид,  
С жидовскими детьми?!  
К чему,— сказали,— трам-там-там,  
К чему такая спесь?!  
Пойми,— сказали,— Польша там!»  
А он ответил: «Здесь!  
И здесь она, и там она,  
Она везде одна —  
Моя несчастная страна,  
Прекрасная страна».  
И вновь спросили: «Ты поляк?»  
И он сказал: «Поляк».  
«Ну что ж,— сказали.— Значит, так?»  
И он ответил: «Так».  
«Ну что ж,— сказали,— кончен бал! —  
Скомандовали: — Пли!»  
И прежде чем он сам упал,  
Упали костыли,  
И прежде чем пришли покой,  
И сон, и тишина,  
Он помахать успел рукой  
Глядевшим из окна.

...О, дай мне Бог конец такой,—  
Всю боль испив до дна,  
В свой смертный миг махнуть рукой  
Глядевшим из окна!

А потом наступил такой день, когда «Дому сирот», детям и воспитателям, приказано было явиться с вещами на Умшлягплац (так называлась при немцах площадь у Гданьского вокзала).

Эшелон уходит ровно в полночь,  
Паровоз-балбес пыхтит: «Шалом!»  
Вдоль перрона строем стала сволочь,  
Сволочь провожает эшелон.  
Эшелон уходит ровно в полночь,  
Эшелон уходит прямо в рай,  
Как мечтает поскорее сволочь  
Донести, что Польша «юдэнфрай»!  
«Юдэнфрай» Варшава, Познань, Краков,  
Весь протекторат из края в край  
В черной чертовне паучьих знаков,  
Ныне и вовеки — «юдэнфрай»!  
А на Умшлягплаце у вокзала  
Гетто ждет устало — чей черед,  
И гремит последняя осанна  
Лаем полиция — «Дом сирот»!  
Шевелит губами переводчик,  
Глотка пересохла, грудь в тисках,  
Но уже поднялся старый Корчак  
С девочкою Натей на руках.  
Знаменосец, козырек заломом,  
Чубчик вьется, словно завитой,  
И горит на знамени зеленом  
Клевер, клевер, клевер золотой.  
Два горниста поднимают трубы,  
Знаменосец выпрямил древко.  
Детские обветренные губы  
Напевают гордо и легко:  
«Наш славный поход начинается просто,  
От Старого Мяста до Гданьского моста,  
И дальше, и с песней, построясь по росту,  
К варшавским предместьям, по Гданьскому мосту!  
По Гданьскому мосту!

По улицам Гданьска, по улицам Гданьска  
Шагают девчонки Марыся и Даська,  
А маленький Боля, а рыженький Боля  
Застыл, потрясенный, у края прибоа, у края прибоа...»  
Пахнет морем теплым и соленым,  
Вечным морем и людской тщетою,  
И горит на знамени зеленом  
Клевер, клевер, клевер золотой!  
Мы идем по четверо, рядами,  
Сквозь кордон эсэсовских ворон...  
Дальше начинается преданье,  
Дальше мы выходим на перрон.  
И бежит за мною переводчик,  
Робко прикасается к плечу:  
«Вам разрешено остаться, Корчак»,—  
Если верить сказке, я молчу.  
К поезду, к чугунному парому,  
Я веду детей, как на урок,  
Надо вдоль вагонов по перрону,  
Вдоль, а мы шагаем поперек.  
Рваными ботинками бряцая,  
Мы идем не вдоль, а поперек,  
И берут, смешавшись, полицаи  
Кожаной рукой под козырек.  
И стихает плач в аду вагонном,  
И над всей прощальной маетой —  
Пламенем на знамени зеленом  
Клевер, клевер, клевер золотой.  
Может, в жизни было по-другому,  
Только эта сказка вам не врет,  
К своему последнему вагону,  
К своему чистилищу-вагону,  
К пахнущему хлоркою вагону  
С песнею подходит «Дом сирот»:  
«По улицам Лодзи, по улицам Лодзи  
Шагают ужасно почтенные гости,  
Шагают мальчишки, шагают девчонки,  
И дуют в дуделки, и крутят трещотки...  
И крутят трещотки!  
Ведут нас дороги, и шляхи, и тракты  
В снега Закопане, где синие Татры,  
На белой вершине — зеленое знамя,  
И вся наша медная Польша под нами,  
Вся Польша...»

...и тут кто-то, не выдержав, дал сигнал к отправлению — и эшелон Варшава-Треблинка задолго до назначенного часа (случай совершенно невероятный) тронулся в путь...

Вот и кончена песня,  
Вот и смолкли трещотки,  
Вот и скорчено небо  
В переплете решетки.  
И державе своей  
Под вагонную тряску  
Сочиняет король  
Угломонную сказку...

Итак, начнем, благословясь...  
Лет сто тому назад  
В своем дворце неряха князь  
Развел везде такую грязь,  
Что был и сам не рад.  
И как-то, очень рассердясь,  
Призвал он маляра.  
«А не пора ли, — молвил князь, —  
Закрасить краской эту грязь?»  
Маляр сказал: «Пора,  
Давно пора, вельможный князь,  
Давным-давно пора».  
И стала грязно-белой грязь,  
И стала грязно-синей грязь,  
И стала грязно-желтой грязь  
Под кистью маляра.  
А потому, что грязь есть грязь,  
В какой ты цвет ее ни крась.

Нет, некстати была эта сказка, некстати,  
И молчит моя милая чудо-держава,  
А потом неожиданно голосом Нати  
Невпопад говорит: «До свиданья, Варшава!»  
И тогда, как стучат колотушкой о шпалу,  
Застучали сердца колотушкой о шпалу,  
Загудели сердца: «Мы вернемся в Варшаву!  
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!»

По вагонам, подобно лесному пожару,  
Из вагона в вагон, от состава к составу  
Как присяга гремит: «Мы вернемся в Варшаву!  
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!  
Пусть мы дымом растаем над адовым пеклом,  
Пусть тела превратятся в горячую лаву,  
Но водой, но травой, но ветром, но пеплом  
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!»

А мне-то, а мне что делать?  
И так мое сердце — в клочьях!  
Я в том же трясусь вагоне  
И в том же горю пожаре,  
Но из года семидесятого  
Я вам кричу: «Пан Корчак!  
Не возвращайтесь!  
Вам стыдно будет в этой Варшаве!  
Землю отмыли добела,  
Нету ни ров, ни кочек,  
Гранитные обелиски  
Твердят о бессмертной славе,  
Но слезы и кровь забыты,  
Поймите это, пан Корчак,  
И не возвращайтесь,  
Вам страшно будет в этой Варшаве!  
Дали зрелищ и хлеба,  
Взяли Вислу и Татры,  
Землю, море и небо,  
Все, мол, наше, а так ли?!  
Дня осеннего пряжа  
С вещим зовом кукушки  
Ваша? Врете, не ваша!  
Это осень Костюшки!  
Небо в пепле и саже  
От фабричного дыма  
Ваше? Врете, не ваше!  
Это небо Тувима!  
Сосны — гордые стражи  
Там, над Балтикой пенной,  
Ваши? Врете, не ваши!  
Это сосны Шопена!  
Беды плодятся весело,  
Радость в слезах и корчах,

И много ль мы видели радости  
На маленьком нашем шаре?!  
Не возвращайтесь в Варшаву,  
Я очень прошу вас, пан Корчак,  
Не возвращайтесь,

Вам нечего делать в этой Варшаве!  
Паясничают гомункулусы,  
Геройские рожи корчат,  
Рвется к нечистой власти  
Орава речистой швали...  
Не возвращайтесь в Варшаву,  
Я очень прошу вас, пан Корчак!  
Вы будете чужеземцем  
В вашей родной Варшаве»

А по вечерам все так же играет музыка. Музыка, музыка  
как ни в чем не бывало:

Сэн-Луи блюз — ты во мне как боль, как ожог,  
Сэн-Луи блюз — захлебывается рожок!  
На пластинках моно и стерео,  
Горячей признанья в любви,  
Поет мой рожок про дерево  
Там, на родине, в Сэн-Луи.  
Над землей моей отчей выстрелы  
Пыльной ночью, все бах да бах!  
Но гоните монету, мистеры,  
И за выпивку, и за баб!  
А еще, ну прямо комедия,  
А еще за вами должок —  
Выкладывайте последнее  
За то, что поет рожок!  
А вы сидите, и слушаете,  
И с меня не сводите глаз,  
Вы платите деньги, и слушаете,  
И с меня не сводите глаз,  
Вы жрете, пьете, и слушаете,  
И с меня не сводите глаз,  
И поет мой рожок про дерево,  
На котором я вздерну вас!  
Да-с! Да-с! Да-с!

**«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».**

**Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,  
Падать и вновь на своя возвращаться круги.  
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже!  
Я не умею молиться, прости меня и помоги!..**

**(1967—1969)**



## ПОЭМА О СТАЛИНЕ

*(Размышления о бегунах на длинные дистанции)*

Впереди Иисус Христос...

*А. Блок*

### *Глава 1*

#### РОЖДЕСТВО

Все шло по плану, но немножко наспех.  
Спускался вечер, спал младенец в яслях,  
Статисты робко заняли места,  
И Матерь Божья наблюдала немо,  
Как в каменное небо Вифлеема  
Всходила Благовещенья звезда.  
Но тут в вертеп ворвались два подпаска  
И крикнули, что вышла неувязка,  
Что праздник отменяется, увы,  
Что римляне не понимают шуток.  
И загремели на пятнадцать суток  
Поддавшие не вовремя волхвы.

Стало тихо, тихо, тихо,  
В крике замерли уста,  
Зашипела, как шутиха,  
И погасла та звезда.  
Стало зябко, зябко, зябко,  
И в предчувствии конца  
Закудахтала козявка,  
Вол заблеял, как овца.

Все завyli, захрипели,  
Но, не внемля той возне,  
Спал младенец в колыбели  
И причмокивал во сне.

Уже светало, розовело небо,  
Но тут раздáлись гулко у вертепа  
Намеренно тяжелые шаги,  
И Матерь Божья замерла в тревоге,  
Когда открылась дверь и на пороге  
Кавказские явились сапоги.  
И разом потерявшие значенье  
Столетия, лихолетья и мгновенья  
Сомкнулись в безначальное кольцо,  
А он вошел, и поклонился еле,  
И обратил неспешно к колыбели  
Забрызганное оспою лицо.

«Значит, вот он — этот самый  
Жалкий пасынок земной,  
Что и кровью, и осанной  
Потягается со мной?!  
Неужели, неужели  
Столько лет и столько дней  
Ты, сопящий в колыбели,  
Будешь мукою моей?!  
И меня с тобою, пешка,  
Время бросит на весы?»  
И недобрая усмешка  
Чуть приподняла усы.

А три волхва томились в карантине.  
Их в карантине быстро укротили,  
Лупили и под вздох, и по челу,  
И римский опер, жаждая награды,  
Им говорил: «Сперва колитесь, гады!  
А после разберемся — что к чему».  
И, понимая, чем грозит опала,  
Пошли волхвы молоть что ни попало,  
Припоминали даты, имена...  
И полетели головы. И это  
Была вполне весомая примета,  
Что новые настали времена.

*Глава 2*  
КЛЯТВА ВОЖДЯ

«Потные, мордастые евреи,  
Шайка проходимцев и ворья,  
Всякие Иоанны и Матфеи  
Наплетут с три короба вранья.  
Сколько их посыплет раны солью,  
Лишь бы им взобраться на Синай!  
Ладно, ладно, я не прекословлю,—  
Ты был первый, Ты и начинай,  
Встань и — в путь по городам и весям,  
Чудеса и мудрости твори.  
Отчего ж Ты, Господи, невесел?  
Где они, соратники Твои?  
Бражничали, ели, гостевали,  
А пришла беда — и след простыл.  
Нет, не зря Ты ночью в Гефсимани  
Струсил и пардону запросил.  
Где Твоих приспешников орава  
В смертный Твой, в последний час земной?  
И смеется над Тобой Варавва —  
Он бы посмеялся на д о м н о й!  
Был Ты просто-напросто предтечей,  
Не творцом, а жертвою стихий,  
Ты не Божий сын, а человеческий,  
Если смог воскликнуть: «Не убий!»  
Душ ловец, Ты вышел на рассвете  
С бедной сетью из расхожих слов,  
На исходе двух тысячелетий  
Покажи, велик ли Твой улов?  
Слаб душою и умом не шибок,  
Верил Ты и Богу, и царю,  
Я не повторю Твоих ошибок,  
Ни одной из них не повторю!  
В мире не найдется святотатца,  
Чтобы поднял на м е н я копье,  
Если ж я умру — что может стать, —  
Вечным будет царствие мое!»

*Глава 3*  
ПОДМОСКОВНАЯ НОЧЬ

Он один, а ему неможется,  
И уходит окно во мглу,  
Он считает шаги, и множится  
Счет шагов от угла к углу.  
От угла до угла потерянно  
Он шагает, как заводной,  
Сто постелей ему постелено,  
Не уснуть ему ни в одной.  
По паркетному полу голому —  
Шаг. И отдых. И снова шаг.  
Ломит голову, ломит голову,  
И противно гудит в ушах,  
Будто кто-то струну басовую  
Тронул пальцем и канул прочь,  
Что же делать ему в бессонную,  
В одинокую эту ночь?

Вином упиться?  
Позвать врача?  
Но врач — убийца,  
Вино — моча...  
На целом свете  
Лишь сон и смех,  
А он в ответе  
Один за всех!

И, как будто стирая оспины,  
Вытирает он пот со лба,  
Почему, почему, о Господи,  
Так жестока к нему судьба?  
То предательством, то потерей  
Оглушают всю жизнь его.  
«Что стоишь ты там, за портьерою?  
Ты не бойся меня, Серго!  
Эту комнату неказистую  
Пусть твое озарит лицо,  
Ты напой мне, Серго, грузинскую,  
Ту, любимую мной, кацо,  
Ту, что деды певали исстари,  
Отправляясь в последний путь,  
Спой, Серго, и забудь о выстреле,  
Хоть на десять минут забудь!

Но полно, полно,  
Молчи, не пой!  
Ты предал подло —  
И пес с тобой!  
И пес со всеми —  
Повзводно в тлен!  
И все их семьи  
До ста колен!»  
Повсюду злоба,  
Везде враги,  
Ледком озноба —  
Шаги, шаги...

Над столицами поседевшими  
Ночь и темень — хоть глаз коли,  
Президенты спят с президентшами,  
Спят министры и короли.  
Мир, во славу гремевший маршами,  
Спит, в снегу с головы до пят,  
Спят министры его и маршалы...  
Он не знал, что они не спят,  
Что, притихшие, сводки утренней  
В страхе ждут и с надеждой ждут,  
А ему все хуже, все муторней,  
Сапоги почему-то жмут...  
Неприказанный, неположенный  
За окном колокольный звон.  
И, упав на колени: «Боже мой! —  
Произносит бессвязно он.—

Молю, Всевышний,  
Тебя, Творца,  
На помощь вышли  
Скорей гонца!  
О, дай мне, дай же —  
Не кровь, вино...  
Забыл, как дальше...  
Но все равно,  
Не ставь отточий,  
Конца пути,  
Прости мне, Отче,  
Спаси... прости...»

Глава 4

НОЧНОЙ РАЗГОВОР В ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ

Вечер, поезд, огоньки,  
Дальняя дорога...  
Дай-ка, братец, мне трески  
И водочки немного.  
Бассан-бассан-бассана,  
Бассаната-бассаната...  
Что с вином, что без вина —  
Мне на сердце косовато.  
Я седой не по годам  
И с ногою высохшей.  
Ты слышал про Магадан?  
Не слышал?! Так выслушай.  
А случилось дело так:  
Как-то ночью странную  
Заявился к нам в барак  
«Кум» со всей охраною.  
Я подумал, что конец,  
Распрощался матерно...  
Малосоленный огурец  
«Кум» жевал внимательно.  
Скажет слово — и поест,  
Морда вся в апатии.  
«Был, — сказал он, — говны, съезд  
Славной нашей партии.  
Про Китай и про Лаос  
Говорились прения,  
Но особо встал вопрос  
Про Отца и Гения».  
«Кум» докушал огурец  
И закончил с мукою:  
«Оказался наш Отец  
Не отцом, а сукою...»  
Полный, братцы, ататуй!  
Панихида с танцами!  
И приказано статуй  
За ночь снять со станции.  
...Ты представь — метет метель,  
Темень, стужа адская,  
А на нем одна шинель  
Грубая, солдатская,  
И стоит он напролом,

И летит, как конница,  
Я сапог его кайлом —  
А сапог не колется.  
Огляделся я вокруг,  
Дай-ка, мол, помешкаю!  
У статуя губы вдруг  
Тронулись усмешкою.  
Помню, глуп я был и мал,  
Слышал от родителя,  
Как родитель мой ломал  
Храм Христа-Спасителя.  
Бассан-бассан-бассана,  
Черт гуляет с опером.  
Храм — и мне бы ни хрена,  
Опиум как опиум,  
А это ж Гений всех времен,  
Лучший друг навеки!  
Все стоим ревмя ревом,  
И вохровцы, и ээки.  
Я кайлом по сапогу  
Бью, как неприкаянный,  
И внезапно сквозь пургу  
Слышу голос каменный:  
«Был я вождь и вам отец,  
Сколько мук намелено!  
Что ж ты делаешь, подлец?  
Брось кайло немедленно!»  
Но тут шарахнули запал,  
Применили санкции,—  
Я упал. И Он упал,  
Завалил полстанции...  
Ну, скостили нам срокá,  
Приписали в органы,  
Я живой еще пока,  
Но, как видишь, дерганный...  
Бассан-бассан-бассана,  
Бассаната-бассаната!  
Лезут в поезд из окна  
Бесенята, бесенята...  
Отвяжитесь, мертвяки!  
К черту, ради Бога...  
Вечер, поезд, огоньки,  
Дальняя дорога...

## Глава 5

ГЛАВА, НАПИСАННАЯ В СИЛЬНОМ ПОДПИТИИ  
И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ АВТОРСКИМ ОТСТУПЛЕНИЕМ

То-то радости пустомелям,  
Темноты своей не стыжусь,  
Не могу я быть Птолемеем,  
Даже в Энгельсы не гожусь.  
Но от вечного бегства в мыле,  
Неустройством земным томим,  
Вижу — что-то неладно в мире,  
Хорошо бы заняться им.  
Только век меня держит цепко,  
С ходу гасит любой порыв,  
И от горестей нет рецепта,  
Все, что были, — сданы в архив.  
И все-таки я, рискуя прослыть  
Шутом, дураком, паяцем,  
И ночью и днем твержу об одном —  
Не надо, люди, бояться!  
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,  
Не бойтесь мора и глада,  
А бойтесь единственно только того,  
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»  
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,  
Я вас научу, как надо!»

И, рассыпавшись мелким бесом  
И поклявшись вам всем в любви,  
Он пройдет по земле железом  
И затопит ее в крови.  
И наврет он такие враки,  
И такой наплетет рассказ,  
Что не раз тот рассказ в бараке  
Вы помянете в горький час.  
Слезы крови не солонее,  
Даровой товар, даровой!  
Прет история — Саломея  
С Иоанновой головой.

Земля — зола, и вода — смола,  
И некуда вроде податься...  
Неисповедимы дороги зла,



Но не надо, люди, бояться!  
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,  
Не бойтесь пекла и ада,  
А бойтесь единственно только того,  
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»  
Кто скажет: «Всем, кто пойдет за мной,  
Рай на земле — награда».

Потолкавшись в отделе винном,  
Подойду к друзьям-алкашам,  
При участии половинном  
Побеседуем по душам,  
Алкаши наблюдают строго,  
Чтоб ни капли не пролилось.  
«Не встречали, — смеются, — Бога?»  
«Ей же Богу, не привелось».  
Пусть пивнуха — не лучший случай  
Толковать о добре и зле,  
Но видали мы этот «лучший»  
В белых тапочках на столе.

Кому «сучок», а кому коньячок,  
К начальству — на кой паяться?!  
А я все твержу им, ну как дурачок:  
Да не надо, братцы, бояться!  
И это бред, что поезда нет  
И нельзя входить без доклада,  
А бояться-то надо только того,  
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»  
Гоните его! Не верьте ему!  
Он врет! Он не знает — как надо!

## Глава 6

АВЕ МАРИЯ

Дело явно липовое — все как на ладони,  
Но пятую неделю долбят допрос.  
Следователь-хмурик с утра на валидоле,  
Как пророк, подследственный бородой оброс.

А Мадонна шла по Иудее  
В платьице, застиранном до сини,  
Шла Она с котомкой за плечами,  
С каждым шагом становясь красивой,  
С каждым вздохом делаясь печальной,  
Шла, платок на голову набросив,—  
Всех земных страданий средоточье,  
И уныло брел за Ней Иосиф,  
Убежавший славы Божий отчим...  
Аве Мария...

Упекли пророка в республику Коми,  
А он и — перекинись башкою в лебеду,  
А следователь-хмурик получил в местком  
Льготную путевку на месяц в Теберду...

А Мадонна шла по Иудее,  
Оскользаясь на размокшей глине,  
Обдирая платье о терновник,  
Шла Она и думала о Сыне  
И о смертных горестях сыновьих.  
Ах, как ныли ноги у Мадонны,  
Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи,  
А вослед Ей ражие долдоны  
Отпускали шутки жеребьячьи...  
Аве Мария...

Грянули впоследствии всякие хренации,  
Следователь-хмурик на пенсии в Москве,  
А справочку с печатью о реабилитации  
Выслали в Калинин пророковой вдове...

А Мадонна шла по Иудее!  
И все легче, тоньше, все худее  
С каждым шагом становилось тело...  
А вокруг шумела Иудея  
И о мертвых помнить не хотела.  
Но ложились тени на суглинок,  
И таились тени в каждой пяди,  
Тени всех бутырок и треблинок,  
Всех измен, предательств и распятий...  
Аве Мария!..

(1968—1970)

## ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ

*Маленькая поэма*

*Владимиру Максимову*

### 1

Бывали ль вы у Спаса-на-Крови?  
Там рядом сад с дорожками.  
И кущи.  
Не прогуляться ль нам на сон грядущий  
И поболтать о странностях любви?

Смеркается.  
Раздолье для котов.  
Плывут косые тени по гардине,  
И я вам каюсь шепотом в гордыне,  
Я черт-те в чем покаяться готов!

Пора сменить — уставших — на кресте,  
Пора надеть на свитер эполеты  
И хоть под старость выбиться в поэты,  
Чтоб ни словечка больше в простоте!

Допустим, этак:  
— Медленней, чем снег,  
Плывет усталость — каменная птица.  
Как сладко всем в такую полночь спится!  
Не спит — в часах — песочный человек.

О этот вечно тающий песок,  
Немолчный шелест времени и страха,  
О Парка, Парка, сумрачная пряха,  
Повремени, помедли хоть часок!..

А ловко получается, шарман!  
О, как же эти «О!» подобны эху...  
Но, черт возьми, еще открыт шалман!  
Вы видите, еще открыт шалман!  
Давайте, милый друг,  
Зайдем в шалман!  
Бессмертье подождет, ему не к спеху!..

2

Ах, шалман, гуляй душа,  
Прочь, унынье черное!  
Два ученых алкаша  
Спорят про ученое:  
— Взять, к примеру, мю-мезон,  
Вычислай и радуйся!  
Но велик ли в нем резон  
В рассужденьях градуса?!

Ух, шалман!  
Пари, душа!  
Лопайтесь, подтяжки!  
Работяга не спеша  
Пьет портвейн из чашки.  
— Все грешны на свой фасон,  
Душу всем изранили!  
Но уж если ты мезон,  
То живи в Израиле!..

Ну, шалман!  
Ликуй, душа!  
Света, Света, Светочка!  
До чего же хороша,  
Как в бутылке веточка!  
Света пиво подает  
И смеется тоненько,  
Три — пустые — достает  
Света из-под столика.

— Это, Света, на расчет  
И вперед — в начало!

Работяга, старый черт,  
Машет ручкой:  
— Чао!..

Вот он встал, кудлатый черт,  
Пальцами шаманя,  
Уваженье и почет  
Здесь ему, в шалмане!

3

Он, подлец, мудрец и стоик,  
Он прекрасен во хмелю!  
Вот он сел за крайний столик  
К одинокому хмырю.  
— Вы, прошу простить, партийный?  
Подтвердите головой!..

Хмырь кивает.  
Работяга улыбается.

— Так и знал, что вы партийный.  
Но заходите в питейный  
И по линии идейной  
Получаетесь, как свой!

Эй, начальство!  
Света, брызни!  
Дай поярче колорит!..  
— Наблюдение из жизни! —  
Работяга говорит.

И, окинув взглядом тесный  
Зал на сто семнадцать душ,  
Он, уже почти что трезвый,  
Вдруг понес такую чушь!..

На троллейбусной остановке  
 Все толпятся у самой бровки.  
 И невесело, как в столовке,  
 На троллейбусной остановке,  
 Хоть и улица — а накурено,  
 И похожи все на Никулина...  
 Ну, того, что из цирка — клоуна...  
 Так же держатся люди скованно.  
 Но попробуй у них спроси:  
 «Где тут очередь на такси?»  
 А где очередь на такси,  
 Там одни  
 «Пардон» и «мерси».  
 Там грузины стоят с корзинками,  
 И евреи стоят с грузинками,  
 И глядят они вслед хитро  
 Тем, кто ехать решил в метро.

И вдогонку шипят:  
 — Ай-вай!.. —  
 Тем, кто топает на трамвай.  
 А трамвайная остановка —  
 Там особая обстановка.  
 Эй, ты — в брючках, пшено, дешевка,  
 Ты отчаливай, не форси.  
 Тут трамвайная обстановка,  
 А не очередь на такси!..

И, платком вместо флага  
 Сложный выразив сюжет,  
 Наш прелестный работяга  
 Вдруг пропел такой куплет:

— А по шоссе на Калуги и Луги  
 В дачные царства, в казенный уют  
 Мчатся в машинах народные слуги,  
 Мчатся — и грязью народ обдают!..

У хмыря — лицо как тесто  
 И трясется голова.  
 Но приятный гром оркестра  
 Заглушил его слова.  
 Был оркестр из настоящих  
 Трех евреев, первый сорт!

А теперь упрятан в ящик  
 Под названием «Аккорд».  
 И ведет хозяйство это  
 Ослепительная Света.

И пускает, в цвет моменту,  
 Отобрав из сотни лент,  
 Соответственную ленту  
 В соответственный момент.

Вот сперва завыли трубы:  
 Все, мол, в жизни трын-трава!..

У хмыря трясутся губы  
 И трясется голова.

Вот — поддал ударник жару,  
 Показал, бродяга, класс!  
 А уж после под гитару  
 Произнес нахальный бас:

«Доля, доля, злая доля  
 Протрубила б ты отбой!  
 Сверху небо, снизу поле,  
 Посередке — мы с тобой.  
 Мы с тобою посередке,  
 Ты — невеста,  
 Я — жених.  
 Нам на личность по селедке  
 И пол литра на двоих.  
 Мы культурно свет не застим,  
 Взять судьбу не можем в толк.  
 И поет нам:

«С новым счастьем!» —  
Наш парторг — тамбовский волк.  
Он поет — один в гордыне,  
Как свидетель на суде:  
«С новым счастьем, молодые,  
И с успехами в труде!..  
И чтоб первенец загукал,  
Как положено в семье,  
Вам партком отводит угол  
В обще...»

...Тут, увы, заело ленту —  
Отслужила, видно, срок.  
Но опять же, в цвет моменту,  
Грянул бойкий тенорок:

«Чтобы очи мои повылазили,  
Чтобы не видеть мне белого дня,  
Напридумали Лазари лазеры  
И стараются кончить меня!..»

И шалман зашелся смехом,  
Загудел, завыл шалман,  
И, частушке вторя, эхом  
Об стакан гремит стакан.

6

Света, Света, добрый друг,  
Что же ты примолкла вдруг?  
Где твой Лазарь, где твой милый,  
Завбуфетом в цвете лет?!  
Он убит — и взят могилой,  
Как сказал один поэт.

Брал он скромно, брал по праву,  
Брал не с верхом, а в очко.

Было — заму,  
Было — заву,  
Было всем на молочко!

Уносите, дети, ноги!  
Не ходите, дети, в лес!



В том лесу живет в берлоге  
Лютый зверь — Обехаэс!..

Всем вlepили мелочишку,  
Все равно как за прогул.  
Только Лазарь принял «вышку»,  
Даже глазом не моргнул...  
Точно так же, как когда-то  
Не моргнул и глазом он,  
Когда гнал его, солдата,  
Дезертир из школы вон!  
Мол, не так он учит деток,  
Подозрительный еврей,  
Мол, не славит пятилеток,  
А долдонит про царей.

Заседанье педсовета  
Подвело всему итог...

С ним ушла тогда и Света —  
Физкультурный педагог.  
Что ты, что ты, что ты, что ты,  
Что ты видишь сквозь туман?  
Как мотались без работы?  
Как устроились в шалман?  
Как, без голоса, кричала  
В кислom зале горсуда?..

Эй, не надо все сначала,  
Было — сплыло навсегда!  
Было — сплыло...

Тут линяет гром оркестра —  
Мал в шалмане габарит.  
И опять, оркестра вместо,  
Работяга говорит  
(А в руке гуляет кружка,  
И смеется левый глаз!):  
— Это все была петрушка,  
А теперь пойдет рассказ...

Мы гибли на фронте,  
 Мы хрипли в комбеде.  
 А вы нас вели  
 От победы к победе!

Нам бабы кричали:  
 — Водицы попейте!  
 Умойтесь, поешьте, поспите хоть ночку! —  
 А вы нас вели от победы к победе,  
 И пуля свинцовая ставила точку!

Мы землю долбили,  
 Мы грызли железо,  
 Мы грудь подставляли под дуло обреза.  
 А вы, проезжая в машине «Победе»,  
 В окно нам кричали:  
 — Достройте!.. Добейте!..

И мы забывали  
 О сне и обеде,  
 И вы нас вели  
 От победы к победе!

А вы  
 «Победы» меняли на «Волги»,  
 А после  
 «Волги» меняли на «ЗИМы»,  
 А после  
 «ЗИМы» меняли на «Чайки»,  
 А после  
 «Чайки» меняли на «ЗИЛы»...

А мы надрывались,  
 Долбили, грузили!

И вот уже руки  
 Повисли как плети,  
 И ноги не ходят,  
 И волосы седы.

А вы нас вели от победы  
К победе.  
И тосты кричали  
Во славу победы:  
— Ну, пусть не сегодня,  
Так — завтра, так — в среду!  
Достройте!.. Добейте!..  
Дождем!.. Приурочим!..

А мы, между прочим,  
А мы, между прочим,  
Давно — положили — на вашу победу!..

8

Хмырь зажал рукою печень,  
Хмырь смертельно побледнел.  
Даже хмырь — и тот не вечен,  
Есть для каждого предел.

Работяга (в кружке пена),  
Что ж ты, дьявол, совершил?  
Ты ж действительного члена  
Нашу партию лишил!  
И пленительная Света,  
Сандалетами стуча,  
Срочно стала из буфета  
Вызывать в шалман врача!..

9

Какая ночь! Как улицы тихи!  
Двенадцать на часах Аэрофлота.  
И кажется, дойдешь до поворота —  
И потекут бессмертные стихи!

(1970—1971)

П б Е С Ы

# ПУТИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

(Первое дело)

*Драматическая повесть в четырех действиях*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Варя Воробьева — адвокат.  
Юрий Борисович Хмара — адвокат.  
Алексей Владимирович Жильцов — директор  
подмосковного завода.  
Тамара Жильцова — его жена.  
Максим Медников — инженер.  
Иван Ильич Кондрашин — инженер.  
Нина Кондрашина — его жена.  
Евгений Аполлонович Бубнов — профессор.  
Катя Богачева — секретарь юридической консульта-  
ции.  
Васенька Пустовойтов.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### В ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

У одной из московских застав, в переулке, неподалеку от линии железной дороги, стоит большой некрасивый дом. В полуподвальном этаже этого дома помещается юридическая консультация.

В тесной и неудобной комнате, отделенной от узкого коридора матовой застекленной перегородкой, стоят вплотную друг подле друга несколько столиков — с неизменными школьными чернильницами-невывливайками, с круглыми пластмассовыми пепельницами и маленькими настольными лампами под бумажными абажурами. На стенах висит великое множество самых разных плакатов и объявлений, начиная с объявления о порядке оплаты и о стоимости услуг работников консультации в каждом отдельном случае и кончая плакатом с призывом вступать в ряды добровольного спортивного общества «Наука».

Хмурый зимний день. В консультации тихо и пусто. Только Катя

Богачева, секретарь консультации, сердито и сосредоточенно стучит на пишущей машинке, а за самым крайним столиком, у запорошенного снегом окна, сидит, склонившись над какими-то бумагами, дежурный адвокат — Варя Воробьева.

К а т я (*с треском перевела каретку*). Варвара Сергеевна, вы извините, но я что-то не понимаю — тут у вас в одном случае написано «комитет», а в другом «комитент»... Так и печатать?

В а р я (*рассеянно*). Да, да, так и печатайте.

К а т я (*пожала плечами*). Пожалуйста. Только вы уж потом не ахайте и не говорите, что у меня на каждой странице по сто тысяч ошибок! Вы сказали и забыли, а мне — неприятности!

В а р я (*подняла глаза*). Что за вздор, Катя? Когда у вас были из-за меня неприятности?

К а т я. Не были, так будут.

В а р я. Странно! (*Отодвинула бумаги, встала, подошла к Кате, проговорила негромко и сердито*.) Странно вы со мной разговариваете, честное слово! Почему? Что я вам сделала? За что вы так невзлюбили меня?

К а т я (*медленно*). За что невзлюбила? (*Усмехнулась, прищурилась*.) А за что, собственно, я должна вас любить, Варвара Сергеевна? Люди мы разные — вам двадцать пять, мне тридцать шесть... Улавливаете разницу? И вы счастливчик — у вас папа и мама, вы недавно кончили институт, полгода ходили в стажерах и уже — член Московской коллегии адвокатов. А я как была секретаршей, так секретаршей и останусь... И вы будете называть меня Катей, а я вас Варварой Сергеевной... Вот и подумайте — за что мне вас любить?

Варя растерянно молчит. Из коридора, отряхиваясь от снега, в шубе нараспашку входит Ю р и й Б о р и с о в и ч Х м а р а. Несмотря на вполне благообразную внешность, на бритое мятое лицо старого провинциального актера и крупную красивую голову, есть в нем что-то бульдожье — надменность, ум и равнодушная злость. В руках у Хмары какие-то разноцветные пакеты и свертки.

Х м а р а (*торжественно*). Привет тебе, приют моих трудов! Здравствуйте, сердце мое, Катенька! Здравствуйте, Варвара Сергеевна!

В а р я. Здравствуйте, Юрий Борисович. Откуда вы такой веселый?

Х м а р а. Из суда. У меня слушалось дело — хозяйственная классика, Указ от четвертого июня! (*Снял шубу, повесил ее на вешалку, взлохматил волосы и с полупоклоном протянул Кате коробку конфет*.) Катенька, сердце мое, прошу — клюква в сахаре!

К а т я. Юрий Борисович, не надо, что вы?!

Х м а р а. Не благодарите. Я нынче богатый и щедрый. Ну-с, а что у нас? Все тихо? Ни убийств, ни поджогов, ни краж со взломом?

К а т я. Все тихо.

Х м а р а (*горестно покачал головой*). Да-а, друзья мои, я бы дорого дал тому, кто укажет мне такую обитель, такую золотую консультацию, куда все еще забегают на огонек последние могики, ветераны, так сказать, уголовного кодекса — сто седьмая... Вы еще не забыли, Катенька, за отсутствием практики, что означает сто седьмая статья?

К а т я. Спекуляция.

Х м а р а. А сто девятая?

К а т я. Злоупотребление властью.

Х м а р а. А сто шестнадцатая?

К а т я. Растрата.

Х м а р а. Bravo! (*Взглянул на Варю и улыбнулся*.) Почему вы смотрите на меня, коллега, такими недоумевающими глазами?

В а р я. Я все еще не научилась понимать, когда вы шутите, а когда говорите серьезно.

Х м а р а. Серьезно я говорю только за деньги. (*Помолчал*.) Да поймите же, голубушка моя Варвара Сергеевна, — мы с вами представители на редкость несовременной, я бы даже сказал — вымирающей профессии! Да, да, уверяю вас — пройдет еще каких-нибудь десять — пятнадцать лет и всех нас выбросят за ненужностью на свалку! Многие уже сегодня не понимают, что это за странная должность — защитник, и спрашивают, за чью футбольную команду я играю и какой я защитник — правый или левый!.. А ведь еще совсем недавно, еще в начале века сословие адвокатов составляло красу и гордость российской интеллигенции! Карабчевский, Плевако, Спасович, Андреевский, Холева — одни имена чего стоят. А теперь? Ну вы сами посудите — что нам защищать? Кого и от чего защищать? Где она, эта загадочная женщина под темным вуалем, указывая на которую адвокат восклицал: кто без греха, пусть первым бросит в нее камень! Где она? Кто вместо нее? Продавщица из продуктовой палатки, обвесившая покупателя на двести граммов чайной колбасы?.. Кто же мы с вами, Варвара Сергеевна, сегодня — мы, вчерашние защитники прав человеческой личности? Покровители Указников — так, что ли?! Да-а, черт побери, дернула же меня когда-то нелегкая посвятить себя адвокатской практике! А все из-за чего? А все из-за мальчишеского тщеславия! Хотелось, видите ли, венков и оваций, благодарных слез и студен-

ческого обожания, хотелось, как острили в университете, переплюнуть самого Плевако...

В а р я. А теперь вам всего этого уже не хочется?

Х м а р а (*резко*). Нет! (*Прошел по комнате, улыбнулся.*) Теперь мне хочется чаю... Катенька, сердце мое, соорудите мне стаканчик чаю. Покрепче и погорячее!

Катя молча достает из ящика письменного стола чайную чашку, полотенце, маленький чайник для заварки, электрический шнур и выходит в коридор.

В а р я (*после паузы*). Кстати, Юрий Борисович, неловко вам надоедать, но...

Х м а р а (*перебил*). Вы насчет статьи? Напишу, напишу. Я ее уже почти кончил. Когда выходит наша популярная стенная газета «Красный защитник»?

В а р я. На будущей неделе. Называется она, между прочим, просто — «Защитник»... А о чем будет статья? О том, что всех нас пора на свалку?

Х м а р а (*поглядел на Варю и шутливо раскланялся*). Мы квиты, коллега!..

В дверях, с шапкой в руках, появляется Максим Медников. Он молодой, примерно одних лет с Варей, синеглазый, румяный, в кожаном пальто с каракулевым воротником и высоких белых бурках.

М а к с и м. Здравствуйте! А я только что звонил к вам домой, Варвара Сергеевна, и мне сказали, что вы дежурите в консультации... К вам можно?

В а р я (*радостно и торопливо поднялась ему навстречу*). Максим?! Вот уж не думала...

М а к с и м. Можно к вам?

В а р я. Ну конечно, конечно — можно! (*Протянула руку.*) Здравствуйте, Максим.

М а к с и м. Здравствуйте, Варвара Сергеевна!

В а р я. А я еще вчера ждала вашего звонка. Вчера, и позавчера, и третьего дня!

М а к с и м (*развел руками*). Конец месяца! В конце месяца у нас на заводе — сумасшедший дом!

Из коридора слышен голос Кати: «Юрий Борисович, к вам тут гражданин».

Х м а р а (*взглянул на Варю и Максима, едва заметно поморщился, встал*). Попросите гражданина, Катенька, пройти в сосед-



нюю комнату. И принесите туда же чай. (*Обернулся к Варя.*) Варвара Сергеевна, если меня будут спрашивать — я по соседству!

Хмара выходит в соседнюю комнату.

Максим. Понимаете, Варвара Сергеевна...

Варя (*перебила*). А мне вас тоже надо называть Максимом Петровичем?

Максим (*смутился*). Нет, разумеется! Я просто полагал, Варенька, поскольку вы на работе...

Варя (*усмехнулась*). Считайте, что я не на работе! (*Внимательно, сдвинув брови, поглядела на Максима.*) А вот вы действительно даже похудели!

Максим. Даем план!

Варя. Счастливый! А как же вам сегодня удалось так рано вырваться?

Максим. Сегодня я получил ответственнейшее задание — повидаться с Варварой Сергеевной Воробьевой... Нет, совершенно серьезно, вы не смейтесь: утром меня вызвал Жильцов и попросил, чтоб я непременно к вам заехал.

Варя (*очень удивленно*). Жильцов?!

Максим. Ну да — наш директор. Я не помню, Варенька, я вам что-нибудь рассказывал про него?

Варя (*смешливо*). Что-нибудь?! Да мы, по-моему, когда видимся, только про Жильцова и разговариваем — про то, какой он замечательный, талантливый, знаменитый, умный...

Максим (*добродушно*). Смейтесь, смейтесь... Вот он сейчас придет сюда, и вы сами увидите, что он за человек!

Варя. Куда придет?

Максим. К вам сюда, в консультацию. Он обещал быть ровно к половине четвертого... Скажите, Варенька, ведь вы сейчас не очень заняты?

Варя. Не очень? (*Усмехнулась*.) Я совсем не занята! Совсем, понимаете?! Настоящие, интересные дела у других, а у меня — справочная работа, редколлегия стенной газеты, дежурства... Ах, господа, до чего же это все не то! И до чего же я завидую вам, Максим! Сразу после института попасть к такому человеку, как Жильцов, и... А зачем он придет сюда?

Максим. К вам, Варенька. Он хочет, чтоб вы вели его дело.

Варя (*радостно и недоверчиво*). Вела дело? Вы шутите! Честное слово?

Максим. Причем для меня это тоже очень важно. Очень... Произошла глупейшая история... Короче, он вам сам все расскажет!

В а р я (*весело*). Если расскажет! А вдруг он посмотрит на меня и решит, что ему нужен кто-нибудь посерьезнее и посолоиднее... Такие случаи уже были! (*Помолчала, пошарила в кармане, засмеялась*.) Хорошо хоть, что я сегодня очки взяла! Можно будет надеть для важности, правда?

М а к с и м. Вот как вредно читать до трех часов ночи!

В а р я (*быстро взглянула на Максима*). А откуда вы знаете, что я читаю до трех часов ночи?

М а к с и м. Знаю.

В а р я. Ну откуда? Откуда?

М а к с и м (*с улыбкой*). Вчера у нас было совещание, я вернулся в Москву последней электричкой, метро уже не работало, пришлось идти пешком... И как раз по пути, когда я шел мимо вашего дома, я обратил внимание, что в вашем окне горит свет.

В а р я. По пути?! Странную дорожкой вы шли домой!

М а к с и м (*смутился*). Ну, свернул немножко. Чуть-чуть.

В а р я (*помолчала*). В общем, эту историю вы, конечно, придумали! Но мне все равно приятно!..

Максим хочет что-то сказать, но его перебивает негромкий и мягкий тенорок:

— Мне сюда, Медников?

Варя и Максим оборачиваются — в дверях стоит Жильцов. Он высокий, полнолицый, большой и в то же время какой-то удивительно собранный и подтянутый. На нем почти совершенно такие же, как на Максиме, белые бурки и кожаное пальто с каракулевым воротником, словно это военное обмундирование, полученное с одного вещевого склада, но только на Жильцове все это поновее, подбротнее и подороже.

М а к с и м (*вскочил*). Алексей Владимирович!

Ж и л ь ц о в. Разрешите?

В а р я. Пожалуйста.

М а к с и м. Знакомьтесь... Знакомьтесь, Варенька, — это и есть Алексей Владимирович Жильцов.

В а р я (*протянула руку*). Здравствуйте.

М а к с и м. А это — Варвара Сергеевна Воробьева.

Ж и л ь ц о в. Очень приятно! Вы тут ругаете меня, верно, за опоздание?

М а к с и м. Что вы, Алексей Владимирович! Вы же обещали быть к половине четвертого.

Ж и л ь ц о в. А сейчас уже — без четверти. Меня Кузьмич, шофер мой, не на ту улицу завез, техник-механик! (*Неожиданно круто обернулся к Максиму*.) Да, Медников, насчет техучебы... Надо будет заняться тебе с молодежью. Вы завтра договоритесь с Полонским — что и как. Есть? (*Рассеянно потер ладонью под-*

*бородок, дружелюбно улыбнулся Варя.*) Вы уж извините нас, Варвара...

В а р я. Сергеевна.

М а к с и м (*нерешительно*). Так я думаю, что можно бы просто — Варя...

Варя удивленно подняла глаза на Максима, Жильцов перехватил ее взгляд и улыбнулся.

Ж и л ь ц о в. Зачем же?! «Варвара Сергеевна» — тоже достаточно просто. А то есть у нас любители щеголять тем, что цифры они помнят наизусть, а имена-отчества путают! Такой, знаете, особый руководящий шик!

Входит Х м а р а со стаканом чаю в руках. Он проходит к своему столу, с интересом поглядывая на Жильцова.

Х м а р а. Здравствуйте.

Ж и л ь ц о в (*не глядя*). Привет! Так вот, Варвара Сергеевна... Вам Медников уже рассказал, в чем дело?

В а р я. Нет.

М а к с и м. Вы же не велели рассказывать, Алексей Владимирович!

Ж и л ь ц о в (*засмеялся*). Правильно, не велел. Это я проверяю — умеешь ты держать язык за зубами или не умеешь. Так вот, Варвара Сергеевна, какая со мной приключилась история — подали на меня в суд...

В а р я. На вас?

Ж и л ь ц о в. На меня! (*Помолчал, растегнул пальто, уселся поплотнее и поудобнее.*) У нас на заводе, в проектно-инженерном отделе работал некий Иван Ильич Кондрашин. Во время оно, до войны еще, считались мы с ним вроде даже приятелями... Ну, не так, собственно, мы, как жены наши! Потом, конечно, развели нас в разные стороны, дело житейское! Назначили меня директором, а хозяйство у нас большое, людей много... И я ведь, знаете ли, не верю в поговорку, что друзья познаются в беде! Посочувствовать да поахать — это всякому лестно. И стоит недорого! А вот порадоваться чужой удаче, не позавидовать, а порадоваться — может только истинный друг... Ну да, впрочем, это все так — к слову!.. А с Кондрашиным — что ж? Ссориться мы с ним не ссорились, а просто разными людьми оказались! (*Добродушно улыбнулся.*) Я, как видите, из мужиков. А он из небожителей. Из тех, знаете, которым по грешной земле ходить скучно, которых все больше в эмпиреи заносит... То он с каким-нибудь немислимым предложением выступит, то переру-

гается со всеми в отделе, то статейку сочинит в многотиражку на манер Жюлья Верна... Научный фантаст, одним словом! Я понятно рассказываю, Варвара Сергеевна?

В а р я. Вполне.

Ж и л ь ц о в. Тогда поехали дальше. Некоторое время тому назад получили мы предписание министерства сократить в проектном отделе одну штатную единицу. Грешен, хотел было я по старой дружбе отвести удар от Кондрашина: хоть и бьют нас теперь за приятельские отношения — и правильно, между прочим, бьют, — но хотел я вступитьяся, да не вышло! Очень уж многих в руководстве он против себя восстановил! Так что пришлось нам с ним расстаться...

В а р я. А теперь он через суд требует восстановления?

Ж и л ь ц о в. Нет, этим занимается обком союза. Тут другое... Вы уж разрешите, Варвара Сергеевна, я по порядку!

В а р я. Слушаю вас.

Ж и л ь ц о в. Значит, расстались мы с Кондрашиным. Живем, трудимся, план даем... А я так даже ухитрился еще и книжку написать — по вопросам автоматике! Присвоили мне за эту книжку ученую степень... Одним словом, все хорошо, все честь честью! И вдруг позавчера повестка — вызывают в суд! Я в тот же день, по дороге на завод — мы ведь за городом находимся, на станции Чернополье, — ну вот, я по дороге и заехал в суд: в чем, дескать, дело?.. Оказывается — Кондрашин! И обвиняет он меня в том, что будто бы некую его, Кондрашина, неопубликованную работу я переписал от корки до корки и выдал за свое сочинение! Попросту говоря — обокрал, да еще звание получил за это! Некрасиво, Варвара Сергеевна, как по-вашему?

В а р я *(пожала плечами)*. Некрасиво.

Ж и л ь ц о в *(засмеялся)*. Вот и я тоже считаю, что некрасиво! Нехорошо поступил товарищ Жильцов! *(Помолчал, стиснул зубы, проговорил сухо и сдержанно.)* Но только принять я этого обвинения не могу! Все — вздор, игра обиженного воображения! *(Улыбнулся Вале.)* Вот я и хотел просить вас, Варвара Сергеевна, заняться этим глупейшим делом! А то мне по всяким вашим инстанциям бегать некогда, да и, честно вам признаюсь, противно! За всю свою жизнь ни разу выговора не имел, а тут — суд... Вот, значит, так! *(Поглядел на Варю.)* Что скажет высокая договаривающаяся сторона?

Несколько секунд длится молчание.

М а к с и м. Варенька!

В а р я *(смущенно и взволнованно)*. Я очень рада... То есть,

не рада, конечно, а я хочу сказать, Алексей Владимирович, что я с удовольствием возьму ваше дело. И я очень благодарна вам за доверие, Алексей Владимирович, очень... Но помнится, Максим Петрович говорил мне, что у вас на заводе юрисконсульт работает Брянский Михаил Михайлович. Я с ним знакома — он член Коллегии, опытный адвокат... А я ведь только недавно из стажеров, я еще по-настоящему и не выступала самостоятельно... И может быть, это неудобно, что вы поручаете дело не ему, а мне?

Жильцов (*махнул рукой*). Ну какой он там адвокат?! Старый старичок! Из тридцати букв русского алфавита не выговаривает тридцати трех! И вообще, Варвара Сергеевна, если мы с вами подружимся, то, я думаю, что и в дальнейшем... Короче, по этому поводу вы не тревожьтесь! Какие вам нужны от меня документы и сведения?

Варя. Повестка у вас при себе?

Жильцов (*достал из кармана повестку*). Повестка — вот. (*Расстегнул портфель, вытащил толстую, переплетенную в коленкор рукопись, положил ее на стол.*) Это моя работа, и там же, внутри, отзывы членов ученого совета, две рецензии и свидетельство о присвоении степени... Все?

Варя (*надела очки*). Нет, не все. Вам должны были вручить копию заявления этого Кондрашина.

Жильцов (*пошарил в портфеле, похлопал себя по карманам*). Копия заявления, копия заявления... Тьфу ты, будь она трижды неладна, забыл! Приготовил ее дома на столе и забыл! (*Обернулся к Максиму*.) Медников, дорогой, прояви оперативность — машина моя тут, у подъезда, — смотайся ко мне домой, возьми на письменном столе заявление Кондрашина и привези сюда. Мигом, есть? Одно колесо — тут, другое — там!

Максим (*поднялся*). Хорошо, Алексей Владимирович!

Жильцов. Минутку! (*Встал, взял Максима под руку, проговорил, понизив голос.*) Ты жене про суд не говори. Понял? У нее и так за двести давление, не надо ее волновать.

Максим. А если она спросит, зачем я приехал?

Жильцов (*усмехнулся*). Не спросит. Ей до моих дел... (*Выразительно покачал головой.*) Ну, а если вдруг спросит — выдумай что-нибудь. Учить тебя?! Скажи — Бальзака, что ли, новый том выдают — за квитанцией заезжал.

Максим (*шутливо*). Есть, товарищ начальник!

Максим исчезает — мгновенно, точно его сдуло ветром, а Жильцов возвращается к столику и садится напротив Вари.

Ж и л ь ц о в. Золотой у вас друг, Варвара Сергеевна! Золотой! Я его все равно как брата полюбил, честное слово!

В а р я. А он в вас влюблен, Алексей Владимирович.

Ж и л ь ц о в. (*весело*). Есть такой грех! И что он, чудак, во мне нашел?! Смотрит на меня, как девица на гармониста! А я ж человек простой, без затей...

Смеркается. На улице уже зажгли фонари, и переплет окна косым отражением расплывается по стене. Хмара встает и включает свет.

В а р я. Разумно. Спасибо, Юрий Борисович! (*Перелистала рукопись Жильцова.*) Скажите, Алексей Владимирович, а что вы думаете насчет экспертизы?

Ж и л ь ц о в. Насчет экспертизы, Варвара Сергеевна, я имею следующее предложение — у нас в министерстве, в научном отделе, есть такой профессор Бубнов Евгений Аполлонович. Я слышал, что он ученый солидный, знающий, честный... Попробуйте связаться с ним!

В а р я (*записала на листке бумаги*). Евгений Аполлонович Бубнов... Хорошо, завтра же его разыщу.

Входит Катя с полотенцем через плечо, останавливается в дверях и насмешливо смотрит на Варю.

К а т я. Варвара Сергеевна, вас к телефону. Мама. Беспокоится, что вы шерстяных носков не надели... Вы подойдете?

Варя мучительно вспыхивает, встает, растерянно смотрит на Жильцова и снова садится.

Ж и л ь ц о в. (*добродушно*). Ступайте, ступайте, Варвара Сергеевна. И скажите вашей маме, чтоб она не волновалась, — у меня машина и я вас доведу до самого дома.

В а р я (*тихо*). Спасибо, но у нас вечером лекция... (*Встала, пошла к дверям, на ходу едва слышно сказала Кате.*) Неужели это нужно было — при всех?!

Варя уходит. Катя усмехается, подходит к своему столику, прячет полотенце и накрывает машинку чехлом.

Ж и л ь ц о в. (*поглядел на Катю и брезгливо оттопырил губу*). А вы здесь, гражданочка, кем работаете, ежели не секрет?

К а т я. Секретарем.

Ж и л ь ц о в. (*резко и грубо*). Громче, не слышу! Кем, вы скажали?

К а т я. Секретарем.

Ж и л ь ц о в. А почему же вы, секретарь, позволяете себе

смешки, когда разговариваете со старшим, ответственным работником консультации?! Да еще во время приема! Откуда у вас тут такой стилек панибратский?!

К а т я (*растерялась*). Простите...

Катя, наклонив голову, торопливо выходит. Молчание.

Х м а р а (*осторожно покашляв*). У вас, Алексей Владимирович, есть какие-нибудь особые причины не узнавать меня?

Ж и л ь ц о в. Вас? А разве ж... Позвольте, позвольте...

Х м а р а. Мы встречались как-то у Евгения Аполлоновича Бубнова.

Ж и л ь ц о в (*равнодушно*). А-а, совершенно верно. Теперь вспомнил. Вы с ним родичи, кажется?

Х м а р а. Отнюдь. Старые друзья всего-навсего! (*Придвинулся вместе со стулом поближе к Жильцову.*) Вы извините, Алексей Владимирович, я слышал краем уха вашу историю. И я обеспокоен. Несмотря на то что мой юридический стаж на немного — только на двадцать пять лет — выше, чем юридический стаж очаровательной Варвары Сергеевны, мне ваше дело совсем не представляется таким уж бесспорным и очевидным.

Ж и л ь ц о в. Почему?

Х м а р а. Ну, это разговор долгий... Тут многое настораживает... Впрочем, если экспертом будет наш общий друг — Евгений Аполлонович Бубнов, — то это, разумеется, несколько облегчит ведение дела.

Ж и л ь ц о в (*грозно привстал*). Послушайте, вы!..

Х м а р а (*мягко*). Успокойтесь, Алексей Владимирович. Поверьте, что я далек от желания вас обидеть. Я просто хочу, чтоб вы поняли — одну и ту же картинку можно раскрасить разными красками. Раскрасим белой — будет зима, желтой — осень, зеленой — весна. И меня беспокоит, что вы поручаете ведение вашего дела адвокату, не имеющему опыта в деликатных вопросах авторского права, не знающему всех тонкостей, всех, как говорится, ходов и выходов судопроизводства...

Ж и л ь ц о в (*зло*). Всё хитрости да тонкости! Привыкли вы тут, как я погляжу, иметь дело с жуликами! А если отбросить дипломатию, то понимать вас, уважаемый, очевидно, следует так — напрасно я обратился к Варваре Сергеевне и не обратился к вам. Так?

Х м а р а (*со смешком*). Ну, не совсем так, но — примерно.

Ж и л ь ц о в (*тоже засмеялся*). Ловко! Да-а, не сомневаюсь, что уж вы-то во всех этих хитростях и тонкостях плаваете, как рыба в воде! Вы только об одном забыли — опыт, знаете ли,

приобретается практикой, а где ее молодежь возьмет, если мы с вами будем становиться им поперек дороги?

Торопливо возвращается В а р я.

В а р я. Извините, Алексей Владимирович!  
Ж и л ь ц о в. Ничего, ничего, мы тут беседуем.  
В а р я. Я хотела бы записать...

Без шапки, в расстегнутом пальто врывается М а к с и м.

Ж и л ь ц о в. Уже?

М а к с и м (*достал из бокового кармана заявление, с трудом отдышался*). А мы, Алексей Владимирович, как «скорая помощь» — мимо всех светофоров.

Ж и л ь ц о в. Молодцы! (*Взял у Максима заявление, передал Варе.*) Прошу, Варвара Сергеевна.

Входит К а т я и, боязливо покосившись на Жильцова, садится за пишущую машинку.

В а р я (*проглядела заявление Кондрашина, покачала головой*). Странное заявление! Этот Кондрашин будто нарочно сам себе усложняет дело. Он пишет зачем-то, что работа его отпечатана всего в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Кондрашина дома, второй — в архиве научно-исследовательского института вашего министерства. Из архива работа Кондрашина никому на руки не выдавалась... Спрашивается — каким же образом мог ею кто-то воспользоваться?

Ж и л ь ц о в (*весело*). То-то и оно! С ходу, Варвара Сергеевна, с ходу ухватили главное, bravo! Который час, Медников?

М а к с и м. Половина пятого.

Ж и л ь ц о в. Батюшки! (*Положил Варе руку на плечо.*) Варвара Сергеевна, вы, стало быть, занимайтесь, а мы бежим! Не сердитесь. Я вам записываю свои телефоны — служебный и домашний. Если что-нибудь понадобится — звоните. Хорошо?

В а р я. Непременно.

Ж и л ь ц о в. Значит, спасибо вам большое, очень рад был познакомиться, жду звонка... Поехали, поехали, Медников!

М а к с и м (*негромко*). Варенька, я постараюсь к вам зайти вечером. Можно?

В а р я. А вы сможете?

Ж и л ь ц о в. Сможет, сможет. До свиданья, Варвара Сергеевна.



В а р я. До свиданья.

Х м а р а. Желаю всех благ!

Ж и л ь ц о в (*мельком взглянул на Хмара и остановился*). Да, Варвара Сергеевна! Если профессор Бубнов откажется или вам не удастся его разыскать — пускай это вас не огорчает. Договоритесь тогда с кем-нибудь другим. Мне решительно все равно с кем!

Жильцов снова кланяется, обнимает за плечи и уводит Максима, который в дверях пытается еще что-то знаками объяснить Вале. Несколько мгновений длится молчание. Потом за окном раздается автомобильный гудок.

К а т я (*поглядела в окно*). Интересный мужчина! Он кто такой?

В а р я. Директор завода.

К а т я (*вздыхнула*). Сразу видно — фигура!

Х м а р а (*небрежно*). А вы меня сегодня удивили, Варвара Сергеевна! Разве вам неизвестно, что, договорившись с клиентом, вы обязаны пройти с ним к заведующему консультацией, сообщить, что вами принято дело.

В а р я (*всплеснула руками*). Ох, Юрий Борисович, милый, боже мой,— я забыла! Я так разволновалась и обрадовалась — наконец-то у меня дело,— что все на свете забыла!

Х м а р а. У нас не лавочка. Не частное предприятие. И мы не модные доктора, которым суют деньги в руку после визита...

В а р я. Я знаю, знаю, вы правы... Ну, я просто забыла. Я ему позвоню, он придет и сделает все, как надо. Ну неужели вы могли подумать?!

Х м а р а. Я только отмечаю факт. Я не делаю пока никаких выводов. Я не вспоминаю о печальной практике старой адвокатуры — о дополнительных гонорарах «микстах», о всевозможных ценных подарках...

В а р я (*тихо*). Я не желаю вас слушать! Как вам не стыдно?! (*Возмущенно вздернув плечи, забирает папку с делом Жильцова и уходит в соседнюю комнату.*)

Х м а р а (*покачался на носках*). Тэк-с! Катенька, сердце мое, вы свободны? Я хотел бы кончить эту статью для стенной газеты... Найдите, на чем мы остановились! Нашли? Прочтите последний абзац!

К а т я (*читает*). «...Некоторые горе-теоретики пытались утверждать, что в ряду исчезающих профессий обречена на умирание и профессия адвоката. Но сама жизнь разбила эти досужие домыслы!..»

Х м а р а (*засмеялся*). И вы уверены, что это писал я?

К а т я. Представьте себе! Будем продолжать?

Х м а р а (*помолчал*). Нет, не будем. Можете все это выкинуть в мусорную корзинку! (*Прошелся по комнате, остановился, решительно проговорил.*) Мы начнем снова. И на другую тему. Пишите заголовок — «О моральном облике советского адвоката»!

Стучит пишущая машинка.

З а н а в е с

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ДОМА У ЖИЛЬЦОВА

Улица Горького, корпус Б. В одном из парадных подъездов этого огромного, занимающего целый квартал, многоэтажного дома на шестом этаже находится квартира Алексея Владимировича Жильцова.

Большая комната — гостиная — с книжными полками, коврами, мягкой мебелью, невразумительными картинами в золоченых рамах и огромным концертным роялем, на крышке которого стоит ваза с букетом искусственных цветов. Три двери — дверь в прихожую, дверь в столовую, за которой виден парадно накрытый стол, и дверь в кабинет Жильцова, откуда на ковер падает узкая полоска света от настольной лампы и доносится по временам треньканье телефона и негромкий раздраженный голос самого Алексея Владимировича.

Вечер. У окна, освещенного снаружи быстрыми и яркими огнями улицы, стоят В а р я и М а к с и м.

М а к с и м. Вы хотите уйти?

В а р я. Не знаю... Глупейшее положение — и уйти неудобно, и остаться я не могу! Я убедительно вас прошу на будущее — всегда говорите мне заранее, к кому и куда мы идем! Поймите, что я просто не имею права выступать днем по делу Жильцова в суде, а вечером как ни в чем не бывало являться к нему в гости!

М а к с и м (*примирительно*). Ну не сердитесь, Варенька! Не надо сердиться в такой торжественный день! Сегодня вы блестяще выиграли дело! Начали, так сказать, славный путь!

На пороге своего кабинета, встрепанный, с потухшею папиросой в зубах, появляется Ж и л ь ц о в.

Жильцов. Сейчас, сейчас... Не велите казнить, Варвара Сергеевна, велите помиловать! Сейчас меня с главком соединят, и точка... Машина не возвращалась?

Максим. Нет.

Жильцов (*в комическом недоумении развел руками*). Ну что вы скажете, а?! Жена пропала! В шесть часов, говорят, вышла из парикмахерской, от парикмахерской до дома три шага — и вот до сих пор ее нет!

Максим. А куда же вы послали машину?

Жильцов. Послал по городу — в объезд всех знакомых. Ничего, найдем! Медников, ты, я надеюсь, не даешь скучать Варваре Сергеевне?

Максим. Стараюсь, Алексей Владимирович.

Жильцов (*шутливо погрозил пальцем*). Смотри у меня! (*Снова уходит к себе в кабинет.*)

Варя (*негромко*). А чем занимается жена Алексея Владимировича? Она кто?

Максим. Жена? (*Поглядел исподлобья на Варю, помолчал, нерешительно проговорил.*) Послушайте, Варенька, я все никак не соберусь с духом, а мне... Вы только, пожалуйста, не обижайтесь... У вас сегодня праздник. А я как раз вчера, совершенно неожиданно, получил премиальные. И мне ужасно захотелось сделать вам какой-нибудь подарок. Не обижайтесь, пожалуйста, ладно? (*Торопливо и неловко вытащил из бокового кармана какую-то коробочку, протянул Варю.*) Взгляните, вам нравится?

Варя (*открыла коробочку, охнула, проговорила шепотом*). Вы сошли с ума!

Максим. Вам нравится?

Варя (*неожиданно серьезно*). Ну что вы спрашиваете чепуху, честное слово! Как это может не нравиться?! (*Секунду подумала и вернула коробочку обратно Максиму.*) Нет, милый, лучшее вам спасибо, но вы же сами понимаете, что такого подарка я принять не могу!

Максим (*упавшим голосом*). Ну, Варенька!

Варя. Нет, нет! Я очень тронута — кольцо чудесное, и оно мне очень, очень нравится, и вы, наверное, истратили на него целую кучу денег... Но!.. (*Почти насильно вложила коробочку с кольцом обратно в руку Максиму.*) Возьмите, милый, и спрячьте. Не обижайте меня. Возьмите!

Максим (*окончательно растерялся*). А куда же я теперь с ним?

Варя. Не знаю.

Максим. Ведь я хотел... Я думал, чтобы это кольцо... (*Замолчал, зачем-то прислонился лбом к оконному стеклу, проговорил*

*угрюмо, не оборачиваясь.*) Послушайте, Варя, выходите за меня замуж! (*Обернулся, увидел Варины смеющиеся глаза и разозлился.*) Ну чего вы смеетесь? Что вы нашли смешного?!

**В а р я** (*с трудом сдерживая смех*). Я не смеюсь! Но если бы вы видели... Если бы вы только видели, милый, какое у вас было сейчас лицо! Как будто вы собирались сказать мне что-то совсем другое...

**М а к с и м**. Я и собирался. Вот что, Варя, для работников министерства строится дом. Первая секция, которую отдадут нашему заводу, будет готова к весне. Там, знаете, замечательные квартиры — с газом, с ванной, с телефоном... Ну, и мне твердо обещал Алексей Владимирович, что к маю получу двухкомнатную квартиру. Понимаете?

**В а р я** (*неожиданно грустно*). Понимаю. Теперь понимаю. Солидный человек — премиальные, двухкомнатная квартира — можно и жениться... И это все, что вы хотели мне сказать?

**М а к с и м**. Нет, не все, но это главное.

**В а р я**. Ах, это главное?! А я-то думала, что главные слова другие. Не знаю какие, но другие. И я ждала их... А вы, верно, решили, что уж если есть газ, ванная и личный телефон — то ничего говорить не нужно? (*В упор, сдвинув брови, поглядела на Максима.*) Как все странно, Максим! Помните, когда нас познакомили, — уже через час мне стало казаться, что мы с вами знаем друг друга тысячу лет! А сегодня я смотрю на вас и думаю — а разве мы знакомы? Вот вы сейчас говорили... Как будто читали объявление из газеты «Вечерняя Москва» — а я смотрела на вас и вспоминала, как мы ходили на лыжах, и заблудились в лесу, и стояли вдвоем в снегу, взявшись за руки, а где-то далеко гудел поезд... Что с вами случилось, Максим? А ведь что-то случилось, правда?

Максим угрюмо молчит. Из передней, без стука, поправляя на ходу галстук, выходит профессор Бубнов. Он длинноногий и длиннолицый, с грустно прищуренными глазами старого пьяницы и пушистым серебряным венчиком вокруг лысой головы.

**Б у б н о в** (*весело*). Легкомысленнейший дом! Двери на лестницу настежь — входи кто хочет! Я захотел и вошел!

**В а р я** (*очень удивленно*). Товарищ Бубнов?

**Б у б н о в** (*с полупоклоном*). Он самый. Только прошу вас, деточка, не называйте меня так официально! Называйте меня как-нибудь попроще. Например, «дядя Женя». Или даже «дядя Женечка»! (*Огляделся.*) А где же хозяйева?

**М а к с и м** (*сухо*). Тамары Николаевны дома нет. А Алексей Владимирович у себя в кабинете.

Бубнов. Занимается государственными делами? Благоговею! Не будем мешать! *(Заглянул в столовую, поднял брови, улыбнулся.)* Э-э, да я, оказывается, попал к званому ужину. Вот это удачно! *(Быстро прошел в столовую и тут же вернулся — с бутылкою коньяку, рюмкой и маленькой тарелочкой, на которой лежит нарезанный кружочками лимон.)* Прошу извинить — одну только рюмочку коньяку с лечебными целями! *(Выпил, сел в кресло, вытянул ноги.)* Сегодня в суде, Варвара Сергеевна, вы пронзили мое сердце, и я умоляю вас — обратите на меня свое благосклонное внимание...

Отворяется дверь кабинета, и Жильцов с порога быстро и озабоченно спрашивает.

Жильцов. Медников, скоренько... *(Внезапно заметил Бубнова и нахмурился.)* Профессор?

Бубнов *(шутовски)*. Шел, понимаешь, мимо. И зашел на огонек. Надеюсь, не прогонишь?

Жильцов *(пожал плечами)*. Да уж сиди, коли пришел!.. Медников, скоренько — какого числа посылали мы в главк запрос насчет новогодних фондов?

Максим. Пятого, Алексей Владимирович.

Жильцов. Точно? А сегодня у нас — двадцать второе? *(Засмеялся.)* Сейчас я им, голубчикам, шерсть подпалю! Ах, ловкачи, хотели меня с планом прижать, а сами... *(Не договорив, снова скрывается.)*

Бубнов *(поднял над головой указательный палец)*. Государственный ум! Скажите, Варвара Сергеевна, он прислал вам корзину сирени с ценным подарком?

Варя. Алексей Владимирович? Нет, конечно. А почему он должен присылать мне корзину сирени?

Бубнов. Потому что должен! Потому что нарушать традиции — неблагородно! Потому что мы с вами сегодня, не щадя живота своего, ходили по самому краю истины, спасая Алешкину честь, — а он нарушает традиции!

Варя. Что это значит?

Максим *(очень резко)*. Вы меня извините, профессор, но вам, очевидно, вредно пить коньяк! Даже с лечебными целями! Поверьте, что честь Алексея Владимировича Жильцова не нуждается в том, чтобы ее кто-то спасал! *(Встал, подошел к роялю, поднял крышку.)* Варенька, сыграйте что-нибудь, а?

Варя. Что это вдруг?

Бубнов. Вы играете, Варвара Сергеевна?

Варя. Очень плохо. И я даже не понимаю — почему Максим Петрович об этом вспомнил?

Максим (*натянуто*). Я просто подумал, что так сидеть скучно. И попросил вас сыграть. Но если вам не хочется...

Варя (*после паузы*). Ну, хорошо. (*Садится к роялю, пробегает пальцами по клавишам и, секунду подумав, начинает играть.*)

Бубнов и Максим сначала слушают молча, а потом Бубнов принимается негромко подпевать:

Не искушай меня без нужды  
Возвратом нежности твоей...

Из дверей кабинета выходит Жильцов, останавливается, улыбается.

Жильцов. А я-то слушаю и никак понять не могу — откуда у меня в доме музыка?

Варя (*обернулась*). Это я, Алексей Владимирович, извините.

Жильцов. Играйте, играйте. А то ж ерунда получается — рояль есть, а играть на нем некому! Думал я поучиться при случае, да все времени нет!

Бубнов. Зачем же ты его покупал, друг мой?

Жильцов (*со смешком*). Понравился! Да ты погляди, что это за машина! Это ж зверь, а не рояль... Концертный, дьявол! Фирма — Отто Дидерихс, понимаешь, и сыновья!

Бубнов (*захлопал в ладоши*). Великолепно! Если уж не иметь комнаты в Москве, то не иметь ее в центре и со всеми удобствами! Если уж не играть на рояле, то не играть на рояле фирмы Отто Дидерихс и сыновья...

В прихожей раздается звонок.

Жильцов. Тамара!

Бубнов. Ура! (*Обнял Жильцова за плечи.*) Пошли встретим хозяйку дома!

Бубнов и Жильцов выходят в переднюю. Варя торопливо поднимается из-за рояля.

Варя (*негромко и беспокожно*). Что происходит, Максим? Я совсем уже ничего не понимаю! Почему он заявил, что мы сегодня в суде ходили по краю истины? Почему он вообще явился и ведет себя так, словно он свой человек в доме? А ведь мне Жильцов сказал, что он едва знаком с Бубновым! Что все это значит? (*Взяла Максима об руку.*) Максим, милый, пожалуйста, давайте уйдем!

Максим (*растерянно*). Это неудобно, Варенька. Алексей Владимирович обидится. Я понимаю, что вам... Но я прошу вас — ну, еще хоть полчаса!

Варя (*тяжело вздохнула*). Ох, Максим!..

Возвращаются Бубнов и Жильцов.

Бубнов. Вернулась машина, а хозяйки нет!

Жильцов. Куда-нибудь зашла, очевидно, заговорилась и... Ничего, скоро будет! (*Через силу улыбнулся*.) Предлагаю, чтобы скрасить ожидание, выпить по предварительной, а?! Возражений нет? Принято единогласно! Медников, не смотри такими грустными глазами на Варвару Сергеевну, пошли — похлопочем. Евгений Аполлонович, покиньте ваше кресло...

Варя (*быстро*). Нет уж, Евгения Аполлоновича вы оставьте мне. Женщины и мудрецы не должны принимать участия в суете.

Жильцов. Профессор, можешь остаться!

Жильцов и Максим уходят в столовую.

Бубнов (*приложил руку к сердцу*). Благодарю, Варвара Сергеевна! Но так как вы — и женщина, и мудрец, то непонятно, в каком же качестве остался я? Разве что — осел мудреца!

Варя. Ну, какой я мудрец! Я еще слишком многого не понимаю. И кстати, Евгений Аполлонович, может быть, кое-что из этого многого сумеете мне объяснить вы?

Бубнов. К вашим услугам, Варвара Сергеевна!

Варя (*медленно, как бы размышляя вслух*). Сегодня в суде нам с вами удалось доказать, что работа Алексея Владимировича Жильцова есть работа самостоятельная. Что просто он и Кондрашин занимались одной и той же темой, пришли в итоге к одним и тем же выводам, и поэтому вполне естественно, что и в той, и в другой работе имеются некоторые совпадения. Так?

Бубнов. Совершенно справедливо. А чего же вы не понимаете?

Варя. А не понимаю я — почему же одна работа пылится в архиве научно-исследовательского института, а вторая немедленно принимается к печати и всячески поднимается на щит? Есть тут все-таки какая-то несправедливость, честное слово, есть! И может быть, поэтому вы сказали, что мы сегодня ходили по самому краю истины?

Бубнов (*едва заметно улыбнулся*). Ну что вы, Варвара Сергеевна! Это был просто неудачный ораторский прием, фигура

преувеличения! (*Серьезно.*) Видите ли, и работники института, и мы — научный отдел министерства, занимаемся не отвлеченными забавами, не наукою для науки...

В а р я (*перебила*). Скажите, Евгений Аполлонович, а вы в министерстве знакомитесь со всеми работами, поступающими в институт?

Б у б н о в. Как правило — со всеми.

В а р я (*быстро взглянула на Бубнова и опустила глаза*). Простите, я вас перебила!

Б у б н о в (*продолжая*). Что такое была работа Кондрашина? Взгляд в нечто, отвлеченные рассуждения на частную тему, не поддержанные производственными интересами! А когда в апреле этого года чернопольцы с легкой руки Жильцова занялись проблемами автоматики, мы тут же пришли им на помощь! И я лично сам набросал предварительный конспект в пятнадцать — двадцать страниц, который Алеша потом использовал для своей книги.

В а р я (*даже приподнялась*). Вы набросали предварительный конспект?! Погодите, погодите, это что-то совсем новое! Вы набросали конспект — но ведь вы-то уже были знакомы с работой Кондрашина? Вы же сами сказали, что вам из института присылали всё...

Б у б н о в (*в замешательстве*). Нет! Нет, нет, позвольте, вы не так меня поняли! Нам посылали все, что заслуживало внимания...

В а р я (*упрямо*). А работа Кондрашина? Она у вас в отделе была?

Б у б н о в. Господи, Варвара Сергеевна, ну какое это имеет значение?!

В а р я (*помолчав, тихо*). Огромное! Для меня — огромное!

Максим из столовой вкатывает в гостиную квадратный столик на колесиках, уставленный всевозможными винами и закусками. Сзади, заложив руки за спину, с довольным видом следует Ж и л ь ц о в.

Ж и л ь ц о в. Хозяин просит дорогих гостей!

Варя сидит молча и неподвижно. Максим устраивается рядом с ней. Бубнов разливает вино, и Жильцов поднимается.

Вино есть у всех? Ну-с, так за что же мы выпьем первую?

Максим. Я могу предложить...

Ж и л ь ц о в. Предлагать буду я.

Максим (*после неловкой паузы*). Прошу извинить, я не понял.



Жильцов (как ни в чем не бывало). Я предлагаю выпить за хороших людей. За друзей. Я поднимаю этот тост за вас, Варвара Сергеевна, и за вас — Евгений Аполлонович и Максим Петрович!

Максим. Спасибо.

Бубнов. Ура! Можно пить?

Жильцов. Погоди! (Усмехнулся.) Сказать откровенно, не очень-то меня беспокоил исход сегодняшнего громкого процесса «Кондрашин против Жильцова»! Но мне приятно и радостно, что молодой советский юрист, комсомолка... Ведь вы комсомолка, Варвара Сергеевна?

Варя (сухо). Я кандидат партии.

Жильцов. Молодой кандидат в члены партии, выступая по этому делу, получила свое боевое крещение и добилась серьезного и заслуженного успеха! Так позвольте же мне, дорогие мои друзья, поднять этот тост за вас и за все ваши настоящие и будущие удачи! А удач вам, знаю, предстоит много...

Из прихожей быстро входит Тамара Жильцова. Она высокая, красивая, крупная. Сильно подкрашенные и хитроумно уложенные в модной парикмахерской волосы совсем не идут к ее широкому и простому лицу. Она, ни с кем не здороваясь, молча останавливается в дверях.

Максим. Тамара Николаевна!

Жильцов (быстро обернулся). Тамара! (Встал.) Ну как же так можно, Тamarочка?! А я уж просто не знал, что и подумать! Где ты была?

Тамара (негромко). В парикмахерской.

Жильцов. Так долго? А почему же Кузьмичу сказали, что ты давно ушла?

Тамара. Да, я пошла домой. И у самого дома неожиданно встретила Ваню Кондрашина...

Жильцов. Кого?

Тамара. Ваню Кондрашина. С ним я и задержалась. Мы ходили по городу. Разговаривали! (Усмехнулась.) Я пыталась ему доказать, что мы с тобой совсем не такие уж плохие люди!

Жильцов (опешил). Да? И что же?

Тамара (после паузы). Ничего, Алеша! Ни-че-го! (Медленно, ни на кого не глядя, проходит в кабинет.)

Бубнов (с наигранным оживлением). Тамара Николаевна! Тamarочка!..

Жильцов (угрюмо). Оставь!

Бубнов. Да ведь я хочу...

Жильцов. А я тебе говорю — оставь! Мне, знаешь, эти

бабьи сантименты... Простите, Варвара Сергеевна! (*Привычным движением потер ладонью подбородок, поднял рюмку.*) Так давайте же, друзья мои, выпьем!

Никто не пьет. Все сидят молча, с напряженными лицами, стараясь не встречаться глазами.

В а р я (*тихо*). Максим! Принесите мне, пожалуйста, из передней мое пальто. Я накину. Мне почему-то вдруг стало зябко...

Максим поднимается, отворяет дверь в переднюю.

Ж и л ь ц о в (*нервно*). Куда?

М а к с и м. Я сейчас. (*Выходит в переднюю, через секунду возвращается и набрасывает Варе на плечи пальто.*)

В а р я. Спасибо.

И снова наступает молчание.

Б у б н о в (*вздыхнул*). Да-а, когда жена на вопрос «Что с тобой?» этак раздельно отвечает: «Ни-че-го!» — это значит, что барометр предвещает бурю!

Ж и л ь ц о в (*передернул плечами*). Подумаешь!

Б у б н о в. Ты, милый друг, не хорохорься! Есть только две породы мужей — те, которые боятся своих жен, и те, которые скрывают, что они их боятся! Правило без исключений!

Ж и л ь ц о в. Правило, правило... Какого черта, в конце концов! (*Встал, со злостью отшвырнул ногой стул и, посапывая, большими шагами зашагал по комнате.*) Подумаешь — встретила Ваньку Кондрашина, он ей поплакал в жилетку — и пожалуйста, готово — расстроилась, пожалела... Мне, может, самому жалко Ивана, но ведь у меня завод на плечах! И не какой-нибудь там захудаленький, а по нашему району из первых! А знаете вы, что это значит — быть первым в районе? Это значит, что все районное начальство одним тобой только и руководит. Об отстающих они на отчетных собраниях вспоминают, когда каяться надо, а руководит весь год — мною! Сегодня меня в райком тянут, завтра на коллегию в министерство, послезавтра Госконтроль заявляется — голова кругом идет! А тут еще Ванька Кондрашин со своими фантазиями — заниженные планы, неиспользованные ресурсы... Вот и бегай потом доказывай, что все это он сдуру мелет...

В дверях кабинета молча появляется Т а м а р а.

Б у б н о в (*предостерегающе*). Алеша!

Ж и л ь ц о в (*не обращая внимания*). А Тамаре жалеть легко!

Что ей? У нее только и забот что сидеть дома да ездить по врачам, магазинам и парикмахерским...

Т а м а р а (*спокойно*). Все правильно, Алеша. Я только не пойму — с чего ты вдруг расшумелся? Ведь я тебе ничего обидного не сказала. (*Подошла к столу, потеряла озябшие руки.*) Добрый вечер, товарищи!

Ж и л ь ц о в (*запальчиво*). Нет, погоди!

Т а м а р а (*тихо*). Не надо, Алеша. Пожалуйста, не надо. Мы после поговорим.

Ж и л ь ц о в. А почему — после? Мне тут стыдиться некого! Я простым слесарьком был, когда мы поженились! А теперь...

Т а м а р а. Перестань, Алеша.

Ж и л ь ц о в. Все эти годы, все эти годы я по двадцать четыре часа в сутки работал, света божьего не видел, а считай: получил институтский диплом, получил звание инженера, получил ученую степень кандидата наук...

Т а м а р а (*невесело улыбнулась*). Получать ты умеешь. Что-то, а где получать — там ты первый!

Ж и л ь ц о в (*рвкнул*). Так я ж не чужое брал! Я брал, что положено!

Т а м а р а (*подошла к Жильцову, проговорила совсем тихо, все с той же невеселой улыбкой*). Положено тебе было много, это верно. А много ли было, Алеша, заслужено?

Ж и л ь ц о в (*злым шепотом*). Ну, а уж это и вовсе не твоего ума дело!

Т а м а р а (*кивнула*). Правильно. Моего ума дело: когда плохо — жалеть, когда хорошо — молчать, улыбаться, принимать нужных людей... Ах, сколько я с этими нужными людьми водки выпила! И как давно уже не сидели за этим столом п р о с т о л ю д и — Нина, Ваня Кондрашин... Кстати, Ваня ведь, он тоже из слесарей, а каким инженером талантливым стал!

Ж и л ь ц о в. Ну?

Т а м а р а. Вот и все. Ничего больше. После поговорим, Алеша. Неудобно шептаться при людях. (*Усмехнулась.*) При нужных людях! (*Пододвинула кресло к столу и села.*) Извините, товарищи. Давайте ужинать, что ли. Есть хочется. Налейте мне, пожалуйста, водки.

Ж и л ь ц о в. Тебе нельзя водки, Тамара.

Т а м а р а. Сегодня можно. Налейте.

Б у б н о в. Прошу. Уже давно замечено, что у женщин после хорошей ссоры необычайно разыгрывается аппетит.

Т а м а р а (*прищурилась*). А разве я с кем-нибудь ссорилась, профессор? Я еще только собираюсь поссориться...

Б у б н о в. Например — с кем?

Т а м а р а. Например — с вами.

Б у б н о в. За что же, помилуйте?!

Т а м а р а (*любезно*). Ну, хотя бы за то, что вы меня сегодня не пригласили в суд. Не дали мне насладиться вашим выступлением. Представляю, каким вы соловьем заливались!.. Что ж, долг платежом красен!

Б у б н о в. Что вы имеете в виду?

Т а м а р а. Я просто вспомнила, как в прошлом году, когда вас хотели уволить, Алеша хлопотал, суетился, писал куда-то письма... И я сама отвозила эти письма, потому что вы человек — нужный... Да, Алеша, а верно мне сказал Иван, что у вас на будущей неделе перевыборы партбюро?

Ж и л ь ц о в. Верно.

Т а м а р а. Волнуешься?

Ж и л ь ц о в. Это еще почему?

Т а м а р а. Не знаю. Я бы волновалась. Всякое бывает. А вдруг прокатят тебя?

Ж и л ь ц о в (*стиснул кулаки, но сдержался*). Ты есть хотела, Тамарочка, — ешь!

Б у б н о в. Ешьте, Тамара Николаевна! Оставьте в покое Алексея Владимировича и обратите внимание на лососину — обещает, как говорят, долголетие и успокаивает нервы!

Т а м а р а (*засмеялась*). Оставить в покое Алексея Владимировича? Слышишь, Алеша, что мне советует профессор? Мне, значит, обратить внимание на лососину, а Жильцовым будете заниматься вы?! Нет уж — хватит, пожалуй... Да, жаль, жаль, что не знала я про суд... Хотелось бы мне взглянуть, как профессор держал речь!

Б у б н о в (*пожегил*). Ну что вы, Тамарочка, все обо мне да обо мне! Я ведь лицо эпизодическое. В суде у нас первым номером выступала Варвара Сергеевна.

Т а м а р а (*мельком взглянула на Варю и равнодушно отвернулась*). Варвара Сергеевна человек подневольный. Ее наняты выступать — она и выступала.

В а р я (*встала, проговорила очень резко и звонко, дрожащим от обиды голосом*). Вы меня извините, Тамара Николаевна! Вы старше меня, и вы хозяйка дома, не мне делать вам замечания... Но все это по меньшей мере странно, честное слово! Ведь мы у вас в гостях... И мы не сами пришли, не с улицы... Ну почему мы должны выслушивать ваши оскорбления?! Если вы поссорились с Алексеем Владимировичем, если вы на него за что-то в обиде — то почему же вы на нас срываете свое настроение?!

И снова наступает за столом напряженное и неловкое молчание.

Тамара (*теперь уже внимательно поглядела на Варю и улыбнулась*). Что ж, замечание справедливое. Принимаю. Не обижайтесь, Варвара Сергеевна. Мы с профессором как вместе сойдемся, так у нас всегда — ключья летят... Цепная реакция! (*Потянулась с рюмкой к Варе.*) Ваше здоровье, Варвара Сергеевна!

Варя. Благодарю.

Максим. Вы все чокаетесь, а рюмка полная.

Варя. Так ведь я думала, что Алексей Владимирович не закончил еще своего тоста.

Тамара. А ты за что предлагал тост, Алеша?

Жильцов (*угрюмо*). За друзей предлагал тост. За друзей и за удачу! (*Увидел, как Тамара поморщилась, и деланно засмеялся.*) И это тебе не нравится? Ну скажите на милость — ничем я сегодня не могу жене угодить! Даже тост мой — и тот ей не нравится!

Тамара (*пожала плечами*). Тост как тост. Я не люблю слова «удача». Не люблю и не понимаю. Люди живут на белом свете, горюют, радуются, терпят поражения, одерживают победы. А удача — это что-то вроде везенья. Что-то сделанное не своими руками, а случайное, со стороны. Одному — повезло, другому — не повезло, один — удачник, другой — неудачник... И что все это значит и как в этом разобраться? Взять, например, Алешу и того же Ваню Кондрашина! Кто из них — удачник?

Варя (*с интересом*). А по-вашему?

Тамара (*подумав*). А по-моему, так тот человек, который нашел в жизни свое место и не боится, что какой-нибудь мальчишка, как в сказке, крикнет про него, что король голый... Тот человек, что не должен шуметь на всех перекрестках о своих достоинствах и заслугах, потому что его работа, даже ошибки его, — сами за себя говорят... И если он пишет книгу, то пишет ее сам, и не чужая подсказка, а любовь, ненависть, гнев, радость водят его рукой... Вот такой человек и есть, как мне кажется, по-настоящему удачливый и счастливый!

Жильцов. Правильно!

Варя. Да, конечно, правильно. Но вы не ответили на вопрос, Тамара Николаевна. Вы сами предложили взять для сравнения Алексея Владимировича и Кондрашина...

Максим. Да неужели же вам не ясно, Варенька?

Варя (*резко повернулась к Максиму*). А вам ясно, Максим Петрович?

Жильцов. Давай, давай, Медников, выскажись. Выскажись, а мы послушаем.

Максим (*встал*). Пожалуйста, я скажу. Тут так... Конечно,

Кондрашин инженер неплохой, способный инженер. Но ведь даже нельзя сравнивать — Кондрашина и Алексея Владимировича...

Неожиданно гаснет свет.

В а р я. Что такое?

Ж и л ь ц о в (*после паузы*). Опять, должно быть, пробки перегорели, что у нас случается. (*Крикнул.*) Кузьмич! Кузьмич, где ты там? Организуй нам свет, быстренько!

Из прихожей, где уже мелькает огонек электрического фонарика, хрипловатый тенорок отвечает: «Сей момент, Алексей Владимирович!»

Б у б н о в (*со смешком*). Очень сгустилась атмосфера — пробки и те не выдержали! (*Внезапно охнул.*) Ох, дьявольщина! Я встал и на что-то наткнулся... Ага, понял — это наши старые приятели Отто Дидерихс и сыновья!

Молчание. Затем в темноте кто-то громко и уверенно проигрывает на рояле несколько тактов блестящего концертного вальса.

М а к с и м. Кто там? Это вы, Варенька?

Б у б н о в. Нет, это я.

Т а м а р а (*очень удивленно*). Вы?!

Б у б н о в (*усмехнулся*). Давненько я не играл! (*Пробежал пальцами по клавишам в виртуозном пассаже.*) Так вот — о родившихся под счастливой звездой, об удачниках. Не так-то все просто, Тамара Николаевна! По-разному складываются человеческие судьбы и не так-то все просто!

Ж и л ь ц о в (*басом, иронически*). Ну, это, знаешь, все философия!

Б у б н о в (*почти крикнул*). Слушай, когда-то я был молод, здоров, почти недурен, считался восходящим научным светилом и твердо верил в свое великое будущее! Так почему же все кончилось так бесславно и глупо? Почему не суетятся вокруг меня благодарные ученики? Почему сердитая женщина — Тамара Николаевна — называет меня циником и лентяем, а я отмалчиваюсь или отшучиваюсь?

Т а м а р а. А вы разве можете мне возразить? Разве сплетни и шутовское благодушие — не единственные радости, которые вы для себя выбрали в жизни?

Б у б н о в (*со злым смешком*). Ну, Тамарочка! Вам-то я бы мог возразить! Ведь и вы не ищете, мятежная, бури. А роль «домашнего обличителя на всем готовом» — это скорее комедийная роль, чем трагическая! И пока Алексей Владимирович занимается вопросами преуспешения...

Т а м а р а (*перебила*). Что-о? (*Помолчав, холодно*.) Надеюсь, вы понимаете, что вам придется сейчас или извиниться, или уйти? Можете все что угодно говорить обо мне, но об Алексее Владимировиче...

Б у б н о в. Но вы же сами, Тamarочка, пятнадцать минут тому назад...

Т а м а р а. А вы полагаете, что наши права равны?

Ж и л ь ц о в (*примирительно*). Ну будет вам, будет — Тамара, Евгений Аполлонович! Что с вами нынче? Вы бы хоть Варвару Сергеевну пожалели. Человек в первый раз у нас в доме, а вы...

Зажигается свет.

М а к с и м. Варенька!.. Позвольте, а где же Варвара Сергеевна?

И только теперь все замечают, что в комнате действительно нет Вари. Максим вскакивает, заглядывает в кабинет, в столовую, отворяет дверь в прихожую.

Б у б н о в. Варвара Сергеевна!

М а к с и м. Нет, она, очевидно, ушла совсем — в прихожей ни ботишков ее, ни платка...

Ж и л ь ц о в (*налил себе вина, выпил, отфыркнулся*). Ушла, а?! Так! Зелен виноград!.. Погоди, Медников, а кольцо ты ей отдал?

Т а м а р а (*насторожилась*). Что за кольцо?

Ж и л ь ц о в. Ювелирное. За труды. Все-таки старалась девушка, речь держала. Деньги ей сверх того, что им по таксе положено, предлагать мне было неудобно...

М а к с и м. Алексей Владимирович, что вы?!

Т а м а р а. Деньги неудобно, а кольцо?

Ж и л ь ц о в (*улыбнулся*). Кольцо Максим Петрович купил и дарил. Психологическая тонкость! Выдал я ему на это дело, как бы в долг, некую сумму...

М а к с и м (*ошеломленно*). Алексей Владимирович, господи, да что вы говорите такое?! Я... я не понимаю, Алексей Владимирович... Почему «как бы в долг», Алексей Владимирович? Нет, именно, именно в долг! Мы же с вами условились... И вы еще сами сказали, что в конце месяца я получу премиальные и смогу вам отдать...

Ж и л ь ц о в (*почти добродушно*). А за что тебе, голубь мой, премиальные? За какие такие выдающиеся заслуги, а?!

М а к с и м (*у него запрыгали губы*). Алексей Владимирович!

Я хочу думать, что это шутка, но даже вам я не могу позволить... Даже вам! *(Неловко вытащил из кармана коробочку с кольцом, положил на стол.)* И вот — пожалуйста... Вот это кольцо... Варвара Сергеевна его не взяла. И я теперь очень рад.

Ж и л ь ц о в *(после паузы, серьезно)*. Что ж, и я очень рад! Молодчина она, Медников, настоящая молодчина! *(Поглядел на Бубнова, который, сидя за роялем, все еще перебирает пальцами клавиши.)* Ну что ты там чушь какую-то играешь, профессор? Сыграй веселое! Жаль, Варвара Сергеевна ушла, а то бы мы сплясали...

Т а м а р а *(тихо)*. А почему все-таки она ушла?

Б у б н о в *(засмеялся)*. А может быть, и не было никакой Варвары Сергеевны? Может быть, друзья мои, она вам просто приснилась? Вы не находите? *(Обернулся к Жильцову.)* Так, значит, сыграть тебе что-нибудь веселое, друг мой, Алексей Владимирович? А что ты называешь веселым?!. *(Смотрит на Жильцова и, секунду помедлив, снова опускает руки на клавиши рояля.)*

### З а н а в е с

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### ЗА ГОРОДОМ У КОНДРАШИНА

Электричка, даже со всеми остановками, идет из Москвы полчаса, а от станции до Центрального поселка, где живут Кондрашины, десять минут самым медленным шагом. Но вечером в декабре, когда подмораживает и пронзительный ветер завивает над сугробами снежную пыль, когда круглый фонарь в конце платформы со звоном и скрежетом пляшет на высоком столбе, когда молчат собаки, а темные, точно присевшие на корточки, заснеженные ели покряхтывают по-стариковски, — в такой вечер живущим на даче кажется, что кругом дичь, глушь, и не то что до Москвы, а до ближайшего поселка не меньше суток пути. Занимают Кондрашины в самом обыкновенном дачном доме всего одну комнату — с низким бревенчатым потолком и некрашеным полом, с двумя окнами, выходящими в сад, и полутемным чуланом-кухней. Поэтому с первого взгляда довольно трудно понять, как на таком сравнительно небольшом пространстве разместилось такое количество самых разных вещей — и книжные шкапы, и чертежный стол, и обеденный стол, и широкий низкий диван с ситцевыми подушками, и пианино, и замысловатого устройства печка, сложенная из грубого кирпича, покрытого глазурью.

Вечер. За окном ветер и снег, а в комнате тепло, светло, поет, закипая, чайник, постреливают в печке поленья. В а р я, взволнованная и раскрас-



невшаяся, в шубе и шапочке, сидит на краешке стула и, зажав в коленях руки, глядит в окно. На диване, на клетчатом одеяле, лежит грудка мужских носков, которую сосредоточенно разбирает **Нина Кондрашина** — спокойная темноглазая женщина.

**Нина** (*с добродушной ворчливостью*). Говорят, говорят про Кондрашина, что он и такой, и сякой, и намазанный... А вот никто почему-то не скажет, что вещи на этом Кондрашине горят совершенно как на мальчишке! Каждую неделю по дюжине носков ему штопаю, и никогда ни одной целой пары! (*Прислушалась к резким порывам ветра за окном, пөежилась*.) А ветер-то, ветер развоевался!

**Варя**. Да, на улице ужас что делается, метель! А у вас славно — тепло, светло, поет чайник, трещит печка...

**Нина** (*откусила нитку*). Ох уж эта печка! Ее сам Кондрашин сложил. Он ведь у меня мастер на все руки от скуки. Хвастался, когда складывал ее, невозможно! Сын у нас в Ленинграде учился, в нахимовском. Приезжал домой в отпуск, так и ему Кондрашин покоя не дал — заставил глину месить! Ну, а потом, конечно, оказалось, что дымоход они куда-то не туда вывели... Я уж Ивану Ильичу и не говорю об этом, а то расстроится!.. А у вас дома, в Москве, центральное отопление?

**Варя**. Центральное.

**Нина** (*вздыхнула*). Хорошо! Да-а, надеялись и мы к весне комнату получить. Со всеми удобствами. Завод для работников дом строит — ну и Ваня надеялся, что ему тоже дадут комнату... Теперь, конечно, об этом и думать нечего! Говорила я ему — не мечтай, сглазишь. Вот и сглазил! (*И вдруг, точно испугавшись, что Варя примет ее слова как жалобу, торопливо проговорила*.) Нет, нет, вы только не подумайте, что я жалуюсь. У нас тут очень неплохо, очень. Особенно летом. И природа хорошая, и вообще... Электричкой до Москвы полчаса, а до завода и совсем близко. Кондрашин по шоссе ходил ровно тридцать минут. И поликлиника моя рядом... Ну, я-то хотя везде устроюсь — хирургическая сестра со стажем, шутка ли! (*Снова вздохнула и улыбнулась Варя*.) Кстати, Варвара Сергеевна, вы извините, то ли я прослушала, то ли не поняла... Но вам зачем нужен Иван Ильич? Вы его откуда знаете?

**Варя** (*сдержанно*). Я его не знаю, Нина Михайловна. Я только видела его. Один раз. В суде.

**Нина** (*резко отшвырнула в сторону заштопанные носки, встала, тихо переспросила*). В суде? Тогда — с Жильцовым?

**Варя**. Да.

**Нина**. И вы приехали, чтобы говорить с ним об этом?

В а р я. Да.

Н и н а (*быстро*). Это невозможно! Нет, нет, Варвара Сергеевна, это решительно невозможно... Я прошу вас... Боже мой, надо было видеть, с каким лицом он в тот день приехал, каким он был оскорбленным и измученным! И я взяла с него слово — никогда, никогда не вспоминать об этой истории, не огорчаться, не подавать на обжалование... Не хочу! Руки у нас есть, головы есть — проживем! И я прошу вас, Варвара Сергеевна, — давайте мы скоренько придумаем, зачем еще вы могли бы приехать к Кондрашину! Ну, думайте, думайте — зачем?

В а р я (*с трудом*). Это ни к чему, Нина Михайловна. Поймите, что я не случайно встретила с Кондрашиным в суде. Я адвокат и работаю в консультации. Мой жених, Максим Медников...

Н и н а. Что?!

В а р я (*заторопилась*). Да, да, мой жених, Максим Медников, познакомил меня с Жильцовым. И я взялась вести его дело. Я выступала в суде против Ивана Ильича...

Н и н а (*после паузы*). Это правда?

В а р я. Правда.

Н и н а (*с внезапным гневом*). Как же вы посмели... Как же у вас, девчонка, хватило совести приехать к нам в дом?! Убирайтесь вон, немедленно! Убирайтесь вон, слышите?!

В а р я (*встала*). Хорошо. Я дождусь Ивана Ильича на улице. Я понимаю вас. Я прекрасно вас понимаю, но все равно я должна его повидать! (*По-детски вздохнула, замахивает шарф и идет к двери.*)

Н и н а. Подождите... Ну, куда же вы пойдете?

Молчание. В дверь осторожно стучат. Нина спрашивает:

— Кто там?

Курносое мальчишеское лицо заглядывает в комнату:

— Это я, Нина Михайловна, здравствуйте. Вася Пустовойтов с завода, не узнали? К Ивану Ильичу можно?

Н и н а. Васенька? А Иван Ильич уехал в Москву. Ты проходи, раздевайся, он должен скоро вернуться. Проходи.

В а с е н ь к а (*очень вежливо*). Благодарю вас, но я тут не один. (*Сделал неопределенный жест рукой.*) И не могу ждать... А Ивану Ильичу вы просто передайте, пожалуйста, следующее: заходил, мол, Василий Пустовойтов по поводу техучебы, он знает. Поскольку с Медниковым мы заниматься отказались наотрез, то комсомольская организация договорилась с партийным бюро, и с дирекцией даже, что объединенным общезавод-

ским молодежным кружком будет по-прежнему руководить товарищ Кондрашин... Но возникли, Нина Михайловна, некоторые осложнения... А именно — в лице начфина!

Нина. Что такое?

Васенька (*сбился с тона*). А ну его, бюрократ чертов, кредит-дебет! Отказывается платить!

Нина. Не понимаю. Кому платить? Разве Кондрашин не бесплатно руководил вашим кружком?

Васенька. Раньше. Но теперь, пока Иван Ильич не добился еще восстановления, мы считали...

Нина (*сердито и сжученно*). Глупости вы считали!

Варя (*осторожно*). Простите, товарищ, вы не скажете — а почему вы отказались заниматься с Максимом Петровичем?

Васенька. Это с Медниковым-то? Да мы с ним не то чтобы заниматься — здороваться не желаем! Мы, знаете, в курсе, из-за кого Ивана Ильича с завода уволили!

Нина (*резко*). Сплетни, Вася!

Васенька. Нет, не сплетни, Нина Михайловна.

Нина. А я говорю — сплетни. И вредные сплетни. И не стоило бы тебе, комсомольцу, повторять их! Кондрашина уволили потому, что было предписание сократить в отделе штатную единицу...

Васенька (*стукнул себя в грудь кулаком*). Единицу! Единицу, а не Кондрашина!..

За окном звонкие девичьи голоса отдельно кричат: «Вась, Вась, мы уходим, Вася-а-а!»

Нина. Тебя?

Васенька (*с виноватой улыбкой*). В общем, меня.

Нина. Ну, беги, беги. Я Кондрашину все скажу. Заходи завтра.

Васенька надвигает на самые брови шапку-ушанку, туго завязывает под подбородком тесемки, кланяется и уходит. Нина снимает с огня закипевший чайник и, покосившись на Варю, снова садится на диван.

Вы не тревожьтесь. Это все чепуха, дурацкая сплетня!

Варя (*усмехнулась*). Вы меня утешаете?

Нина (*холодно*). И не думаю. Я только хочу быть справедливой. А я твердо знаю, что к увольнению Ивана Ильича Медников не имеет ни малейшего отношения.

Варя. Но ведь кем-то она пущена в ход, эта сплетня!

Нина. Неужели вы не понимаете — кем?

Варя (*не сразу*). Вы думаете...

Нина (*перебила*). Уверена! Это называется у него «умением

руководить»! Разделяй и властвуй! Выбери себе на время некое доверенное лицо, носись с ним, выдвигай, а потом, в нужную минуту, — подставь под удар! Жильцов надеялся, что избавится от Кондрашина тихо и незаметно. А тут и в райкоме этим делом заинтересовались, и в министерстве, и на заводе пошли нехорошие разговоры... Кроме того, на будущей неделе пере- выборы партбюро. Вот он и заторопился — подготовить общественное мнение...

Без стука распахивается дверь, и на пороге появляется Иван Ильич Кондрашин. Он среднего роста, плотный, широкоплечий, с веселыми голубыми глазами и воинственным седым хохолком, по-мальчишески упрямо торчащим на макушке. В руках у Кондрашина картонный футляр для чертежей.

Кондрашин (*таинственно*). Приехали на грузовике какие-то люди...

Нина (*вздрыгнула от неожиданности*). Иван? Господи, ну кто же так врывается?! Добрый вечер! Кто там приехал?

Кондрашин. Приехали на грузовике какие-то люди и разыскивают Нину Михайловну Кондрашину! (*Сурово поглядел на Нину и вдруг, не выдержав, улыбнулся.*) Испугалась? Эх ты, а еще туда же — конспирацию развела! (*Расстегнул пальто, достал из кармана какую-то бумажку и протянул Нине.*) На, спрячь!

Нина (*смущенно*). Что это?

Кондрашин. Квитанция. «Получено от гражданки Кондрашиной двадцать пять рублей за перевозку и доставку принадлежащего ей пианино со станции Чернополье в скупочный магазин...» И так далее! Короче, квитанцию я у них отобрал, перевозку и доставку отменил, а двадцать пять рублей так и пропали! (*Обнял Нину за плечи, привлек к себе, тихо спросил.*) Ах ты, Нина, Нина! Как же тебе не стыдно?

Нина покачала головой.

Не стыдно?

Нина. Нет. Ничуть. Мне так хотелось тебе помочь... И я не могла больше видеть, как ты сидишь, и сидишь, и сидишь над этими проклятыми леспромхозовскими чертежами... И я ни капельки не стыдилась — я даже радовалась, что так хорошо придумала — продать пианино!

Кондрашин (*передразнил*). «Придумала»! А я, может быть, только из-за этого пианино на тебе и женился, а ты... (*Помолчал, проговорил серьезно и сдержанно.*) Ничего, Ни- нушка, ничего! (*Улыбнулся.*) Ведь это я сам, вздорный человек,

заупрямился! Мне сегодня в министерстве предложили на выбор целых три места. А я опять отказался. Я хочу добиться восстановления, и я... *(Внезапно заметил Варю и спросил шепотом.)* Стой, погоди, а кто это у нас? Ко мне? Кто такая? Как зовут?

Н и н а *(хмуро)*. Зовут Варвара Сергеевна.

К о н д р а ш и н. Отлично! *(Громко и весело.)* Здравствуйте, Варвара Сергеевна!

В а р я. Здравствуйте, товарищ Кондрашин.

Молчание. Нина забирает пальто и шапку Кондрашина и уносит все это в чулан.

К о н д р а ш и н *(узнал Варю и растерялся)*. Вот, оказывается, какое явление! Любопытно! Не ждал... Вы, простите, зачем?

В а р я. Я приехала, чтобы узнать — прошло, товарищ Кондрашин, уже четыре дня, а вы до сих пор не подали жалобу на решение народного суда...

К о н д р а ш и н *(насмешливо)*. Жильцов волнуется? Напрасно! Я не собираюсь подавать на обжалование.

В а р я. Почему?

К о н д р а ш и н. Надеюсь, я не обязан вам докладывать?

В а р я *(помолчав)*. Я понимаю, товарищ Кондрашин, что вам неприятно мое присутствие. Я скоро уйду, не беспокойтесь. Но до этого я непременно, непременно должна с вами поговорить!

К о н д р а ш и н *(заложил руки за спину, прошелся по комнате, покосился на взволнованную Варю, хмыкнул)*. Поговорить? Да-а, тоже, между прочим, работенка у вас! Что же это вас в такую погоду пригнали? Да еще на ночь глядя! Не могли до утра потерпеть?

В а р я. Меня никто не гнал. Я приехала сама.

К о н д р а ш и н. Ах, сами! Так, так. И давно вы меня ждете?

В а р я. Часа полтора.

К о н д р а ш и н. Понятно! *(Подышал на оконное стекло, спросил, не глядя на Варю.)* А чаем вас поили? *(И, не дожидаясь ответа, закричал страшным голосом.)* Нина! Нина, ты поила... эту гражданку чаем?

Из чулана спокойно отвечает Нина: «Еще нет».

Ну и свинство! Приехал человек из Москвы, по делу, в такую метель, а ему даже чашки чаю никто не предложит!

Входит Нина — в платке, в высоких ботиках, в тулупчике.

Н и н а *(очень мирно)*. Что ты кричишь, крикун? Через полчаса я вернусь и будем пить чай. Ты не умрешь от голода?

Кондрашин (*замаялся*). Нет, нет. Мне вообще почему-то не хочется пока есть.

Нина (*негромко*). Почему-то? (*Покачала головой*.) Слушай, сколько уже раз ты мне давал слово, что не будешь наедаться в электричке мороженым?! Ведь ты пожилой, седой человек, тебе сорок с лишним лет, и...

Кондрашин (*сердито и смущенно*). Ну, хорошо, хорошо! Какое отношение имеет возраст к мороженому, что за чушь! Куда ты собралась?

Нина. Мне надо в магазин — у нас кончился сахар. И потом я хотела забежать в поликлинику.

Кондрашин (*нахмурился*). А это зачем? Дежурит новый хирург? Покоритель сердец?..

Нина (*оборвала*). Постыдись! (*Уходит*.)

Сконфуженный Кондрашин провожает ее до самых дверей, и подождав секунду, пока в коридоре затихнут ее шаги, оборачивается к Варя.

Кондрашин. Так что же вам от меня нужно? Зачем вы приехали?

Варя. Могу объяснить. Я с этого начала — прошло уже четыре дня, а вы до сих пор не подали жалобу на решение народного суда.

Кондрашин. А я вам ответил, что не собираюсь ее подавать.

Варя. Не собираетесь? Значит, вы не уверены в своей правоте?

Кондрашин (*возмущился*). Не уверен?! (*Развел руками*.) Ну, знаете ли...

Варя (*горячо*). А если уверены — так почему же вы сдались и сложили оружие? Почему не обжаловали решение суда? Почему еще раньше, до суда, не поговорили в райкоме партии и не написали в газету? Что с вами, Иван Ильич? Ведь это так все на вас не похоже!

Кондрашин. А вы уже знаете, что похоже на меня и что не похоже?

Варя. Знаю.

Кондрашин. Однако! Смотрите, какая дотошная! (*Неожиданно улыбнулся*.) А вам не кажется, Варвара Сергеевна, что для защитника Жильцова вы занимаете несколько... Ну, скажем, двусмысленную позицию?

Варя. Нет, не кажется. У меня, конечно, совсем мало опыта. Но я не защитник Жильцова в том смысле, как вы об этом сказали. Я не продавала ему ни знаний своих, ни совести. Это в старину говорили — «аблокат — нанятая совесть»! А я совет-

ский защитник! И всюду, всегда я защищаю единственно советский закон! Именно это перед вашим приходом я собиралась объяснить Нине Михайловне...

К о н д р а ш и н (*весело*). Ах, так с Ниной у вас тоже было сражение?

В а р я. Скорее, разведка боем.

К о н д р а ш и н (*расхохотался*). Хорошенькая семейка! Муж и жена по очереди стараются выставить гостя на мороз!

В а р я (*сдержанно*). Поверьте, что мне совсем не весело. И не потому, что вы так меня приняли. Я и не надеялась, что вы примете меня иначе... Во всей этой истории, как ни грустно, в самом глупом и самом трудном положении оказалась я... Конечно, я виновата — но ведь сначала я была совершенно, совершенно уверена, что правда на стороне Жильцова! Посудите сами — ну какие у меня были основания сомневаться? Имелось заключение комиссии, отзыв членов ученого совета, мнение эксперта Бубнова... А что я могла знать? Ну скажите?

К о н д р а ш и н. Продолжайте, продолжайте. Я пока, с вашего разрешения, от замечаний воздержусь.

В а р я (*все возбужденнее*). И уже только потом мне стало ясно, что я помогла ввести в заблуждение суд, что я защищала неправое дело... Я поняла, что все обстоит совсем не так...

К о н д р а ш и н. А именно?

В а р я. Я поняла, что Алексей Владимирович Жильцов, и профессор Бубнов, и Максим Медников — совсем не такие безупречные герои...

К о н д р а ш и н (*насмешливо поклонился*). Здравьете! А Медников тут к чему?

В а р я. Очень даже к чему! Если хотите знать, так Медников даже хуже всех! Это он наговорил мне всякой всячины про Жильцова, это он привел Алексея Владимировича к нам в консультацию... Он хуже, хуже, хуже всех!

К о н д р а ш и н (*пристально поглядел на Варю, улыбнулся, тихо и серьезно спросил*). Вы любите его? Да?

Варя, не отвечая Кондрашину, всхлипнула.

Э-э, а вот это уже ни к чему! Совсем ни к чему! Зачем же плакать, Варвара Сергеевна? (*Сел рядом с Варей, дружески положил ей руку на плечо*.) Не плачьте, и давайте попробуем спокойно во всем разобраться. Вы сказали, что сначала были совершенно уверены в том, что Жильцов прав... Так?

В а р я (*сквозь слезы кивнула*). Так.

К о н д р а ш и н. Вы, значит, обманулись? А почему же не мог обмануться Максим Петрович? Ему, как говорится, сам

бог велел быть обманутым! Молодой парень, без отца-матери, приехал из Сибири в Москву учиться... Окончил институт, получил путевку к нам на завод... Положение известное — ходит человек как потерянный, и кажется ему, что он последняя спица в колеснице... И вдруг Жильцов, сам Жильцов приближает его к себе, советуется с ним, выдвигает, на технических совещаниях сажает от себя по правую руку... Кому не лестно! Ну, а Максим Петрович вдобавок человек молодой, увлекающийся, он все что ни делает — очертя голову! (*Покосился на Варю.*) Ну, перестаньте же плакать, Варвара Сергеевна, как вам не стыдно!

В а р я. Я сейчас... Я сейчас уже уйду...

К о н д р а ш и н. Да никто вас не гонит, чудачка вы этакая! И куда вы поедете такая зареванная? Что шуритесь? Хотите умыться?

В а р я. А можно?

К о н д р а ш и н. Нужно! (*Достал с полки мыло, полотенце, поглядел на Варю и засмеялся.*) Видик! А каким вы тогда, на суде, Аникой-воином... (*Увидел, что Варя нахмурилась, и весело махнул рукой.*) Ладно, ладно, не буду! Так зачем же все-таки вы приехали, не пойму! А, Варвара Сергеевна? Хотите, чтоб я подал на вас жалобу?

В а р я (*угрюмо*). Не на меня, а на решение суда. Правда на вашей стороне, и вы обязаны драться за нее до конца!

К о н д р а ш и н. Обсудим! (*Прогянул Вале полотенце и мыло.*) Ладно, идите мойтесь. А я, кстати, тем временем переоденусь... Так что вы, матушка, не входите, пока я вам не скажу — можно!..

Варя, повесив полотенце через плечо, уходит в чулан. Кондрашин переносит лампу на чертежный стол, снимает пиджак, вытаскивает из какого-то ящика старенькую пижамную куртку с короткими рукавами, облачается в нее, достает почти обязательную у каждого мужчины большую коробку с отвертками, шурупами и прочей мелкой железной дрянью, ставит ее на чертежный стол, роется в ней. И все это он проделывает, не переставая говорить.

А когда вернется Нина, мы устроим торжественное чаепитие... И даже проводим вас на поезд... А то еще заблудитесь тут, в снегах, отвечай за вас потом!

За окном — резкий порыв ветра и глухой стук наружного ставня.

В а р я (*из чулана*). Кто там?

К о н д р а ш и н (*продолжая рыться в шкатулке*).

Буйный ветер в окна бьет!

Ставни с петель буйно рвет!



Варя. Это Блок?

Кондрашин (*одобрительно*). Блок, Блок. Как это вы догадались? А я думал, что вы — нынешние — насчет стихов не очень-то!

Варя (*отфыркиваясь*). Мы — нынешние... А вы что же — прошлый?

Кондрашин (*хитро и довольно*). Я — будущий! Ладно, ладно, не болтайте, пожалуйста, воды в рот наберете — захлебнетесь!

Варя (*невнятно*). Уже набрала!

Несколько мгновений длится молчание. Потом в дверь стучат.

Кондрашин (*негромко*). Кто там?

Входит Жильцов и, шурясь от света, останавливается на пороге.

Жильцов. К тебе можно? Ты дома, Иван?

Кондрашин (*не сразу*). Здравствуй, Алексей. Да, я дома.

Жильцов. А Нина?

Кондрашин. А Нины нет дома.

Жильцов (*снял свое кожаное пальто, сел в кресло, положил пальто на колени*). Жаль! Хотелось мне вас вместе, разом, порадовать. Затем и приехал — потолковать по душам и порадоваться! Такой уж я человек — зла не помню. Вы меня, черти, обидели, а я и помнить про это не хочу!

Кондрашин. Мы тебя обидели?

Жильцов. А нет? Может, это я сам на себя в суд подавал? Ведь, наверно, еще и на пересмотр дела меня потащишь! Не так ли? (*Засмеялся*.) Шучу, шучу! В общем, Иван, нажимал я, нажимал и сегодня наконец добился у министерства разрешения взять тебя обратно. Доволен?

Кондрашин (*сдержанно*). Доволен. Я только не пойму — зачем же ты у министерства добивался этого разрешения? Ты же сам и составил и подписал приказ о моем увольнении...

Жильцов (*перебил*). Нет, брат, ты комик! Неужели тебя так никогда и не научат, с какой стороны хлеб маслом мазать? Я подписал приказ! А знаешь ли ты, сколько месяцев подряд из того же самого министерства капали мне на голову, чтоб я его подписал?!

Кондрашин (*насмешливо*). За что же они так на меня?

Жильцов (*доверительно*). Об этом у Медникоза спроси. У Максима свет Петровича! И что он с тобой не поделил, аллах его ведает!

Кондрашин (*гневно поглядел на Жильцова, встал, подошел к двери, спокойно сказал*). Уходи. Не хочу я с тобой тол-

ковать по душам. Противно. Да и не за этим ты приехал, хитришь! Тебе нужно было узнать, не собираюсь ли я подавать на обжалование? *(Кивнул.)* Собираюсь! Не буду ли я выступать на перевыборах партбюро и крыть тебя? *(Снова кивнул.)* Буду! Что еще? *(Усмехнулся.)* Нехитрые хитрости! А ведь в своем директорском кабинете, в центре вселенной, в окружении телефонов и секретарш, ты мне почему-то казался умнее... Впрочем, тут, очевидно, все дело в кабинете, а не в тебе!

**Жильцов** *(неожиданно искренне и горячо)*. Вот, вот, вот! Все дело в кабинете, правильно! Вот мы наконец и добрались до сути, Иван! Все дело в моем директорском кабинете! Не можешь ты мне его простить! Уже четыре года, с того самого дня, когда ты узнал, что меня назначают директором, с того самого дня не можешь простить! Как так? Вместе росли, вместе слесарили, вместе в партию подавали, вместе в институте на заочном учились, вместе получали диплом... А теперь — один директор, а другой — рядовой инженер! Обидно! Только прямо ты этого сказать, конечно, не можешь — вот и ругаешь меня за что ни попало! Что ж, ругай, ругай! Нынче такая мода пошла — директоров ругать!

**Кондрашин**. Чуть! Я об отношении к жизни говорю, а ты о должности! Будь кем хочешь — директором, слесарем, счетоводом, — какое это имеет значение?! Слышали мы разговорчики: ходил в рабочих — был хорошим, назначили директором — стал плохим... Да откуда же берутся, если так, превосходнейшие наши директора, главные инженеры, начальники цехов? Нет, извини за дурную шутку, но думается мне, что не место портит человека, а человек место!

**Жильцов** *(со смешком)*. Ты, часом, не в «Крокодиле» работаешь?

**Кондрашин** *(остановился, отчеканил)*. Я нигде не работаю! Пока! *(Снова заходит по комнате.)* Ты вспомнил сейчас институт! А почему же ты не вспоминаешь, сколько людей тебе помогало, когда мы готовили диплом, — один подбирал материал, другой чертил чертежи, третий писал пояснительную записку... И где-то здесь началось! Где-то здесь ты понял, что можно легко и ловко прожить на всем готовом, пользуясь чужими руками и чужим умом! Ты и заводом руководишь именно так — всеми правдами и неправдами, за счет других, отстающих, получаешь для себя все самое лучшее...

**Жильцов** *(перебил)*. Был бы я плох — меня бы уже давно сняли!

**Кондрашин**. И снимут. Не волнуйся, обязательно снимут. Величие твое — это просто случайный попутный ветер удачи!

А твое падение — это как раз то, может быть, единственное, что ты сделаешь в жизни своими собственными руками! И никакого Максима Медникова нельзя будет винить — только самого себя...

Молчание. Из чулана раздается спокойный голос Вари: «Иван Ильич, я могу, наконец, войти?»

Жильцов (*вскочил*). Кто это? Нина?

Кондрашин. Пожалуйста, Варвара Сергеевна. (*Включает верхний свет.*)

Из чулана, с полотенцем через плечо, выходит Варя.

Жильцов. Варвара Сергеевна?

Варя. Добрый вечер.

Жильцов (*помолчав, развязно*). Здравствуйте, здравствуйте. А вы прямо как в цирке — исчезаете с улицы Горького и появляетесь на станции Чернополье!

Варя (*улыбнулась Кондрашину*). Вы, наверное, забыли про меня? А мне ужасно захотелось принять участие в разговоре...

Жильцов (*надел пальто*). А разговор, собственно, кончен.

Кондрашин (*подошел к Жильцову, проговорил тихо и грозно*). Нет, разговор не кончен! Мы еще продолжим его! И ты не вздумай, кстати, обозлившись, пытаться задерживать мое возвращение — я все равно приду! Ты можешь издавать обо мне приказы и на какое-то недолгое время торжествовать победу, можешь высокомерно не замечать меня и говорить гадости обо мне за моей спиной, можешь мешать мне работать и трепать нервы, — но я твердо знаю, да и ты это знаешь, что я все равно вернусь на завод!..

Жильцов, не отвечая, с каменным лицом идет к дверям. И вдруг, уже у самого порога, он останавливается, словно осененный внезапной мыслью, смотрит на Варю, ухмыляется и подмигивает Кондрашину.

Жильцов. А Нины-то, значит, дома нет? Порядок! (*Снова ухмыляется, толкает кожаны́м плечом дверь и уходит.*)

Варя (*встревоженно*). Что он сказал?

Кондрашин (*чистосердечно*). Я не понял... Какую-то гадость, кажется... Бог с ним! Почистили перышки, Варвара Сергеевна?

Варя. Почистила! (*Подошла к зеркалу, поправила волосы, скорчила сама себе гримасу и испуганно — не заметил ли? — обернулась к Кондрашину.*) В общем, большое вам спасибо, Иван Ильич, и...

Распахивается дверь, и стремительно входит Нина.

Нина (*еще с порога*). Иван, слушай...

Кондрашин. Что? Что случилось?

Нина (*удьбнулась*). Ничего не случилось! Просто я встретила сейчас заводских — Лодыженских, Павлова... Они нас пригласили... Сегодня в Доме культуры кино... Пойдем?

Кондрашин (*медленно*). В кино? Ну что ж, можно сегодня и в кино! (*После паузы*.) Понимаешь, Нинка, был здесь сейчас Алексей Жильцов.

Нина (*ахнула, прижала руки к груди, села, тихо спросила*). Ну?

Кондрашин. Ты не пугайся, все хорошо! Через несколько дней будет подписан приказ о моем восстановлении!

Молчание. И вдруг за окном — долгий, глухой и протяжный гудок.

Варя (*прислушалась*). Это завод?

Кондрашин. Завод, Варвара Сергеевна! (*Тоже прислушался, улыбнулся, зачем-то повторил*.) Завод! (*Подожел к Нине, взял ее за руку, заглянул в глаза*.) Ах ты Нина, Нина! Ну что же ты плачешь? Что же ты плачешь, глупая? Что же ты плачешь, когда все так хорошо?..

Громко и протяжно гудит за окном заводской гудок.

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

*Картина первая*

СНОВА В ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Здесь на первый взгляд все по-прежнему — то же запорошенное снегом окно, те же настольные лампочки под бумажными абажурами и школьные чернильницы-невыливайки. Впрочем, после недавнего ремонта комната стала словно светлее, просторнее и выше. У шкафа, забытое, стоит ведро с толстыми малярными кистями, а проходу в соседнюю комнату мешает закапанная известкой лестница-стремянка. Конец дня. Юрий Борисович Хмара, потирая озябшие руки, ходит по комнате из угла в угол и негромко диктует Кате, которая сидит, не поднимая глаз, низко наклонившись над пишущей машинкой.

Хмара (*диктует*). «...И уже только потом, после того как попытка договориться с клиентом помимо консультации и получить с него «микст» в виде вышеупомянутого ювелирного кольца стоимостью в семьсот пятьдесят восемь рублей сорвалась,— адвокат Воробьева вспылала внезапной симпатией к истцу гражданину К. Возможно, впрочем, что они и ранее находились в близких отношениях...»

Катя (*умышленно громко повторяет последнюю фразу*). «Возможно, впрочем, что они и ранее находились в близких отношениях...»

Хмара (*замахал руками*). Тише, Катенька, тише! Вы напечатали?

Катя. Нет.

Хмара. Почему? Я слишком быстро диктую?

Катя (*спокойно*). Нет, не поэтому. Но я ведь не обязана, Юрий Борисович, в свое служебное время печатать доносы!

Хмара. Что-о-о?! (*Онемев на мгновение, уставился на Катю, потом скривил губы в подобие улыбки, проговорил торпливо, чуть заикаясь*.) Катенька, сердце мое, что с вами? Вы сошли с ума!.. Это же шутка, шутка... Вы не так меня поняли... Это же только личные мои размышления, и я...

Катя. Личные размышления, адресованные в президиум Московской коллегии адвокатов? А что, если и я по тому же адресу пошлю свои личные размышления?!

Хмара. О чем, господи?!

Катя. Об адвокате Юрии Борисовиче Хмаре! (*Невесело засмеялась*.) А ведь я могла бы многое написать! Вы настолько уверены в том, что я в вас по уши влюблена, что в последнее время вовсе перестали меня стесняться! И я могла бы написать про то, как адвокат Хмара отбивал и перехватывал клиентов у других работников консультации, как он издевался над молодым стажером, как он не брезговал, помимо законного гонорара, никакими подачками — от крупных денежных сумм до карандашиков и перочинных ножичков!

Хмара (*умоляюще*). Катенька, Катенька, что вы говорите! Это чудовищно! Поверьте, поверьте — я ничуть не думал, что вы в меня влюблены, но я всегда знал...

Катя (*резко*). Что вы знали? Хотя ваша правда, вы тоже многое знали обо мне! Вы знали о том, что у меня умер муж, и о том, что мне очень трудно одной растить и воспитывать дочь! Вы знали о моем скверном характере и о том, что я действительно хотела бы выйти замуж... И только одного вы не сумели понять — того, что я честный человек! Я всего-навсего секретарша, невелика птица... Но ведь это же не позор — быть

секретаршей, правда? И все верно — у меня сквернейший характер, я бываю часто грубой и несправедливой.. Но я честный человек!

Х м а р а. Ну конечно! Ну конечно, Катенька!..

К а т я (*брезгливо*). Послушайте, какая я вам Катенька?!

Входит Б у б н о в. Он слегка навеселе — небрежно засунутый в карман белый шелковый шарф свисает до полу, шляпа сдвинута на затылок, пальто расстегнуто.

Б у б н о в. Здравствуйте, друг мой, Юрий Борисович! Здравствуйте, мой дорогой и бесценный друг!

Х м а р а (*сухо*). Здравствуйте!

Катя накрывает машинку чехлом, поднимается и идет к двери.

Б у б н о в. А вы покидаете нас?

К а т я (*остановилась*). Я нужна вам?

Б у б н о в. Нужны. Я бы хотел, чтобы мой друг Юрий Борисович представил меня вам...

К а т я (*тихо*). А у меня, извините, нет такого желания! (*Уходит.*)

Б у б н о в (*посмотрел ей вслед и засмеялся*). Злюка. Люблю злюк. Досадно, что она убежала!

Х м а р а. Не огорчайтесь! Вспомните, у старого поэта Омара Хайяма есть такое четверостишие:

Развеселись! В плен не поймать ручья?  
Зато ласкает беглая струя.  
Нет в женщинах и в мире постоянства?  
Зато бывает очередь моя!

Б у б н о в. Я рад, что вы помните этот стишок. Лет пятнадцать тому назад вы его впервые услышали от меня! (*Протянул Хмаре какую-то бумажку.*) Я заехал к вам, друг мой, чтобы выяснить — что сей сон означает?

Х м а р а. Повестка в суд.

Б у б н о в. Настолько я грамотен. Я даже сумел прочесть, что вызываюсь свидетелем по делу Жильцова о нарушении авторского права. Но почему — все снова?

Х м а р а (*взорвался*). Вы еще спрашиваете у меня — почему все снова?! Вы не знаете?! Вы, как всегда, ни при чем?! Вам достаточно выпить рюмку коньяку и увидеть смазливое личико, как вы забываете обо всем на свете, распускаете павлиний хвост и готовы кому угодно наговорить сорок бочек арестантов! (*Сдержался, помолчал, спросил спокойно и сухо.*) Вы сказали Воробьевой, что составляли предварительный конспект для книги Жильцова?

Бубнов. Сказал.

Хмара. Ну, а она, не будь душой, отправилась в научно-исследовательский институт. И получила там справку, что работа Кондрашина посылалась на консультацию в министерство. И что некий профессор Бубнов дал об этой работе неблагоприятный отзыв...

Бубнов (*улыбнулся*). Устно. Я никогда не даю письменных отзывов.

Хмара. Ничего, найдутся люди, которые слышали! И я не сомневаюсь, что вас за ложную экспертизу при первом рассмотрении дела непременно привлекут к уголовной ответственности! Предупреждаю, что я сам буду об этом ходатайствовать!

Бубнов. Вы? А почему — вы?

Хмара. Потому, что теперь я буду защищать Жильцова!

Бубнов (*весело*). Вот оно что! Поздравляю, вам везет! Будете, значит, защищать Жильцова и постараетесь все свалить на меня? Логично! (*Встал.*) Что ж, желаю удачи! (*Помолчал.*) Но знаете, Юрий Борисович, хочу вас предупредить по старой приязни — не торопитесь! Дождитесь хотя бы завтрашнего дня, а уж потом решайте!

Хмара (*насторожился*). А что должно произойти завтра?

Бубнов. Завтра на Чернопольском заводе перевыборы партийного бюро. И есть такой слух, что уважаемый Алексей Владимирович Жильцов может и не... Одним словом — судьба играет человеком и она, так сказать, изменчива всегда...

Хмара (*помолчал*). Что вам известно?

Бубнов. Ничего. Решительно ничего. Одни только предположения.

Хмара. Я прошу вас, Евгений Аполлонович...

С улицы входят Жильцов и Максим.

Бубнов. Ба, знакомые все лица!

Жильцов (*Бубнову, грубо*). Вы здесь зачем?

Бубнов. У меня было дело. И оно кончено.

Жильцов. Вот и прекрасно!

Бубнов (*усмехнулся*). Это в смысле — атанде? Ухожу, ухожу! (*Поглядел на Хмару, прищурился.*) Кстати, Юрий Борисович, у старого поэта Омара Хайяма есть и такое четверостишие:

Друзей — поменьше. Сам, день ото дня,  
Туши пустые искорки огня.  
И думай о руке, что пожимаешь, —  
Ох, замахнутся ею на меня!

Запомнили? Лет через пятнадцать я к вам зайду, и вы мне его, я надеюсь, продекламируете! *(Насмешливо кланяется и уходит.)*

Жильцов *(вслед)*. Недолго ему веселиться! Прохвост! Воробьева тут?

Хмара. Она в суде, на дежурстве.

Жильцов. Жива, стало быть, и здорова? *(Поглядел на Максима.)* Убедился? *(Подмигнул Хмаре.)* Он, понимаете, ей позвонил, а она бросила трубку! Ну, и точка! Будь мужчиною, Медников! Где твоя гордость?! *(Вытащил папиросы.)* Поезжайка сейчас в министерство, зайди в научный отдел и попробуй остороженько...

Максим *(тихо)*. Я еду домой.

Жильцов. Ты едешь не домой, а в министерство...

Максим. Я еду домой.

Жильцов *(с угрозой в голосе)*. Ой смотри, Медников, поаккуратнее!

Максим *(выкрикнул)*. Я еду домой! *(Резко поворачивается и, не попрощавшись, уходит.)*

Жильцов *(покачал головой)*. Кругом неврастеники! *(Закурил, придвинул стул, сел, спросил вполголоса.)* Вы послали письмо насчет Воробьевой?

Хмара. Н-нет.

Жильцов. А чего вы ждете?! Послушайте, уважаемый, я уже дал вам помимо тех денег, которые я внес в консультацию, тысячу рублей...

Хмара *(торопливым шепотом)*. Я верну их, Алексей Владимирович, верну!

Жильцов. Как это — верну?

Хмара *(пожевал губами, помолчал, проговорил, не глядя на Жильцова)*. Вы должны меня извинить, товарищ Жильцов, но так все получилось, что я, очевидно, к моему глубокому сожалению, не смогу вести ваше дело! Вы не обижайтесь, но поймите, что я не могу иначе... И вам тоже лучше всего обратиться в другую консультацию... Поймите — у нас вокруг этой истории накипело столько страстей и вздора... Я не могу иначе!

Жильцов *(растегнул пальто, размотал шарф, бросил в пепельницу папиросу)*. Такие дела.

Хмара. Не обижайтесь на меня, Алексей Владимирович!

Жильцов *(с грубоватой насмешкой)*. А я не обижаюсь. Вот если вы мне, уважаемый, денег не вернете — тогда я на вас обижусь. А так — вольному воля. Каждый сам себе госконтроль!



Из соседней комнаты стучат в стенку и кто-то кричит: «Хмара, к телефону!»

Хмара. Вы позволите? До свидания, Алексей Владимирович...

Жильцов (*не подавая руки*). Ступайте.

Хмара, секунду помедлив, уходит, и Жильцов остается один. Он сидит, едва различимый в темноте, привалившись головой к косяку книжного шкафа, и непонятно — то ли он о чем-то думает, то ли дремлет. Из коридора с папкой в руках входит Варя. Не замечая Жильцова, она снимает пальто, отряхивает от снега шапочку, садится за свой столик, зажигает настольную лампочку, раскрывает папку и вдруг встревоженно поднимает голову.

Варя (*беспокойно*). Тут кто-то есть? Кто? Не молчите — кто тут?

Жильцов (*не сразу*). Это я.

Варя. Кто?

Жильцов (*встал, подошел к свету*). Алексей Владимирович Жильцов. Слышали о таком? Испугались, Варвара Сергеевна?

Варя (*просто*). Испугалась... Я была уверена, что здесь никого нет, и вдруг...

Жильцов. Бывает. Как поживаете, Варвара Сергеевна?

Варя. Спасибо, хорошо.

Жильцов (*усмехнулся*). А я плохо. И надо бы хуже, да нельзя! А почему — знаете? А потому, что слишком я, дурак, доверял всем и каждому. Теперь-то я хорошо это понял!

Варя. Не много же вы поняли, Алексей Владимирович!

Жильцов (*почти искренне*). Послушайте, две недели тому назад я пришел с чистой душой в этот ваш полуподвал и доверил вам, школьнице, извините меня за резкость, ведение своего дела. Я мог нанять любого опытнейшего адвоката, но я понадеялся на вас...

Варя. Понадеялись?! А может быть, вам и нужна была именно школьница? Может быть, на этом и строился весь расчет? Школьница, да притом почти свой человек — невеста Медникова...

Жильцов (*грубо*). Какой расчет? Бросьте вы глупости! Откуда же я мог знать, что этот мерзавец Бубнов подsunул мне чужую работу?!

Варя (*кинула*). Чужая работа, чужая голова, чужие слова и чужие руки! А ведь рано или поздно они должны были вас подвести, не могли не подвести!

Жильцов (*яростно*). Вы не учите меня! Не учите! Молоды еще меня учить! Карьеру решили на мне сделать? Ох, обожжете, не по чину берете!

В а р я (снова придвинула к себе папку с бумагами, надела очки, холодно сказала). Извините, но я не имею времени вести этот напрасный разговор... Да еще в таком тоне!

Из соседней комнаты возвращается Х м а р а, и наступает молчание.

Ж и л ь ц о в (сдержался, улыбнулся, проговорил добродушно и укоризненно). Эх, молодежь! Перед вами, можно сказать, все дороги открыты, а вы... Не тем, братцы, занимаетесь! Не тем! (Не спеша надевает шапку, застегивает пальто и молча, ни на кого не глядя, уходит.)

Х м а р а (после паузы, заискивающе). Добрый вечер, Варенька,— мы еще сегодня не виделись.

В а р я. Добрый вечер.

Х м а р а. Вы знаете, а ведь я отказался вести дело Жильцова.

В а р я. Вот как?

Х м а р а. Отказался, отказался. И не потому, кстати, что не нахожу в этом деле материалов для защиты. Просто не хочу быть неэтичным по отношению к вам! Я, быть может, несколько старомоден, но привык придерживаться законов адвокатской этики!

В а р я. А разве есть такие законы?

Х м а р а. Варенька, милая Варенька! Я старше вас...

В а р я. Ну и что? (Усмехнулась.) Вы, конечно, старше меня. Но мой профессор, Борис Михайлович Покровский, был намного старше вас. А он нас учил, что нет и не может быть никакой особой адвокатской этики, а есть советская этика, советская нравственность и мораль, общая и обязательная для всех. Да, да, я знаю — я натворила кучу ошибок... И если мне вынесут выговор — это будет правильно! Но вы... Вы помните, что вы мне сказали в тот вечер, когда я поняла, что защищала неправо дело, и, зареванная, прибежала к вам за помощью и советом? Вы сказали мне: успокойтесь, забудьте, это не ваша забота, пойдите и купите на свой первый гонорар билет на «Лебединое озеро»!..

Х м а р а. Но ведь мы же защитники, Варенька! А защитники должны защищать. Для выяснения виновности государство не нуждается в наших услугах. Есть прокуратура, следственные органы, суд... А нам поручено — защищать!

В а р я. Мы и будем защищать! И нас не пора на свалку, как вы говорили когда-то... В новом Уставе Коммунистической партии Советского Союза сказано, что член партии не смеет допускать сокрытия и искажения правды... Вы обратите внимание на эти слова — сокрытие и искажение правды! Так что же, вы считаете, что к защитникам они отношения не имеют?!

Из коридора входит Катя.

Катя. Товарищ Хмара, к заведующему.

Хмара (*обернулся, вздрогнул*). Меня? А что такое? Зачем?

Катя (*усмехнулась*). Не знаю.

Хмара поднимается и быстро уходит. Катя садится на свое обычное место, за машинку.

Варя (*помолчав*). Скажите, Катерина Ивановна, пока я была в суде, тут никто ко мне не приходил и не звонил?

Катя. Нет, Варвара Сергеевна, никто.

Варя. Я имею в виду — не по делу, а...

Катя (*участливо*). Я понимаю. Нет, Варвара Сергеевна, никто не звонил и не приходил!..

Занавес

### Картина вторая

#### НА ЗАВОДЕ

Проходная. За высоким окном в глубине виден угол заводского двора — с темною горою не то угля, не то шлака, присыпанной снегом, с переплетами кранов и ярко освещенными окнами здания цеха. Чуть пониже площадки, где выдают пропуска, за деревянными колоннами проходит неширокий коридор. По обе его стороны друг против друга расположены две двери — дверь на улицу и дверь на заводской двор.

Вечер. У окошечка с надписью «Выдача пропусков» на садовой скамейке, изрезанной инициалами и пронзенными сердцами, сидит Нина Кондрашина. Подперев кулаками подбородок, она смотрит на Тамару Жильцову, которая говорит по внутреннему телефону.

Тамара (*негромко*). Вы думаете, что уже кончили? Так... Нет, нет, я не из Москвы. Я здесь, у вас на заводе, в проходной... Спасибо, пропуска мне не надо. Когда Алексей Владимирович зайдет, вы просто скажите ему, что я жду его внизу, в проходной, — пусть он спустится. (*Медленно вешает телефонную трубку и подходит к Нине.*)

Нина. Ну?

Тамара. Собрание, кажется, кончено... Но она, правда, не знает — ни что, ни как! А может быть, и знает, да только не хочет мне говорить!

Н и н а. Почему?

Т а м а р а (*задумчиво*). Видишь ли, я ведь почти уверена, что Алексей не пройдет в члены бюро! (*Села рядом с Ниной, откинулась на спинку скамейки.*) Господи, до чего же я рада, Нинка, что встретила тебя здесь сегодня! Сколько лет мы уже не виделись — знаешь?

Н и н а. Нет, я не считала.

Т а м а р а. А я считала. Два года. А прошлым летом, помнишь, я послала тебе телеграмму — просила, чтоб ты приехала. А ты не приехала, не захотела.

Н и н а (*тихо*). Я приезжала.

Т а м а р а. Когда?

Н и н а. В тот самый день. Мы даже с тобою встретились, но ты не заметила меня. Как раз когда я подходила к вашему дому, ты вылезла из машины, сказала шоферу, что он может быть до утра свободен, и прошла прямо перед моим носом в парадное...

Т а м а р а. Почему же ты меня не окликнула?

Н и н а (*усмехнулась*). А мне раскотелось к тебе идти. Ты была такая красивая, самоуверенная, благополучная. И все оглядывалась на тебя. Особенно женщины. Знаешь эту жалкую бабью растерянность, когда вдруг сама себе начинаешь казаться старой, неумытой, усталой, когда внезапно обнаруживаешь, что платье на тебе мятое и туфли стоптанные... И это не зависть, нет, нет, я не позавидовала тебе! Я просто подумала: а почему я должна, бросив все дела, мчаться из-за города в Москву, трястись в электричке, в метро и троллейбусе — и все это только затем, чтобы ты могла отвести душу! Почему, если я так уж тебе нужна, ты сама не приехала к нам? Боялась нарушить субординацию?

Т а м а р а (*тихо*). Это очень жестоко — то, что ты сейчас говоришь!

Н и н а (*резко*). Все эти годы ты жила с Жильцовым под одной крышей, ела за одним столом, спала в одной постели, ездила на одной машине, и ты не могла не видеть раньше других, как он теряет старых друзей, как он становится баринком и вельможей, как начинают вертеться вокруг него всякие проходимцы, вроде этого вашего профессора Бубнова... Почему же ты молчала?

Т а м а р а. Почему? Да потому что думала, что это и есть любовь... А ведь я до сих пор люблю его. Я его так люблю, Нинка! Он сейчас сходит с ума... Бойтся, верно, что я собираюсь бросать его... А я не могу... Да и не имею права... Любовь — это ведь не только, когда все хорошо, а чуть стало плохо — и спасайся, кто может! И знаешь, чем хуже будет теперь — тем лучше!

Чем хуже, тем скорее я смогу до него достучаться, заставить его услышать меня, тебя, Ивана... Так я надеюсь! *(Поглядела на Нину и неожиданно засмеялась.)* Ах, Нинка, ну до чего же мне тебя не хватало! Ты прическу переменяла? Вот и я тоже — все меняю, меняю, и ничего что-то не получается! Стареем, черт побери! А помнишь, Нинка, как здесь же, в этой же самой проходной, мы с тобою по вечерам поджидали Ивана и Алексея? Какие мы веселые были, а, Нинка?! Какие мы с тобой песни пели! *(Прислонилась головой к Нининому плечу и негромко пропела.)*

Стоит белая береза над зеленою рекой,

Ой, зачем меня ты бросил, мой залетка дорогой?

Н и н а *(тоже засмеялась)*. Сумасшедшая! Сейчас придет охранник, и нас с тобой выведут!

Т а м а р а *(с озорством)*. Не выведут! Я же все-таки жена директора!

С заводского двора озабоченно выходит К о н д р а ш и н.

Н и н а *(негромко окликнула)*. Иван!

К о н д р а ш и н *(остановился, заметил Тамару и Нину, удивленно присвистнул)*. Здравствуйте, красавицы! *(Улыбнулся Нине.)* Кого караулишь, а? *(И тут же, нахмурившись, поглядел на Тамару.)* Ты уже была у Алексея или только идешь?

Т а м а р а. Жду. Собрание кончено?

К о н д р а ш и н. Кончено. *(Помолчав.)* Ты не огорчайся, Тамара, но тут такая история...

Т а м а р а *(усмехнулась)*. Все ясно, можешь не продолжать. Он сейчас у себя?

К о н д р а ш и н. Вероятно.

Тамара встает, снова подходит к телефону, снимает трубку.

Т а м а р а. Кабинет Жильцова... Зоя Ивановна, это опять Тамара Николаевна. Спасибо. Алеша?.. Да, я приехала... Я тебя жду внизу, в проходной... Что? *(Растерянно поглядела на Нину и Кондрашину, прикрыла трубку рукой.)* Он просит, чтобы я поднялась к нему! *(В телефон.)* А ты не мог бы... Ну хорошо, я сейчас поднимусь. Позвони в охрану, чтобы меня пропустили. *(Вешает трубку, секунду помедлив, достает из сумочки зеркальце и губную помаду, быстро подкрашивает губы и оборачивается к Нине и Кондрашину.)* До свиданья, милые мои! Мы скоро увидимся! Я иду! Пожелайте мне... Нет, ничего не надо желать! Я иду! *(Уходит.)*

К о н д р а ш и н *(поглядел вслед, вздохнул)*. Да-а, трудно ей будет!

Н и н а. Не труднее, чем было. Может быть, даже легче.

К о н д р а ш и н. Так. Ну-с, а теперь, Нина Михайловна, потрудитесь мне все-таки объяснить — кого вы тут караулите? Нет, честное слово, ты, очевидно, считаешь, что я маленький мальчик, которого надо поджидать после школы и провожать домой! После целого рабочего дня, вместо того чтобы полежать, почитать, отдохнуть, ты тащишься в такой мороз на завод... Что за чепуха!

Н и н а (спокойно). Все сказал? Пошарь-ка, пожалуйста, по карманам — куда ты задевал ключ от комнаты?

К о н д р а ш и н (охнул). Нина! Неужели я забыл оставить ключ?! (Торопливо расстегнул пальто, залез рукою в карман пиджака, вытащил ключ; виновато и растерянно засмеялся.) Действительно, забыл! Ниночка, прости меня, я негодяй!

Н и н а. Прощаю. Могу тебе признаться, — если бы ты и не забыл оставить ключ, я бы все равно пришла.

К о н д р а ш и н. Да? Ну, тогда и я могу признаться — я ужасно, ужасно счастлив, что ты здесь. Мне было бы очень трудно идти сейчас домой одному... Я даже сговорился с Медниковым, что подожду его. Понимаешь, сначала Алексей злился, и мне не было его жалко. А потом у него вдруг стали такие растерянные глаза...

С улицы, с трудом переводя дыхание, вбегает В а р я.

Н и н а. Варвара Сергеевна?

В а р я (остановилась). Ох, добрый вечер! Я так бежала... Я была дома у Максима... у Медникова... И мне сказали, что он на заводе, что идет собрание... И я поехала... Я только боялась, что мы можем разминуться... Но я не опоздала, нет?

К о н д р а ш и н. Нет. Он должен сейчас выйти. Что-то случилось, Варвара Сергеевна?

В а р я. Ничего... Скажите, а он не может выйти каким-нибудь другим путем? Я видела — там многие выходят через ворота.

Н и н а. Нет, нет, он пойдет проходной... И кстати, передайте Максиму Петровичу, что Кондрашин не сумел его дождаться, потому что его увела домой жена!

В а р я (улыбнулась). Хорошо, передам. А чем кончилось собрание, Иван Ильич?

К о н д р а ш и н. Много было всякого... Ваш Максим — молодец! Он сам расскажет! (Протянул Варя руку.) До свиданья, Варвара Сергеевна. В будущий четверг — вы знаете? — снова слушается наше дело.

В а р я. Я знаю. Я буду в зале. До свиданья. До свиданья, Нина Михайловна.

Н и н а. Приезжайте к нам, Варвара Сергеевна. Приезжайте в гости, ладно?

В а р я. Непременно. Спасибо.

Нина и Кондрашин уходят. И вдруг, уже от самых дверей, Кондрашин, бросив Нину, почти бегом возвращается к Варе.

К о н д р а ш и н (*быстрым шепотом*). А вот такие стихи вам известны?

В а р я. Какие?

К о н д р а ш и н (*торжественно*).

Звезды ночи и солнечный свет!

Дней кипучих исход и начало!

Проживи я хоть тысячу лет,

Все равно мне покажется — мало!

В а р я. Нет, такие стихи мне не известны.

К о н д р а ш и н. Хорошие?

В а р я. Плохие.

К о н д р а ш и н. Ну и свинство! Ничего вы не понимаете!

В а р я. А чьи они?

К о н д р а ш и н. Мои!.. (*Шутливо салютует и опрометью бросается вдогонку за Ниной.*)

Варя остается одна. Она садится на ту же скамейку, на которой сидели Тамара и Нина, ждет. Тишина. Потом раздаются громкие голоса, открывается дверь, и с заводского двора в сопровождении Васеньки Пустовойтова выходит очень возбужденный и усталый Максим.

В а с е н ь к а. Так что, Максим Петрович, я вам от лица всех наших ребят говорю — мы вам решили оказать поддержку! Выступили вы, конечно, толково... но ведь выступить — одно, а доказать — другое... И тут очень может пригодиться поддержка, правда?

М а к с и м (*без улыбки*). Правда.

В а с е н ь к а. Ну, вот мы и решили вам ее оказать.

С улицы звонкие девичьи голоса кричат: «Вась, а Вась, мы уходим. Вася-а-а!»

М а к с и м. Твой?

В а с е н ь к а (*смущенно*). В общем — мой! До скорого, Максим Петрович! (*Крепко жмет Максиму руку и убегает.*)

В а р я. Максим!

М а к с и м (*обернулся, увидел Варю, нахмурился и тихо спросил*). Варя?! Вы откуда?..

В а р я (*после неловкой паузы*). А Кондрашин велел вам передать, что его Нина Михайловна увела домой.

Максим. Жаль! Я с ним хотел... Погодите, зачем вы приехали? К кому?

Варя. К вам.

Максим (*махнул рукой, проговорил устало и жестко*). Напрасно! Незачем было приезжать! Ничего нового вы мне не скажете... Я все сам знаю... Я знаю, что вы не можете любить такого, как я... И правильно. Сегодня у меня... Ну да ладно — пусть уж всё сразу! (*Потер варежкой лоб.*) Что-то я устал! Можно мне посидеть минутку рядом с вами?

Варя. А мы не опоздаем на последнюю электричку?

Максим. Нет, нет. (*Сел на скамейку рядом с Варей, закрыл глаза, тихо проговорил.*) Ох, какое счастье, что вы приехали! А ведь я был уверен, что уже никогда... Я позвонил вам — а вы бросили трубку...

Варя (*с хитрецей*). А вы бы позвонили еще раз! Вам пятнадцать копеек стало жалко, да? (*Побренчала в кармане мелочью.*) Я припасла для вас целую кучу мелочи, чтоб вы мне теперь звонили по сто раз в день. Хорошо?

Максим. Варенька!

Варя (*помолчав*). Очень было тяжело сегодня?

Максим. Очень.

Варя. А Жильцов?

Максим. Ну, он не вошел, конечно, в состав нового бюро. Но боюсь, что это еще не все! (*Стиснул кулаки, сказал с прежним ожесточением.*) Не ждал я такого... Честно вам скажу — не ждал! Я же за ним, как собака, по пятам ходил, подражал ему во всем — даже бурки эти дурацкие нацепил, каждому его слову верил... И когда я помогал ему в работе над книгой...

Варя (*насторожилась*). Как это — помогал?

Максим. Жильцов, по сути, дал ведь только основную идею. Он меня вызвал к себе — на этом и началась наша, если так можно выразиться, недолгая дружба, — вызвал меня, показал мне написанные им конспективный и тематический планы книги, пожаловался на то, что он, дескать, очень занят, и попросил ему помочь...

Варя (*расхохоталась*). И вы помогли?

Максим. Почему вы смеетесь?

Варя. Стойте, стойте, я хочу разобраться! Жильцов показал вам план всей книги. Так? Занимал этот план, вероятно, страниц пятнадцать — двадцать...

Максим. Совершенно верно — ровно двадцать страниц.

Варя. А остальное доделали вы, верно? (*Снова расхохоталась.*) Круг замкнулся, король оказался голым! (*Неожиданно*



*сердито и грустно поглядела на Максима.)* Впрочем, милый, и вы в этой сказке играли не слишком красивую роль!

**Максим** (*честно*). Пожалуй. Но знаете, он удивительно ловко умел давать понять, что то, что я делаю для него,— такая сущая безделица... И он приходил и давал какой-нибудь совет... У него же все-таки голова, черт его побери! И меня совершенно искренне возмутил Кондрашин, заявивший внезапно свои права!

**Варя** (*задумчиво*). Вот как все сложно...

**Максим**. Да, сложно! (*Улыбнулся.*) Помните, когда мы кончали школу, мы твердо верили, что нам суждена безупречная и необыкновенная жизнь, в которой ни единого дня нельзя будет ни вычеркнуть, ни изменить. А сколько мы уже натворили ошибок!

**Варя** (*тихо*). Что ж, а нам ведь и вправду суждена необыкновенная жизнь. Но мы ее получаем не в наследство, не за красивые глаза, не за чужие заслуги... Мы должны доказать, что имеем на нее право,— мужеством доказать, честностью, добротой, упорством... И пусть в этой жизни будет все — поражения и победы, ненависть и любовь, разочарования и надежды! (*Прогудел вдалеке поезд, и Варя прислушалась.*) Вот и это, должно быть,— дальние дороги! Чтобы стучали колеса и разносили чай в стаканах с большими подстаканниками... (*Улыбнулась и протянула Максиму руку.*) Ну что ж, пойдёмте, Максим?

**Максим** (*встал*). Пойдемте, Варенька!..

Далеко гудит поезд, и ему отвечает громкий и протяжный заводской гудок.

З а н а в е с

(1953)

## АВГУСТ

*Рассказ для театра в двух частях*

*Ангелине Галич*

*...И водитель сквозь сонные веки  
Вдруг заметил два странных лица,  
Обращенных друг к другу навеки  
И забывших себя до конца!  
Два туманные легкие света  
Исходили из них, и вокруг  
Красота уходящего лета  
Обнимала их сотнею рук!*

*Николай Заболоцкий*

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Наташа

Любочка

Владимир Васильевич Глебов — журналист.

Таня — его жена.

Машка — их дочь.

Николай Сергеевич Пинегин — фотокорреспондент.

Александра Анатольевна — стенографистка и секретарь.

Настенька — курьер.

Пожилой официант в ресторане «Арагви».

Время действия — начало августа 1958 года.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ВСТУПЛЕНИЕ

В жизни каждого человека, вероятно, случается такой день и час, когда вдруг, остановившись, ты оглядываешься в раздумье на все прожитое, пройденное, сделанное тобой.

И совсем не так уж важно, что именно заставило тебя остановиться и оглянуться, но уже, остановившись и оглянувшись, ты не можешь не задать себе, как в юности, пристрастный вопрос: «Зачем я пришел на землю и что сделаю я на земле?»

...Была суббота, второе августа 1958 года.

В этот день, как обычно, как и во все прочие дни, рано утром по радио были переданы последние известия, а чуть позже почтовые отделения начали доставку газет, и люди смогли услышать, прочесть и узнать обо всем, что происходит в этот день в мире.

Люди прочли сообщение о тружениках Ставропольского края, давших стране сто миллионов пудов хлеба, и телеграмму о том, что вооруженная интервенция США на острове Куба продолжается, и известие о том, что период обращения третьего искусственного спутника Земли уменьшился в этот день со 105,95 минуты до 105,02 минуты и что вчера, в пятницу, ушел с Казанского вокзала комсомольский эшелон в Западную Сибирь на строительство металлургического комбината.

И за всеми этими сообщениями, посланиями, телеграммами, за всеми этими событиями — большими и малыми — плотью их и кровью была обычная земная человеческая жизнь с ее огорчениями и радостями, с любовью и изменами, с надеждами и разочарованиями, с историями — простыми, а подчас и весьма любопытными.

Одну из таких историй я хочу рассказать. Мне она кажется и очень простой и весьма любопытной одновременно. Вот она — эта история.

### *Картина первая*

Суббота, утро, семь часов пятнадцать минут.

Дачное Подмоскowie. Скамейка в саду, окруженная обильно разросшимися кустами боярышника и давно отцветшей сирени. На скамейке рядом сидят Г л е б о в и М а ш к а.

Глебову сорок лет. Он высокий, широкоплечий, синеглазый, с проседью в светлых волосах, которая, как ни странно, ничуть не старит его. Одет он по-городскому, даже при галстукe. В руке — кожаная папка на «молнии». А Машка — в лисялом сарафанчике, босиком, с торчащими косицами и такими же пронзительно-синими, как у отца, глазами.

Тишина. Несколько мгновений Глебов и Машка сидят молча, напряженно о чем-то думают. Высоко, в необыкновенно прозрачном, почти белом, небе, слышно, как гудит самолет.

**М а ш к а** (*закинув голову, басом*). Вот летит самолет.

**Г л е б о в**. И что же?

**М а ш к а**. Это первая строчка.

Глебов. А-а, извини, не понял. Я думал — ты просто так сказала. Значит, первая строчка — «Вот летит самолет»?

Машка. Угу. Теперь твоя очередь.

Глебов (*подумав*).

Вот летит самолет,  
Он летит и гудит...

Машка. Вот летит самолет...

Глебов. Опять?! Машка, жульничаешь!

Машка. Это повторение.

Глебов. Это, милая моя, не повторение, а жульничество!  
(*Покосился на дочь*.) Чего ты хихикаешь? Я, понимаешь, должен всякий раз придумывать новую строчку да еще и рифму, а ты будешь повторять все одну и ту же, ишь ты!

Машка. А в песнях всегда повторяют.

Глебов. Кто это тебе сказал?

Машка (*серьезно*). Всегда.

Глебов (*развел руками*). Убедила! (*Помолчав*.) Так как же там у нас с тобой получилось?

Машка.

Вот летит самолет,  
Он летит и гудит.  
Вот летит самолет...

Глебов. А куда ж он летит?

Машка. Он летит далеко...

Глебов. Неизвестно — куда!

Машка. А когда прилетит?

Глебов. Неизвестно — когда!

Молчание. Глебов и Машка с веселым изумлением поглядели друг на друга.

Машка (*тихо*). Папа, знаешь, по-моему, у нас получилась прекрасная песня!

Глебов. Ты находишь?

Машка. Это прекрасная песня, папа!

Глебов (*снисходительно*). Да, оно, пожалуй, вышло неплохо! Конечно, «куда» и «когда» — это не самые лучшие рифмы на свете. Но бывают и похуже. Например: знамя — пламя, папаша — мамаша! (*Засмеялся*.) Нет, Марья, мы с тобой молодцы — мы сочинили действительно отличную песню!

Машка. А ты запомнил ее?

Глебов. Конечно.

Машка. Давай повторим?

Глебов. Давай.

И снова, поглядев друг на друга, Глебов и Машка начинают петь, размахивая руками, с увлечением, все громче и громче:

Вот летит самолет,  
Он летит и гудит.  
Вот летит самолет,  
А куда он летит?  
Он летит далеко,  
Неизвестно — куда!  
А когда прилетит?  
Неизвестно — когда!..

Допевая последние строчки, Глебов и Машка даже встают, и в это мгновение, со страдальческим и гневным лицом, в развевающемся халатике, быстро входит Т а н я.

Т а н я. Неужели, неужели вам непременно нужно устраивать галдеж под самыми окнами?!

Г л е б о в (*весело*). С добрым утром, Танечка, не сердись.

М а ш к а. С добрым утром, мама.

Г л е б о в. Мы, понимаешь, увлеклись и...

Т а н я (*ожесточенно*). Увлеклись! Вы всегда думаете только о себе — о своем покое, о своих увлечениях, отдыхе, делишках! А на мой покой, на мой отдых, на мое здоровье — всем вам решительно наплевать!

Г л е б о в (*хмуро*). Кому это — всем?

Т а н я. Я вам нужна только затем, чтобы нянчиться с вами, убирать, готовить. Домой ты приезжаешь есть и спать. Про твои дела я должна узнавать от общих знакомых! Вчера, например, ты приехал в половине одиннадцатого, а уже в одиннадцать лег спать.

Г л е б о в. Я очень устал в редакции.

Т а н я. Да? Я не устаю, по-твоему? Ты лег спать в одиннадцать, а ведь я еще до глубокой ночи убирала за вами, мыла посуду, чинила белье! В четыре утра я приняла две таблетки снотворного, в пять еле-еле уснула, а уже в семь вы устраиваете галдеж! (*Усмехнулась*.) Отдых называется! Вывез семью на дачу! Это же надо было — забраться в такую крошечную глушь...

Г л е б о в (*тоже начиная злигься*). Тут уж я ни при чем. Не я выбирал место для поселка!

Т а н я. А почему вообще, хотелось бы знать, мы должны жить в поселке сотрудников нашей редакции? Почему?

Г л е б о в. Почему, черт побери?! (*Заорал*.) Да потому, черт побери, что здесь мы имеем бесплатную дачу, бесплатный участок, бесплатный уголь, понятно тебе, черт побери?!

Т а н я (*с внезапным великолепным хладнокровием*). Не кричи и не ругайся. Потрудишься вести себя прилично. Здесь ребенок.

Г л е б о в (*схватился за голову*). Ой, Машка, бога ради, ступай куда-нибудь. Иди погуляй!

М а ш к а (*упрямо*). А я здесь играю. (*И в продолжение всего дальнейшего разговора старательно делает вид, что все ее внимание поглощено каким-то колесиком.*)

Т а н я (*иронически*). Бесплатная дача!

Г л е б о в. Да, бесплатная.

Т а н я. Лично мне твоя бесплатная дача обходится слишком дорого! Это ты здесь хозяин, а я здесь работница! Попробуй поноси-ка воду из колодца, потопи печи твоим бесплатным углем, потаскайся на рынок с кошелками, за три километра по жаре и пылище...

Г л е б о в. У тебя есть машина.

Т а н я. Это у тебя есть машина.

Г л е б о в. Не могу же я с двумя пересадками ездить в Москву на работу?! Когда машина здесь — ею пользуешься ты!

Т а н я. Ах, ну конечно! Теперь ты уже попрекаешь меня тем, что я пользуюсь твоей машиной! Я ждала этого. Спасибо, Владимир Васильевич, большое спасибо!

Г л е б о в (*сжав кулаки*). Если ты немедленно, черт побери...

Т а н я (*строго*). Перестань чертыхаться! Раз и навсегда отучись от этой безобразной привычки! (*Помолчав.*) Ладно, пойдем — я приготовлю тебе завтрак.

Г л е б о в. Я не буду завтракать.

Т а н я. Объявляешь голодовку?

Г л е б о в. Нет, просто мне пора ехать! (*Взглянув на часы.*) Сейчас уже почти восемь, а я к десяти, не позже, должен быть в редакции.

Т а н я. Почему так рано?

Г л е б о в. Я назначил к десяти телефонный разговор с нашими корреспондентами.

Т а н я. С какими?

Г л е б о в. По Казахстану и по Дальнему Востоку, если тебе это так важно!

Т а н я (*невинно*). Между прочим, Федосеев добирается до Москвы почему-то всего за час.

Г л е б о в. У Федосеевых «Волга», а у нас «Москвич». И резину мы уже черт знает сколько времени не меняли. Доберись-ка за час до города на лысой резине!

Т а н я. Очевидно, и этим следует заняться мне? (*После паузы насмешливо прогнула.*) Да-а, хотела бы я взглянуть, для чего понадобился тебе этот выкроенный, так сказать, свободный час!

Г л е б о в. Поедем со мной — посмотришь.

Т а н я. А Машенька останется одна? (*Махнула рукой.*) Нет

уж, поезжай, поезжай, не бойся. Я за тобой слезку устраивать не собираюсь. Просто смешно, когда старый человек ведет себя, как мальчишка.

Г л е б о в. Старый человек?

Т а н я. Поезжай, поезжай, встретишься там со своим дружкой Колей Пинегиным...

Г л е б о в. Он вовсе не мой дружок.

Т а н я. Но ведь ты приводил его к нам домой? Люди прямо изумляются, как можешь ты — с твоим мнением и твоей репутацией — встречаться и обниматься с таким подонком!

Г л е б о в. Я с ним не обнимаюсь. А что мы встречаемся, это неудивительно — мы работаем в одной редакции. Когда-то ездили вместе в командировки... И знаешь, что я тебе скажу: Коля Пинегин — человек нескладный, одинокий, с неудавшейся, в общем, жизнью. Но презирать его за это нечего! Да, он бывает иногда пошловат, любит приврать, не отдает мелких долгов, но я не могу забыть, как в бухте Находка, когда я свалился с тяжелейшим воспалением, Коля Пинегин несколько ночей, не смыкая глаз, просидел у моей постели и поил меня с ложечки какими-то снадобьями!..

Т а н я. Несколько ночей! А о том, как я сидела над тобой годы, годы, годы, об этом ты позабыл?!

Г л е б о в (*усмехнулся*). Я вроде не так уж часто болею. Ну, потреплет иногда малярия — делов!

Т а н я. Да?! (*Тихо и горько.*) А две похоронные за войну? А экспедиция Бабочкина? Я самолет, пропавший во льдах? А книга твоя, над которой ты бьешься, бьешься и все не можешь закончить, — это кто с тобой выстрадал? Тоже Коля Пинегин?

Г л е б о в (*с внезапным раскаянием*). Ну, Танечка... (*Делает шаг к Тане, протягивает руки ей навстречу, но она неприязненно и резко отталкивает его.*)

Т а н я. Оставь!

Г л е б о в (*помолчав*). Ладно. Как знаешь. Мне пора, до свиданья.

Т а н я. Без чая я тебя не пущу.

Г л е б о в. Я опаздываю.

Т а н я. Без чая я тебя не пущу.

Г л е б о в (*устало*). Ну, хорошо, принеси мне стакан чаю.

Т а н я. Пожалуйста.

Г л е б о в (*не понял*). Что?

Т а н я. Я вспомнила, как ты вчера вечером учил Машеньку говорить слово «пожалуйста».

Г л е б о в. Очень прошу тебя, принеси мне, пожалуйста, стакан чаю.

Т а н я. Сию минуту.

Таня уходит. Молчание.

Г л е б о в (*невольно улыбнулся*). Да-а, вот, брат Машка, какие дела!

М а ш к а. А какие дела?

Г л е б о в. Средние. Очень, доложу я тебе, средние дела.

М а ш к а. А почему?

Г л е б о в (*задумчиво*).

...Они меня истерзали  
И сделали смерти бледней,  
Одни — своею враждою,  
Другие — любовью своей!

М а ш к а. А это что? Это тоже песенка?

Г л е б о в. Почти.

Возвращается Таня — приносит термос и пакетик с бутербродами.

Т а н я. Если тебе действительно так срочно нужно ехать, как ты говоришь, вот, возьми, я налила тебе в термос черного кофе. А здесь — бутерброды. Деньги у тебя есть?

Г л е б о в. Есть.

Т а н я (*усмехнулась*). Еще бы, наивный вопрос! Конечно, у тебя есть деньги...

Г л е б о в. Но я же тебе сказал, что у меня осталось от...

Т а н я (*перебила*). Не надо передо мной отчитываться! Деньги твои, ты сам их зарабатываешь и сам волен решать, сколько давать в дом и сколько оставлять себе. Пообедай в редакции. Или пойди в ВТО — там все-таки лучше кормят. Только не пей!

Г л е б о в. В такую жару?!

Т а н я. Ну, если подвернется Коля Пинегин... Ты ночевать будешь в Москве?

Г л е б о в. Возможно. Не знаю.

Т а н я. А кто знает? У кого я должна об этом спросить?

Г л е б о в (*с трудом сдерживаясь*). Если ты, черт возьми, не прекратишь издеваться...

Т а н я (*с искренним удивлением*). Ах, так это я над тобой издеваюсь?!

Г л е б о в. Я вернусь на дачу.

Т а н я. А я, наоборот, хотела тебя просить, чтоб ты остался в Москве. И привез маму. Вечером она дежурит, а завтра, в воскресенье, у нее свободный день. И я буду тебе благодарна, если ты ее привезешь. Она давно к нам собирается — не заставлять же ее тащиться в поезде.

Г л е б о в. Хорошо. Я с ней созвонюсь и заеду за ней утром.

Т а н я (*внимательно посмотрела на Глебова*). Ишь, как ты ободовался!



Г л е б о в. Чему?

Т а н я. Тому, что ты с полным правом можешь остаться ночевать в Москве! Я сама попросила тебя об этом!

Г л е б о в (*стиснув зубы*). Ох, Таня, Таня!

Т а н я. Что?

Г л е б о в. Ничего! (*Снова взглянул на часы*.) Батюшки, я уже опоздал! До свиданья!

М а ш к а (*укоризненно*). А я, папа?

Г л е б о в. Марьюшка! (*Схватил Машку в охапку, расцеловал*.) Нет уж, мышонок, ты сегодня заводить мне машину не помогай, сегодня мне некогда! До свиданья, Машка, до свиданья, дружок!

М а ш к а. Приезжай поскорей. Привези мне чего-нибудь.

Г л е б о в. Ладно, чего-нибудь привезу! (*Поклонился Тане*.) До свиданья, не беспокойся — я заеду за мамой! (*Уходит*.)

Машка все-таки рванулась вслед за отцом, но Таня удержала ее за руку, и Машка, покосившись на мать, покорно уселась с ней рядом. Они сидят молча, прислушиваясь к тому, как скрипят отворяемые ворота, как выезжает машина, останавливается и снова скрипят ворота.

Т а н я (*вскочила*). Володя... Володенька, подожди!

Машина уезжает. Тишина. Только где-то поблизости, опоздав спросонья, заходится лаем собака.

М а ш к а. Он уехал уже.

Т а н я. Уехал!.. (*Смотрит на машину, закрывает лицо руками, всхлипывает*.)

М а ш к а (*уже готова тоже зареветь*). Мама, что ты?! Ну что ты, мама?!

Т а н я (*всхлипывает*). Он не знает... Он не знает, как я люблю его, он не знает... Он одно знает, как я его мучаю, а как люблю — он не знает... А ведь я потому и мучаю, что люблю! Как в первый день, как будто сейчас увидела! Конечно, я стала нервная, я устала... Но ведь я за него нервничаю, за его работу, за то, чтоб он был здоров! Я пристаю к нему со всякими глупостями, подозреваю его, а он злится... И он прав, он конечно же прав, что злится! И вот сегодня... Ты понимаешь, я просто очень крепко спала, а вы меня разбудили, и у меня сразу ужасно голова заболела! А он прав, что рассердился! Он же ради нас, ради меня, чтоб я не сходила с ума, перестал ездить в эти свои немыслимые поездки и пошел в штат, в отдел «внутренней жизни»... А я... Как я могла! (*Вытерла кулаками глаза, решительно встала*.) Вот что я сделаю... Машенька, золотко, я тебя до обеда сведу к Федосеевым, ладно?

М а ш к а. Ой, не хочу! А зачем?

Т а н я. Я на почту схожу.

М а ш к а. На почту? Ой, мама, это же жутко далеко! Это как до рынка, а потом еще как до рынка и еще...

Т а н я (*пренебрежительно*). Подумаешь, далеко! Чепуха какая! Мы, знаешь, когда-то с папой, сразу после войны...

М а ш к а (*деловито*). Меня еще не было?

Т а н я. Тебя еще не было. Так вот, мы с папой ходили в туристский поход по Кавказу. И бывало так, очень даже часто так бывало, что все наши мужчины к концу дня уставали, а я шла — и хоть бы что!

М а ш к а. А зачем тебе нужно на почту?

Т а н я. Я позвоню папе. В Москву, в редакцию. И я скажу ему, что мы его очень ждем. Чтоб он не задерживался и приезжал поскорей. И еще я скажу ему... я как-то все не решалась, но теперь я скажу — самое важное. Скажу, и пусть он поступает как хочет! (*Просительно*.) Побудешь у Федосеевых?

М а ш к а (*со вздохом*). Побуду уж.

Т а н я (*после паузы*). А что вы тут за песенку сочинили с папой?

М а ш к а. Хорошую.

Т а н я. Спой. Споешь?

М а ш к а (*подумав*). Я не спою — я скажу.

Т а н я (*кивнула головой*). Ну скажи.

М а ш к а (*медленно*).

Вот летит самолет,  
Он летит и гудит.  
Вот летит самолет,  
А куда он летит?  
Он летит далеко,  
Неизвестно — куда!  
А когда прилетит?  
Неизвестно — когда!..

Т а н я (*очень серьезно*). Какая хорошая песенка!..

П е р е м е н а

Музыка. Свет. Это — автомобильные фары, вспыхнувшие на мгновение в темном провале туннеля, это — перекличка утренних поездов, начинающийся рабочий день и жаркая суতোлка шумного московского лета.

*Картина вторая*

Суббота, день, шестнадцать часов двадцать минут.

Г л е б о в в редакции. Он стоит у окна, потрясая номером сегодняшней газеты, взволнованный и растрепанный, в помятом пиджаке и съе-

хавшем набок галстук. И рядом с ним как-то особенно подтянуто и даже чопорно выглядит пожилая стенографистка Александра Анатольевна, которая, слегка прищурив глаза и не глядя на клавиатуру пишущей машинки, с невероятной быстротой печатает расшифровку стенограммы. Где-то близко, в соседних комнатах, хлопают двери, дребезжат телефонные звонки, гудят голоса — спорят, кричат, смеются. А за огромным окном — жаркий и словно оцепенелый, несмотря на уличный грохот, московский день.

Глебов (*потрясая газетой*). Ставропольцы дали сто миллионов пудов хлеба! Сто миллионов пудов, а?! Нравится это вам, Александра Анатольевна?

Александра Анатольевна. Нравится.

Глебов. А мне не нравится.

Александра Анатольевна (*ничему не удивляясь*). Нет?

Глебов. Хлеб мне нравится! Сто миллионов пудов! И ставропольцы мне нравятся! Но мне не нравится этот сукин сын Мельников, эта чертова балаболка и лодырь...

Александра Анатольевна. Владимир Васильевич! Я неоднократно просила вас не ругаться в моем присутствии.

Глебов. А я не могу не ругаться, когда я говорю об этом проходимце! Собственный корреспондент по Ставропольскому краю, хорош! Заваливает газету бездарными стишками, а такое событие проворонил!

Александра Анатольевна (*закладывая в машинку новый лист*). А мне нравится, как пишет Мельников.

Глебов (*возмущенно*). Что же тут может нравиться?!

Александра Анатольевна (*проявляя неожиданное упрямство*). Не знаю, мне нравится. У него стихи такие задушевные, такие теплые...

Глебов. Дорогая моя Александра Анатольевна! Разрешите вам заметить, что стихи теплыми не бывают. Теплым бывает исключительно жидкий чай. А если этот...

Александра Анатольевна (*предостерегающе*). Владимир Васильевич!

Телефонный звонок.

Глебов (*снял трубку*). Да! Здравствуй. Что-о? Милый мой, ты, видать, от жары совсем с ума спятил! Я ведь «внутренней жизнью» занимаюсь, а международный отдел... Ах, с Будапештом говорят, а у тебя времени нет?! А у меня время, по-твоему, есть? Секретарю ты позвонить не мог? (*Засмеялся*.) Ладно, давай, цени мою доброту! (*С внезапным испугом*.) Эй-эй, погоди, а это у тебя не корреспонденция Горбачева?! Нет, я ничего не имею про-

тив, но ведь он меньше чем в два подвала не укладывается, а я... Пять строчек? Дорогой мой, это верх благородства, давай! (*Кивнул Александре Анатольевне.*) Александра Анатольевна, внимание! (*Слушает и диктует.*) «Заголовок. Развал Федерации Иордании и Ирака. Абзац. Лондон, второго августа. ТАСС. Точка. Как сообщает корреспондент агентства Рейтер из Аммана, запятая, король Хуссейн объявил в своем декрете о прекращении существования Федерации Иордании и Ирака. Точка...» И все? Чрезвычайно благородно с вашей стороны, мы вам этого никогда не забудем! (*Повесил трубку, поглядел на Александру Анатольевну.*) Готово, Александра Анатольевна?

Александра Анатольевна. Что именно?

Глебов. Ну, эта телеграмма.

Александра Анатольевна (*со смешком*). Бог мой, я уж про нее и забыла. Я давно печатаю расшифровку стенограммы.

Глебов (*восхитился*). Александра Анатольевна, вы чудо! (*После паузы.*) И тем не менее сейчас я устрою вашему любимейшему Мельникову-Печерскому такую баню, что он надолго забудет все свои дактили и анапесты! (*Снова снял трубку.*) Галенька, междугородную!.. Скорей, скорей, дружок, некогда!.. Междугородная? Мне нужен Ставрополь. Да, сейчас. Счет сорок пять, двадцать шесть. Пароль — Енисей. В Ставрополе — гостиница «Южная», номер седьмой. Мельникова Сергея Константиновича. Говорить буду отсюда, из редакции, добавочный — два, тридцать восемь... Нет, нет, не ограничивайте! Хорошо, спасибо, жду! (*Вешает трубку, придвигает к себе длинные полоски гранок, принимается просматривать их и править.*)

Дожевывая на ходу печенье, в комнату влетает Настенька — редакционный курьер.

Настенька (*на одном дыхании*). Здравьте, товарищи, жарко очень, Владимир Васильевич, матерьял есть?

Глебов. Сейчас, Настенька, сейчас! Можешь погодить три минутки?

Настенька. Три минуты могу! (*Присела на краешек стула, обмахнулась платочком, проговорила с нарочитой небрежностью.*) А знаете, товарищи, между прочим, ведь я на будущей неделе уйду от вас!

Александра Анатольевна (*печатает*). В отпуск, Настенька? Или учиться?

Настенька. Уезжаю.

Александра Анатольевна. Куда? Далеко?

Настенька (*скромно, с трудом сдерживая ликование*). Далеко, отсюда не видно. В Бомбей.

Глебов (*поднял голову*). Куда-а-а?!

Настенька (*чуть загнулась, не слишком уверенная, что она правильно произносит это слово*). В Бом-бей, Владимир Васильевич!

Александра Анатольевна (*всплеснула руками*). Бог мой, это невероятно! В туристическую поездку?

Настенька. Нет, насовсем... Ну, не насовсем, а на два года. Мой папа, Владимир Васильевич, он — доктор...

Александра Анатольевна (*строго*). Ваш папа ветеринар.

Настенька (*с обидой*). А ветеринар — не доктор, по-вашему? Еще какой доктор! (*Отвернулась от Александры Анатольевны и все дальнейшее говорит, обращаясь только к Глебову.*) Понимаете, Владимир Васильевич, мой папа — он доктор, и он изобрел такую сыворотку, чтоб животных лечить. И вот теперь его посылают на полтора года в Бомбей, чтоб он там научил ихних докторов, как эту сыворотку применять. А папа сказал, что он на полтора года без семьи не поедет. А ему сказали: «Поезжайте с семьей». А он сказал, что у него семья — он и я! Ну, вот меня и оформили!

Глебов (*продолжая заниматься гранками*). Очень рад за вас, Настенька! А не боитесь? Ведь там, говорят, в Бомбее,— тьматмущая крокодилов! Вы крокодилов-то не боитесь?

Настенька. А чего их бояться? (*Погрозил кулачком.*) Ка-а-ак дам — и нет!

Глебов (*протянул Настеньке гранки*). Вот, прошу! А эту телеграмму передайте в международный отдел — Федосееву! (*Улыбнулся.*) Так, значит, в Бомбей?

Настенька (*ликующим голосом*). В Бомбей, Владимир Васильевич, в Бомбей! (*Убегает.*)

Александра Анатольевна (*бросив работу, взволнованно*). Нет, вы только вообразите — Настенька Чуркина едет в Бомбей! Всю жизнь прожила в Москве, где-то там в Сокольниках, а теперь вдруг Бомбей, крокодилы, Европа...

Глебов (*склонившись над бумагами*). Все наоборот, Александра Анатольевна! Москва, Сокольники — это Европа, а Бомбей и крокодилы — это как раз Азия.

Александра Анатольевна (*с красными пятнами на щеках*). Вы подходите к вопросу с точки зрения сугубо географической!

Глебов. А с какой же еще точки зрения можно подходить к этому вопросу?

Александра Анатольевна. Ах, вы не понимаете!

Продолжительный телефонный звонок. Глебов берет трубку.

Глебов. Слушаю. Да, да, да, да — заказывал. Мельникова нет? А если поискать? В районе? Это хуже! Да, тогда снимайте разговор... Только вот что, девушка, пускай они там запишут, что Мельников должен сегодня же, непременно сегодня же, позвонить в редакцию! Да, да, как только он появится в городе! Хорошо, есть!.. *(Вешает трубку.)*

Молчание.

Александра Анатольевна *(глядя куда-то в одну точку)*. А вот я уже никогда в жизни не поеду в Бомбей!

Глебов. И вы жалеете об этом?

Александра Анатольевна. Да, жалею. Может быть, это единственное, о чем я жалею по-настоящему, когда вспоминаю, как много мне лет!

Глебов *(поглядел на Александру Анатольевну)*. Ну, если это настолько серьезно, Александра Анатольевна, можно будет поговорить в местком — пусть они похлопочут о туристской путевке для вас.

Александра Анатольевна *(снова разволновалась)*. Нет, нет, нет, Владимир Васильевич, умоляю вас — не надо. Теперь мне уже в Бомбей ехать поздно! *(Со слабым смешком.)* И кроме того, в отличие от Настеньки, я ужасно боюсь крокодилов!

Распахивается дверь, и в комнату с неизменным фотоаппаратом, подпрыгивающим на круглом животике, торопливо входит Николай Сергеевич Пинегин. Он значительно старше Глебова, но держится еще молодцом, этаким смуглолицый толстячок-красавчик с румяными щеками и бархатными глазками бабника и любителя выпить.

Пинегин *(возбужденно)*. Привет, привет обители трудов! Добрый день, многоуважаемая Александра Анатольевна!

Александра Анатольевна *(сухо)*. Добрый день, товарищ Пинегин.

Пинегин. Здорово, старик! Все сеешь разумное, доброе, вечное?

Глебов. Сею помаленьку.

Пинегин. Сей, сей! Спасибо тебе, Володечка, скажет сердечное русский народ. Понял, нет?! *(Хлопнул Глебова по плечу.)* А ты хорошо выглядишь — загорел, посвежел. Нет, братцы мои, это великая вещь — жить на свежем воздухе!

Глебов *(угрюмо)*. Ненавижу дачу! Если б не Машка, ни за что не стал бы мучиться и...

Пинегин *(перебил)*. Все ненавидят дачу! Но мучиться в городской духотище и мучиться на свежем воздухе — это, как

говорят в Одессе, две большие разницы! (*Покрутил головой.*) Фу, жара! Шел сейчас по улице, по теневой стороне, поглядел на градусник — тридцать пять!

Г л е б о в. А ты не ходи по теневой стороне! (*Выглянул в окно, где укреплен термометр.*) Тем более что на солнце, как видишь, всего тридцать!

П и н е г и н. Поэзия и проза! Эх, Володечка, нет в тебе этакго умения поэтически осмыслить действительность, воспарить душой над грубыми фактами! Как был ты, старик, прозаиком, так прозаиком и останешься!

Г л е б о в. А ты поэт?

П и н е г и н (*хохотнул*). А я поэт! (*Оглянулся на Александру Анатольевну, подсел к Глебову, проговорил значительно, понизив голос.*) Есть дело, старик!

Г л е б о в. Полсотни до понедельника?

П и н е г и н. Не остри. Серьезное дело.

Г л е б о в. Сто рублей?

П и н е г и н. Слушай, за кого ты меня принимаешь?! Я богат! Третьего дня в издательстве заполнил в ведомости у кассы заветную графу — «сумма прописью». (*Спохватившись, поспешно.*) Ну, порастряс уже, конечно, но сотня-другая осталась! Нет, нет, старина, дело совсем особого, деликатного свойства! (*Неожиданно.*) Скажи, Володечка, ты не знаешь случайно, кто такой Юкава?

Г л е б о в (*удивленно*). Юкава! Это японский физик, кажется. Или химик. Точно не помню. А зачем он тебе?

П и н е г и н. А черт его знает зачем! Спросил, и все. Просто так спросил. Вертится у меня в голове почему-то со вчерашнего дня эта фамилия. Юкава и Юкава. Я и спросил. Из чистого любопытства. Повышаю, Володечка, свой культурный уровень. Понял, нет?!

Г л е б о в. Это и есть твое серьезное дело?

П и н е г и н. Смейся, смейся.

Г л е б о в. А что случилось?

П и н е г и н (*беспокойно и нетерпеливо оглядываясь на Александру Анатольевну*). Скажу, скажу. Все тебе сейчас скажу, старина.

А л е к с а н д р а А н а т о л ь е в н а (*встала*). Товарищу Пинегину мешает, очевидно, мое присутствие. Я уйду на десять минут. Вы позволите, Владимир Васильевич?

Г л е б о в. Пожалуйста.

П и н е г и н (*фальшиво*). Ну что вы, Александра Анатольевна, помилуйте!

А л е к с а н д р а А н а т о л ь е в н а. Надеюсь, что товарищ Пи-

негин уложится в десять минут! *(Накрыв машинку чехлом, величественно выходит из кабинета.)*

Пинегин *(высунул ей вслед язык)*. Бэ-э, старая перечница! Как ты можешь сидеть в одной комнате с таким страшилом, удивляюсь.

Глебов. Что у тебя за дело?

Пинегин. Сейчас, погоди, скажу! *(Внезапно подбегает к окну и, увидев кого-то на улице, влезает на подоконник, машет рукой, посылает воздушный поцелуй.)*

Глебов *(раздраженно)*. Кого ты там увидел? Балерина! Слушай, слезай, рассказывай, что случилось, или уходи отсюда ко всем свиньям и не мешай!

Пинегин *(слез с подоконника)*. Не видят! *(Снова подсел к Глебову, подмигнул.)* Короче, старик, дело такое — недавно, совсем недавно, я познакомился с одной прелестнейшей девушкой! Первый класс, понял, черт?! Первый класс, уж насчет этого ты мне можешь поверить!

Глебов. Верю. Поздравляю. А я при чем?

Пинегин. Так она, понимаешь, старик, не одна.

Глебов *(не отрываясь от бумаг)*. А с кем же? С мамой? С мужем? С грудным младенцем?

Пинегин *(значительно)*. С подругой.

Глебов. Пошел вон!

Пинегин. Старик, дорогой, ты даже не можешь себе представить, что за подруга! Божество! Уж моя-то хороша, но эта, твоя...

Глебов *(усмехнулся)*. Знаешь, Коля, порой меня чрезвычайно удивляет то обстоятельство, что ты ходишь по земле на двух ногах!

Пинегин *(опешил)*. А как же мне еще ходить?

Глебов. На четвереньках. На четвереньках тебе было бы гораздо удобнее! *(Вспылил.)* Мерзавец ты, черт тебя побери, и больше никто! Ты же бываешь в моем доме, играешь с Машкой и любезничаешь с Таней, а потом ты приходишь...

Пинегин *(тоже разозлился)*. Ну, брось, брось! Не разыгрывай из себя, пожалуйста, младенца, оскорбленную невинность, Иосифа Прекрасного! Подумаешь! Я ж тебе ничего такого особенного не предлагаю! Обычное дело — лето, субботний вечер и две очень прелестные девушки, которые не прочь провести время в обществе двух вполне интеллигентных мужчин...

Глебов. Мужчин? Какой же ты мужчина? Ты павиан!

Пинегин *(поморщился)*. Старик, это пошло!

Глебов *(пауза)*. И давно ты их знаешь, твоих прекрасных дам?



Пинегин. Минут сорок.

Глебов. Естественно, я так и думал! А где ты с ними познакомился?

Пинегин. У гостиницы «Метрополь».

Глебов. Где? Где?

Пинегин (*слегка смугился*). Ну, у гостиницы «Метрополь»... А что?

Глебов. Какая прелесть! Гостиница «Метрополь». Отличнейшее место для знакомства с дамами! (*Насмешливо.*) Они что же, проживают в этой гостинице?

Пинегин. Нет вроде. Они москвички. Так я, во всяком случае, понял! (*Заторопился.*) Даже определенно, определенно — москвички. Я сейчас припоминаю, был разговор на эту тему!

Глебов (*помолчав, со злостью*). А тебе не кажется, голубчик, что твои прекрасные дамы — это просто-напросто две самые обыкновенные потаскушки?!

Пинегин. Володечка, ты меня обижаешь! (*Схватил Глебова за руку, потащил к окну.*) Взгляни-ка сюда — вон они.

Глебов и Пинегин стоят у окна, смотрят на улицу. Несколько мгновений проходят в молчании.

Глебов. Что они здесь делают?

Пинегин. Ждут. Я велел им обождать в сквере, пока приведу тебя.

Глебов. Боюсь, что им придется ждать очень долго!

Пинегин (*взмолился*). Старик, не разбивай компании, будь человеком! Я им такого о тебе и твоих подвигах нарасказывал, что они просто жаждут поглядеть на тебя! Хотя бы поглядеть!

Глебов. Если ты станешь меня уверять, что они читают, перечитывают и заучивают наизусть мои статьи, — я тебя немедленно выгоню! И навсегда, учти!

Пинегин (*с ехидным смешком*). Нет, дружок, этого я не скажу. Чего нет — того нет! Вряд ли, знаешь, они заучивают наизусть, как стихи, твои статьи о беспорядках в совнархозе и отчеты об уборке сахарной свеклы!

Глебов (*с неожиданной наивной обидой*). Ну что ты завираешь опять?! Как будто я только про свеклу пишу!

Пинегин. Шучу, старина, шучу, не обижайся! (*Льстиво.*) Мне же обидно, Володечка, что ты, именно ты, человек героической биографии, орел, — засел, как чиновник, в отделе и размениваешься на мелочи! Плачу об этом день и ночь! Горючими слезами плачу! Вот такими слезами — двадцать четыре на тридцать! (*С напором.*) И я же вижу, что ты сам, сам еле сдерживаешь себя! Я же помню, не забыл, что за стихи ты читал в бреду,

всю ночь повторял там, в экспедиции, когда свалился... Понял, нет?!

Г л е б о в (*недоверчиво*). Что за стихи?

П и н е г и н (*с чувством*).

Они меня истерзали  
И сделали смерти бледней,  
Одни — своею враждою,  
Другие — любовью своей!..

Г л е б о в (*смугился*). Это из Гейне... Что ж тут такого? Почему это тебя поразило? Мало ли что лезет в голову человеку, когда он в бреду!

П и н е г и н (*запальчиво*). Нет, милый мой, не мало ли что. По науке доказано, что совсем не мало ли что! Есть такая статья научная, я ее сам читал, где все это подробно и натурально описано! Твоя жена умная женщина, но...

Г л е б о в (*резко*). Мою жену ты оставь!

П и н е г и н. Я ж ничего худого не хочу про нее сказать. Напротив. Уважаю ее и ценю. Это ты, пожалуйста, хорошо запомни — уважаю и ценю. И что любит она тебя — ценю, и что боится за тебя, потерять тебя боится — прекрасно это все понимаю! (*Проникновенно.*) Но ведь тебе-то, старик, тебе другие просторы нужны, тебе рано еще сдаваться! Понял?! Я вот сейчас, по дороге сюда, рассказывал девчонкам про наш полярный поход и про то, как ты в пургу один отправился на поиски пропавшего самолета и сам чуть не погиб,— так у них, веришь ли, глазки прямо так и разгорелись, воображение разыгралось, страсть!

Г л е б о в (*не глядя на Пинегина*). Ну, а что еще ты им рассказывал?

П и н е г и н. Рассказывал про то, как ты на Гавайских островах был.

Г л е б о в (*помолчав*). Наврал, одним словом, с полный короб!

П и н е г и н. Исключительно для пользы дела, старик! Выдал им весь набор по Джеку Лондону — прибор Канаки, Уайкики, укулеле... Даже Юкаву приплел! По созвучию. Думал, что он из той же серии. Библиотека фантастики и приключений. А он, подлец, ученый, оказывается, вот незадача!

Г л е б о в (*с улыбкой*). Будем надеяться, что дамы вряд ли заметили эту ошибку.

П и н е г и н. Не заметили, дорогой мой, конечно же не заметили! Что им какой-то Юкава? Им про Глебова интересно! Про того Володьку Глебова, которого называли когда-то «Глебов — нынче здесь, завтра там». Вот им про что интересно.

Молчание.

Глебов *(снова поглядел на них в окно)*. Ждут.

Пинегин. Ждут, Володечка.

Глебов *(медленно)*. Не понимаю. Ничего не понимаю. Ведь молодые ж девчонки... Зачем они ждут?! Зачем ты им нужен и зачем я им нужен?! Кто они такие? Чем они живут, чем дышат? *(После паузы.)* Как ты с ними познакомился?

Пинегин *(с жестикуляцией)*. Иду, смотрю, вижу — стоят у гостиницы «Метрополь» две красотки. Ну, такие красотки, Володечка, что я прямо аж задрожал от волнения! Как подойти? Проблема! *(Хлопнул ладонью по футляру фотоаппарата.)* Вспоминаю, по счастью, что со мной камера. Приближаюсь, навожу объектив, предупреждаю — сейчас, мол, гражданочки, вылетит птичка. Они, понятно, смеются. Я представляюсь. Ну, а уж дальнейшее, как говорят шахматисты, дело чистой техники! *(После паузы.)* Так как же будет, старик? Девушки ждут, неудобно!

Глебов *(прищурился)*. Змий-искуситель.

Пинегин. Да, я змий-искуситель.

Глебов. Но я не Ева!

Пинегин *(меланхолически)*. Все мы, старик, немножечко Евы! Надо только знать — для кого какое яблоко выбрать! Для кого — шафран, а для кого — белый налив, понял, нет?! Так как же будет? Идем, Володечка, а?

Глебов. Иди.

Пинегин. А ты?

Глебов *(отвернулся от Пинегина)*. Я тоже выйду. Чуть позже. Вы подождите меня!

Пинегин *(восторженно)*. Старик, дорогой!

Глебов. Не ори. И не очень-то на меня рассчитывай. Выйти я выйду, но потом...

Пинегин. Ты ночуешь в Москве?

Глебов. В Москве.

Пинегин. А твои на даче? Квартира пустая?

Глебов *(гневно)*. Уходи, пока я не швырнул в тебя чем-нибудь, что потяжелей! Убирайся к дьяволу!

Пинегин *(заговорщицким шепотом)*. Ждем, старик!

Глебов. Постой! А как их зовут — ты хоть это-то знаешь?

Пинегин. Мою зовут Любочка! *(На секунду заппулся.)* А твою — вроде Наташа... А может, Нина... Нет, Наташа!

Глебов. Убирайся!

Пинегин. Ждем! *(Поспешно уходит, сталкиваясь в дверях с Александрой Анатольевной.)*

Александра Анатольевна. Я не рано?

Но Пинегина уже нет. Александра Анатольевна проходит к своему месту, садится за машинку, снимает с нее чехол, вопросительно смотрит на Глебова.

Глебов (*покашлял*). Так, так, так!.. Если я не ошибаюсь, Александра Анатольевна, на сегодня у нас, собственно, всё?

Александра Анатольевна. Как угодно, Владимир Васильевич. А эта стенограмма — совещание животноводов Тамбовской области?

Глебов (*быстро*). Мы доправим и посмотрим ее в понедельник. Она вообще-то вряд ли пойдет, так что срочности нет никакой! (*Внезапно стукнул кулаком по столу.*) Да, если все-таки отыщется этот...

Александра Анатольевна. Владимир Васильевич!

Глебов. Я говорю — если отыщется этот Мельников, а вы еще будете в редакции, то скажите ему — пусть дозванивается ко мне домой! Вечером, ночью, на рассвете, когда угодно, но пусть дозванивается!

Александра Анатольевна. А вы уходите?

Глебов (*небрежно*). Да, есть дела в городе. До свиданья, Александра Анатольевна!

Александра Анатольевна. До свиданья, Владимир Васильевич! Передайте, пожалуйста, мой самый сердечный привет вашей прелестной Танечке! Будь я мужчиной, я непременно увезла бы ее у вас!

Глебов. Какое счастье, что вы не мужчина! До свиданья, Александра Анатольевна. Желаю вам весело провести воскресенье! (*Уходит.*)

Александра Анатольевна одна. Шум города за окнами с каждым мгновением становится все нестерпимей — это наступают знаменитые московские так называемые часы «пик». Александра Анатольевна хлопывает фрамугу окна, снова садится за машинку, вытаскивает из ящика стола какую-то явно постороннюю рукопись, перелистывает ее.

Александра Анатольевна (*с тяжелым вздохом*). Бог мой, о чем они только пишут! (*Читает.*) «Новообразования в червеобразном отростке у хищных млекопитающих из породы кошачьих». На соискание ученой степени кандидата биологических наук! (*Сердито.*) Ты будешь дурой, Саня, ты будешь самой последней дурой, если не возьмешь с него за эти отростки по полтора рубля за страницу! (*Помолчала, усмехнулась.*) И не возьмешь! Начнешь мямлить, краснеть, смущаться! А вот Настенька Чуркина едет в Бомбей!

Продолжительный телефонный звонок. Александра Анатольевна снимает трубку.

Алло! Ставрополь? Какой Загорск? Да, это Александра Анатольевна, а... Ах, боже мой, это вы, Татьяна Андреевна? Здравствуйте, моя дорогая, очень рада слышать ваш голос! Что случилось? Нет, Владимир Васильевич ушел. Что ж вы так поздно? Сидели на почте — не было связи? Ах, какая досада! Не знаю, куда-то в город, по редакционным делам. Что-нибудь надо передать? Нет, но если что-нибудь очень срочное, так я могу его поискать... А может быть, он еще и вернется в редакцию... Просто передать, что вы его очень ждете? Хорошо, дорогая моя, если увижу — обязательно передам. Нет, он не очень много курил, нет, нет! А как ваша доченька? Я спрашиваю — как ваша доченька? Почему вы перебиваете, барышня? Время кончать? Безобразие! *(Вешает трубку, делает несколько шагов по комнате, останавливается и в горестном недоумении разводит руками.)* Нет, я прошу вас, нет, вы только вообразите — а Настенька Чуркина едет в Бомбей!

### Перемена

Музыка. Свет. Это закатное солнце, отраженное в бесчисленных окнах, это шум города и насмешливая флейточка, насвистывающая занятную мелодию, которая звучит по временам то как походный марш, то как озорная уличная песенка.

### Картина третья

Суббота, день, шестнадцать часов пятьдесят минут.

Сквер. Фонтан, изнемогающий от жары. Чугунный, под старину, фонарь. У фонаря стоят две девушки — Любочка и Наташа. Обе они очень разные и ничем решительно — ни внешностью, ни поведением, ни манерой одеваться и говорить — не походят друг на друга. Любочка — маленькая, круглолицая, светловолосая, одета нарядно, броско, с чуть легкомысленным и даже дешевым шиком. Наташа — высокая, темноглазая, одета попроще и поскромней. И только прозрачные плащи-дождевики — один голубой, а другой оранжевый — явно куплены девушками в одном магазине, да еще в руках у них две совершенно одинаковые темно-зеленые сумочки на длинных и широких ремнях. *(На эти сумочки следует обратить особое внимание, потому что в дальнейшем ходе истории они будут играть немаловажную роль.)*

Итак, суббота, шестнадцать часов пятьдесят минут, девушки стоят в сквере у чугунного фонаря и о чем-то оживленно спорят.

Любочка. Ты думаешь, он наврал?

Наташа *(нервно)*. Конечно, наврал! Может быть, он и знает Глебова, но уж, во всяком случае, никакой ему не друг!

Любочка. А почему — нет?

Наташа. А потому что — то Глебов, а то... И вообще он

трепло, этот фотограф! Вот увидишь, если он придет — в чем я, кстати, сомневаюсь, — но если он придет, то придет или один, или с кем-нибудь другим, но только не с Глебовым. *(Помолчала, тряхнула головой.)* Знаешь что, Любаша, давай пойдем, а?! Будем считать, что наша затея сорвалась! Ну, глупо же, глупо — стоим тут на солнцепеке, у всех на виду, ждем чего-то, неизвестно чего, теряем время... Пойдем?..

Л ю б о ч к а *(нерешительно)*. Ну, давай подождем еще семь минут. Ровно до пяти часов, ладно? *(Задумчиво оттопырила губы.)* Нет, а он вообще смешной. Рассказывает смешно...

Н а т а ш а. Особенно — про Юкаву.

Л ю б о ч к а. Ну, он, вероятно, перепутал! А возможно, даже и... *(Внезапно топнула ногой, крикнула.)* Перестань усмехаться! Ох, до чего ж я ненавижу эту твою усмешечку!

Н а т а ш а *(лениво)*. Поссоримся для разнообразия? Давно не ссорились! А ведь это, между прочим, тоже превосходнейший способ убить время! Давай?

Л ю б о ч к а *(всхлипнула, порывисто обняла подругу)*. Ах, Наташка!..

Вбегает П и н е г и н. Он доволен и весел до чрезвычайности, сияет, приплясывает, ходит ходуном.

П и н е г и н *(размахивая руками)*. Детки, детки, остановитесь, не то делаете! Надо знать — как, когда и с кем обниматься, все еще впереди! Я долго?

Н а т а ш а. Нет, быстро.

Л ю б о ч к а. Наташа уверяла меня, что вы вообще не придете!

П и н е г и н *(наморщил лоб)*. Наташа? Ах, да, Наташа! *(Погрозил Наташе пальцем.)* Наташенька! *(Торжественно.)* Усталый, смертельно больной — все равно Коля Пинегин приполз бы, деточки, к вашим ногам! *(Вытащил из кармана горсть карамелек, протянул девушкам.)* Карамельки употребляете?

Л ю б о ч к а. Можно и карамельку.

Н а т а ш а. Можно, но не нужно.

Л ю б о ч к а. Почему? *(Спохватилась.)* Я забыла, ты права! Спасибо, Николай Сергеевич, не нужно!

П и н е г и н. Что так?

Л ю б о ч к а *(важно)*. У нас есть план.

П и н е г и н. План? Любопытно! И этим планом карамельки не предусмотрены?

Н а т а ш а. Нет. Скажите, Николай Семенович...

Л ю б о ч к а *(поправляет)*. Сергеевич.

П и н е г и н. Просто — Коля, Наташенька, просто — Коля.

Н а т а ш а. Скажите, Николай Сергеевич, вы, разумеется, не застали вашего знаменитого друга?

Пинегин (с поклоном). Застал.

Наташа. Но прийти он, к великому сожалению, не может?

Пинегин. Может. Сейчас придет! (*Ухмыльнулся.*) А вы злюка, Наташенька! Почему вы такая злюка? Любушка-голубушка, почему наша Наташа такая злюка?

Любочка. Она нервничает.

Наташа. Вздор какой!

Любочка. Нервничаешь, нервничаешь. И я тоже, конечно, нервничаю. Вы не обращайтесь на нас внимания, Николай Сергеевич!

Пинегин. Не обращать на вас внимания?! Детки, требуйте от Коли Пинегина всего, но не требуйте от Коли Пинегина невозможного! Поняли, нет?! Если бы час тому назад я не обратился бы на вас внимания...

Наташа (*перебила*). Скажите, Николай Сергеевич, а ваш друг Глебов не привез, случайно, из Гонолулу гавайской рубашки?

Пинегин. Не знаю. А зачем вам гавайская рубашка, Наташенька?

Наташа. Интересно взглянуть.

Пинегин. Не знаю, может быть, и привез! (*Помахал рукой.*) А вот мы его сейчас самого об этом и спросим!

Наташа (*насторожилась*). Он идет?

Пинегин. Вот он — переходит дорогу.

Любочка. Который?

Пинегин. Высокий, в светлом костюме, смотрит сюда.

Любочка (*тихо, Наташе*). Это он?

Наташа. Да. Он. Я когда-то видела его фотографию в «Огоньке».

Любочка. Вот он какой!

Пинегин (*изриво*). Нравится?

Наташа (*медленно, с усмешкой*). Что ж, ничего! Могло быть и хуже!

Любочка (*возмущенно*). Наташа!..

Входит Глебов, коротко, почти не глядя на девушек, кивает головой.

Глебов. Здравствуйте.

Пинегин (*суетливо потирая руки*). Ну вот, ну вот, друзья мои, наконец-то все в сборе! Знакомьтесь: Любушка-голубушка, Наташа и Владимир Васильевич Глебов, именуемый в дальнейшем Володечка. Поняли, нет?!

Любочка. Поняли.

Наташа. Но не запомнили.

Пинегин. Кстати, Володечка, тут вот девушки интересовались, не привез ли ты случайно из Гонолулу рубашки?

Глебов (*сухо*). Нет, не привез.

Наташа. А укулеле?

Пинегин. Наташенька, бог с вами, укулеле — это же таец! Знаменитые гавайские танцы — укулеле и юкава!

Глебов (*негромко*). Ну что ты несешь, опомнись! (*Наташе*.) Укулеле, Наташа, это такой музыкальный инструмент...

Наташа. Я знаю.

Глебов. Но его я тоже не привез. Вам, очевидно, Николай Сергеевич не рассказал, почему и каким образом я оказался в Гонолулу...

Пинегин. Потом, потом расскажешь, Володечка, потом! Сейчас у нас есть дела поважнее. (*Позвонил в воображаемый колокольчик*.) Дорогие товарищи! Объявляю открытым пятиминутное совещание на тему — что будем делать?

Девушки смеются.

Любочка. Похоже.

Пинегин. Слово для доклада предоставляется товарищу Пинегину. (*Поправил воображаемые очки, забубнил*.) Товарищи, я коротенько...

Девушки смеются.

Любочка. Очень похоже.

Пинегин. Имеется предложение: пойти в кафе-мороженое! Кто за? (*Поднял руку*.) Остальные — против? Или воздержались? Ты воздержался, Володечка?

Глебов. Воздержался.

Наташа. А мы — против.

Пинегин. Подчиняюсь большинству! (*Снова позвонил в воображаемый колокольчик*.) Имеется предложение — отвести предыдущее предложение! (*Просто*.) А почему вы против, девушки?

Наташа. Мы уже были сегодня в кафе. Днем. А теперь мы проголодались и хотим пойти в какой-нибудь ресторан.

Пинегин (*хмыкнул*). В ресторан? Так, так! (*Переглянулся с Глебовым*.) А в какой же, деточка, ресторан?

Любочка. В хороший.

Глебов (*с ледяной улыбкой*). Простите, а что вы называете хорошим?

Любочка. Ну, первого разряда ресторан! Чтоб хорошо готовили, чтоб было красиво, чтоб играла музыка.

Пинегин. Ясно! (*Подумав, решительно*.) В Химки, что ли, махнуть?

Глебов (*пожав плечами*). Как угодно.



Наташа. В Химки — далеко.

Глебов. У меня есть машина.

Наташа. Все равно далеко. Мы можем не успеть к семи тридцати обратно.

Пинегин. А зачем вам торопиться к семи тридцати обратно?

Любочка. Затем, что у нас билеты в Большой театр на «Лебединое озеро».

Пинегин (*опешил*). Интересная новость! Кошмар! Караул! Что ж это получается, детки? Нет, нет, это невозможно, это окончательно невозможно! Неужели вы ради какого-то «Лебединого озера» покинете нас в этот летний субботний вечер?

Любочка. А вы не хотели бы пойти вместе с нами?

Пинегин. Как? Где же мы возьмем билеты?

Любочка (*с улыбкой*). У нас есть. Так получилось — и Наташа и я по секрету друг от друга купили на сегодня билеты в Большой...

Пинегин (*просиял*). И у вас их четыре?

Любочка. Да, у нас четыре билета.

И девушки, почти одновременно и одинаковыми движениями, раскрывают свои новые темно-зеленые сумочки и торжественно показывают Глебову и Пинегину билеты в театр.

Пинегин (*в восторге*). Колоссально! Детки, это неслыханно и колоссально! Начинаю себя чувствовать богатым и глупым международным туристом! Классический маршрут «Прима А»! Эсквайр Пинегин и сопровождающие его лица, победив в ресторане «Арагви», посетили затем балет «Лебединое озеро» в Государственном академическом Большом театре Союза ССР, а перед ужином осмотрели величественное здание Московского университета на Ленинских горах...

Любочка (*задумчиво*). «Арагви»?.. А правда, товарищи, а что, если нам пойти в «Арагви»?

Пинегин. Прекраснейшая мысль, Любушка!

Глебов (*тихо, сквозь стиснутые зубы*). Ты сошел с ума! Не хватает только, чтоб завтра по всей Москве пошел звон о том, как Пинегин и Глебов обедали в ресторане «Арагви» с двумя весьма подозрительными девицами!

Пинегин. Не горячись, Володечка!

Наташа. Владимир Васильевич опять воздержался? Или возражает?

Пинегин. Сейчас, детки, сейчас — улаживаем небольшие формальности! Сейчас! (*Глебову, торопливым шепотом*.) Что ты горячишься, чудака?! Ты погляди, что за люди! А время — пять часов. Обеды уже подходят к концу, для ужинов еще рано.

Возьмем отдельный кабинет, как в сберкассе — полная тайна вкладов! Понял?!

Г л е б о в (*помолчал, махнул рукой*). А-а, делай, в общем, как знаешь!

Л ю б о ч к а. Так мы идем в «Арагви», товарищи?

П и н е г и н. Идем, идем. Непременно идем.

Г л е б о в. Ладно. Подождите минутку. Стойте здесь, а я выведу машину из гаража и заберу вас.

Н а т а ш а. Ну, это слишком шикарно! Зачем машина? Здесь и пешком — рукой подать.

Г л е б о в. Не все ли равно? Тогда мне придется потом возвращаться за машиной! Нет уж, погодите, я мигом... (*Быстро уходит.*)

П и н е г и н (*с торжеством поглядел на девушек*). Ну, каков?

Н а т а ш а (*пожав плечами*). Я сказала уже.

П и н е г и н. Что именно?

Н а т а ш а (*медленно, со смешком*). Могло быть и хуже!

#### Перемена

Музыка. Свет. Это высокое небо, это зеленые, желтые, красные огоньки светофоров, тягучая мелодия старой грузинской песни и все та же насмешливая флейта, насвистывающая по временам то суровый походный марш, то озорную уличную песенку.

#### Картина четвертая

Суббота, вечер, восемнадцать часов пятнадцать минут.

Ресторан «Арагви». Отдельный кабинет. Низкое окно, выходящее в глухой каменный двор. Невнятные полинялые фрески на стенах. Старенькое пианино.

Г л е б о в и П и н е г и н с очень злыми и хмурыми лицами сидят за уже накрытым к обеду столом и молча смотрят, как в углу на круглом маленьком столике пожилой О ф и ц и а н т - г р у з и н в очках бесшумно и ловко раскладывает по тарелкам чурек и закуски.

Девушек нет. Только на вешалке висят их прозрачные дождевики — оранжевый и голубой. Из общего зала доносятся голоса, смех, звон посуды, тягучая мелодия старой грузинской песни.

П и н е г и н (*внезапно, словно проснувшись*). Эй, отец, погоди-ка, ты что ж это, нам в самом деле «Юбилейный» коньяк принес?

О ф и ц и а н т. «Юбилейный». Как заказывали.

П и н е г и н. Кто заказывал?

О ф и ц и а н т. Дамы заказывали.

П и н е г и н (*со злостью*). Дамы, дамы! Может, они тут у вас с заказов комиссионные получают, эти дамы, почему я знаю?!

*(Помолчав.)* Слушай, отец, оставь, как говорится, угрозы, принеси ты нам нормальные три звездочки, а этот «Юбилейный» спрячь куда-нибудь подальше! Понял, нет?!

Официант. Нельзя, дорогой товарищ.

Пинегин. Как — нельзя? Почему — нельзя?!

Официант. Открыта уже бутылка, у меня ее буфет не примет теперь! *(Переводя разговор.)* Прошу простить, вам горяченькое сразу нести или обождать?

Пинегин *(после паузы, с жестом отчаяния)*. Давай сразу, давай уже все сразу, отец! И корми и губы — все сразу давай!

Официант *(с неодобрением)*. Веселый гость, а! Я скажу тогда на кухне — пускай готовят горяченькое! *(Уходит.)*

Молчание.

Пинегин *(тревожно поглядел на Глебова)*. Горим, старик! Горим синим светом! У тебя сколько денег с собой?

Глебов. Рублей сто с мелочью.

Пинегин. И у меня столько же. А тут один «Юбилейный» коньячок потянет так, что будь здоров! *(Взволнованно.)* Ну и ну! Попались, как мальчишки, Володечка! Как самые последние щенки и пижоны!

Глебов *(усмехнулся)*. Да-а, втравил ты меня в историю!

Пинегин. Откуда же я мог знать?! Такие, понимаешь, приличные на вид девушки... Почему ты не дал мне ее остановить, когда она заказывать начала?

Глебов. А как бы ты ее остановил? Вырвал бы из рук карточку? *(Неожиданно засмеялся.)* Ладно, не хнычь! Теперь уже поздно хныкать! А если мы и вправду не обойдемся — сбегаешь в общий зал, поищешь знакомых, перехватишь у кого-нибудь сотню, тебе не впервой! Ну, в крайнем случае оставим документы до понедельника. Уж как-нибудь нам поверят! *(Взглянул на Пинегина и снова засмеялся.)* Вот, Коля, теперь будешь знать, как знакомиться с девушками у гостиницы «Метрополь»!

Пинегин. Красивенькая история! *(Встал, прошелся по кабинету, остановился.)* И девиц что-то нет! Сбежали?!

Глебов. А плащи?

Пинегин. Плащи — тьфу, плащам — три копейки цена! Я тебе расскажу, как в Архангельске Борька Малышев — ну, этот, из «Огонька» — попал в переплет с одной...

Отворяется дверь, и входят Любочка и Наташа, они привели себя в порядок, причесались, чуть подкрасили губы и как-то сразу и притом необычно, похорошели. У них весело и возбужденно блестят глаза, и даже походка стала какой-то другой — быстрой, легкой, словно танцующей.

Любочка. Вот и мы! Заждались?

Глебов. Заждались.

Любочка. Знаете, отчего мы так долго? Мы не в тот кабинет попали! Вошли, а там какая-то большая и шумная компания. Мы напугались и бежать, а они за нами: «Куда же вы, девушки, заходите, милости просим!..»

Пинегин. И конечно, уговорили?

Наташа (*поглядела на Пинегина, проговорила медленно и лениво*). Нет, не уговорили! Вам, Николай Сергеевич, это, возможно, покажется странным, но поверьте, что нас не так уж легко уговорить! (*Обернулась к Глебову*.) Почему вы такие сердитые, товарищи? Что-нибудь случилось?

Глебов (*пытаясь быть любезным*). Ничего не случилось — мы ждем вас.

Любочка (*весело*). А мы пришли! (*Поправила волосы*.) Знаете, товарищи, это, наверное, ужасно неприлично, но я смертельно хочу есть!

Пинегин (*чуть оживившись*). За чем же дело стало?! «К буфету, черный кучер!»

Глебов (*пододвинул стул*). Прошу вас, Наташа.

Наташа (*сердито*). Спасибо.

Любочка (*устраиваясь рядом с Пинегиным*). Нет, что ни говорите, а мне нравится здесь, в «Арагви»! Здесь интересно. А тебе, Наташка, нравится?

Наташа. Нравится.

Глебов. Неужели вы ни разу не бывали прежде в «Арагви»?

Наташа. Нет.

Любочка. Ни разу. Как-то так получилось. В «Национале» мы бывали — помнишь, Наташка? — потом в «Метрополе», в «Праге», в «Пекине», а вот в «Арагви» — ни разу.

Пинегин (*со смешком*). И тем не менее, Любушка-голубушка, вы весьма ловко справились с заказом, весьма ловко!

Любочка (*очень довольная*). А я по особому способу заказывала. Знаете как? Я на левую сторону меню, где названия, даже и не смотрела — я там все равно ничего бы не поняла! Я смотрела только на правую сторону, где цены, — и выбирала все, что подороже.

Глебов (*переглянулся с Пинегиным*). Отличнейший способ, Любочка! Надо будет непременно его запомнить! (*Вытащил из кармана пачку сигарет*.) Надеюсь, дамы не станут возражать, если я закурю?

Пинегин. Станут возражать. И я стану возражать. Все голодные, все устали, все хотят есть, пить, наслаждаться жизнью, смотреть друг на друга, а ты начинаешь нам тут дымовые завесы устраивать! Потерпи, Володечка! Понял, нет?!

Г л е б о в. Понял.

П и н е г и н (*потянулся к бутылке с коньяком*). Итак, начнем, благословясь.

Н а т а ш а. Мне полрюмки.

Л ю б о ч к а. И мне тоже. А то я буду совсем пьяная...

П и н е г и н. И прекрасно!

Л ю б о ч к а. Ничего не прекрасно. Когда я пьяная, я очень скучная! (*Оглядела стол, спросила громким шепотом.*) Николай Сергеевич, скажите, а где же здесь то, что заказали вы, с таким интересным названием — лоби?

Г л е б о в (*передав тарелку с лоби*). Вот, пожалуйста.

Л ю б о ч к а (*разочарованно*). Это и есть лоби?! Простая фасоль! Ой, а я-то думала!

П и н е г и н. Детки, детки, дисциплина, разговорчики в строю! (*Постучал ножом по краю тарелки.*) Ну-с, дорогие мои, так за что же мы выпьем первую?

Г л е б о в. Первую рюмку, если я правильно помню, полагается пить за здоровье прекрасных дам.

П и н е г и н. Это в Гонолулу! Там они, брат, еще дикари, отсталая культура, а у нас двадцатый век, цивилизация! Мы должны придумать что-нибудь похитрей! За что же мы выпьем, девушки?

Л ю б о ч к а. За что угодно. Мне все равно.

Н а т а ш а. Давайте выпьем за сегодняшний день.

П и н е г и н. За сегодняшний день?! (*Восхитился.*) Умница! Золотая умница! Володя, дорогой, ты заметил, какая у нас Наташенька золотая умница?

Г л е б о в. Заметил.

Быстро с подносом в руках входит О ф и ц и а н т.

О ф и ц и а н т. Цыплятки табака, пожалуйста! Прикажете обслужить?

П и н е г и н (*присвистнул*). Обслужи и — фью!

О ф и ц и а н т (*орудуя с тарелками и приборами*). Понимаю, дорогой товарищ! Больше пока ничего не потребуется?

П и н е г и н. Что-нибудь из денег, отец!

О ф и ц и а н т. Веселый гость, а! (*Уходит.*)

П и н е г и н (*поднял рюмку*). Итак, пьем, детки, за сегодняшний день... Умница, Наташа! Пьем за сегодняшний день, за счастливые встречи и легкие расставания, за вас, дорогих и любимых — Наташеньку, Володеньку, Любочку, Колечку, ура!

Все чокаются, глядя друг другу в глаза, пьют.

Л ю б о ч к а (*зажмурилась*). Ой-ей-ей, до чего ж крепкий!

П и н е г и н. «Юбилейный»! Ешьте, друзья, закусывайте и

давайте сюда ваши рюмки — между первым и вторым тостом перерывов делать не полагается!

Н а т а ш а. Нет, спасибо, я больше пить не буду.

Л ю б о ч к а. И я тоже.

П и н е г и н. Почему?

Н а т а ш а. Нам достаточно.

Л ю б о ч к а (*приветливо*). А вы пейте, пейте, вы нас не стесняйтесь. Ведь вам, наверно, ничего?

П и н е г и н. Нам ничего! Как, Володечка? Нам с тобой — ничего?

Г л е б о в. Мне нельзя, я за рулем. У меня уж и так голова кружится.

П и н е г и н. Захмелел с одной рюмки?

Г л е б о в (*грубо*). Не болтай!

Молчание.

П и н е г и н. Ну, как хотите, а я выпью. И вот вторую рюмку я действительно выпью за здоровье наших прекрасных дам! (*Поднял рюмку*). За вас, детки!

Л ю б о ч к а. Спасибо.

Молчание.

Г л е б о в (*неожиданно*). А теперь и я хотел бы внести предложение — не познакомиться ли нам наконец? (*С насмешливым полупоклоном*.) Меня зовут Владимир Васильевич Глебов!

Н а т а ш а. А меня зовут Наташа.

Л ю б о ч к а. Меня — Люба.

П и н е г и н (*подхватил игру*). А меня — дядя Коля. Первый пункт анкеты заполнен. Дальше, извиняюсь за выражение, пол, ну, тут все ясно — женский, женский, мужской, мужской. Сомнений, надеюсь, нет. Дальше — возраст... Хотя, погодите-ка, возраст я определю сам! (*Торжественно*.) Протяните мне, Любушка, вашу прелестную ручку!

Л ю б о ч к а. Какую?

П и н е г и н. Левую, конечно. Левую, которая ближе к сердцу.

Л ю б о ч к а (*с интересом*). Пожалуйста.

П и н е г и н (*разглядывая Любочкину руку*). А это что ж за шрам?

Л ю б о ч к а (*почему-то смугилась*). Так. Порезала.

Г л е б о в (*сдвинул брови*). Вот, вот, вот! Почему так нелепо устроено, почему всякая беда, самая малая, самая ничтожная, самая глупая, непременно оставляет следы: шрамы, ожоги, морщины, седые волосы! И почему же счастье, даже самое большое, не оставляет следов?

Н а т а ш а (*осторожно и легко полджила руку на руку Глебо-*

ва). Зачем вы так говорите, Владимир Васильевич? Вы же так не думаете и...

Г л е б о в (*перебил*). Милая вы девушка, Наташа, что вы понимаете, черт побери?! Почему вы думаете, что я так не думаю? (*Потер рукой лоб.*) И что вы вообще можете знать о том, чего я хочу, что думаю, о чем мечтаю?!

Н а т а ш а (*после паузы*). У вас очень сильно кружится голова?

Г л е б о в. Нет.

Л ю б о ч к а. Так сколько же мне лет, дядя Коля?

П и н е г и н. Сейчас, сейчас: у вас, Любушка, какая-то невероятно запутанная линия жизни. (*Наобум.*) Двадцать два!

Л ю б о ч к а. Нет.

П и н е г и н. Двадцать три.

Л ю б о ч к а. Нет.

П и н е г и н. Двадцать один.

Л ю б о ч к а. Не мучайтесь, Николай Сергеевич, Наташа родилась в тридцать третьем году, а я — в тридцать четвертом. Сумеете сосчитать, сколько это выходит?

П и н е г и н. Все ясно! Вам, Любушка, двадцать пять, а Наташеньке двадцать шесть...

Г л е б о в. Чудеса кибернетики! Ты, милый мой, отлично мог бы выступать в цирке с мировым аттракционом — «Человек — счетная машина»! Наташе не двадцать шесть, а двадцать пять...

Л ю б о ч к а. А мне не двадцать пять, а двадцать четыре! И довольно, Николай Сергеевич, отдайте мне мою руку!

П и н е г и н. Ну, Любушка!

Л ю б о ч к а. Я хочу есть.

П и н е г и н. Тогда подчиняюсь.

Г л е б о в (*снова вытащил из кармана пачку сигарет*). Еще раз прошу у дам разрешения закурить.

Н а т а ш а. Пожалуйста. Пожалуйста, курите, Владимир Васильевич. Угостите, кстати, и меня тоже.

Г л е б о в (*удивленно*). Вы курите?

Н а т а ш а. Иногда. Несколько лет назад мы с Любочкой работали в одном таком весьма малоприятном месте, где очень трудно было не закурить.

Г л е б о в (*прогянул Наташе сигареты*). Прошу! (*Щелкнул зажигалкой, дал прикурить Наташе, закурил сам.*) А где вы работали, Наташа? В каком таком малоприятном месте? Чем вы занимаетесь в жизни? Что делаете?

Н а т а ш а. Обедаем.

Л ю б о ч к а. В ресторане «Арагви».

Н а т а ш а. С Владимиром Васильевичем Глебовым и Николаем Сергеевичем Пинегиным.

Г л е б о в (*упрямо*). Чем вы занимаетесь? Я спрашиваю серьезно.

Н а т а ш а (*с уже знакомой ленцой*). А если мне не хочется говорить серьезно, Владимир Васильевич? Для серьезных разговоров будет другой час и другое место. А сейчас мне хочется веселиться.

Л ю б о ч к а. Жаль, что музыки здесь почти не слышно, правда?

П и н е г и н (*вскочил*). Музыки?! Музыка будет! Я же, деточки, вам сказал: Коля Пинегин расшибется в лепешку, но Коля Пинегин сделает для вас решительно все! Поняли, нет?! Сейчас будет музыка! (*Подбегает к пианино, сел, поднял крышку, не без щегольства проиграл несколько бурных и стремительных пассажей.*)

Л ю б о ч к а (*захлопала в ладоши*). Ах, как здорово!

П и н е г и н (*поет*).

В именье своем великолепном  
Жил Лев Николаевич Толстой,  
Не ел ничего он мясного,  
Ходил он по саду босой...

Л ю б о ч к а. Я знаю, знаю эту песню — очень смешная! Спойте!

Н а т а ш а (*резко*). А я ее не люблю!

П и н е г и н. Почему? Забавная же песня, Наташенька! Пародийная, так сказать! Или у вас с нею связаны какие-нибудь особенные воспоминания?

Н а т а ш а. Особенные? Нет! (*Покачала головой.*) Просто мне представляется настоящая Ясная Поляна, понимаете? Ну, та, где могила Толстого, дом, библиотека, каретный сарай, и... и мне почему-то становится стыдно, когда я слышу, как поют эту песню! Спойте лучше другое что-нибудь, ладно?

П и н е г и н. Слушаю и повинуюсь!

Л ю б о ч к а (*сердито*). Ты назло мне. Нарочно.

Г л е б о в (*кивнул Наташе*). Молодчина!

Н а т а ш а (*удивленно*). Что вы, Владимир Васильевич?!

П и н е г и н (*подумав, берет несколько громких аккордов и снова начинает петь*).

Подари на прощанье мне билет  
На поезд куда-нибудь!  
А мне все равно, куда он пойдет,



Лишь бы отправиться в путь!  
Ах, мне все равно, куда он пойдет,  
Лишь бы отправиться в путь!

Г л е б о в (*сбоку, чуть наклонив голову, внимательно разглядывает Наташу*). Странная вы девушка, Наташа!

Н а т а ш а. Чем же, Владимир Васильевич? Самая обыкновенная, поверьте!

Г л е б о в. Может быть. Может быть, тем и странная, что самая обыкновенная!

П и н е г и н (*поет*).

Ты скажи на прощанье, как всегда,  
Мне несколько милых фраз.  
А мне все равно, о чем и зачем,  
Лишь бы в последний раз!  
Да, мне все равно, о чем и зачем,  
Лишь бы в последний раз!..

Н а т а ш а (*Глебову, тихо*). А вот вас я и вправду представляла себе совсем-совсем другим... Я думала, что вы старый...

Г л е б о в. А разве я молодой?

Н а т а ш а. Молодой.

Г л е б о в (*усмехнулся*). Это забавно! Не далее как сегодня утром меня убеждали в том, что я старик.

П и н е г и н (*поет*).

Мне б не помнить ни губ твоих, ни рук,  
Не знать твоего лица...  
А мне все равно — что север, что юг,  
Ведь этому нет конца!  
Ах, мне все равно — что север, что юг,  
Ведь этому нет конца!..

Молчание.

Л ю б о ч к а. Хорошая песня. Грустная.

П и н е г и н. Пробирает?

Л ю б о ч к а. Я люблю, когда поют грустное.

П и н е г и н (*хвастливо и шумно*). То-то! Собственного сочинения, деточка, песня! Может, значит, еще старик Пинегин, а? Не высох порох в пороховницах? Жжем глаголом сердца людей!

Г л е б о в. Ну что ты все врешь да хвастаешь! И вовсе это не твоя песня. Мелодию ты украл, первые строчки украл...

Пинегин. Не украл, Володечка, а позаимствовал и творчески переработал! Понял, нет?! Не умеешь ты, старина, выражаться дипломатически. Сразу видно, что ты не в международном отделе работаешь, а во «внутренней жизни»! *(Девушкам.)* А теперь, деточки, я вам исполню...

Любочка. Николай Сергеевич, миленький, вы извините, но вы знаете который час? Уже без четверти семь, нам пора. Надо ведь еще билеты поменять, чтобы сидеть всем вместе... Будем собираться, хорошо? Пора!

Пинегин *(бросил выразительный взгляд на Глебова)*. Пора? Что ж, пора так пора! Пришла пора — она влюбилась! *(Встал, приотворил дверь в коридор, позвал.)* Эй, отец!

На пороге кабинета мгновенно появляется Официант.

Официант. Что прикажете?

Пинегин *(со вздохом)*. Счет готовь. Опись убытков, как говорится!

Официант *(вытащил из нагрудного кармашка густо испи-санный листок)*. А счетик у меня готов уже для вас! Прошу!

Пинегин *(проглядел счет, хмыкнул)*. Так-с! Выразительно! Все ты нам припомнил, отец! А вот о боге ты забыл! Забыл ты, отец, о боге!

Глебов *(с беспокойством)*. Что там?

Пинегин. На, полюбопытствуй! *(Официанту.)* Ты погоди немножко, отец, погуляй пока, а мы тут сейчас...

Наташа *(громко)*. Будьте добры, Владимир Васильевич, покажите мне счет!

Глебов. А зачем, Наташа? Вы не беспокойтесь, мы все уладим и...

Наташа *(настойчиво)*. Дайте мне счет, Владимир Васильевич! Ну, я вас очень прошу — покажите мне счет!

Глебов *(от растерянности все еще ничего не понимая)*. Пожалуйста.

Наташа *(бегло просмотрела счет)*. Здесь все правильно?

Официант. Все, гражданочка, копейка в копейку! Мы лично ошибок не делаем! Нам лично они ни к чему! Все копейка в копейку!

Глебов *(тихо)*. Что происходит?

Наташа *(Официанту)*. Хорошо, товарищ! *(Кивнула Любочке.)* Любаша!

И девушки, о чем-то коротко пошептавшись, опять одинаковым движением раскрывают свои темно-зеленые сумочки, достают деньги и рас-плачиваются с официантом.

Любочка *(важно)*. Получите, товарищ!

Глебов *(резко)*. Что происходит?

Официант. Душевно благодарю, душевно благодарю, милости просим, заживайте... *(Быстро уходит.)*

Глебов. Что происходит, я спрашиваю?

Наташа *(пытаясь его успокоить)*. Ну, Владимир Васильевич...

Глебов *(усмехнулся)*. Да за кого же вы нас, черт вас побери, принимаете?! За подонков? За шпану?! За мальчишек, которых вы подобрали на улице?! Что с вами? Кто дал вам право, милые вы мои, так оскорблять нас?..

Наташа *(смущенно)*. Ну не сердитесь, Владимир Васильевич... Ну, пожалуйста... Почему вы сердитесь?

Глебов. А вы не понимаете?

Наташа. Нет. Ведь не вы же пригласили нас в «Арагви», ведь правда? Вы звали нас в кафе-мороженое, а пойти в «Арагви» придумали мы. И обед мы заказывали...

Любочка. Самые дорогие блюда выбирали!

Наташа. Что же тут такого? Вы считали бы вполне естественным заплатить, а почему же не можем заплатить мы? Почему это кажется вам обидным и оскорбительным? Не понимаю.

Глебов *(сдерживая себя)*. Очень жаль, что не понимаете! Объяснить этого, увы, нельзя — это можно только понять! *(Живнул на счет, который держит Наташа.)* Сколько там было всего?

Наташа *(протянула Глебову счет)*. Здесь записано.

Глебов *(вытащил из кармана деньги, положил на стол)*. Отлично! Вот, прошу, тут моя доля!

Любочка *(у нее задрожали губы)*. Владимир Васильевич!

Глебов. Ну, а засим, как принято говорить, спасибо за компанию, разрешите откланяться!

Любочка *(едва не плачет)*. Владимир Васильевич!

Пинегин *(после того как выяснилось, что платить по счету не нужно, он снова необычайно оживился)*. Нет, нет, нет, старик, дорогой, так не годится! Что значит — разрешите откланяться? Почему — разрешите откланяться?! Так не годится! Не разрешаем откланяться! А Большой театр? А Московский университет?

Наташа *(строго)*. Погодите, Николай Сергеевич. У Владимира Васильевича есть, вероятно, дела! *(Взглянула на Глебова.)* Вам действительно необходимо идти, Владимир Васильевич?

Глебов *(усмехнулся)*. Какой знакомый вопрос! *(После долгой паузы, сухо и сдержанно.)* В котором часу начинается «Лебединое»?

Любочка. В семь тридцать.

Глебов. Тогда нам, очевидно, пора?

Пинегин *(во весь голос)*. Старик, дорогой, виват, дай я тебя поцелую! Ты человек, старик! *(Бросился к вешалке, подал девушкам их дождевики.)* В путь, дети мои, в путь, вперед! Путешествие продолжается! Эсквайр Пинегин и сопровождающие его лица, отобедав в ресторане «Арагви», направляются в Государственный академический Большой театр Союза ССР на балет «Лебединое озеро», музыка П. И. Чайковского! В путь, детки мои, вперед, путешествие продолжается! Поняли, нет?!

Занавес

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ВСТУПЛЕНИЕ

Наступил вечер.

Еще горит отблеск заката в окнах верхних этажей домов и на шпилях высотных зданий, а внизу, на улицах, уже засияли вечерние огни, осветились витрины магазинов, побежали рекламы над подъездами кинотеатров, вспыхнула цепочка фонарей вдоль набережных Москвы-реки — и невольно начинает казаться, что город за каких-нибудь полчаса стал словно красивей и чище, деревья зеленее, улицы просторнее, прохожие нарядней и веселее.

Отчего это происходит?

Может быть, оттого, что уже мчатся по улицам города парочки друг другу навстречу; и толпятся влюбленные у выходов из метро, у памятников и у Центрального телеграфа; и прохожие бойко раскупают у лукавых и нахальных молдаванок — неведомо откуда взявшихся, днем их почти никогда не видно — махровые гвоздики, розы и первые астры — предвестники близкой осени?

А может быть, это происходит оттого, что уже спешат к вокзалам шумные компании с рюкзаками, гитарами и рыболовными доспехами и с азартом штурмуют вагоны дачных электропоездов; и стекаются зрители к ярко освещенным подъездам театров и кино; и заиграла музыка в парках, и, услыша эту музыку, люди не могут не подчиняться ее волшебной власти — чеканному ритму и плавному кружению вальсов?

Начинается летний субботний вечер — пора заслуженного отдыха, чаепитий на дачных верандах, прогулок по театральным фойе, неторопливых дружеских бесед, быстрого любовного лепета, треньканья гитар, песен, веселья.

Но только ли одного веселья? Не подводится ли в эти вечерние часы некий итог всему, что сделано, и может ли каждый положить руку на сердце твердо сказать, что день этот был им прожит, как должно, как следовало его прожить, как хотелось его прожить?

Давайте посмотрим — я продолжаю рассказ.

## Картина первая

Суббота, вечер, двадцать один час.

Большой театр. Ложа бенуара. Только что начался антракт между вторым и третьим действиями балета «Лебединое озеро», мужчины ушли в фойе — покурить, и де ву ш к и одни. Они сидят, опершись локтями на бархатный барьер ложи, грызут карамельки и с детским любопытством разглядывают публику в зрительном зале.

Л ю б о ч к а (*весело*). Наташа, знаешь, та кривляка, в первом ряду, которая с лорнетом, — она сейчас посмотрела на меня, а я ей язык показала!

Н а т а ш а. Она пожалуется билетеру, и тебя выведут.

Л ю б о ч к а. Не выведут! (*Тряхнула головой, рассмеялась.*) Нет, по-моему, все получилось необыкновенно удачно — и знакомство, и обед, и театр. И с билетами все тоже здорово вышло. И как хорошо, что Владимир Васильевич поехал с нами... Он интересный, верно?

Н а т а ш а (*равнодушно*). Интересный.

Л ю б о ч к а. Он очень интересный, очень! Я даже могла бы влюбиться в него, честное слово!

Н а т а ш а. Только этого не хватало! Ты шутишь, надеюсь?

Л ю б о ч к а. Нет.

Н а т а ш а. Только этого не хватало! (*Сердито посмотрела на Любочку.*) Если ты не шутишь, то мы сейчас же, немедленно отсюда уйдем!

Л ю б о ч к а. Почему? А «Лебединое озеро»? Нет уж, как хочешь, а я досмотрю до конца! (*Передернула плечами.*) Чего ты раскипятилась? Что я такого сказала? А ты сама не могла бы в него влюбиться?

Н а т а ш а (*честно*). Могла бы. Но не влюблюсь. Не имею права. И ты не имеешь права.

Л ю б о ч к а (*поддразнивая*). Ну немножко-то можно. Чуть-чуть. На один сегодняшний вечер.

Н а т а ш а. И на один вечер нельзя.

Л ю б о ч к а. Глупости.

Н а т а ш а (*обняла Любочку, певуче проговорила*). Любаша ты Любаша, дорогая ты моя подружка! Если б ты знала, как мне за тебя боязно!

Л ю б о ч к а. А за себя тебе не боязно?

Н а т а ш а (*сурово*). Нет. Я сильнее тебя. Я умею, если нужно, быть грубой. Я не боюсь остаться одна. Я не жду праздников. И не хочу праздников. А ты девчонка! Ты, как в детстве, все выгляди-ваешь в окошко — не спешит ли за тобой фея-крестная в золоченой карете, в которой ты поедешь к принцу на бал! (*Помолчав.*)

Может быть, все будет хорошо. Даже наверное будет хорошо. Обязательно будет хорошо. Должно быть хорошо!.. Но полагаться на это нельзя!

Л ю б о ч к а. Мы ведь решили, Наташа, что сегодня говорить об этом не будем.

Н а т а ш а. Прости.

Л ю б о ч к а (*после паузы*). А как ты думаешь — они догадываются?

Н а т а ш а. Вряд ли.

Л ю б о ч к а (*снова развеселившись*). Здорово! Слушай, ты раньше когда-нибудь в ложе бенуара сидела?

Н а т а ш а. Нет.

Л ю б о ч к а. Нам сегодня определенно везет! (*Смешно наморщила нос.*) Из партера, конечно, смотреть удобнее, но очень уж красиво звучит — ложа бенуара! Вроде как мы по-французски разговариваем! (*Тонем манерной светской беседы.*) «Скажите, Любовь Васильевна, где вы были в прошлую субботу?» — «В прошлую субботу мы были в Большом театре на балете «Лебединое озеро» и сидели в ложе бенуара...»

Н а т а ш а (*засмеялась*). Дурочка!..

Сзади отворяется дверь, и в ложу входят Г л е б о в и П и н е г и н. В руках у них по коробке конфет и по огромному букету цветов.

Л ю б о ч к а. Покурили? (*Заметила цветы.*) Ой, а это откуда?

Г л е б о в. Это вам, Наташа.

Н а т а ш а. Спасибо.

П и н е г и н. И вам, Любочка.

Л ю б о ч к а. Астры! Смотри, Наташка, первые астры! Неужели осень уже скоро?

Г л е б о в. Август, ничего не поделаешь!

Л ю б о ч к а. И гвоздики! (*Уткнулась носом в цветы.*) Гвоздики, мои любимые! И как пахнут! Где вы достали такую прелесть?

П и н е г и н (*шумно*). Достали, детки, достали! Для таких людей и цветов не достать?! По особому заказу достали! Крикнули клич, и все лучшие цветочники города Москвы сбежались под колоннаду Большого театра...

Н а т а ш а. Тогда еще раз — спасибо.

Г л е б о в. А теперь за что?

Н а т а ш а. Ну, хотя бы за то, что вы умеете вовремя кликнуть клич!

Г л е б о в (*хмуро*). Мы уже знаем о том, что вы умная. А глупой вы бываете когда-нибудь?

Н а т а ш а. Часто. И даже — главным образом. Преимущественно! Неужели вы, Владимир Васильевич, такой знаменитый журналист, до сих пор еще не успели это заметить?

Г л е б о в (*усмехнулся*). Я уже давным-давно не знаменитый журналист. И не был, кстати, им никогда. Просто — мне везло. Сидел я после фронта в отделе писем, томился, скучал, а тут вдруг Вадим Соколов, который должен был ехать с полярной экспедицией Бабочкина, в самую последнюю минуту по каким-то семейным обстоятельствам вынужден был остаться, меня за час буквально оформили — и я поехал вместо него! И все в этом роде! Например, спасатели искали Лужина на трассе, а я, как мальчишка, сбился с пути, попал в пургу, сам чуть не погиб и случайно, просто совершенно случайно, наткнулся на лужинский самолет!..

П и н е г и н (*подмигнул девушкам*). И совершенно случайно получил орден! Поняли, нет?!

Г л е б о в. Не остри! (*Задумчиво*.) Или возьмите историю, как я попал на Гавайи!.. Послали меня в поездку — писать о людях одного нашего танкера. Рейс был далекий, но очень простой, сто тысяч раз хоженный! Так надо ж было нам врезаться в какой-то невероятнейший для тех широт шторм, едва не пойти на дно и затем недели две с лишним отстаиваться в Гонолулу — чиниться и приводить себя в порядок!

Н а т а ш а (*удивленно*). Так это правда, что вы были в Гонолулу?

Г л е б о в. Был! (*С улыбкой*.) А вы не верили? Вот почему вы интересовались гавайской рубашкой!

Н а т а ш а. Нет, нет, совсем не поэтому.

Г л е б о в. А почему?

П и н е г и н. Верьте, деточки, дяде Коле Пинегину! Каждое слово, которое произносит дядя Коля Пинегин, может быть, как скрижали и заповеди, высечено на мраморе! Каждое слово — вот Володечка не даст мне соврать! (*Придвинулся вместе со стулом поближе к Любочке*.) Ну-с, хорошо, дорогие мои, все это прекрасно и восхитительно, но поскольку руководство сегодняшним вечером возложено на меня, а руководить — это значит предвидеть, то я и хотел бы знать — что будет потом?

Л ю б о ч к а. Сейчас будет третье действие балета «Лебединое озеро»...

П и н е г и н. Музыка Чайковского! А потом?

Л ю б о ч к а. А потом будет четвертое действие.

П и н е г и н (*в ужасе*). Как?! Еще и четвертое?!

Л ю б о ч к а. Непременно.

П и н е г и н. Ты слышишь, Володечка?! А я-то, наивный человек, жил хрупкой надеждой, что действий всего три! Четыре, Любочка? Это точно?

Л ю б о ч к а. Точно.

П и н е г и н (*с тяжелым вздохом*). Да-а, вот уж, как говорится, плясали не гуляли! (*После паузы.*) Ну хорошо, а потом? Что будет после четвертого действия?

Л ю б о ч к а. Конец.

П и н е г и н. Вздор! Кончится спектакль, умрет злой волшебник, разгримируются феи, разойдутся зрители, но мы-то с вами останемся! Что же мы с вами будем делать потом?

Л ю б о ч к а. Поедем на Ленинские горы — осматривать Московский университет.

П и н е г и н. Куда? Ты слышишь, Володечка?

Н а т а ш а. Все по плану, Николай Сергеевич. Вы сами его наметили — сначала «Арагви», потом «Лебединое озеро», потом Московский университет...

П и н е г и н. Наташенька, душенька, но нельзя же так...

Н а т а ш а. Почему — нельзя? Все шло до сих пор отлично. Все сбывалось. (*Обернулась к Глебову.*) Владимир Васильевич, вы поедете с нами на Ленинские горы?

Г л е б о в. Поеду.

П и н е г и н. Так гибнут лучшие люди! (*Махнул рукой.*) Ладно, подчиняюсь большинству, едем — позадираем головы возле университета... А потом?

Н а т а ш а. А вы внесите какое-нибудь предложение, Николай Сергеевич, мы обсудим.

П и н е г и н (*небрежно*). Я думаю так: а почему бы нам, детки, не махнуть в гости к Володечке, в его новую квартиру на Боровском шоссе, и не выпить у него по чашке кофе?

Н а т а ш а. Вряд ли это удобно. Будет уже поздно и...

П и н е г и н. Поздно?! Кто сказал — поздно?! Посидим у Володечки в культурной обстановке, выпьем по чашечке кофе, послушаем Ива Монтана, посмотрим фотографии, поболтаем! (*Хлопнул Глебова по плечу.*) Что ж ты молчишь, старик? Я за тебя стараюсь, из кожи вон лезу, а ты молчишь! Приглашай гостей, Володечка, вымолви слово!

Г л е б о в. Я ждал, пока иссякнет поток твоего красноречия.

П и н е г и н. В таком случае ты ждал напрасно! Поток моего красноречия иссякнуть не может!

В зале медленно гаснет свет.

Л ю б о ч к а (*усаживаясь поудобнее*). Начинается. Сейчас будем плакать. Всегда плачу во время третьего действия.

Г л е б о в. Приготовить запасной платок?

Л ю б о ч к а. Я буду плакать в цветы.

Н а т а ш а (*Глебову, тихо*). А вы тоже хотите, Владимир



Васильевич, чтобы после Ленинских гор мы поехали к вам выпить по чашечке кофе?

Г л е б о в (*уклончиво*). Я буду очень рад, Наташа, видеть вас у себя в гостях.

Н а т а ш а. Это удобно?

Г л е б о в. Вполне.

Л ю б о ч к а. Тише, тише, товарищи,— начинается!

Вспыхивает таинственный свет рампы, вступает оркестр.

Н а т а ш а (*медленно, шепотом*). Хорошо, Владимир Васильевич. Мы согласны, мы поедem к вам выпить по чашечке кофе.

Г л е б о в (*прищурившись, взглянул на Наташу*). Вы смелая!

Н а т а ш а (*удивленно*). Смелая? Почему? Я верю вам. И потом, мне ужасно хочется поглядеть и понять, как вы живете.

Л ю б о ч к а (*сердито*). Тише, тише, товарищи,— начали!..

П е р е м е н а

Музыка. Свет. Это пролетающие мимо окон машины, гирлянды фонарей вдоль набережных Москвы-реки, это прожектор, прочертивший ночное небо, негромкий разговор под гитару и насмешливая флейточка, которая, неожиданно загрузив, принялась насвистывать какой-то немудреный вальс.

### Картина вторая

В пути незаметно кончилась суббота и началось воскресенье.

Воскресенье, третье августа, ноль часов сорок минут.

Набережная на Ленинских горах, напротив Московского государственного университета. Гранитные перила над обрывистым берегом Москвы-реки. Чуть в стороне — стеклянная будка телефона-автомата с настезь раскрытой дверью.

Уже по-ночному пустынно и тихо. Н а т а ш а, Л ю б о ч к а, Г л е б о в и П и н е г и н стоят, облокотившись на перила, смотрят вниз — на огни Москвы.

Л ю б о ч к а (*поежилась*). А ночь-то прохладная.

Г л е б о в. Август, август, переменчивая пора, лето поворачивает на осень.

П и н е г и н. Ну, до осени еще далеко.

Н а т а ш а. Как кому.

П и н е г и н (*с внезапной обидой*). Это кого же вы, деточка, имеете в виду? Меня?

Н а т а ш а. Нет, нет, Николай Сергеевич, нет. Я имела в виду самое нехитрое соображение — у нас еще лето, а в иных краях уже осень и даже зима. Только и всего!..

Молчание.

Г л е б о в (*негромко*). Есть что-то странно-тревожное в ночных огнях города, правда? Вон — осветилось окно, а вот — еще и еще... Чужое освещенное окно! Мне с детства всегда хотелось узнать: а кто там живет, за этим чужим освещенным окном? Может быть, там живут твои будущие друзья, может быть — враги, может быть — любовь... Вы где живете, Наташа?

Н а т а ш а. На Метростроевской улице. Ее отсюда, пожалуй, не видно. Хотя не знаю... Возможно, что те огни — Метростроевская!

Г л е б о в. Возможно. А вы, Любочка?

Л ю б о ч к а (*хмуро*). Я живу далеко. От Автозавода еще две остановки троллейбусом. Так что отсюда, Владимир Васильевич, никто и никогда не увидит, как светится мое окно.

П и н е г и н. Детки мои, лирика лирикой, но кофе пить к Володечке мы, наконец, поедем? Время позднее, машину мы поставили, где нельзя...

Г л е б о в. Не ври. Машину мы поставили, где можно.

П и н е г и н. Я хочу кофе!

Г л е б о в. Вот надоел!

П и н е г и н. Я хочу кофе. И я требую слова. Не могу молчать. Поняли? Желая высказаться — точка!

Н а т а ш а. Мы слушаем вас, Николай Сергеевич.

П и н е г и н. Я не понимаю, во-первых, почему, если мы приехали осматривать Университет, мы все время стоим к нему спиной? Невежливо и нелогично! Но это еще полбеды! Я не понимаю, во-вторых, зачем мы болтаемся здесь на ветру, рискуя получить насморк, вместо того чтобы ехать к Володечке в культурную обстановку и пользоваться всеми благами цивилизации — ванной, газом, теплоцентралью...

Г л е б о в (*потер рукой лоб*). Ох, милый мой, до чего же ты надоел!

П и н е г и н. Я хочу кофе.

Молчание. Пинегин с обиженным видом засунул руки в карманы и принялся насвистывать какой-то немудреный вальс.

Л ю б о ч к а (*покосилась на Пинегина, вздохнула*). А верно, поздно уже.

П и н е г и н (*встрепенувшись*). Ну конечно, поздно! Конечно, Любушка-голубушка, поздно!! Поедем, товарищи, а?

Л ю б о ч к а (*негромко*). Поедем, Наташа?

Н а т а ш а. Мы обещали.

Л ю б о ч к а (*подумав*). Хорошо. Но только сперва я должна позвонить маме, а то она будет беспокоиться.

П и н е г и н. А вот — автомат. Пятнадцать копеек есть?

Л ю б о ч к а. Есть, спасибо.

Любочка заходит в будку телефона-автомата и, не закрывая двери, снимает трубку, набирает номер.

Г л е б о в. А о вас, Наташа, никто беспокоиться не будет?  
Н а т а ш а. Нет, я живу одна.

Г л е б о в. А ваши родные?

Н а т а ш а (*сухо*). Я одна. Мои родные умерли еще в войну. Была тетка, но она года три назад вышла замуж и уехала с мужем в Казань. Обо мне беспокоиться, к счастью, некому.

Г л е б о в. Почему — к счастью?

П и н е г и н (*со смешком*). Почему? Не тебе, старик, об этом спрашивать, не тебе!

Г л е б о в. Не понимаю.

П и н е г и н (*подмигнул*).

Они меня истерзали  
И сделали смерти бледней...

Г л е б о в (*медленно, с холодной злостью*). Ты очень хочешь, как я погляжу, чтобы сегодняшним вечером закончилось наше знакомство!

Л ю б о ч к а (*в телефон*). Мама? Ой, мамочка, милая, ты извини, что я так поздно! Я разбудила тебя? Ждешь? А мы с Наташей гуляем... Просто — гуляем. Мамочка, ты не сердись, но мы очень далеко, и я, наверное, останусь у нее ночевать. У Наташи. Утром буду.

П и н е г и н (*в полном восторге толкнул Глебова локтем в бок*). Что я тебе говорил, старик?! Настоящие люди! Настоящие люди, старик, понял, нет?!

Л ю б о ч к а (*в телефон*). Ну какая разница! Какая разница — сегодня или вчера! Сколько можно нервничать и сходить с ума! Мамочка, милая, очень тебя прошу — не сердись, ложись спать, спи спокойно, утром я буду. Целую тебя, не сердись, пожалуйста, спокойной ночи!..

П и н е г и н. Умница! И Наташенька умница, и Любочка умница! Ну что за компания — ученый совет!..

Любочка вешает трубку, проверяет пальцем, не запала ли монетка, и с хмурым лицом решительно выходит из будки телефона-автомата.

Л ю б о ч к а (*быстро и коротко*). Можем ехать.

Г л е б о в. Как вы необычно сказали, Любочка, — сегодня или вчера.

Л ю б о ч к а. Необычно? А что тут необычного?

Г л е б о в. Ну, принято говорить — сегодня или завтра.

Л ю б о ч к а (*нервно*). Разве? Не знаю. Я не обратила внимания. Сказала первое, что пришло в голову. Едем?

Наташа (*наблюдая за Глебовым*). А может быть, это все-таки неудобно?

Глебов. Что именно?

Наташа. Ехать к вам. Мы не обидимся, Владимир Васильевич, вы скажите нам прямо — это удобно? Мы не поставим вас в неловкое положение?

Пинегин. Что за чепуха, что за вздор?! Можно подумать, что Володечка не хозяин в своем одиноком доме! (*Глебову, свистящим шепотом.*) Да не молчи же, старик!

Глебов (*негромко*). Все удобно, Наташенька. Все абсолютно и решительно удобно. У меня просто опять почему-то начала гудеть и кружиться голова — потому, наверное, я и не спешил забираться в машину!

Наташа (*подняла руку, тыльной стороной ладони прикоснулась ко лбу Глебова*). У вас жар, Владимир Васильевич.

Глебов. Нет, нет. У меня нет жара.

Наташа. Определенно — жар.

Глебов. Ну, может быть. Небольшой. По временам у меня случаются этакие довольно странные приступы. Похожи на малярию, но продолжаются часа два-три, не дольше! (*Через силу улыбнулся.*) Будем надеяться, что сегодня все обойдется!

Наташа (*деловито*). Акрихин у вас дома есть?

Глебов. Имеется, надо полагать! (*Снова улыбнулся, кивнул головой.*) Смотрите-ка, а окна гаснут уже понемногу.

Любочка (*тихо*). Гаснут. Пусть гаснут. Спокойной вам ночи, добрые люди.

Пинегин (*приплясывая на месте*). В путь, деточки, в путь! Путешествие продолжается! (*Подтолкнул Глебова.*) Заводи машину, старик!

Глебов. Сейчас поедем.

Молчание.

Любочка. Тихо как!

Глебов. Вы когда-нибудь слышали, девушки, сказку про дом с золотыми окнами?

Любочка. Нет. Расскажите.

Пинегин. В машине, в машине. Не забывайте, деточки, что живем мы в двадцатом веке и Шехерезаде полагается сидеть за баранкой... А что? А? Неплохой сюжетец, Володечка?! Могу уступить по дружбе! Шехерезада работает у калифа шофером и свои истории рассказывает по спидометру: на один километр — одна история.

Любочка. Не перебивайте, Николай Сергеевич! (*Глебову.*) Мы слушаем.

Г л е б о в (*помолчав, выдохнул воздух*). Значит, дом с золотыми окнами... Высоко в горах, далеко от людей, жил пастушонок. Он там и родился — высоко в горах, там и вырос, научился пасти коз, играть на дудочке и ни разу в жизни не спускался вниз в долину, где на берегу зеленой реки стоял город. По вечерам, когда козы ложились спать, пастушонок подходил к краю обрыва и смотрел на этот город, и он ему очень нравился — красивый, чистый, с прямыми улицами и нарядными домами под красными черепичными крышами. Но особенно нравился пастушонку один маленький дом, стоявший на берегу реки. Окна в этом доме были сделаны из самого настоящего, самого чистого золота! (*Снова потер рукой лоб.*) И так они горели, эти окна, и такое милое личико выглядывало из-за золотых ставен, что пастушонок сложил обо всем этом песенку и пел ее козам, которые уныло жевали траву и ничего, разумеется, не понимали...

Н а т а ш а (*внезапно*). Владимир Васильевич, вы извините, но я предлагаю ехать. Вы доскажете вашу сказку в машине.

П и н е г и н (*восхищенно*). Человек! Личность! Поняли, нет?!

Г л е б о в (*с удивлением и обидой*). Что с вами, Наташа?

Н а т а ш а (*глядя куда-то в сторону*). Очень пересохло в горле. Очень хочется выпить по чашечке кофе.

Г л е б о в. Как вам будет угодно!

П и н е г и н. Личность!.. Поехали!

Л ю б о ч к а. Жаль! Но вы доскажете вашу сказку, Владимир Васильевич?

Г л е б о в (*сухо*). Нет. Я отстал, очевидно, от века и еще не научился за рулем рассказывать сказки!

Н а т а ш а. Надо ехать.

Л ю б о ч к а. Очень жаль!

Г л е б о в. Ничего, Любочка, как-нибудь в другой раз доскажу!

Глебов закуривает. Любочка и Наташа, положив цветы и коробки с конфетами на перила, надевают дождевики.

Л ю б о ч к а (*тихо*). Как тебе не стыдно! Что с тобой?

Н а т а ш а. Дурочка!

Л ю б о ч к а. Что случилось?

Н а т а ш а. У него же приступ, дурочка! Он же из последних сил держится.

П и н е г и н (*громко*). Поторапливайтесь, детки!..

Молчание. Издалека, с Красной площади, ясный и чистый звон Кремлевских курантов.

Л ю б о ч к а (*вздрыгнула, схватила Наташу за руку*). Ты слышишь, Наташка?

Н а т а ш а. Слышу!..

## Молчание.

Г л е б о в (*сдержанно*). Что ж, товарищи, можем ехать.

Н а т а ш а. Хорошо. Мы готовы.

П и н е г и н. Поехали, детки мои, поехали! Вперед, путешествие продолжается!..

## Перемена

Музыка. Свет. Это летящие во тьму автомобильные фары, это огоньки самолета, идущего на посадку, флейточка, засвистевшая снова свою озорную уличную песенку, и негромкие позывные московской радиостанции.

## Картина третья

Воскресенье, утро, шесть часов тридцать минут.

У Глебова в новом доме на Боровском шоссе. Большая комната, которая служит хозяевам и кабинетом и спальней. Много книг. Но сейчас в этой комнате, строго и хорошо обставленной, присутствует странный, отчетливо ощутимый отпечаток чистоты и вместе с тем заброшенности, свойственный всем городским квартирам в летнюю пору, когда хозяева в отъезде или на даче.

За окнами уже рассвело, но утро хмурое, небо в плотной пелене туч. Г л е б о в с головой, туго обвязанной мокрым полотенцем, сидит на валике дивана и, с интересом прищурившись, смотрит на П и н е г и н а, как-то сразу и явно постаревшего и неожиданно маленького в огромном кожаном кресле, в которое его усадили.

Около Пинегина хлопочут девушки — Л ю б о ч к а и Н а т а ш а.

Н а т а ш а. Йодом надо, Николай Сергеевич, обязательно надо йодом!

П и н е г и н (*сварливо, прижимая к щеке носовой платок*).

Не надо йодом. Зачем?

Н а т а ш а (*усмехнулась*). Ногти не стерильны.

П и н е г и н (*сердито взглянул на Любочку*). Придумала тоже моду — царапаться! Что это за манера такая — царапаться?!

Л ю б о ч к а. Я же не нарочно, Николай Сергеевич. Вы сами виноваты. Вы начали глупости всякие говорить, приставать, а я хотела только руку вашу отвести — и случайно задела.

П и н е г и н. Я с ней — как с человеком, как с нормальным взрослым человеком, а она... Девчонка! (*Заорал.*) Не мажьте меня йодом, я вам говорю!

Г л е б о в. Ты скажи спасибо, что с тобой еще возьмется! А ты вопишь, как свинья!

П и н е г и н (*плаксиво*). Теперь у меня будет сердечный припадок.

Г л е б о в. С чего это вдруг?

П и н е г и н. Обязательно, вот увидите! (*Обхватил руками голову.*) Боже мой! И зачем мне все это было нужно? Зачем?! За-

чем я потащился в этот идиотский ресторан, в этот бессмысленный театр, зачем вообще мне были нужны, как говорится, эти танцы перед обедом?! А теперь, пожалуйста, получайте сердечный припадок!

Г л е б о в (*насмешливо*). Уже начался?

П и н е г и н. Скоро начнется, я чувствую! (*Оттолкнул Наташину руку.*) Нет у меня никакого пульса, не проверяйте!

Г л е б о в (*неожиданно засмеялся*). Ну и ну, веселенькая была ночка! Главное, девушки, кавалеры у вас хороши, отменнейшие кавалеры! Один — с расцарапанной физиономией и возможным в недалеком будущем сердечным припадком... А другой... Про другого я даже и говорить не хочу! Замучились вы со мной?

Н а т а ш а. Вам легче?

Г л е б о в. Легче.

Н а т а ш а. А голова?

Г л е б о в. Кружится немного. Я всегда после этих приступов чуть-чуть шалый.

Н а т а ш а. Зачем же вы поднялись, Владимир Васильевич? Вам надо лежать.

Г л е б о в. Не хочется.

П и н е г и н (*заерзал в кресле*). Полежи, старик, полежи, а? Закроем, понимаешь, шторы, чтобы свет глаз не резал, Наташенька с тобой побудет, а мы с Любушкой-голубушкой на кухню пойдем — сварим вам кофейку...

Г л е б о в. Ты все еще не угомонился? А как же твой сердечный припадок?

П и н е г и н. Можно по просьбе уважаемой публики отменить. В том случае, если Любушка-голубушка пойдет варить со мной кофе.

Г л е б о в. Ты в зеркало на себя посмотри!

Л ю б о ч к а (*хмуро*). Я не пойду с вами больше варить кофе, вы пристааете! (*Зевнула, похлопала себя ладошкой по губам.*) Будем собираться, Наталья? Который час?

Н а т а ш а. Половина седьмого. Какое-то время неопределенное — ни туда ни сюда.

Молчание. Любочка, не зная, чем ей заняться, обходит комнату, разглядывает книги, останавливается у окна.

Л ю б о ч к а. Рассвело совсем уже, а небо в тучах! (*С испугом.*) Наташка, что же мы делать-то будем? Ты посмотри — все небо в тучах.

Н а т а ш а. Разойдутся.

Л ю б о ч к а. А если не разойдутся?

Наташа. Пускай тогда это беспокоит не нас.

Глебов. В чем дело, девушки? Что за бюро прогноза?

Пинегин. Они синоптики, Володечка, вот они кто, понял?! Синоптики-электрики! *(Запел на мотив из «Сильвы».)* Синоптик-электрик, синоптик молодой...

Глебов. Любочка, будьте добры, заткните ему рот носовым платком!

Любочка. Он задохнется.

Глебов. Вот и хорошо.

Пинегин. Бессердечные люди!

Глебов. Мы бессердечные люди? Мы, мой милый, образец кротости и доброты... Другие давным бы давно выставили тебя отсюда за все твои номера, а мы терпим.

Молчание. Тишина. Только очень громко тикают большие, стоящие на столе часы.

Любочка *(снова принялась бродить по комнате)*. Ах ах-ах! *(Остановилась.)* Владимир Васильевич, а помните, вы обещали показать альбом с фотографиями... Где они?.. Можно поглядеть?

Глебов. Ну, разумеется! *(Выдвинул ящик письменного стола, достал несколько альбомов с фотографиями, подал Любочке.)* Пожалуйста!

Пинегин *(сонным голосом)*. Там и я есть.

Глебов. Там тебя нет.

Пинегин. Выбросил?

Глебов. Сегодня выброшу.

Любочка *(устраиваясь с альбомом на диване)*. Наташка, иди смотреть.

Наташа. Ты погляди, а потом я! *(Подошла к окну.)* Я воздухом подышу.

Глебов *(негромко)*. Очень замучились? Простите, Наташенька! До чего же глупо все вышло!

Наташа. Глупо? *(Покачала головой.)* Нет, Владимир Васильевич, что вы,— все вышло отлично!

Глебов. Не понимаю. Вы же говорили, что хотите веселиться, слушать музыку, танцевать, а вместо этого вам чуть не полночи пришлось возиться со мной — ставить мне компрессы и отпаивать акрихином... Кстати, откуда вы это все умеете? Вы медсестра? Врач? *(Не дождавшись ответа.)* Почему вы молчите?

Пинегин. Наши дамы полны тайн, как сундук товарища Кюио!

Глебов. Сам придумал?

Пинегин. Сам, сам, честное слово — сам.

Глебов. Оно и видно. Очень жаль, что Любочка не послуша-



лась меня и не заткнула тебе рот платком! (*Снова в упор взглянул на Наташу.*) Почему вы молчите, Наташенька? Или все еще не наступило время для серьезного разговора?

Наташа (*пожилаясь*). Не смотрите на меня так, Владимир Васильевич!

Глебов (*тихо*). Как — так? Почему не смотреть?

Наташа. Ну, была все-таки бессонная ночь. Я, вероятно, очень страшная сейчас, некрасивая, трепаная!..

Глебов. Нет, вы красивая. Вам бессонная ночь к лицу. В юности все к лицу — даже бессонные ночи! (*Очень тихо и медленно.*) Волосы пепельные, и лицо усталое, да, но кожа тонкая-тонкая, почти прозрачная, и глаза большие, огромные — не то зеленые, не то серые.... Какого цвета у вас глаза, Наташа?

Наташа. Не знаю. Всякого.

Глебов (*усмехнулся*). Напрашивается пошлейшее сравнение — как море! Сравнение пошлейшее, а точнее не придумаешь!

Пинегин. Я бы придумал.

Глебов (*не оборачиваясь*). Замолчи, убью!

Любочка (*перелистывая альбом, нараспев*). Интересно как!

Глебов (*все так же в упор глядя на Наташу*). Значит, вам, Наташенька, двадцать пять лет. Двадцать пять. А мне сорок. Это много — сорок, верно?

Наташа. Нет.

Глебов. Нет, много. А вам всего-навсего — двадцать пять. И волосы у вас пепельные. И глаза у вас — не то зеленые, не то серые! (*Положил руки Наташе на плечи.*) Так какого же цвета у вас глаза, Наташенька?

Наташа (*тихо, не двигаясь*). Не нужно, Владимир Васильевич!

Глебов. Почему?

Наташа. Не нужно.

Глебов. Почему, Наташенька?

Наташа. Не нужно.

Глебов. Почему?

Наташа (*резко*). Я не хочу! И вам же самому будет неприятно, если я рассержусь и мы поссоримся... Ну вот все равно как Любочка с Николаем Сергеевичем!

Глебов. Ах, так?! Как Любочка с Николаем Сергеевичем?! (*Со смешком.*) Да-а, надо признать, что и это сравнение тоже не из удачных! (*Прищурился.*) Вы милая и прелестная девушка, Наташа! И вам всего двадцать пять лет! Но вы тем не менее взрослый человек! Вы не девчонка и не школьница! О чем вы думали, когда согласились поехать ко мне...

Наташа (*перебила*). Вы считаете, Владимир Васильевич, что, согласившись поехать к вам, мы с Любашей взяли на себя некоторые обязательства и дали вам некоторые права... Так, что ли?

Глебов (*отрывисто*). У меня есть дочь Машка. Она еще малыш. Я ее бесконечно люблю. Но при всей моей любви, если я когда-нибудь узнаю, что она провела ночь в обществе мало знакомого ей мужчины, была с ним в ресторане, в театре, поехала к нему на квартиру, — вряд ли я ей поверю, что она...

Наташа (*снова перебила, резко*). У вас есть дочь Машка. А у меня нет отца! Меня некому подозревать. И бранить некому. Но ведь меня и не за что бранить! Разве я дурно себя вела? Разве я в чем-то провинилась? Почему человек, с которым я познакомилась на улице, должен непременно оказаться дурным человеком? Почему сразу и заранее я должна подозревать его в грязных мыслях и нечистых намерениях? Вон Любочка знала своего бывшего мужа с детства, а вышла за него замуж — и через полгода сбежала.

Пинегин (*хохотнул*). Не понравилось?

Любочка (*коротко и равнодушно*). Подлец оказался.

Пинегин. Пойдемте кофе варить, Любушка-голубушка. Любочка. Не пойду.

Наташа. Тем более что вы, Владимир Васильевич, вовсе не были для меня таким уж совсем незнакомым человеком! (*Улыбнулась*.) Я даже писала о вас когда-то...

Глебов. Писали? Обо мне? Где?

Наташа. В школьном сочинении. Нам задали сочинение на тему «Кем я хочу быть». А в ту пору как раз печатались ваши очерки об экспедиции Бабочкина. Вот я и написала о летчике Лужине, о радисте Быстрове, об академике Бабочкине и о журналисте Глебове!

Глебов. Тот Глебов был лучше?

Наташа (*жестко*). Лучше. Тот Глебов был проще. Спокойней. А этот Глебов почему-то весь напряжен. И нервничает. И сам не очень-то хорошо знает, кем ему быть — добрым или циничным, насмешливым или простым...

Глебов (*с усмешкой*). Мне уже глупо хотеть быть кем-то. Мне уже надо быть тем, что я есть.

Наташа. Почему же не быть Глебовым, Владимир Васильевич? Разве этого мало?

Молчание. Неожиданно раздается негромкий, но отчетливый храп. Это уснул Пинегин, свернувшись клубочком в своем огромном кожаном кресле.

Г л е б о в (*обернулся*). Что такое?! (*Сердито*.) Растолкайте его, Любочка, что он тут, в самом деле!

Л ю б о ч к а (*простодушно*). Да пускай себе спит. Он же, поглядите, он старенький совсем, сморился, устал... Пускай спит! (*Встала, набросила на ноги Пинегину плед*.) Неудобно ему только, небось в кресле жестко.

Г л е б о в. Настоящий газетчик должен уметь засыпать мгновенно, в любом положении и при любых обстоятельствах! (*Махнул рукой*.) Ладно, пускай спит!

Л ю б о ч к а. А нам не время еще, Наташа?

Н а т а ш а. У меня часы остановились.

Г л е б о в (*поглядел на замолчавшие часы на столе*). Все часы остановились. Во всем доме остановились часы! Сейчас мы включим радио. (*Включает радио*.)

Слышен голос диктора: «...Иордании и Ирака. Лондон, второго августа. Как сообщает корреспондент агентства Рейтер из Аммана, король Хусейн объявил в своем декрете о прекращении существования Федерации Иордании и Ирака...»

Э-э, старый приятель!..

Женский голос: «Мы передавали утренний выпуск последних известий. Через полминуты, в семь часов двадцать минут по московскому времени, — легкая инструментальная музыка».

Глебов выключает радио, заводит часы, переставляет стрелки.

Н а т а ш а. Ну вот, теперь уж нам и впрямь пора собираться.

Л ю б о ч к а. Погоди, я альбом досмотрю — тут немного осталось.

Н а т а ш а. Интересно?

Л ю б о ч к а. Интересно так, что оторваться невозможно! Тут, знаешь, и Северный полюс, и Китай, и Канада, и Гонолулу... Ах, какой вы счастливый, Владимир Васильевич! А почему вы теперь больше не ездите?

Г л е б о в (*нахмурился*). Я и теперь езжу.

Л ю б о ч к а. Куда?

Г л е б о в. В разные места! (*Засмеялся*.) Но чаще всего — на дачу.

Н а т а ш а. Ваша семья живет на даче?

Г л е б о в. Да.

Н а т а ш а (*после паузы*). Скажите, Владимир Васильевич, когда мы только пришли — вы спрятали в стол какую-то фотографию... Это была фотография вашей жены?

Г л е б о в (*смутился*). Да.

Н а т а ш а. А зачем вы ее спрятали?

Г л е б о в (*начиная злиться*). Так. Просто так.

Н а т а ш а. Она красивая — ваша жена?

Глебов (*с вызовом*). Да, очень!

Наташа. И вы ее любите?

Глебов. Очень люблю!

Наташа. Вы давно вместе?

Глебов. С войны. С первого года войны.

Наташа. Покажите мне ее фотографию.

Глебов. Нет.

Наташа. Почему?

Глебов (*грубо*). Я не хочу, чтобы вы на нее смотрели!

Наташа. Но ведь я ни в чем перед нею не виновата! (*Стремительно*.) Видите, видите, Владимир Васильевич, как подло и стыдно все могло быть, как уже сегодня к вечеру, вероятно, вы стали презирать и себя, и меня, и...

Глебов. Слова, слова, милая моя Наташа! Подло, стыдно, презирать — слова, слова, слова! (*Насмешливо*.) Наши мужья не изменяют женам, наши девушки не влюбляются в женатых мужчин, наших детей приносят наши аисты! (*Пожал плечами*.) Все вздор! Жизнь есть жизнь...

Наташа (*перебила*). Жизнь может быть всякой. Может быть чистой, а может быть в крапинку. И, наверное, будущее, Владимир Васильевич, оно не только в изобилии и достатке... Оно в чем-то еще ином, может быть, не менее важном!

Глебов. В чем же?

Наташа. Ну, хотя бы в том, чтобы знать, чтобы совершенно твердо быть уверенной, что тебя никто не обидит и не оскорбит, что защитят тебя от дурного не личные твои добродетели, а нравственность всей твоей страны! Понимаете?

Глебов (*прищурившись*). Велика ли доблесть в доброте, ставшей нормой?

Наташа (*быстро*). Господи, да кому же нужна добродетель как доблесть?!

Глебов (*снова вспылл*). Черт побери вашу рассудительную голову! Можно ли в двадцать пять лет быть такой рассудительной? Жизнь есть жизнь, поймите вы это! И она не в крапинку — она полосатая. В ней случается всякое. В ней случается такое негаданно-нежданное, что за один день, за один час может заставить позабыть все умные рассуждения и вывернуть человека наизнанку.

Наташа (*не скрывая насмешки*). И такое случилось с вами сегодня?

Глебов. Я не хочу лгать. Не случилось. Но может случиться. Может!

Наташа. Нет. Не может. И не случится. (*Обернулась к Любочке*.) Любаша, собирайся, нам время ехать.

Любочка (*поглочена разглядыванием альбома*). Сейчас, сейчас, минутку.

Глебов (*тихо*). И вы — вот так и уйдете?

Наташа (*покачала головой*). Никогда.

Глебов (*раздраженно*). Что за глупое, дурацкое, идиотское слово — никогда! Как вам не стыдно?! Опять слова — никогда, навсегда! (*Точно передразнивая кого-то*.) «Мы никогда с вами не увидимся!» А уже через день мчатся друг другу навстречу. «Я полюбил тебя навсегда!» А длится это «навсегда» месяц. Или год в лучшем случае. Поймите же, как на редкость непрочны эти «навсегда» и «никогда»! (*Помедлив.*) Сегодня я еду на дачу. Но завтра, в понедельник, я буду в Москве, в редакции. Можно мне завтра вам позвонить?

Наташа. Нет.

Глебов. У вас нет телефона?

Наташа. Есть.

Глебов. Когда мы увидимся?

Наташа (*с легкой улыбкой*). Никогда.

Глебов. Вы, голубчик, упрямы, но я поупрямее вас, поверьте! Когда мы увидимся?

Наташа. Никогда.

Глебов. Хорошо. Завтра вы, допустим, не можете. А во вторник? В среду? В будущую субботу? Когда мы увидимся?

Наташа. Никогда, Владимир Васильевич.

Глебов. Ах, послушайте, бросьте вы твердить это свое дурацкое «невермор»! Вы же не ворон, черт побери! (*Со злостью.*) И вообще, если уж на то пошло, так объясните же мне, черт вас побери совсем, объясните же мне в таком случае и в конце концов, что все это было? Вот это все — вечер, ночь, ресторан, театр, ваши загадочные улыбки и таинственное молчание, ваша глупейшая выходка со счетом в ресторане — что это было? Скука? Любопытство? Наивное желание поинтриговать и развлечься? Что это было?

Наташа. Что это было? Вы хотите знать? Хорошо, мы вам сейчас объясним. Все совсем и удивительно просто! (*Взглянула на подругу.*) Ты слышишь, Любаша, о чем спрашивает Владимир Васильевич?

Любочка. Слышу.

Наташа. Объясним?

Любочка. Объясним, теперь можно.

И опять, с улыбкой поглядев друг на друга, девушки раскрывают свои темно-зеленые сумочки и достают два пестрых конверта.

Глебов. Что это?

Любочка. Билеты на самолет. Сегодня мы улетаем с Наташей. В пять часов вечера, на «ТУ-104».

Глебов. Куда вы летите?

Любочка. В Хабаровск.

Наташа. Вместе до Хабаровска. А там, к сожалению, расстаемся. Любочка — за Хабаровск, в район. А у меня пересадка на другой самолет — и дальше. Много дальше.

Глебов. Надолго вы улетае?

Наташа. На шесть лет.

Глебов. На шесть лет?!

Любочка. Я на пять.

Наташа. Да, ты на пять. А я на шесть! (*Улыбнулась Глебову.*) Мы окончили этой весной институт, Владимир Васильевич, медицинский институт. Мы врачи. Сдали государственные экзамены, прошли комиссию по распределению, получили назначение, получили деньги на выезд...

Любочка. И вот — улетаем!

Наташа. Вещи мы свои давным-давно все сложили, собрали, все предотъездные дела сделали, все покупки купили, со всеми простились...

Любочка (*печально улыбнулась*). Мы, например, с моей мамой уже два месяца подряд прощаемся — я просто не могу больше!

Наташа. А ребята с нашего курса разъехались раньше нас, мы последние...

Любочка. А других знакомых у нас мало. Да и лето — почти все в отъезде, кто где...

Девушки говорят наперебой, и только теперь, впервые за эти сутки, они, такие разные, внезапно становятся удивительно друг на друга похожи.

Наташа. И все-таки до самого вчерашнего дня мы никак не могли по-настоящему поверить в то, что мы действительно улетаем! А вчера днем мы пошли в «Метрополь»...

Любочка. Не в гостиницу, конечно, а там внизу, знаете, там есть авиационное агентство... И там экспедитор из министерства оставил для нас наши билеты... Видите, как все просто?

Глебов (*усмехнулся*). Да, просто. Ну-ну, рассказывайте...

Наташа. И вот мы получили наши билеты, сунули их в наши новые сумочки, где уже лежали документы, справки, деньги, вышли на улицу, остановились у входа в гостиницу — и, пожалуй, именно в это мгновение поняли наконец, что мы и вправду улетаем, что кончилось наше детство, юность, годы ученья, что мы расстаемся с Москвой и расстаемся надолго, что

начинается новая жизнь — взрослая, трудная, интересная. И вот мы стояли...

Л ю б о ч к а. А впереди у нас еще были целые сутки!

Н а т а ш а. Целые сутки, вы представляете?! А вещи были давным-давно собраны, покупки давным-давно сделаны. А впереди были целые сутки. Последние сутки в Москве!

Л ю б о ч к а. И нам ужасно захотелось, Владимир Васильевич, провести эти сутки как-нибудь по-особенному, не так, как всегда! Нам захотелось пойти напоследок в какой-нибудь хороший ресторан, в театр, послушать музыку, повеселиться, познакомиться с интересными людьми...

Н а т а ш а. Нам захотелось нежданно-негаданно, как вы сказали, Владимир Васильевич!

Л ю б о ч к а. И только мы с Наташей об этом подумали — вдруг появился Николай Сергеевич, подошел к нам, заговорил, начал шутить, смеяться...

Г л е б о в. И вы решили, что это и есть ваше нежданное-нежданное?

Н а т а ш а (*внимательно посмотрела на Глебова*). Хотите правду, Владимир Васильевич?

Г л е б о в. Да.

Н а т а ш а. Мы бы очень быстро простились с вашим другом, с Николаем Сергеевичем Пинегиным. Но он заговорил о Владимире Васильевиче Глебова — нам стало интересно, и мы остались. Нам показалось, что это будет очень здорово, если именно вы как бы проводите нас в дорогу!

Г л е б о в (*смущенно*). Вот как!

Л ю б о ч к а. А ты помнишь, Наташа, как мы нервничали, когда поджидали Владимира Васильевича у редакции?

Г л е б о в. Нервничали? Почему?

Н а т а ш а (*с улыбкой*). Да все из-за этой истории — из-за вашей поездки в Гонолулу! Николай Сергеевич так ее почему-то расписывал, что мы, когда вас ждали, вдруг представили себе — вот сейчас выйдет этакий франт в гавайской рубашке, разрисованной пальмами, приборами...

Г л е б о в (*все еще с чувством неловкости*). Значит, кое в чем Глебов оказался все-таки лучше?

Н а т а ш а (*суровато*). Кое в чем — да.

Молчание. Где-то по соседству заиграла музыка. Это по радио начали передавать утреннюю зарядку.

Л ю б о ч к а (*взглянула на часы, ахнула*). Наташка, мы должны мчаться! Тебе-то ничего, а меня мама просто убьет!

Н а т а ш а (*взяла свой дождевичок, перекинутый через спинку стула*). Пошли!

Г л е б о в. Пора?

Н а т а ш а. Пора, Владимир Васильевич.

Г л е б о в (*поглядел на Наташу, на Любочку, неожиданно рассмеялся*). Так что же мне делать, дорогие мои, черт побери! Прощенья у вас, что ли, просить? Не поможет! Каким слепцом я был в эти ваши последние прощальные сутки, как ничего не увидел, не понял, не догадался! Шел рядом с вами через ваши прощальные сутки, шел, как собака, которая обращает внимание только на то, что движется. (*Кивнул на спящего Пинегина*.) Он-то хоть знал, зачем и ради чего! (*Усмехнулся, вытащил из кармана смятую пачку сигарет*.) Ну ладно! Выкурим по одной сигаретке, по разгонной, и — в путь!

Л ю б о ч к а. Дайте и мне, пожалуйста.

Н а т а ш а (*строго*). Любаша!

Л ю б о ч к а. Я немножко.

Г л е б о в. Малоприятное место, где вы научились курить,— это, конечно, анатомичка?

Л ю б о ч к а. Конечно. Только мы не научились. Так — балуемся иногда. (*Оглянулась*.) А где мой дождевик?

Н а т а ш а. Ты его в прихожей повесила.

Любочка с неумело зажатой в зубах сигаретой выходит в прихожую.

Г л е б о в. Наташа, куда вы летите? Дайте ваш адрес.

Н а т а ш а. А зачем?

Г л е б о в. Ну, может быть, я вам когда-нибудь напишу.

Н а т а ш а (*впервые у нее чуть-чуть дрогнул голос*). Может быть! Как-нибудь! А если не напишете, Владимир Васильевич? Забудете? Потеряете адрес? А я буду очень ждать писем, особенно в первое время... Нет, не от вас специально, а вообще! Буду ждать, нервничать... А мне там нельзя нервничать! Я ведь еду в чужие края на довольно ответственную и трудную работу! (*Покачала головой*.) Нет уж, лучше думать, что вы не пишете мне потому, что просто не знаете моего адреса, лучше вспоминать о вас изредка, чем попусту ждать ваших писем... Разве я не права?

Г л е б о в (*со странной улыбкой*). Правы. Опять правы. Трудно вам будет жить, Наташа!

Н а т а ш а. Вероятно.

Г л е б о в. Но вы держитесь!

Н а т а ш а (*весело*). Да уж постараюсь!

Возвращается Л ю б о ч к а с цветами в руках.



Л ю б о ч к а. А цветы-то наши в ванной комнате были, хорошо я вспомнила. Поехали?

Г л е б о в. Сейчас разбудим эту спящую красавицу!

Л ю б о ч к а (*пренебрежительно*). Не надо. Нет, нет, не будите его, Владимир Васильевич! Просто, когда он проснется, передайте ему от нас привет!

Н а т а ш а (*протянула Глебову руку*). Ну, до свиданья, Владимир Васильевич...

Г л е б о в. Как это — до свиданья?! Я с вами. Развезу вас по домам на машине...

Н а т а ш а. Зачем, Владимир Васильевич? Вам надо лежать, и это все ни к чему!..

Резкий и продолжительный телефонный звонок.

Л ю б о ч к а (*вздрыгнула и тут же засмеялась*). Ой, я напугалась!

Г л е б о в (*снял трубку*). Да? Ну, Глебов, правильно... Кто вызывает? Ах, Ставрополь, Мельников! Отыскался след Тарасов. И надо же, в самую неподходящую минуту! (*Растерянно оглянулся на Любочку и Наташу*.) Что же делать? Вам надо очень спешить?

Н а т а ш а. Очень, Владимир Васильевич! Но вы не беспокойтесь — я видела здесь, почти у самого вашего дома, стоянку такси. Вы не беспокойтесь, мы доедем. Прощайте, Владимир Васильевич! Спасибо вам!

Г л е б о в. Вам спасибо.

Н а т а ш а. Голова перестала кружиться? Акрихина больше не принимайте. Легче вам?

Г л е б о в. Легче.

Н а т а ш а. Акрихина больше не принимайте.

Л ю б о ч к а (*с улыбкой*). Прощайте, Владимир Васильевич!

Г л е б о в. Счастливый вам путь, дорогие! Счастливый путь! (*Тряхнул головой*.) И знаете что — постарайтесь, если сможете, не очень уж плохо думать о нас! Понимаете... (*В телефон*.) Да, да, Глебов! Ах, это ты, голубчик! Сейчас, сейчас, сейчас мы с тобой побеседуем! (*Любочке и Наташе*.) Девушки, дорогие, до свиданья! (*В трубку*.) Я не тебе, не ори! Двенадцать минут заказал, а материалу на пятнадцать? А я тебе нянька? Ты где раньше был — вот что меня интересует!..

Н а т а ш а (*переглянулась с Любочкой*). До свиданья, Владимир Васильевич, прощайте, счастливо вам оставаться, спасибо за все, до свиданья, мы убежали!..

Наташа и Любочка поспешно, чуть не бегом, уходят. Хлопает в прихожей входная дверь.

Г л е б о в *(с трубкой в руках)*. Ушли! *(В трубку.)* Я не тебе! Ты где все это время пропадал, хотел бы я знать! Фитиль приготовил? Я тебе такой фитиль покажу, что ты у меня не поймешь, с какого конца его зажигать! Ну-ну, ладно, читай, слушаю! *(Неожиданно.)* Погоди-ка! *(Выглянул в окно.)* Все! *(В трубку.)* Я не тебе, читай! *(Слушает, неожиданно ухмыляется.)* Не врешь? Это материалаец, Серега, это и вправду фитиль! Молодец, черт тебя побери! А ну-ка, ну-ка, повтори еще разок цифрочки, я запишу! *(Придвигает к себе лист бумаги, берет карандаш.)* Давай диктуй!

П и н е г и н *(заворочался в кресле, зевнул, открыл глаза)*. Что ты кричишь, старик?! *(Оглянулся.)* А где же детки? Любушка-голубушка, Наташенька, дядя Коля проснулся, ау, где вы?! Я хочу кофе, поняли, нет?!

Г л е б о в *(слушает, записывает)*. «...Красногвардейский район — 7,4 миллиона пудов зерна, Ипатовский — 6,6 миллиона...» Ну и ну, ловко!

Звонок в прихожей.

П и н е г и н *(испугался)*. Это еще кто?

Г л е б о в. Не знаю. *(В трубку.)* Обожди, Мельников, сейчас мы продолжим! *(Прикрыл трубку рукой.)* Пойди отвори. И если это вдруг Таня...

П и н е г и н *(торопливо)*. Если это Таня, я скажу так: «Забрел к тебе вечером на огонек, мы заговорились, и я остался ночевать».

Г л е б о в. А насчет наших гостей...

П и н е г и н. Что я, психический? *(Выбегает в прихожую.)*

Г л е б о в *(в трубку)*. Давай, Мельников, продолжай, записываю! *(Слушает, пишет.)* «Петровский район — 6,1 миллиона...» Так, это понятно... Ага, вот важно! *(Пишет и повторяет вслух.)* «Намного больше, чем в прошлые годы... десять миллионов пудов хлеба сдали и продали государству колхозы и совхозы Советской Калмыкии...»

Возвращается П и н е г и н, приносит газету и журналы «Огонек» и «Мурзилку».

П и н е г и н. Почта! А ты, понимаешь, — Таня! От таких предположений, Володечка, человек на всю жизнь может заикой остаться! Понял? *(Огляделся.)* А где девушки? Куда ты их дел? Где Наташенька и Любочка?

Г л е б о в *(сердито махнул рукой)*. Нет девушек! Нет Лю-

бочки и Наташеньки! Нет их, нет и не будет, не мешай, убирайся! (В трубку.) Давай, Мельников, давай, давай, дорогой, слушаю, записываю — давай!..

## Перемена

Музыка. Свет. Это автомобильные фары, снова нырнувшие в темный провал туннеля, это солнечная рябь на прозрачной речной воде, переключки поездов, детские голоса и негромкое треньканье дачной гитары.

### Картина четвертая

Воскресенье, третье августа, день, семнадцать часов десять минут.

Дачное Подмосковье. Кончается эта история там же, где она и началась, — на скамейке в саду, окруженной обильно разросшимися кустами боярышника и отцветшей сирени.

На этой скамейке рядом сидят Т а н я и Г л е б о в — жмурятся, подставив лица вечернему солнцу. А в стороне, с неизменной своей простодушно-плутоватой улыбкой, возится Машка и делает вид, что она поглощена какими-то колесиками и прутиками. Валяются в траве давно уже прочитанные журналы «Огонек» и «Мурзилка».

Т а н я (вздыхнула). Все-таки жаль, что ты не сумел уговорить маму к нам приехать.

Г л е б о в. Я три часа ее уговаривал. Охрип даже. Она, видишь ли, обещала какой-то своей стариннейшей подруге Агнии Константиновне показать сегодня Сельскохозяйственную выставку.

Т а н я. А собиралась к нам.

Г л е б о в. Это у вас семейное — семь пятниц на неделе.

М а ш к а (заинтересованно повернула голову). А бывает?

Г л е б о в. Что?

М а ш к а. Семь пятниц.

Г л е б о в. У твоей мамы бывает.

Т а н я. Можно подумать, что ты из себя являешь образец постоянства! Ты сам...

Г л е б о в. А вот ссориться мы с тобой не будем. Мы же уговорились.

Т а н я. Я и не ссорюсь! Но меня возмущает, когда...

Г л е б о в (укоризненно). Татьяна!

Т а н я. Я не ссорюсь! (Помолчав.) Вы чаю, граждане, не хотите еще?

Г л е б о в. Хотим. С пирогами.

М а ш к а. И с вареньем хотим.

Т а н я (засмеялась). Ладно, саранча, я сейчас соберу!

Г л е б о в. Погоди!

Т а н я. Что?

Г л е б о в (*обнял Таню за плечи*). Погоди, посиди, успеешь!  
(*После паузы.*) Слушай, ты помнишь сказку про дом с золотыми окнами?

Т а н я. Помню.

М а ш к а. И я помню. Это про то, как пастух думал, что в доме золотые окна, а их просто так солнце освещало, да? А потом он увидел, что не в этом доме золотые окна, а в другом, а потом еще в другом, и все шел, и шел, и шел... И стал старым, и все шел... и все ему казалось, что впереди дом с золотыми окнами. Эта сказка, да?

Г л е б о в. Эта.

Т а н я. А почему ты ее вспомнил?

Г л е б о в (*неопределенно*). Так. Когда-нибудь расскажу.

Т а н я (*сухо*). Я не люблю историй, которые рассказывают женам когда-нибудь при случае, спустя много лет. Это плохие истории! (*Встала.*) Я пойду!

Г л е б о в. Погоди! (*Медленно.*) Понимаешь, Танечка, я кое-что надумал сегодня — возьму-ка я с десятого числа отпуск, мне полагается, засяду с вами на даче и попытаюсь наконец дописать книжку — ту самую, что я забросил когда-то в дальний ящик стола!.. Примете меня в свою компанию?

Т а н я (*не сразу*). Смешно! А я как раз и вчера и сегодня думала совсем о другом... Даже звонила тебе об этом в редакцию!

Г л е б о в. О чем же?

Т а н я (*волнуясь*). Я хотела тебе предложить, чтобы ты поговорил в секретариате и поехал бы в какую-нибудь интересную, далекую, трудную поездку... Ты ведь никогда не любил долго сидеть на одном месте. Ты был — «Глебов — нынче здесь, завтра там!». И я же знаю, знаю, милый, что это из-за нас ты пошел работать в штат. Из-за нас. Из-за меня. И мне показалось, что ты в последнее время стал беспокойным и растерянным, что тебе нужно вырваться, побродить по свету, подышать соленым ветром, повидать новое, напиться этим новым, наполниться им и успокоиться.

Г л е б о в (*покачал головой*). Нет, Танечка, всему свой черед! (*Подумав.*) Ты читала вчера в газете сообщение о том, что ставропольцы дали сто миллионов пудов хлеба досрочно?

Т а н я. Читала.

Г л е б о в. Но ведь для того чтобы собрать в августе эти сто миллионов — надо было посеять их в апреле и в мае! Такая уж это пора — август, время жатвы и уборки! И если душа твоя пуста, поля не засеяны, виноградники не обработаны — то каких

ты можешь ждать плодов? И стоит ли тогда гоняться по белу свету за собственной тенью и надеяться, что вот кого-то ты встретишь, о чем-то узнаешь, что-то случится! *(Снова покачал головой.)* Нет, Танечка, всему свой черед. Будут, будут еще поездки, дальние края и необыкновенные встречи... Но сейчас я хотел бы стоять, ну, вот хотя бы как это дерево — раскинуть ветки и вбирать все, что проходит мимо меня, — времена, события, тучи, ветры! *(Улыбнулся.)* Ты заметила, между прочим, люди на всех языках подыскали для ветра самые красивые слова!

М а ш к а. Какие?

Г л е б о в. Ну, например, сиверкс, моряна, баргузин, мистраль, трамонтана, сирокко...

М а ш к а *(подумав)*. Красивые, правда.

Т а н я. Это женщины придумали. Уверяю тебя. Женщины. Матери, жены и невесты тех, что с ветром уплывали от них и с ветром к ним возвращались!

Г л е б о в *(почесал в затылке)*. Занятно! Эту идейку я, пожалуй, у тебя украду.

Т а н я. Кради, кради. Мне — зачем?

Г л е б о в. Как — зачем тебе?! Для меня.

Т а н я *(серьезно)*. Спасибо! *(Почему-то стремительно поднялась.)* Ну ладно. Вы тут с Машкой пока побеседуйте, вам, наверное, есть о чем побеседовать, а я пойду чай соберу!.. *(Уходит в дом.)*

А Машка, немедленно побросав все свои колесики и прутики, подбегает к скамейке и садится рядом с отцом.

М а ш к а. Побеседуем?

Г л е б о в. А нам действительно есть о чем?

М а ш к а. А как же! Конечно. *(Подумав.)* Как дела на работе?

Г л е б о в. Ничего. Спасибо.

М а ш к а. Это ты писал про Калининской совнархоз?

Г л е б о в. Я. А ты читала? Тебе понравилось?

М а ш к а. Мы с мамой читали. Нам понравилось.

Г л е б о в. Я очень рад.

Молчание. Высоко, в уже вечерющем небе, слышно, как гудит самолет.

М а ш к а. Вот летит самолет!

Г л е б о в. Вспомнила?

М а ш к а. Я просто так сказала! *(Задрала голову к небу.)*  
Слышишь?

Г л е б о в. Слышу.

М а ш к а. Это какой? Пассажирский? «ТУ-104»?

Г л е б о в. Кажется.

М а ш к а (*помахала рукой*). Лети, лети! Счастливый тебе путь! (*После паузы*.) Ведь, может, там и знакомые кто-нибудь, да, папа?

Г л е б о в (*медленно, с улыбкой*). Может быть. Счастливый путь всем — и знакомым и незнакомым. И старости, что летит на покой, и юности, что отправляется в поход. И пусть, когда пойдет она по нашему следу, встретится ей не окурки, пустые бутылки и консервные банки — приметы небрежной и неряшливой жизни, — а труды наши, свершения и надежды! (*Покосился на Машку*.) Поняла?

М а ш к а (*честно*). Нет.

Г л е б о в (*засмеялся*). Ну и правильно!

М а ш к а. А ты не забыл нашу песенку, папа?

Г л е б о в. Не забыл.

М а ш к а. Споем?

Г л е б о в. Споем!

Из дома, с веранды, громко зовет Таня: «Чай пить, компания!»

М а ш к а. Пошли!

И Глебов с Машкой отправляются пить чай, взявшись за руки и распевая на ходу сочиненную ими песенку:

Вот летит самолет,  
Он летит и гудит.  
Вот летит самолет,  
А куда он летит?  
Он летит далеко,  
Неизвестно — куда!  
А когда прилетит?  
Неизвестно — когда!

З а н а в е с

(1958)

# МАТРОССКАЯ ТИШИНА

*Драматическая хроника в четырех действиях*

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Детство. Город Тульчин.

Август тысяча девятьсот двадцать девятого года. Первая пятилетка. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув голову, с грустным недоверием разглядывают звездное небо. Следом за пьяными почтительными стайками ходим мы — мальчишки.

В ту пору нам было по десять — двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых: о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками.

Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоем — отец, Абрам Ильич, и Давид. Они занимали большую полуподвальную комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось, их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на место. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в черной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами.

Старуха неодобрительно смотрела на входящих.

Вечер. Абрам Ильич Шварц — маленький человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги, исчерканные карандашом. Давид стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, вздернутый нос и чуть оттопыренные уши. Он играет на скрипке и время от времени умоляющими глазами поглядывает на круглые стенные часы. У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и веселый человек — кладовщик Митя Жучков.

Сухо пощелкивают костяшки на счетах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с богом. За окном равнодушный голос протяжно кричит на одной ноте: «Сереньку-у-у!..»

Шварц (*бормочет*). ...Вчера, семнадцатого августа одна тысяча девятьсот двадцать девятого года, было отправлено в Херсон шесть вагонов и еще девять вагонов в Одессу... Так, пишем!

Давид. Раз, и два, и три!.. Раз, и два, и три, и!..

Митя. Гуревичи уже сложились... Чистый цирк, честное сло-

во! Отчего это, Абрам Ильич, у евреев так барахла завсегда много?

Шварц (*уткнувшись в бумаги*). Семейные люди, очень просто!

Митя (*усмехнулся, помотал головой*). Нет, я на Розу Борисовну прямо-таки удивляюсь. Это надо же — с малыми дитями, с большим мужем — и на такое отчаянное дело подняться! Прямо не старуха, а Махно какая-то, честное слово!

Давид (*опустил скрипку*). Папа, уже без четверти девять.

Шварц. Ну и что?

Давид. Я устал.

Шварц. Устал?! (*Покосился на Митю*.) Он устал — как вам это понравится, Митя?! Между прочим, целый божий день я стою больными ногами на холодном цементном полу. И целый божий день мне морочат голову. И на вечер я еще беру работу домой.. Так почему же я никому не жалуясь, что я устал? Что? (*Подумав*.) Сыграй Венявского и можешь отправляться на двор. (*Усмехнулся*.) Ему, видите ли, Митя, с отцом скучно! Ему нужны его голь, шмоль и компания... Сыграй Венявского, ну!

Давид. Хорошо. (*Снова поднимает скрипку*.)

Печальная и церемонная музыка Венявского. Абрам Ильич слушает, чуть наклонив набок голову и почесывая в затылке карандашом.

Шварц (*шепотом, с торжеством*). А, Митя?!

Митя (*развел руками*). Талант!

Шварц. А теперь еще разок упражнения Ауэра.

Давид. Папа!..

Шварц (*неумолимо*). Упражнения Ауэра, и тогда пойдешь!

Молчание. Давид в ожесточении принимается за очередное упражнение. Шварц уткнулся в бумаги. Равнодушно кричит женщина: «Сереньку-у-у!..»

Митя (*словоохотливо*). Уезжают, значит, от нас Гуревичи. В Москву едут, к братцу. Братец ихний, Сема, агентом работает — жуликов ловит... Слышите, Абрам Ильич, чего говорю? Сема Гуревич, говорю, жуликов ловит! Мелкоту небось, вроде нас с вами, Абрам Ильич, верно?

Шварц (*зашипел*). Откройте дверь! Откройте дверь, чтобы слышал весь двор, сумасшедший!

Митя (*счастливо захохотал*). От нас Москва далеко, Абрам Ильич, нас не поймают!

Давид. Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!..

Шварц. И еще десять вагонов в Николаев. Всего это будет двадцать пять вагонов... Так, пишем!



М и т я (*вздыхнул*). Да-а, поехал бы я в Москву. Поехал бы — и знаете, Абрам Ильич, чего первым бы делом сделал? В магазин бы пошел, честное слово! Купил бы себе булку французскую, франзол! Я ее, сволочь такую, сперва бы маслом намазал, а потом... А потом я бы — ах ты, братцы мои,— потом я съел бы ту булку! Всю!

Д а в и д. Папа, уже девять часов.

Ш в а р ц. Меня интересует — ты играешь на скрипке или ты смотришь на часы?

М и т я (*добродушно*). Да ладно, Абрам Ильич, отпустите вы его, пускай человек побегает...

Ш в а р ц (*со смешком*). Вот как? Вы меня извините, Митя, я вас очень уважаю, как хорошего кладовщика и всякое такое... Но если я не ошибаюсь — я имею в виду музыку,— так профессор Столярский это не ваша фамилия?!

М и т я (*неожиданно обиделся*). Моя фамилия Жучков, это все знают! А что я цельную кучу братьев своими руками поднял — это тоже все знают!

Ш в а р ц (*высокомерно*). Ну, и кем же они стали, ваши братья, позвольте спросить? Они закончили консерваторию? Они адвокаты? Врачи? (*Снова усмехнулся*.) Каждому свое, Митя! Давайте лучше займемся делами...

М и т я (*показал глазами на Давида*). Давайте, только...

Ш в а р ц. А-а, да-да! Давид, можешь отправляться во двор.

Д а в и д. Хорошо. (*Аккуратно укладывает скрипку в футляр. Ставит футляр на полку.*)

Ш в а р ц. Упадет. Поставь глубже.

Д а в и д. Хорошо... Теперь я могу идти?

Ш в а р ц. Иди, сынок.

Давид уходит.

М и т я (*поглядел вслед*). Замучили вы паренька, Абрам Ильич!

Ш в а р ц (*резко*). Митя, это не ваше дело! (*Помолчал.*) Знаете, о чем я мечтаю? Когда-нибудь я получу отпуск и премию. И тогда я возьму Давида и поеду с ним к морю. В Крым. Мы будем жить, как цари, в белом дворце, и по утрам горничная в крахмальном фартуке прямо в постель будет приносить нам яичницу с колбасой из четырех яиц и кофе с крендельками... Что?

М и т я. Чудак вы, Абрам Ильич! В прошлом годе вы на Турксиб собрались, теперь в Крым...

Ш в а р ц. Да, я чудак... Займемся делом! В субботу я вам дал ящик мыла. Сто кусков, за которые я сам заплатил три рубля. Что вы сумели с ними сделать?

Митя. Есть один человек, дает три сотни и еще тридцать бумажек. Говорит — через неделю мы и этого не получим. Вам решать, Абрам Ильич.

Шварц. Триста тридцать рублей?! Кошмар! За удовольствие заниматься коммерцией мы скоро будем, кажется, докладывать из собственного кармана! Триста тридцать рублей! Это же просто грабеж! Что?.. Ну, а с вельветом?

Митя. Вельвет берут. Тут такая история...

В дверь стучат.

Шварц. Тихо!.. Кто там?

Входит человек в мохнатой шляпе, в светлом заграничном костюме. В руках трость, плащ и маленький чемодан. Это Мейер Вольф. Он высок и широкоплеч.

Вольф. Добрый вечер! Как поживаете, Абрам?

Шварц (*растерянно*). Простите... я не...

Вольф. Может быть, вам нужна моя визитная карточка?

Шварц (*приглядываясь*). Боже мой!..

Вольф. Ну же!

Шварц. Мейер!.. Мейер Вольф!

Вольф. Наконец-то! Здравствуйте, Абрам!

Шварц (*в волнении*). Мейер Вольф!.. Подождите! Подождите, дайте мне вас потрогать! Невероятно! Когда вы приехали?

Вольф. Минут сорок назад.

Шварц. Почему? Зачем? На какой предмет?

Вольф. Я расскажу.

Шварц. Да... Да... Только давайте сядем, а то у меня ноги дрожат.

Митя (*поднялся*). Я, Абрам Ильич, другим часом зайду.

Шварц (*отмахнулся*). Конечно!

Митя торопливо уходит.

Вольф. А где Давид?

Шварц. Где-нибудь бегаает... Слушайте, Мейер... Нет, я все еще никак не могу поверить в то, что это действительно вы! Последняя ваша открытка была из Рош-Пина...

Вольф. Вы получили ее?

Шварц. Получил, получил. Это было год... Или полгода назад, не помню.

Вольф (*сел, огляделся*). Ну, так как же вы тут живете?

Шварц. Какой об нас разговор?! Человек приехал из Палестины, и он еще спрашивает — как мы тут живем! Или вы не знаете Тульчина? Не знаете, как тут можно жить?!

В о л ь ф. Знал когда-то. Но теперь, если верить газетам, многое переменялось — строительство, индустриализация...

Ш в а р ц (*иронически*). В Тульчине? Наша индустриализация — это паточный завод имени Розы Люксембург, бывший «Арон Сунник и сыновья». (*Засмеялся*.) Ну, хорошо! Я считаю, что по случаю вашего приезда мы имеем полное право выпить рюмку-другую... Как вы?

В о л ь ф. Не возражаю.

Шварц лезет в шкаф, достает графин с водкой, два граненых стакана, хлеб, помидоры. Кладет все это на стол, на газету, разливает водку в стаканы.

Ш в а р ц. Будем живы-здоровы! С приездом. Ешьте помидоры... Так зачем же вы вернулись, Мейер?

В о л ь ф. Просто так.

Ш в а р ц (*насмешливо*). Ах, просто так? Ладно, можете не говорить, это ваша забота. (*Понизив голос*.) Я хочу знать одно — не политика?

В о л ь ф. Упаси бог!

Ш в а р ц (*с облегчением*). Правильно! Политика — это занятие для англичан и поляков... Слушайте, Мейер, так вы действительно своими глазами видели Иерусалим, и Стену Плача, и Средиземное море?

В о л ь ф. Да, конечно.

Ш в а р ц. Можно сойти с ума! Сидит разодетый, как граф, и спокойно говорит — да, конечно! Ну, за Средиземное море!

В о л ь ф. Мне довольно.

Ш в а р ц. Как хотите. А я, с вашего разрешения, повторю. Будем живы-здоровы!

В о л ь ф. А что слышно у Гуревичей? Яша все лежит?

Ш в а р ц. Лежит. Старуха увозит его и детей в Москву! Завтра едут! Можете себе представить?

В о л ь ф (*задумчиво*). Вот как? А ведь и вы когда-то тоже собирались в Москву, Абрам!..

Ш в а р ц (*он уже слегка захмелел*). Собирался! Чего только я не собирался сделать! Я всю жизнь безвыездно живу в этом городе. И всю жизнь, сколько я себя помню, я хочу отсюда уехать. (*Помогал головой*.) Нет, Мейер, нет, никуда я уже теперь не уеду и ничего не увижу! Ничего, кроме пьяных мужиков на Рыбаковой балке, и моего товарного склада, и поездов — скорых, курьерских, почтовых... Всяких...

В о л ь ф. Вы все еще ходите по вечерам на станцию?

Ш в а р ц. Случается. Иногда. Помните ту красавицу из скорого, что попросила нас сбежать за кипятком?

Вольф. Ирину?

Шварц. Да, Ирину... То есть нет, не Ирину... Это мы уже сами потом придумали, что ее звали Ириной! Впрочем, это не важно. Тогда мы еще были вполне приличными кавалерами... Что?

Вольф. Хоть куда.

Шварц (*поднимает стакан*). Ну, за Ирину!

Быстро вбегает высокая крупная женщина со страдальческим и вдохновенным лицом, растрепанная, с хитрыми молодыми глазами. Это старуха Гуревич.

Старуха Гуревич (*торжественно*). Еще два дня таких сборов, и меня повезут... Но только не в Москву, а на еврейское кладбище! У вас есть шпагат?

Шварц. Поищем.

Вольф. А «здравствуйте» вы не умеете говорить?

Старуха Гуревич (*равнодушно*). Здравствуйте.

Шварц (*засмеялся*). Смотрите — она не узнала! Это же Мейер Вольф.

Старуха Гуревич. Какой Мейер Вольф? (*Вздрогнула, ескинула голову*.) Бросьте! Мейер Вольф!.. Это вы?

Вольф. Я.

Старуха Гуревич. Оттуда?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Насовсем?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Крупное дело?

Вольф. Как вам сказать...

Старуха Гуревич (*почти угрожающе*). Ну-ну-ну!

Вольф (*пожал плечами*). Допустим.

Старуха Гуревич. Он хочет меня обмануть. (*Усмехнулась*). Имейте в виду — мужчин я вижу насквозь. (*Неожиданно всхлипнув*.) А Яшенька все лежит, знаете? Лежит, не встает. Доктор Ковальчик, этот умник, говорит — везите его на грязь! Так я его спрашиваю, этого умника, — зачем нам куда-то ехать и тратить деньги, когда грязь — это как раз то единственное, что мы всю жизнь имеем дома! И притом совершенно бесплатно! (*Снова всхлипнула, засмеялась, двумя пальцами благоговейно ухватила Вольфа за рукав пиджака*.) Костюмчик тоже оттуда? Пустяки — выделка. А про меня вы уже слышали, Мейер? Везу своих в Москву. Великий путешественник! Колумб!.. Абрам, вы мне найдете шпагат?

Шварц. Держите.

Старуха Гуревич. Спасибо... Знаете что? Приходите к

нам. Через полчаса, когда мы поужинаем. Посмотрите наши железнодорожные билеты, сделаете с Яшенькой немножко лохайм на дорогу. Ну, а потом вы нам, Мейер, про все расскажете... Хорошо?

Вольф. Можно.

Старуха Гуревич. Так я за вами зайду! *(Убегает. В дверях задерживается, оборачивается, видимо, собирается что-то спросить, затем, передумав, машет рукой и исчезает.)*

Шварц *(помолчав)*. Полное впечатление, что она действительно едет открывать Америку — она так шумит.

Вольф. Да, Абрам, кстати, а как поживает ваше собрание почтовых открыток?

Шварц *(гордо)*. Благодарю вас. Мое собрание поживает хорошо. У меня уже две с половиной тысячи штук! *(С надеждой)*. Может, хотите взглянуть?

Вольф. С удовольствием.

Шварц вынимает из ящика стола толстый, переплетенный в кожу альбом, осторожно кладет на колени.

Шварц *(шепотом)*. Здесь у меня Европа... Вот объясните мне, Мейер, почему такое: когда я вижу нарисованную картинку «Лес шумит», или там «Море волнуется», так я поглядел на нее один раз, и мне довольно, клянусь вам! А вот — простая фотография, и под ней подписано «Пляс де ля Конкорд», и ходят люди, и всякое такое — так на эту фотографию я могу смотреть целые сутки, и мне не скучно.

Вольф вытаскивает из кармана несколько почтовых открыток, протягивает их Абраму Ильичу.

Вольф. А такие у вас есть?

Шварц *(всплеснув руками)*. Мейер! *(Бережно разложил открытки на столе.)*

Вольф. Такие есть?

Шварц. Нет, таких у меня нет... Ни одной такой нет... Вот это что?

Вольф. Берлин, Аллея Победы... Видите в углу газетный киоск? Там я купил эти открытки.

Шварц. Вы были в Берлине?

Вольф. Проездом.

Шварц *(восторженно)*. Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!

Вольф *(улыбнулся)*. А как вам нравится Испания?

Шварц. Про Испанию я даже говорить не хочу! Сокровище, Мейер! Они же странные люди, эти испанцы. Обычно они

снимают одну Альгамбру! Какую открытку ни возьми — Альгамбра, и снова Альгамбра, и нох-а-мул Альгамбра... А тут Барселона, Кордова — соковище! *(Перелистывает альбом, останавливается, вскрикивает.)* Боже мой!

В о л ь ф. Что случилось?

Ш в а р ц. Булонский лес пропал... Вот здесь он был, видите, и вот он пропал!.. Ой, и Марсея тоже нет... Двух открыток Марсея...

В о л ь ф. Может быть, вы их выронили?

Ш в а р ц *(медленно)*. Нет, Мейер, я их не выронил! *(Встает, подходит к двери, кричит.)* Давид!

В о л ь ф. Не горячитесь, Абрам!

Ш в а р ц. Хорошо, хорошо... Давид!

В дверях появляется Д а в и д.

Ты мой альбом брал?

Д а в и д *(замялся)*. Н-нет!

Ш в а р ц. Тебе кто позволил брать мой альбом?

Д а в и д. Я не брал.

Ш в а р ц. Не брал? Значит, ты еще и врешь? Воруешь и врешь, босяк! *(В ярости шагнул к Давиду, схватил его за ворот рубахи, встряхнул, ударил ладонью по лицу.)* Я тебя отучу воровать и врать! Я у тебя вышибу из головы эту манеру — воровать и врать!

Давид молча с ненавистью смотрит на отца. Рот у него в крови.

Д а в и д. Я не брал.

Ш в а р ц. Куда ты дел Булонский лес и Марсель?

Д а в и д. Я не брал.

Ш в а р ц. Так, значит, это я взял? Да? Это я — вор?..

Д а в и д. Не знаю.

Гулко хлопает дверь. Вбегает М и т я.

М и т я *(задыхаясь)*. Абрам Ильич!

Ш в а р ц *(медленно повернул голову, холодно спросил)*. Ну? В чем дело? Почему вы кричите?

М и т я. Абрам Ильич, Филимонов вас требует... Ревизия!

Ш в а р ц *(помолчал)*. Вот как? Интересно! А зачем же кричать? *(Усмехнулся.)* Запомните, Митя, хорошенько, — когда че ловек честный, так ему нечего бояться. *(Поднял палец.)* Вы меня поняли? Идите! Подождите меня, Мейер, я скоро вернусь! *(Берет со стола початую бутылку водки, сует ее в карман, кивает Мите, и они вдвоем быстро уходят.)*

Молчание. Вольф встает.

Вольф (*Давиду*). У тебя кровь... Возьми платок — вытри.

Давид. Черт проклятый!

Вольф. Это отец?

Давид (*сквозь слезы*). Отец, отец... Убить его надо к черту, и все!

Вольф (*спокойно*). Ну что ж, убить — это правильно.

Давид. Что?

Вольф. Я говорю, что это ты правильно придумал — убить.

А пистолет или ножик у тебя есть?

Давид (*растерянно*). Нет...

Вольф. Чем же ты его убьешь? Впрочем, пожалуй, ты прав — мальчик из Тульчина может обойтись без ножика и без пистолета. Мальчик из Тульчина должен убить папу так: нужно взять обыкновенную пустую бутылку и насыпать в нее вишневых косточек. И вот когда папа возвращается с работы домой и садится к столу ужинать, ты должен подойти к нему сзади и ударить его бутылкой...

Давид (*испуганно, не отрывая взгляда от лица Вольфа*). Что вы говорите?

Вольф (*резко*). А ты что говоришь?! Глупости болтаешь — убить, убить... Умный мальчик, а болтаешь глупости! Садись-ка, братец, лучше сюда — рядом. Вот так. Ты помнишь меня?

Давид. Да. Вы — дядя Мейер.

Вольф (*кивнул*). Правильно! (*Помолчав.*) Вот и все. Как будто я и не уезжал никуда. Все как прежде, вечер, мы сидим с тобой рядом, и я рассказываю тебе сказку...

Темнеет. Протяжно кричит за окном женщина: «Сереньку-у-у!...»

Давид. Опять Серезжку Соколова мать ищет.

Вольф (*усмехнулся*). Ты знаешь, сколько лет кричит эта женщина? На моей памяти она кричит уже сорок с лишним лет! Ищет своего Сереньку, Петьку, Мишку...

Снова на пороге появляется старуха Гуревич.

Старуха Гуревич. Я за вами, вы готовы? А где Абрам?

Вольф. Его вызвали на склад. Он скоро придет.

Старуха Гуревич (*после паузы*). Вот что, Мейер, как старые друзья... Я же сразу поняла, что при Абраме вы не хотите всего говорить! Помилуй бог, я ничего не имею против него, но ведь это же всем известно, какой у него язык, когда он напьется... Вы затеваете большое дело, да?

Вольф. Нет.

Старуха Гуревич (*не слушая Вольфа, задумчиво*). Может быть, я делаю глупость, что еду в Москву? Так всегда — это еще говорил мой папа, — когда евреи становятся прапорщиками, так перестают отдавать честь! Мы уезжаем в Москву, а вы начинаете здесь большое дело...

Вольф. Я же вам говорю — нет!

Старуха Гуревич. Толкуйте, что я, маленькая?! (*Прищелкнула пальцами.*) Ладно, пошли. Все ждут вас. К нам все-таки не каждый день приезжают гости из Палестины.

Вольф. Сейчас я приду. Еще десять минут.

Старуха Гуревич. Мы ждем. (*Уходит.*)

Молчание.

Вольф (*негромко, без улыбки*). Завтра с утра по всей Рыбачевой балке будут говорить о том, что Мейер Вольф собирается рыть нефтяные скважины, или продавать пальмы, или промывать золотой песок... Что-нибудь в этом роде.

Давид. А разве нет?

Вольф. Нет.

Давид (*разочарованно*). А зачем же вы приехали?

Вольф. Я приехал домой. Я просто приехал домой. Неужели это так непонятно?

Давид. А в вашей квартире Сычевы теперь живут.

Вольф (*заходил по комнате*). Чепуха! Найдем где жить. Не в комнате счастье. Я уехал с маленьким чемоданом и вернулся с маленьким чемоданом. И этот костюм, который на мне, — это мой единственный костюм. И никакие квитанции на получение груза не лежат у меня в кармане! (*Остановился.*) Когда я был таким, как ты, Давид, мой отец торговал перчатками, сумками, пуговицами, поясами. Мы ездили с ним в Польшу, в Галицию, на Украину... Тысячи тысячестечек. И в каждом местечке новое горе, новые заботы и старый разговор: «В будущем году в Иерусалиме». И в каждом местечке имелся свой праведник, который на старости лет отправлялся умирать на святую землю. «Четыре шага по святой земле, и вы очиститесь от всех земных грехов» — так было обещано в старых книгах! И вот с той поры всю жизнь я мечтал накопить денег и поехать туда — в Иерусалим...

Давид. Так оно и вышло.

Вольф (*покачал головой*). Нет, милый, совсем не так. Оказалось, что Стена Плача — это просто грязная старая стена. И что приехал я не на родину, а в чужую страну, где можно только плакать и умирать. И что люди там — чужие мне люди! Что мне Сион и что Сиону переплетчик Вольф из русского города Тульчина?! Ты понимаешь меня?

Давид. Не очень.

Вольф (*улыбнулся*). Ну и хорошо. Тебе и не нужно этого понимать! (*Вздыхнул.*) Да-а, а небо там действительно очень синее. И песок очень желтый. И по вечерам все плачут и молятся. А я, видишь ли, привык, чтобы в тот час, перед сном, когда я кончил работу, вымыл руки и сел у окна, я привык слышать, как женщина зовет своего Сереньку, а мальчишки играют в казаки-разбойники и где-нибудь идут девушки и поют песню... И вот тогда я снова взял в руки свой чемодан...

Бьют часы.



Д а в и д. Половина десятого.

В о л ь ф. Ладно, я пойду. Скажешь папе, что я у Гуревичей.

Д а в и д. Да.

В о л ь ф. Будь умником, Давид.

Д а в и д. Да.

Вольф встал, пошел к двери, обернулся. Говорит медленно, с растерянной и странной улыбкой.

В о л ь ф. Самое нелепое... Вот — я вернулся домой... Прошло каких-нибудь полтора часа, и мне уже начинает казаться, что, может быть, я снова ошибся, а? Может быть, я был совсем не в том Иерусалиме и видел не ту Стену Плача?! (*Махнул рукой.*) Ну да, впрочем, этого ты уж и вовсе не поймешь! Спокойной ночи, Давид! (*Уходит.*)

Тишина. Давид отломил ломоть хлеба, густо посыпал солью. Уселся на стол, жует. В окне появляются две головы — темная и светлая, две смеющихся рожицы. Это Т а н ь к а и Х а н а.

Т а н ь к а. Маугли, братец! Доброй охоты! Мы одной крови, ты и я!

Х а н а. Додька!

Т а н ь к а. Месяц скрылся за тучи... Доброй охоты, братец! Мы одной крови: ты и я!

Д а в и д (*грубо*). Чего надо?

Т а н ь к а. Играть выйдешь?

Д а в и д. Нет.

Т а н ь к а. Почему?

Д а в и д. Потому что... Одним словом, это мое дело — почему!

Т а н ь к а. Что ешь?

Д а в и д. Хлеб.

Т а н ь к а. С чем? С вареньем?

Д а в и д. Нет, просто хлеб с солью.

Т а н ь к а. Тю! А у нас сегодня мать пироги с капустой пекла. Я вот таких четыре куска съела!

Д а в и д. Я не люблю пирогов с капустой.

Т а н ь к а (*иронически*). Черный хлеб вкуснее?

Д а в и д. Да.

Т а н ь к а. Нарочно говоришь? Ты пойдешь с нами в Маугли играть?

Д а в и д. Нет, не пойду.

Т а н ь к а. А в Буденного?

Д а в и д. И в Буденного не пойду!

Т а н ь к а (*наконец обиделась*). Ну и не надо, подумаешь. Мы Вовку Павлова возьмем. Он и как тигр Шер-хан умеет рычать, и лает, и все!

Д а в и д. Вот и валяй. Зови Вовку Павлова.

Т а н ь к а. И позову!

Д а в и д. Зови, зови.

Т а н ь к а (*чуть не плача*). И позову! (*Исчезает.*)

Д а в и д. Танька!

Х а н а. Она убежала уже.

Д а в и д (*после паузы*). Ну и пусть!

Х а н а. А я к тебе прощаться пришла. Мы ведь завтра рано уедем — ты еще спать будешь.

Д а в и д. Вы почтовым, восемьдесят третьим?

Х а н а. Да.

Д а в и д. Плохой поезд! Что ж, до свиданья, Хана.

Х а н а (*протянула нараспев*). До-сви-данья! Ты так говоришь, как будто мы через неделю опять встретимся. А мы, может, и не встретимся никогда больше.

Д а в и д. Встретимся. Я тоже в Москву приеду — учиться. В консерваторию. Кончу школу и приеду.

Х а н а. Правда?! (*Задумчиво улыбнулась.*) Ты приедешь, а я тебя встречу... Ты мне письмо пришли, ладно? И я тебя встречу. Запиши мой адрес.

Д а в и д. Говори, я запомню.

Х а н а (*торжественно*). Москва, Матросская тишина, дом десять, квартира пять. Гуревичу, для Ханы. Повтори.

Д а в и д. Москва, Матросская тишина... Погоди, а что такое — Матросская тишина?

Х а н а. Не знаю. Улица, наверное.

Д а в и д (*повторил, с интересом прислушиваясь к звучанию слов*). Матросская тишина! Здорово! Ведь вот — не назовут у нас так... Только это, конечно, не улица. Это гавань, понимаешь? Кладбище кораблей. Там стоят всякие шхуны, парусники.

Х а н а. В Москве нет моря.

Д а в и д. Ну — река. Это все равно, чудачка. И там, понимаешь, стоят всякие шхуны, парусники, а на берегу, в маленьких домиках живут старые моряки. Такие моряки, которые уже не плавают, а только вспоминают...

Слышен голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Х а н а. Мне пора. Мама зовет... Давид, ты скоро приедешь?

Д а в и д. Не знаю.

Х а н а. Слушай, ты подари мне на память чего-нибудь, ладно?

Д а в и д. У меня нет ничего! (*Подумав.*) Вот, возьми, что ли? (*Протягивает Хане в окно листок бумаги.*)

Хана смотрит, хмурится, затем решительным жестом возвращает листок обратно.

Хана. Не надо мне!

Давид. Ты что?

Хана (*взволнованно*). Танька не уезжает, а ты ей целых три открытки подарил! А я уезжаю, так ты мне какую-то картинку вырезанную даешь!

Давид. Зато на ней корабль нарисован. Я эту картинку над своим столом повесить хотел.

Голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Хана. Бегу. До свидания.

Давид. До свидания, Хана.

Хана. Адрес не забудь.

Давид. Да, да.

Хана. Пиши непременно.

Давид. Ладно.

Хана. До свидания, Давид!

Давид. До свидания, Хана!

Хана убегает. Давид один. Он садится в кресло, вытирает рот платком. Тикают часы. Прогрохотал поезд. Стало совсем темно. Где-то далеко, на другом дворе, захрипела шарманка:

И мой всегда, и мой везде,

И мой сурок со мной.

Шарманка захлебнулась и умолкла. Внезапно с грохотом открывается дверь, на пороге появляется маленькая, нелепая, растерзанная фигура Шварца.

Шварц (*еле ворочает языком*). Додик!

Давид (*не двигаясь*). Явился!

Шварц. Почему здесь так темно, а?

Давид. Я лампу зажгу.

Шварц. Ой, не надо! Я лягу спать... Я сейчас лягу спать. Ты раздеться мне помоги...

Давид. Еще чего!

Шварц (*пытаясь быть строгим*). Давид!

Давид. Что?.. Испугался один такой! Проспишься, все равно ни черта помнить не будешь!..

Шварц. Раздеться мне помоги...

Давид. Сам разденешься.

Шварц. Ботинки... Ботинки с меняними... Додик...

Давид. Я свет зажгу.

Шварц. Не надо.

Давид. А я говорю — надо! (*Подходит к столу. Возится с настольной лампой.*)

Шварц уселся на пол.

Шварц. Ботинки с меняними...

Давид. Успеется... (Зажег наконец лампу. Поставил ее на пол рядом со Шварцем.)

Шварц (испугался). Ты что это, а?.. Ты чего? Ты спалить меня хочешь?..

Давид. Нужен ты мне!

Шварц (его совсем развезло). Ты погоди... А ты — кто?.. Я извиняюсь, а вы кто?.. Вы по какому праву?..

Давид. Да помолчи ты, честное слово.

Шварц неожиданно привстал на колени и заплакал.

Шварц. Ваше благородие, не погубите! Не для себя... Клянись вам, не для себя!.. Не погубите, ваше благородие!

Давид подошел к бочке у двери. Зачерпнул ковшом воды, выплеснул на Шварца. Шварц ткнулся ничком в пол, забормотал что-то невнятное. Молчание.

Давид. Ну!

Шварц (почти трезво). Додик, помоги мне раздеться.

Давид поднял Шварца, усадил в кресло. Перенес лампу на стол.

А что с лицом у тебя? Почему губа распухла?

Давид. Ты не помнишь?

Шварц. Нет... Это — я?

Давид. Ты!

Шварц (вскрикнул). Нет!

Давид. Да.

Шварц (горестно). Додик, милый!.. Ну, ударь теперь ты меня!.. Ну, хочешь — ударь теперь ты меня!

Давид. Папа!

Шварц порывисто обнял Давида, зашептал.

Шварц. Ничего, Додик! Ничего, мальчик! Ты не сердись на меня... Ничего... Мы с тобой вдвоем... Только мы вдвоем... Больше нет у нас никого! Я ведь знаю — и что жуликом меня называют, и мучителем, и ... А-а, да пусть их! Верно? Пусть! Я же целый день, как белка в колесе, верчусь на своем товарном складе — вешаю гвозди и отпускаю гвозди, принимаю мыло и отпускаю мыло, и выписываю накладные, и ругаюсь с поставщиками... Но в голове у меня не мыло, и не гвозди, и не поставщики! Я выписываю накладные и думаю... Знаешь, о чем? (Взма-

*хнул руками.*) Большой, большой зал... Горит свет, и сидят всякие красивые женщины и мужчины, и смотрят на сцену... И вот объявляют — Давид Шварц, и ты выходишь и начинаешь играть! Ты играешь им мазурку Венявского, и еще и еще, и еще... И они все хлопают и кричат: «Браво, Давид Шварц!» — и посылают тебе цветы, и просят, чтобы ты играл снова, опять и опять! И вот тогда ты вспомнишь про меня! Тогда ты непременно вспомнишь про меня! И ты скажешь этим людям: это мой папа сделал из меня то, что я есть! Мой папа из маленького города Тульчина! Он был пьяница и жулик, мой папа, но он хотел, чтобы кровь его, чтобы его сын — узнал, с чем кушают счастье! Сегодня они устроили ревизию! Ха, чудачки!.. Натэ — ищите!..

Загудел поезд.

А тебя я сделаю человеком... Понял? Чего бы это ни стоило, но я тебя заставлю быть человеком!..

Гудит поезд.

Вот этого я слышать не могу — поезда, поезда... Уезжают, приезжают... Не могу этого слышать!

Гудит поезд.

Да что он, взбесился, что ли? *(Встает. В руках у него керосиновая лампа. Стоит на середине комнаты, маленький, страшный, взбешенный, покачиваясь и угрожая глядя в окно.)*

Гудит поезд.

Д а в и д. Папа!

Гудит поезд.

Ш в а р ц *(в окно, смешным, тонким голосом)*. Замолчи!.. Замолчи!.. Немедленно замолчи!..

Равнодушно кричит женщина: «Сереньку-у-у!»

Гудит поезд.

З а н а в е с

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Юность. Москва.

Май тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Строительные леса на улице Горького. Открытые бежевые «линкольны» возят по городу иностранных туристов. Туристы вежливо улыбаются, вежливо восхищаются, вежливо задают двусмысленные вопросы и с некоторой опаской поглядывают на бойких девушек-переводчиц.

По вечерам не протолкаться на танцевальных площадках, в цветочных киосках нарастают ландыши и сирень, а на площади Пушкина, у фотоквитрин «Известий», с утра и до ночи взволнованно и безмолвно толпится народ, разглядывая фотографии далекой Испании, где фашистам все еще не удалось отрезать от Мадрида Университетский городок.

В тот год мы окончательно стали москвичами. Еще совсем недавно робкие провинциалы, мы впервые, разинув рты, бродили по набережным, почтительно следовали правилам дорожного движения и писали длинные, восторженные и подробные письма домой. Потом письма стали короче. Всего несколько слов: о том, что мы здоровы, об институтских отметках и о том, что нам опять нужны деньги. Мы научились торопиться. Мы были одержимы, влюблены, восторженны и упрямы. Нам исполнилось девятнадцать лет.

Вечер. Комната в общежитии студентов Московской консерватории. Две кровати, два стула, две тумбочки и большой стол, у которого табурет заменяет отломанную ножку. На стене — пыльная маска Бетховена. Давид в тапочках, в теплой байковой куртке, с завязанным горлом расхаживает по комнате. Он играет на скрипке, зажав в зубах докуренную до мундштука папиросу. Таня — тоненькая, ясноглазая — караулит у электрической плитки закипающее молоко.

Давид. ...Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и! (*Со злостью опускает скрипку.*) Нет, ни черта не выходит сегодня.

Таня. Что такое?

Давид (*оттопыривая губы*). Ты знаешь, иногда я слышу все. Даже то, что никто не слышит. Ну, например, слышу, как плывут облака, как ты улыбаешься, как Славка думает... А иногда — вот как сегодня — наступает вдруг какая-то полнейшая и совершеннейшая глухота... Который час, между прочим?

Таня. Половина девятого. Тебе температуру мерить пора.

Давид. А ты уходишь?

Таня. Я вернусь.

Давид. Это ужасно! Мы не виделись целую вечность — то у меня зачеты, то у тебя зачеты...

Таня. Я вернусь. Получу новое платье и вернусь! (*Заломила руки.*) Ах, я буду очень красивая в новом платье.

Давид (*ворчливо*). Ты и так очень красивая. Даже, я бы сказал, чересчур! Ладно, давай градусник. (*Прячет скрипку в футляр, садится на кровать.*)

Таня, выключив плитку, снимает молоко.

Таня. Надо же ухитриться — заболеть ангиной в мае месяце.

Давид (*засовывает градусник под мышку*). А я, как известно, человек необыкновенный.

Таня. Хвастун.

Давид. Э-э, старо! Хвастун, хвастун — а почему я хвастун?

Я персональную стипендию получаю? Получаю! В «Комсомолке» про меня писали? Писали! Замуж ты за меня выйдешь? Выйдешь! Почему же я хвастун?..

В комнату без стука входит очень худая и высокая, остриженная по-мужски и с мужскими ухватками, длинноногая и длиннорукая девица. Это —  
Л ю д м и л а Ш у т о в а из Литинститута.

Людмила Шутова подходит к столу, берет стакан с молоком, отпивает глоток, неодобрительно морщится и ставит стакан обратно.

Л ю д м и л а. Привет!

Д а в и д. Слушай, Людмила, ты почему не стучишь?

Л ю д м и л а. А потом постучу. На обратном пути. Шварц, ну-ка давай быстро — в каком году был Второй съезд партии?

Д а в и д. В девятьсот третьем.

Л ю д м и л а. Так. Нормально. А где?

Д а в и д. Сначала в Брюсселе, а потом в Лондоне.

Л ю д м и л а. Так. А закурить нету?

Д а в и д. Нет.

Л ю д м и л а. И Славка Лебедев отсутствует! Судьба! Хотите, стихи прочту новые? Гениальные!

Д а в и д. Твои?

Л ю д м и л а. Мои, конечно!

Д а в и д. Не надо. Будь здоров.

Л ю д м и л а. Теплое!

Т а н я (*возмугилась*). Послушайте!..

Л ю д м и л а (*не обращая на Таню ни малейшего внимания*).

Мы пьем молоко и пьем вино,  
И мы с тобою не ждем беды,  
И мы не знаем, что нам суждено  
Просить, как счастья, глоток воды!

(*Раскланивается и уходит — не забывая в коридоре постучать в дверь.*)

Д а в и д. Психическая! (*Вытащил градусник.*) Тридцать семь и семь.

Т а н я. Ого! Ну-ка, ложись немедленно!

Д а в и д. Ложусь. А ты не уходи. (*Скинув тапочки, ложится поверх одеяла.*)

Тишина. Тикает будильник. Далеко гудит поезд.

Т а н я (*тихо*). Поезд гудит... Вот и лето скоро! Кажется, уж

на что большой город Москва, а поезда, совсем как в Тульчине, гудят рядом... Помнишь?

Д а в и д (с неожиданной злостью). Нет. Не помню. И не хочу помнить. И я тебе уже говорил. Для меня все началось два года назад, на площади у Киевского вокзала! Вот — слез с поезда, вышел на площадь у Киевского вокзала, спросил у милиционера, как проехать в Трифоновский студенческий городок. — и с этого дня себя помню... Хана злится, что я к ним в гости не прихожу, а я не могу!

Т а н я. Почему?

Д а в и д. Не могу! Местечковые радости! Хана, Ханина мама. Ханин папа. Детям дадут по рюмке вишневки, а потом начнут пить чай с домашними коржиками... Смертная тоска, не могу!

Т а н я. И ты ни разу не был у них?

Д а в и д. Ни разу. (Усмехнулся.) Смешно! Сколько лет я мечтал побывать на улице Матросская тишина...

Т а н я. Поправишься — поедем.

Д а в и д. Нет. Зачем? Это ведь самая обыкновенная улица. А кто-то придумал, что это кладбище кораблей, где стоят шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки... А там на самом деле живут Ханины родственники! Нет, не надо ездить на Матросскую тишину!

Молчание. Гудит поезд.

Т а н я. А зимою поездов почти не слышно, ты заметил? И осенью, когда дожди... А летом и особенно весной, по вечерам, они так гудят... Почему это?

Д а в и д. Не знаю.

Т а н я. А хочется уехать, верно?

Д а в и д. Куда?

Т а н я. Куда-нибудь. Просто — сесть в поезд и уехать. Чтобы чай в стаканах с большими серебряными подстаканниками и сухари в пакетиках... А на остановке — яблоки, помидоры, огурцы... И бежать по платформе в тапочках на босу ногу... А утро ранее-ранее, и холодно чуть-чуть... Будет так?

Д а в и д. Будет. Непременно.

Т а н я. Я стала очень жадная, Додька! Хочу, чтобы все исполнилось. Все, что придумала. Самая малая малость. Ничего не желаю уступать. Вот кончим, и тогда...

Быстро входит сосед Давида — С л а в а Л е б е д е в. Он коренастый, косолапый, у него открытое мальчишеское лицо и большие, солидные роговые очки.

Л е б е д е в. Добрый вечер.



Т а н я. Добрый вечер, Славочка.

Лебедев. Тебе письмо, Давид. *(Через стол перебросил Давиду письмо. Сел на свою кровать, закрыл руками лицо.)*

Т а н я. Что с вами?

Лебедев. Голова болит.

Т а н я. И вы захворали?! Честное слово, прямо не общежитие, а лазарет!

Д а в и д. Слава, а что в газетах?

Лебедев. Все то же. Продолжаются бои на подступах к Мадриду.

Давид вскрыл конверт, быстро пробежал глазами письмо.

Т а н я. Откуда?

Д а в и д. Из Тульчина. Целый месяц шло. *(Встал, со злостью разорвал письмо, бросил в пепельницу.)*

Т а н я. Что такое?

Д а в и д. А какого черта он денег не шлет?!

Т а н я. Кто?

Давид, не отвечая, грустно примостился на подоконнике.

В общем, я уйду... Через час вернусь. Хотите, Слава, я пирамидона вам принесу?

Лебедев. Спасибо, у меня есть. Большое спасибо.

Т а н я *(наклоняясь к Лебедеву)*. Славочка, вы очень хороший человек! Правда, правда! И вот что — можно, я вам буду говорить «ты»? *(Засмеялась.)* Мальчишки, сидите и ждите — я скоро вернусь, и мы что-нибудь вместе придумаем! *(Снова засмеялась, перекружилась на каблуках и исчезла.)*

Долгое молчание.

Лебедев. Никто не спрашивал меня?

Д а в и д. Нет, никто.

Лебедев. Голова смертельно болит. А Таня откуда знает? Ты ей сказал?

Д а в и д. Да.

Лебедев. Ну, правильно. Я ведь и не скрываю... Черт, голова как болит! Весь день прошатался по городу! Все думал!

Д а в и д. О чем?

Лебедев. Об отце. Ты пойми, ведь я не просто любил его. Я им всегда гордился. И всегда помнил о нем. Даже на зачете, когда Чайковского играл, — помнил об отце. О том, что это он научил меня говорить, читать, запускать змея, переплывать Волгу...

Д а в и д *(вспыхнув)*. Перестань!

Лебедев. Что ты?

Давид (*помолчав*). Ничего, извини.

Лебедев. А теперь мне говорят — он враг... Должен я в это верить или не должен?

Давид. Должен.

Лебедев. Почему?

Давид. Потому что ты комсомолец...

Лебедев (*резко*). А я не комсомолец!

Давид (*опешил*). Что-о?

Лебедев. Меня исключили сегодня. И со стипендии сняли. Вот, брат, какие дела!

Давид (*недоверчиво*). Врешь? (*Поглядел на Лебедева, сжал кулаки.*) Ну, это уж слишком! Это ерунда, Славка!

Лебедев (*взорвался*). Да? А что не слишком? На каких это весах меряют, что слишком, а что не слишком?! (*Поморщился.*) Черт, как болит голова! А в общем, Додька, тяжело! Очень тяжело. Из консерватории придется, конечно, уйти!

Давид. Ты шутишь?

Лебедев (*усмехнулся*). Разве похоже? Нет, не шучу. У меня в Кинешме мать, сестренка маленькая — мне помогать им теперь надо... Уйду в какое-нибудь кино...

Давид. В какое кино?

Лебедев. Ну, в оркестр, который перед сеансами играет... Что я, «Кукарачу», что ли, сыграть не смогу?!

В дверь стучат.

Давид. Кто там?

Входит, прихрамывая, высокий русоволосый человек в гимнастерке и сапогах. Это секретарь партийного бюро консерватории — Иван Кузьмич Чернышев. Ему сорок лет, не больше, но и Давиду и Славе Лебедеву он, разумеется, кажется стариком. У него широкое рябое лицо, добрые близорукие глаза. В руке у Чернышева полевая сумка, чем-то туго набитая, повидавшая виды.

Чернышев. Добрый вечер, друзья! К вам можно?

Давид (*удивленно и радостно*). Иван Кузьмич? Здравствуйте. Конечно, можно. Милости просим.

Лебедев (*коротко*). Здравствуйте.

Чернышев неторопливо придвигает стул к постели Давида, вытирает платком лицо.

Чернышев. Жарко. Как здоровье, Давид?

Давид. Температура.

Чернышев (*покачал головой*). Беда-а! (*Улыбнулся.*) Поправляйся скорей, дела есть.

Д а в и д (*внимательно поглядел на Чернышева, прищурил глаза*). Иван Кузьмич, это очень хорошо, что вы пришли! Очень хорошо. Я сейчас... Мне сейчас сказал Лебедев...

Л е б е д е в. Давид, перестань!

Отворяется дверь, и снова появляется Л ю д м и л а Ш у т о в а.

Л ю д м и л а. Шварц!

Д а в и д (*резко*). Людмила, к нам сейчас нельзя!

Л ю д м и л а. Ничего, ничего! Мне можно! Шварц, а какой основной вопрос стоял на Втором съезде?

Д а в и д. До чего же ты мне надоела! Программа партии.

Л ю д м и л а. Так, нормально. А закурить нет, Славка?

Л е б е д е в. Нет.

Ч е р н ы ш е в (*с улыбкой*). И я не курю.

Л ю д м и л а. Жалете! Все у вас, ребята, есть — только совести у вас, ребята, нет...

Д а в и д. Людмила, уходи!

Л ю д м и л а. Между прочим, Славка, держи тридцать рублей. Я зимой у тебя брала. Не помнишь? Держи, держи и не спорь! (*Положила руку Лебедеву на плечо.*) И не горюй, Славка! Выше голову!

Мы еще побываем у полюса,  
Об какой-нибудь айсберг уколемся.  
И добраться — не красные ж девицы —  
К мысу Доброй Надежды надеемся!  
И, желанье предвидев заранее,  
Порезвимся на Мысе Желания!

Д а в и д. Людмила!

Л ю д м и л а. Поэма не кончена, продолжение в следующем номере... Прощай, прощай и помни обо мне! (*Уходит.*)

Молчание.

Ч е р н ы ш е в (*засмеялся*). Занятная гражданочка! Это кто же такая?

Д а в и д. Шутова Людмила. Из Литинститута. Она не то гениальная, не то ненормальная! Не поймешь!

Л е б е д е в (*с виноватой и смущенной улыбкой спрятал деньги в карман пиджака*). Какой-то долг выдумала...

Молчание.

Д а в и д (*волнуясь*). Вот, кстати, Иван Кузьмич, я начал говорить, а она перебила... Я хотел... Мне сейчас сказал Славка, что его исключили из комсомола и сняли со стипендии.

Чернышев (*негромко*). Ну, насчет комсомола — этот вопрос будет окончательно решать райком. А насчет стипендии — зайди в понедельник, Лебедев, в дирекцию к Фалалею — он тебе даст приказ почитать.

Лебедев. А я уже читал, спасибо.

Чернышев. Ты утренний приказ читал. А это другой — вечерний.

Давид. О чем?

Чернышев. Об отмене утреннего! (*С невеселым смешком.*) Как говорится — круговорот азота в природе. Вы проходили в школе такую штуковину?

Давид. Видишь, Славка?

Лебедев (*зачем-то снял очки, подышал на стекла. Встал.*) Вижу! До свидания!

Чернышев. погоди! Ты смотрел новое кино «Депутат Балтики»?

Лебедев. Нет еще.

Чернышев. И я не смотрел. А говорят, стоит! Может, сбегаешь, если не лень, возьмешь билеты на девять тридцать.

Лебедев (*растерялся*). А кто пойдет?

Чернышев. А вот мы с тобой вдвоем и пойдем... Или моя компания тебя не устраивает?

Лебедев. Нет... Только я... Хорошо...

Чернышев. Возьми деньги.

Лебедев. Иван Кузьмич!

Чернышев. Бери, не выдумывай! Я ж не девица, что тебе за меня платить. Беги, я тебя здесь обожду!..

Лебедев. Хорошо. (*Быстро уходит.*)

Чернышев снова усмехается, встал, потрогал рукой электрический чайник, включил штепсель, вытащил из полевой сумки завернутые в бумагу бутерброды с колбасой, положил на стол.

Чернышев. Очень хитрый был человек — Иван Кузьмич Чернышев. И поесть успею, и чаю напьюсь, и кино посмотрю, и с тобой пошепчусь... Разумеешь?

Давид. О чем, Иван Кузьмич?

Чернышев. О жизни, милый друг.

За окном по улице проходит отряд. Торжественно и грозно гремит марш:

Мы идем боевыми рядами,  
Дело славы нас ждет впереди,  
Знамя Ленина реет над нами,  
Имя Ленина мы носим в груди...

Д а в и д *(тихо)*. Неужели все-таки возьмут Мадрид? Тогда это конец, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Нет, не конец. Совсем не конец. Боюсь, только начало! *(Разломил бутерброд, протянул половину Давиду.)* Хочешь?

Д а в и д. Нет, спасибо!

Ч е р н ы ш е в. Дело хозяйское! *(С наслаждением принялся за еду.)* Так вот, Давид, ты насчет Всесоюзного конкурса скрипачей слышал что-нибудь?

Д а в и д *(насторожился)*. Слышал.

Ч е р н ы ш е в. У нас по этому поводу в консерватории был нынче ученый совет. Составляли список — кого пошлем.

Д а в и д. Ну?

Ч е р н ы ш е в. До седьмого пота спорили. Каждому, конечно, хочется, чтобы его ученика послали, это вполне естественно. Ну, а я, как тебе известно, не музыкант, я в подобные дела обычно не вмешиваюсь... Но как-то оно так сегодня вышло, что предложил я твою кандидатуру...

Д а в и д *(восторженно)*. Иван Кузьмич!

Ч е р н ы ш е в. погоди! Предложил, знаешь, и сам не рад. Такую на тебя критику навели, только держись! И молод еще, и кантилена рваная, и то, и другое...

Д а в и д *(упавшим голосом)*. Иван Кузьмич!

Ч е р н ы ш е в *(улыбнулся)*. погоди огорчаться! Включили тебя. *(Погрозил пальцем.)* Но только смотри! Насчет кантилены ты подзаймись! Ведь не зря люди говорят, что хромает она у тебя... Да я и сам вижу. Ты подумай об этом, Давид, подтянись!

Д а в и д *(с силой)*. Я как зверь буду заниматься! И сейчас, и летом, и осенью! *(После паузы.)* А еще кого наметили, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Всего пять человек.

Д а в и д. И Славку Лебедева?

Ч е р н ы ш е в *(нахмурился)*. Нет.

Д а в и д. Нет? Но, Иван Кузьмич, вы поймите, надо же разобратся — ведь ничего же, в сущности, неизвестно...

Ч е р н ы ш е в *(сухо)*. Разберутся...

Д а в и д. Кто? Когда?

Ч е р н ы ш е в *(помолчав, сдержанно)*. Видишь ли, Давид, я семнадцать лет в партии. И я привык верить: все, что делала партия, все, что она делает, все, что она будет делать, — все это единственно разумно и единственно справедливо. И если когда-нибудь я усомнюсь в этом, то, наверно, пушу себе пулю в лоб! *(Снова помолчав.)* А у тебя есть отец?

Д а в и д (сжался). Есть.

Ч е р н ы ш е в. Чем занимается? Музыкант?

Д а в и д. Да, музыкант... Вернее, не совсем музыкант, а он... (Мучительно подбирая слова, он выпаливает неожиданно для самого себя.) Он дирижер! Руководит оркестром в кино... Знаете — который перед сеансом играет! (Деланно засмеялся.) Ну, всякую там «Кукарачу»! Знаете?

Ч е р н ы ш е в (кивнул). Слышал!

Осторожный стук в дверь.

Д а в и д. Да?.. Кто там?..

Входит худенькая смуглая девушка. Длинные черные косы уложены короной вокруг головы. Это — Х а н а Г у р е в и ч.

Х а н а. Можно?

Д а в и д. Хана? (Поморщился.) Здравствуй... Ну, чего ты стала в дверях? Входи.

Х а н а. Здравствуй. Добрый вечер.

Ч е р н ы ш е в. Добрый вечер.

Д а в и д. Как ты нашла меня?

Х а н а (пожала плечами). Нашла. Ты ведь к нам не приходишь, вот мне и пришлось самой тебя искать. Ты нездоров?

Д а в и д. Ангина. Как встану, обязательно к вам приду... Через недельку, наверное...

Х а н а (улыбнулась). Что ж, приходи. Наши будут очень рады тебе.

Д а в и д. А ты?

Х а н а. А я уеду уже.

Д а в и д. Куда?

Х а н а. На Дальний Восток!

Д а в и д. На каникулы?

Х а н а. Нет. Работать... Помнишь — было в газетах письмо Хетагуровой?

Д а в и д. Помню.

Х а н а. Ну, вот я и еду.

Ч е р н ы ш е в. Молодчина какая! (Протянул руку.) Здравствуйте! А мы с вами знакомы, Хана!

Х а н а (очень удивлена). Знакомы?

Ч е р н ы ш е в. Да. И я даже был у вас дома — на Матросской тишине. Я с вашим папой, с Яковом Исаевичем, служил у Буденного, в Первой Конной!..

Х а н а (радостно всплеснула руками). Ой, тогда и я вас знаю! Вы — Чернышев Иван Кузьмич. Верно?

Чернышев. Иван Кузьмич... Здравствуйте, Хана!

Хана. Здравствуйте, Иван Кузьмич!

Чернышев. А вы похожи, между прочим, с Давидом... Вы не родственники?

Хана. Нет. Мы просто из одного города. Земляки.

Давид (*торопливо*). Да, да, земляки!.. Слушай, а как тебя мамаша твоя отпустила — вот чего я понять не могу!

Хана (*махнула рукой*). Досталось мне! Сперва она плакала, потом шумела, теперь опять плачет... А я рада! Так рада, даже пою целыми днями от радости! Представляешь — сесть в поезд и уехать... Хорошо!

Давид. Когда едешь?

Хана. Скоро. На днях.

Давид. Чудеса.

Хана. И снова мы с тобой прощаемся, Додька. Не видимся годами, а как увидимся — так прощаемся.

Давид. Придется мне к вам на Дальний Восток с концертами ехать.

Хана (*усмехнулась*). Правда? Ты пришли телеграмму — я тебя встречу.

Давид. Забавно получается — ты от меня, а я за тобой.

Хана. Да, а я от тебя! (*Облокотилась на подоконник.*) А как Танька живет? Ты встречаешь ее?

Давид (*уклончиво*). Встречаю. Иногда. Она ничего живет — учится на юридическом, переходит на второй курс.

Хана (*скривила насмешку*). Ты кланяйся ей... Если увидишь. (*Быстро взглянула на Давида и засмеялась.*) А что из дома пишут?

Давид (*скривился*). Да ну!.. Пишут.

Хана. Скучаешь?

Давид. Нет.

Хана. А я скучаю. Очень хочется поехать туда... Не жить, нет! Мне бы только пройтись по Рыбаковой балке, под акацией нашей посидеть, поглядеть, какие все стали...

В дверь стучат.

Чернышев. Стучат, Давид!

Давид. Разве?.. Ну, кто там? Не заперто!

Отворяется дверь, и входит Абрам Ильич Шварц. Он в длинном черном пальто. В старомодной кастровой шляпе. В руках чемодан, картонки и пакеты. Он останавливается на пороге, взволнованно и чуть виновато улыбается.

Шварц. Здравствуйте, дети мои! Шолом-алейхем!

Давид (*испуганно*). Кто?!

Хана. Абрам Ильич!

Давид. Папа!..

Шварц. Здравствуй, Давид, здравствуй, мальчик! (Роняя картонки и пакеты, подбежал к Давиду, обнял.)

Молчание.

Давид (задыхаясь). Как ты?! Откуда ты?..

Шварц (тихо). Ты не знаешь, куда я мог деть носовой платок? Дай мне свой... Извините меня, это от радости!..

Молчание

(Уселся на кровати рядом с Давидом. Вытер глаза носовым платком, высморкался, внимательно оглядел комнату.) А ты прилично устроился. Вполне прилично... устроился. Вполне прилично... А почему ты лежишь? Ты болен?

Давид (все еще задыхаясь). Нет... Послушай... Зачем ты приехал? Каким образом?

Шварц. Сел на поезд и приехал. Теперь, слава богу, никто от меня права на жительство не требует... Погодите-ка, вы, девушка, вы не Хана Гуревич?

Хана. Да. С приездом, Абрам Ильич.

Давид. Папа.

Хана засмеялась.

Шварц (весело). Она смеется! Ну-с, так я взял деньги и приехал в Москву. А на складе меня замещает Митя Жучков... Ты помнишь, Давид, моего Митю? Кладовщика? Того самого Митю, с которым мы когда-то занимались всякими комбинациями...

Давид (стиснув зубы). Папа!

Шварц. Что? Это же было давно, милый. Мы крутились и комбинировали, крутились и комбинировали, а потом я сказал — хватит!.. Кого мы обманываем? Самих себя! Нам дали всю землю, а мы хотим украсть серебряную ложку и сбежать, как дурак из сказки... Зачем нам не спать ночей? Зачем нам прятать глаза? Попробуем жить так, чтобы наши дети нас не стыдились! Очень интересный был разговор, можете мне поверить... Почему вы не кушаете чернослив? Кушайте все... Это для всех поставлено. Кушайте, товарищ, не знаю вашего имени-отчества.

Чернышев. Иван Кузьмич Чернышев.

Шварц (припоминая). Чернышев, Чернышев... Где я слышал эту фамилию? Вы не из Херсона?

Давид. Папа!



Чернышев. Нет.

Шварц. Впрочем, там был не Чернышев, а этот...

Давид (*в ярости*). Папа!

Шварц. Ну, не важно... Вы приятель Давида?

Давид. Иван Кузьмич — секретарь партийного бюро консерватории.

Шварц. Вот как? (*Вскочил, протянул Чернышеву руку.*) Извините, будем знакомы! Шварц, Абрам Ильич... Папа Давида.

Чернышев (*улыбнулся*). Об этом я уже догадался.

Шварц. Я очень рад познакомиться с вами, товарищ Чернышев. Очень рад. Что вы скажете про Давида? Как он учится?

Чернышев. Хорошо учится.

Шварц. Да? И его ценят? К нему подходящее отношение?

Давид. Папа, перестань!

Шварц. Почему! Почему я должен перестать? (*Покачал головой.*) Нет, друзья мои, когда всю жизнь ты думаешь только о том, чтобы твой сын вышел в люди, так ты имеешь право спросить — стоило тебе думать, и работать, и мучиться или не стоило? Пришла, как говорится, пора собирать пожитки и кончать ярмарку. И вот я хочу знать — с пустыми руками я уезжаю или нет? Понимаете?

Чернышев. Понимаю.

Шварц (*взволнованно*). Нет, товарищ Чернышев, извините, конечно, но вы этого никогда не поймете как следует! Чтобы такое понять, нужно родиться в Тульчине, на Рыбаковой балке. И как господа бога бояться околоточного надзирателя. И ходить на вокзал смотреть на дальние поезда. И прятаться от погрома. Нужно влюбиться в музыку за чужим окном и в женский смех за чужим окном. Нужно купить на базаре копилку, глиняную копилку, на которой фантазер вроде тебя написал красивую цифру — миллион! И положить в эту копилку рваный рубль! На эти деньги ты когда-нибудь будешь учить сына, если бог позволит тебе иметь детей!.. А-а! (*Махнул рукой.*) Можно, я поцелую тебя, Давид?

Давид (*грубо*). У меня насморк!

Хана. Давид!

Шварц. С насморком нельзя целовать девушек. Ханочку нельзя целовать с насморком, а папу можно. Ну, ничего, ничего... Кушайте чернослив. Я, наверно, очень много говорю. Но это просто потому, что я взволнован. Я почти три года не видел Давида... И я, стыдно признаться, в первый раз в жизни в Москве.

Чернышев. Нравится?

Шварц. Не знаю... Понятно, нравится... Но я еще ничего не видел. Прямо с вокзала — сюда. Завтра ты меня поведешь, Давид, в Третьяковскую галерею. А потом в Мавзолей Ленина. А потом в Парк культуры... У меня записана вся программа! Да, в Большой театр трудно попасть?

Хана. Трудно.

Шварц. А что, если мы попросим товарища Чернышева? Вы не сумеете помочь, товарищ Чернышев?

Чернышев. Постараюсь.

Шварц. Большое спасибо! *(Внезапно нахмурился.)* И потом, у меня есть еще одно дело... Вы понимаете, дети мои, посадили Мейера Вольфа!

Хана. Дядю Мейера? За что?

Шварц. Деточка моя, кто это может знать? «За что?» — это самый бессмысленный в жизни вопрос! *(Обернулся.)* Понимаете, товарищ Чернышев, этот Вольф — одинокий больной человек... Ну, и мы собрались — несколько его друзей — и написали письмо на имя заместителя народного комиссара товарища Белогуба Петра Александровича... Так вот, вы не знаете, куда мне отнести это письмо?

Чернышев *(сухо)*. Не знаю. Пройдите на площадь Дзержинского — там вам скажут.

Шварц *(записал в книжечку)*. На площадь имени товарища Дзержинского? Так, спасибо! *(Усмехнулся.)* Вам не кажется, что было бы лучше, если бы площадь называлась именем товарища Белогуба, а наше письмо прочел бы товарищ Дзержинский?! Давид. Папа!

Вбегает Слава Лебедев.

Лебедев *(в дверях)*. Иван Кузьмич!.. Здравствуйте!

Шварц *(добробудшно)*. Здравствуйте, милости просим.

Лебедев. Иван Кузьмич, я достал... Только надо быстрой — там уже в зал пускать начинают!

Чернышев. Побежали. *(Встал, застегнул полевую сумку.)*

Шварц. Вы уходите? Посидите, товарищ Чернышев, а?

Чернышев. Извините, Абрам Ильич, мы в кино... Всего вам хорошего! До свидания...

Шварц. До свидания. Вы не забудете — насчет Большого театра?

Чернышев. Нет, нет, не забуду.

Шварц. Давид вам напомнит.

Давид *(умоляющими глазами смотрит на Чернышева)*. Иван Кузьмич! Вы не думайте... Вы... Я вам потом объясню...

Чернышев. Ладно, ладно. Поправляйся скорее. Бежим, Слава! Кланяйтесь вашим родным, Хана, я к ним заеду на днях.  
Хана. Спасибо. До свидания!  
Чернышев. Счастливый путь!

Чернышев и Лебедев уходят. Молчание. Шварц внимательно посмотрел на Давида, осторожно прикоснулся к его руке.

Шварц. Чем ты расстроен, милый, ты мне можешь сказать?

Давид (*угрюмо*). Ничем... Ничем не расстроен.

Шварц. Я как-нибудь не так выразился? Или у тебя неприятности с этим Чернышевым?

Давид. Нет.

Шварц. А почему ты все время молчишь?

Давид (*со злостью*). А что я должен делать, по-твоему? Петь? Плясать? Мало тебе того, что...

Шварц (*не дождавшись продолжения*). Чего?

Давид. Ничего! Ничего — и оставь меня в покое! Ничего!

Шварц еще раз внимательно посмотрел на Давида. Неожиданно легко и поспешно встал. Зачем-то надел шляпу.

Шварц (*почти торжественно*). Давид, я знаю, почему ты расстроен! Ты недоволен тем, что я приехал! Да?

Давид (*уткнулся лицом в подушку*). Что ты наделал?! Если бы только мог понять, что ты наделал! Все теперь кончено. Все! Все!

Хана (*возмущенно*). Давид!

Шварц (*строго*). Подождите, Ханочка! (*Помолчав.*) Ничего такого страшного не произошло, глупый! Все можно поправить. Всякое горе можно поправить. Поезда ходят не только сюда — обратно они тоже ходят... Ты хочешь, чтобы я уехал домой, да?

Давид (*с отчаянием*). Да!

Хана. Давид!

Шварц. Хорошо, милый. А когда? Скоро? Завтра?

Давид молчит. Шварц странными кругами заколесил по комнате. В одной руке у него чемодан, в другой пакетик с черносливом.

Хана. Немедленно извинись!

Давид молчит.

Шварц (*бормочет*). Я должен был это предвидеть. Я обязан был предвидеть. У мальчика хорошие дела. Его навещают большие люди. И вдруг является старое чучело из Тульчина и говорит — здравствуйте, я ваш папа, кушайте чернослив... Идиот! Мне просто очень хотелось, Додик, посмотреть, как ты живешь и

какой ты стал... И послушать, что о тебе говорят... И погордиться тобой... Мне хотелось сидеть в зале, когда ты играешь,— и чтобы все показывали на меня пальцем и шептали: это папа Давида Шварца! Кому это важно, чей я папа?.. Не сердись на меня, милый, я завтра уеду, обещаю тебе... Ну, так я не увижу Третьяковскую галерею... Вот — я оставлю, что привез...

Д а в и д. Не надо!

Ш в а р ц. Обязательно надо. Ты, наверное, удивлялся, почему я не присылаю тебе денег? А я хотел их сам привезти... Вот — я положил. Тут хватит надолго! (*Потер пальцами лоб — взглянул на Хану.*) Так мне можно пойти к вам, Ханочка?

Х а н а. Да. Непременно.

Ш в а р ц. Хорошо. На одну ночь придется вам потесниться! (*Помолчал.*) Ну, пойдем.

Х а н а. Уже сейчас?

Ш в а р ц. Да. Я почему-то вдруг устал. И, вероятно, Давиду нужно заниматься? Пойдемте, Ханочка... Будь здоров, милый. (*Обнял Давида.*)

Долгая пауза.

Д а в и д (*бессвязно*). Я не хотел обидеть тебя!.. Я не хотел. Честное слово, я не хотел обидеть тебя!

Ш в а р ц (*ласково*). Ну, конечно, конечно. Что я, не понимаю? Конечно, не хотел. Будь счастлив, родной. Я уеду завтра... В крайнем случае послезавтра... Как достану билет. Ханочка тебе позвонит... Тут есть телефон?

Д а в и д. Есть.

Ш в а р ц. Ханочка позвонит. И если ты сможешь, ты приедешь меня проводить. Правда?

Д а в и д. Да.

Ш в а р ц. Если сможешь.

Д а в и д. Папа!.. Папа!..

Ш в а р ц. Ну?! Ты прав, Додик,— зачем же ты плачешь?

Д а в и д. Папа!

Ш в а р ц. Идемте, Хана!

Шварц и Хана медленно идут к дверям, Абрам Ильич обернулся.

Да, скажи товарищу Чернышеву, чтоб он не трудился напрасно. Скажи, что я не сумею пойти в Большой театр. Скажи, что мне расхотелось! (*Помедлив.*) Ну, бог с тобой, Давид!

Шварц и Хана уходят. Давид один. Он рванулся было вслед за ушедшими, но у самой двери остановился, постоял, вернулся назад и сел. Он сидит молча, неподвижно, опустив голову. Тикает будильник. Бегом возвращается Х а н а.

Д а в и д (*испуганно*). Что? Плохо ему?

Х а н а. Я косынку забыла.

Д а в и д. Вот она. Возьми.

Х а н а. Ты отвратительно поступил... Мерзко...

Д а в и д. Я знаю.

Х а н а. Он чудесный старик, твой отец.

Д а в и д. Я знаю.

Х а н а. Все ты знаешь...

Закипел чайник

Д а в и д. Выключи, будь добра.

Хана вытащила шнур, бросила на стол, остановилась перед Давидом.

Х а н а. Ничего ты не знаешь! Даже того, как сильно я тебя люблю, ты не знаешь! Такой простой вещи не знаешь!

Д а в и д. Хана!

Х а н а. Что? Теперь можно сказать. Больше мы все равно с тобой не увидимся! (*Печально улыбнулась.*) Я так ждала, когда ты приедешь. Так ждала... А ты не зашел даже... Все некогда было... Три года было некогда! А я на это разозлиться не сумела. Узнавала о тебе... О тебе и о Таньке... На концерты ходила в консерваторию. Думала — встречу! А на первомайском вечере ты даже и заметить меня не захотел...

Д а в и д. Ты была разве?

Х а н а. Была. В пятом ряду сидела. Громче всех тебе хлопала. Ты превосходно играл в тот вечер. Превосходно. Особенно Венявского. Ты будешь знаменитым скрипачом, Додька, и очень счастливым человеком. Я так загадала! Прощай!

Д а в и д (*растерянно*). погоди, Хана!

Х а н а. Абрам Ильич ждет. Прощай! (*Убегает.*)

Давид снова один. Он бесцельно слоняется по комнате. Берет скрипку. Кладет ее обратно. Накрывает чайник подушкой. Входит Л ю д м и л а Ш у т о в а.

Л ю д м и л а. Шварц!

Давид обернулся и внезапно бросился с кулаками на Людмилу.

Д а в и д. Уходи отсюда ко всем чертям!.. Убирайся... Убирайся отсюда.

Молчание.

Л ю д м и л а (*тихо*). Зачем же ты лезешь на меня с кулаками, свинья! Я папиросы тебе принесла, а ты... На — кури, свинья! (*Бросила на кровать Давида пачку папирос и вышла.*)

Тишина. Сумерки. Зажглись огни в доме напротив. Давид садится на подоконник. Хрипит и захлебывается уличный репродуктор: «...В танковом сражении под Уеской войсками республиканцев... Сегодня — массированный налет фашистской авиации на Мадрид...» Бесшумно отворяется дверь, и входит Т а н я. Она в новом нарядном платье, радостная и возбужденная.

Т а н я. Вот и я! Ну, гляди, я нравлюсь тебе в новом платье?

Д а в и д. Не вижу. Темно.

Т а н я. А ты зажги свет.

Д а в и д. Не хочу.

Т а н я. Что с тобой?

Д а в и д. Ничего.

Т а н я. Со Славкой поругались?

Д а в и д. Нет.

Т а н я (*после паузы*). Что случилось? Может быть, я напрасно пришла?

Д а в и д. Пожалуй.

Т а н я. Ах, так?! (*Постояла еще секунду, словно соображая, а затем решительно повернулась и пошла к дверям.*)

Д а в и д. Танька!

Т а н я (*звонко*). Ты грубый, невоспитанный, наглый, самовлюбленный, нахальный...

Д а в и д (*насмешливо*). Ну, а еще?

Т а н я. И не приходи больше ко мне, и не звони, и... Все! (*Уходит, оглушительно хлопнув дверью.*)

Молчание. Давид перегнулся через подоконник, высунулся на улицу, крикнул.

Д а в и д. Танька-а-а!

Тишина. Только по-прежнему хрипит и захлебывается репродуктор: «...Боец интернациональной бригады батальона имени Эрнста Тельмана заявил...»

Давид встал, прошелся по комнате, взял скрипку.

Д а в и д. Ну и хорошо... Очень хорошо! И пожалуйста! (*Подняв скрипку, зашагал по комнате. Играет бесконечные периоды упражнений Ауэра, зажав в зубах незажженную папиросу.*) И раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!..

Загудел поезд. Давид играет все громче и ожесточеннее.

Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!..

Гудит поезд.

З а н а в е с

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Война.

Октябрь тысяча девятьсот сорок четвертого года. Советская Армия движется с боями на запад. В сумерки над осажденными городами стоит невысокое зарево пожаров. Медленно падают черные хлопья пепла, пожоже на белые хлопья снега. Ветер гудит рваным листовым железом. Ахают дальнбойные. И немногие уцелевшие жители, забывшись в погреба и подвалы, устало и нетерпеливо ждут. Жизнь и смерть начинаются одинаково — ударом приклада в дверь.

В этот год мы возвращались в родные города, шагали по странно незнакомым улицам, терли кулаками слипающиеся глаза и внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивой узнавали сказочную гору нашего детства, вспоминали первую пятилетку, шарманку на соседнем дворе, неподвижного голубя в синем море и равнодушный женский голос, зовущий Сереньку.

Мы научились вспоминать. Мы стали взрослыми.

Санитарный поезд. Так называемый «кригеровский» вагон для тяжело раненых. По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким проходом посередине. Верхний свет не горит, и в прудуренных сумерках видны только первые от тамбура четыре койки — верхняя и нижняя, верхняя и нижняя.

И на одной из этих коек, запрокинув голову на взбитую высоко подушку, сжав запекшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Д а в и д Ш в а р ц.

Беспокойно и смутно спят раненые — мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне. Кто-то выкрикивает отрывисто и невнятно: «Первое орудие — к бою! Второе орудие — к бою! По фашистским гадам прямой наводкой — огонь!»

Но никто не торопится выполнять приказания, не гремят орудия, не взлетает в небо вопящая взорванная земля — мирно гудит поезд, постукивают колеса, и лишь по временам за дребезжащими окнами вагона как напоминание об огне пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза.

Возле койки Давида на низком табурете, положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшими от йода пальцами, в белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры сидит Л ю д м и л а Ш у т о в а, молча и тревожно поглядывая на Давида.

*Д а в и д (с закрытыми глазами, ровным, тусклым голосом).*

Пить. Пить. Пить дайте. Пить.

Л ю д м и л а. Ну нельзя же тебе пить... Нельзя, милый! Ну, хочешь, я смочу тебе губы... Хочешь, Давид?

Д а в и д. Пить. Пить дайте. Пить.

На верхней койке, над головой Давида, заворочался старшина О д и н ц о в — скуластый, с рыжеватой щетиной на небритых щеках, с веселыми от жара, возбужденно блестящими, очень синими глазами.

О д и н ц о в (глядя в окно, хрипло, останавливаясь после каждого произнесенного слова). Сестрица! Ты не знаешь, проехали мы Курск?

Л ю д м и л а. Час назад.

О д и н ц о в. Вот что! То-то я гляжу — места знакомые. Скоро, значит, и Сосновка.

Д а в и д. Пить. Пить дайте. Пить.

О д и н ц о в. Переедем сперва мост через реку. Потом лесок будет. А за лесом перегон еще, и Сосновка... Водокачка, склады дорожные, садочек при станции. А в садочке том — рынок... Родина моя, между прочим!

Л ю д м и л а. Много говоришь, Одинцов.

О д и н ц о в (*не то засмеялся, не то закашлялся*). Как поезд подойдет, так бабы, девчонки, огольцы — прямо в окна полезут. Кто с чем. Кто, понимаешь, с яблоками, кто с яичками калеными, кто с варенцом...

Чей-то голос в темноте, коверкая слова, мечтательно проговорил: «А у нас в Каласури шашлык продают! Шампур в окно подадут — ешь!»

Напротив Одинцова — на верхней койке через проход — поднимает голову «сын полка» Женька Жаворонков, мальчишка лет семнадцати с красивым наглым лицом, с прищуренными глазами и темной родинкой над припухлой губой.

Ж е н ь к а (*с развязностью любимца публики*). Душа любезный шашлычка захотел! Эй, кацо, не горюй, тебе завтра ногу рубанут — вот мы шашлычок из нее и сготовим!

По вагону прокатился смешок:

— Ай, Женька!

— Женька скажет!..

О д и н ц о в (*быстро и тихо*). Сколько я этих населенных пунктов в сорок первом оставил, сколько я их обратно отвоевал — сосчитать даже немислимо... Немислимо сосчитать... А Сосновки моей не увижу!

Л ю д м и л а. Это почему же?

О д и н ц о в (*спокойно*). Не дожить мне, сестрица. Никак не дожить.

Л ю д м и л а (*сердитым шепотом*). Ну что ты, Одинцов, глупости болтаешь?! (*Поспешно встала, взяла руку Одинцова, сосчитала пульс.*)

О д и н ц о в. Тяжко.

Л ю д м и л а. Говоришь много, оттого и тяжко. У тебя легкое осколком задето, тебе молчать надо... Неужели не ясно? (*Позвала.*) Ариша!



Из темноты, бесшумно ступая в мягких войлочных тапках, появляется Санитарка, маленькая, круглолицая, в белой косынке, надвинутой на самые брови.

Санитарка. Да, Людмила Васильевна?

Людмила. Кислородную подушку.

Санитарка исчезает и тут же появляется снова с тугой кислородной подушкой в руках.

Санитарка. Вот, Людмила Васильевна.

Людмила (*кивнула*). Я сделаю укол, а ты сбегай разыщи доктора Смородина.

Санитарка. Сюда попросить? Хорошо, Людмила Васильевна!

Санитарка убегает. Людмила Васильевна приставила раструб подушки к губам Одинцова, отвернула кран. Тонко зашипел кислород.

Одинцов. Не надо.

Людмила. Молчи, пожалуйста. (*Достала из стерилизатора шприц, разбила ампулу, наполнила шприц маслянистой жидкостью, сделала Одинцову укол.*)

Одинцов (*деревенеющими губами*). Не надо.

Людмила. Сейчас тебе станет легче. Постарайся уснуть.

Одинцов откинулся на подушку. Тишина. Гудит поезд. Постукивают колеса.

Давид (*внезапно открыл глаза*). Людмила, Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый, здесь. Тебе что-нибудь нужно?

Давид. Да. Пить. Нет, нельзя пить! (*После паузы.*) Я шел по Тульчину, по Рыбаковой балке... Я хотел найти... Я непременно хотел найти... А потом... Я присел на лавочку под акацией, и тут чем-то ударило сверху и... (*Скрипнул зубами.*) Уу-у-у...

Людмила. Додик!

Давид. Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый.

Давид. Здесь. Все-таки это удивительно, что ты здесь. И Чернышев. Только на войне бывает такое! Правда?! Ну, рассказывай.

Людмила. Про что, Додик?

Давид. Про Таню. Про то, как ты с ней встретила. И что она тебе сказала. И какой она была.

Людмила. Так ведь я уже рассказывала тебе об этом.

Д а в и д. Расскажи еще. Пока со мной снова не началось. Только громче — а то я что-то совсем плохо слышу. И вижу плохо. Плохо вижу и совсем плохо слышу.

Л ю д м и л а. Это контузия, Додик. Это пройдет.

Д а в и д. Громче... Что?

Л ю д м и л а (*медленно, нараспев, как рассказывают сказку*). Я говорю — это было в Москве, в сорок первом, шестнадцатого октября... Ровно три года назад... Рано утром меня разбудил Сережка Попов — из ИЛФИ, ты его, наверное, не помнишь — и сказал, что немцы в Истре. Я включила радио — передавали почему-то объявления треста ресторанов и столовых. И музыку. И тогда я решила ехать в военкомат — проситься на фронт. Ты слышишь, Давид?

Д а в и д. Слышу. Рассказывай. Что?

Л ю д м и л а. Я говорю — на улицах было полным-полно народу. И одни куда-то спешили — с вещами, с чемоданами, с подушками, а другие молча стояли у репродукторов и ждали. Ждали, что им хоть что-нибудь скажут... И вдруг объявили: «Передаем мазурку Венявского в исполнении лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей Давида Шварца...» И тут я увидела Таню. Она стояла под репродуктором — в белом платье, с красным букетиком астр. Очень нарядная. Очень красивая. И слушала, как ты играешь. Я подошла к ней, мы обнялись — все это как-то само собой получилось, ведь мы и знакомы толком не были — и стали вдвоем слушать, как ты играешь...

Д а в и д. Это была запись... Что?

Л ю д м и л а. Да, конечно, это была запись. Но доиграть тебе не пришлось. Началась воздушная тревога, и все побежали в убежище, а щели, в парадные. А мы с Таней пошли по улице Горького, и я ее спросила, где ты. А она ответила: «Мой муж на фронте...»

О д и н ц о в (*бормочет в забытьи*). Мост переедем, лесок переедем, а там и Сосновка... Водокачка, склады дорожные, садочек у станции. Бабы с девчонками яблоками торгуют, яичками калеными, варенцом... Мост переедем, лесок переедем...

Ж е н ь к а (*раздраженно*). А он свое, он свое! Прямо как заведенным!

Д а в и д. Она так и сказала — «мой муж»? Ты хорошо это помнишь? Не Давид, а именно — муж?

Л ю д м и л а. Муж.

Д а в и д. Громче... Что?

Л ю д м и л а. Она сказала — «мой муж».

Д а в и д *(слабо улыбнулся)*. Милая моя! Ты знаешь, мы поженились в сороковом, в мае... Мне как раз комнату дали. На Ленинградском шоссе. Там многие наши получили. И Чернышев, между прочим. Хорошая комната, двадцать метров. Мы из нее две сделали. А Танька хотела... Погоди, так ты говоришь, что она была очень красивая в тот день? И не было заметно?

Л ю д м и л а. Что?

Д а в и д. Нет, ничего... Значит, она была очень красивая?

Л ю д м и л а. Очень.

Д а в и д. Правильно. Она всегда очень красивая. Но в какие-то минуты она бывает такой красивой, что просто сердце захватывается...

Возвращается С а н и т а р к а.

С а н и т а р к а. Людмила Васильевна!

Л ю д м и л а. Разбудила?

С а н и т а р к а. Он с товарищем Чернышевым в операционной. Сказал — кончит операцию и придет.

Ж е н ь к а *(громко)*. Сестра! Эй, сестра!

Л ю д м и л а *(обернулась)*. Что ты кричишь, Женя? В чем дело?

Ж е н ь к а. Не в «чем дело», а койку мне надо поправить!

Л ю д м и л а. Ариша, поправь.

Санитарка подходит к Жаворонкову, но Женя со злым лицом, грубо отталкивает ее.

Ж е н ь к а. Уйди! У тебя руки кривые! Уйди ты к... Сестра!

Л ю д м и л а *(встала)*. Господи, наказание! *(Подойшла к Женьке.)* Что тебе? Ты же видишь — я возле тяжелых дежурю.

Ж е н ь к а *(с внезапно истерическими слезами в голосе)*. А тут все тяжелые! Тут не с чирьями люди лежат! Вот погоди, я доложу начальнику, что ты со своим лейтенантом как не знаю с кем возишься! *(Передразнивая.)* «Додик, Додик!» И кислород ему, и пантапончик ему... А как другие у тебя пантапон попросят, так выкуси!

Л ю д м и л а. Не дам я тебе пантапона.

Ж е н ь к а. А я знаю, что не дашь... Я ж не еврей!

Л ю д м и л а. Что-что? *(Помолчав, брезгливо и тихо.)* Какая гадость!

Ж е н ь к а. Почему это — гадость? *(Со смешком.)* Правильно майор Зубков в полку у нас говорил. «Еврей,— говорил он,—

они свое дело знают! Они и на гражданке, и на войне ближе всех к пирогу садятся...» Это точно!

Он обернулся, ожидая, как обычно, смеха и возгласов одобрения. Но вагон молчит. И только нижний Женькин сосед — ефрейтор Лапшин, немолодой человек с забинтованной головой, — отложил в сторону письмо, которое он читал при слабом свете синего ночника, и с любопытством снизу вверх посмотрел на Женьку.

**Лапшин.** Точно, говоришь?! *(Покачал головой.)* Ах, Женька ты, Женька! Сколько тебе годков?

**Женька.** А это к делу не касается! *(Разозлился.)* Брось, Лапшин, понял?! Всякий ефрейтор будет меня учить! Не нарвись я на эту мину чертову, я бы и сам к ноябрю ефрейтором стал! Мне майор Зубков так и сказал...

**Лапшин.** Опять майор Зубков?

**Женька** *(срываясь на крик).* Опять! Да, опять! Не нравится? Он мне вместо отца родного был, если желаешь знать! Он меня из горящего дома спас, он в полк меня записал, солдатом сделал, воевать научил...

**Лапшин** *(сердито).* Воевать он тебя, может, и научил. А думать не научил! Я вот вторую неделю с тобой еду, разговорчики твои слушаю — и просто диву даюсь! Ты же отравленный, Женька! Трупным ядом отравленный! *(Передразнил.)* «Солдат, солдат»... Солдатом стать легко, человеком стать трудно! Ну скажи ты мне, дорогой товарищ, кто тебе в малолетнюю твою башку столько всякого вздора понабивал?! Женщины у тебя все — бабье, ППЖ... Кикнадзе — душа любезный, Каспарян — карапет и армяшка...

**Женька** *(чуть струсил).* Да это же я в шутку, чудак-человек! Подумаешь, делов — карапетом назвал! Каспарян и не обижается... Верно, Каспарян? У нас в полку майор Зубков не такое откалывал и...

С другого конца вагона спокойный голос отчетливо и внушительно проговорил: «Он сукин сын, твой майор Зубков! Сукин сын и дурак!»

*(Даже растерялся от ярости).* Дурак?! Майор Зубков — дурак?! Это кто сказал?..

Спокойный голос. Это я сказал — подполковник Захаров... И довольно! Заткнись, Женька! Дай людям спать!..

Долгое молчание. Гудит поезд. Громяхают колеса.

**Женька** *(тихо).* Товарищ подполковник, вы не сердитесь! Ведь у меня ни отца, ни матери, товарищ подполковник!..

Молчание. Подавленный Женька натягивает на себя одеяло и отворачивается к стенке. Лапшин улыбается, берет письмо. Людмила снова садится на табурет возле койки Давида.

Одинцов (*все глуше и глуше*). Мост проедем, лесок проедем... А там и Сосновка... Стойте, остановите!.. Остановите поезд — дайте сойти!..

Людмила. Что ты, Одинцов? До Сосновки еще далеко... Ехать и ехать!

Одинцов. Мятой пахнет! Ах, как мятой пахнет! (*Чуть приподнимается.*) Девчонки мои маленькие, парнишечки мои беленькие — здравия вам желаю!.. Ах ты боже мой, до чего же мятой, мятой, мятой отчаянно пахнет!..

Давид. Пить... Людмила!.. Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый.

Давид. Людмила! Слушай, а про что он там все говорит? Там, наверху, про что?

Людмила. Вспоминает. Родные места его проезжаем. Он и вспоминает.

Давид (*усмехнулся*). Матросская тишина... У каждого непременно есть своя Матросская тишина... И не бывает так, чтобы не было... Ни черта человек не стоит, если у него нет или не было... И сколько бы он ни прошел, сколько бы ни проехал — всегда у него есть такая заветная улочка — Матросская тишина, на которой он еще не успел побывать... А я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке... Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, Додик.

Давид. Я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке и хотел найти... Нет, не могу говорить!

Людмила. Как ты себя чувствуешь?

Давид. Не знаю. Очень пить хочется.

Людмила. Нельзя.

Давид. Глоток... А я помню — у тебя стихи были про глоток воды, верно? Прочти мне.

Людмила (*помедлив*).

Мы пьем молоко и пьем вино,  
И мы с тобою не ждем беды,  
И мы не знаем, что нам суждено  
Просить, как счастья, глоток воды!

Давид. Вот как все сходится... А еще? Прочти еще что-нибудь. Мне, как ты читаешь, легче. Боль легче. И вообще мне с тобой спокойно. Ты спокойная. Быть бы тебе, Людка, врачом. Медиком. (*После паузы.*) Ну, прочти же мне что-нибудь!

Людмила (*задумчиво и печально*). Я позабыла все свои стихи.

Гудит поезд. Громяхают колеса. За дребезжащими окнами вагона все те же серые предрассветные сумерки. Одинцов перестал бормотать и закашлялся. Он кашляет каким-то резким, лающим кашлем, сотрясаясь всем телом и разрывая черными пальцами рубашку на груди.

Санитарка (*испуганно*). Людмила Васильевна!

Людмила. Одинцов! (*Растерянно оглянулась.*) Ну что же они там так долго?! Вот что, Ариша, ты побудь здесь, а я сбегаю потороплю.

Санитарка. Боюсь, Людмила Васильевна!

Людмила (*прикрикнула*). Глупости!

Давид. Людмила?.. Людмила, ты здесь?

Людмила. Сейчас, Додик. Сейчас я вернусь. Губы смочи, если попросит. Сейчас я вернусь. (*Поспешно уходит.*)

Одинцов кашляет, рвет на груди рубашку. Санитарка смотрит на него расширенными от испуга глазами.

Санитарка. Миленький, потерпи!.. Потерпи!.. Сейчас!.. Миленький, потерпи!..

Одинцов захлебывается кашлем. Санитарка отворачивается, прижимается лбом к оконному стеклу.

Давид. Пить. Пить дайте!.. Людмила!

Голос. Что тебе нужно, Додик?

Дрожащее и зыбкое пятно света — не то из окна, не то откуда-то сверху — падает на табурет, стоящий возле койки Давида.

Давид. Кто это?.. Кто?.. Это ты, Людмила?

Голос. Нет, это я, Додик.

Давид. Папа?!

В зыбком пятне света возникает Абрам Ильич Шварц. Он сидит на табурете, наклонившись к Давиду, все в том же, лучшем своем черном костюме, в котором он когда-то приезжал в Москву. И все та же старомодная касторовая шляпа лежит у него на коленях. И все тот же серебристый пушок вокруг головы. Он стал совсем прозрачным и легким, этот пушок, и только там, с левой стороны, где прошла пуля, виден черный след запекшейся крови. К рукаву пиджака пришпилена английской булавкой грязная повязка с желтой шестиконечной звездой и черной надписью «Юде».

Шварц. Здравствуй, мой дорогой! Шолом-aleyхем!

Давид. Папа, ты?! Откуда ты?.. Почему ты здесь?.. Ты живой, папа?..

Шварц *(спокойно и грустно)*. Нет, милый. Меня убили. Год тому назад. Ровно год тому назад. Я думал, что ты знаешь, милый, об этом.

Давид. Да, я знаю, но мне показалось... *(Вскрикнул.)* Но ведь я вижу тебя! Почему же я вижу тебя?.. Ты удивишься мне, да?

Шварц. Возможно, Додик! *(Улыбнулся.)* Человек не таракан, ему всегда что-нибудь чудится. Женщинам чудятся неприятности, мужчинам — удачи. *(После паузы.)* И даже мне в тот самый последний день, когда нас вели под конвоем на Вокзальную площадь, — мне чудилось, что я иду встречать твой поезд.

Давид *(строго)*. Как это было, папа?

Шварц. Это было совсем просто, милый. В один прекрасный день по всему гетто развесили объявления, что нас отправляют на поселение в Польшу и что мы должны в воскресенье с вещами явиться на Вокзальную площадь...

Давид. И ты понял?

Шварц. Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись и такие, которые поверили... На одного умного всегда найдется два с половиной дурака!..

Давид. А что было дальше?

Шварц. Ну, в воскресенье мы все собрались у выхода из нашего гетто, нас пересчитали, построили в колонну и повели! *(Усмехнулся.)* Это же все-таки Тульчин, а не Киев. В Киеве, говорят, для этого дела подавали автобусы... А нас повели...

И мы шли — женщины, старики и дети... Был дождь и ветер... И мне помогали идти — этот каменщик из дома восемь, Наум Шехтели, и его жена Маша, сестра Филимонова... И вот мы шли, шли... И лил дождь, и лаяли собаки, и плакали дети... А на улицах было пусто... Совсем пусто... Все попрятались по домам, и только, когда мы проходили, шевелились занавески на окнах... И этому как раз я был рад!

Давид. Почему?

Шварц *(помолчав)*. Понимаешь ли, милый, — я родился в Тульчине. И жил в Тульчине. И умер в Тульчине. Я почти всех знал в нашем городе, и мне не хотелось, чтобы старые мои знакомые, увидев меня в тот день, отворачивались и прятали глаза... Ну, и нас привели на Вокзальную площадь. И снова пересчитали. Они очень аккуратные люди, эти эсэсовцы. Они пересчитали нас и приказали сдать вещи. А мне нечего было сдавать. Я ничего не взял. Только твою детскую скрипочку, твою половинку, на которой ты когда-то сыграл первое упражнение Ауэра. Только твою скрипочку и мой альбом с фотогра-

фиями. А с немцами был Филимонов... Оказалось, между прочим, что его фамилия Филимон... И даже фон-Филимон... Так, во всяком случае, он утверждал! И когда этот Филимон увидел у меня в руках скрипочку, он засмеялся и крикнул: «А ну-ка, пархатый черт, сыграй нам кадыш! Сыграй нам поминальную молитву, пархатый черт!»

Д а в и д. Сволочь!

Ш в а р ц. А потом он заметил свою сестру Машу. И он сказал ей: «Зачем ты здесь?.. Ты же немка, дура, уходи!» Но она сказала: «Я русская» — и обняла своего Наума, и не ушла!.. Ах, Маша, Маша! Ты помнишь, какая она была красивая, Додик? Я как-то спросил у нее — за что она любит своего рыжего Наума? А она засмеялась и ответила... Знаешь что? «Меня все называют Машей,— сказала она,— но никто, ни один человек на свете не умеет так говорить «Маша», как это умеет мой Наум». Ах, Маша...

Д а в и д (*сквозь сжатые зубы*). Дальше! Что было дальше?!

Ш в а р ц. Мы стояли. И лил дождь. И где-то далеко гудел поезд. А немцы, очевидно, кого-то ждали. Какого-то начальника. И тогда этот Филимон снова крикнул: «Ну, сыграй же нам кадыш, пархатый черт!» И знаешь, Додик, я вдруг ужасно рассердился... И на этого Филимона, и на немцев, и даже на самого себя! Ну почему я стою в грязи, с опущенной головой и почему у меня дрожат руки... И я поднял твою скрипочку, твою половинку, на которой ты учился играть упражнения Ауэра, и подбежал к господину Филимону, и ударил его этой скрипочкой по морде, и даже успел крикнуть: «Когда вернутся наши, они повесят тебя, как бешеную собаку!»

Д а в и д (*яростно*). А дальше? Что было дальше?

Ш в а р ц (*после паузы*). Это все. Для меня уже не было никакого «дальше». Дальше, милый, начинается твое «дальше».

Д а в и д (*сдержанно*). Да, пожалуй.

Ш в а р ц. Что же было дальше, Давид?

Д а в и д (*приподнялся*). Я расскажу тебе... Хорошо... Слушай, слушай, что было дальше! Мы взяли Тульчин после семи суток непрерывных сумасшедших боев...

Ш в а р ц. Вы пришли?

Д а в и д. Мы пришли, папа. Мы выбили фрицев к дьявольской бабушке, куда-то на Чукаринские болота, и на восьмые сутки под вечер вошли в Тульчин!.. Знаешь, я как-то не задумывался прежде над тем, что значат слова «земля отцов»! Но когда наша головная машина остановилась на площади Декабристов и я услышал запах Тульчина, увидел землю Тульчина, небо Тульчина и в небе не самолеты, нет, и не следы трас-



сирующих пуль — от края до края, — а сизого голубя, первого сизого голубя, которого выпустил в нашу честь мальчишка с Рыбаковой балки... И когда мой шофер обернулся ко мне и сказал: «Вот вы и на родине, товарищ старший лейтенант...»

Шварц (*удивленно и радостно*). Ты старший лейтенант, Додик?

Давид. Да, папа.

Шварц. О-о-о, милый, поздравляю! Старший лейтенант — это большой чин! (*Усмехнулся*.) Прости, я тебя перебил... Что же было дальше?

Давид. А на следующее утро мои ребята привели господина Филимона... Мы уже кое-что слышали про его «подвиги». Он пытался скрыться, но мои ребята поймали его и привели в отдел...

Шварц. И ты его видел?

Давид. Видел.

Шварц. А он тебя видел?

Давид. Видел. Он только меня одного и видел. Он смотрел на меня во все глаза. Хотел узнать и не мог. Но я ему напомнил, кто я такой. Я сказал ему: «Да, да, это я — Давид Шварц, сын Абрама Ильича Шварца с Рыбаковой балки...»

Шварц. Додик! (*Помедлив*.) Ну, а потом?

Давид (*со злой улыбкой*). А потом все было точно так, как ты ему пророчил!

Шварц (*тихо*). Вы его...

Давид (*живнул*). Да. На Вокзальной площади. И в тот вечер, когда все уже было кончено, ко мне пришла его сестра Маша.

Шварц. Она осталась жива?

Давид. Она осталась жива. Ее только ранило. Два дня и две ночи она пролежала там — с вами, во рву... А на третью ночь она выбралась и приползла домой... Ее прятали по очереди Митя Жучков и Танькины родные — Сычевы... И вот она пришла ко мне, и мы отправились с нею вдвоем за линию железной дороги, к разъезду...

Шварц (*мягко*). Не надо об этом, Додик!

Давид. Надо. (*Прищурил глаза*.) Мейер Вольф всю жизнь копил деньги, чтобы увидеть Стену Плача. Он видел ее теперь, эту Стену. Она находится за линией железной дороги, на разъезде Тульчин-товарный. Это простая пожарная стена, кирпичный бранд-мауэр, щербатый от автоматических очередей. И к этой стене по вечерам приходит плакать русская женщина — сестра предателя, жена честного человека — красавица Маша Филимонова.

Шварц. Дальше? Что было дальше, Давид?

Давид. А потом, через день, меня контузило, папа. И ранило.

Шварц (*медленно, боясь услышать ответ*). Куда тебя ранило.

Давид. В плечо. И в живот. Прости меня. Много раз я был перед тобой виноват. Особенно в тот вечер, когда ты приехал в Москву...

Шварц. Я забыл об этом, Давид...

Давид (*крикнул*). Но я помню!

Шварц (*мягко, но настойчиво*). И ты тоже должен забыть! Мы оба виноваты. И я даже больше. Много больше. Потому что ведь это я когда-то заставил тебя поверить в то, что сначала — счастье, а уже потом все остальное... Нет, Додик, нет! (*Покачал головой, улыбнулся*.) Знаешь, о ком я сейчас подумал? О моем внучке, о твоём маленьком сыне! Ах, как он будет гордиться тобой, Додик! И уж он-то обязательно скажет людям: «Это мой папа — Давид Шварц, старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами и медалями...» И уж ему-то в голову не придет стыдиться тебя! И тебе тоже не нужно будет ни лгать, ни ловчить для того, чтобы твой маленький сын узнал, как выглядит счастье... Что? Разве не так?

Давид. Да, папа, да.

Шварц. Кстати... Меня давно мучает один вопрос... Как-то раз из моего альбома пропали три открытки... И я не поверил тебе, когда ты сказал, что не брал их...

Давид. Я солгал тебе. Я их взял.

Шварц (*помолчал*). Надеюсь, что больше этого никогда не повторится, Давид! (*Прислушался к чему-то, что слышно только ему одному, встал*.) Ну, мне пора!

Давид. Ты уходишь, уже?

Шварц. Мне пора.

Давид. Как скоро! Но ведь мы еще увидимся, правда?

Шварц. Нет, милый. Больше мы уже не увидимся. Оттуда не ходят поезда, не приносят писем и телеграмм. Мы не увидимся больше. Может быть, я тебе приснюсь... Впрочем, я не люблю, когда люди вспоминают и рассказывают свои сны... Мало ли что кому может присниться! Прощай, мой родной!..

Давид. Папа!

Шварц. Прощай.

Давид. Папа, погоди... Папа!..

Но Абрама Ильича уже нет. Исчезает и дрожащее, зыбкое пятно света, падавшее на табурет. Гудит поезд. Стук колес становится громче. Это санитары выносят в тамбур носилки, покрытые белой простыней. Людмила дрожащими руками торопливо прибирает опустевшую койку Одинцова, разглаживает одеяло, взбивает подушку. Захлопывает дверь в тамбур. Тишина. За окнами вагона понемногу начинает светать. Людмила садится на табурет возле койки Давида.

Папа!.. Папа, я хотел тебе сказать...

Людмила. Что, Додик? Что ты?

Давид. Я хотел тебе сказать... Нет... Это ты, Люда?

Людмила. Да, милый.

Давид. Громче. Я ничего не слышу. Что?.. Как долго!.. Что?.. Это ты, Люда?

Людмила. Да. Все будет хорошо, милый.

Давид. Громче.

Людмила (*тихо*). Все будет хорошо... Я тебя выхожу! Я выхожу тебя, мой любимый, ненаглядный мой. Ты будешь слышать. Ты будешь видеть. Ты встретишься с Таней... (*Сжала руки*.) Ах, какая простая беда приключилась со мной — я люблю тебя, а ты любишь свою красивую Таню...

Давид. Громче.

Людмила (*еще тише*). А ведь я все придумала, милый. Я не видела Таню в тот день, шестнадцатого октября. Я даже не знаю, где она была и что делала. И это я одна стояла под репродуктором на площади Пушкина и слушала, как ты играешь мазурку Венявского. И ревела в три ручья, как самая последняя дура...

Сгорбив плечи и шмыгая носом, входит маленькая санитарка.

Санитарка. Людмила Васильевна!

Людмила. Отнесли, Ариша?

Санитарка. Отнесли, Людмила Васильевна. (*Еще раз шмыгает носом и отворачивается в сторону, к окну*.)

Давид. Люда!

Людмила. Что, милый?

Давид. Где мы сейчас едем, Люда?

Людмила. Подъезжаем к реке. Лодки. Качаются у причала. А на берегу стоит маленький домик. Совсем игрушечный. Поблескивают окна. Из трубы идет дым. Там, верно живет бакенщик! (*Вздыхнула*.) Если бы я могла, милый,— я остановила бы сейчас поезд, взяла тебя на руки, постучалась бы в двери этого домика... Многим, я думаю, многим и не один раз это приходило в голову! И еще, я думаю, никто и никогда не отважился почему-то на это! А ведь как, казалось бы, про-

сто — остановить поезд, соскочить вдвоем со ступенек вагона...

Д а в и д (*неожиданно*). Земля!.. Большая моя земля!..

Л ю д м и л а. Что ты говоришь, Додик? О чем ты?

Долгое молчание. Снова громче и резче застучали колеса, замелькали за окнами чугунные стропила моста.

С а н и т а р к а (*странным, сдавленным голосом*). Мост, Людмила Васильевна!

Л ю д м и л а. Ну и что?

С а н и т а р к а. Одинцов говорил — помните?

Гудит поезд. Мелькают за окнами вагона стропила моста. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тревожный шепот прокатывается по вагону:

— Мост проезжаем!

— Старшина-то все увидеть хотел!

— Мост!

— Мост!

Л ю д м и л а (*прислушиваясь*). Проехали.

С а н и т а р к а. А теперь лесок будет!..

Тишина. Стучат колеса. Молчание.

Л ю д м и л а. Проехали лесок...

С а н и т а р к а (*глядя в окно*). Водокачка... Склады дорожные...

И весь вагон повторяет вслед за нею:

— Водокачка!

— Склады дорожные!

— Водокачка!

С а н и т а р к а. Сосновка!

И едва только произносит она это слово, как в окна вагона врывается стремительный разнобой голосов:

— Яички каленые, яички!

— Варенец, варенец!

— Покупайте яблоки, братья и сестры! Давай налетай, полтора рубля штука, на десять рублей...

Но поезд не останавливаясь пронесется мимо. Замирают вдалеке голоса. Стучат колеса. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тишина. И вдруг кто-то закричал, задыхаясь и захлебываясь слезами: «А-а-а!.. Не хочу, не хочу!.. А-а-а!»

Людмила (*поспешно встала, прошла в конец вагона*). Что с вами, Гаспарян?! Успокойтесь, успокойтесь, голубчик! Нельзя так! Ну, тише, тише, тише, успокойтесь!..

Рванув дверь тамбура, в вагон быстро входит Иван Кузьмич Чернышев — в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи.

Чернышев. Людмила Васильевна! У вас радио включено?

Людмила. Нет, товарищ начальник... А что? Письма из дома?

Чернышев. Сообщение Информбюро. Сейчас должны повторить. Я был в третьем вагоне, там точка в неисправности — я не все расслышал! (*Положил руку Людмиле на плечо, тихо проговорил.*) Держитесь, дружок, на вас лица нет. Держитесь, прошу вас!

Людмила. Стараюсь! (*Позвала.*) Ариша! Включи радио!

Санитарка. Письма из дома?

Людмила. Сообщение Информбюро.

Санитарка. Ой, сейчас, Людмила Васильевна! (*Включает репродуктор.*)

Тишина. Стук метронома.

Чернышев. Как Давид?

Людмила. Плохо.

Чернышев (*наклонился к Давиду*). Здравствуй, братец. Здравствуй, Давид... Это я — Чернышев... Ты слышишь меня?

Молчание.

Людмила (*тихо*). Он не слышит. Он совсем, совсем ничего не слышит!..

Молчание. Обрывается стук метронома, слышен голос диктора: «От Советского Информбюро. В последний час! Сегодня, шестнадцатого октября, наши войска, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, перешли границы Восточной Пруссии и овладели рядом крупных населенных пунктов, в том числе стратегически важными городами Гумбиннен и Гольдап... Наступление продолжается!..» Гремит марш.

Чернышев (*взмахнув рукой*). Товарищи! Вот... Вот... Вот... Что мы сделали! (*У него перехватило дыхание.*) Я поздравляю вас!.. Вот... Вот что мы с вами сделали, дорогие мои!

Гремит марш. Постукивают колеса. Протяжно гудит паровоз.

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Середина века. Москва. Май месяц.

Точнее — девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз отмечаем мы День Победы — день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что сделано было нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.

А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы приезжих и москвичей неугомонно бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва, уходили на целину комсомольские эшелоны — развевались знамена, гремели оркестры на привокзальных площадях, молодые голоса запевали старую песню — все ту же самую, что пели когда-то и мы, старшие, уезжая на Магнитку и в Комсомольск:

Наш паровоз, вперед лети,  
в Коммуне остановка!..

И все чаще и чаще в эту весну бывало так — люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, поспледнев, но все не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задохнувшись: «Это ты?! Ты вернулся?!»

Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами.

Вечер. Над стадионом «Динамо» в светлом еще небе мирно, как шмель, гудит самолет.

Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздается веселое, нахальное треньканье велосипедных звонков.

Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать — хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.

В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Т а н я. Рядом, на стуле, — Ч е р н ы ш е в.

Он выглядит необыкновенно торжественно и парадно, в белой рубашке с галстуком, над карманом пиджака — орденская колодка. На низком столике — какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку и две рюмки. Таня и Чернышев, надо полагать, уже выпили, и поговорили, и повспоминали, а теперь Чернышев, разомлев и расчувствовавшись, поет, а Таня плачет. Она не всхлипывает, не закрывает лицо руками, она даже улыбается, слушая Чернышева, но по лицу ее катятся слезы, частые, крупные, которые она время от времени с досадою смахивает кончиками пальцев.

Ч е р н ы ш е в (*покачиваясь на стуле, поет*).

Гаснет в низкой печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза,  
И поет мне в землянке огонь  
Про улыбку твою и глаза...

Давай еще?

Таня. С ума сошел? Я уже и так совсем пьяная.

Чернышев. Праздник же.

Таня. Не «гаснет», а «бьется».

Чернышев. Что?

Таня. Не «Гаснет в тесной печурке огонь», а «Бьется в тесной печурке огонь».

Чернышев. Не имеет значения! *(Потянулся к бутылке.)* Давай еще?

Таня. Хватит! *(Вскочила, убрала бутылку и рюмки.)* Людмила придет, увидит — убьет меня.

Чернышев. А если не придет?

Таня. Ну, не знаю. Она была на вызове, но я просила передать, что звонили из дома... В котором часу салют?

Чернышев. В десять... Татьяна, ну давай еще по маленькой.

Таня. Нет. Ты, милый мой, становишься к старости пьяницей!

Чернышев. Так ведь праздник... День Победы!

Таня *(нараспев)*. Праздник, праздник, праздник! Из-за этого праздника я сегодня с утра реву... Чай будешь пить?

Чернышев. Не хочется! *(Презрительно сморщился.)* Чай!

Татьяна подходит к двери в соседнюю комнату, чуть приоткрывает ее.

Таня. Давид, хочешь чаю? *(После паузы, не расслышав ответа.)* Я спрашиваю — ты хочешь чаю?

Из соседней комнаты слышен голос: «Нет».

*(Закрывает дверь)*. Как угодно!

Чернышев *(усмехнулся)*. Очередной разрыв дипломатических отношений?

Таня. «Холодная война».

Чернышев *(понижив голос)*. Слушай-ка, у него все еще продолжается эта переписка?

Таня. Кажется! *(Прошлась по комнате, остановилась у открытого окна, вздохнула.)* Ох, Ваня, если бы ты только знал, до чего мне все надоело! День за днем — консультация, суд, арбитраж. И все дела какие-то унылые... А тут еще теперь выяснение отношений!

Чернышев. Он тебя просто ревнует.

Таня *(хмыкнула)*. Было бы к кому! Ну, ничего! Скоро я, слава богу, уеду. Мне с конца месяца дают отпуск.

Чернышев. Куда поедешь?

Таня. Куда-нибудь к морю. Буду весь день ходить — до изнеможения, чтобы ничего не снилось, чтобы ни о чем не вспоминать и не думать... Скажи, Ваня, у тебя бывает так — привяжется один какой-нибудь сон и снится чуть не каждую ночь?

Чернышев. Я вообще сны вижу редко.

Таня. А мне вот уже который раз снится все одно и то же... Как будто мы с Давидом едем куда-то в поезде... И так все, знаешь, ясно — мы в купе вдвоем, большой чемодан с вещами выброшен наверх, в багажник, маленький чемодан и сумка с продуктами — в сетке... Гудит поезд, стучат колеса, звенят и подрагивают ложечки в стаканах... А потом — и все это как-то сразу, вдруг — уже не поезд, а Большой зал консерватории... И не Давид, а я почему-то стою на эстраде и рассказываю про то, как все было...

Чернышев (*сухо*). Что — было?

Таня (*грустно улыбнулась*). Ну, про то, как у нас, на Рыбаковой балке, во дворе росла старая акация... И под этой акацией по вечерам сидели две девчонки — беленькая и черненькая — и слушали, как сердитый мальчик с вечно расцарапанными ногами играл мазурку Венявского...

Чернышев (*внимательно поглядел на Таню*). Почему ты нервничаешь?

Таня (*помолчав*). Не знаю. Ты нервничаешь, и я стала нервничать... Ты только, пожалуйста, не делай такого невинного лица! Ты же не стал бы меня просто так, за здорово живешь, просить, чтобы я звонила Людмиле, у которой дежурство... Что-то случилось, да?

Чернышев (*пожал плечами*). Праздник...

Таня. Тьфу, заладил!

В коридоре раздаются быстрые шаги. Стремительно, без стука распаивается дверь, и в комнату почти вбегает Людмила — в белом халате, с докторским чемоданчиком в руке.

Людмила (*еще с порога*). В чем дело? (*Взглянула на Таню и Чернышеву, задохнулась*.) Ну ужели вы не понимаете... Ужели вы не понимаете, что мне нельзя так звонить?! Что всякий раз, когда мне говорят — звонили из дома, у меня останавливается сердце?

Таня. Но я же просила передать, что все в порядке, что он здоров, сидит у нас...

Людмила. Мало ли что ты просила передать! (*Плужнулась на диван, с трудом перевела дыхание*.) А я, пока ехала, представила себе, что он опять, как тогда... шел по улице и упал... И опять — уколы, кислород, бессонные ночи, страх... (*Помолча*



ла, *тряхнула головой.*) У меня дежурство, мне надо ехать, — в чем дело?

Чернышев (*медленно*). Дело, дорогие мои, в том, что... (*Не договорив, вытаскивает из кармана партийный билет и, отряхнув предварительно крошки со скатерти, бережно кладет его перед собою на стол.*)

Людмила (*вскрикнула*). Ваня!

Чернышев. Вот, как поговорится, таким путем.

Молчание.

Таня. Когда?

Чернышев. Вчера. Я вернулся, а ты уже уехала на дежурство.

Таня. И молчал! Слушай, но ведь не один же день...

Чернышев (*вдруг почти весело засмеялся*). Нет, не один день. Совсем не один день. Исключили меня двадцатого декабря пятьдесят второго... Больше двух лет! Вот и посчитай — сколько это получается дней? И я, между прочим, долго не мог понять — правильно ли и кого.

Людмила вскрикнула.

Ну, Люда, Люда, Люда!.. Ну что вы в самом деле — такой сегодня день, а вы обе ревете!

Людмила (*вытерла кулаком глаза, протянула партийный билет Чернышеву*). Спрячь! И учти — я еще ничего не знаю. Ты ничего не говорил... Все и со всеми подробностями! (*Взглянула на часы.*) О боги! (*Подошла к телефону, сняла трубку, набрала номер.*) Это Чернышева. Ай, беда, а я-то надеялась! Ну, говори-те... Так... фамилия?.. А-а, я ее знаю... Что с ней?.. У нее всегда болит! Ладно! (*Повесила трубку.*) Надо ехать!

Таня. Подбросишь меня до Белорусского? Я к машинистке — забрать работу. Забегу заодно в гастроном — куплю чего-нибудь к вечеру.

Людмила. Давай, только быстро.

Таня, кивнув, начинает собираться. Людмила подсаживается к Чернышеву на ручку кресла, обнимает Чернышева за плечи.

Чернышев (*тихо и ласково*). Что?

Людмила. Знаешь, Ваня, у меня еще нет слов... Ничего нет — ни слов, ни радости... Это все, наверное, придет потом! А ты? Как ты себя чувствуешь?

Чернышев. Нормально.

Людмила. Ты оставайся здесь. Татьяна скоро вернется. Ты ведь скоро вернешься, Татьяна?

Таня. Скоро, скоро.

Л ю д м и л а. Ну вот... Нитроглицерин у тебя при себе?  
Ч е р н ы ш е в. При себе, при себе.

Людмила и Чернышев, обнявшись, смотрят, как Татьяна собирается, надевает туфли, прихорашивается перед зеркалом.

Л ю д м и л а (*вдохнула*). До чего же ты все-таки красивая, Танька!

Т а н я (*не оборачиваясь*). Была.

Л ю д м и л а. Нет, ты и сейчас красивая. Иногда ты бываешь такая красивая, что просто сердце заходится!

Т а н я (*резко обернулась*). Откуда... Это ты не сама придумала!.. Кто тебе это сказал?

Л ю д м и л а. Один человек, ты не знаешь! (*С беспокойным смехом*.) Ох, как я когда-то завидовала и восхищалась тобой. Я запомнила один вечер — в студгородке, на Трифоновке... Меня кто-то обидел, я сидела на подоконнике и хныкала, а ты шла по двору — красивая, нарядная, легкая, как будто с другой планеты. (*Снова засмеялась, но теперь уже легко*.) Я и представить себе не могла в тот вечер, что когда-нибудь выйду вот за него замуж, буду жить с тобой в одном доме, брошу стихи, стану доктором...

Т а н я. А я, между прочим, до сих пор помню твои стихи.

Л ю д м и л а. Какие?

Т а н я (*медленно*).

Мы пьем молоко и пьем вино,  
И мы с тобою не ждем беды,  
И мы не знаем, что нам суждено  
Просить, как счастья, глоток воды!

Л ю д м и л а (*странно дрогнувшим голосом*). Почему именно эти?

Т а н я. Потому что я не знала других! (*Вытащила из шкафа, из-под белья, деньги, отсчитала, сунула в сумочку*.) Ну, я готова!

Л ю д м и л а (*встала*). Ваня, мы поехали! Дежурство у меня, будь оно неладно, до двенадцати, но, может, я отпрошусь! Ты действительно хорошо себя чувствуешь?

Ч е р н ы ш е в. Честное слово!

Т а н я (*поглядела на дверь в соседнюю комнату, негромко*). Вот что... Если у тебя с ним тут без меня возникнет какой-нибудь разговор... Ну, в общем, ты сам понимаешь!

Ч е р н ы ш е в (*усмехнулся*). Соображу.

Т а н я. Едем! (*Бросила на себя взгляд в зеркало, поправила волосы*.) И никакая я не красивая, все сказки!

Таня и Людмила уходят. Чернышев один. Во дворе отчаянно кричат девочки: «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!..»

Далекий гудок паровоза. Чернышев включает висящий на стене радиорепродуктор. Марш. Это тот самый марш, который гремел в санитарном поезде, в кригеровском вагоне для тяжелораненых, на рассвете, когда диктор сообщил, что наши войска перешли границу Германии. В дверь стучат.

Чернышев. Кто там?

Входит высокий широкоплечий человек с очень обветренным загорелым лицом и крупной седой головой. Если бы не резкие морщины, не хромота и не стальные зубы, он был бы даже красив — внушительной и спокойной стариковской красотой. Это Мейер Вольф Остановившись в дверях, он с интересом и волнением оглядывает комнату.

Вольф. Здравствуйте, я звонил, но...

Чернышев. Звонок не работает.

Вольф. Возможно. Мне нужен Давид Шварц... Он дома?

Чернышев *(помедлив, громко зовет)*. Давид!

Отворяется дверь, ведущая в соседнюю комнату, и на пороге появляется Давид. Ему четырнадцать лет, у него светлые рыжеватые вихры, вздернутый нос и слегка оттопыренные уши.

Давид *(хмуро)*. Ну что?

Чернышев. Во-первых, здравствуй.

Давид. А мы днем виделись.

Чернышев. А во-вторых... *(Вольфу.)* Вот пожалуйста — Давид Шварц!

Вольф. Так! *(Вгляделся, улыбнулся, кивнул головой.)* Да, это Давид Шварц! Ошибиться трудно! Глупые люди сказали бы, что все повторяется — род уходит, и род приходит... Но мы теперь знаем, что все имеет свое начало и свой конец!

Давид *(с внезапно посветлевшим лицом)*. Мейер Мионович?!

Вольф. Догадался!

Давид. Здравствуйте, Мейер Мионович! Когда вы приехали?

Вольф. Вчера. Собственно говоря, сегодня я уже должен был ехать дальше — но очень уж мне хотелось на тебя посмотреть! *(Огляделся, придвинул кресло, сел.)* Если не возражаешь, я немножко присяду.

Давид *(смугился)*. Ой, да, конечно! *(После паузы.)* Мейер Мионович, а вы мое последнее письмо получили?

Вольф. Получил. Но не успел ответить, я уже собрался в дорогу... Впрочем... *(Из кожаной папки, которая у него в руках, достал какой-то конверт, из конверта старую фотографию, протянул фотографию Давиду.)* Смешно, что из всех моих старых ве-

щей у меня уцелела именно эта фотография... Вот, взгляни! Это некоторым образом ответ на твое последнее письмо! Ты просил, чтобы я рассказал тебе про твоего дедушку Абрама — вот мы с ним вдвоем.

Д а в и д (*сдвинул брови*). Он — слева?

В о л ь ф. Да! (*Обернулся к Чернышеву*.) Извините, но я как-то сразу не сообразил... Вы, наверное, товарищ Чернышев?

Ч е р н ы ш е в (*протянул руку*). Иван Кузьмич! Про вас, Мейер Миронович, я тоже слышал. С приездом.

В о л ь ф. Спасибо. Большое спасибо.

Д а в и д (*с недоумением разглядывая фотографию*). Странно!

В о л ь ф. Что тебе странно, милый?

Д а в и д. Ну, вы не знаете... Я вам писал... Дедушку Абрама расстреляли фашисты. Он набил морду одному гестаповцу, и они его расстреляли!

В о л ь ф (*с улыбкой*). Ну и что же?

Д а в и д. А здесь, на фотографии, он какой-то маленький, и...

В о л ь ф (*слегка насмешливо*). А ты думал, что он был похож на Чапаева или на Спартака? Нет, нет, милый,— он был маленького роста, и, когда работал, надевал очки, и очень боялся темноты... И вообще всю свою жизнь он чего-нибудь боялся!

Д а в и д (*возмущенно*). Но он набил морду гестаповцу!

В о л ь ф (*с той же интонацией*). Ну и что же? Не повторяй ошибки глупцов — не ищи прямых связей! У портных есть поговорка — если клиент заказывает к костюму две пары брюк, это еще не значит, что у него четыре ноги! (*Помедлив.*) Маленький трусоватый человек бросается с кулаками на гестаповца... Он выходит один против целой армии. Впрочем, нет,— это тоже ошибка! Он был не один! Родина его, сыновья и внуки стояли за ним! Вот в чем секрет! И этот секрет, наверное, в самую последнюю минуту своей жизни понял твой дедушка Абрам... Понял и перестал наконец бояться!

Д а в и д (*растерянно*). А я не думал... Я ведь совсем... Ну, просто совсем про него ничего не знал! С папой — другое дело, у меня и фотографии его есть, и письма с фронта, и пластинки, на которых записано, как он играл...

В о л ь ф. Где он погиб?

Д а в и д. Он умер в госпитале, в Челябинске. Он был контужен и ранен, и все надеялись, что он останется жить, но он умер. На руках у дяди Вани! (*С сердитым смешком.*) Мама почему-то считает, что я не могу его помнить! А я его прекрасно помню, прекрасно!

Чернышев (покачал головой). Ну что ты, братец, сочинишь?

Давид (неожиданно и мгновенно взрывается). Я сочиняю, да?! Это мама всех вас уговорила, что я сочиняю, что я маленький, что я ничего не знаю, не помню, не понимаю! А я, между прочим, если хотите знать, все помню, все! Вы думаете, я не помню, как мама с вами советовалась... Не изменить ли мне... Ну, одним словом, не взять ли мне ее фамилию! Вы думаете, я не помню, как тетя Люда прибежала к нам сюда ночью и плакала — когда вас исключили из партии?!

Вольф (взглянув на Чернышева). Ах, вот как! Было и это? Чернышев. Все было.

Вольф. Когда?

Чернышев. В пятьдесят втором. «За потерю бдительности и политическую близорукость» — так записано было в решении.

Вольф (задумчиво усмехнулся). Близорукость?! Один профессор-глазник... мы с ним вместе работали в шахте... Так вот, он рассказывал мне, что бывают случаи, когда ранняя близорукость переходит в позднюю дальзорукость!..

Снизу, со двора, раздается чей-то истошный крик: «Дави-и-ид!»

Давид (подбегает к окну, перевешивается через подоконник). Чего-о-о?

Несколько секунд продолжается таинственный, главным образом при помощи жестов, разговор между Давидом и невидимым собеседником во дворе. Наконец Давид слезает с подоконника.

Дядя Мейер, вы извините — вы не очень торопитесь?

Вольф. Не очень... А тебе нужно куда-то идти?

Давид (махнул рукой). Да нет... Там Вовка Сидельников... И он просит... Ну, я только сбегаю вниз и тут же вернусь, хорошо?

Вольф. Хорошо, конечно.

Давид. Я мигом! (Убегает.)

Молчание. Снова загремел по радио торжественный марш.

Вольф. День Победы сегодня.

Чернышев. Да. День Победы.

Вольф. Большой праздник!

Чернышев достает спрятанную Таней бутылку коньяку, две чистые рюмки.

Чернышев. Хотите?

Вольф (помолчав). А вы знаете, я — с удовольствием.

Чернышев (*наливает коньяк в рюмки*). Ну, ладно. Выпьем. Помянем. Помолчим.

Вольф и Чернышев, не чокаясь, пьют. Молчание.

Вольф (*внезапно*). Хороший мальчик.

Чернышев. Трудный.

Вольф. А разве бывают легкие? Главное, чтоб и ему не свела скулы оскомина!

Чернышев. В каком смысле?

Вольф. В Библии сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина...» Закон возмездия! (*Снова помолчав, зажег спичку, закурил.*) Под старость мне все чаще и чаще вспоминается детство, местечко, где я родился, и лохматые местечковые мудрецы — те самые, что с утра и до ночи вбивали этот закон в наши ребячьи головы! (*Грозным движением поднял тяжелую руку.*) «Помните всегда, ты, чернявенький, и ты, рыжий, ты, конопатый, и ты, быстроглазый, помните и не забывайте, что на вас лежат грехи отцов ваших, дедов ваших и прадедов... И сколько бы ни молились вы и ни каялись, все равно будут дни ваши безрадостными и долгими и ночи душными и короткими. И сердца ваши будут вечно сжиматься от страха — и все потому, что отцы ели кислый виноград, а у вас, детей, на зубах оскомина...» Знаете, Иван Кузьмич, я пролетел сейчас через всю страну — из Магадана в Москву... Может быть, некоторым я казался немножко сумасшедшим — но и в пути, и здесь я хожу и заглядываю в лица молодым... Мне, понимаете, хочется убедиться, что они уже есть, что они существуют — эти молодые с добрыми глазами и добрым сердцем, которые только добрые люди, только подвиги их отцов и старших братьев принимают в наследство!

Чернышев (*осторожно*). Видите ли, Мейер Миронович... Кстати, я ведь не очень-то в курсе — как это у вас получилось с Давидом? Как у вас началась переписка?

Вольф. Сначала — когда мне уже было можно — я написал в Тульчин, Абраму Ильичу. Но открытка вернулась обратно с пометкой «За ненахождением адресата»... Тогда я запросил через московский адресный стол — так мне посоветовали умные люди — адрес Давида Шварца. (*Улыбается.*) Конечно, я имел в виду другого Давида — но ответил мне этот...

Чернышев (*встал, прошелся по комнате, остановился*). Вы сказали — добрые дела! (*В упор взглянул на Вольфа.*) А заблуждения и ошибки?!. Нет, нет, погодите, дайте мне договорить! Вчера мне вернули партийный билет! И вот я шел из райкома и так же, как и вы, заглядывал в лица встречным...

Когда-то я воевал на гражданке, потом учился, был секретарем партийного бюро консерватории, начальником санитарного поезда, комиссаром в госпитале... Работал в Минздраве... После пятьдесят второго мне пришлось, как выражался этот... ну, Остап Бендер, переквалифицироваться в управдомы... И вот я шел из райкома и думал... *(Снова взволнованно зашагал по комнате.)* ...Нет, Мейер Миронович, не так-то все просто!.. И они, эти молодые, они обязаны знать не только о наших подвигах, но и о наших ошибках... Мы сейчас много говорим о нравственности. Так вот, нравственность начинается с правды! *(Посмотрел на портрет старшего Давида.)* Вот ему когда-то на один его вопрос я ответил — разберутся! Понимаете? Не я разберусь, не мы разберемся, а они там разберутся! И я знаю — Тане нелегко с этим мальчиком, но мне нравится... Мне, черт побери, нравится, что он хочет и пытается до всего дойти сам... Пришло, видно, такое время — время задавать вопросы и время отвечать на них!..

Возвращается Д а в и д. Он прижимает к груди проекционный фонарь и круглую жестяную коробку с диапозитивами.

Д а в и д. Извините!..

В о л ь ф. Что это у тебя?..

Д а в и д. Это?.. Вы понимаете, у нас есть кружок, астрономический... Он объединяет сразу несколько школ... Там даже из десятого класса ребята... И вот моему другу, Вовке Сидельникову, и мне — нам поручили доклад: «Есть ли жизнь на Марсе?» И вот — Вовка достал проекционный фонарь и диапозитивы к нашему докладу...

В о л ь ф. Очень интересно!

Д а в и д *(с надеждой)*. Может, хотите поглядеть?

В о л ь ф *(помолчав, со странной улыбкой)*. А почтовые открытки ты, случайно, не собираешь?

Д а в и д *(удивленно)*. Нет, а что?

В о л ь ф. Ничего, ничего... Просто ты так спросил — таким голосом и с такой интонацией, что я невольно вспомнил... Ну, не важно! *(Оглянулся на Чернышева.)* Мы с Иваном Кузьмичом с большим удовольствием послушаем твой доклад! Правда, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Разумеется.

Д а в и д *(засуетился)*. Тогда так... Тогда вы, Мейер Миронович, садитесь к дяде Ване на диван, а я... Минутку!

Вольф садится рядом с Чернышевым на диване. Давид ставит проекционный фонарь на круглый столик, принимается ввинчивать лампочку.

Ч е р н ы ш е в *(подождав)*. Ну как? Будет кино или кинка не будет?

Д а в и д. Сейчас, сейчас! (*Ввернув лампочку, щелкнул крышкой фонаря.*) Так! Ну, я могу начинать!

Ч е р н ы ш е в. Внимание! Внимание!

Давид включил проекционный фонарь. На противоположной дивану стене, возле двери в соседнюю комнату, появился желтый прямоугольник света и в нем надпись: «ЗЕМЛЯ — КОЛЫБЕЛЬ РАЗУМА, НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЖИТЬ В КОЛЫБЕЛИ».

В о л ь ф (*одобрительно*). Совсем неглупо сказано, между прочим.

Д а в и д (*тоном лектора*). Эти слова принадлежат великому русскому ученому, отцу звездоплавания Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Ч е р н ы ш е в. Прекрасные слова!

Надпись на стене исчезает, и вместо нее появляется изображение планеты Марс.

Д а в и д. Перед вами — планета Марс. Эти длинные тонкие полосы, которые вы видите на рисунке, итальянский астроном Скиапарелли условно назвал «каналами»... Уже много лет ученые всего мира спорят по поводу того, являются ли эти «каналы» естественными, или это искусственные сооружения. Мы с товарищем Сидельниковым предполагаем собственную гипотезу... Гипотезу «Сидельникова — Шварца»... По-нашему...

Ч е р н ы ш е в (*перебил*). Не знаю, как по-вашему, а по-моему, они нахалы!

Д а в и д. Кто?

Ч е р н ы ш е в. Авторы новой гипотезы. Товарищи Сидельников и Шварц!

Д а в и д. Ну, дядя Ваня!..

Ч е р н ы ш е в (*засмеялся*). Молчу, молчу.

Снова меняется изображение на стене. Теперь это чердак. За спиной Давида неслышно открывается дверь, ведущая в прихожую. На пороге — Таня с пакетами, старуха Гуревич и какой-то худенький мальчик лет десяти, с тоненькой девичьей шейкой и большими бархатными глазами. Чернышев и Вольф делают движение встать, но Таня предостерегающе прикладывает палец к губам.

Д а в и д (*увлеченно, ничего не замечая*). Сейчас вы видите чертеж-схему распределения теплового баланса. Это очень важный для нашей гипотезы вопрос... В северном полушарии, например, весна и лето длинные, но холодные...

С т а р у х а Г у р е в и ч. Боже мой, это где же такое? В Москве? Или на Дальнем Востоке?

Т а н я. На Марсе.



Старуха Гуревич Ах, на Марсе?! (Со смешком.) Ну, на Марсе пожалуйста! На Марсе у меня пока еще нет родственников!

Давид (упавшим голосом). Ну — всё! (Выключает проекционный аппарат, обернулся к Тане.) Мама, познакомься, пожалуйста, это товарищ Вольф Мейер Миронович...

Старуха Гуревич (шагнула вперед). Мейер Вольф?! (Всплеснула руками.) Я это предчувствовала!

Вольф (тихо). Здравствуйте, Роза! (Поклонился Тане.) Здравствуйте... Извините... Я, как говорится, без приглашения...

Таня. Я очень рада, Мейер Миронович...

Старуха Гуревич (перебила). Подождите радоваться. И подождите здороваться. Слушайте сначала, что скажу я! (Вышла вперед, на середину комнаты, уничтожающе посмотрела на Вольфа.) Когда вы прилетели в Москву, Мейер Вольф?

Вольф. Вчера.

Старуха Гуревич Во Внуково?

Вольф. Во Внуково.

Старуха Гуревич. Вы меня видели?

Вольф (засмеялся). Ну... видел...

Старуха Гуревич. Вы мне не «нукайте»! Почему же вы ко мне не подошли?

Вольф. Мне показалось...

Старуха Гуревич. Ему показалось! (Вздыхнула.) Да-а, вы умный человек, Мейер Вольф, но вы очень большой дурак!

Вольф (с непонятной радостью). Ну что вы, Роза?

Старуха Гуревич. Можете мне поверить. В чем, в чем, а в дураках я разбираюсь неплохо! (Обращаясь ко всем.) Понимаете, дети мои, вчера я ездила на аэродром во Внуково встречать одного гражданина из Владивостока... Я стою, мой самолет опаздывает, я волнуюсь — все хорошо! В это время прилетает другой самолет, не из Владивостока... Я стою, мимо проходят люди, проходит вот он и смотрит на меня так, как будто очень хочет со мной познакомиться! (Усмехнулась.) А как-то так случилось, надо вам сказать, что с прошлой недели я перестала интересоваться мужчинами... Он на меня смотрит, а я отворачиваюсь — он мне не нужен, ко мне летит совсем другой кавалер... Так как поступает умный человек? Умный человек подходит и говорит: «Здравствуйте, Роза, я ваш старый друг... Мейер Вольф. Можно, я вас поцелую?»

Вольф (улыбаясь). Можно, я вас поцелую, Роза?

Старуха Гуревич. Нет, теперь вы меня еще об этом хорошенько попросите! (Неожиданно всхлипнула, сама обняла Вольфа, расцеловала.) Как же вам не совестно, Мейер?! (Снова ко

всем.) Он, видите ли, прошел мимо. Он гордый. Он граф Люксембургский... Ему показалось, что я не хочу его узнавать из-за того, что... Ну, все понятно. *(Перевела дыхание.)* А я действительно не узнала вас, Мейер! Просто не узнала. И потом я волновалась — я встречала внучка, который — один — летел из Владивостока! Где ты там, Мишенька? Иди сюда! Смотрите, Мейер, это мой внучек, сын Ханы... Поздоровайся, золотко, с дядей Мейером!

М а л ь ч и к. Здравствуйте!

Старуха Гуревич *(Чернышеву)*. Ванечка, я, во-первых, поздравляю вас с праздником, а во-вторых, смотрите — это сын Ханы! *(Давиду.)* Познакомься, Додик... Это твой дружок. Будешь с ним дружить... Ну!

Д а в и д *(не выказывая особой радости)*. Привет. Меня зовут Давид.

М а л ь ч и к *(робко)*. Миша.

Старуха Гуревич. Внучек, а? Мишенька! К бабушке прилетел! Михаил Константинович Скоробогатенко! Как вам нравится? Я даже не знала, что есть такие фамилии!

Т а н я. Он очень похож на Хану, очень.

Старуха Гуревич. Глаза мамыны, фамилия папина, а жить будет у бабушки с дедушкой... Будет учиться на скрипке. Или на рояле. Чтобы весь день играл, а бабушка с дедушкой слушали и радовались! *(Махнула рукой.)* Ладно! Расскажите нам, Мейер... Или нет! Лучше сделаем так — взрослые пойдут в соседнюю комнату, а мальчики полчаса поиграют здесь... И если они будут умными мальчиками, так через полчаса их позовут пить чай и дадут им по хорошему куску мороженого торта! *(Наклонилась, что-то шепнула мальчику на ухо.)* Не надо?

М а л ь ч и к *(энергично замотал головой)*. Нет, нет, нет!

Старуха Гуревич. Ну, гляди! Бабушку не конфузь!..

Смеркается. В доме напротив зажгли свет. Крикнула женщина весело и протяжно: «Катюша-а-а!..»

В о л ь ф *(негромко)*. И это не наваждение, вздор! Дворы есть дворы, дети есть дети! Все продолжается — и это прекрасно! *(Притянул к себе Давида за плечи.)* Мне очень понравился твой доклад... Мне очень понравилось, что у тебя такая большая Земля, маленький Давид!

Старуха Гуревич. Пошли, пошли! Танечка, детка, ты не беспокойся, я помогу тебе по хозяйству... Давид... не обижай тут Мишеньку! Пошли!

Старуха Гуревич, Таня, Мейер Вольф и Чернышев уходят в соседнюю комнату. Мальчики остаются одни. Давид принимается укладывать диапозитивы в жестяную коробку, громко и фальшиво поет:

По разным странам я ходил,  
И мой сурок со мною,  
И весел я, и счастлив был,  
И мой сурок со мною...

Т а н я (*из соседней комнаты*). Врешь, врешь! Немыслимо врешь, перестань!

Д а в и д (*обиженно*). А я развиваю слух. Это что — тоже нельзя?

Т а н я. Можно. Развивай. Но только в те часы, когда никого нет дома!..

Молчание.

Д а в и д. Слушай-ка... Скоробогатенко твоя фамилия?

М а л ь ч и к. Скоробогатенко.

Д а в и д. Это верно, что ты вчера прилетел из Владивостока?

М а л ь ч и к. Верно.

Д а в и д. Один?

М а л ь ч и к. Один.

Д а в и д (*со смешком*). Представляю! Всю дорогу небось дрожал!..

М а л ь ч и к (*спокойно*). Нет, я не очень боялся. Я уже летал с мамой. Но одному, конечно, страшнее.

Д а в и д. Еще бы! А здесь ты у бабушки с дедушкой будешь жить?

М а л ь ч и к. Да. На улице Матросская тишина! (*Неожиданно оживился.*) Ты знаешь, мы с папой никак не могли понять, что это такое — Матросская тишина! А мама смеялась над нами и говорила, что это такая гавань, кладбище кораблей...

Д а в и д. Ну, правильно!

М а л ь ч и к. Как же правильно, когда Матросская тишина — улица! Самая обыкновенная улица. Бабушка говорит, что ее так называли потому, что в старые времена там была больница для моряков...

Д а в и д (*презрительно*). Бабушка говорит, дедушка говорит... Много они понимают! Есть Матросская тишина — улица. А есть другая — гавань, где стоят каравеллы, шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки со всего света...

М а л ь ч и к. А где она?

Д а в и д. Так тебе и скажи! Сам должен найти!

М а л ь ч и к. А ты нашел?

Д а в и д (*явно уклоняясь от ответа*). Слушай-ка, Скоробога-

тенко, а чего ты вообще приехал сюда? Чего ты во Владивостоке не остался?

М а л ь ч и к. Мне нельзя.

Д а в и д. Почему?

М а л ь ч и к (*гордо*). Потому что у меня слабые легкие. Меня из-за них папа в этом году даже в кругосветку не взял. Обещал и не взял. Врачи не разрешили.

Д а в и д. В какую кругосветку?

М а л ь ч и к. В кругосветное плаванье. Через Индийский океан, через Суэцкий канал... В общем, вокруг всего шарика!

Д а в и д (*сурово*). Знаешь, Скоробогатенко, легкие у тебя, может, и слабые, но уж зато врать — ты здоров! (*После паузы.*) У тебя кто отец?

М а л ь ч и к. Капитан дальнего плавания. Он на лайнере ходит. Он уже четыре раза в кругосветку ходил!..

Давид молчит. Отворяется дверь, ведущая в прихожую, и быстро входит  
Л ю д м и л а.

Л ю д м и л а. Привет, лопушок. Вы чего тут без света? А где все? Там?

Давид молча кивает. Людмила проходит в соседнюю комнату, где ее появление встречается громкими возгласами и смехом.

Д а в и д (*пожевал губами*). Вот что, Скоробогатенко... А ты, между прочим, слышал, как мой папа играет?

М а л ь ч и к. Слышал. У нас пластинка есть. На одной стороне — «Грустная песенка» Калининкова, а на другой Сарасате — «Цыганский танец»...

Д а в и д. А мазурку Венявского слушал? Нет? Ничего ты, выходит, не слушал. Хочешь, поставлю?

М а л ь ч и к. А можно?

Д а в и д. Если я говорю — значит, можно! (*Размахивая руками.*) Ты мой гость, я тебя развлекать обязан! Сейчас, погоди...

Давид соскакивает с подоконника, в темноте на ощупь находит пластинку, придерживает пальцами диск, ставит пластинку и возвращается на подоконник. Мальчик садится с ним рядом. Сумерки. И как только раздаются первые такты печальной и церемонной мазурки Венявского — и здесь, и в соседней комнате наступает удивительная тишина. Звучит мазурка Венявского. В освещенном проеме двери появляется Т а н я. Она останавливается на пороге, как бы на границе между светом и тенью, и, прислонившись головой к дверному проему, слушает, а затем коротко всхлипывает, как всхлипывают дети после плача. И тогда Давид подбегает к Тане, обеими руками крепко, точно оберегая, обхватывает ее руку.

Т а н я (*шепотом*). Что, милый?

В темное вечернее небо взлетают разноцветные гирлянды торжественного салюта.

Д а в и д. Салют.

Т а н я. Да. День Победы.

Д а в и д. Знаешь, мама... Ты не сердись...

Т а н я. Что, милый?

Д а в и д (*после долгой паузы*). Знаешь, мама... Ты не будешь смеяться?

Т а н я. Нет, милый. Что?

Д а в и д (*серьезно*). Знаешь, мама... Мне почему-то кажется, что я никогда не умру! Ни-ког-да!..

Звучит музыка Венявского. Взлетают в небо и гаснут залпы торжественного салюта. Далеко гудит поезд. Женщина зовет дочку со двора:  
«Катюша-а-а!..»

З а н а в е с

(1945—1956)

П р о з а

*«...Мне все-таки было уже под пятьдесят. Я уже все видел. Я уже был благополучным драматургом, благополучным советским холуем. И я понял, что так больше не могу. Что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду. Кончилось это довольно печально, потому что в общем, в отличие от некоторых моих соотечественников, которые считают, что я уезжаю, я ведь в сущности не уезжаю. Меня выгоняют. Это нужно абсолютно точно понимать. Понимаете, добровольность этого отъезда, она номинальная, она фиктивная добровольность, она по существу вынужденная. Но все равно — это земля, на которой я родился, это мир, который я люблю больше всего на свете, это даже «посадской-слободской» мир, который я ненавижу лютой ненавистью и который все-таки мой мир, потому что с ним я могу разговаривать на одном языке. Это все равно то небо, тот клочок неба, который мой клочок! И потому единственная моя мечта, надежда, вера, счастье — удовлетворение в том, что я все время буду возвращаться на эту землю. А уж мертвый-то я вернусь в нее наверняка».*

*Из магнитофонной записи беседы с Александром Галичем, состоявшейся в 1974 году, за десять дней до отъезда из СССР.*

## ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

...Дай мне неспешно и нелживо  
Поведать пред Лицом Твоим  
О том, что мы в себе таим,  
О том, что в здешнем мире живо.  
О том, как зреет гнев в сердцах...

*Александр Блок. Возмездие.*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Земля была пустыней — выжженной, вытопанной, залитой кровью. Жаркий ветер, сметая пепел и прах, посвистывал в черных развалинах. И мимо этих развалин, что еще недавно хвастливо и гордо называли себя «столицей мира» — городом Карфагеном, бесстрастно шагали римские legionеры и мерными движениями, как сеятели, разбрасывали соль.

Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьется к свету ни одна былинка.  
Горе тебе, Карфаген!

...В ту мокрую снежную зиму, когда произошли события, о которых я собираюсь здесь рассказать, в Москве, возможно, были перебои с песком (в Москве всегда с чем-нибудь перебои), а возможно, и по какой-нибудь другой причине, — но уже не римские legionеры, а самые обыкновенные московские дворники посыпали проходную часть улицы крупной серой солью, оставлявшей на обуви несмываемые противные белесые разводы.

— Горе тебе, Карфаген! — негромко сказал я жене, когда мы вылезли из такси и через улицу, заваленную сугробами,



перешли на другую сторону, к подъезду Дворца культуры комбината «Правда».

Здесь в это утро очередная студия Художественного театра — впоследствии она будет называться Театр-студия «Современник» — показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина».

Впрочем, и студийцам, и мне — автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но при этом запрещена как-то странно.

Официально она запрещена не была, у нее — у пьесы — даже оставался так называемый разрешительный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, — но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали, минуя пишущие машинки секретарш, приглушенные начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо — таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, — вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской тишины».

— Но позвольте, — растерялся директор, — спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?!

Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось:

— Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..

Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась «Матросская тишина». И нигде никто ничего не говорил прямо — а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься!

И вот — перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы, помрежи отобрали у актеров тетрадки с ролями, режиссеры-постановщики спрятали экземпляры пьесы в ящики письменных столов.

Когда-нибудь на досуге они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы...

И только маленькая студия — еще не театр, не организация с бланками и печатью — упорно продолжала на что-то надеяться.

То ли на высокое покровительство Московского Художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы партгором ЦК при МХАТе, неким Сапетовым, поддержку, за которую он впоследствии схлопочет «строгача» — строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость.

Но, быть может, самой главной основой надежды, основой основ, было то, что никто из нас — ни я, ни студийцы — не могли понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивно-патриотическую пьесу. В ней никто не разоблачался, не бичевались никакие пороки, совсем напротив: она прославляла — правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое.

Я начал писать эту пьесу весной сорок пятого года.

Это была воистину удивительная весна! Приближался День Победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблен в свою будущую жену, покончил навсегда с опостылевшим мне актерством и решил заняться драматургией.

Казалось, что вот теперь-то и вправду начнется та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось — а может быть, так оно и было на самом деле — в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникло в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории.

И мы не знали — не хотели знать, а потому и не знали, — что уже тащатся, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы — вольные — распевали такие прекрасные и задушевные песни; что распухают в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих эков; что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и вывалят в грязи, ошельмуют великих русских писателей Ахматову и Зощенко; что бездарнейший Жданов, причастный к культуре только тем, что умел с грехом пополам играть на рояле «Сентиментальный вальс» Чайковского, будет с высокомерием невежды обучать Прокофьева и Шостаковича правилам, сути и смыслу музыки.

А еще чуть позже начнется и вовсе страшное — дело Вознесенского, убийство Михоэлса, физическое уничтожение Еврейского театра и Еврейского антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, унижительная в своей ничтожности «борьба за приоритет», знаменитая сессия ВАСХНИЛа, на которой лысенковцы навсегда — так они думали — покончат с «лженаукой» генетикой.

Так вот, повторяю, могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну сорок пятого года, какой кровавый шабаш,

какая непристойность безумия и преступлений ожидает нас в ближайшие годы?!

Еще несколько лет назад я не задумываясь ответил бы — нет, не могли знать!

Но теперь —

...На этом горьком рубеже,  
Когда отрублены канаты  
И сходни убраны уже...—

теперь, сейчас, когда я — да и не один я, многие с пристрастием допрашиваем сами себя и поверяем сегодняшним отчаянием и завтрашними надеждами всю нашу прошлую жизнь, имею ли я право с той же определенностью сказать — нет, ничего мы знать не могли!

Как же так?! Ведь знали же мы, знали, прекраснейшим образом знали, какой унижительной проверке — а подчас и не только проверке — подвергаются и старики, и малыши, жившие «под немцем», или, как деликатно писали в газетах, «оказавшиеся на временно оккупированной территории»!

Знали мы и о том, какая участь ждала офицеров и солдат, попавших в плен, сумевших выжить в лагерном аду и освобожденных «родными советскими войсками»! Знали о судьбе немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев! Знали, но...

Прошивали вечерние небеса разноцветные стежки салютов, гремели торжественные залпы, пели и танцевали на Красной площади, строгий голос диктора Левитана сообщал по радио о начале штурма Берлина — и по-детски пронзительная вера в чудеса, вера в то, что все будет хорошо и удивительно, что вот сейчас, вон за тем углом, за тем поворотом вдруг откроется и заплащется море, которому здесь отродясь быть не положено, — эта счастливая и, в глубине своей, трусливая вера заставляла нас не слышать, не думать, не видеть и не помнить обо всем, что могло хоть на мгновение помешать или омрачить нашу общую радость.

В те дни я начал писать эту пьесу. Потом, по вполне естественным причинам, я ее отложил в сторону, стал — без особых, между прочим, угрызений совести — сочинять водевили и романтическую муру вроде «Вас вызывает Таймыр» и «Походного марша» и вернулся к «Матросской тишине» только много лет спустя, после Двадцатого съезда КПСС и разоблачений Хрущевым преступлений Сталина, вернулся в ту пору, которая с легкого пера Ильи Эренбурга получила название «оттепель».

Название это, кстати, при всей своей пошлости, довольно

точно отражает эту насморочно-хлипкую кутерьму, ту восторженно-погную неразбериху, которая эту пору отличала.

И опять мы поверили! Опять мы, как бараны, радостно заблели и ринулись на зеленую травку, которая оказалась вонючей топью!

Я дописал пьесу, отпечатал ее в четырех экземплярах, прочитал несколькими друзьям. Никакому театру я ее почему-то — хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом — не предложил.

И вот однажды, без предварительного звонка, ко мне пришли актер Михаил Козаков (когда он работал в Театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе «Походный марш» главную роль) и актер Центрального детского театра Олег Ефремов — один из основателей Театра-студии «Современник», а ныне главный режиссер Московского Художественного театра.

Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли ее на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции с тем, чтобы Студия открылась, как театр, двумя премьерами: пьесой В. Розова «Вечно живые» и «Матросской тишиной».

Так начался год нашей дружной, веселой, увлекательной работы — которая в это зимнее утро должна была завершиться никак не ожидаемым нами финалом.

...Небольшая толпа, состоявшая в основном из молодежи — друзья студийцев, знакомые, родственники, — томилась у подъезда Дворца культуры.

Как выяснилось, Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор Художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на «генералку» никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетеров, вымуштрованных наподобие кремлевской охраны.

Вальяжный, как все работники МХАТа, белолицый администратор стоял рядом с билетерами и держал в руке составленный Солодовниковым список.

Увидев меня с женой, он приветливо, хотя и несколько печально, улыбнулся, кивнул и сказал билетерам:

— Пропустите!

В толпе, томившейся у входа, раздались недовольные голоса:

— Почему это одних пускают, а других...

— Это АВТОР!

— Ну и что же?! — хрипло сказала какая-то девчушка. И она была, разумеется, права! Что есть автор для театральных чиновников, как не докучливый недотепа, доставляющий лишние хлопоты начальству, обремененному и без того высокими, даже высочайшими государственными заботами?! А тут на тебе — читай пьесу или того пуще — трать драгоценное время, смотри спектакль и придумывай формулировки, на основании каковых следует этот спектакль запретить!

Так при чем же, спрашивается, автор?! Решительно ни при чем!

...Несколько лет спустя мы с одним приятелем сочинили шуточную песню:

Мы поехали за город,  
А за городом дожди,  
А за городом заборы,  
За заборами вожди!

Там — трава несмятая,  
Дышится легко!  
Там — конфеты мятные,  
Птичье молоко!

За семью заборами,  
За семью запорами,  
Там — конфеты мятные,  
Птичье молоко!

О упоение — величайшее из величайших! О непреходящая страсть и забота партийно-правительственных чиновников — создание и узаконение всякого рода неравенств и предпочтений, воздвижение заборов и навешивание табличек с надписью:

*«Посторонним вход воспрещен!»*  
*«Посторонним вход строго воспрещен!»*  
*«Посторонним вход строжайше воспрещен!»*

Я видел такую табличку, повешенную дирекцией какого-то военного санатория на воротах знаменитого парка в Гурзуфе. Я смотрел на эту табличку и с грустью думал, что Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, числился за гражданским ведомством, не мог бы гулять в наши дни по дорожкам своего любимого парка и, возможно, не знали бы мы с вами строк:

...Там некогда и я,  
Сердечной мукой полный...

...Итак, мы отдали с женою наши пальто унылому гардеробщику, привели себя в порядок перед зеркалом — все-таки генеральная репетиция — и направились в зал.

Я никогда не забуду того сиротливо-тоскливого чувства, которое охватило меня, как только я переступил порог дверей, ведущих в зрительный зал. Верхняя люстра не горела, и в огромном помещении, рассчитанном тысячи на полторы мест, сидело человек пятнадцать, не больше. И еще, усиливая ощущение сиротливости, стоял в зале какой-то непонятный и неприятный запах, словно в нем долго сушили плохо постиранное белье и курили скверный табак.

Этот запах будет еще долго меня преследовать и даже иногда снится. Мне вообще снятся запахи:

Я усну, и мне приснятся запахи  
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...Запахи Севастополя — первого города, живущего в моей памяти, — были летними: мокрые и теплые камушки, соленая морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме «Оборона Севастополя» пахло совсем замечательно — скипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем.

Мы медленно шли с мамой по круглой галерее панорамы — мимо окон, за которыми расстилались форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распущенными парусами.

Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. Мы жили недалеко от Графской пристани, большую часть дня я проводил на берегу и кораблей — и военных, и торговых, и парусников — навидался предостаточно.

А вот у окна, выходящего на четвертый бастион, я застрял. И застрял надолго. Здесь все было замечательно: и реющий в дымном тумане Андреевский флаг, и раскаленные жерла пушек, и суеящиеся возле этих пушек орудийные расчеты, и храпящие, мчащиеся неведомо куда боевые кони.

А совсем рядом со мной, внизу, лежал на земле беззвучно кричащий раненый морячок, и молоденькая сестра милосердия, встав около него на колени, бинтовала ему окровавленную грудь.

Я смотрел и смотрел, а потом даже высунулся из открытого окна, чтобы разглядеть еще лучше — куда именно ранен морячок и почему у него так странно подвернута нога, я высунулся, на-

клонился, и с головы моей слетела матросская шапочка и упала на руки сестре милосердия.

И тут я не то чтобы испугался — я просто-напросто окаменел.

Я понял, что сейчас должно произойти нечто ужасное — гром, молния, Божья кара!

Но ничего не произошло.

Появился хромой сторож, мама попросила его достать мою шапку, сторож улыбнулся и снова куда-то исчез. А потом — и это уже было совсем невероятно и ни на что не похоже — хромой сторож оказался там, на поле боя. Как ни в чем не бывало, постукивая деревяшкой протеза, он подошел к раненому морячку и сестре милосердия, наклонился, поднял с земли — а вернее сказать, с пола — мою матросскую шапочку и, отряхнув, протянул ее — оттуда! — нам.

— Спасибо, — сказала мама, — большое спасибо!

— Не об чем говорить, мадам! — весело, с певичей южной интонацией ответил сторож.

...А запахи Москвы были зимними. Удивительно, но я совершенно не могу себе представить Москву моего детства весною и летом. Может, и впрямь — есть летние города и зимние города?! Я отчетливо помню запах снега на Чистых прудах, запах крови во рту (какой-то великовозрастный болван уговорил меня в лютый мороз попробовать на вкус висевший на воротах железный замок), запах мокрой кожи и шерсти — это сушились на голландской печке мои вываленные в снегу ботинки и ненавистные рейтузы, которые перед каждой прогулкой со скандалом натягивала на меня мама.

...Я усну, и мне приснятся запахи  
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...В зрительном зале Дворца культуры наиболее многочисленной — человек десять — была группа административных работников Художественного театра и каких-то незначительных чиновников из Управления культуры. Сапетов — наш защитник и друг — на репетицию не пришел, и возглавлял эту группу важный, в хорошо сшитом костюме Александр Васильевич Солодовников. Человек неглупый, но решительно ничтожный, он, говорят, имел какое-то родственное отношение к знаменитой купеческой династии Солодовниковых и во искупление своего подмоченного социального происхождения прислуживал власть имущим с таким старанием, что постоянно пересаливал, совершал какие-нибудь промахи — и тогда на некоторое время он

исчезал, словно проваливался в небытие, из которого снова возникал в очередном кресле очередного директорского кабинета — Художественного театра, Большого театра, Малого театра, Комитета по делам искусств, Министерства культуры и так далее и тому подобное.

Если Барон в пьесе Горького «На дне» говорит, что он всю жизнь только и делал, что переодевался, то Солодовников всю жизнь пересаживался из одного кресла в другое. А табличку со скромной и лаконичной надписью «Директор А. В. Солодовников» он, верно, носил в портфеле — сам привинчивал ее к дверям, сам отвинчивал.

...В стороне, совершенно отдельно от всех, закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке, сидел Георгий Александрович Товстоногов — художественный руководитель Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. Решительно непонятно — как и зачем он попал на эту генеральную репетицию, хотя именно ему суждено будет сказать роковую фразу, которой воспользуется Солодовников, когда, после окончания спектакля, возникнет долгая и неловкая пауза.

Человек по-настоящему талантливый, Товстоногов добился ведущего положения в театральном мире благодаря своему дарованию, энергии, даже некоторой смелости.

Но одно дело — пробиться наверх. И совсем другое — на этом верху удержаться.

Тут уж никакой творческий дар, никакая энергия и уж тем более смелость помочь не могут. И начинается позорный путь компромиссов, сделок с собственной совестью, рассуждений вроде — ну ладно, поставлю к такому-то юбилею или торжественной дате эту дерьмовую пьесу, но уж зато потом...

Но и потом будет юбилей и очередная торжественная дата — в нашей стране они следуют друг за другом непрерывно чередой — и: «Все мастера культуры, все художники театра и кино должны откликнуться, обязаны осветить, отобразить, увековечить, прославить!...»

И откликаются, освещают, отображают, увековечивают, прославляют!

И не наступит, никогда уже не наступит это заветное «потом» — вянет талант, иссякает энергия и навсегда исчезает из словаря даже само слово «смелость».

...Когда мы с женой вошли в зал и заняли места — где-то примерно ряду в пятнадцатом, — все головы обернулись к нам и на всех лицах изобразилось этакое печально-сочувственное вы-



ражение — таким выражением обычно встречают на похоронах не слишком близких родственников усопшего.

А Солодовников посмотрел на меня особо. Солодовников посмотрел на меня так, что я, сам того не желая, усмехнулся.

Я хорошо, на всю жизнь, запомнил подобный взгляд.

...После того как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена — сто с лишним лет тому назад — принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года, во время короткого наезда в Москву, Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою только что законченную трагедию «Борис Годунов».

В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно грозящих обрушиться перегородок зал был разделен на целых четыре квартиры — две по правую сторону, если смотреть от входа, окнами во двор, две по левую — окнами в переулок, и между ними длинный и темный коридор, в котором постоянно, и днем и ночью, горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка.

Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова».

А во дворе, в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме, который все по старинке называли «службами», жил дворник Захар.

Был он добрейшей души человек, но горький пьяница. В конце концов он допился до белой горячки и умер.

Жена Захара решила после похорон и поминок уехать домой, в деревню. Собралась она быстро, а перед отъездом, вроде бы на прощанье, устроила распродажу оставшихся после Захара и не нужных ей в деревне вещей.

Прямо во дворе, на деревянном столе, очищенном от снега и застеленном газетами, было разложено для всеобщего обозрения какое-то немислимое шмотье — все, что попадалось Захару в те недавние смутные годы, когда в веневитиновском доме чуть не каждый месяц — а то и чаще — сменялись жильцы. Одни уезжали — неведомо куда, другие переезжали — неведомо откуда. И все они что-нибудь бросали, оставляли. А Захар подбирал. И теперь это брошенное и подобранное

лежало на деревянном столе, под открытым небом, на желтых газетах — и некрупный снежок падал на рваную одежду и разрозненную обувь, на искалеченные люстры, на чемоданы и кофры с продранными боками и оторванными ручками, на всевозможнейшие деревяшки и железки неизвестного назначения.

А совсем с краю, уже даже и не на газете, как вещь воистину и в полном смысле этого слова бесполезная и пустая, лежал альбом с марками.

Альбом был очень толстый и очень замурзанный. Марки в него были вклеены как попало — неряшливо и небрежно, иные прямо обратной стороной к бумаге. Наклеивал их, видно, какой-то совершеннейший дурак и невежда. Но альбом, повторяю, был очень толстый. И марок в нем было очень много. И когда я спросил у жены Захара, сколько она за него хочет, она — не взглянув в мою сторону и даже, кажется, не разобрав, к чему именно я прицениваюсь, — равнодушно ответила:

— Пять гривен.

Я понимал, что пятьдесят копеек — это большие деньги, но я все-таки выпросил их у отца. И я купил этот альбом.

Несколько дней подряд я, как скупой рыцарь, подсчитывал количество неиспорченных («небракованных» — так полагалось говорить) марок в «альбоме Захара». Их оказалось что-то около двух с половиной тысяч штук. В основном это были русские дореволюционные марки.

Как большинство начинающих, я мечтал о «треуголках» с далекого острова Борнео, о черных лебедях Тасмании и Новой Зеландии, о красочных марках Бельгийского Конго. А тут все были какие-то двуглавые орлы и унылые портреты государей-императоров.

Но я не огорчился. Я знал, что есть чудачки, которые собирают именно старые русские марки, что можно совершить обмен — но для этого полагалось, по всем законам, определить хотя бы приблизительную ценность марок в «альбоме Захара». Нужен был каталог.

А каталог, даже плохонький (я уж не говорю о знаменитом французском каталоге Ивера), стоил так дорого, что я и заикнуться не смел, чтобы мне его купили.

Но и тут отыскался выход.

Недалеко от нашего дома, у Мясницких (Кировских) ворот, находился Главный почтамт. И ежедневно, часов с двух и до позднего вечера, в здании почтамта, у окошечка, за которым красноносый старик продавал открытки и марки, собирались филателисты и нумизматы со всей Москвы.

Не было тогда, наверное, ни клуба, ни филателистического

общества, и поэтому все охотники за марками и старинными монетами толпились здесь, на этом неприятном и шумном пятачке.

Прелюбопытнейшее это было зрелище — азартные мальчишки, вроде меня, мал мала меньше, и почтенные седобородые старцы, пожилые мужчины этакого профессорского обличья — в пенсне и старомодных глубоких калошах, — и мятые юркие личности неопределенного возраста, общественного положения и даже пола. И у всех, не исключая самых седых и почтенных, были прозвища. Так, например, глава всего этого сборища, непререкаемый авторитет по любым вопросам филателии и нумизматики, длинный худой старик с козлиной бородкой и противным скрипучим голосом назывался Дядя Меша, или Мешок.

Здесь можно было купить, продать, совершить обмен, получить справку и консультацию, и, что самое главное, у красномордого «дедушки в окошке» был каталог Ивера, в который он разрешал заглядывать всем желающим.

И вот я отправился на Главный почтамт. Для начала я взял с собой только одну марку — ту, которую я по неизвестным причинам особенно невлюбил. Марка эта и вправду была какая-то ужасно скучная: большая, квадратная, с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф».

...В ответ на мою робкую просьбу «дедушка в окошке» взял со стола вождеденный, в синем матерчатом переплете каталог Ивера и, еще не давая его мне, коротко спросил:

— Какая страна?

— Россия.

«Дедушка в окошке» перелистал каталог, нашел нужную страницу, заложил ее бумажной полоской и протянул, наконец, каталог мне.

Я взглянул на заложенную страницу и обомлел.

Некрасивая, большая, почти квадратная марка с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф», словом, та самая марка, которая — запрятанная в пакетик — лежала сейчас у меня в нагрудном кармане, открывала раздел марок России. Она была отмечена тремя звездочками, что, кажется, означало крайнюю степень редкости, и стоила, если мне не изменяет память, не то двадцать пять, не то тридцать пять тысяч франков.

— Ну, давай каталог! — проворчал «дедушка в окошке» и, увидев на моем лице выражение идиотского восторга, граничащего с испугом, поинтересовался: — Ты чего?

Я молча показал ему марку.

«Дедушка в окошке» издал горлом какой-то булькающий странный звук, и окошко внезапно закрылось. Через мгновение (случай небывалый!) дедушка вышел из стеклянной двери в перегородке и прямоком направился к дяде Меше. Я уж и не знаю, что он ему там сказал, но только дядя Меша, мгновенно прервав беседу с каким-то чрезвычайно франтоватым молодым человеком, обернулся, поглядел на меня и, не здороваясь, протянул длинную худую руку:

— Покажите! Это ваша марка? — спросил он меня через секунду и, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана бумажник и бережно спрятал в него конвертик с маркой. — Вот что, — сказал дядя Меша, — я сегодня покажу эту марку экспертам... Завтра ровно в три часа я буду здесь! Если ваша марка не подделка, не «фальшак», то я предложу вам за нее чрезвычайно интересный и выгодный для вас обмен!.. Будьте здоровы!..

...Но на завтра — ни в три, ни в четыре, ни в пять — дядя Меша на почтаamt не пришел. Он явился только на третий день, и когда еще издали я увидел, как он проталкивается сквозь тяжелую вращающуюся дверь, я, не помня себя от радости, со всех ног бросился к нему:

— Здравствуйте!

— Мое почтение?! — удивленно, холодно и небрежно ответил дядя Меша.

— Ну, как моя марка? — спросил я, глупо улыбаясь.

Лохматые брови дяди Меши полезли вверх:

— Ваша марка? Какая ваша марка?

— Ну как же?! — залепетал я, уже чувствуя, что происходит что-то ужасное и непоправимое. — Ну, вы же помните... Вы взяли у меня марку... «Русский телеграф»...

— «Русский телеграф»?!

Дядя Меша скорчил презрительную усмешку.

— Милостивый государь! — сказал он, добывая меня окончательно, поскольку ни до, ни после никто не называл меня «милостивым государем». — Я занимаюсь филателией больше сорока лет... Только недавно мне впервые удалось достать «Русский телеграф», и то в довольно плохой сохранности! Я знаю коллекционеров — настоящих коллекционеров, которым за всю жизнь так и не посчастливилось достать этот раритет...

Что такое «раритет», я не знал, но мне уже было все равно.

Несколько мятых личностей обступили нас, с мрачным интересом прислушиваясь к нашему разговору.

Усмешка на губах дяди Меши стала еще язвительнее:

— Позвольте, позвольте... Теперь я припоминаю... Да, действительно, вы дали мне на обмен марку, но она оказалась такой бессовестной, такой грубой подделкой, что я ее просто напросто выбросил!..

...Вот так же точно, как дядя Меша, посмотрел на меня Александр Васильевич Солодовников. И хоть он и не назвал меня «милостивым государем», но то же язвительно-скучное осуждение читалось в его взгляде — зачем, мол, ты, братец, подсовываешь нам, занятым людям, какую-то грубую подделку, какой-то фальшак?!

Великое правило «черного рынка», первейшая заповедь всех и всяческих шулеров и мошенников — обманутого следует объявить обманщиком!

...Весь год ни валко и ни шатко,  
Все то же в новом январе.  
И каждый день горела шапка,  
Горела шапка на ворé!  
А вор белье тащил с забора,  
Снимал с прохожего пальто  
И так вопил:  
«Держите вора!»—  
Что даже верил кое-кто!

...И только две дамочки, сидевшие в первом ряду, не проявили к нашему появлению ни малейшего интереса и, не обернувшись, продолжали шушукаться о чем-то своем.

Как выяснилось, эти дамочки-то и были самыми главными, это для них устраивалась генеральная репетиция, это от них ждали окончательного и решающего слова.

...Я довольно хорошо запоминаю лица людей, которых встречал даже мельком, но сегодня, как я ни бьюсь, я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек.

Помню только, что они были почти пугающе похожи друг на друга, как две рельсы одной колеи. Одинаковые бесцветные жидкие волосы, собранные на затылке в одинаковые фиги, одинаковые тускло-серые глазки, носы — пуговкой, тонкогубые рты. И даже фамилии (честное слово, я ничего не придумываю!) у них были одинаково птичьи: дамочка из ЦК звалась Соколовой, а дамочка из МК — Соловьевой.

Причем как-то так получилось по сложнейшей системе партийно-чиновной иерархии, что дамочка из МК (в платье кирпич-

ного цвета) была почему-то главнее дамочки из ЦК (в платье бутылочного цвета), и, как говорили, они далеко не всегда и не во всем ладили.

Но сегодня они были заранее заодно и мирно шушукались, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. В довершение пугающего сходства у обеих дамочек был насморк, и они время от времени почти одинаковыми движениями вытирали покрасневшие носы-пуговики и чинно закидывали платочки в рукава бутылочного и кирпичного платьев.

О чем они шушукались, кто знает!

Уж наверняка не о студии, не о пьесе, не о спектакле. Даже (я допускаю и это!) не о государственных делах, а скорее всего — о чем-нибудь уютном, мирном, домашнем: о здоровье, о детях, о том, как готовить капустные котлеты — с яйцом или без.

Есть три раза в день хотят все, даже палачи.

...Когда-то, в тысяча девятьсот сорок девятом году, я, как молодой кинематографист, был приглашен на торжественное собрание в Дом кино, посвященное избиению космополитов от кинематографа.

Принцип единообразия действовал с железной последовательностью: если были поначалу обнаружены космополиты в театре, теперь, естественно, следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе, в музыке, в живописи, в науке.

Среди тех, кого собирались побивать камнями на этом торжище, были и мои тогдашние друзья — драматург Блейман, критики Оттен, Коварский.

Именно это обстоятельство заставило меня пойти в Дом кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду — они все сидели в первом ряду для того, чтобы выступавшие могли обрушивать с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство, а прямо в лицо изгибам, безродным космополитам, Иванам и Абрамам, не помнящим родства!..

А вел собрание, председательствовал на нем, управлял им Михаил Эдишерович Чиаурели — любимый режиссер и непременный застольный шут гения всех времен и народов, вождя и учителя, отца родного, товарища Сталина.

Зычным и ясным голосом Чиаурели объявлял фамилию очередного оратора, что-то задумчиво чертил в блокноте, поворачивал к говорившему свой медальонный — как у Остапа Бендера — профиль, то хмурился, то язвительно усмеялся, то недобрительно поджимал губы.

Он негодовал, он скорбел, он переживал.

И вдруг, поглядев в зал, он увидел меня, и что-то изменилось в его лице. Он даже чуть приподнял руку и, встретившись со мной взглядом, несколько раз призывно покивал мне головой.

Я похолодел. Я понял, что после уже объявленного перерыва Чиаурели хочет, чтобы выступил я и от имени молодых заклеил, кого положено заклеить, и заверил, кого положено заверить, в том, что уж мы-то, молодые, не подведем, не подкачаем, не посрамим!

«Надо смываться!» — решил я.

А Чиаурели все продолжал призывно кивать мне головой, и я мысленно обругал своего ни в чем не повинного младшего брата, на свадьбе которого я и познакомился с Михаилом Эдишеровичем.

Когда объявили перерыв, я ринулся к выходу, но меня почти мгновенно перехватил администратор Дома кино:

— Вас просил задержаться товарищ Чиаурели, он хочет с вами поговорить!..

Чиаурели спустился со сцены в зал, подошел, взял меня дружески под руку, отвел в угол.

Задумчиво, как бы изучающе глядя мне в лицо, он негромко спросил:

— Слушай, это правда, что у тебя больное сердце?

— Правда, правда, Михаил Эдишерович,— заторпился я надеясь, что это обстоятельство поможет мне отказаться от выступления,— правда!

Но уже следующий вопрос Чиаурели меня буквально ошелолил:

— Слушай, а сколько раз ты не боишься?

Я ничего не понял:

— Как это — «сколько раз»?

— Ну, ты понимаешь,— Чиаурели повертел пуговицу на моем пиджаке и печально улыбнулся,— у меня тут, в Москве, одна очень прекрасная девочка... Цветочек! Но когда я ее...— он употребил как нечто совершенно естественное грубое непечатное слово,— больше двух раз, у меня начинает болеть сердце! А сколько раз ты не боишься?..

Так вот о чем он думал, этот почтенный председательствующий на торжественном аутодафе, вот какая мысль томила его и не давала ему покоя, вот о чем он размышлял, делая вид, что с глубоким вниманием прислушивается к истерическим выкрикам Всеволода Пудовкина и хрипению Марка Донского.

Теперь я знаю, что означало покачивание головой, поджимание губ, саркастическая усмешка!

А вот о чем шушукались бутылочная и кирпичная, я не узнаю уже никогда. Тем более что и сами они давным-давно позабыли и эту генеральную репетицию, и мою пьесу — столько их было потом! — других театральных залов, других спектаклей, других пьес, которые по той или иной причине следовало запретить.

...Когда мы с женой заняли свои места, Солодовников встал. Он подошел к первому ряду и что-то почтительно спросил у ответственных дамочек.

Кирпичная кивнула.

— Олег Николаевич! — позвал Солодовников.

В проеме занавеса в ту же секунду появилось испуганное лицо Олега Ефремова.

— Олег Николаевич,— сказал Солодовников и посмотрел на часы,— я думаю, будем начинать!.. А то товарищи,— он значительно указал на бутылочную и кирпичную,— торопятся!

— Хорошо, Александр Васильевич!..

Ефремов скрылся и через мгновение, когда в зале погас свет, снова появился на авансцене в луче бокового софита и начал — он исполнял в моей пьесе роль Чернышева и одновременно рассказчика — читать вступительную ремарку:

— «Детство. Город Тульчин. Первая пятилетка. Август одна тысяча девятьсот двадцать девятого года. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув головы, с грустным недоверием разглядывают звездное небо. Следом за пьяными почтительными стайками ходим мы, мальчишки.

В ту пору нам было по десять — двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками...

Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоем — отец, Абрам Ильич, и Давид — они занимали большую полуподвальную комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось — их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на места. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в черной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами. Старуха неодобрительно смотрела на входящих...»



...Двинулся занавес. Так как спектакль уже перестали финансировать, то декорации были сооружены из так называемого «подбора» — кое-что удалось смастерить самим, кое-что выпросить в постановочной части Художественного театра.

Ефремов медленно, спиной к зрительному залу — словно разглядывая внимательно то, что происходит на сцене, — перешел из левой кулисы в правую, остановился и вполоборота к залу договорил слова вступления:

— «Вечер. Абрам Ильич Шварц (актер Е. Евстигнеев), маленький пожилой человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги, исчерканные красным карандашом. Давид (актер И. Кваша) стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, слегка вздернутый нос и оттопыренные уши. Он играет на скрипке, время от времени умоляющими глазами поглядывая на круглые стенные часы-ходики.

У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и веселый человек — кладовщик Митя Жучков (актер И. Пастухов)».

Ефремов, слегка понизив голос:

— «Сухо пощелкивают костяшки на счетах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с Богом. За окном равнодушный женский голос протяжно кричит на одной ноте: «Серёньку-у-у-у!..»

Ефремов скрылся в кулисе, и сцена, до тех пор неподвижная, ожила: запиликала скрипка, защелкали костяшки на счетах, где-то далеко протяжно прокричал женский голос:

— Серёньку-у-у-у!..

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Закончилось первое действие. В зале снова зажегся тоскливый и тусклый боковой свет.

Ответственные дамочки разом встали и твердыми шагами командора направились в туалет, сохраняя на безликих лицах выражение этакой начальственной отрешенности. Отрешенность эта должна была, очевидно, означать — хоть мы и идем в туалет, но мы слишком ответственные работники, чтобы кто-нибудь посмел подумать, что мы идем в туалет!

Поравнявшись с Солодовниковым и встретив его вопросительный взгляд, кирпичная сказала сокрушенно и очень громко — в пустом зале голос ее прозвучал как-то особенно громко и гулко:

— Никакой драматургии... Ну, совершенно, совершенно никакой драматургии!..

Солодовников понимающе кивнул.

Моя жена, точно окаменев, сидела, вцепившись руками в подлокотники кресла.

В этом первом антракте мы оба — заядлые курильщики — даже не вышли в фойе покурить.

Белолицый администратор, почтительно проводив ответственных дамочек до выхода и тут же вернувшись, вдруг быстро подошел ко мне, наклонился и со вздохом шепотом проговорил:

— Дали бы мне этот спектакль месяца на три — на четыре... Я бы им закатил таких сто аншлагов, что...

Он поцокал языком и так же быстро отошел.

А я сидел и нетерпеливо ждал начала второго действия. Я прекрасно — даже и тогда — понимал все его недостатки, но с этим вторым действием у меня были какие-то свои, тайные и особые отношения.

Дело в том, что я никогда не жил и даже не бывал в Тульчине. Я его придумал, вообразил, «вычислил» — как принято теперь говорить.

Детство свое я провел в Севастополе, в Ростове, в Баку — в разных больших и малых городах, куда забрасывало неугомонное время моих неугомонных родителей.

А в Тульчине я не бывал.

Уже в середине двадцатых годов семья моя навсегда поселилась в Москве, я очень быстро стал московским мальчиком и в Трифоновский студенческий городок, где жили многие мои иногородние друзья, ездил чуть ли не ежедневно — именно в том самом тридцать седьмом году, именно в тот самый Трифоновский студенческий городок, где и происходит второе действие.

Тут уж я ничего не воображал и не придумывал — тут я помнил.

...В тысяча девятьсот тридцать пятом году, окончив девять классов десятиклассной средней школы, которая обрыдла мне до ломоты в скулах, я нахально решил поступить в Литературный институт.

Как ни странно, меня приняли на поэтическое отделение необыкновенно легко и даже почти без экзаменов. Сыграла свою роль, наверное, заметка Эдуарда Вагрицкого в газете «Комсомольская правда», которую он написал незадолго до своей

смерти и где он в чрезвычайно лестных тонах упоминал мое имя.

Но, уже поступив в Литературный институт и болтаясь по Москве в ожидании начала занятий — дело происходило летом, — я вдруг узнал, что на улице Горького (тогда она еще называлась Тверской), в доме номер двадцать два, где помещалась ранее Малая сцена Художественного театра, открывается новая театральная Школа-студия под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского, в какую студию и производится набор лиц обоего пола в возрасте от семнадцати до тридцати пяти лет!

Я затрепетал и заметался!

...Передо мной на столе лежат пожелтевшая от времени программа и пригласительный билет на закрытое заседание Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, посвященное столетней годовщине чтения Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых.

Программки были отпечатаны тиражом всего в шестьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире — в одной из тех четырех квартир, что были выгорожены из зала веневитиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трех комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек — я до сих пор ума не приложу.

Все, однако же, каким-то непостижимым образом разместились.

В воскресенье двадцать четвертого октября (двенадцатого по старому стилю) тысяча девятьсот двадцать шестого года состоялся этот, незабываемый для меня, вечер.

Съезд приглашенных ожидался к восьми часам, но еще с утра, еще в первой половине дня началось волшебное преобразование нашего дома.

У моих родителей довольно часто бывали гости, и я прекрасно знал, что это значит, когда в наших комнатах натирают полы, накрывают стол парадной скатертью, когда на кухне — которая помещалась в темном коридоре за занавеской — что-то шипит и жарится, и отец, священнодействуя, настаивает водку на лимонных корочках.

Но теперь все было совсем по-другому. Преобразование не имело внешних примет, а шло как бы изнутри. Преображалась самая суть нашего дома — воздух его, звуки, запахи, настроение. Дом ожидал чуда — и все это понимали, а я, как мне казалось, понимал с особенной, страстной отчетливостью.

Первым, часам к шести, приехал старший брат моего отца — профессор Московского университета, пушкинист, один из организаторов этого вечера. Он рассеянно бродил по комнатам, тербил мягкую седую бородку, бесцельно переставлял стулья с места на место, и вообще по всему было видно, что он очень волнуется.

И вот наконец пробило восемь и начали появляться приглашенные. Они здоровались с дядюшкой и отцом, целовали руку маме, улыбались мне — но все это еще не было чудом, я знал, чудо было впереди.

Открыл вечер председатель Общества любителей российской словесности профессор Сакулин. Потом с короткими сообщениями выступили профессор Цявловский и дядюшка, а потом, после недолгого перерыва, началось чудо. В программке чудо это называлось так:

«Чтение отрывков из «Бориса Годунова» артистами Московского Художественного театра. Сцену «Келья в Чудовом монастыре» исполняют Качалов и Синицын, сцену «Царские палаты» — Вишневский, сцену «Корчма на литовской границе» — Лужский, сцену «Ночь, сад, фонтан» — Гоголева и Синицын и отрывок из воспоминаний Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых исполнит Леонидов...»

Чудо произошло мгновенно и незаметно — просто Василий Иванович Качалов сел в глубокое кожаное кресло (которое отец по случаю приобрел где-то на распродаже), а у ног Качалова на низкой скамеечке, моей скамеечке, устроился Синицын.

И вдруг стало зябко и сумрачно, и окно нашей столовой вытянулось и сузилось, и на нем появилась решетка, и кожаное кресло превратилось в деревянное, и зазвучал несравненный голос Качалова — Пимена:

— Еще одно последнее сказанье,

И летопись окончена моя!..

Само собой разумеется, что с этого вечера я стал бредить театром. Я выучил наизусть чуть ли не всего «Бориса Годунова» и, вышагивая по нашему темному коридору, декламировал, безуспешно подражая качаловским интонациям:

— Исполнен долг, завещанный от Бога

Мне, грешному!..

Как же я мог теперь, увидев объявление о наборе учеников в Студию Константина Сергеевича Станиславского, удержаться и не подать заявления о приеме?! Правда, мне еще не исполнилось семнадцати лет, но меня это смущало не слишком, тем более

что заявление у меня приняли и даже назначили день, когда я должен явиться на первый экзамен.

Если в Литературный институт, как уже было сказано выше, я попал сравнительно легко, то на экзаменах в студию пришлось натерпеться и волнения, и страхов.

Конкурс был немислимый — сто человек на одно место. Приемные испытания проводились в четыре тура, причем с каждым новым туром экзаменаторы были все более знаменитыми и все более строгими.

На предпоследнем, третьем, туре председательствовал Леонид Миронович Леонидов, великий театральный актер и педагог, прославленный Митя Карамазов.

На этом экзамене я показывал с партнершей, назначенной мне на втором туре — до сих пор помню, что звали ее Верочкой Поповой, — сцену из «Романтиков» Ростана.

Мы поставили один на другой два шатких стола, что должно было означать сцену, влезли наверх и принялись, по выражению старых провинциальных актеров, «рвать страсть в клочки», изображая несчастных влюбленных.

Как выяснилось потом, экзаменационная комиссия во главе с Леонидовым смотрела на наши безумства стоя, ибо мы каждую секунду грозили свалиться с нашей верхотуры им на головы.

На следующий день я с совершенно искренним удивлением узнал, что допущен к четвертому туру — то есть, в сущности, принят в студию, так как четвертый тур заключался в показе самому Константину Сергеевичу Станиславскому уже отобранных будущих учеников.

...Я очень плохо помню тот день. Все мы волновались — до заиканья, до дрожи в коленях, до слез в глазах.

«Театральный роман» Булгакова еще не был напечатан, и я не мог оценить ту насмешливую точность, с которой в главе «Сивцев Вражек» описаны двор дома Станиславского, и знаменитая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, и прихожая с белевскими колоннами и черной-пречерной печкой.

Впрочем, в тот день я не сумел бы оценить Булгакова, даже если бы и читал роман. Я был в беспамятстве.

...И вот я стою в зальце, где такие же, как в прихожей, белевские колонны, и прямо передо мною сидит Станиславский, а рядом с ним Леонидов, и еще кто-то, и еще кто-то — десятки лиц, сливающихся в одно зыбкое пятно.

Надсадным голосом я читаю Пушкина: «Графа Нулина» и «Погасло дневное светило».

Потом я вижу, как Станиславский приподнимает большую белую руку — помню, что я еще тогда сразу поразился величине,

близне и необыкновенно выразительной пластичности этой руки,— и подзывает меня.

Я подхожу. Я вижу совсем рядом лицо Станиславского, седую голову и по-прежнему темные брови, слышу горьковатый запах одеколона и негромкий голос:

— Скажите, а монолог вы какой-нибудь приготовили?

— Монолог «Скупого рыцаря»! — с готовностью выпаливаю я.

Леонидов почему-то фыркает, как будто он поперхнулся. И вокруг тоже раздаются смешки.

Станиславский улыбается и совсем тихо — мне приходится к нему наклониться — спрашивает:

— Голубчик, а поскромней у вас чего-нибудь нет? Вам сколько лет?

— Семнадцать,— отвечаю я.

— Семнадцать?! — переспрашивает Станиславский и вдруг, откинувшись назад, начинает весело и по-детски заразительно смеяться.

Через несколько дней после этого показа нам торжественно вручили удостоверение, в которых черным по белому было написано, что мы являемся студийцами первого курса Оперно-драматической студии народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского.

Начались занятия. Все очень старались — боялись отсева. Всем было трудно, а мне труднее, чем остальным.

Целый учебный год, с осени до весны, я метался как заяц из Литературного института в студию, а потом снова в институт и снова в студию — благо хоть находились они недалеко друг от друга.

Перед весенними экзаменами меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте, и в студии читал историю русского театра,— и характерным своим ворчливым тоном сказал:

— На тебя, братец, смотреть противно — кожа да кости! Так нельзя... Ты уж выбирай что-нибудь одно... — Помолчав, он еще более ворчливо добавил: — Если будешь писать — будешь писать... А тут все-таки Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал студию.

Не пройдет, между прочим, и месяца, как я в первый раз — а впоследствии не однажды — пожалею об этом решении.

Теперь, когда мне уже не надо было мчаться с лекций в институте на занятия в студию, у меня неожиданно образовалось свободное время, и я мог спокойно, не торопясь совершать

обходы букинистических магазинчиков, которых в ту пору было на Тверской превеликое множество.

Однажды в дверях одного из таких магазинчиков я столкнулся с Леонидом Мироновичем Леонидовым.

Устремив на меня свой знаменитый прищуренный — «пулевидный» — правый глаз, он зловеще сказал:

— Ага, так, так! Книжечками интересуетесь?

— Да,— виновато признался я.

— Прекрасно! — сказал Леонид Миронович и взял меня под руку.— Здесь сегодня ничего хорошего нет, а вот, говорят, напротив, у Кузьмича...

Леонидов был страстным книжником и знал по имени-отчеству всех букинистов Москвы. Он собирал издания «Академии» и книги по театру, а я поэзию. Мы, так сказать, не были конкурентами (да и возможности у нас были, разумеется, разные), и после занятий — а Леонид Миронович репетировал с нами «Плоды просвещения», где я исполнял роль гипнотизера Гроссмана,— он иногда, если был в хорошем настроении, предлагал мне:

— Пройдемся, Саня, по книжкам?

Один из таких походов я запомнил особенно хорошо — этот пронзительный весенний день с холодным ветром и ярким солнцем. Только что на занятиях Леонидов похвалил меня за какой-то этюд, и теперь я шагал рядом с ним возбужденный, радостный и без умолку трещал о ролях, которые я мечтаю сыграть.

Я не слишком утруждал свою фантазию, а просто почти без изменений повторял репертуар легендарного провинциального актера на ампула «неврастеников» Павла Орленева, мемуарами которого мы все тогда зачитывались: Треплев в «Чайке», Освальд в «Привидениях» Ибсена, «Орленок» Ростана.

Леонидов шагал, посмеиваясь — большой, грузный,— постукивал палкой. А потом он вдруг остановился, положил руку мне на плечо и сказал:

— Вот что... Ты теперь уже взрослый, на второй курс переходишь... Можешь попросить завтра в канцелярии — скажи, что я разрешил,— свое заявление о приеме и мою на нем резолюцию! Почитай!..

...Я держал в руках свое заявление, я читал и перечитывал надпись, сделанную Леонидовым — красным карандашом, крупным, угловатым, каким-то готическим почерком: «ЭТОГО принять обязательно! Актера не выйдет, но что-нибудь получится! Л. М.».

Сердце мое было разбито. На несколько дней. Свойственное

мне до седых волос легкомыслие и вера в то, что все еще как-то обернется к лучшему, заставили меня усомниться в справедливости слов Леонидова.

Я пробыл в студии еще целых три года.

Странное это было заведение — последняя студия гениального мастера, последнее детище величайшего актера и режиссера, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя прославленной и изучаемой во всем мире «Системы Станиславского».

Странное это было заведение, очень странное!

Ну, например, едва ли не треть педагогов студии состояла из близких и не очень близких родственников самого Константина Сергеевича Станиславского. Предмет «мастерство художественного чтения» вела Зинаида Сергеевна Соколова — несостоявшая актриса, родная сестра Станиславского. Брат — милейший старик — Владимир Сергеевич Алексеев занимался с нами и вовсе загадочной дисциплиной — правилами истинно московского произношения.

Был Владимир Сергеевич рассеян до чрезвычайности. Однажды мы поднимались с ним вместе из гардероба на второй этаж, где находились учебные классы студии.

И вот, пройдя несколько ступенек, Владимир Сергеевич, с которым я уже здоровался в гардеробе, остановился, поглядел в мою сторону, мило улыбнулся и протянул руку:

— Здравствуйте, голубчик, здравствуйте! Как поживаете?

— Спасибо, Владимир Сергеевич, здравствуйте, хорошо!

Пока мы успели подняться наверх, эта процедура здоровья повторилась раз пять, не меньше.

Была еще в студии какая-то сгорбленная и скрюченная старушечка, уже из дальних родственников, которая обучала нас пластике движения. Была и другая старушка — шепелявая, картая и злая, — она занималась с нами постановкой голоса.

Уроки эти мы ненавидели страстно — в течение часа старуха негнушимся пальцем выдалбливала на рояле простейшие трезвучия, а мы должны были с разной степенью громкости тянуть за нею:

— Ми-ма-мо!... Ми-ма-мо!..

Но конечно же, конечно — были и Станиславский, Леонидов, Подгорный, Книппер-Чехова, были опытнейшие педагоги и воспитатели Раевский и Карев, были студийные вечера, на которых мы совсем рядом могли видеть и слышать великих актеров Москвина, Качалова, Тарханова...

И тем более многие, причастные к студии — и я в том числе, — не раз задумывались над таким простейшим вопросом:



как случилось, как могло случиться, что из тридцати человек, отобранных из трех тысяч (потом еще было два набора, и всего на драматическом отделении — а существовало еще и оперное — занималось человек пятьдесят), что из этих избраннейших из избранных, из этих счастливых, которым завидовали студенты всех театральных школ, — как случилось, что из них не вышло ни одного, ни единого сколько-нибудь значительного актера, за исключением разве что Михаила Кузнецова, который сразу же по окончании студии ушел работать в кино.

Ответ, как я теперь думаю, прост: никого по-настоящему и не интересовало — станут студийцы актерами или не станут. Нам преподавали актерское мастерство — как же иначе! — но были мы в сущности деревянными фигурками на шахматной доске, именуемой пышно «Театром — Храмом», мы были подопытными кроликами, на которых Константин Сергеевич Станиславский проверял свою последнюю теорию — «теорию физических действий».

Писалось об этой теории достаточно много, а в двух словах сводилась она к следующему: правильные физические действия должны привести исполнителя к правильному поведению, правильное поведение — вызвать правильное состояние, правильное состояние — помочь обрести правильные слова.

Я сам каждую неделю принимал участие в репетициях «Гамлета» под руководством Константина Сергеевича.

Распределение ролей никакого значения не имело: роль Гамлета была почему-то поручена девушке, Ирине Розановой, я — восемнадцатилетний, худющий как щепка — изображал короля Клавдия.

Заучивать шекспировский текст нам было строжайшим образом запрещено. Предполагалось, что если мы будем правильно действовать, в соответствии с сюжетом пьесы, то и найдем в конце концов правильные слова.

Разумеется, многие из нас жульничали. И я жульничал чаще других.

Пользуясь своей хорошей памятью, я время от времени вставлял в эту чудовищную ахирию, которую мы все несли, подлинные, хотя и слегка ритмически измененные, шекспировские слова, и тогда Константин Сергеевич радостно улыбался, хлопал в ладоши и с глубоким удовлетворением говорил:

— Вот видите: Саня правильно действовал — и он нашел почти правильные слова.

Много лет спустя, когда я наконец прочту удивительный «Театральный роман» Булгакова, я узнаю и этот особняк в Леонтьевском переулке, и фойе-прихожую с вечно раскаленной

печкой, и маленький домашний театральный зал, и кабинет Константина Сергеевича, где проходили наши репетиции.

Но если в годы действия «Театрального романа» еще возможно было такое чудо, как приезд Ивана Васильевича (то бишь Константина Сергеевича) на репетицию в театр, то в годы последней студии Станиславский никуда и никогда из дома не выходил.

Запершись в своем особняке, отгородившись от всего света, он жил в иллюзорном, совершенно нереальном мире, где единственной святыней, началом всех начал и смыслом всех смыслов было некое «Театральное Искусство» с большой буквы, которому он истово продолжал служить до глубокой старости, тогда как «там»...

Презрительная усмешка и великолепный жест большой выходной руки давали нам понять, что под словом «там» подразумевается нынешний Художественный театр, которым управляет единолично Владимир Иванович Немирович-Данченко и где ставятся какие-то немислимые современные пьесы, названия которых и запомнить-то невозможно.

У нас в студии подобные глупости не допускались. Если художественное чтение — то «Семейное счастье» Толстого, или, на худой конец, «Герой нашего времени», или «Стихотворения в прозе» Тургенева.

Если пьесы, то «Три сестры», «Плоды просвещения», «Гамлет» и «Ромео и Джульетта».

И, покоренные великим талантом нашего великого учителя, замороженные его неслыханным обаянием, величию его имени и человеческой мужской красотой, — мы тоже жили в придуманном, нереальном, иллюзорном мире. Нет, конечно же у нас бывали комсомольские собрания, мы читали газеты — Константин Сергеевич газет не читал, — мы слушали радио и смотрели кино. Но все это делалось как-то мельком, мимоходом, все это было не главным. Сокрушительные события этих страшных лет не имели, казалось, к нам, студийцам, ни малейшего отношения.

Многие из нас — многие, если не большинство, — жестоко поплатятся за эти, словно лишенные зрения и слуха, годы юности. Поплатятся разочарованием и утратой таланта, неверием в собственные силы, горестным ощущением непоименованных потерь и почти звериной ненавистью ко всем и вся за то, что собственная судьба так и не состоялась.

Я не кощунствую!

Я пишу о себе и пытаюсь разобраться в том, почему так странно и нелепо сложилась моя жизнь, почему так поздно пришло ко мне — не прозрение, нет, прозрение — это слишком высокое и ответственное слово, а просто хотя бы понимание эле-

ментарнейших истин и почему понимание это далось мне с таким трудом и такой великой ценой, в то время как мои более молодые друзья обрели и мужество, и зрелость естественно, как дыхание.

Станиславский умер седьмого августа тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Мы — несколько студийцев, случайно оказавшихся в Москве (остальные разъехались на каникулы, а Художественный театр был где-то на гастролях), — до глубокой ночи помогали приводить в порядок дом: завешивали зеркала, перевивали черным крепом колонны в прихожей и в зале,ставляли цветы.

Утром мы пришли снова, но уже не поднялись наверх, а остались во дворе. Мы сидели на лавочке, молчали, курили.

Было жарко, и душно, и как-то нестерпимо жестоко светло, будто на свете вовсе перестала существовать тень.

Мы услышали, как к воротам подъехала машина, хлопнула дверца, и во двор быстро вошел Качалов. Он был без шляпы, в темном — а тогда мне показалось, да и по сей день кажется, в черном, — костюме.

Мы встали.

Качалов еще издали, глазами, спросил нас — правда ли?

И мы тоже молча ответили — да, правда.

И тогда Качалов, как-то нелепо, боком прислонившись к белой стене дома, заплакал. Он плакал открыто, в голос, страшно. И страшней всего было то, что сам Качалов как бы исчез, его не было — был только черный костюм, распластанный на ослепительно белой стене.

После того как умер Константин Сергеевич и тяжело заболел Леонидов, из студии и вовсе словно выпустили воздух, и я совершил очередной отчаянный шаг: не окончив учебного курса, перешел в другую студию — Московскую театральную студию, которой руководили режиссер Валентин Плучек и драматург Алексей Арбузов.

О, в этой новой студии не только не шарахались от современности — здесь жили современностью, дышали современностью, клялись современностью.

Она и создавалась-то, эта студия, на общественных началах: мы сами, за свои деньги (большую часть давал Арбузов), снимали помещение школы на улице Герцена, напротив консерватории, и в этой школе по вечерам репетировали пьесу «Город на заре» — о строительстве Комсомольска.

Мы всё делали сами: сами эту пьесу писали (под редакцией Арбузова), сами режиссировали (под руководством Плучека), сами сочиняли к ней песни и музыку, рисовали эскизы декораций.

Жить делами и мыслями сегодняшнего дня — вот лозунг, который мы свято исповедовали!

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что занимались мы чистейшим самообманом: мы только думали, что живем современностью, а мы ею вовсе не жили, мы ее конструировали, точно разыгрывали в лицах разбитые на реплики и ремарки передовые из «Комсомольской правды».

С одержимостью фанатиков мы сами ни на единую секунду не позволяли себе усомниться в том, что вся та ходульная романтика и чудовищная ложь, которую мы городили, есть доподлинная истина.

Впрочем, нам — двадцатилетним — нужно было, наверное, как-то для самих себя оправдать все то непонятное и страшное, что происходило в мире. Возможно, если, размышляя и раздумывая, мы прозрели бы уже в те годы, мы бы задохнулись и не смогли жить!

Да и в самой какой-то слегка «вечериночной», взвинченной атмосфере студии была, видимо, особая притягательная сила — в группу так называемых «друзей студии» входили и многие уже известные писатели, и студенты из ИФЛИ и Литературного института, и даже знаменитый боксер Николай Королев.

Пятого февраля 1941 года спектаклем «Город на заре» студия открылась и стала существовать как театр.

У меня до сих пор хранится наша первая афиша, на которой авторами пьесы и спектакля были названы в алфавитном порядке все студийцы.

Честно говоря, я просто не помню другой подобной премьеры: толпы студенческой молодежи, жаждущей попасть на спектакль, буквально осаждали театр, в зрительном зале люди стеною стояли в проходах, сидели вдоль рампы на полу.

Так было на первом, на втором и на третьем спектакле. А на четвертом — толпа поредела. А последующие спектакли мы играли уже и вовсе при полупустом зале.

Что же произошло? Вероятно, рядовому зрителю было наплевать на наши формальные изыски — введение хора, использование приемов японского театра и комедии дель арте, — а сама пьеса про очередное строительство и очередное вредительство его, рядового зрителя, привлечь не могла.

Двадцать второго июня, в день начала войны, студия как-то сразу перестала существовать. Большинство студийцев — не только мужчины, но и женщины — уйдут на фронт, и многие, среди них и сын поэта Эдуарда Багрицкого — Всеволод, погибнут. Вместе с Севой и другим студийцем, впоследствии известным драматургом Исаем Кузнецовым, мы написали пьесу

«Дуэль», которую студия репетировала до самого последнего дня своего существования.

А меня в армию не взяли. Уже первые врачи — терапевт, глазник и невропатолог — на медицинской комиссии в райвоенкомате признали меня по всем основным статьям негодным к отбыванию воинской повинности.

Тогда, чтобы хоть что-то делать, я устроился коллектором в геологическую экспедицию, уезжающую на Северный Кавказ.

Но доехали мы только до города Грозного — дальше нас не пустили.

Возвращаться в Москву казалось мне бессмысленным — там в эту пору не было ни близких, ни друзей.

Из грязной и шумной, похожей на огромное бестолковое общежитие гостиницы «Грознефть» я перебрался на частную квартиру — в маленькую комнатенку в маленьком домике, стоявшем в саду на спокойной окраинной улице Алхан-юртовской.

Как-то неожиданно легко я устроился завлитом в городской Драматический театр имени Лермонтова, начал переводить чеченских поэтов — и с некоторыми из них подружился, организовал с группой актеров и режиссером Борщевским Театр политической сатиры.

Я писал для спектаклей этого театра песни и интермедии. Песни были лирические, интермедии идиотские. В некоторых из них я сам играл.

...Испуганный помреж вбежал в мою актерскую уборную, где я сидел перед зеркалом и с отвращением отклеивал рыжие усы — я только что изображал какого-то немецкого полковника.

— Александры! — больше, чем обычно, коверкая слова, задыхаясь, проговорил помреж. — Иди... Скорей иди... Тебя в правительственную ложу зовут.

«Правительственной» называлась у нас в театре ложа, где на премьерных и парадных спектаклях сидели ответственные чины из обкома партии и горсовета.

— Брось разыгрывать! — сказал я помрежу. — Я же смотрел со сцены — там сегодня никого нет!

— Там есть! — трагическим шепотом выдохнул помреж и схватился за голову. — Там Юля Дочаева... Иди скорей!

Знаменитую грозненскую красавицу, жену одного из секретарей обкома партии Юлию Дочаеву, я до этого вечера видел только один раз: на коне, в мужском седле, она лихо промчалась по центральной улице, провожаемая восторженным цоканьем мужчин и осуждающим шепотом женщин.

Она была худенькой, темноглазой и темноволосой. У нее был низкий, тихий и очень спокойный голос.

— Здравствуй! — сказала она и протянула руку. — Ты из Москвы?

— Да, — сказал я, с первой же секунды отчаянно влюбляясь в нее.

— Я тоже из Москвы, — сказала Юля, — училась на медицинском, собиралась врачом на Сахалин, а мой дикарь приехал на какой-то пленум и похитил меня... — Она засмеялась. — А тебе сколько лет?

— Двадцать два. Завтра, девятнадцатого октября, в день годовщины открытия Пушкинского лицея, мне исполняется двадцать два!

Я проговорил эту тираду слегка хвастливо, так как всю жизнь почему-то чрезвычайно гордился этим случайным совпадением.

А Юля снова засмеялась, потом сказала быстро и тихо:

— Я приду тебя поздравить, хочешь? Ты где живешь?

— Алхан-юртовская, сто десять.

Юля кивнула.

— Я приду. У меня завтра ночное дежурство в больнице, но часов в двенадцать я постараюсь сбежать... Ты меня жди!

...Я начал ее ждать с утра.

Мне удалось путем неслыханной лести и еще более неслыханных посулов выпросить у администратора театра бутылку спирта, потом, пользуясь все той же лестью и посулами, я уговорил мою хозяйку испечь ее коронное блюдо — тыквенный пирог. Потом я отправился на базар — купил яблок, слив и цветов.

Базар был в этот день как-то странно и подозрительно малолюден, но я не обратил на это внимания.

Уже приготовив все для вечернего пира, я принялся просто слоняться по городу — думал о Юле и влюблялся в нее все больше и больше.

А между прочим, вокруг меня в этот день происходили события, на которые, будь я в здравом уме, следовало бы обратить внимание: куда-то за черту города тянулся поток стариков и детей, проезжали телеги с убогим скарбом, плелись навьюченные ослики и к обычному запаху грозненской пыли примешивался сладковатый и ядовитый запах дыма — во время одного из разведывательных налетов немцы бросили зажигательную бомбу в нефтяной резервуар, и вот уже третьи сутки над городом и днем и ночью стояло невысокое радужное зарево.

Вечером пошел дождь. Лаяли собаки — безостановочно и надсадно.

В сотый раз я оглядел свою комнату: в центре стола красовался тыквенный пирог, цветы я расставил по всем углам и зажег свечи.

Тогда еще не было написано замечательное стихотворение Пастернака, еще не пришла мода ужинать при свечах — просто свет в городе вырубали в девять часов вечера, а керосиновая лампа стояла на рынке целое состояние.

Я ходил по комнате и сочинял для Юли стихи.

В тот первый военный год я написал довольно много стихов, но черновики я растерял, стихи позабыл, а вот эти две альбомные строфы почему-то запомнил:

Лают азиатские собаки,  
Гром ночной играет вдалеке...  
Мне б ходить в черкеске и папахе,  
А не в этом глупом пиджаке!

Мне б кинжал у талии осиной  
И коня — земную благодать,  
Чтоб с тобою, с самою красивой,  
На скаку желанье загадать!..

Еще задолго до двенадцати я услышал быстрый и тихий стук.

Как во многих южных домах, дверь моей комнаты открывалась прямо на улицу. Сначала, в дождливой темноте, которую не подсвечивало даже зарево пожара, я вовсе ничего не мог различить. Потом, взглядевшись, я увидел странное зрелище — двух оседланных лошадей.

— Что такое? — спросил я. — Кто?

— Тихо! — проговорил кто-то шепотом, невысокая фигура в бурке отделилась от лошадей, и я узнал своего приятеля, поэта Арби Мамакаева, которого за буйный нрав называли «чеченским Есениным». — Собирайся, Александр, поехали!

— Куда? — изумился я.

Арби притянул меня к себе за плечи и зашептал мне в самое лицо:

— У нас точные сведения... Немцы будут в Грозном через неделю... Ты чужой, ты еврей, ты дурацкие спектакли играл — тебя сразу повесят! А в горах мы тебя спрячем! Поскакали!..

А я никуда не мог ехать — я ждал Юлю!

— Я не поеду, Арби, — сказал я.

— Ты совсем дурак? — грозно спросил меня Арби.

— Слушай, — попытался я найти компромисс, — вот что — приезжай за мной утром.

— Ты совсем дурак! — уже утвердительно повторил Арби. — Я сейчас еле проехал... Патрули всюду... Ты поедешь?

— Нет,— сказал я.

Арби молча сплюнул, повернулся ко мне спиной и медленно, тихо увел лошадей в темноту.

А Юля не пришла. А я под утро свалился в приступе жесточайшей лихорадки — у меня время от времени бывают такие непонятные приступы, которые не сумел разгадать еще ни один врач.

Дня через два меня пришли проведать актеры нашего театра.

Они рассказали мне, что в ночь с девятнадцатого на двадцатое октября — в ту самую ночь — муж Юли, Идрыс Дочаев, в начале двенадцатого застрелился в своем служебном кабинете.

Командование Северо-Кавказского военного округа отдало распоряжение — прочесать горные аулы и выловить всех, уклоняющихся от воинской службы. Ответственным за эту операцию был по неизвестным причинам назначен штатский человек Идрыс Дочаев. Снова, в который раз, проявила себя во всем блеске «мудрая» национальная политика Вождя народов: поручить чеченцу возглавить карательный рейд по чеченским аулам — больше оскорбление и унижение трудно было придумать.

А немцы до Грозного так и не дошли.

Когда Отец родной повелел выслать чеченцев и ингушей в отдаленные районы Казахстана, Юля, русская Юля, уже не жена чеченца, уехала вместе со всеми. Попала она куда-то под Караганду и меньше чем за полгода сгорела от туберкулеза.

Многие говорили, что ей повезло!

...Через Баку и Красноводск я добрался до города Чирчика, где собрались во главе с Валентином Плучеком остатки студии. В немыслимо короткий срок мы подготовили два спектакля и несколько концертных программ, написали письмо в Политуправление Советской Армии с просьбой оформить нас как фронтовой театр, получили это разрешение и всю войну проездили по армейским частям, играя спектакли и концерты.

С концом войны театр распался.

Людам, как бы ни менялись они с годами, трудно отделаться от сентиментально-снисходительного отношения к собственной юности: еще в конце сороковых и начале пятидесятых годов мы — уцелевшие участники спектакля «Город на заре» — созванивались, а порою и встречались в день пятого февраля, день премьеры.

Когда в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году драматург Алексей Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фами-



лий, он не только в самом прямом значении этого слова обокрал павших и живых.

Это бы еще полбеды!

Отвратительнее другое — он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых!

Уже зная все то, что знали мы в эти годы, он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь: снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борщаговский, снова кулацкий сынок Зорин соблазнял честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертировал со стройки, а другой кулацкий сынком Башкатов совершал вредительство и диверсию.

Политическое и нравственное невежество нашей молодости стало теперь откровенной подлостью.

В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения. Слова мои, очевидно, дошли до Арбузова — и пятнадцать лет спустя, на заседании секретариата, на котором меня исключат из членов Союза советских писателей, Арбузов отыграется, Арбузов возьмет реванш и назовет меня «мардером».

В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака»:

Я подковой вмерз в санный след,  
В лед, что я кайлом ковырял...  
Ведь недаром я двадцать лет  
Протрубил по тем лагерям!..

— Но я же знаю Галича с сорокового года! — патетически воскликнет Арбузов. — Я же прекрасно знаю, что он никогда не сидел!..

Правильно, Алексей Николаевич, не сидел! Вот если бы сидел и мстил — это вашему пониманию было бы еще доступно! А вот так, просто взваливать на себя чужую боль, класть «живот за други своя» — что за чушь!

Потом голосом, исполненным боли и горечи, Арбузов скажет еще несколько прочувствованных слов о том, как потрясен он глубиной моего падения, как не спал всю ночь, готовясь к этому сегодняшнему судилищу.

Он будет так убедительно скорбеть, что все выступающие после него, словно позабыв, на какой предмет они здесь собрались, станут говорить не столько обо мне и моих прегрешениях, сколько о том, как потрясла и взволновала их речь Арбузова, будут сочувствовать ему и стараться помочь.

Не медведи, не львы, не лисы,  
Не кикимора и сова —  
Были лица — почти как лица  
И почти как слова — слова.

За квадратным столом по кругу  
(В ореоле моей вины!)  
Всё твердили они друг другу,  
Что друг другу они верны!..

Так завершится мое очень долгое, затянувшееся больше чем на четверть века прощание с театром! От резолюции Леонида Мироновича Леонидова до заседания секретариата!

Бросив в конце войны актерство и занявшись драматургией, я все равно как бы оставался в мире театра.

Потом я начну прощаться и с драматургией — это будет после того, как подряд запретят мои пьесы: «Матросскую тишину» и «Август», — а последнюю точку, как ни странно, поставит Арбузов.

Он так прямо и скажет:

— Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта — и тут он кончился!

Ну что ж, кончился так кончился. Я ни о чем не жалею. Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро!

Я ни о чем не жалею.

Это раньше я бессмысленно и часто сокрушался по разным поводам.

Пути Господни неисповедимы, но не случайны.

Не случайна была та бессонная ночь в вагоне поезда Москва — Ленинград, когда я написал свою первую песню «Леночка».

Нет, я и до этого писал песни, но «Леночка» была началом — не концом, как полагал Арбузов, — а началом моего истинного, трудного и счастливого пути.

И нет во мне ни смирения, ни гордыни, а есть спокойное и радостное сознание того, что впервые в своей долгой и запутанной жизни я делаю то, что положено было мне сделать на этой земле.

Это гордыня? Не знаю. Надеюсь, что нет!

Бутылочная и кирпичная с просветленными лицами вернулись в зал и, сморкаясь, заняли свои места в первом ряду.

И тотчас же, словно кто-то подсматривал в глаза занавеса (впрочем, так оно, наверное, и было), в зале погас свет и в луче бокового софита снова появился Олег Ефремов.

Прислушиваясь к звукам далекого марша, он медленно начал слова вступления ко второму действию:

— «Юность. Москва. Май тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Строительные леса на улице Горького. Открытые бежевые «линкольны» возят по городу иностранных туристов: туристы вежливо улыбаются, вежливо восхищаются, вежливо задают двусмысленные вопросы — главным образом об исчезающих за ночь портретах — и с некоторой опаской поглядывают на девушек-переводчиц».

...Марш звучал громче.

Ефремов, не двигаясь, продолжал:

— «По вечерам не протолкаться на танцевальных площадках, в цветочных киосках продают нарасхват ландыши и сирень, а на площади Пушкина, у фотовитрины «Известий», с утра и до ночи толпится народ, разглядывая фотографии далекой Испании, где фашистам все еще не удалось отрезать от Мадрида Университетский городок.

В тот год мы окончательно стали москвичами. Еще совсем недавно — робкие провинциалы — мы разинув рты бродили по набережным, почтительно следовали правилам уличного движения, ездили, восхищаясь, в метро и писали длинные, восторженные и подробные письма домой...»

Ефремов улыбнулся:

— «Потом письма стали короче. Всего несколько слов — о том, что мы здоровы, об институтских отметках и о том, что нам опять очень нужны деньги. Мы научились торопиться. Мы были одержимы, влюблены, восторженны и упрямы... Нам исполнилось девятнадцать лет!»

...Пошел занавес. Ефремов стал к залу вполоборота и сказал, указывая рукою на декорацию и действующих лиц:

— «Вечер. Комната в общежитии студентов Московской консерватории. Две кровати, два стула, две тумбочки и большой стол, у которого табурет заменяет отломанную ножку. На стене пыльная гипсовая маска Бетховена.

Давид в тапочках, в теплой байковой куртке, с завязанным горлом расхаживает по комнате. Он играет на скрипке, зажав в зубах докуренную до мундштука папиросу. Таня — тонень-

кая, ясноглазая — караулит у электрической плитки закипающее молоко...»

Ефремов незаметно скрылся в кулисе.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Во втором антракте мы с женой быстро и молча поднялись и пошли курить.

Мы стояли в курилке возле урны — с двух сторон, как часовые, — часто и с отвращением глотали дым.

— Во втором действии Евстигнеев был лучше, — сказала жена.

— Да, — сказал я, — а в третьем действии он будет еще лучше... Только это не имеет никакого значения!

— Да, — согласилась жена, — разумеется.

Помолчав, она спросила:

— Ты очень огорчен?

— Нет, — сказал я, — все давно ясно... Это ребята на что-то еще надеются!..

И в ту же секунду, точно в подтверждение моих слов, в курилку вбежал, влетел, ворвался Олег Табаков — в белой рубашке, заправленной в ватные штаны, и в тапочках на босу ногу. Во втором действии он исполнял роль Славы Лебедева, а в третьем будет играть роль «сына полка» Женьки Жаворонкова. В ту пору основной состав студии насчитывал человек двадцать, и ряд актеров, занятых в моей пьесе, играли по две роли.

...Как странно мне бывает теперь — изредка, очень изредка — встречаться и церемонно раскланиваться с важным и предстательственным директором театра «Современник» Олегом Николаевичем Табаковым!..

Милое мальчишеское лицо Табакова блестело от пота.

Он подбежал ко мне и проговорил задыхающимся, плачущим голосом:

— Александр Арнядьевич, ребята просят... Ну, вы поговорите там с кем-нибудь!

— С кем, Олег? — изумился я.

— Ну, я не знаю... Ну, с этими — Соколовой, Соловьевой, черт их там разберет!

— О чем говорить? — спросил я.

Откуда-то раздался отчаянный вопль:

— Табаков?! Давай по-быстрому!..

Олег махнул рукой и убежал.

Мы с женою переглянулись. Ничего еще, по сути, не было сказано, но тоскливое чувство обреченности, предрешенности, безнадежности и бессмысленности всего, что происходит,— это чувство, так всевластно царившее в зале, уже перелетело по каким-то неведомым законам через рампу и дошло до исполнителей.

— Ну что ж, пойдем,— сказал я жене.

— Пойдем,— сказала она.— Может быть, ты хочешь зайти за кулисы? Посоветоваться? Может быть, действительно еще что-то можно предпринять?

— Нет,— сказал я.

Мы вернулись в зрительный зал, заняли свои места.

Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и через несколько пустых рядов, разделявших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:

— Нет, не тянут ребята!.. Им эта пьеса пока еще не по зубам! Понимаете?!

Солодовников внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова.

На бесстрастно-начальственном лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено! Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку.

Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать, что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению, что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что они в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом,— а теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию,— спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..

Все это Солодовников выпалит за кулисами после конца спектакля бодрой, слегка пришепывающей скороговоркой. Потом он пожмет руку мне, пожмет руку Ефремову, еще раз — благодарно — улыбнется всем участникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдет.

И все будет кончено!..

А из-за закрытого занавеса раздавался стук молотков, невинные голоса, что-то грохотало, что-то падало.

Декорация третьего действия — учитывая отсутствие настоя-

щих декораций — была наиболее сложной. Действие происходит в санитарном поезде, в так называемом «кригеровском» вагоне для тяжелораненых.

...Мне в подобном вагоне лежать не приходилось, а вот выступать в войну доводилось не раз. Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, йода, запекшейся крови, я читал «Графа Нулина», пел под гитарный аккомпанемент частушки.

Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда.

Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события — чаще всего комедийные, и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом.

После концерта нас обычно вели в вагон-столовую — кормить ужином.

Санитарки — «хожалочки», всегда миловидные, в белых халатиках, перетянутых в талии, в кокетливо примятых белых шапочках, подавали нам еду в жестяных мисках, посмеивались и перемигивались.

А потом появлялся начальник поезда, садился во главе стола, делал выразительный жест большим пальцем правой руки — и все догадливо хихикали: артист — он, мол, и есть артист, ему без ста граммов никак невозможно!

Приносили бутылки со спиртом и большие кружки. Спирт наливали в граненые стаканы, а в кружки воду — запивать.

Тот же начальник, как правило, произносил первый тост — за родного, любимого, дорогого вождя и учителя, гениального полководца всех времен и народов товарища Сталина, который ведет нас от победы к победе.

И мы все, стоя в торжественном молчании — а кое-кто и со слезами на глазах, — пили за этот тост.

Постукивали колеса поезда, проносились за окнами, не опечатаваясь в сознании, какие-то перелески и разбитые поселки, дребезжали на столе, покрытом клеенкой, миски, кружки, стаканы.

А мы пили спирт, и в груди у нас что-то теплело, мы смотрели друг на друга с участием и любовью — нам было хорошо! Ах, как нам было хорошо!

Мы все вместе — пусть каждый по-своему — делали одно великое общее дело: мы защищали нашу Родину, наше пре-

красное прошлое и еще более прекрасное будущее, наши светлые коммунистические идеалы, нашу свободу, равенство, братство.

И почти с той же неизменностью, как первый тост, появлялась в разгаре ужина какая-нибудь санитарка или нянечка, подходила, смущаясь, к начальнику поезда, что-то негромко говорила ему.

И начальник смотрел на меня, ухмылялся:

— Извините, вас, товарищ артист, в кригеровский вагон просят... Очень хотят снова частушки прослушать!.. — Начальник ухмылялся еще шире: — Ну, насчет Дорофеева и других...

И я поднимался, выходил из-за стола, брал гитару и шел в кригеровский вагон для тяжелораненых — петь частушки про Дорофеева и других.

Кригеровский вагон для тяжелобольных! Санитарный поезд!

Пожалуй, это единственное лечебное заведение, в котором я только выступал, а не лежал сам. Я валялся в полевых походных и тыловых госпиталях — с ожогом второй степени, с флегмоной, с подозрением на бруцеллез.

После войны, когда у меня совершенно неожиданно обнаружилась тяжелая болезнь сердца, я не реже, чем раз в два года — а порою и значительно чаще — попадал в какую-нибудь очередную больницу.

Я лежал, случалось, и в привилегированных отделениях, принадлежащих Санитарному управлению Кремля, — в отдельных палатах с собственным санузелом, где только на одно питание выделяется два рубля тридцать копеек в день на человека.

Отделения эти у простых смертных называются «отделениями для слуг народа».

И лежал я в отделениях «для народа»: в палатах по двадцать — двадцать пять человек, где, чтобы попасть в уборную, надо становиться в очередь, где дозваться нянечку или сестру можно только после получасового непрерывного крика — звонков нет — и где питание обходится в восемьдесят копеек.

Разумеется, я никогда не лежал в лечебницах для самых главных «слуг народа», для самых бескорыстных и беззаветных его слуг — в Кремлевке, в Барвихе, в Кунцеве.

О том, какие условия и какие яства подаются там, рассказывают только шепотом, недоверчиво покачивая головами и молитвенно закатывая глаза.

Впрочем, и условия и яства для больного человека — для действительно больного человека — все-таки дело второстепен-

ное. Гораздо важнее другое — уход и лекарства. Так вот, с лекарствами в отделениях «для народа» особенная беда. Я уж не говорю о редких зарубежных препаратах; анальгина и кодеина — и тех не допросишься!

У меня на глазах в отделении гнойной хирургии Московской Боткинской больницы тридцатилетний прелестный парень Сергей Донцов — школьный учитель из-под Смоленска — в течение трех недель превратился из человека в животное, в жесточайшего и законченного наркомана.

Возвращаясь из школы домой, он попал в пургу, сбился с пути, обморозил ноги. В результате — тяжелейший эндартериит.

Боли адские, которые снимались только большими дозами анальгина.

Но в одной из главных больниц Москвы — в знаменитой Боткинской больнице, в отделении гнойной хирургии анальгин в необходимых количествах больным выдавать не могут: слишком дорогое лекарство, целых тридцать две копейки пачка.

Значительно проще снять боль инъекцией морфия — ампула морфия стоит около двух копеек.

Сначала Донцову кололи морфий два раза в сутки, а в промежутках он потихоньку глотал анальгин, который приносила ему моя жена.

Но постепенно дозы морфия все увеличивались — три раза в сутки, четыре раза в сутки.

А когда я выписывался, милого, золотоголового, с белозубой улыбкой Сережу Донцова уже невозможно было узнать. Он сидел в постели, полузакрыв глаза, страшный, взлохмаченный, с какими-то черными запекшимися губами, покачивался из стороны в сторону и непрерывно, на одной протяжной звериной ноте то выл, то матерился и требовал морфия.

А его жалели. И ему давали морфий. И врачи не виноваты. И сестры не виноваты. И вообще никто не виноват.

Да здравствует одно из величайших достижений советской власти — всеобщая бесплатная медицинская помощь!

...А начальничек мой, а начальничек,  
Он в отдельной палате лежит.  
Ему нянечка шторку повесила,  
Создают персональный уют!  
Возят к гаду еврея-профессора...

Сколько их было в моей жизни — профессоров, врачей, сестер, нянечек! Сколько их было — умных и не слишком, опытных и еще совсем зеленых, добрых и сердитых, талантливых и просто «трудяг».



Я не каждого помню по имени, но всем им низко кланяюсь в ноги — спасибо вам, дорогие, спасибо вам за ваше терпение и усердие, за ваш благородный, каторжный, бескорыстный труд.

А бескорыстным он был в самом доподлинном смысле — до недавнего времени труд медицинских работников, наравне с трудом учителей, был в нашей стране по оплате одним из самых нищенских.

Потому-то в пятидесятые и шестидесятые годы так мало было среди врачей мужчин — только именитые старики, а в остальном все больше женщины.

Про одну из таких замечательных женщин, про хирурга Анну Ивановну Гошкину, я не могу, не имею права не рассказать!

Ночью в Ленинградской гостинице я почувствовал, что у меня начинается приступ стенокардии. Принял нитроглицерин — не помогло. Тогда я попросил дежурного по этажу вызвать врача.

Приехала «неотложная помощь», врач сделал мне инъекцию, мне стало легче, и я уснул.

А наутро меня начал бить сумасшедший болевой озноб, температура поднялась до сорока с десятистыми, рука на месте укола покраснела и вспухла.

Я позвонил друзьям. Они примчались в гостиницу и после долгих совещаний — совещания, даже дружеские, не бывают у нас короткими — решили перевезти меня на квартиру нашей общей знакомой, биолога-генетика Раисы Львовны Берг.

Несколько дней я пролежал у Раисы Львовны, не решаясь дать знать о своей болезни в Москву. А мне становилось все хуже. Температура не падала, домашние средства, которыми меня пытались лечить, не помогали.

Тогда я все-таки поднялся и, обливаясь потом, на подгибающихся ватных ногах добрался до телефона и позвонил в Москву жене.

Уже через три часа после моего звонка она была в Ленинграде. Она почему-то прилетела в шубе, хотя стоял невероятно жаркий апрель, и в первые часы была совершенно растеряна и подавлена. Она тыкалась, как слепой щенок, из угла в угол — а углов в квартире Берг предостаточно — и соглашалась со всем, что ей говорили.

Говорили: его надо отправить в больницу, — она соглашалась.

Говорили: надо лечить дома, — она тоже соглашалась.

Но на следующий день, проведя бессонную ночь на продавленной раскладушке, она взяла себя в руки — в трудные минуты

она всегда умеет взять себя в руки — и принялась действовать.

На счастье, мы с нею оба не вспомнили о Союзе писателей и Союзе кинематографистов — в ту пору я еще был членом и того и другого Союза, — а просто нашли знакомых врачей, которые и устроили меня в самую обыкновенную городскую клиническую больницу имени Эрисмана, в отделение общей хирургии.

А позвони мы, между прочим, в один из Союзов — меня непременно, как московского гостя, устроили бы в Свердловку (ленинградский вариант Кремлевки), где бы я и отдал, как говорится в просторечии, концы!

Меня везли на каталке в огромную, человек на тридцать, палату. Все кровати у стен были заняты, и каталку оставили стоять посредине. На какое-то время я провалился в беспамятство — температура в это утро была уже сорок один градус.

Когда я очнулся, я увидел, что у моей каталки стоят двое: седой старик с морщинистым смуглым лицом и раскосыми глазами — это был профессор, заведующий отделением, и его хитроумную татарскую фамилию мне так ни разу и не удалось выговорить правильно — и рядом с ним, тоже пожилая, женщина с широким, добрым и каким-то домашним — я не могу подобрать другого слова — лицом.

И именно домашним, а не врачебным движением она положила ладонь на мой лоб, вздохнула и покачала головой.

Профессор наклонился ко мне:

— Сейчас вам сделают обезболивающий укол и отвезут в операционную... Вас будет оперировать наш ведущий хирург — Анна Ивановна Гошкина.

Анна Ивановна покивала мне.

— А почему так сразу? — спросил я.

— А потому что, голубчик, плохо дело, — чрезвычайно спокойно, как-то даже уютно сказала Анна Ивановна, — очень плохо дело!..

Как ни странно, эти ее слова ничуть не взволновали меня.

Анна Ивановна вообще не принадлежала к породе тех врачей-оптимистов, которые, входя в палату, игриво тычут больного пальцем в живот и спрашивают:

— Ну-с, как поживает наш рачок?!

Напротив, еще много дней после первой, а потом и после второй операции Анна Ивановна, осматривая меня или делая мне перевязку, будет сокрушенно покачивать головой и повторять свое «Плохо дело, очень плохо дело!».

А дела мои, кстати, были и вправду довольно плохи.

Врач из «неотложной помощи» занесла мне, делая укол, тяже-

лейшую инфекцию — золотистый стафилококк. В результате — заражение крови, рожистое воспаление отечной формы и флегмона.

В первые недели моего пребывания в больнице большинство врачей считали, что самым благоприятным исходом будет ампутация руки. И только Анна Ивановна, не преминув сказать:

— Плохо дело! — добавляла: — А руку мы ему все-таки попытаемся спасти!

Уже старая женщина, она приходила в клинику раньше всех — всегда без четверти восемь утра.

А уходила, случалось, чуть не за полночь. Она не только оперировала, перевязывала и вела факультетские занятия со студентами — она с не меньшей охотой ассистировала другим хирургам, сама, не дожидаясь, пока это сделают сестры или санитарки, перевозила больных на каталке из перевязочной в палату. Она порою сама мыла своих больных.

В войну Анна Ивановна работала фронтовым хирургом.

Мне рассказывали, что однажды, когда она перевозила в санитарной машине раненых через Ладогу по знаменитой «ледяной дороге», случайным шальным осколком убило шофера. Тогда Анна Ивановна, не имевшая ни малейшего понятия, как надо водить машину, села за руль и под обстрелом немецкой артиллерии благополучно доставила раненых на тот берег, в полевой госпиталь.

Когда я как-то в перевязочной спросил ее об этом, она лаконично ответила:

— Пришлось.

...После первой операции меня перевели из огромной палаты в маленькую комнатенку, изолятор для особо тяжелых больных, и разрешили, вернее, даже попросили мою жену круглосуточно дежурить возле меня.

Она и дежурила круглосуточно — спала, сидя на стуле около моей постели или в коридоре, в кресле. Изредка, когда кто-нибудь умирал, ей удавалось полежать часок-другой на незастеленной койке.

За день на опухших от усталости ногах она проходила с добрый десяток километров по бесконечно длинным коридорам клиники: то на кухню сварить мне кофе или что-нибудь приготовить, то к сестре-хозяйке за чистой наволочкой или полотенцем — рана моя непрерывно кровоточила.

Я смутно помню эти дни. Мне становилось все хуже. Температура держалась, отек угрожающе поднимался все выше к плечу, не помогало ничто — ни бесконечные переливания крови, ни удвоенные дозы антибиотиков.

Я бредил, распевал какие-то песни без слов — жена потом смеялась, что хорошо, что без слов, — разговаривал с отсутствующими собеседниками.

В редкие минуты просветления я сочинял стихи — читать я не мог.

В первомайский вечер, когда над всем Ленинградом гремела веселая музыка и в почти светлом небе плясали лучи прожекторов, дежурный хирург, осмотрев меня, решительно сказал:

— Сейчас вас подготовят... Необходима — и немедленно — повторная операция!

Честно говоря, мне эта вторая операция улыбалась не слишком, и я попытался схитрить:

— Ну какая же операция — Первое мая! И потом, это даже как-то неудобно — моего хирурга, Анны Ивановны, нету сегодня...

Дежурный врач, не дослушав меня, быстро вышел из палаты.

Успокоенный, я задремал. Я дремал, как мне казалось, не больше пяти минут, а когда открыл глаза — возле моей кровати стояли профессор — заведующий отделением, Анна Ивановна, еще несколько врачей.

Из-под белых халатов выглядывала парадная праздничная одежда.

— Ну, поехали! — мирно сказала Анна Ивановна, наклонилась, приподняла меня — откуда у нее только сила бралась?! — и с помощью сестры переложила на каталку.

Анна Ивановна! Милая моя, прекрасная Анна Ивановна! Я вам обязан не только жизнью и не только тем, что у меня остались обе руки!

Знаете, когда я — в самую, казалось бы, неподходящую минуту — вспомнил о вас?

Сейчас я вам расскажу!

Происходило это, между прочим, все в том же семьдесят первом году, весной которого я лежал в вашей клинике.

Но только теперь уже был декабрь, самые последние дни декабря, веселая и оживленная предновогодняя суетня.

В здании Центрального Дома литераторов было шумно,людно.

В малом зале шла бойкая торговля — писателей снабжали всевозможной снедью к праздничному столу, в ресторане устанавливали огромную елку, развешивали цветочные и электрические гирлянды.

А наверху, на втором этаже, в комнате номер восемь, которую

еще называют «дубовым залом», шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей, и вопрос на повестке дня стоял один-единственный: об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича из членов Союза советских писателей за несоответствие его — Галича — высокому званию члена данного Союза.

Я сидел в удобном кресле, курил и с интересом слушал, что говорил обо мне Аркадий Васильев — тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля; что кричал обо мне некто Лесючевский, которого в конце пятидесятых годов чуть было тоже под горячую руку не исключили из Союза, когда была доказана его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве стукача и доносчика, но потом его, конечно, простили — такие люди всегда пригодятся — и даже назначили директором издательства «Советский писатель» и ввели в члены секретариата Московского отделения.

Мне было крайне интересно узнать, что думает обо мне неистовый человеконенавистник Николай Грибачев. А он думал обо мне, бедном, очень плохо. Он просто ужасно обо мне думал!

И знаете, Анна Ивановна, именно во время его гневной и пламенной речи я вдруг представил себе, что вот здесь, сейчас, на этом секретариате, сидите и вы, Анна Ивановна Гошкина, фронтовой хирург, врач, человек среди человекоподобных.

...Однажды в дубовой ложе  
Был поставлен я на правож —  
И увидел такие рожи,  
Пострашней балаганьих рож!..

Простите меня, Анна Ивановна, но я вовсе не тешу себя иллюзиями, я не сомневаюсь, что вы поверили бы всему, что говорилось обо мне на этом судилище: и о моих связях с сионистами, и о моей дружбе с антисемитами, и о моих заигрываниях с церковниками, — поверили бы и Аркадию Васильеву, и Лесючевскому, и Грибачеву, и всем этим пузырям земли: лукониным, медниковым, стрехниным, тельпуговым.

Вы давно уже, Анна Ивановна, не то чтобы приняли, а равнодушно привыкли к правилам этой подлой игры, этого шаманства: вы читаете на ходу газеты, слушаете — не слушая — радио, сидите долгие часы на профсоюзных и партийных собраниях.

Смертельно усталая, вы голосуете за решения, смысл которых вам не очень-то понятен и уж вовсе не важен — куда важнее,

начался ли отток гноя у больного А. и не подскочила ли опять температура у оперированной вчера Б. Вас закружили в этом шутовском хороводе, и у вас нет ни времени, ни сил выбраться из него, остановиться, встряхнуть головой, подумать.

Еще раз простите меня, Анна Ивановна, но я даже уверен, что если бы вам на этом достопамятном секретариате предложили принять участие в голосовании — вы, как и все, проголосовали бы за мое исключение. Это одно из правил игры в советскую демократию — решение должно быть, решение не может не быть единогласным.

Но я не сомневаюсь и в другом: если бы на следующий день меня снова на скрипучей каталке ввезли в операционную вашей клиники — вы надели бы ваш клеенчатый фартук, и приказали бы хирургической сестре готовить инструменты, и бинты, и тампоны, и, позабыв обо всех моих смертных грехах, так же точно, как тогда, не обращая внимания на усталость и время, вступили бы в борьбу за мою жизнь.

Потому что здесь, на пороге операционной, перестают действовать правила той подлой игры, потому что здесь вы становитесь тем, кто вы есть, — человеком, цель и назначение которого приносить людям добро, облегчать страдания страждущих.

Бедная, счастливая, несчастная Анна Ивановна!

Очнулся я после повторной операции уже под утро.

Откуда-то, очень издали, доносились протяжные поющие голоса — последние празднователи расходились по домам. Из окон на мою постель падал странноватый желто-молочный свет, и свет этот пронизывал тоненький луч солнца, высвечивая запеленутую бинтами и скованную лубком — лангеткою — руку и серебряную голову моей жены. Она спала на низком неудобном стуле, положив голову мне на ноги.

Почувствовав, что я очнулся, она слегка приоткрыла глаза:

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет, — сказал я, — мне лучше, Асенька?

— Нет, — сказала она и снова закрыла глаза, — тебе еще не лучше!

И я успокоился. Мне почему-то стало очень спокойно и даже радостно. И я сказал этому мгновению: остановись, запомнись — ныне, присно и во веки веков! Аминь!

Навсегда запомнись, это мгновение, и совсем не потому, что ты было прекрасно! Ты больше, чем просто прекрасно!

Ты мгновение, ты секунда того высшего душевного покоя, когда вдруг приходит к человеку понимание, что он на земле не

один, что есть, существуют человеческие судьбы, связанные с его судьбой так же, как и он связан с ними, и связь эта нерасторжима и определена чем-то высшим, нежели обстоятельства или случай.

Будь благословенно это мгновение — молочно-желтый свет, пронизанный солнцем, легкое покалывание озноба, словно всплывающие в стакане минеральной воды пузырьки, и серебряная голова, лежащая у меня в ногах на больничном байковом одеяле.

И было еще в моей жизни.

Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов Патриаршего подворья — бывшей вотчины Кольчевых, — и внезапно пришедшие наконец строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака:

Как гордимся мы, современники,  
Что он умер в своей постели!..

Будь благословенно, это мгновение! Останься в памяти, не исчезни!..

И еще.

Зал Дома ученых в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил как раз эту самую песню «Памяти Пастернака», и вот, после заключительных слов, случилось невероятное — зал, в котором в этот вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздалась первая аплодисменты.

Будь же благословенным, это мгновение!

И еще.

Я пишу эти главы в Серебряном Бору, под Москвою, в деревянном доме, стоящем над рекою. В этом доме скрипят полы и как-то особенно гулко хлопают двери. И все-таки я физически чувствую благословенную и тяжелую тишину. Я приехал в этот дом, когда на земле еще лежал снег, а потом, за одну ночь, началась удивительная весна.

...Было небо вымазано суриком,  
Белую поземку гнал апрель.  
Только вдруг, прислушиваясь к сумеркам,  
Услыхал я первую капель!

И весна — священного священнее! —  
Вывалась внезапно из оков,  
И простую тайну причащения  
Угадал я в таянье снегов.  
А когда в тумане, будто в мантии,  
Поднялась над берегом вода,  
Образок Казанской Божьей Матери  
Подарила мне моя Беда!..

Будь благословенно, это мгновение! Запомнись, не сгинь,  
останься со мной навсегда!..

Шум за занавесом затих, погас без предупреждения свет,  
и в темном пустом зале снова зазвучал голос Олега Ефремова:

— «...Война! Октябрь тысяча девятьсот сорок четвертого года.  
Советская Армия движется с боями на Запад. В сумерки над  
осажденными городами стоит невысокое зарево пожаров. Мед-  
ленно падают черные хлопья пепла, похожие на белые хлопья  
снега. Ветер гудит рваным листовым железом. Ахают далеко-  
бойные. И немногие уцелевшие жители, забившись в погреба и  
подвалы, устало и нетерпеливо ждут... Жизнь и смерть начи-  
наются одинаково — ударом приклада в дверь!..

В тот год мы возвращались в родные города, шагали по стран-  
но незнакомым улицам, терли кулаком слипающиеся глаза и  
внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивой узнавали  
сказочную гору нашего детства, вспоминали первую пятилетку,  
шарманку на соседнем дворе, неподвижного голубя в синем  
небе и равнодушный женский голос, зовущий Серёнку...

Мы научились вспоминать. Мы стали взрослыми».

...Пошел занавес.

До сих пор не могу понять, как удалось ребятам из столов  
и скамеек соорудить такую сложную декорацию, — но это им уда-  
лось. Во всяком случае, я отчетливо помню, что у меня было пол-  
ное ощущение и вагона, и движущегося поезда, и покачиваю-  
щихся подвесных коек.

Ефремов продолжал, чуть понизив голос, точно боясь потре-  
вожить спящих:

— «Санитарный поезд. Кригеровский вагон для тяжелоране-  
ных. По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким  
проходом посередине. Верхний свет не горит, и в предутренних  
сумерках видны только первые от тамбура четыре койки —  
верхняя и нижняя, верхняя и нижняя.



И на одной из этих нижних коек, запрокинув голову на взбитую подушку, сжав запекшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Давид Шварц.

Беспокойно и смутно спят раненные — мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне. Кто-то выкрикивает отрывисто и невнятно: «Первое орудие — к бою! Второе орудие — к бою! По фашистским гадам прямой наводкой — огонь!..»

Но никто не торопится выполнять приказание, не гремят орудия, не взлетает в дымное небо вопящая взорванная земля — мирно гудит поезд, постукивают колеса, и лишь по временам за окнами, как напоминание об огне, пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза.

Возле койки Давида, на низком табурете, положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшими от йода пальцами, в белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры сидит Людмила Шутова, молча и тревожно поглядывает на Давида...»

Олег Ефремов неторопливо ушел за кулисы.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В конце третьего действия что-то случилось с занавесом.

Он закрывался медленно, судорожными рывками, и в еще темном зале мне послышалось, что кто-то всхлипывает. Я помнил остробу Генриха Гейне, что читателя или зрителя легче всего заставить плакать — для этого достаточно обыкновенной луковицы.

Но после того как в течение целых трех действий на лицах этих зрителей в этом зале не отразилось ровным счетом ничего, мысль о том, что кого-то из них все-таки прошибла слеза, доставила мне минутное горькое удовлетворение.

Впрочем, когда занавес наконец закрылся и в зале включили свет, оказалось, что я ошибся. Никто и не думал плакать. Просто бутылочную начальницу окончательно расхватил насморк.

Отсморкавшись и с достоинством записав платочек в рукав, она обернулась к Солодовникову и сказала с искренним огорчением:

— Как это все фальшиво!.. Ну ни слова правды, ни слова!..

И тут я не выдержал!

Бешенство залило меня, как озноб, и, уже не помня себя, я проговорил отчетливо и громко:

— Дура!

Жена вцепилась мне рукою в плечо.

Бутылочная и кирпичная внимательно, словно хорошенько запоминая на будущее, посмотрели на меня, кирпичная сокрушенно покачала головой, а бутылочная совершенно неожиданно улыбнулась.

Дней через десять мы будем сидеть с нею вдвоем в ее служебном кабинете на Старой площади, в здании ЦК КПСС.

Уступив настояниям Олега Ефремова, который бессмысленно продолжал надеяться, что еще можно что-то спасти, я позвонил бутылочной и попросил разрешения прийти к ней побеседовать.

Как ни странно, она чрезвычайно охотно согласилась на свидание. И даже без обычного чиновного «позвоните на будущей недельке». Нет, она сказала:

— Приходите, пожалуйста. Завтра вам удобно?

— Да.

— Ну, давайте завтра.

И вот мы сидим с нею вдвоем в ее служебном кабинете. Очень, как выражаются в пивных, культурно сидим. Соколова — за столом, в кресле, я — напротив на стуле. За окном — серенький зимний день. Бесшумно падает мелкий снежок. И вообще вокруг как-то удивительно, почти неправдоподобно тихо. Так уж положено в этом здании — говорить негромко, по коридорам ходить чуть ли не на цыпочках. Здесь не смеются и не балагурят, здесь даже телефонные звонки звенят настороженно-приглушенно.

Здесь сердце и мозг страны, здесь ее святая святых!

И в этой святой святых я услышал такие слова, — доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова сказала:

— Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это евреи-то!

Я сделал неуверенный протестующий жест, но Соколова строго сказала:

— Нет, вы обождите, вы не перебивайте меня! Вы ведь ко мне пришли, чтобы мое мнение выслушать, верно? Вот я вам его и выскажу!

Она побарабанила пальцами по столу:

— Еврейский вопрос, Александр Арка-ди-е-вич, — она необыкновенно тщательно, по слогам, выговаривала мое отчество, — это очень сложный вопрос! К нему, знаете ли, с кондачка подходить нельзя. В двадцатые годы — так уж оно получилось, — когда русские люди залиывали, что называется, раны, боролись с разрухой, с голодом, представители еврейской национальности в буквальном смысле слова заполнили университеты,

вузы, рабфаки... Вот и получился перекося! Возьмите, товарищ Галич, к примеру, кино...— Она сделала паузу и, понизив голос, почти шепотом проговорила: — Ведь одни же евреи! — Она снова повысила голос и почти в упор спросила меня: — Должны мы выправить это положение?

И сама, не дождаввшись моего ответа, твердо сказала:

— Должны! Обязаны выправить! Вот, говорят — я сама слышала,— будто мы, как при царском режиме, собираемся процентную норму вводить!.. Чепуха это, поверьте!.. Чепуха, если еще не хуже! Никакой процентной нормы мы вводить не собираемся, но...— Она погрозила пальцем какому-то незримому оппоненту: — Но, дорогие товарищи, предоставить коренному населению преимущественные права — это мы предоставим! Хотите, обижайтесь на нас, хотите, жалуйтесь,— но предоставим!..

Так впервые зимою 1958 года во вполне дикарском изложении бутылочной Соколовой — инструктора Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза — я услышал о теории «национального выравнивания».

Впоследствии в целом ряде выступлений, статей и даже в докторской диссертации преподавателя Горьковского университета, некоего Мишина — напечатанной, кстати, отдельной книгой в семидесятом году под названием «Общественный прогресс», — теория эта получит свое вполне наукообразное оформление. Впрочем, от наукообразия дикарская суть этой теории не изменится. Это будет все то же вечное «Бей жидов, спасай Россию!», все то же стремление к созданию гетто — правда, нового типа, эдакого интеллектуального гетто, которое оградит наши больницы и институты, наши издательства и редакции, наши киностудии и театры от проникновения в них представителей сионистской пятой колонны.

После шестидневной войны и разрыва дипломатических отношений с Израилем обо всем этом заговорят уже не стесняясь, в полный голос, открытым текстом...

А Соколова, покончив с вводной частью, перешла наконец непосредственно к моей пьесе:

— Вот у вас, товарищ Галич, есть там сцена в санитарном поезде... Я сказала, что в ней все фальшиво, а вы меня за это «дурой» обругали!

Я снова попытался сделать не слишком искренний протестующий жест, и Соколова снова не дала мне возразить:

— Нет, нет, вы не подумайте, что я в обиде на вас! Бывает — вырвется слово, потом сам не рад, да уж поздно! Не в этом, Александр Ар-ка-ди-е-вич, дело! Давайте мы лучше разберем с вами эту сцену! Кто в ней главный герой? Скрипач этот ваш,

Додик! И что же получается? Когда в конце диктор читает правительственное сообщение и комиссар говорит — вот, дескать, что мы с вами сделали,— то получается, что это Додик все сделал?! — Она горестно усмехнулась: — А с папашей у вас и вовсе полная путаница! То он жуликом был, то вдруг в герои вышел — ударил гестаповца скрипкою по лицу! Да не было этого ничего, товарищ Галич, не было! Я признаю — еврейский народ очень пострадал в войну, это так!.. Но ведь, между прочим, и другие народы пострадали не меньше. Но только русские люди, украинцы, белорусы с оружием в руках защищали свою землю — не в регулярных частях, так в партизанских, — били фашистов, гнали их, уничтожали... И стар, понимаете, и мал! Возьмите хотя бы краснодонских героев! Дети, а каких делов понаделали! А евреи? Шли, как... Извините, товарищ Галич, но я даже слова приличного подобрать не могу, — шли покорно на убой — молодые люди, здоровые... Шли и не сопротивлялись! Трагедия? Да! Но для русского человека, Александр Ар-ка-ди-е-вич, есть в этой трагедии что-то глубоко унижительное, стыдное...

И тут со мною что-то случилось!

Соколова продолжала говорить, но я уже больше не слушал и не слышал ее слов, не видел ее лица.

Я увидел другое, прекрасное в своем трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы — документы и фотографии о восстании в Варшавском гетто.

Всхлипывая, он все перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своем огромном столе, все перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаюсь найти какую-то, ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я покачал головой.

— Не забывай, — настойчиво сказал Михоэлс, — никогда не забывай!

Я не забыл, Соломон Михайлович!

...Уходит наш поезд в Освенцим,  
Наш поезд уходит в Освенцим —  
Сегодня и ежедневно!

И другое лицо увидел я — зеленоглазое, слегка насмешливое, необычайно красивое лицо поэта Переца Маркиша.

...Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей (существовала когда-то такая секция!). После гибели Михоэlsa я почему-то вбил себе в голову, что непременно — хоть и не знал даже языка — должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженным, при галстукe (часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью) и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому.

И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мною и проговорил нарочито громко и грубо:

— А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка, убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!..

Я опешил. Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось?

Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удерживать слезы огорчения и обиды.

Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие — и среди них Маркиш — физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование.

И теперь я знаю, что Маркиш — в ту секунду, когда он громко называл меня «чужим» и выгнал с заседания, — просто спасал мне, мальчишке, жизнь.

Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду!

...Откуда-то из липкого тумана, из болотной хляби, мерзкий, словно его соскребли со стены привокзального сортира, прозвучал голос Соколовой:

— А можете ли вы, товарищ Галич, гарантировать, что на вашем спектакле — если бы он, конечно, состоялся — не будут происходить всякие националистические эксцессы?! Не можете вы этого гарантировать! И что же получится? Получится, что мы сами, своими руками, как говорится, даем повод и для сионистских, и для антисемитских выходов...

Но я уже опять перестал слушать ее и слышать.

...Сначала заиграл духовой оркестр — песни Дунаевского и старинные вальсы. Потом зажглись круглые матовые фонари,

заблестел лед, зазвенели коньки — и закружились, понеслись все быстрее и быстрее нарядные фигурки конькобежцев.

В начале тридцатых годов мы переехали из венежитинского дома на Малую Бронную, и моим миром стали Никитские ворота, Тверской бульвар, Большая и Малая Бронная и конечно же Патриаршие пруды: летом — зеленый сквер с прудом и лодочной станцией, а зимой — каток.

Каток на Патриарших прудах! Как часто, с какой благодарностью и нежностью я вспоминаю тебя!

Вьюга листья на крыльцо намела,  
Глупый ворон прилетел под окно  
И выкаркивает мне номера  
Телефонов, что умолкли давно!  
Словно встретились во мгле полюса,  
Прозвенели над огнем топоры —  
Оживают в тишине голоса  
Телефонов довоенной поры!  
И внезапно, обретая черты,  
Шепелявит в телефон шепоток:  
— Пять — тринадцать — сорок три? Это ты?  
Ровно в восемь приходи на каток!..

И, подхватив чемоданчик (а ходить на каток без чемоданчика считалось дурным тоном), как бы ни был я устал или занят, я мчался на Патриаршие пруды.

Это был не просто каток. Это был своего рода клуб, место, где мгновенно возникали и так же мгновенно кончались неистовые и стремительные юношеские романы, где выяснялись отношения и обсуждались планы на будущее.

И все это под шум, смех, звон коньков и похрипыванье духового оркестра, повторявшего раза три в вечер свой коронный номер — вальс «На сопках Маньчжурии»:

Спит гаолян,  
Сопки покрыты мглой...

В последнюю предвоенную зиму на нашем катке появилась новая девушка, которую никто не знал. Причем появилась она и как-то внезапно, и как-то очень определенно.

Мой приятель Яшка Лифшиц — в сорок девятом году он будет расстрелян в Лефортовской тюрьме, как враг народа и не то японский, не то английский шпион — сказал про нее:

— Вот ее не было — и вот она есть!

Да, она была, она существовала — тоненькая, золотоволосая, с удивительными прозрачно-синими глазами. И одета она была тоже для тех лет необыкновенно: золотистые волосы перехвачены широкой белой лентой, белый свитер и короткая, торчком, похожая на балетную пачку белая юбка.

Через несколько дней после первого появления этой девушки на Патриарших прудах все тот же всеведущий Яшка сообщил нам в раздевалке катка все, что ему удалось узнать о ней:

— Зовут ее Лия... Фамилия — Канторович... Отец — еврей, наверное... А мать была немка, но мать умерла... Она много лет прожила в Австрии, отец ее там в торгпредстве работал... Они вон в том доме живут — напротив катка...

Это были и вправду чрезвычайно ценные сведения. И самым ценным было то, что Лия жила в доме, выходявшем окнами на Патриаршие пруды, и, стало быть, появление ее на нашем катке не было случайным — зачем ей ездить в Парк культуры или на Петровку, на каток «Динамо»?!

К этому катку на Петровке мы испытывали откровенное, давнее и стойкое недоброжелательство. Мы считали, что на этот каток ходят одни пижоны — с Кузнецкого моста и Столешникова переулка, и ходят не столько кататься на коньках, сколько глазеть на знаменитых завсегдатаев — актеров и спортсменов.

На нашем катке знаменитости не бывали — здесь мы сами были знаменитостями.

В тот же день, после Яшкиного сообщения, мы познакомились с Лией. Мы просто подъехали всей компанией к скамейке, на которой она отдыхала, остановились и хором сказали:

— Здравствуйте, Лия, мы хотим с вами познакомиться!

— Очень приятно, — серьезно ответила Лия, — а кто вы такие?

Мы по очереди начали представляться, но Лия улыбнулась:

— Не надо, не надо! Я буду знакомиться постепенно!..

Так, естественно и спокойно — а она все делала естественно и спокойно, — Лия стала полноправным членом нашей компании.

Мы звонили ей по телефону — сообщали время, когда придем на каток, иногда провожали ее все вместе до дома, но никто из нас в нее почему-то не влюблялся.

Лия была Лией — самой красивой, самой, пожалуй, умной из всех нас и немножко загадочной, и влюблялись мы в девушек попроче и попонятнее.

Однажды — это было в январе сорок первого года, — еще задолго до закрытия катка, Лия сказала мне:

— Знаешь, я что-то сегодня устала! Проводишь меня?

— Хорошо,— сказал я с некоторым недоумением, так как обычно мы уходили с катка самыми последними, когда оркестранты начинали закидывать в чехлы свои тромбоны и трубы и один за другим гасли матовые шары-фонари.— Сейчас я скажу ребятам!

— Не надо,— сказала Лия,— проводи меня один.

Мы медленно шли с нею по дорожкам сквера. Мы шли, молчали, и веселые голоса, доносившиеся с катка, звуки музыки словно подчеркивали тишину нашего молчания и поскрипывание снега под ногами.

Неожиданно Лия спросила:

— Это правда, что ты пишешь стихи?

— Да.

— Прочти что-нибудь.

Я подумал и прочел стихи, которые когда-то хвалил Багрицкий,— стихи о тютчевской усадьбе в Муранове.

Стихи эти, как и большинство стихов той поры, у меня не сохранились, теперь я их уже и не помню, помню только одну строфу:

...А здесь с головы и до самых пят  
Чужой нежилой уют,  
Здесь даже вещи не просто скрипят,  
А словно псалмы поют!..

— Еще! — потребовала Лия.

Я прочел что-то еще.

— А зачем ты работаешь в театре? — спросила Лия.

Я пожал плечами:

— Интересно.

— Какая чушь! — вздохнула Лия.

Мы подошли к подъезду ее дома, остановились. Лия посмотрела на меня снизу вверх — я уже вымахал тогда все свои сто восемьдесят три сантиметра, и золотая Лиина голова едва доходила мне до плеча — и сказала:

— Мне понравились твои стихи... И вообще ты мне немножко нравишься! Но только ты как-то совершенно не умеешь думать!.. — Она усмехнулась: — Вот мне и придется хорошенько подумать — за тебя и за меня.

— О чем? — тупо спросил я.

Лия не ответила.

— Я позвоню тебе завтра,— сказал я.

— Нет,— сказала Лия,— ты не звони... Я сама тебе позвоню. Но, наверное, не скоро — когда все обдумаю.



Она оглянулась и неожиданно приказала:

— Поцелуй меня!

Являя собой вполне идиотское зрелище: в одной руке у меня был Лиин чемоданчик, а в другой руке — мой, я наклонился и поцеловал Лию в холодную щеку и краешек губ. Она снова снизу вверх посмотрела на меня, засмеялась, выхватила свой чемоданчик, показала мне язык и убежала.

И все-таки я позвонил ей первым — позвонил и пригласил ее на премьеру «Города на заре».

— Хорошо! — сказала Лия. — Мне не хочется, но я приду!

...Когда закончился спектакль, я быстро разгримировался, переоделся и вышел в фойе, где кипела возникшая стихийно дискуссия: что-то кричал, размахивая руками, поэт Павел Антокольский, что-то гудел драматург Александр Гладков, ребята из ИФЛИ пели хором песню из нашего спектакля:

У березки мы прощались,  
Уезжал я далеко,  
Говорила, что любила,  
Что расстаться нелегко!..

А Лия стояла в стороне, совсем одна, опершись локтями на подоконник, какая-то неправдоподобно красивая и грустная, в темном платье, в туфельках на высоких каблуках.

— Лия, — задыхаясь, сказал я, — поедем с нами, хорошо?! Мы сейчас все к Севке Багрицкому собираемся... Поедем?

— Будете праздновать? — насмешливо спросила Лия.

— Да, — сказал я, — а что?

— А я не хочу с вами праздновать, — с необычной резкостью сказала Лия, — мне не понравился ваш спектакль! Мне не понравилось, как ты играешь!

Я обиделся и, как всегда, не сумел этого скрыть. В спектакле «Город на заре» я играл одну из главных ролей — комсомольского вожака Борщаговского, которого железобетонный старый большевик Багров и другие «хорошие» комсомольцы разоблачают как скрытого троцкиста. В конце пьесы я уезжаю в Москву, где, совершенно очевидно, буду арестован.

— Вернее, мне не понравилось — что ты играешь! — сама себя поправила Лия, увидев мое обиженное лицо. — Как ты можешь — такое играть?! Я же говорила, что ты совершенно, совершенно не умеешь думать!.. И вот что еще — я поняла, что у нас ничего не получится! Ты мальчишка, а я женщина...

— Что значит — женщина?! — нетерпеливо спросил я.

Я спешил: Севка с ребятами — и среди них девушка, которая

мне очень нравилась,— уже ждали меня внизу, и у меня не было ни времени, ни желания выяснять с Лией отношения.

— А ты не знаешь, что это значит? — усмехнулась Лия и с вызовом вскинула голову.— Я спала с мужчиной, понятно тебе! Со взрослым мужчиной!..— Она легонько толкнула меня ладонью в грудь: — Иди! Иди празднуй!..

И я ушел. И мы уже никогда больше не встречались.

Несколько раз я звонил Лие, но она была очень занята, готовилась к весенней сессии, да я и сам был очень занят — через день, по вечерам, мы играли спектакль, в первой половине дня с Исаем Кузнецовым и Севою дописывали пьесу «Дуэль», начинали репетиции «Рюи Блаза» Гюго.

Недели через две после начала войны мама сказала, что ко мне заходила прощаться необыкновенно красивая девушка, просила передать мне привет и сказать, что ей очень жалко.

А почему и чего было жалко Лие, не понял ни я, ни тем более мама.

Лия ушла на фронт медсестрой. За свою недолгую военную службу она вынесла с поля боя больше пятидесяти раненых, а когда под Вязьмой был тяжело контужен командир роты, Лия оттащила его в медсанбат, вернулась на позицию и подняла бойцов в контратаку.

Я уверен, что она не кричала «За Родину, за Сталина!» или «Смерть немецким оккупантам!». Конечно же нет! Она сказала что-нибудь очень простое, что-нибудь вроде того, что говорила обычно в те давние-давние времена, когда мы выходили из раздевалки на наши Патриаршие пруды и Лия, постукав коньком об лед, весело бросала нам:

— Ребята, за мной!..

Уже в сентябре сорок первого года Лия была убита.

Посмертно ей присвоили звание Героя Советского Союза.

...Снова возник голос Соколовой:

— Вот почему, товарищ Галич, я и сказала после третьего действия, что все это насквозь фальшиво!.. Всякая пьеса, Александр Ар-ка-ди-е-вич, какая бы она ни была — мне лично ваша пьеса кажется плохой пьесой,— но все равно всякая пьеса дает обобщенные типы... У вас они тоже обобщенные — но неправильно! Ну, насчет геройства и всего такого прочего!.. Неправильные обобщения!..

Она встала, давая понять, что на этом наша беседа с нею закончена.

— Мы,— сказала она, подчеркивая это «мы» и голосом, и

интонацией, и даже телодвижением, — мы вашу пьесу рекомендовать к постановке не можем! Мы ее не запрещаем, у нас даже и права такого нет — запрещать! — но мы ее не рекомендуем! Рекомендовать ее — это было бы с нашей стороны грубой ошибкой, политической близорукостью!..

По длинному и чистому, стерильно чистому коридору я попал на лестничную площадку, спустился вниз, отдал мордастому и очень вежливому охраннику свой разовый пропуск и вышел на улицу.

Дни стояли короткие — февраль, уже смеркалось, по-прежнему падал с неба мелкий снежок, проезжали машины с включенными фарами, дворники посыпали тротуары крупной серой солью.

Горе тебе, Карфаген!

...Я медленно шел по Китайскому проезду к площади Дзержинского. Я был слегка оглушен всем, что сегодня услышал, но мне почему-то не было ни обидно, ни грустно — скорее противно!

К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притерпеться. Я высидел сотни часов на сотнях прокуренных до сизости заседаний, где говорились высокие слова и обдeldывались мелкие делишки.

Но такой воистину дикарской откровенности, такого самозабвенного выворачивания мелкой своей душонки, которое продемонстрировала Соколова, мне до сих пор не приходилось еще ни видеть, ни слышать.

Со мной — о моей пьесе, о проблемах типического и национального вопросе — говорила, в сущности, та самая знаменитая кухарка, которая, по идее Ленина, должна была научиться управлять государством.

В раннем детстве, в первых классах школы, мы разучивали и пели на уроках пения песню с такими восхитительными строчками:

Чтобы каждая кухарка  
Не коптела б, как дикарка,  
А училась непременно  
Управлять страной отменно!..

Вот она и научилась! Вот она и управляет!

Это же так просто — управлять страной: выслушивай мнение вышестоящих товарищей и пересказывай их нижестоящим товарищам. Нечто подобное происходит на всех этажах, на всех ступенях огромной пирамиды, называемой «партией и правительством»!

А я не стоял ни на одной из этих ступенек, даже на самой

нижней. Я не существовал. Меня не было. Я не значился. Так чего же ей, Соколовой, которая так отменно научилась управлять государством, чего же ей было меня стесняться?!

Она и разоткровенничалась. И была в этой откровенности и простая бабья месть за брошенное мною на репетиции словцо «дура», и подлинная дурость, и злорадное торжество имущего власть над никакой властью не имущим.

И все-таки, все-таки самого главного обстоятельства, по которому моя пьеса не могла быть поставлена, не должна, не имела права быть поставленной, — Соколова мне в тот день не сказала.

Допустим, что она и не думала об этом обстоятельстве, вернее, не умела еще выразить его в слове, но она уже чувствовала его — тем особым, обостренным чутьем животного, знающего только звериные правила борьбы за существование.

И тут я должен вернуться к вопросу, которого я мельком коснулся в первой главе, — к вопросу создания всякого рода неравенств, каковая система, по искреннему убеждению соколовых обоого пола, и есть способ «отменного» управления государством.

Вечерами по загородным шоссе с не предусмотренной автоинспекцией скоростью мчатся машины — черные «Волги», черные «Чайки», черные «ЗИЛы». С основного шоссе они лихо и круто сворачивают на неразличимые для неопытного глаза асфальтовые тропинки — и тогда, позванивая, поднимаются шлагбаумы, отворяются ворота, начинает суетиться охрана, преисполненная сознанием ответственности исполняемого ею государственного долга. Потом, через некоторое время, все затихает.

Отдыхает начальство, отдыхают «слуги народа», «народные избранники», плоть от плоти и кровь от крови, отдыхают на своих госдачах, отгородившись от народа заборами и охраной, под сенью табличек: «Посторонним вход воспрещен!»

Но как бывают разными запретительные знаки: от скромной таблички до милицейского кирпича и вооруженной охраны, так бывают разными и сами госдачи. О, тут существуют тончайшие оттенки: на одних полагаются картины, чешский хрусталь, столовое серебро, обслуживающий персонал, или, как его называют, «обслуга», — человек двадцать, не меньше, собственный кинозал; на других дачах перебьются и без картин, обойдутся простым стеклом и нержавеющей сталью, «обслуга» — человека два, и кино приходится смотреть в общем — разумеется, тоже закрытом для простых смертных — кинозале.

Хитроумнейшая система!

Даже сотрудники одного и того же учреждения получают пропуска разной формы и цвета. По одним — скажем, розовым и продолговатым — вы можете в обеденный перерыв посетить спецбуфет, где икра, и вобла, и американские сигареты, и весь обед стоит гроши, а по другим — допустим, зеленым и квадратным — извольте спуститься в обыкновенную столовую, где о вобле и слыхом не слыхали, где лучший сорт сигарет — дубовые «Столичные» и обед стоит столько же, сколько в любой другой городской столовой.

Возможно, вы не знаете историю, давно уже ставшую анекдотом.

Знакомая одних наших знакомых совершенно случайно попала в загородную правительственную больницу «Кунцево».

И вот какой разговор она услышала за завтраком. Поедая бутерброд с лососиной, жеманная жена одного «народного избранника» жаловалась другой:

— Ну, я-то понимаю, почему я сюда попала! Я заехала к одной своей школьной подруге — не из наших... Она стала угощать чаем, неудобно было отказаться — выпила чаю, покушала городской колбасы — и пожалуйте, вспышка гострита!..

Вот ведь оно как — уже не принимают, не переваривают и х желудка «городскую» колбасу!

Но добро бы дело сводилось только к сигаретам и колбасе.

Иметь розовый пропуск — это значит жить в особом мире, где свои деньги и порядки, свои книжки и газеты, вроде «Белого ТАССа», где смотрят особые заграничные фильмы, где почти бесплатно отдыхают в спецсанаториях и где, наконец, на государственный счет — то бишь на счет обладателей зеленых пропусков и прочих — ездят в заграничные командировки.

Вот и попробуйте теперь сравнить — куда там! — страстную мечту Акакия Акакиевича о новой шинели с мечтою современного Башмачкина, обладателя зеленого пропуска, о пропуске розовом!

Господи, да прикажи ему вышестоящий товарищ, от которого может что-то зависеть, спинку почесать — почешет, в дерьмо нырнуть — нырнет, прикажи дать по рылу «кому совсем невиноватому» — даст, за милую душу даст! Лишь бы держать на потной ладони этот розовый продолговатый выигрышный лотерейный билет, этот волшебный пропуск в иной, волшебный мир — и чтобы на этом пропуске таким красивым, с завитушками, почерком было написано твое собственное имя!..

А уж когда Акакий Акакиевич пропуск этот получит — по-

пробуйте-ка его отнять! Тут уж он не только по рылу даст — тут он на что угодно пойдет: на любую подлость и преступление, на любой донос и предательство.

И все-таки — случается — отнимают!

Все на свете преходяще: и молодость, и здоровье, и розовые пропуски!

И приходится на старости лет, как пришлось это «деятелям антипартийной группы и примкнувшему к ним Шепилову», обзаводиться не государственными, а своими, купленными на обычные деньги «городскими» вилками, ложками и тарелками!

Страшно!

И ноют, мучительно ноют сердца соколовых, тяжело ворочается вермишель чиновных мозгов — а нет ли такой системы неравенства, которая была бы не преходящей, а вечной, не зависела бы от звания и чинов, от того, кто сегодня на самом верху, от времени и обстоятельств и с лихвою искупала бы собственную дурость?!

Оказалось, что такое неравенство — есть!

Простейший канцеляризм, невинный «пятый пункт», ответ на вопрос анкеты о национальности, а вот поди ж ты, каким могучим смыслом и содержанием наполнила его чиновная догадливость!

Ведь вот же он, не дававшийся в руки средневековым алхимикам философский камень мудрости — неравенство прекрасное и вечное, неравенство неизменное навсегда.

Разумеется, известно оно было давно и не соколовы его придумали, но как-то так, до поры, за разговорами о нашем интернационализме как о великой силе международной братской солидарности они об этом неравенстве не то чтобы позабыли, а вроде упустили из виду, а уж когда спохватились...

А ведь я-то в своей пьесе «Матросская тишина» пытался, по наивности и глупости, доказать, что в Советской России для представителей еврейской национальности путь ассимиляции — не только разумный, но и самый естественный, нормальный, самый закономерный путь.

Я не случайно, а вполне обдуманно и намеренно выдал замуж за Давида не Хану, а Таню, а Хану отправил на Дальний Восток, где на ней женится некий капитан Скоробогатенко — об этом в четвертом действии расскажет старуха Гуревич.

Кстати, по настоянию Ефремова в программке, отпечатанной на пишущей машинке для зрителей генеральной репетиции, пьеса называлась не «Матросская тишина», а «Моя большая земля» — по последним словам Давида в третьем действии, сло-

вам, которые для начальственных дамочек должны были прозвучать как прямое кощунство и оскорбление.

Его земля, изволите ли видеть!

Сам того не понимая, я посягнул на святыню, покусился на основу основ — вот чего не сказала мне Соколова.

Повторяю, в тот год она еще, возможно, и не могла бы мне этого сказать, это еще только носилось в воздухе, формулировки еще не были найдены, хотя необходимость их найти была очевидна.

Странно, — казалось бы, уже избивались космополиты, уже был уничтожен Еврейский театр, расстреляны ведущие еврейские писатели и поэты, уже готовилось, после завершения «дела врачей», распределение всех евреев Советского Союза на четыре группы: немногочисленные первые две — «евреи нужные» и «евреи полезные», и многочисленные — «евреи, подлежащие выселению в отдаленные районы страны» и «евреи, подлежащие аресту и уничтожению».

Все это уже было, но внезапная смерть Сталина, а потом доклад Хрущева на Двадцатом съезде КПСС снова на время спутали карты. Впрочем, кого-кого, а чиновников сбить с толку не так-то просто. Скоро, очень скоро все возвратится на круги своя, а «шестидневная война» подведет окончательные итоги — фокус не удался, факир был пьян, как дрова, чиновники могут торжествовать: «пятый пункт», и никаких гвоздей!

Перефразируя известные слова Оруэлла из «Скотского хутора», можно сказать — все граждане Советского Союза неравны, а евреи неравнее других!

И не может быть естественной и нормальной ассимиляция в той среде, которая больше всего на свете, всеми своими помыслами, узаконениями и инструкциями — этой ассимиляции не хочет и не допустит.

Орден — пожалуйста, звание — милости просим, не возражаем (и орденам и званиям уже давно три копейки цена, а на худой конец, их можно и отобрать!), но воспитательного «пятого пункта», каиновой печати во веки веков, знака качества второго сорта, — этого мы вам не подарим, этого не уступим! А тот факт, что множество людей, воспитанных в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, с малых лет, с самого рождения привыкли считать себя русскими и действительно всеми своими корнями, всеми помыслами связаны с русской культурой, — тем хуже для них!

Это как с возрастом — сам себя считаешь еще хоть куда, князь, да и только, а уже вежливый пионерчик, уступая тебе место в метро, говорит:

— Садитесь, дедушка!

Сидите, дедушки! Сидите, бабушки! Сидите и не рыпайтесь!  
Ассимиляции им захотелось!

Современная анкета уже интересуется, бабушки и дедушки, вашей национальностью. Ей отца и матери мало. Ей наплевать, что фамилия заполнявшего анкету Иванов.

Вот он пишет в биографии — русский,  
Истый-чистый, хоть станешь напоказ.  
А родился, между прочим, в Бобруйске,  
И у бабушки фамилиё — Кац.

Значит, должен ты учесть эту бабку  
(Иванову, натурально, молчок!),  
Но положи его в отдельную папку  
И поставь на ней особый значок!..

Я пишу обо всем этом без гнева и даже без горечи!

Я уже говорил и охотно повторю, что я просто пытаюсь разобратся в собственной жизни и понять — почему запрещение (пардон, не рекомендация!) пьесы «Матросская тишина» так много для меня значило и сыграло такую важную роль в моей судьбе.

Наверное — так я думаю теперь,— потому, что это была последняя иллюзия (а с последними иллюзиями расставаться особенно трудно), последняя надежда, последняя попытка поверить в то, что все еще как-то образуется.

Все наладится, образуется,  
Так что незачем зря тревожиться,  
Все безумные образумятся,  
Все итоги непременно подытожатся!..

Вот они и подытожились.

Сегодня я собираюсь в дорогу — в дальнюю дорогу, трудную, извечно и изначально горестную дорогу изгнания. Я уезжаю из Советского Союза, но не из России! Как бы напыщенно ни звучали эти слова — и даже пускай в разные годы многие повторяли их до меня,— но моя Россия остается со мной!

У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы — и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться, ибо



родина для меня — это не географическое понятие, родина для меня — это и старая казачья колыбельная песня, которой убаюкивала меня моя еврейская мама, это прекрасные лица русских женщин — молодых и старых, это их руки, не ведающие усталости, — руки хирургов и подсобных работниц, это запахи — хвои, дыма, воды, снега, это бессмертные слова:

Редает облаков летучая гряда!  
Звезда вечерняя, печальная звезда —  
Твой луч осеребрил уснувшие долины,  
И дремлющий залив,  
И спящие вершины...

И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные — печальные и нежные — глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит — убитый и накрытый шинелькой — у подножия горы Машук, и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых своих последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертельный — уже оттуда — вздох.

Кто, где, когда может лишит меня этой России?!

В ней, в моей России, намешаны тысячи кровей, тысячи страстей веками терзали ее душу, она била в набаты, грешила и каялась, пускала «красного петуха» и покорно молчала — но всегда в минуты крайней крайности, когда казалось, что все уже кончено, все погребено, все катится в тартарары, спасения нет и быть не может, искала — и находила — спасение в Вере!

Меня — русского поэта — «пятым пунктом» отлучить от этой России нельзя!

Генрих Бёлль недавно заметил, что в наши дни наблюдается странное явление: писатели в странах с тоталитарными режимами обращаются к Вере, писатели в демократических странах — к безбожию.

Если наблюдение это верно, то надо с грустью признать, что человечество, как и прежде, упорно не желает извлекать уроков из чужого опыта.

Повторяется шепот,  
Повторяем следы.  
Никого еще опыт —  
Не спасал от беды!

Что ж, дамы и господа, если вам так непременно хочется испытать на собственной шкуре — давайте, спешите! Восхищайтесь председателем Мао, вешайте на стенки портреты Троц-

кого и Гевары, подписывайте воззвания в защиту Анджелы Дэвис и всевозможных «идейных» террористов.

Слышите, дамы и господа, как звонко и весело постукивают пули, вгоняемые в обойму,— это для вас, уважаемые, сколачиваются плахи, это вам, почтеннейшие, предназначена первая пуля! Охота испытать? Поторавливайтесь — цель близка!

Волчица-мать может торжествовать: современные Маугли научились бойко вопить — мы одной крови, ты и я!

Только, дамы и господа, это ведь закон джунглей, это звериный закон. Людям лучше бы говорить — мы одной Веры, ты и я!

...Но пришла пора вернуться в зрительный зал. Пьеса еще не кончена, еще предстоит четвертое действие.

Ох уж это четвертое действие!

Сколько я с ним бился, сколько раз правил и переписывал, но так и не сумел до конца высказать в нем все то, что я хотел в ту пору сказать...

Если бы я писал это действие сегодня, я бы уж знал — как нужно его написать. Как и о чем.

Но я умышленно (в противном случае весь этот рассказ потерял бы смысл) не переставил в нем ни одной запятой.

Вот — последняя надежда, последняя иллюзия, последняя попытка поверить и оправдать то, чему оправдания нет,— четвертое действие.

И снова погас свет, снова появился в луче прожектора Олег Николаевич Ефремов — на сей раз уже не в военном, а в парадном черном костюме,— проговорил вступительные слова:

— «Середина века. Москва. Май месяц.

Точнее — девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз встречаем мы День Победы — день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.

А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы москвичей и приезжих бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва; уходили на целину комсомольские эшелоны, гремели оркестры на привокзальных площадях.

И все чаще и чаще в эту весну бывало так — люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, побледнев,

но все еще не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задохнувшись:

— Это ты?! Ты вернулся?!

Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами...»

Пошел занавес.

Ефремов продолжал:

— «Вечер. Над стадионом «Динамо» в светлом еще небе мирно гудит самолет.

Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздаются веселое, нахальное треньканье велосипедных звончков.

Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать — хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.

В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Таня.

На низком круглом столике — какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку и две рюмки...»

Ефремов — Чернышев вдруг резко повернулся спиной к зрительному залу и шагнул прямо на сцену.

Он сел на стул рядом с Таней, налил себе рюмку, выпил.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Кончилось, кончилось, кончилось!

Кончилось четвертое действие, кончился спектакль, кончилась эта проклятая генеральная репетиция, эта мука мученическая, когда ни единая реплика на сцене не встречала ответа в зрительном зале.

Закрылся в последний раз занавес, зажегся свет.

Солодовников встал, подошел к бутылочной и кирпичной. Кирпичная что-то сказала, и Солодовников, словно бы извиняясь, развел руками. И в это самое мгновение проходивший мимо меня Товстоногов сделал точно такой же жест — развел руками и покачал головой.

В суровом молчании, с каменными лицами покидали зрительный зал немногочисленные зрители. Только белолицый администратор снова сокрушенно поцокал языком.

Ушли, не взглянув на меня, бутылочная и кирпичная.

Солодовников сказал:

— Давайте, Александр Аркадьевич, зайдем за кулисы.

— Хорошо,— сказал я и встал.

— Это надолго? — спросила меня жена.

— Подожди меня в фойе,— сказал я,— думаю, что я скоро вернусь.

Я оказался прав.

Все дальнейшее заняло не больше двадцати минут. Мы прошли за кулисы, где Солодовников и сказал свою речь, уже описанную мною раньше: речь-скороговорку, речь-бормотанье, речь, единственной целью которой было не сказать ничего.

...Василий Андреевич Жуковский — этого поэта в детстве я почитал превыше всех других — заметил однажды, что судьба, как и поэты, любит инверсии.

Да, судьба и вправду чрезвычайно любит инверсии. Надо же было такому случиться: в одной из комнат почти пустого деревянного дома, что стоит в Серебряном Бору над Москвой-рекой, в доме, где я дописываю эту книгу, живет с женою и Александр Васильевич Солодовников. Мы встречаемся за завтраком, обедом и ужином; вечерами — если идет дождь и нельзя гулять — сидим и смотрим телевизор.

Его жена иногда беседует со мной, а сам Александр Васильевич при встречах отводит в сторону глаза и как-то неопределенно дергает головой. Они живут на втором этаже, а я под ними, на первом.

И ежедневно по несколько раз в день я пишу его фамилию и имя-отчество, вспоминаю его слова, голос, повадку — того Солодовникова, каким он был пятнадцать лет тому назад; а он, сегодняшний, об этом, разумеется, и знать не знает.

Он очень постарел и словно бы высох, но по-прежнему чиновно надменен и занимает, несмотря на свой преклонный возраст, почетную и бессмысленную должность — состоит при министре культуры советником по вопросам театра. А что такое советский театр и каким ему быть надлежит — это Александр Васильевич усвоил прекрасно!

Сколько раз принимал он в правительственной ложе почетных гостей и выслушивал их замечания, сколько раз председательствовал на совещаниях, посвященных проведению очередного фестиваля или декады национального искусства!

Ах, малинка-калинка,  
Калинка моя,  
В саду ягода-малинка,  
Малинка моя!..

...Новый, победный сорок пятый год генерал — командующий бронетанковыми частями — встречал под Веной, в доме, принадлежавшем знаменитому фокуснику.

Хозяина дома с женою и детьми попросили на время переселиться в подвал. Впрочем, на новогодний прием они были любезно приглашены. И вот после часа ночи, когда уже были сказаны все положенные тосты, когда гости уже выпили, разомлели, размякли, старый фокусник решил позабавить присутствующих своим искусством.

В никуда взлетали голуби,  
Превращались карты в кубики,  
Гасли свечи стеариновые,  
Зажигались фонари!..

Гости ахали, восхищались, недоумевали, аплодировали.

И только командующий после каждого нового фокуса становился почему-то все мрачнее и мрачнее.

Наконец не выдержал, кивком головы подозвал к себе адъютанта и шепотом спросил:

— Слушай, а кто-нибудь из наших так может?

Адъютант виновато пожал плечами:

— Вряд ли, товарищ генерал! Он же всемирно известный... Я афиши его видел — там прямо так и написано: король европейских фокусников!

Генерал вздохнул и решительно сказал:

— Ладно, вызывай армейский ансамбль песни и пляски — возьмем количеством!..

Гремит, гудит, грохочет, посвистывает и повизгивает вселенская «калинка-малинка»! Стучат каблуками молодцы в охотничьих костюмах, проплывают уточками девицы в расшитых бисером сарафанах — на весь мир размахнулась купеческая «Стрельня», выдаваемая за русское национальное искусство.

Графу Шереметеву с его крепостным театром или братьям Виельгорским с их домашним оркестром в самом горячем сие не могло бы такое присниться — десятки, сотни тысяч крепостных актеров, музыкантов, певцов, танцоров, атлетов. Даже прославленные балетные труппы Большого и Мариинского театров, даже такие великие музыканты-исполнители, как Ойстрах, Гилельс, Рихтер, Ростропович, Коган, — все они, по существу, отбывают самую доподлинную крепостную повинность.

Мало того что больше двух третей получаемых ими за грани-

цей гонораров забирает государство — они не вольны принимать решения, строить планы, давать или не давать согласие на выступления.

Все обдумают, решат, обо всем договорятся за них. А потом их вызовут и скажут — надо или не надо ехать туда-то и туда-то, можно или нельзя играть то-то и то-то.

У графа Шереметева, случалось, нерадивого или не в меру строптивого лицедея могли и на конюшню посечь, и в простые дворовые разжаловать.

В наши времена на конюшне уже не секут, неудобно. Но нерадивость или, что куда хуже, строптивость не должны оставаться безнаказанными — посекут не на конюшне, а на собрании, ошельмуют в печати, отменят — уже объявленные заранее — выступления и концерты, лишат права участия в заграничных гастролях. А уж это, последнее, наказание страшнее порки на конюшне!

Не примечательно ли, что пресловутые особые магазины, где товары продаются только на сертификаты, то есть по сути на иностранную валюту, и прославленный танцевальный ансамбль, который большую часть года проводит в гастролях за рубежом, носят одинаковое название — «Березка»!

А вслед за ансамблями и спортивными коллективами ездят особо проверенные и стойкие стукачи — во главе с «писателями» Анатолием Софроновым и Цезарем Солодарем — и вопят неистовыми голосами:

— Шай-бу!.. Шай-бу!.. Шай-бу!..

Сражаются наши хоккеисты:

— Шай-бу!..

Танцует Плисецкая:

— Шай-бу!

Играет Леонид Коган:

— Шай-бу!

И тут я не могу удержаться, чтобы не сказать об удивительном явлении последних лет нашей жизни:

— Ратуйте, люди добрые! Могучее и стройное здание неравенства дало трещину!

И трещина эта образовалась в самом, казалось бы, надежном месте, в самом защищенном, бронированном. Незыблемейшее неравенство, восхитительный «пятый пункт» удрал-таки штучку, выкинул коленце!

Оставаясь каиновой печатью, знаком качества второго сорта, он, проклятый, оказался при том еще и лазейкой: обладатели «пятого пункта» имеют право подавать заявления и добиваться разрешения на выезд за границу.

А при одних этих словах — заграница, капстрана, инвалюта — сладостно замирают и тревожно бьются сердца всех больших и малых чиновников.

И какой же русский не любит быстрой езды — всего три с половиной часа, и ты в Париже! А в Париж, это еще в старину говорили, приедешь — угоришь!

Ах, Елисейские поля, Пляс Пигаль, универсальные магазины «Призюник» и «Монопри»!

Мы прилетели в Париж, на аэродром Ля Бурже, пасмурным апрельским вечером.

«Мы» — это бывший, а в ту пору действительный директор киностудии «Ленфильм» Илья Николаевич Киселев и я.

Нас на две недели пригласила в Париж кинофирма «Алькам» в преддверии начала съемок совместного советско-французского фильма «Третья молодость» — о знаменитом танцовщике и балетмейстере Мариусе Петипа.

Я таинственно волею судеб принимал участие в этой работе в качестве кинодраматурга с советской стороны и в Париже уже бывал: здесь с моим французским соавтором Полем Андреста мы писали литературный сценарий.

А вот Киселев летел — не только в Париж, а вообще за границу — в самый первый раз. Грузный, мешковатый, темнотлицый — он наполовину цыган, — Илья Николаевич обливался в самолете потом, непрерывно вытирал лицо и шею большим, как полотенце, носовым платком и жалобно повторял:

— Слушай, ты уж меня там не бросай одного, ладно? Ты же знаешь — по-французски я ни бум-бум и вообще... ориентируюсь слабовато!

О том, как Киселев «ориентируется», на «Ленфильме» рассказывали бесчисленные анекдоты. Злые языки утверждали, что если машина Ильи Николаевича высаживала его не у самого подъезда студии, а где-нибудь на другой стороне улицы, то Киселев мог вполне свободно заблудиться и даже не прийти на работу. А по самой студии — в павильоны и цеха — Илья Николаевич неизменно ходил с провожатым.

Хмурый и чем-то явно раздосадованный молодой человек — представитель фирмы «Алькам» — встретил нас на аэродроме, взял наши чемоданы, посадил в такси.

Каким-то странным кружным путем, минуя центр, по окраинным парижским улочкам, мимо серых обшарпанных домов и пустырей, такси привезло нас к дверям тоже весьма неказистой гостиницы.

Молодой человек выгрузил наш багаж, внес его в холл, что-то негромко сказал портье и, поспешно распрощавшись с нами, ушел.

И только теперь, оглядевшись, я понял причину и его досады, и этой виноватой поспешности. Гостиница, в которую нас привезли, была третьеразрядным заведением того сомнительного пошиба, где вечно сонный портье не глядя — глядеть на гостей здесь не положено — дает посетителям ключи:

— Пожалуйста, медам-месье! На час? На ночь? На сутки?

По узкой винтовой лестнице мы поднялись с Киселевым в наши почти одинаковые номера — с кокетливыми ситцевыми занавесками в цветочках, с неизменной ширмой возле кровати и старинным педальным умывальником с ведерком воды и тазом под ним.

Телефонов в наших номерах, разумеется, не было.

— Ну, нет,— сказал я Киселеву,— мы здесь, Илья Николаевич, жить не будем. Это какое-то недоразумение. Сейчас я спущусь к портье и позвоно в фирму!

— Я тебя умоляю,— снова залепетал Киселев, хватая меня за руки,— ты не уходи... Я ж боюсь... Я ж потеряюсь...

— Не потеряетесь. Сидите в номере и ждите меня. Через пять минут я вернусь.

Но вернулся я не через пять минут, а значительно позже. Телефон у портье был испорчен, и я довольно долго плутал по горбатым переулкам и улочкам, пока не набрел на какое-то кафе, откуда я и позвонил наконец в фирму.

Глава фирмы Александр Каменка сказал мне в телефон скорбно-замогильным голосом, что это все ужасно, что он очень извиняется перед господином Киселевым и передо мною, что все они просто в отчаянии, что сегодня в Париже кончается какое-то идиотское международное авторалли, на которое съехались любители из всех стран, и что завтра рано утром он сам, лично, заедет за нами и перевезет нас в хороший отель, где нам уже заказаны номера.

— Еще раз, умоляю,— сказал в заключение Каменка,— передайте господину Киселеву тысячи извинений и сердечный привет! Что он делает?

— Господин Киселев,— сурово сказал я,— сидит у себя в номере и очень сердится!..

И все это оказалось неправдой!

Господин Киселев не сидел у себя в номере и не сердился. Господин Киселев стоял у подъезда гостиницы, крепко — чтобы не потеряться и не заблудиться — держась одной рукой за ручку



двери, и смотрел на пустырь, что находился напротив гостиницы.

По пустырю, уставленному в живописном беспорядке огромными металлическими корзинами для мусора, стаями нахально бродили сытые коты и кошки и рылись в отбросах две старухи.

Но небо над пустырем было сиреневым, в розовых разводах, и откуда-то доносились автомобильные гудки и музыка.

И господин Киселев даже не обернулся, когда я подошел к нему и сказал:

— Илья Николаевич, ничего не напишешь, придется нам здесь переночевать! Одну ночь! Утром переедем в другую отель!

Он не ответил. Он продолжал, чуть приоткрыв рот, смотреть на пустырь. Он тяжело дышал, и в груди у него что-то булькало и хрипело.

— Илья Николаевич! — уже слегка обеспокоенный (не случилось ли чего?), окликнул я. — Что с вами, Илья Николаевич?!

И, все так же молитвенно и неотрывно глядя на пустырь, на мусорные корзины, на котов и старух, господин Киселев тихо проговорил:

— Париж!.. Какой город, а?!

Эту историю я вспоминаю всякий раз, когда кто-нибудь начинает при мне жаловаться на то, что из него тянут жилы с разрешением на выезд в Израиль.

А что же вы хотите, друзья мои?! А как же иначе?!

Обыкновенный рядовой советский человек имеет право один раз в три года поехать в туристскую поездку в какую-нибудь капиталистическую страну. Один раз в три года, всего на семь — девять дней гражданин из страны победившего социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат, может мельком взглянуть на страшный мир, где человек человеку волк.

Но и на подобного рода поездку дают разрешение далеко не каждому. И всякий раз это многомесечная трепка нервов, это бессонные ночи и лихорадочное ожидание: пустят или не пустят?! И если не пустили (а сообщать причину отказа не положено) — какие мучительные часы раздумий, какая невыносимая тревога снова на долгие месяцы и на бессонные ночи охватывает свободного и счастливого гражданина Страны Советов!

За что? Почему? Значит — не верят! Значит, где-то и на кого-то я не так поглядел, не то сказал? Значит, в той таинственной комнате, которая называется «Особый отдел» и куда посторонним

вход запрещен строжайше, числятся за мною какие-то неведомые мне грехи?!

Ай-яй-яй, как плохо, как тревожно, какая беда! Ибо всякую поездку за границу, даже туристскую, принято у нас рассматривать прежде всего как неоспоримое выражение доверия и поощрения.

И вдруг — нá тебе! Эти самые, что с «пятым пунктом», эти неравнейшие среди неравных, эти граждане второго сорта хотят, чтоб им дали разрешение уехать в капиталистическую страну Израиль!

И не просто хотят — требуют! И не только требуют — уезжают! Сотни, тысячи! Что случилось?! Как могло такое произойти?! Ратуйте, люди добрые!

Неладно что-то в Датском королевстве!

И уже не по тексту Шекспира  
(Я и помнить его не хочу!),  
Гражданин полоумного мира,  
Я одними губами кричу:  
— Распалась связь времен!..

...Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался.

С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались ни много ни мало ровно сорок лет.

Еще одна из причудливых инверсий судьбы: все эти годы мы жили в одном городе, состояли — до моего исключения — в одной и той же писательской организации, у нас были общие друзья, мы посещали, вероятно, одни и те же вечера и просмотры в Центральном Доме литераторов, и вот поди ж ты — ни разу, ни единого раза не встретились.

А ровно сорок лет тому назад мы — мальчишки — непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда».

В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой, чернилами, дважды в неделю мы читали свои новые стихи (а тогда мы все писали стихи) и, как щенята, с веселой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стертую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение.

И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи — кто же их не пишет в тринадцать — че-

тырнадцать лет! Но иногда читал и свои рассказы — короткие, странные, вызывающие неизменное одобрение руководителя нашей бригады, молодого писателя Исаия Рахтанова, автора прекрасной детской книжки «Чин-Чин-Чайнамен и Бонни Сидней».

Однажды Рахтанов сказал:

— С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие — в пятницу — мы проведем у него дома. Я рассказывал ему про нашу бригаду, и он просил, чтобы я вас к нему привел!

...Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре, диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах, диковинный человек с серо-зелеными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги, на продавленном диване, задыхался, кашлял, курил — от астмы — вонючий табак «Астматол» и, щурясь, слушал, как мы читаем стихи.

Всего в нашей бригаде было человек пятнадцать, и стихи мы читали по кругу, каждый по два стихотворения.

Багрицкий слушал очень внимательно, иногда — если строфа или строчка ему нравились — одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос.

Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давно решенное:

— Ладно, спасибо! В следующий раз — в пятницу — будем разбирать то, что вы сегодня читали! — Он хитро нам подмигнул: — Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..

Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого. Это было и очень почетно, и совсем не так-то легко.

Эдуард Григорьевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст.

Он так и говорил:

— Человек — или поэт или не поэт! И если ты не умеешь писать стихи в тринадцать лет, ты их не научишься писать и в тридцать!..

Как-то раз я принес чрезвычайно дурацкие стихи. Написаны они были в форме письма моему якобы родственнику и крупному поэту, проживающему где-то в чужой стране. В этом письме я негодовал по поводу того, что поэт не возвращается домой, и утверждал, что когда-нибудь буду сочинять стихи не хуже, чем он, а может быть, даже и лучше.

Багрицкий рассердился необыкновенно.

Он чуть не подпрыгнул на своем продавленном диване, замахал руками и закричал, кашляя и задыхаясь:

— Глупости! Чушь собачья! Ерунда на постном масле! Почему это я когда-нибудь буду писать не хуже, чем он?! Я уже и сейчас пишу в тысячу раз лучше!

— Так ведь это я не про вас, Эдуард Георгиевич,— попытался я оправдаться,— это же я про себя!

И тут Багрицкий сказал удивительные слова. И сказал их уже без крика, а серьезно и негромко:

— Ты поэт. Ты мой поэт. Всякий поэт, который находит своего читателя,— становится его поэтом. И все, что ты говоришь, ты говоришь и от моего, читателя, имени... Запомни это хорошенько!

Я запомнил, Эдуард Георгиевич, я не забыл!

На одном из занятий Володя прочел свой новый рассказ.

Багрицкий одобрительно кивнул:

— По-моему, хорошо! Я, правда, в прозе не очень-то, но, по-моему, хорошо!

В следующую пятницу, едва мы только расселись, раздался стук в дверь, и в комнату Багрицкого быстро и почему-то бочком вошел невысокий человек в очках, с широким и веселым лицом.

Багрицкий сказал:

— Познакомьтесь, ребята! Это Исаак Эммануилович Бабель! Мы восторженно замерли.

Бабель очень уютно примостился на диване, рядом с Багрицким, а Эдуард Георгиевич повелительно сказал Володе:

— Прочти, что ты нам в прошлый раз читал!

Пока Володя глухо и монотонно читал свой рассказ, Багрицкий и Рахтанов смотрели на Бабеля, а Бабель слушал, полузакрыв глаза и не шевелясь.

Потом, когда занятия кончились, Бабель увел Володю к себе — они с Багрицким жили в одном доме.

С тех пор, уже отдельно от нас, Володя стал бывать у Бабеля.

Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собою распалась и мы разбрелись кто куда. В те годы многие видные поэты вели кружки молодых, и я перебивал в кружках Сельвинского, Луговского, Светлова, но так нигде толком не прижился.

А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни.

И вот ровно сорок лет спустя мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас,— пьем, едим, беседуем.

Володя, все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, ставший кряжистее и квадратнее, тягучим и веским

голосом, от которого у меня сразу же заболела голова, внушает мне:

— Ты же русский поэт, понимаешь?! Русский! Зачем же ты, особенно в последнее время — я слышал твои новые вещи, — занимаешься какой-то там еврейской темой? На кой она тебе сдалась?! Что за дурацкий комплекс неполноценности!

Уже понимая, что за этим последует, я вяло возражаю ему. Я говорю, что комплекс неполноценности тут решительно ни при чем, что сегодня, сейчас на наших глазах совершается новый Исход, уезжают навсегда тысячи людей — и среди них наши друзья и знакомые, милые нашему сердцу люди, — и что остаться к этому равнодушными мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать.

— Пусть другие об этом пишут! — гудит Володя и тычет в меня очень толстым указательным пальцем. — А тебе об этом писать не надо!

— Почему мне именно, русскому — как ты говоришь — поэту, об этом писать не надо? — задаю я уже слегка провокационный вопрос.

Володя усмехается:

— Именно тебе не надо, понял?!

Я понял тебя, друг моего детства! Я тебя прекрасно понял!

Это все тот же заколдованный круг, сказка про белого бычка, кольцо, которое ни сомкнуть, ни разомкнуть!

Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне все-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей! А раз я еврей, то я тем более не должен интересоваться, думать и писать об уезжающих в Израиль! Пускай об этом пишут другие — со стороны еврея это бестактно!

Вот и поди вырвись из этого круга!

А Володя, уже слегка захмелев, все продолжает тягуче гудеть, как большой и злобный шмель:

— Что же, милые мои, получается? Сами во всем принимали участие: и в двадцатые годы, и в тридцать седьмом, и после — а теперь бежать?! Нет уж, вместе кашу варили, вместе давайте ее и расклебывать! А то, понимаете, одни уезжают на свою — извольте ли видеть — историческую родину, а другие... А скажите мне: рязанскому парню, костромскому, ярославскому — им-то куда прикажете податься?!

Умри, Денис, лучше не скажешь!

Я встал и, сославшись на головную боль, ушел.

Прощай, друг моего детства! Больше нам с тобою видеться

незачем! Ну разве что еще разок, снова сорок лет спустя! Впрочем, вряд ли мы с тобою проживем так долго, конечно, не проживем, так что — прощай!..

...По мокрому снегу, посыпанному крупной серой солью, мы возвращались с женой домой. Мы шли из театра. Мы шли с генеральной репетиции моей пьесы «Матросская тишина».

За генеральной репетицией обычно следует премьера, банкет.

Но на сей раз банкета не будет!

...Была — но съедена конфета,  
Была — но съедена котлета,  
На всем столе одна галета —  
Привет участникам банкета!..

Банкета не будет. И цветов не будет, аплодисментов, вызовов на поклон, звонков от друзей с просьбой помочь достать билетик на спектакль — ничего этого не будет, потому что, прежде всего, не будет самого спектакля.

...Это, в конце концов, неплохо, что студийцы в учебном порядке поработали над таким чуждым для них материалом, а теперь, товарищи, надо искать свою, молодую, близкую по духу драматургию! Спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..

...Вы что же хотите, Александр Ар-ка-ди-е-вич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?!

Нет, нет, упаси меня Бог, я этого, разумеется, не хочу!

Мы пришли домой, где нас уже у двери ждала наша собака Чапа. Это было удивительное создание. Собачий ангел — мы не знали этого точно, но догадывались, что это именно так. Обычно, если нас долго не было дома, Чапа при встрече закатывала нам скандал. Она вспрыгивала на диван и произносила монолог:

— Как же вам не стыдно?! Где вы пропадали?! Это свинство! Вы же знаете, что я вас жду, а вы все не идете и не идете!..

Но в тот день Чапа нас встретила молча. Она взглянула на нас своими огромными печальными глазами и, в знак утешения, повиляла хвостом.

Я поднял ее на руки, и она лизнула меня в нос.

...Когда Чапа умерла, наша дочь похоронила ее за своим домом, в овраге, под деревьями. Хоронить пришлось ночью, тайком — иначе могла нагрязнуть санитарная инспекция и оштрафовать.

В Москве вообще похоронить трудно.

А человека даже труднее, чем собаку. Особенно если человек верующий и не хочет, чтоб его сжигали в крематории.

Похоронить в Москве трудно.

Убить — легко.

*Серебряный Бор — Москва  
29 мая 1973 года*

# БЛОШИНЫЙ РЫНОК

*Почти фантастический, но не научный роман*

Автор считает своим долгом предупредить читателей, что в этом романе нет ни единого слова правды.

Все персонажи — и действующие, и даже только упомянутые: Семен Таратута, Леонид Брежнев, Валя-часовщик, Михаил Моисеевич Лapidус и другие — выдуманы автором и в действительности не существуют.

Равно как и города — Одесса, Москва, Тель-Авив, Париж.

Всякое сходство с подлинными лицами и населенными пунктами является чисто случайным.

## ПРОЩАЙ, ОДЕССА!

### 1

...В тумане расплываются огни,  
А мы себе уходим в море прямо!  
Поговорим за берега твои,  
Любимая моя Одесса-мама!

*Песня*

Одесса, как известно, самый необыкновенный город на всем белом свете.

Я знаю это твердо и не советую никому спорить со мною по этому поводу. Хотя бы уже потому, что история, которую я собираюсь здесь рассказать, случилась именно в Одессе.

Вернее — в Одессе она началась, а кончилась черт знает где, если вообще кончилась, в чем я, положа руку на сердце, далеко не уверен.

Но началась она в Одессе, это точно. И началась она так: во вторник, второго октября одна тысяча девятьсот семьдесят... года,



ровно в три часа дня, на улице Малой Арнаутской, у входа в пивной бар «Броненосец «Потемкин», остановился Семен Таратута, огляделся по сторонам и двумя руками развернул и поднял над головой плакат — кусок обоев в цветочек, на которых с обратной стороны красной тушью было написано: «С в о б о д у Л а п и д у с у!»

Пожилой официант с подбитым глазом выглянул из дверей бара, увидел Таратуту, улыбнулся и ласково предложил:

— Заходите, Семен Янович, «Жигулевское» есть.

— После,— сказал Таратута.

— Ну, после так после!

Официант покивал головой и скрылся.

...Через несколько минут Таратуту окружила толпа. И это не удивительно, потому что это Одесса. В Одессе, например, если вы встречаете на Дерибасовской приятеля и останавливаетесь с ним поболтать, то рядом с вами немедленно остановится еще человек десять и будут слушать, о чем вы говорите,— а вдруг вы рассказываете какие-нибудь новости, которых они еще не знают. И вообще — интересно...

...В толпе, окружившей Таратуту, среди обычных уличных зевак и вышедших на шум посетителей бара с кружками пива в руках выделялась пестрая компания длинноволосых молодых людей и девиц, «джинсовые мальчики и девочки», как их мысленно окрестил Таратута. Впрочем, в джинсах, в настоящих джинсах, подсученных по всем правилам моды снизу, с кожаной нашлепкой на задку, в таких джинсах, за которые спекулянты дерут от семидесяти пяти до ста рублей, был только один плюгавый паренек, остальные же просто делали вид, будто они тоже в джинсах.

Сначала толпа стояла молча, читала плакат, разглядывала Таратуту. Худощавый, чуть выше среднего роста, в больших фасонистых роговых очках, с рыжеватыми курчавыми волосами, Таратута никак не походил на эдакого голливудского киногероя. Но и уродом его тоже назвать было бы грех. Наблюдалась в нем даже скорее некая лукавость, некое, как говорили в старину провинциальные актеры, «неглиже с отвагой», что в немалой степени способствовало его успеху у женщин. Девушки из «джинсовой» компании подтвердили это немедленно — начали поводить плечиками, зазывно улыбаться и щурить глаза.

На Таратуте был клетчатый пиджак производства Германской Демократической Республики, серые чешские брюки, польские мокасины и шелковая, в крупный цветок, японская рубашка, которую жены моряков, распродают всевозможное

шмотье, привозимое их мужьями из дальних странствий, ласково называют «гавайка».

И все это заграничное великолепие было куплено конечно же не в каком-нибудь государственном универмаге, а исключительно и только на барахолке.

...О знаменитая одесская барахолка, великий блошинный рынок, один из немногих чудом уцелевших и при этом даже официально узаконенных сказочных островков частной инициативы и предпринимательства! Под открытым небом, на огромном пространстве, огороженном со всех четырех сторон высоким забором, кипит, пылит, кричит, хохочет и сокрушается несметное, неисчислимое человеческое множество, оно выплескивается на прилегающие улочки и переулки, перемахивает через ограду находящегося в непосредственном соседстве с блошиным рынком еврейского кладбища, и над невозмутимыми могильными плитами раздаются приглушенно-страстные голоса:

— Семь пять, и точка!

— Сто, как отдать! А если нет, то до свидания, мама, не горюй, ты меня не видел, я тебя не видел!

О барахолка!

Уже не однажды какой-нибудь вновь назначенный ретивый начальник из горкома партии или горисполкома пытался поставить вопрос о ее закрытии. И тогда происходило чудо — сначала где-то в отдалении начинали погромыхивать гром и посверкивать молния, ощущались таинственные подземные толчки, колебания почвы, земля расступалась, и именно на том самом месте, где стоит Одесса, образовывалась глубокая трещина, в эту трещину бесследно и навсегда проваливался злополучный ретивый начальник, земля смыкалась вновь, а барахолка, хотя и переезжала на какое-нибудь новое место, как ни в чем не бывало продолжала жить своей неопикуемой, безобразной и ликующей жизнью.

...Помнишь, я купил тебе когда-то на этом блошином рынке пальто и замшевые туфли маме? Кажется, она их все еще носит, хотя прошло с той поры не меньше четверти века.

Я поехал тогда в Одессу впервые. В Москве и до половины пути стояла зима с метелями, снежными заносами, а Одесса встретила меня слякотью и пронзительным ветром с моря, заледневшего только у самого берега. У меня была дурацки благонамеренная идея написать сценарий или пьесу о моряках торгового флота, целыми днями я пропадал в порту, но в воскресенье я все-таки выбрался на блошинный рынок, благо находился он тогда еще в черте города.

Первое, что я услышал, когда сквозь толчею протиснулся в узкие деревянные ворота, был истошный женский крик:

— Караул, грабят!

Толстая усатая баба, закутанная поверх пальто в какое-то неимоверное количество платков и шалей, тыкала пальцем в тощего мужчину, державшего на деревянной распялке мужскую рубашку, и кричала:

— Караул, грабят!

— В чем дело, мадам? — поинтересовался кто-то. — Кто вас грабит?!

— Вот он, — прокричала баба, — за эту жалкую тряпочку хочешь пятнадцать рублей!.. Караул!

О барахолка, блошинный рынок, толкучка, толчея, удивительный сколок человеческого мира, где обман не позор, а напротив — дело чести, славы, доблести и геройства, где каждый стремится обжулить каждого — продавец покупателя, покупатель продавца — и где в конце концов каким-то непостижимым образом обманутыми оказываются все, даже самые хитрые и удачливые.

И может быть, если взглядеться попристальнойей...

Но нет, погоди, погоди!

Еще не пришла пора для авторских отступлений. История, которую я хочу рассказать, только начинается, только отправляется в путь, вот когда она полетит, помчится, поскочит стремглав, тогда время от времени будет просто необходимо остановиться, чтобы перевести дыхание, оглянуться назад, вспомнить.

А пока разумнее всего вернуться, и как можно скорее, к прерванному рассказу.

Итак, толпа, окружившая Таратуту, сперва молчала, ожидая, видимо, что будет дальше.

Но вот наконец хорошенькая и знающая, что она хорошенькая, загорелая девица из «джинсовой» компании, с черненькой челкой и зеленовато-карими глазами, отважилась задать первый вопрос:

— А он еврей?

— Кто? — сквозь зубы надменно процедил Таратута.

— Лapidус.

— Норвежец! — усмехнулся Таратута. — Конечно, еврей.

— Он сидит? — снова спросила девица с черненькой челкой.

— Конечно, сидит!

— А где?

Таратута сделал вид, что он рассердился:

— «Где, где!» Не волнуйтесь, не в Чили! Он сидит в Одессе, где же еще?!

— Давно? — деловито и хрипло поинтересовался замызганный работяга с мотком проволоки через плечо. В свободной левой руке работяга держал банку с мутным огуречным рассолом, отпивая по временам из банки глоток и содрогааясь всем телом.

— Пять дней,— сказал Таратута.

Откуда-то из задних рядов два голоса, женский и мужской, одновременно задали один и тот же вопрос:

— А за что его посадили?

До сих пор Таратута, как уже было отмечено, отвечал на вопросы лениво и небрежно, словно нехотя. Но, услышав последний вопрос, он оживился. Он ждал, когда ему наконец зададут именно этот вопрос. Он потряс над головой плакатом, набрал воздух в легкие и неожиданно зычным голосом закричал:

— За что он сидит?! Они меня спрашивают — за что сидит Лapidус?! Он сидит за то, что он гений, вот за что!..

Где-то в толпе, разбуженный криком Таратуты, отчаянным синюшным плачем зашелся младенец. Таратута недовольно поморщился и замолчал.

Толпа терпеливо ждала, но младенец не унимался.

— Послушайте, мамаша,— сказал работяга,— уймите своего семимесячного! Дайте ему цицу! Человек же рассказывает, это же просто невежливо!..

— Он будет меня учить! — огрызнулась женщина, но на нее зашикали со всех сторон, и она, расстегнув платье, вытащила большую и плоскую грудь, похожую на кусок теста, и поднесла к ней ребенка.

Толпа, подождав еще мгновение и убедившись, что младенец занялся делом, снова обернулась к Таратуте.

— Ну?

— Вон там стояла его палатка,— уже обыкновенным голосом сказал Таратута и мотнул головой в неопределенном направлении.— Там она стояла, и там ее нет. Даже палатку они снесли!..

— А чем он торговал? — спросила неугомонная девица с черненькой челкой.

Этот вопрос тоже принадлежал к числу вопросов, заранее предусмотренных Таратутой. Поэтому он сперва одобрительно подмигнул девице с челкой, а потом скорбно усмехнулся:

— Чем он торговал?! Лapidус торговал киселем. Вы меня спросите — каким? Обыкновенным. Клюквенным. Развесным. В порошке. Рубль шестьдесят копеек за килограмм.... Этот порошок разводят в кипятке, и выходит кисель, знаете?

— Знаем, знаем! — закивали в толпе.

— Но,— Таратута снова слегка повысил голос,— но, между прочим, таким кисельным порошком торговали по всей Одессе. И на Садовой, и на Фонтане, и на Дерibasовской, всюду! Только у Лапидуса покупали, а у других не покупали! Вы спросите — почему? Вы думаете, тут была какая-нибудь махинация?! Так вот, представьте себе, никакой махинации не было! Лапидус имел удостоверение на право торговли, с печатью на бланке, которое ему выдала наша родная советская власть... — Таратута оглянулся и на всякий случай добавил: — Пусть она еще живет сто лет по крайней мере!..

— Много! — громко и четко сказал работяга, отхлебнув из банки глоток рассола, и всем телом описал в воздухе круг.

Таратута, не выпуская из рук плаката, со всего маху пнул работягу ногой и прошипел:

— Я этих слов не слышал, понял?! С меня хватит нарушения общественного порядка! Семидесятой я не интересуюсь!..

— Какой — семидесятой? — скривился работяга.

— Уголовный кодекс надо читать! — наставительно сказал Таратута. — Семидесятая статья — антисоветская агитация.

В толпе недовольно загудели. Кто-то крикнул:

— Перестаньте с частными разговорами!

Певучий южный тенорок спросил:

— А почему все-таки у Лапидуса покупали, а у других нет? С разных, что ли, баз получали?

— Получали с одной базы! — сказал Таратута и хитро прищурился. — Но только у других — когда вы разводили этот порошок водой и получали кисель, — так он был кислый, и надо было еще добавлять три-четыре больших ложки сахара, а у Лапидуса он сразу был сладкий...

Тут уже вся толпа разом спросила:

— А почему?

— А потому, что Лапидус — я вам уже сказал — был гений! Гений и человек великой души! Он сам, за свой собственный счет покупал сахар и добавлял его в этот паршивый клюквенный порошок...

В толпе раздалась удивленные возгласы.

Плюгавый паренек в настоящих джинсах высокомерно прошепелявил:

— Сказки! Что же он, этот Лапидус, Робин Гуд, что ли?!

— Не Робин Гуд, а гений! — упрямо повторил Таратута и опять быстро оглянулся. — В другом мире, где, извиняюсь за выражение, человек человеку волк, его бы назначили министром киселя... А здесь его посадили и еще обозвали в печати жуликом.

В толпе снова заинтересованно загудели:

— В печати?

— Когда? В какой печати?

— Что значит — в какой печати?! — нарочито спокойно и даже как бы задумчиво переспросил Таратута. — В Советском Союзе существует только свободная печать. Вся остальная запрещена. Заметка о Лапидусе была напечатана в газете «Черноморец» от четвертого октября... Сейчас я вам все объясню...

Но объяснить Таратута ничего не успел.

В толпе внезапно началось какое-то бурное завихрение, кружение, образовалось нечто похожее на водяную воронку, центробежная сила отбросила часть толпы в одну сторону, часть в другую, и в пустом пространстве возникла длинноногая, тощая фигура старшины Сачкова, печально и хорошо известного всей Малой Арнаутской улице и Ильичевскому району вообще.

— Ну вот! — сказал Сачков, словно продолжая некий прерванный разговор.

Он остановился перед Таратутой и укоризненно покачал головой:

— Что я говорил, гражданин Таратута?! Это самое я и говорил — нет вам доверия, нет и быть не может!..

— Вы, товарищ начальник, не так меня поняли! — туманно ответил Таратута и, опустив плакат, собрался уже было его порвать, но Сачков неожиданно быстрым и ловким движением схватил его за руку:

— Нет уж, вы, гражданин Таратута, плакат не рвите! Плакат у нас с вами будет как бы вещественное доказательство! — Он потянул Таратуту за рукав пиджака: — Прошу следовать!..

— Привет, товарищ Сачков! — вывернулся боком из своего окружения плюгавый паренек в настоящих джинсах. — Узнаёте?

Сачков хмуро посмотрел на него, пожевал губами и хрипло выдал:

— Нет.

— Как — нет? Я же племянник начальника вашего отделения — Ершова Николая Петровича! Я бывал у вас и...

Не дав плюгавому пареньку договорить, Сачков в упор спросил:

— Ну и что? Вы меня, гражданин, отрываете, понимаете, от исполнения служебных обязанностей! В чем дело?

Паренек в настоящих джинсах смутился, пробормотал что-то невнятное, втиснулся обратно в свою компанию, но, пока все это происходило, Таратута уже успел, повернувшись к девице с черненькой челкой, сказать ей негромко, быстро и повелительно:

— Номер?

Проявив незаурядную догадливость, девица ответила так же негромко и быстро:

— Пять — пятьдесят два — семьдесят три.

— Я не запомню! — сказал Таратута и, увидев, как у девицы растерянно округлились глаза, усмехнулся: — Знаю, знаю, ка-рандаша нет, записать не на чем...

Он подставил девице злополучный плакат:

— Губной помадой. Здесь.

Девица потрясла головой — черненькая челочка растрепалась по лбу, — достала из сумочки помаду, крупно и коряво записала на плакате номер своего телефона, после чего плакат приобрел уже и вовсе загадочный вид: «Свободу Лapidусу! 5-52-73».

— Жди звонка! — пообещал Таратута и торжественно обратился к Сачкову: — Я готов, товарищ начальник!

Он сам взял старшину под руку. И они вдвоем, пройдя сквозь строй вновь расступившейся перед ними толпы, перешли на другую сторону улицы. Мальчики и девочки из «джинсовой» компании, глядя им вслед, прокричали по слогам громко и недружно:

— Сво-бо-ду Ла-пи-ду-су!

Долговязая старуха в очках, гид «Интуриста», объяснила гостям из мира, где человек человеку волк, сидевшим в голубом туристском автобусе, что это наша советская молодежь требует немедленного освобождения греческих патриотов.

Розовощекий «волк» в баварской шляпе с пером спросил:

— Снимать можно?

— Не стоит, — сказала дошлая старуха, — это у нас, знаете ли, повсеместное явление. Поберегите лучше пленку для памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину!.. — И, после паузы, великодушно добавила: — Ну, и еще для герцога Ришелье...

## 2

Начальник двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города Одессы майор Николай Петрович Ершов был чем-то вроде белой вороны на ослепительно черном небе Министерства внутренних дел. Люди, подобные ему — люди с прошлым, «ископаемые», — не то чтобы в МВД, а и в обычных-то советских учреждениях встречаются теперь все реже и реже. Одни умерли, другие — по большей части — одиноко доживают на пенсии свой бессмысленный и кромешный век.

В погожие дни они выползают на Приморский бульвар, сидя

на скамейках, греются на солнце и стараются ни о чем не думать и ничего не вспоминать. Иногда они позволяют себе сыграть партию в домино или в шашки, но чаще всего просто молча сидят и, полуприкрыв по-стариковски пгичьими веками слезящиеся глаза, смотрят на свое Черное море, которое им так часто снилось в Инте и на Магадане, на Соловках и в Потьме в стремительно короткие лагерные ночи.

Если кто-нибудь заводит разговор о политике, то старики обычно помалкивают. Они давно уже усвоили — те из них, которые способны были хоть что-то усвоить, — что политика их теперь не касается, политика им не по уму. Та самая политика, которую они когда-то, шальные от вседозволенности и крови, в простреленных шинелях и кожаных куртках делали, как им казалось, сами.

...В 1938 году молодой военный инженер Николай Ершов вернулся из Испании в Советский Союз. Возвращался он путем долгим и затейливым — через Францию, Швейцарию, Бельгию, Польшу. В Москве его встречали цветами, поцелуями, рукопожатиями, наградили орденом Красной Звезды. А в скором поезде Москва — Одесса, когда слегка захмелевший Ершов рассказывал своим случайным спутникам о боях под Теруелем, в купе в сопровождении насмерть перепуганной проводницы вошли двое — без лиц, без глаз, без знаков отличия, — и один из них проговорил, как пролаял:

— Гражданин Ершов?!

Особое совещание приговорило Ершова к расстрелу — высшей мере социальной защиты — за шпионаж в пользу некоего иностранного государства. Расстрел заменили десятью годами лагерей особо строгого режима.

Просидел Ершов, как и положено, не десять, а почти семнадцать без малого лет, так что путь его от Мадрида до родной Одессы оказался куда как более замысловатым, чем это представлялось вначале. Если отбросить в сторону мелкие подробности и незначительные малонаселенные пункты, то путь этот выглядел так: Мадрид, Париж, Женева, Антверпен, Варшава, Москва, Белгород (под Белгородом Ершова сняли с поезда), снова Москва — Лефортовская тюрьма, потом Ярославская пересылка, Магадан, Тайшет, Караганда, опять Москва, где в прокуратуре ему выдали справку о реабилитации «ввиду отсутствия состава преступления», и, наконец, Одесса.

Многочисленная родня, главным образом не Ершова, а покойной его жены Рашели, которую он любил без памяти — но она умерла в конце сороковых годов, так и не дождавшись его, — встретила бывшего героя гражданской войны в Испании без



особого ликования. Реабилитированные в ту пору возвращались тысячами — а многих из них давно уже позабыли, давно уже вычеркнули из списка живых, давно уже от них отреклись, — что уж тут ликовать?! Тем более что, как выразилась, стоя в очереди за колбасой, старая одесситка, «с нашим правительством не соскучишься!». Глядишь, опять начнут сажать, опять мести под метелку, вот и припомнят тогда тех, кто устраивал для вернувшихся «оттуда» праздничное застолье.

Несколько месяцев Ершов проболтался по чужим и негостеприимным углам, потом горисполком дал ему маленькую однокомнатную квартиру в новом районе одесских Черемушек.

...Подобные районы есть почти в каждом большом городе Советского Союза — унылые одинаковые дома, с одинаковыми крышами, окнами и подъездами, одинаковыми лозунгами, которые вывешивают в праздничные дни, и одинаковыми матерными словами, нацарапанными карандашами и гвоздями на стенах. И стоят эти одинаковые дома на одинаковых улицах с одинаковыми названиями — Коммунистическая, Профсоюзная, улица Мира, проспект Космонавтов, проспект или площадь Ленина.

...Легко вообразить себе такую водевильную, но при этом вполне правдоподобную историю — беспробудно пьяный командировочный вылетает из Москвы домой, но по ошибке его сажают не в тот самолет. Самолет, естественно, прилетает в какой-то совсем другой город, но бывший командировочный, все еще не успев протрезветь, садится в такси, произносит заплетающимся языком свой адрес. И шофер привозит его на Профсоюзную улицу к дому номер 116, и командировочный, цепляясь за перила, поднимается на свой четвертый этаж, отпирает дверь своей, как он предполагает, квартиры, вешает пальто на вешалку, швыряет в угол чемодан и заваливается спать. А на рассвете с ночной смены приходит женщина, у которой муж по случайному совпадению (чего не бывает в водевилях и в советской действительности!) тоже находится в командировке. Увидев, что муж вернулся, женщина ложится спать, а командировочный, проснувшись утром, тихонько, чтобы не будить жену, отправляется на работу, решив, что позавтракает он по дороге на улице Космонавтов, в кафе «Молодежное». И конечно же на обязательной улице Космонавтов имеется обязательное кафе «Молодежное», а подают в этом кафе обязательный завтрак — еле теплую черную бурду, которая называется «кофе», и очень горячие сосиски в целлофановой обертке, — для того чтобы эту сосиску съесть, надо, обжигая пальцы и произнося шепотом и вслух всякие нехорошие слова, попытаться содрать с нее целлофан.

О господи!..

Впрочем, я обещал, что не буду до поры отвлекаться. Прошу прощения!

...После того как Ершову дали квартиру, его вызвали в городской комитет КПСС, дружески, как говорится, поприветствовали, назначили агитатором (не объяснив, правда, за что он должен агитировать) и ввели в совет пенсионеров.

Осатанелые и злобные старики и старухи — из тех, что как раз не могли и не хотели ничему научиться, — занимались главным образом тем, что устраивали допросы гражданкам и гражданам, которые по недомыслию решили ехать в туристическую поездку. И не в какую-нибудь, скажем, родную социалистическую Болгарию, а в так называемую капстрану.

Допрашиваемые гражданки, как правило, судорожно мяли в руке платочек, допрашиваемые граждане просили разрешения закурить. Но курить старики не разрешали. Они заранее рассматривали допрашиваемых как возможных изменников Родины и вопросы задавали самые ехидные и каверзные. Например, разрешена ли в той стране, в которую собрался ехать допрашиваемый, коммунистическая партия, и если разрешена, то какова ее численность и кто является ее Генеральным секретарем. Или — в каком году состоялся Одиннадцатый съезд партии и кто на этом съезде делал отчетный доклад.

Ершов обычно сидел в сторонке, помалкивал, вопросов не задавал, а только про себя дивился — почему советский человек, если ему захотелось увидеть Эйфелеву башню, должен для этого непременно знать, в каком году состоялся Одиннадцатый партийный съезд?

От тоски, от раздражения, от одиночества начал Ершов пить.

Пил он нехорошо, зло. Вечером, уже постелив постель и раздевшись, он ставил на ночной столик бутылку водки, наливал себе полный стакан, включал зачем-то радиоприемник и под громыхание джаза сам с собой разговаривал вслух. Называлось это у него «час беседы с умным человеком».

Так бы он, скорее всего, и спился, если бы однажды не пригласил его к себе первый секретарь горкома партии Кандыба и не сказал бы хмуро, не глядя на Ершова и постукивая по столу огромными пальцами огромной, как лопата, ладони:

— Неприятности у нас, Николай Петрович! Этот... ну, Дронов, начальник двенадцатого отделения милиции, на взятках попался. Брал, сукин сын, с кого ни попадя! У него в районе артель есть «Инвалиды умственного труда» — клеют, очкарики несчастные, папки для скоросшивателей, — так он и с них драл!

— Судить будут? — спросил Ершов.

— Судить не будем,— медленно проговорил Кандыба,— шуму много поднимется. Пошлем в район, куда-нибудь подальше, чтоб с глаз долой!..— Он посмотрел на Ершова и вдруг почти искательно улыбнулся: — А у нас к вам просьба, Николай Петрович! Мы тут с товарищами посоветовались — и из МВД, и еще кое с кем... Поработайте в двенадцатом отделении — временно, так сказать, исполняющим обязанности, а?

Какой-то остроумец заметил, что самые вечные здания — это временные бараки. Чуть переиначив его слова, можно сказать, что нет должности более постоянной, чем должность «временно исполняющего обязанности».

Вот уже три года без малого тянул Ершов ляжку начальника отделения милиции. Изредка он звонил Кандыбе, напоминал о себе и всегда выслушивал один и тот же торопливый ответ:

— Подожди, Ершов, подожди!

Обо всем этом, и особенно о прошлом Николая Петровича Ершова, знали немногие. И уже вовсе ничего, разумеется, не знал Таратута. Он видел перед собой пожилого человека — полноватого, лысоватого, с курносым носом картошкой, в нескладно сидящей форме. Колобком перекатываясь из угла в угол по своему кабинету, Ершов всплескивал короткими ручками, сердито фыркал:

— Это надо же!.. Демонстрацию устраивают!.. Свободу Лапидусу! Нашли себе героя — жулика!..

— Лапидус не жулик,— вяло возразил Таратута,— он благородный человек! Он сам за свой счет покупал сахар и...

Ершов быстро и весело, как китайский болванчик, закивал круглой головой:

— Вот, вот, вот! Покупал за свой счет сахар и добавлял его в этот кисельный порошок. Причем добавлял в соотношении пятьдесят на пятьдесят... А теперь подсчитайте! — Он остановился и стал считать, загибая толстые пальцы: — Полкило порошка стоит восемьдесят копеек! Так?! Полкило сахара — а сахар Лапидус покупал не по розничной цене, а все на той же оптовой базе — двадцать пять копеек! Так?! Разница — пятьдесят пять копеек. Вычтем двадцать пять, истраченные Лапидусом, и получим прибыль на каждый килограмм... Сколько? Ну-ка, прикиньте, если не забыли арифметику...

Таратута поглядел на Ершова и даже присвистнул от удивления:

— Тридцать копеек!

Ершов засмеялся:

— Точно. Тридцать копеек. С каждого килограмма.

Он снова засмеялся, потер ладонью голову, словно приглаживая волосы, которых не было и в помине.

— Благородный человек! Конечно, надо отдать ему справедливость — до такой комбинации додумается не каждый, но... — Он вдруг остановился перед Таратутой, протянул руку: — Паспорт.

Таратута, пожав плечами, вытащил из бокового кармана клетчатого пиджака паспорт в картонной обложке, подал его Ершову.

— «Фамилия — Таратута, — вслух прочел Ершов, — имя — Семен, отчество — Янович, год рождения — одна тысяча девятьсот тридцать шестой... Место рождения — Варшава...» — Он сдвинул брови: — Варшава? А почему — Варшава?

— А почему — нет?! — нахально возразил Таратута. — Или человек уже не имеет права родиться в Варшаве?!

— Имеет, имеет право! — пробормотал Ершов, слегка зажмурив глаза и услышав внезапно негромкую музыку и нежный хриловатый женский голос, поющий «Вшистка мни едно», и в лицо ему ударил запах кофе, настоящего кофе, который подавали в той знаменитой «каварне» на Маршалковской... Черт, он уже и не вспомнит теперь, как она называлась!.. Он встряхнул головой и снова уткнулся в паспорт: — Национальность — прочерк. — Он поглядел на Таратуту: — А это что значит?

— А это значит, что я не знаю своей национальности! — сказал Таратута. — Были Таратуты евреи, были Таратуты поляки...

— Понятно! — сказал Ершов, уже начиная обо всем догадываться. — В каком году вы приехали в Советский Союз?

— В тридцать восьмом.

— Где жили?

— Сначала в Москве. С родителями. А потом в Свердловске. Там я уже был один. В детском доме.

— Кто-нибудь из родителей жив?

— Нет.

— Понятно! — повторил Ершов.

Теперь ему и вправду все было понятно. И опять, прищурив глаза, он даже попытался выкопать в памяти, а не встречался ли ему среди тех тысяч и тысяч, чьи горемычные жизни на какое-то время пересекались с его собственной жизнью — на пересылках, на этапах, в лагерях, — не встречался ли ему польский коммунист по фамилии Таратута?! Впрочем, поди вспомни! Сколько их было — особенно жалких из-за плохого знания языка, особенно растерянных из-за полного непонимания, что это происходит, с лихорадочно блестящими глазами доходят!

Ершов внимательно поглядел на Таратуту.

Кого-то он ему напоминал, этот тип — в своих больших роговых очках, с рыжеватой курчавой головой, — кого-то он мучительно напоминал.

— А в Одессе вы давно?

— Девять лет.

— Где работаете?

— В Морском техникуме. Преподаю французский язык. Факкультативно, два раза в неделю. И еще работаю тренером шахматной команды школьников во Дворце пионеров.

— Ишь ты! — усмехнулся Ершов. — А в милицию вас когда в последний раз приводили?

— Двадцать пятого августа, товарищ начальник, в двенадцать часов дня! — браво отрапортовал старшина Сачков.

Он стоял, как каланча, одна рука по швам, а другой он придерживал ручку двери на тот случай, если задержанный задумает совершить побег.

— За что? — спросил Ершов.

— А он, товарищ начальник, на пляже в Аркадии подписи собирал... под письмом в горсовет, чтоб разрешили купаться голыми.

— А-а-а... — насмешливо протянул Ершов. — Слышал! Это теперь, старшина, такая мода. Сперва голые люди жили на деревьях, потом — голые — спустились на землю, потом начали шкуры на себя натягивать... А теперь все назад — походят голые по земле, а там, глядишь, и на деревья залезут...

Он резко, всем телом повернулся к Таратуте:

— Ну, а вам-то все это зачем?

Таратута вздохнул:

— Скучно.

«А мне, думаете, не скучно?!» — хотел было сказать Ершов, но удержался и только коротко посоветовал:

— Купите телевизор! Где вы живете?

— В гостинице «Дружба».

Лохматые брови Ершова удивленно полезли наверх:

— Как так?

— А очень просто, — сказал Таратута, покачивая ногой. — Я жил на Александровской, в доме-башне. Когда полгода назад дом этот рухнул, то уцелевших жильцов горсовет, до предоставления им постоянной жилплощади, расселил по разным гостиницам... Мне досталась гостиница «Дружба».

— Та-а-а-к! — протянул Ершов.

Он сел наконец за свой стол, откинулся в неудобном скрипучем канцелярском кресле, помолчал, поглядел на Таратуту, вздохнул:

— И все-таки, хоть убейте, не понимаю я вас... Французский язык, шахматы, и вдруг — Лapidус! На кой он вам сдался? Кто он вам? Дядя?! Тетя?! Что за дурацкий повод для самоутверждения?! Ну, например, эти — как их называют — «инакомыслящие»... Я их, конечно, не одобряю, но у них есть хоть какие-то идеи, а у вас?

— А у меня тоже есть идеи! — с вызовом сказал Таратута.

— Нет у вас никаких идей!

— Нет, есть! В конце концов, могу я иметь свою точку зрения?

— Можете! — сказал Ершов и вдруг рассердился. — Вы можете иметь свою точку зрения, пожалуйста. А я могу вас за эту точку зрения посадить на пятнадцать суток! — Он слегка повысил голос. — И сдается мне, гражданин Таратута, что на сей раз я этой возможностью воспользуюсь!

Наступило молчание.

У старшины Сачкова от довольной усмешки растянуло рот до ушей.

Таратута, глядя в пол, негромко сказал:

— А я болен.

— Чем?

— Печень. Холецистит.

— Ладно! — подумав, сказал Ершов. — Завтра к часу дня придете в двадцать вторую поликлинику. На Пушкинской улице. Скажите в регистратуре, что это я вас прислал. Вас там обследуют, сделают все анализы, и если вы окажетесь здоровы... — Ершов не договорил, но по его тону нетрудно было догадаться, что если Таратута окажется здоровым, то никакой радости ему это не принесет.

— Хорошо. — Таратута встал, спросил: — Я свободен?

— Пока — да, — зловеще сказал Ершов.

Таратута неловко, боком, поклонился и уже в дверях, которые перед ним с неохотой открыл старшина Сачков, обернулся, поглядел на Ершова:

— А как вы думаете, сколько дадут Лapidусу?

— Не знаю, — сухо сказал Ершов.

Таратута снова поклонился:

— До свиданья.

— До свиданья, — сказал Ершов.

Когда Таратута ушел, Ершов хмыкнул, потрогал зачем-то толстым коротким пальцем нос, покачал головой:

— Ну и тип! На кого-то он похож, а вот...

— Зря вы его отпустили, товарищ начальник! — с нескрываемой обидой в голосе проговорил старшина Сачков. — Ни-

какой у него печени нет, врет он все! По нему пятнадцать суток давным-давно плачут! Почистил бы, милый друг, сортиры — живо бы позабыл...

Из-за полуоткрытой двери тоненький голосок секретарши прощелбетал:

— Николай Петрович, снимите трубочку, из горисполкома!..

Ершов, поморщившись, придвинул к себе телефонный аппарат, снял трубку:

— Да?!

Густой бас на другом конце провода внушительно проговорил:

— Николай Петрович, привет! Сведения оказались верными... ну, насчет французов! Нам сейчас из Москвы звонили. Они у нас будут десятого числа. В твоём распоряжении, стало быть, остается неделя. Ты как думаешь — сумеешь управиться?

— Постараюсь! — хмуро сказал Ершов и, помолчав, на всякий случай спросил: — Все?

— Все,— сказал бас.— Привет!

Ершов шмякнул на рычаг трубку, как-то брезгливо, локтем, отпихнул в сторону телефон, поглядел на старшину Сачкова, вздохнул:

— Не было печали!

— Случилось что, товарищ начальник? — вежливо поинтересовался Сачков.

— Мэры французских городов к нам едут, будь они трижды неладны! — сказал Ершов и стукнул кулаком по столу.— Приезжают в Одессу десятого. Горисполком предлагает срочно, за одну неделю, почистить район от всяких не внушающих доверия граждан... — Он усмехнулся: — В старину, при царе-батюшке, это называлось проще и определеннее — от студентов, жидов и прочих интеллигентов...

Старшина Скачков, голубиная душа, задумчиво и серьезно проговорил:

— А вот как раз евреев, товарищ начальник, у нас в районе еще о-го-го!

Ершов коротко фыркнул, махнул рукой:

— Ладно, старшина, идите! Скажите там Вале, пусть напечатает объявление — завтра в девять утра совещание всех сотрудников!

— Слушаю-с, товарищ начальник!

Оставшись один, Ершов снова тяжело вздохнул, оттопырил губы, зажмурил глаза, потом резко раскрыл их, словно он надеялся увидеть не этот опостылевший ему и тоже как бы временный кабинет — с неизменным нескораемым шкафом, в котором

не лежало ничего, кроме нескольких экземпляров самиздатовской статьи академика Сахарова «О прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», изъятой у не внушающих доверия граждан; с неизменным же, в углу, пыльным переходящим знаменем, полученным еще предшественником Ершова, взяточником Дроновым, за какие-то неведомые заслуги, и с двумя вовсе неизменными Ильичами — гипсовым бюстом вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина на специальной подставке и поясным портретом вождя мирового пролетариата Леонида Ильича Брежнева в золоченой раме на стене.

Ершов тяжело поднялся, походил, разминая затекшие плечи и руки, по кабинету, остановился, подмигнул вождю мирового пролетариата Леониду Ильичу Брежневу, насмешливо скривил губы:

— Привет! Ну, как дела? Как доктрина? Искал небось потихоньку это слово в энциклопедии — думал, верно, что болезнь какая-то?

И едва только Ершов произнес все это мысленно, как началась чертовщина. Вернее, не чертовщина, а известный медицине феномен под названием «раздвоение личности». Как правило, раздвоение это у Ершова происходило по ночам, после двух-трех глотков водки, и начиналось обычно с того, что Ершов — приставала и язва — принимался донимать Ершова железобетонного всевозможными и притом весьма неприятными вопросами и вопросиками. Но сегодня чертовщина эта произошла на трезвую голову, среди бела дня, в служебном кабинете.

Первым, как всегда, заговорил приставала и язва:

— Что-то больно ты развоевался, товарищ Ершов! Ты на себя погляди! Швырнул ты им в харю свой партийный билет?! Нет, золотко, не швырнул! Когда тебе в милиции предложили работать — послал ты их к едрене-фене?! Нет, душа моя, не послал!..

— Так это же работа временная! — неуклюже возразил Ершов железобетонный, и Ершов — приставала и язва даже засмеялся от удовольствия:

— В лагере ты тоже сидел временно!..

Ершов железобетонный, подумав, сказал:

— Знаешь, уж лучше я буду находиться на этом месте, чем какое-нибудь жулье вроде Дронова!..

И опять засмеялся приставала и язва, закашлялся от смеха, замахал руками:

— Знаю, знаю, слышал! Тысячу раз слышал! Именно эти самые слова произносили все начальники от мала до велика, от прокурора, который требовал для тебя «вышки», до лагерного



ката, который бил тебя железной палкой по ногам... И все они потом, после, выдавали себя чуть ли не за спасителей человечества: уж лучше я, чем другой! А почему — лучше? Чем ты лучше? Вот позвонили тебе из горисполкома, и ты, будьте любезны, назначаешь на завтра совещание всех сотрудников!..

— Так надо,— веско сказал железобетонный Ершов.

Приставала, мгновение помолчав, совсем тихонько спросил:

— А то, что ты сейчас обдумываешь,— это как? Это, по моему, не подлость?

— Нет,— неожиданно твердо сказал железобетонный Ершов.— Это не подлость! Это для него, для дурака несчастного, может быть, единственный выход... Я таких, как он, навидался: походит-походит, поскучает-поскучает, а потом раз — и на колючую проволоку! — И когда приставала хотел спросить что-то еще, Ершов железобетонный прикрикнул на него: — И замолчи! И хватит! И точка!..

И на этом феномен раздвоения личности кончился так же внезапно, как и начался. Николай Петрович Ершов, временно исполняющий обязанности начальника двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города-героя Одессы, приоткрыл дверь своего служебного кабинета и решительно сказал секретарше:

— Валюша, будь добра, соедини меня с полковником Захарченко из ОВИРа! Позвони по прямому!

Секретарша, очень серьезная девица с золотистыми кудряшками, набрала номер, подождала ответа, пропела:

— Николай Петрович, Захарченко!

Ершов резко и плотно закрыл дверь, подошел к столу, снял трубку:

— Здравствуйте, товарищ Захарченко! Это Ершов, из двенадцатого отделения... Товарищ Захарченко, мне, понимаете, надо бы с вами обсудить одно очень деликатное и очень-очень срочное дело! Если разрешите, я к вам приеду сейчас!..

### 3

Таратуте было скучно.

Он сидел уныло и одиноко на скамейке на Приморском бульваре. В одной руке он держал зажженную сигарету, в другой — яблоко и попеременно то отравлял организм никотином, то насыщал его витаминами.

Несмотря на сносную погоду, народу на бульваре было немного, да и то почти все одесситы.

Отгремело, кончилось летнее сумасшествие, когда в Одессу —

к солнцу, к веселому морю, к дешевым овощам и фруктам — съезжаются несметными ордами москвичи и ленинградцы, жители Сибири, Урала и Средней Азии; когда позавтракать в кафе можно, только простояв часа три в распаленной очереди; когда мечтать о номере в гостинице смеют лишь самые удачливые, а прочие люди средних способностей селятся где попало — снимают углы, чуланы, балконы.

А коренные жители, ошалев от этого золотого дождя, ухитряются пустить в дело, приспособить для ночлега и жилья крылечки, лодки и даже гамаки во дворе или в саду.

Это безумие, этот громоподобный прилив, пробиваясь в конце апреля, достигает своего зенита в июле и в августе. Но уже в первых числах сентября начинается стремительный отлив — уезжают родители с детьми школьного возраста, уезжают студенты и преподаватели — уезжают на машинах, улетают на самолетах, берут с боем отходящие поезда.

И Одесса пустеет, опоминается, приходит в себя, подсчитывает доходы — до следующего лета, до нового золотого дождя.

Впрочем, старые одесситы утверждают, что в те кошмарные времена, когда помещики и капиталисты только и знали, что грабили народ и выколачивали из него прибавочную стоимость, именно октябрь месяц считался в Одессе лучшим временем года и назывался «бархатным сезоном».

Именно в октябре месяце с раннего утра и до позднего вечера в ротонде на Приморском бульваре духовой оркестр городской пожарной дружины под управлением маэстро Каца наяривал марши, вальсы и польки, и нарядные дамы, покачивая ажурными зонтиками, прогуливались по дорожкам бульвара в сопровождении усатых кавалеров в котелках и в штиблетах; именно в октябре отчаянно рыжий авиатор Уточкин при несметном скоплении зрителей совершал над одесским ипподромом свои показательные полеты, по вечерам кавалькады карет тянулись в Аркадию, на пляжи, где дамы и господа купались при лунном свете, а потом спешили назад, в город — в игорные дома, в гостиницы, в рестораны.

Знаменитая Иза Кремер со сцены летнего театра «Тиволи» пела негромко и лукаво:

...Я служила в магазине продавщицей,  
Продавщицей тубероз и орхидей.  
Вот однажды к нам заходит бледнолицый,  
В золотом пенсне хорошенький еврей...

А в ресторане Фанкони любимец Одессы, куплетист Яша Зингерталя — в соломенном канотье, с тросточкой, — потешал уважаемую публику скабресными куплетами:

Поймал — держи  
И не тужи!..

А еще был цирк Чинизелли. И чемпионаты французской борьбы. И гонки под парусами. И скачки. И загородные пикники.

Но Великая Октябрьская социалистическая революция поставила все, как говорится, на свои места — лето есть лето, осень — осень.

— На то она и великая! — вслух сказал Таратута, встал и бросил в мусорную урну недоеденное яблоко и недокуренную сигарету.

...Он не помнил своих родителей. Когда арестовали сначала отца, а потом, два дня спустя, мать, маленького Семена взяли друга семья, немецкие коммунисты, которых Таратута, разумеется, тоже не помнил и даже не знал, как их звали.

В первые же дни войны немецких коммунистов за «шпионаж в пользу гитлеровской Германии» отправили в лагерь, а Таратуту — в Свердловск, в детский дом.

Там он и прожил всю войну, среди других — таких же, как он, молчаливых, напуганных, немилосердно коверкавших русский язык — малышей. Но их кое-как кормили, купали, водили на прогулки, их учили — и они постепенно, делаясь спокойней и мягче, забывали свою родную речь, и Иштван становился Ваней, Кнут — Колей, Марыся — Машей.

Вообще-то им здорово повезло! Будь они постарше, они попали бы не в этот детский дом под Свердловском, а в лагерь под Карагандой, который назывался просто и хорошо: исправительно-трудовой лагерь для детей врагов народа. Потому-то заведующая детским домом, ленинградка Валентина Яковлевна, представляя своих воспитанников какой-нибудь внезапно нагрянувшей комиссии, неизменно сокращала им по году, а то и по два и время от времени, по ночам, собственноручно переправляла даты рождения в ученических удостоверениях.

Иногда, в праздники — в день Первого мая, под Новый год, — в детский дом приходили так называемые «гости» — чаще всего одинокие женщины или странно напряженные пожилые супружеские пары. «Бригада обслуживания», которую возглавлял Таратута, встречала «гостей» внизу, в гардеробе, помогала им раздеться, провожала наверх, в физкультурный зал, где «гости» садились на длинные и низкие деревянные скамейки, а «бригада обслуживания» угощала их жидким, чуть теплым чаем с сахарином.

Потом начиналась «художественная часть».

Выходил горбатенький воспитатель Никольский и, поклонив-

шись «гостям», исполнял на аккордеоне марш из кинофильма «Цирк». Следом за Никольским выступал хор — пел «Катюшу» и «Полюшко-поле».

Затем девочки танцевали «танец стрекоз», мальчики — гопака, и под конец все вместе — удалую и осточертевшую «Калинку-малинку».

Но по тому, как важно и негромко аплодировали «гости», по тому, как все так же напряженно сидели они и неловко держали в руках, в задубевших от работы и холода пальцах, граненые стаканы с жидким чаем, было ясно, что не ради марша из кинофильма «Цирк» пришли они сюда, не ради «Катюш» или «танца стрекоз», что они ждут, чтобы началось что-то главное, — и тогда на середину зала выходила с красными пятнами на щеках Валентина Яковлевна и говорила громко, взволнованно, как-то странно ставя ударения на каждом слове:

— Дорогие товарищи! Мы очень благодарны, что вы к нам пришли. Если у кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы, то не будем мешать детям, пойдемте в учительскую и там поговорим!

И случилось так, что на следующее утро кое-кто из вчерашних «гостей» приходил снова. Но только теперь они не поднимались наверх, в физкультурный зал, а оставались внизу, в гардеробе, и к ним туда, вниз, Валентина Яковлевна торопливо приводила насупленного Колю или заплаканную Машу в кургузом пальтишке, с жалким узелком в руках, — и происходил нарочито короткий обмен словами благодарности и прощания, и «гости», вместе с Колей или Машей, уходили, уходили навсегда, — еще не было случая, чтобы кто-нибудь из детей вернулся назад.

Однажды вечером Валентина Яковлевна вызвала к себе Таратугу. Накануне в детском доме были «гости», а на следующий день — второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года — с самого утра гремели по радио победные марши и торжественные залпы салютов.

И, переждав, пока отгромыхает очередной салют, Валентина Яковлевна сказала:

— Вот что, Семен, тебя приглашают жить с ними Викторовы. Ты, может быть, обратил на них вчера внимание? Мать и дочь. Они такие... — Валентина Яковлевна замаялась, подыскивая слово, — ну, тонкие, что ли... Они москвички и собираются на днях возвращаться домой. Они тут были в эвакуации... У них в Москве очень хорошая квартира, на Чистых прудах... Правда, они не знают, что с нею, с этой квартирой, уцелела ли она, но они надеются... Мать зовут Аглая Николаевна, она преподает французский язык. А дочку зовут Адель. Ей пять лет. Это ей ты очень понравился, и она сказала, что хочет, чтобы ты был ее

старшим братом! Что ты, Семен, по этому поводу думаешь?

— Можно,— сказал Таратута, неподвижно глядя куда-то в одну точку перед собой. И, подумав, добавил: — Только я Викторовым не буду. Я — Таратута.

В жаркий июньский день Аглая Николаевна, Адель и Семен приехали в Москву. В Москве, на Чистых прудах, их ждала радость, похожая на чудо. Квартира Викторовых — на втором этаже стоявшего во дворе флигеля — не только уцелела, но как закрыла ее Аглая Николаевна, уезжая с Аделью в эвакуацию, так она и простояла всю войну — нетронутая, невзломанная, живая и невредимая.

— Чудо, чудо, чудо! — пела Аглая Николаевна, бесшумно и стремительно перебегая из комнаты в комнату — а комнат было целых три,— открывая окна, сдирая со стекол наклеенные крест-накрест — на случай воздушного нападения — полоски бумаги, поднимая со звоном тяжелые крышки обитых медью старинных сундуков, распахивая дверцы шкафов.

— Чудо, чудо, чудо! — тоненько вторила матери Адель, заводя ключом большие, стоявшие на полу часы и весело поглядывая на Таратуту.

— Чудо, чудо, чудо! — поддавшись настроению этого общего торжества, пел и Семен — и как зачарованный смотрел на шахматный столик, украшенный перламутровой инкрустацией, с расставленными на нем фигурками из пожелтевшей кости.

Шахматы Таратута видел и раньше. Горбатенький воспитатель Никольский, за неимением партнеров, играл иногда по вечерам сам с собой, разбирая этюды и задачи, и, обратив внимание на интерес Таратуты, показал ему, как ходят фигуры. Но доска, на которой играл Никольский, была обыкновенной замызганной картонкой, расчерченной от руки на шестьдесят четыре клетки, и фигуры — деревяшки с облупленной краской, и пуговица от кальсон заменяла белую пешку, а пустой спичечный коробок — черную ладью.

А тут король и королева были действительно королем и королевой; и кони, вставшие на дыбы, рвались в атаку, в бой; и тяжелые ладьи, с распущенными парусами, готовы были нанести противнику беспощадный и сокрушительный удар; и пешки-пехотинцы скромно до поры стояли, выстроившись в ряд, в ожидании, пока их пошлют в разведку или бросят в самую гущу сражения.

— Ты играешь в шахматы? — спросила Аглая Николаевна.

— Нет,— честно признался Таратута.— Как ходить — знаю.

— Учись! — негромко сказала, почти попросила Аглая Ни-

колаевна.— Андрей Александрович — мой покойный муж — очень увлекался шахматами. А я любила смотреть, как он играет. Я ложилась на диван — с книжкой — и тихонько смотрела, как он думает, переставляет фигуры, радуется и огорчается... Постарайся научиться играть. И постарайся научиться играть хорошо!

Уже через год Таратута на всемосковском турнире школьников получил второй разряд. Учился он в школе № 41 Бауманского отдела народного образования, у Покровских ворот, в Колпачном переулке. Потом в эту школу поступила и Адель. Дома мать и дочь говорили друг с другом, легко переходя с русского на французский, или, как смеялась Аглая Николаевна: «Говорим туда и обратно».

Со временем с помощью Адели научился и Таратута говорить «туда и обратно».

И в зимние вечера, если Аглая Николаевна не была слишком усталой, они устраивали коллективные чтения по-французски.

Чаще всего по очереди читали «Дневники» Ренана и хохотали до слез, когда Таратута патетически восклицал: «Граждане! Если мои сведения точны, то отечество в опасности!..»

Адель, подрастая, хорошела до невозможности, вытягивалась, становилась беспокойнее, нервнее. К увлечениям ее, всегда бурным и коротким, относились в доме почему-то без всякого интереса, а над романами Таратуты, тоже бурными и короткими, посмеивались. Впрочем, один из этих романов, с паспортисткой из районного отделения милиции, оставил в жизни и в паспорте Таратуты загадочный след — прочерк в графе «национальность». И за все годы, что прожили они вместе, ни мать, ни дочь ни единым словом, намеком, взглядом не дали Таратуте почувствовать, что он в этом доме все-таки посторонний.

Впрочем, сам он об этом не забывал никогда. По окончании школы он устроился работать в типографии, а в свободное время пропадал на Гоголевском бульваре, в шахматном клубе, где, сыграв в нескольких турнирах, довольно легко получил звание кандидата в мастера.

Потом был Двадцатый съезд КПСС, речь Хрущева, вынос «корифея всех наук» из Мавзолея, и Таратута уже не назывался больше «сыном врагов народа», а стал «сыном незаконно репрессированных по ложному доносу польских товарищей Сильвии и Яна Таратуты».

Не бросая работу в типографии, Таратута поступил в институт иностранных языков, на вечернее отделение.

В душный июльский вечер, через день после того, как Таратута сдал последний государственный экзамен, а Адель перешла на

третий курс полиграфического института, Аглая Николаевна умерла. Умерла она так же бесшумно и стремительно, как жила: прикорнула с книжкой в уголке дивана, уснула и не проснулась.

Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, в могиле мужа.

Адель и Таратута не устраивали поминок, они даже и не знали, как это делается. После похорон они просто вдвоем вернулись домой и долго, до самых сумерек, сидели друг против друга у открытого окна, молчали и курили. Может быть, им это казалось, но какая-то удивительная тишина стояла в тот вечер — и в доме, и во дворе, и даже на улице. Когда старинные часы, которые так тщательно каждый понедельник заводила Адель, пробили одиннадцать, Адель вздохнула и сказала:

— А я выхожу замуж.

— За кого? — тупо спросил Таратута, чувствуя, как у него что-то обрывается внутри и появляется противная тошнота в коленках.

— За одного человека! — сказала Адель, и глаза ее в темноте сверкнули неожиданно по-кошачьи. — Он иностранец. Нам обещали дать разрешение, мы поженимся, и я с ним уеду. А ты оставайся. Ты же здесь прописан.

— Я тоже уеду! — сухо сказал Таратута. — У нас еще не было комиссии по распределению, но мне уже сказали, что на меня есть заявка из Одессы.

— Ну, тогда квартиру придется сдать, — сказала Адель и, наклонившись, положила руку на руку Таратуте. — Тебе, наверное, хотелось бы что-нибудь иметь на память о маме? Возьми «Декабриста Лунина», хочешь?..

В давние двадцатые — тридцатые годы профессор истории Андрей Александрович Викторов начал собирать коллекцию миниатюр. Коллекция была небольшая, но собиралась с большим пониманием и любовью, подделок или дешевки Андрей Александрович не брал, и когда Аглая Николаевна уезжала с Аделью в эвакуацию, единственное, что взяли они из дому, — это коллекцию миниатюр. И ее же первым делом вновь развесили они на стене в первый день, в первый час по возвращении в Москву. Когда покупка нового зимнего пальто, или болезнь, или поездка в Крым наносили непоправимый урон семейному бюджету, в доме Викторовых неизменно появлялся худой длинноносый старик, с одышкой, с шаркающей походкой, с очень внимательными беспощадными глазами.

Адель и Семен ненавидели его до глубины души.

— Ну-с! — говорил длинноносый, вытаскивая из бокового кармана большую лупу в черепаховой оправе, и принимался

тщательно изучать миниатюры, хотя и до этого видел их уже не один раз.

Аглая Николаевна — наверное, специально для Адели и Семена — делала вид, что расстается с экземплярами коллекции без жалости, легко, и только в том случае, если длинноносый тыкал желтым пальцем с обкусанным ногтем в миниатюру, на которой был изображен молодой человек с высоким крутым лбом под спутанными волосами, с открытым лицом, в белой рубашке с отложным воротником а-ля Байрон, Аглая Николаевна говорила коротко и решительно:

— Нет! «Декабрист Лунин» не продается!

Никаких доказательств, что молодой человек на миниатюре был действительно декабристом Луниным, Аглая Николаевна не приводила, очень сердилась, когда кто-нибудь пытался с нею по этому поводу спорить, и требовала в таких случаях доказательства от обратного:

— А докажите, что это не декабрист Лунин!..

Несколько раз, уже из Одессы, Таратута писал Адели по адресу, который она оставила ему на прощание. Но письма возвращались обратно, с пометкой «Адресат выбыл»...

Обогнув памятник герцогу Ришелье, вокруг которого, как всегда, толпились иностранные туристы — и худенький, изящный герцог стоял, как Зевс-громовержец, озаряемый вспышками блицев, — Таратута пошел по Пушкинской улице вниз, к вокзалу.

Ему смертельно не хотелось возвращаться в опостылевшую гостиницу, в безликий, пахнувший хлоркой, опостылевший гостиничный номер, и он, перебрав в уме всех своих немногочисленных одесских знакомых, решил навестить Алешу Тучкова.

Во-первых, Алеша был хром, передвигался при помощи двух костылей и почти наверняка сидел дома, а во-вторых, с Алешей можно было ни о чем не говорить, а просто сгонять несколько партий в шахматы.

Проходя мимо подъезда двадцать второй поликлиники, в которую ему завтра к часу дня предстояло явиться, Таратута усмехнулся. Ему неожиданно вспомнились слова этого толстенького, неуклюжего майора: «А зачем вам все это нужно?..»

Таратута и сам не знал, зачем ему все это было нужно.

Жизнь его в Одессе складывалась поначалу обыкновенно и благополучно, такая нормальная жизнь советского учителя — с уроками, профсоюзными собраниями, вечерами отдыха, с кружками по изучению марксизма-ленинизма и техники подводного плавания, с мелкими несерьезными склоками по мелким и несерьезным поводам.

И даже романы — с преподавательницей физкультуры и с



актриской из театра оперетты — были тоже мелкими и несерьезными и не принесли Таратуте ни огорчений, ни радости. Неприятности у Таратуты начались после шестидневной израильской войны тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

Война эта как бы разделила друзей и знакомых Таратуты на два лагеря: на тех, кто скрепя сердце придерживался лжи официальной пропаганды — и для Таратуты эти друзья и знакомые перестали существовать навсегда, — и на тех, в ком эта война вызвала прилив «израильского патриотизма», ликования, обильных пиршеств, за которыми последовали личные и коллективные заявления в ОВИР (Отдел виз и регистраций) с требованием разрешения выехать на свою «историческую родину».

Поддавшись общему настроению — и особенно уговорам Беллы и Лени Капланов, художников Одесской киностудии, — подал заявление на выезд и Таратута.

Месяца через три ему в разрешении выехать было отказано, и, несмотря на страстные уговоры Капланов «продолжать борьбу», Таратута махнул рукой и постарался обо всем этом позабыть.

Но не забыли, конечно, об этом где-то там, где-то в тех таинственных кабинетах, на дверях которых висят таблички с надписью «Посторонним вход воспрещен», где в суровых шкафах и сейфах хранятся личные дела всех, от мала до велика, граждан страны победившего социализма. И в папках этих, помимо сведений общего, анкетного порядка, имеются еще особые галочки, закорючки, значки, означающие нечто такое, что вспомнится, что должно непременно вспомниться тогда, когда наступит надлежащая минута.

Таратута как-то не очень обратил внимание на то, что из руководителя курса он стал разовым преподавателем, что вместо двенадцати часов занятий в неделю ему оставили всего четыре, с соответствующим понижением жалованья, а во Дворце пионеров вел он теперь не группу разрядников, а возился с малышами-начинающими.

Несколько его знакомых, в том числе и Капланы, после всевозможных мытарств все-таки добились разрешения уехать в Израиль — и потянулись, как деревенские свадьбы, вечерaproводы, на которых пили, плакали, произносили невнятные тосты, клялись не забывать друг друга, и под конец кто-нибудь, из числа провожающих, непременно произносил на плохом иврите фразу, которая звучала загадочно, обещающе и прекрасно: — В будущем году в Иерусалиме!

Из Иерусалима Капланы прислали Таратуте открытку с изображением Стены плача.

В открытке Леня сообщал, что у них, слава Богу, все хорошо, но он надеется, что будет лучше.

Таратута пересек привокзальную площадь и пошел прямо по мостовой, мимо палаток колхозного рынка, который упрямые одесситы называли по старинке Привозом.

Уже начинались сумерки, палатки были закрыты, торговые ряды пусты, и только у запертых деревянных ворот стоял корявый дед-мухомор и держал на вытянутом черном пальце соломennую корзинку, в которой на самом дне лежало несколько копченых рыбешек.

— Эй, дед, почему акулы? — привычно спросил Таратута и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше.

Жил Алеша Тучков за линией железной дороги, в старом слободском районе, где кривые и запутанные переулки сходились и пересекали друг друга под самыми немыслимыми углами, где одноэтажные дома были обнесены прочными глухими заборами, а за ними, за этими заборами, гремели цепями и отчаянным лаем заходились по ночам сторожевые псы.

Таратута отчетливо помнил, что, пройдя палатку «Пиво — воды», следовало обогнуть огромную лужу, не просыхавшую даже в самую жаркую пору, а уже после лужи повернуть направо не то в первый, не то во второй переулок. На всякий случай Таратута свернул в первый и внезапно услышал за собой шаги.

Он оглянулся — два молодых человека, возникшие как бы из ниоткуда, из пыли, из сумерек, следовали на некотором отдалении за ним.

Они были чем-то странно друг на друга похожи, эти молодые люди, похожи, как два эстрадных танцора, как два безымянных гангстера из многосерийного гангстерского фильма, в черных и словно нарочито узких костюмах, в черных галстуках-бабочках и черных, надвинутых на самые брови шляпах. Они шли молча, не торопясь, и когда Таратута слегка ускорил шаги, они тоже пошли чуть быстрее, но по-прежнему молча, бесстрастно, неумолимо.

Таратута, уже не разбирая дороги, снова свернул в какой-то проулок. Где-то на железнодорожных путях протяжно и тоскливо проревел маневровый паровоз, а когда он умолк, Таратута снова услышал за собою шаги и, чувствуя постыдный липкий страх, рванулся бежать, но тут впереди от стоявшей у обочины черной «Волги» отделился какой-то человек и сказал напевно и негромко:

— А я вам говорю, что никому теперь нельзя верить! Можете себе представить: купил у Ваню Шенгелая швейцарские часы «Мозер»! Это фирма, я вас спрашиваю?!

Таратута, опешив, остановился. Человек, стоявший перед ним, был великаном с детским лицом, с детскими бровями кустиком над прозрачно-синими глазами, с великаньей детской ямочкой на великанье-детской щеке. Но больше всего поразило Таратуту, что одет был этот великан точно так же, как и те двое, что преследовали его, — в черный костюм, с черным галстуком-бабочкой на белой накрахмаленной рубашке.

— Так вот, эти самые знаменитые часы «Мозер» останавливаются по три раза в день! — Великан дружелюбно улыбнулся Таратуте: — Или вы мне скажете — который сейчас точно час?

Таратута вытащил руку из кармана, и в это мгновение сзади его чем-то быстро и сильно ударили по голове, и сначала ему показалось, что он слышит собственный крик, но это ему, разумеется, только показалось, потому что он упал, словно провалился в небытие, и ничего уже больше не чувствовал, не видел, не слышал.

< 4 >

Он очнулся, или, вернее, его разбудили громкие голоса, смех, громыханье посуды, брэнчанье гитары — где-то рядом, за стеной, по соседству, происходило пиршество, а сам Таратута лежал на узкой и неудобной кушетке в очень маленькой полутемной комнате, вся обстановка которой, собственно, и состояла из этой кушетки, нескольких стульев и письменного стола, заваленного бумагами.

Настольная лампа под зеленым абажуром была накрыта сверху вафельным полотенцем, и такое же вафельное полотенце — но только влажное — лежало на голове Таратуты, на том самом месте, что повыше виска, где пришелся удар.

Рубашка-«гавайка» была расстегнута на груди, польские мокасины стояли внизу под кушеткой, а демократически-клетчатый пиджак аккуратно висел на спинке стула.

Таратута чуть приподнялся на локте, удивляясь тому, что не чувствует боли — только какую-то странную успокоительную усталость.

За стеной повелительный женский голос, перебивая общий шум, крикнул:

— Умер-шмумер, кому это интересно?! Ша об абортах — Ваню будет петь!

Гитара зазвенела громче, а потом необыкновенно чистый и глубокий баритон, выговаривая старые русские слова с неожиданными грузинскими придыханиями и цоканьем, запел:

В том саду, где мы с вами встретились,  
Ваш любимый куст хризантем расцвел.

И в душе моей расцвела тогда  
Жажда нежная чистой любви...

На редкость слаженный, с тончайшими подголосками хор подхватил:

Отцвели уж давно  
Хризантемы в саду...

Потом, после короткой паузы, баритон одиноко закончил:

Но любовь все живет  
В моем сердце больном!

Повелительный женский голос всхлипнул:

— Ах, Ваню!..

Раздались аплодисменты и одобрительные возгласы.

Тихонько скрипнула дверь, и Таратута, дернувшись и на этот раз почувствовав боль, увидел, что в освещенном проеме двери стоит тот самый великан.

— Очнулись, Семен Янович? Вот и хорошо! Как чувствуете?

— Где я? — задал Таратута вполне естественный в его положении и вместе с тем звучащий почему-то пошло вопрос.

— Вы в ресторане Фанкони, Семен Янович, — ответил великан-младенец и опустил на стул, стоявший возле кушетки. — Теперь он называется ресторан «Волна». Вы лично лежите в кабинете администратора, он его нам любезно уступил, когда мы с вами сюда приехали... Я надеюсь, Семен Янович, я хочу надеяться от всей глубины сердца, что вы забудете это кошмарное недоразумение! Вы понимаете, есть в Одессе один человек... Нет, вообще-то их много, но в данном случае речь идет об одном, который имеет скверную привычку, чтобы не отдавать долги... Ну, и наш друг из Ташкента обратился к нам, чтобы сделать этому человеку небольшое внушение... Вы, я думаю, понимаете, Семен Янович, что я сам подобными делами не занимаюсь, на это у нас есть мальчишки — Валерик, Толик, другие... Но сегодня особенный день, мы все торопились сюда, к Фанкони, на юбилей месье Раевского, так мальчишки попросили, чтобы я их подвез...

— А кто вы такой? — строго спросил Таратута. — И почему вы знаете мое имя?

— Видите ли, Семен Янович, ошибки в жизни случаются с каждым! — сказал великан-младенец и деликатно кашлянул в кулак. — Нам было совершенно точно указано время и место, но когда вы подошли, так я сразу почувствовал, что здесь что-то не так... Но было поздно! Потом, уже в машине, мы, извините, посмотрели ваши документы, и я так расстроился, что едва не

поехал на красный свет... Человек играет в шахматы,— вы ведь не представляете, Семен Янович, какое я имею уважение к этой игре... У меня в мастерской висит портрет Фимы Геллера с его собственноручной подписью... Так вот — человек играет в шахматы, а его бьют по голове! Это же кому-нибудь рассказать, так не поверят!

— Чем, кстати, меня ударили? — все так же строго спросил Таратута и потрогал пальцем ушибленное место.

Великан весело улынулся — на щеке появилась детская ямочка — и пожал плечами:

— Об чем будем говорить?! Мешочек с песком, Семен Янович, всего ничего. Мальчикам же было поручено просто сделать, чтобы человек знал, что о нем помнят.

Великан встал, поправил галстук-бабочку, проговорил сдержанно и скромно:

— А теперь, Семен Янович, разрешите представиться — по паспорту я Валерий Исаевич Шиндель, очень приятно. Но вы же, хоть вы и не коренной одессит, вы же знаете Одессу. В Одессе не могут без кличек. Так вот, друзья и знакомые — и даже незнакомые, — они меня называют Валя-часовщик.

— Валя-часовщик?!

Таратута от удивления даже сел.

Валя-часовщик!

Валя-часовщик в Одессе был личностью почти легендарной, кем-то вроде современного Мишки Япончика. Многие вообще сомневались, существует ли он на самом деле, этот некоронованный король блошиного рынка, подпольный миллионер, глава всех комбинаторов и махеров, человек, за которым уже добрый десяток лет безуспешно гонялись работники Отдела борьбы с хищением социалистической собственности (ОБХСС), человек, о котором рассказывали десятки самых невероятных историй, рассказывали со злобою и со смехом, с огорчением и тайной радостью.

Увидев, какое впечатление произвело на Таратуту его имя, Валя-часовщик улынулся:

— Слышали обо мне?

— Да, я о вас слышал! — медленно проговорил Таратута.

— Одесса! — вздохнул Валя-часовщик.— Человек сидит в своей мастерской, в подворотне на улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, чинит часы, выполняет и даже перевыполняет план — так к нему каждый день ходят всякие типы, в форме и не в форме, и морочат голову, что вчера я будто бы был в Тбилиси, а позавчера во Львове, а третьего дня в Риге, и где мои бриллианты, и где трикотаж, нейлон, и так далее и тому подобное...

Ну, они как приходят, так и уходят, но вы же понимаете, Семен Янович, что мне обидно...

Грузинский баритон из-за неплотно прикрытой двери громко позвал:

— Валя, где вы пропали? Мы вас ждем!

— Сейчас мы идем! — ответил Валя-часовщик, бережно снял со спинки стула клетчатый пиджак, церемонно протянул его Таратуте. — Я вас прошу, Семен Янович... Сегодня, я это уже говорил, очень знаменательный день. Восемьдесят лет месье Раевскому, можете себе представить?! Сейчас вы его увидите, так вы ахнете! Это не человек, а живой музей! Он всех нас учил, когда мы еще были слепыми!

В небольшом банкетном зале за парадно накрытым столом сидело человек двадцать гостей — пришедших, приехавших, прилетевших в Одессу специально, чтобы отпраздновать юбилей своего старейшины, своего, как выражаются дипломаты, дуайена, Антона Ильича Раевского, старого комбинатора, всего лишь несколько лет тому назад удалившегося на покой. Здесь, за этим парадным столом, подтверждая, так сказать, воочию мудрость национальной политики, сидели жулики из многих республик — из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Латвии и, разумеется, одесситы — русские и евреи.

И все мужчины, все как один, были в строгих черных костюмах, с черными бантиками, и перед каждым стояла на столе персональная бутылка армянского марочного коньяка, а перед женщинами — они были в явном меньшинстве — бутылка кахетинского или муската и букет цветов. Валя-часовщик усадил Таратуту на почетное место — по правую руку от юбиляра, месье Раевского, сухонького старичка в пенсне, с каким-то нежным цыплячьим пухом на голове и с маленькими, очень выхоленными и очень подвижными руками. Месье Раевский, единственный из всех присутствующих, пил не коньяк, а минеральную воду.

Два молодых человека на другом конце стола, увидев Таратуту, поспешно потупили глаза и сделали вид, что они поглощены едой.

— Узнали, Семен Янович? — улыбнулся Валя-часовщик. — Валерик и Толик. Вы не держите на них зла, Семен Янович! Произошло кошмарное недоразумение! А вообще-то они очень хорошие мальчики из очень хорошей семьи — у них папа заведующий еврейским кладбищем.

— Ясно! — сказал Таратута. — Папа заведует кладбищем, а сыновья поставляют ему клиентов.

Валя-часовщик хохотнул, потрепал Таратуту по плечу и с не-

ожиданной для своих великаньих размеров легкостью поднялся, подошел к пожилому грузину, который сидел, чуть отодвинувшись от стола, и держал на коленях гитару. Валя-часовщик, наклонившись, что-то зашептал ему на ухо, и пожилой грузин улыбнулся, медленно повернул голову, весело и внимательно поглядел на Таратуту.

— Хорошо! — громко сказал он и бережно отложил в сторону гитару.

Валя-часовщик вернулся на свое место, сел, спросил:

— Семен Янович, вы какой коньяк уважаете больше — армянский или французский?

— У меня что-то с печенкой...

— Друзья мои! — Пожилой грузин встал, плеснул себе в бокал, на самое донышко, несколько капель коньяку, поднял бокал и проговорил уверенно и небрежно: — Друзья мои! Будем считать, что небольшой художественный перерыв закончен, и я позволю себе вернуться к исполнению своих прямых обязанностей... Мы уже пили за здоровье нашего юбиляра, нашего дорогого Антона Ильича Раевского, и мы еще будем за него пить, но сейчас я хочу поднять тост за прекрасного человека, которого знают пока не все, но те, которые знают, уже горячо любят! — Он снова весело посмотрел на Таратуту, которому Валя-часовщик поспешно пододвинул бокал с коньяком. — И для того чтобы, друзья мои, этот тост был вам более понятен, я расскажу одну короткую притчу... Вот летит птица... Она летит, смотрит по сторонам и видит — стоит Казбек... Могучая гора со снеговыми вершинами, с глубокими ущельями... Стоит Казбек, и где-то внизу проплывают облака, а на вершинах — снег, тишина, вечный покой... А птица летит и летит... Она долго летит и видит — Эльбрус! Тоже могучая гора, и тоже облака проплывают где-то внизу, а наверху — снег, лед, тишина... А птица летит и летит... И вот она пролетает мимо Тбилиси, мимо «Белого духана», и заглядывает в окно, и видит, что сидят вместе, за одним столиком, два человека, назовем их Коля Дондуа и Бенья Шапиро, а они сидят, и едят шашлык, и пьют кахетинское... И что же думает птица?! А вот что она думает — гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится! Так думает птица, и она правильно думает! Давайте же выпьем за нашего нового знакомого, который когда-нибудь, я в этом уверен, станет нашим старым знакомым, — за Семена Яновича Таратуту!

И все, кроме месье Раевского — он только похлопал в ладоши, — поднялись со своих мест и выпили за здоровье Таратуты, и даже мальчишки — Валерик и Толик — покивали ему с другого конца стола и сделали руками жест, означавший, что — как уже

заметил Валя-часовщик — ошибки в жизни случаются с каждым и что они просят не держать на них зла. А коньяк был и вправду замечательный, редчайшего букета армянский коньяк, и Таратута, выпив, почувствовал, как теплеет у него в груди и как странное чувство успокоительной усталости сменяется успокоительной беззаботностью и легкостью.

А Валя-часовщик налил ему еще, и Таратута, неожиданно для самого себя, спросил:

— Скажите мне, Валя... Это ничего, что я вас так называю?

— А как же вам еще меня называть?! — удивился Валя-часовщик.

— Хорошо. Скажите мне, Валя, объясните мне — а почему, собственно, вы так со мною возитесь? Вы же могли просто уехать...

— Семен Янович, что вы говорите?! — с искренней обидой в голосе перебил его Валя-часовщик и даже всплеснул руками. — Мы же не какие-нибудь бандиты, чтобы оставить человека лежать на улице в бесчувственном состоянии. Тем более что, по сводке погоды, к вечеру ожидается дождь! Нет, мы взяли вас в машину, чтобы отвезти домой. Но когда мы посмотрели ваши документы и увидели, что, во-первых, вы шахматист, а я вам уже сказал, какое уважение я имею к этой игре... и что, во-вторых, вы живете в гостинице, так мы решили привезти вас лучше сюда. Ну, а уже здесь Ваню — тот, который сейчас говорил тост, — он узнал вас... Он видел, как вас сегодня забирали в милицию за то, что вы требовали освободить Михаила Моисеевича Лапидуса...

— И вы решили, что я из ваших?

Валя-часовщик искоса, слегка прищурясь, посмотрел на Таратуту, медленно покачал головой, и лицо его на какую-то долю секунды изменилось до неузнаваемости — оно вдруг стало умным и немножко печальным.

— Нет, Семен Янович, — негромко сказал Валя-часовщик, — вы не из наших! И не дай вам Бог стать когда-нибудь нашим! И поверьте, что я это говорю вполне серьезно.

— А почему?

— А потому, Семен Янович, что ни один человек из тех, что сидят сейчас за этим столом, не знает, что будет с ним завтра, и не может спать спокойно. А здесь — и вы опять-таки можете мне поверить — сидят люди, у которых есть деньги... Они, конечно, не Онасисы или Ханты, но они могли бы многое себе позволить. И не имеют этой возможности. Поганая «Волга», на которой я езжу, так она тоже официально мне не принадлежит. Один уважаемый



доктор наук дал мне будто бы доверенность, что я имею право пользоваться его машиной. Но ОБХСС к этому доктору наук не ходит, оно ходит ко мне. А уважаемый доктор наук содрал с меня за эту старую рухлядь вдвое больше, чем стоит новая «Волга». Но я не могу иметь свою машину, потому что я сижу в подворотне на Карла Маркса, бывшей Екатерининской, и чиню часы... И все, Семен Янович, в этом роде! Круговорот азота в природе! Да, кстати, а каким образом вы знакомы с Лапидусом?

— А я с ним не знаком! — сказал Таратута, снова и намного внимательнее, чем в первый раз, разглядывая сидящих за столом. — Мне просто рассказали о нем, и я... — Не договорив, он задержался взглядом на курносой девчонке в форме стюардессы, спросил: — А вон та стюардесса, она из ваших?

Валя-часовщик улыбнулся:

— Катюша? Из наших. У нас, Семен Янович, налажен воздушный мост Одесса — Тбилиси. Вы же понимаете, далеко не все можно посылать по почте... Катюша — это наш лучший связной.

Он наклонился к Таратуте, тихо спросил:

— Интересуетесь, Семен Янович? Вы скажите, это можно устроить.

Таратута смущенно поежился, снял очки, подышал на стекла, протер их платком, надел:

— Но она же девчонка, Валя! Ей же лет семнадцать, не больше.

— Восемнадцать, для точности! — заметил Валя-часовщик. — Но это не имеет значения! В женщине, Семен Янович, значение имеет не возраст, а вес. Если больше чем тридцать пять килограммов — то все в порядке. Меньше чем тридцать пять — можно получить неприятности... — И, окончательно развеселившись, Валя-часовщик громко окликнул: — Катенька, деточка! Скажи дяде Вале, какой у тебя будет живой вес?

— Сорок четыре, дядя Валя! А что?

Валя-часовщик снова засмеялся и игриво толкнул Таратуту плечом:

— Вот видите, Семен Янович! Но только, между прочим, я имею к вам лучшее предложение. Я даже удивляюсь на самого себя, как я об этом сразу не подумал. У меня есть две хорошие знакомые — Лида и Тоня. Вы смотрели, Семен Янович, кино «Королева Шантеклера»? Так вот, эта самая королева — она может, как говорится, бегать Лидочке и Тоне за пивом... У вас в гостинице, Семен Янович, я надеюсь, отдельный номер?

— Отдельный.

— Ну вот! — удовлетворенно кивнул Валя-часовщик. — Когда наш небольшой товарищеский ужин закончится, вы идите домой и ждите... Я отвезу меся Раевского, потом я заеду за Лидочкой и Тонечкой. А потом мы приедем к вам.

— Друзья мои! — Это опять с бокалом в руках поднялся пожилой грузин-тамада и, когда все сидевшие за столом замолкли, проговорил прочувствованно, торжественно и негромко: — Дорогие мои друзья! Я хотел бы, я очень хотел бы, чтобы сейчас, в эту минуту, в эту долю мгновения, остановились бы все часы на свете, как они почему-то останавливаются у нашего друга Вали-часовщика...

Он усмехнулся, а Валя-часовщик, взглянув на свои часы и удостоверившись, что они и вправду снова остановились, погрозил тамаде пальцем.

— Но, — чуть громче сказал тамада, — только глупые люди думают, что часы и время — это одно и то же. Нет, друзья мои, мы-то с вами знаем — часы могут остановиться, а время не останавливается, оно идет и идет... Но некоторые часы иногда показывают точное время. И я вижу, как мои скромные часы «Полет» нашего, отечественного производства — и поэтому я им, разумеется, верю — показывают, что сейчас восемь часов тридцать минут. А наш дорогой юбиляр, наш горячо любимый и уважаемый Антон Ильич Раевский — мы все об этом помним — имеет привычку, чтобы не позже чем в десять часов ложиться спать! Я уверен, что еще не раз мы будем сидеть за этим или за каким-нибудь другим столом, и поднимать тосты за здоровье Антона Ильича, и желать ему долгих и счастливых лет, и все-таки... Я представляю себе, как я возвращаюсь к себе в Тбилиси и меня встречает моя доченька, моя красавица Натэллочка, и первое, что она меня спрашивает, — «Папа, — спрашивает она, — а какую историю рассказывал тебе меся Раевский?». И неужели я ее огорчу? Неужели я ей отвечаю, что наш дорогой Антон Ильич Раевский не рассказал нам на этот раз никакой истории?! Быть этого не может! — Он повернулся к Раевскому: — Дорогой Антон Ильич! Я не сомневаюсь, что выражу общую просьбу — расскажите нам, пожалуйста, какую-нибудь историю, какой-нибудь поучительный случай из вашей благородной и замечательной жизни! Просим!

И все в один голос поддержали тамаду:

— Просим!

Пышнотелая блондинка, сидевшая рядом с тамадой, повелительно крикнула:

— Ша! Антон Ильич, миленький, расскажите что-нибудь из царского времени!

— Просим!

Антон Ильич Раевский жеманно, по-актерски поулыбался — ну го, дескать, пристали, — но тут же, не дожидаясь повторных просьб, встал, повел из стороны в сторону остреньким носиком, словно к чему-то принюхался, напевно произнес:

— Медам и месье!

Кстати, некоторых читателей может, вероятно, удивить эта форма обращения: «Медам и месье».

Дело в том, что в начале прошлого века одним из генерал-губернаторов Новороссийского края, в состав которого в ту пору входила Одесса, был француз — герцог Ришелье. Герцог этот — «дюк» Ришелье — приложил немало стараний для благоустройства Одессы, именно с тех лет начинается современная история этого города, и поэтому всякий уважающий себя одессит — от торговки семечками с Пересыпи до зубного техника на Садовой — совершенно твердо убежден, что в его жилах течет капелька благородной французской крови.

— Медам и месье! — сказал Антон Ильич Раевский. — Я вам расскажу...

РАССКАЗ АНТОНА ИЛЬИЧА РАЕВСКОГО  
О ТОМ, КАК В 1910 ГОДУ ПРИЕЗЖАЛ НА ГАСТРОЛИ  
В ОДЕССУ ВЕЛИКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ТРАГИК  
ТОММАЗО САЛЬВИНИ

— Видите ли, медам и месье, этот замечательный день, который я запомнил на всю мою жизнь, начался довольно-таки паршиво! Был я тогда человек молодой, горячий, хватался за все... Ну, и среди прочих дел занимался немножко антрепризой. Конечно, на то, чтобы привозить в Одессу крупные имена — Яшу Зингерталя или Шалапина, — на это я еще не имел подходящего капитала, но как раз осенью тысяча девятьсот десятого года мне удалось выписать из Петербурга Сашу Потемкина. Такой, знаете, русский богатырь, красавец. Играл сам на гармошке и пел куплеты. Женщины по нему сходили с ума! Так вот, у этого Саши Потемкина по дороге из Петербурга в Одессу разболелись зубы, а когда он приехал, так у него начался флюс. Вот такая раздутая щека, говорить не может, только стонет, матерится и хлещет водку! А у меня снят зал в Аркадии, у меня висят афиши, у меня продаются билеты... Что делать, я вас спрашиваю?! Я беру этого Сашу Потемкина, сажаю его на извозчика и везу на Екатерининскую. Там живет моя знакомая женщина, зубной врач,

Ревекка Захаровна Гордон. Красавица, между прочим, брюнетка! Она приглашает нас в кабинет вне очереди, предлагает Саше Потемкину сесть в кресло и открыть по возможности рот, наклоняется к нему и... Ну, вы, я думаю, догадываетесь, что делает такой Саша Потемкин, когда к нему наклоняется интересная женщина с пышным бюстом. Сначала Ревекка дала ему по морде, потом она дала по морде мне, потом мы у нее просили прощения, и она нас простила. В общем, я оставил их вдвоем, а сам поехал домой. Я приезжаю домой, меня встречает жена и говорит: у тебя, говорит, был какой-то очень важный господин и оставил тебе свою визитную карточку. Она подает мне карточку, так уже по одной этой карточке я понимаю, что тут что-то особенное — бристольский картон с золотым обрезом. И крупными буквами напечатано: «Теофинос Кастаки, негоциант». А сбоку от руки приписано: «Жду вас в гостинице «Лондонская», в номере три, прошу явиться не мешкая. Т. К.». Так прямо и написано, черным по белому: «прошу явиться». Ну, я меняю сорочку, еще раз бреюсь, опрыскиваюсь одеколоном и еду. В гостинице «Лондонская», внизу, меня спрашивают, как моя фамилия, я называю, меня провожают к дверям третьего номера, я стучу и слышу приятный голос: «Войдите!» Я вхожу и вижу — на диване полулежит пожилой, но еще довольно интересный господин с черными усами, в шелковом красном халате с золотыми драконами — я потом купил себе точно такой же, — рядом с ним сидит роскошная дамочка, которая ему годится если не во внучки, то в дочки, во всяком случае. И на дамочке кисейный пеньюар, — откровенно говоря, его могло и не быть, такой он был прозрачный... Но я на дамочку не смотрю, а смотрю на господина Кастаки — я сразу понял, что это и есть Кастаки, — и представляюсь скромно, но с достоинством:

— Раевский!

— Садитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки и показывает мне рукой на кресло.

Я сажусь, подтягиваю брюки, жду.

— Видите ли, господин Раевский, — говорит Кастаки, — вы, надо полагать, читали в газетах сообщение о том, что в Одессу на гастроли приезжает мой друг, великий итальянский трагик Томмазо Сальвини.

— Разумеется, — говорю я, и говорю неправду, потому что я так замучился с этим Сашкой Потемкиным, что уже, наверное, целый месяц не читал никаких газет.

— Мой гениальный друг синьор Томмазо Сальвини придет в Одессу ровно через неделю, — продолжает Кастаки. — Он будет

играть в цирке знаменитую пьесу английского драматурга Шекспира «Юлий Цезарь». Из римской жизни.

Я киваю головой на всякий случай, но ничего не говорю, жду.

— Так вот, господин Раевский, нам нужны римляне! Нам нужна толпа, нам нужны сенаторы — ну, одним словом, римляне! И побольше!

Я глотаю слюну и спрашиваю:

— Сколько?

— Тысяча человек по крайней мере.

— Молодые или постарше?

— Молодые,— говорит Кастаки, смотрит на дамочку в пеньюаре и грустно улыбается.— Из молодых в крайнем случае можно сделать старых. Наоборот, к сожалению, получается много хуже.

— Когда вам нужна, господин Кастаки, эта тысяча человек? — спрашиваю я.

— Завтра.

— Хорошо! — говорю я и встаю.

Кастаки и дамочка в пеньюаре начинают смеяться. Они смеются, а я стою, жду.

— Неужели,— говорит Кастаки,— вы действительно уверены, господин Раевский, что за один день вы сумеете набрать тысячу человек статистов?

Я наклоняю голову.

— Да,— говорю,— я уверен.

— Садитесь,— говорит Кастаки и снова показывает мне рукою на кресло.

Я сажусь.

— Вы нам нравитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки, спускает ноги с дивана и наливает из большого фарфорового кофейника две чашки кофе — себе и своей дамочке. Мне он, между прочим, кофе не наливает, заметьте. Но дело, конечно, не в кофе, а дело в том, что он говорит. А говорит он следующее:

— Когда мы с Таточкой приехали в Одессу — а приехали мы два дня назад,— мы просили знакомых, чтоб нам порекомендовали молодого, энергичного человека. Нам порекомендовали вас, господин Раевский. И теперь я вижу, что порекомендовали не зря. Но меня удивляет, господин Раевский, что вы не спрашиваете — какие условия. Или вас условия не интересуют?

Я говорю:

— Интересуют.

Кастаки со своей Таточкой снова начинают смеяться. Они смеются долго, а я сижу и молчу, как таракан. Наконец, отсмеявшись, Кастаки вытаскивает из кармана халата платок с

монограммой, вытирает глаза, оглушительно сморкается и говорит:

— Условия, господин Раевский, такие — каждый римлянин за участие в спектакле получает рубль. Вы получаете за репетицию десять рублей, а за спектакль — двадцать. С вами расплачиваюсь я, а со статистами расплачиваетесь вы. Если завтра, как вы обещаете, будет тысяча человек — они должны явиться к цирку в десять часов утра, — тогда, господин Раевский, я выписываю вам чек, вы получаете в банке деньги и сами, лично, во время всех гастролей моего гениального друга Томмазо Сальвини рассчитываетесь со статистами. Вас устраивают такие условия, господин Раевский?

Я вышел из «Лондонской», друзья мои, я не вышел — я вылетел как на крыльях. У меня дрожали ноги, и лицо было мокрое, как будто я купался. Причем лицо у меня горело, а ноги были холодные. Я сел в пролетку и приказал извозчику:

— В университет!

Но по дороге я еще заехал в цирк, выяснил кое-какие подробности, а уже оттуда — в университет. Я остановил извозчика, — если пошли такие дела, то кто считает копейки, — а сам подошел к швейцару, приподнял шляпу и спрашиваю:

— Господин швейцар, вы не могли бы мне сказать, в какой аудитории читает сегодня лекцию господин профессор Квачевский?

Между прочим, об этом профессоре Квачевском я не имел ни малейшего понятия — кто он, и что он, и какие лекции он читает. Просто я слышал — об этом говорила вся Одесса, — что когда его хотели уволить из университета, студенты устроили целый трам-тарарам, чтобы его оставили. Ну, и я рассудил: если студенты не хотят, чтобы профессора увольняли, то на лекции его должно быть больше всего народу. И я оказался прав. Профессор Квачевский читал лекцию не где-нибудь, а в актовом зале. И читал он — это же надо, друзья мои, чтоб было такое совпадение, — теорию римского права! И народу было видимо-невидимо, яблоку упасть было негде! Ну-с, господин профессор Квачевский заканчивает свою лекцию, ему бурно аплодируют, тут выскакиваю я, поднимаюсь на кафедру, кажется, слегка даже отталкиваю в сторону господина профессора и кричу, у меня ни до, ни после — никогда не было такого голоса, как в этот день.

— Господа студенты! — крикнул я. — Через неделю в Одессе начинаются гастроли величайшего трагика синьора Томмазо Сальвини! Кто хочет увидеть спектакли с его участием — поднимите руки!

Ну, разумеется, все хотят, все поднимают руки.

— Замечательно! — говорю я.— Но, между прочим, билетов в кассе уже нет! А те, которые были, так самые паршивенькие стоили не меньше чем пять рублей! Вы бы сидели, за эти сумасшедшие деньги, на самой верхотуре, и великий трагик казался бы вам величиной с муху. Положение, господа студенты, прямо таки безвыходное!

Я делаю паузу, а в зале начинается шум.

— Тихо! — снова кричу я, и зал замолкает.— Есть люди, у которых при безвыходном положении опускаются руки. А есть люди, которые стучатся во все двери, и одна из этих дверей обязательно оказывается открытой. Вы имеете, господа студенты, такую возможность — видеть синьора Томмазо Сальвини не с какой-нибудь там галерки за пять рублей, а совсем рядом, ближе, чем видите сейчас меня. И не просто видеть. Вы будете играть вместе с ним в одном спектакле из римской жизни. И это вам обойдется сущие пустяки. Полтинник за участие в репетициях и один рубль — за спектакль! Так что, господа студенты, кто имеет на это желание — прошу опять поднять руки!

И все хотят, все поднимают руки, все кричат:

— Прекрасно!

— Спасибо!

— А кому платить деньги?

— Деньги будете платить мне! — говорю я.— Но, прежде всего, завтра, в десять часов утра вы должны явиться к зданию цирка. Вам ясно, господа студенты?

И тут я чувствую, что кто-то дергает меня за рукав виджака. Я оборачиваюсь и вижу, что это господин профессор Квачевский.

— Скажите, — негромко говорит господин профессор, — а я тоже могу принять участие?

— Можете! — говорю я.— И даже, господин профессор, поскольку вы такой знаменитый, то вы можете принимать участие и в репетициях, и в спектаклях совершенно бесплатно!

Ну-с, на следующее утро, ровно в десять часов утра, у цирка была толпа приблизительно в три тысячи человек. Тысяча пришла — это были те, которых я пригласил, а еще две тысячи явилось, чтобы выяснить, что происходит и для чего пришла эта первая тысяча.

В пятнадцать минут одиннадцатого подъехал на извозчике господин Кастаки со своей Таточкой, увидел эту толпу, сделал удивленное лицо, приподнял котелок и помахал мне рукой. Я подошел.

— Да, месье Раевский, — говорит Кастаки, — теперь я вижу, что с вами действительно можно иметь дело!

Он достает из кармана бумажник, вытаскивает уже подписанный чек, протягивает его мне.

— Возьмите, месье Раевский! Но только — вы, я надеюсь, понимаете — деньги есть деньги. Деньги любят счет. Вы должны составить ведомость с именами всех участников, и вы будете брать с них расписки!

Конечно, я составил ведомость, и, конечно, я брал расписки. В этих расписках значилось: такой-то за участие в репетиции — пятьдесят копеек. Или: такой-то за участие в спектакле — один рубль. Заплатил или получил — это уже никого не касалось, это уже было мое сугубо личное дело!

Если говорить откровенно, то, как играл великий трагик синьор Томмазо Сальвини, я не видел. Уверяют, что он играл замечательно. Очень может быть. Даже навверное. Во всяком случае, когда он закончил гастроль и уехал, так я купил дом. Двухэтажный дом на улице Бабеля — там теперь помещается ОВИР... Между прочим, в тысяча девятьсот семнадцатом году этот дом выиграл у меня в карты Миша Лапидус. Он был тогда еще совсем мальчик, но имел руки — так это что-то особенное. Вы понимали, что он и передергивает, и делает накладки, — но заметить вы этого не могли. Он хотел перестраивать дом, но не успел — началось то, что мы с вами каждый год отмечаем седьмого ноября. И Мишу Лапидуса едва не расстреляли как буржуа и домовладельца. А синьору Томмазо Сальвини в городе, где он родился, говорят, поставили памятник. К сожалению, мне не довелось побывать в Италии, а то бы я непременно положил к подножию этого памятника букет цветов!..

— Ай, золотая голова! — вздохнул Валя-часовщик, с обожанием поглядел на месье Раевского, выпил залпом бокал коньяка, пожевал лимон и повторил: — Золотая голова! — Он обернулся к Таратуте: — Что я вам говорил, Семен Янович? Это же не человек — это живой исторический музей!

<5>

Таратута медленно, заложив руки за спину, подошел к дверям гостиницы «Дружба», остановился. Бюро погоды, как ни странно, предсказало верно — накрапывал дождь, мелкий, нудный, осенний.

Таратута взглянул на часы — без четверти десять. «Ну и денек!» — подумал Таратута.

Он не знал, да и откуда было ему знать, что этот день был



только первым, еще робким звонком колокольчика, собирающего действующих лиц на подмостки, только предвестником событий, и что сами события — неправдоподобные и стремительные — еще впереди.

Напротив гостиницы «Дружба», через дорогу, у закрытой кассы кинотеатра «Космос» безнадежно и терпеливо мокла недлинная очередь. Шел приключенческий фильм «Неуловимые мстители», действие которого происходило в Одессе, и билеты нужно было заказывать за две недели вперед.

Но все равно каждый вечер, к последнему, десятичасовому, сеансу, собирались у входа в кинотеатр и становились в очередь странные люди — то ли надеялись на слепую удачу, то ли на внезапную повальную эпидемию гриппа, то ли вообще ни на что не надеялись, кроме как на возможность убить время.

И, глядя на эти унылые, сгорбленные спины, на поднятые воротники, на нахлобученные чуть не до бровей кепки и шляпы, Таратута почувствовал тревожное раздражение: раздражение, которое было как бы и соблазном вмешаться, что-то сделать, созорничать.

«Ну, тихо, тихо-тихо!» — попытался Таратута сам себя урезонить.

Но соблазн был сильнее всяких увещаний.

И Таратута, вздохнув, засунул руки в карманы, решительно пересек улицу, прошел вдоль очереди к закрытой кассе, остановился и очень громко сказал:

— Граждане одесситы!

И все глаза мгновенно уставились на него.

— Граждане одесситы! Вы, как я понимаю, ждете чуда! Но чудес не бывает. Это совершенно точно доказано наукой и товарищем Верченко Леонтием Кузьмичом!

Он сделал паузу в ожидании, что кто-нибудь спросит его, кто такой товарищ Верченко, но очередь, состоявшая главным образом из пенсионеров и мальчишек, испуганно молчала.

— Граждане одесситы! — еще громче сказал Таратута. — Я предлагаю вам не ждать милостей от природы! Я предлагаю взять этот вонючий кинотеатр штурмом. Это же не какой-нибудь Зимний дворец, а всего-навсего бывшая китайская прачечная!

Он выпятил вперед подбородок и с командирскими раскатами в голосе отчеканил:

— Участники штурма — два шага вперед!

Очередь быстро начала таять.

Пожилой одессит с профессорской бородкой, просеменив мимо, похлопал Таратуту по плечу зонтиком и сказал негромко, не разжимая губ:

— Играетесь с огнем, молодой человек!

Протопала компания лохматых юнцов, стараясь всем своим видом показать, что ничего-то они не боятся, но что просто им надоело ждать.

— Эх вы,— сказал им вслед Таратута.— А еще туда же — будем как Ленин, будем как Ленин! Вы на доктора Семашко и то не потянете!

Таратута усмехнулся, махнул рукой, повернулся по-военному, на каблуках, пересек улицу в обратном направлении и, уже останавливаясь, толкнул дверь и вошел в полутемный холл гостиницы «Дружба».

Здесь было все как всегда — какие-то люди дремали в креслах, зажав в ногах, как всадники шенкеля, портфели и чемоданы, телефон на стойке дежурного администратора звонил надсадно и непрерывно, сам администратор отсутствовал, а на дверях лифта висела табличка с надписью, отпечатанной типографским способом: «Лифт не работает».

Таратута с досадой чертыхнулся. Он-то знал, что лифт работает. Заместитель директора гостиницы «Дружба», тот самый, упомянутый Таратутой Леонтий Кузьмич Верченко, выдвиженец из биндюжников, как-то в припадке пьяной откровенности объяснил Таратуте, в чем тут секрет.

Несколько месяцев тому назад администрация гостиницы «Дружба» и администрация гостиницы «Красная» подписали договор о социалистическом соревновании и вступили в борьбу за переходящее знамя Одесского горисполкома и Управления коммунального хозяйства.

Среди всевозможных обязательств, взятых на себя по этому договору соревнователями, имелось и обязательство экономить электроэнергию. И вот именно на этом пункте, не надеясь переплюнуть гостиницу «Красная» по другим показателям, и решила сосредоточить все свое внимание и силы администрация гостиницы «Дружба». Прежде всего было принято решение — с семи часов вечера до восьми часов утра останавливать лифт.

Товарищ Верченко на собрании сотрудников обосновал это решение так:

— Этот чертов лифт, он знает сколько киловатт энергии жрет? Он жрет, сукин сын, все равно как бригада биндюжников после трехменной погрузки-выгрузки!

Кто-то из зала робко напомнил Леонтию Кузьмичу, что в договоре имеется также обязательство улучшить обслуживание проживающих в гостинице постояльцев и обеспечить их всеми мыслимыми удобствами.

— Верно, правильно! — согласился Верченко и хитро при-

щурился.— А наш постоялец — он кто?! Мы на всяких там курортников-шмурртников ставки делать не будем. Наш постоялец — это человек рабочий, командировочный! Он приезжает в Одессу накоротке. Ему, соколу, за один день надо, может быть, в сто учреждений слетать. А учреждения до которого часа работают? До шести. Кладем еще полчаса на то, чтобы выпить и закусить. Получается, что не позже чем без четверти семь наш постоялец спокойненько может вернуться в гостиницу на заслуженный отдых. А лифт работает до семи. Все в порядке, все учтено! А которые желают не отдыхать, а прожигать жизнь — по ресторанам, по дамочкам, по театрам,— те могут и на своих двоих, они у них не отсохнут!..

...Ноги у Таратуты, когда он добрался по полутемной лестнице до своего четвертого этажа, действительно не отсохли. Но чертыхаться он уже не мог, а только похрипывал.

На столике дежурной по этажу Лидии Феликсовны горела свеча.

Это была новейшая идея товарища Верченко. После того как на какой-то оптовой базе ему удалось за гроши купить партию елочных свечей, он издал приказ, запрещающий дежурным по этажам пользоваться настольными лампами. В пылу борьбы за переходящее знамя с гостиницей «Красная» Верченко замахнулся было и на свет в номера постояльцев, но в последнюю минуту испугался жалоб и ограничился тем, что запретил освещать коридоры больше чем одной люстрой.

— У нас тут не музей,— сказал Леонтий Кузьмич на очередном собрании.— Разглядывать нечего, стенки и стенки. А которым темно, могут, как на железной дороге, с фонариками ходить!

Дежурная по этажу Лидия Феликсовна сидела за своим столиком и что-то писала в толстой канцелярской книге, страницы которой были разделены на две половины: «Прибыл» и «Выбыл».

В зыбком свете свечи, с пером в руке, с седыми букольками, Лидия Феликсовна была похожа на Нестора-летописца, как его изображают в школьных учебниках, но только забывшего приклеить бороду.

В тощей груди Лидии Феликсовны — женщины немолодой и самостоятельной — жила одна-единственная страсть. И называлась эта страсть — ненависть.

Лидия Феликсовна ненавидела всех — директора гостиницы, его заместителя, старшего администратора, дежурных администраторов, швейцара, сменщиц по этажу. Но пуще всего ненавидела Лидия Феликсовна постояльцев гостиницы. Некоторое

исключение она делала только для иностранных туристов. Но исключение это было чисто теоретическим. А практически — ну какие же в гостинице «Дружба» иностранные туристы?! Разве что в горячую летнюю пору поселят горемык туристов из Болгарии, Румынии, Польши — так ведь чем у них поживишься, они сами норовят спереть, что плохо лежит.

Впрочем, были в жизни Лидии Феликсовны три дня и три ночи, о которых она вспоминала с благоговением и сладкой тоской.

Несколько лет тому назад в Одессу по приглашению Черноморского пароходства приехал из Финляндии представитель фирмы, изготавливающей какие-то особые пластики, господин Паулу Виремяйнен. Выглядел этот представитель и вправду необыкновенно представительно — высокий, седовласый, улыбчивый, вежливый.

Поселили его в гостинице «Черноморская» (бывшая «Лондонская»), принимали по-царски — возили на экскурсии в катакомбы, водили в Оперный театр, кормили, поили.

И не рассчитали — кормили чересчур уж обильно, поили слишком щедро, позабыв, что господин Паулу Виремяйнен прибыл из страны, где объявлен сухой закон и крепкие спиртные напитки продаются по карточкам и притом в весьма ограниченном количестве.

Уже на третий вечер гость пропал. Приставленный к нему ответственный сотрудник Черноморского пароходства обыскал и облазил всю гостиницу, прочесал Приморский бульвар и Дерибасовскую, позвонил в полном отчаянии куда следует — и на подмогу ему были присланы двое молодых людей с бесстрастными лицами и пронзительными глазами.

Господина Паулу Виремяйнена удалось обнаружить в полночь в каком-то замызанном привокзальном шалмане.

Он сидел за столиком в полном одиночестве, приканчивал, как сообщил официант, вторые пол-литра и, подперев по-бабьи щеку ладонью, нежным и жалобным голосом пел бесконечную песню.

— Ты что же это, сукин сын? — сказал один из бесстрастных официанту. — Нарушаешь постановление?! На человеко-единицу разрешается двести граммов от силы, а ты ему целый литр скормил?!

— Так они же будут нерусские! — сказал официант. — На них постановление недействительно, они валютой платят...

Бесстрастные отобрали у официанта финские кроны, составили протокол и погрузили господина Виремяйнена в оперативную машину. По дороге в гостиницу знатный гость допел наконец

свою печальную песню и полез целоваться к шоферу. Шофер шепотом матерился и отплевывался, но терпел.

И с той полночи господина Паулу Виремяйнена в трезвом виде уже не видел больше никто.

На следующий день состояние печальной задумчивости перешло в буйство. Знатный гость для начала переломал в номере мебель, потом, завернувшись в сорванную с окна занавеску, принялся шататься по коридорам гостиницы и пытался в этом одеянии пройти в ресторан.

В ресторан его не пустили, отвели под уздцы в номер и заперли. Тогда он забаррикадировал двери номера шкафом, распахнул окно и в совершенно голом виде — а дело, надо сказать, было зимой — уселся на подоконник и, ежесекундно рискуя свалиться, стал размахивать руками и что-то кричать.

Под окном, разумеется, собралась толпа.

Администратор гостиницы после безуспешной попытки ворваться в номер вызвал пожарную команду.

В итоге всех этих сокрушительных событий господин Виремяйнен, снятый с окна пожарниками, улегся спать на полу, а некое учреждение в Одессе позвонило в некое учреждение в Москве и со слезами в голосе спросило: что делать?

Некое учреждение в Москве пообещало связаться с Министерством иностранных дел, но посоветовало, пока суд да дело, перевести господина Виремяйнена из гостиницы «Черноморская», находящейся в ведении «Интуриста», в какую-нибудь гостиницу попроще, попроще, местного значения, с глаз подальше.

Вот так и попал знатный гость из Финляндии в гостиницу «Дружба», на четвертый этаж, в номер четыреста восемнадцать. Вот так и начались те самые три дня и три ночи, о которых с такою сладкой тоскою вспоминала Лидия Феликсовна.

Водворенный в гостиницу «Дружба», господин Виремяйнен в ускоренном темпе повторил две первые степени опьянения — печальную задумчивость, буйство, а затем не мешкая погрузился в третью степень — молчаливую плаксивость. В редкие часы, когда Виремяйнен не спал, он сидел на кровати в одних боксерских трусах и, закрыв руками лицо, всхлипывал и что-то негромко бормотал. Он переставал плакать только в то мгновение, когда с умильной улыбкой на устах входила в номер Лидия Феликсовна. На черном, «под Палех» лакированном подносе, на котором были изображены Спасская башня Кремля и колокольня Ивана Великого, Лидия Феликсовна приносила дорогому гостю очередной графинчик водки и закуску — бутерброды с кильками и маринованные огурчики.

Некое учреждение, узнав от товарища Верченко о наступлении у господина Виремяйнена третьей степени опьянения, распорядилось — поить буржуйскую морду по требованию и даже без требования, но ни под каким видом из номера не выпускать.

Товарищ Верченко в свою очередь бросил на выполнение этого ответственного задания Лидию Феликсовну.

Три дня и три ночи не уходила Лидия Феликсовна из гостиницы и не покидала своего поста на четвертом этаже. Она собственноручно чистила кильки и аккуратно укладывала их на ломтик хлеба, дотошно отбирала огурчики, настаивала водку на заветной анисовой травке и добавляла в графин для запаха несколько капель духов «Сирень».

Но и господин Виремяйнен, хотя и пьяный до изумления, тоже, надо отдать ему справедливость, не оставался в долгу. Ни единого раза не покидала Лидия Феликсовна номера четыреста восемнадцать с пустыми руками. Господин Виремяйнен дарил ей все, что попадалось ему на глаза, — пижаму, махровое полотенце, крем для бритья, шариковую ручку, почти полный флакон одеколона «Кельнише Вассер», фотографии — свою, своей семьи, водопада Иматры и президента Республики Финляндии господина Кекконена.

Три дня и три ночи жила Лидия Феликсовна как в волшебном сне.

Сплетник швейцар утверждает, что слышал сам, как, шествуя по коридору с подносом в руках, она даже напевала — игриво и немзыкально — старую песню, переделанную ею на собственный лад:

Осенний сон, осенний сон,  
Как много дум наводит он!..

Но на четвертые сутки этот волшебный сон был нарушен — откровенно, грубо и навсегда.

Все те же бесстрастные молодые люди с пронзительными глазами приехали в гостиницу, прошли в сопровождении товарища Верченко в четыреста восемнадцатый номер, кое-как, небрежно, наспех собрали господина Виремяйнена и, преодолев его слабое сопротивление, увезли на аэродром.

Лидия Феликсовна выбежала за ними на улицу и долго стояла, прижав руки к груди, глядя вслед скрывшейся за поворотом, за снегом оперативной машине.

Сплетник швейцар окликнул ее:

— Лидия Феликсовна, простудитесь!

Она обернулась и тихо сказала:

— А мне теперь безразлично!..

Все еще отдуваясь и тяжело переводя дыхание, Таратута молча протянул руку, но Лидия Феликсовна в ответ не отдала ему ключ от номера, а проговорила язвительно и высокомерно:

— Между прочим, гражданин Таратута, вы здесь живете не первый день и должны были бы знать, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается.

— Это кто же здесь посторонний? — обрета от удивления дар речи, спросил Таратута. — Это я — посторонний?!

— Я не имею в виду вас. Но приехали какие-то четверо, и один из них — такой довольно интересный мужчина — сказал, что вы разрешили им взять ваш ключ.

— И вы им его отдали?

— Да.

— Но вы же знаете, Лидия Феликсовна, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается! — усмехнулся Таратута, возвращая разговор на исходную позицию.

— Так ведь это вы распорядились! — покрываясь красными пятнами, воскликнула Лидия Феликсовна.

— А кто я такой? — немедленно возразил Таратута. — Я рядовой постоялец. Какое право я имею распоряжаться?

— Вот именно! — ощутив наконец твердую почву под ногами, сказала Лидия Феликсовна. — Именно это я и говорю! Вы не имеете права распоряжаться, чтобы отдали ваш ключ от номера, когда вы прекрасно знаете, что выдавать посторонним лицам ключи от номера не разрешается!

— Но ведь выдал-то ключ не я, а вы.

— Но вы распорядились.

— А кто я такой?!

Разговор опять явно забуксовал, как застрявшая в грязи машина: ни вперед — ни назад.

Таратута посмотрел на Лидию Феликсовну. Лидия Феликсовна посмотрела на Таратуту и вдруг, что-то вспомнив, сказала совсем другим тоном и почему-то понизив голос:

— Да, и еще... После того как уже приехали эти четверо, к вам заходил еще один гражданин и просил — срочно, он сказал — передать письмо... Он даже потребовал, чтоб я расписалась в получении!

Таратута в недоумении оттопырил губы:

— Что за письмо? Что за срочность?

Лидия Феликсовна достала из ящика стола довольно большой конверт с сургучной печатью, протянула его Таратуте.

На конверте затейливым, с завитушками, канцелярским почерком был написан адрес: «Гр-ну Таратуте С. Я. Гостиница «Дружба», номер четыреста восемнадцать. Очень срочно!»

Слова «очень срочно» были дважды подчеркнуты.

Таратута кивком головы поблагодарил Лидию Феликсовну, поправил сползшие набок очки и, не распечатывая конверта, направился в свой номер.

Еще издали, несмотря на то что коридор был погружен в полумрак, Таратута увидел Валя-часовщика.

Валя стоял у дверей номера — без пиджака, без бантика, в рубашке с расстегнутым воротником и закатанными рукавами. Он стоял, по-наполеоновски скрестив могучие руки, и улыбался.

Когда Таратута подошел ближе, Валя-часовщик перестал улыбаться и проговорил громоподобным шепотом:

— Семен Янович, дорогой мой, сегодня такой день, что одни сплошные недоразумения!

— А в чем дело? — спросил Таратута.

— Я вам, помните, говорил про Лидочку и Тонечку?

— Вы их не нашли?

— Нет, я их нашел. С Лидочкой у меня любовь. Вы можете смеяться, Семен Янович, но Лидочка — это женщина моей мечты. С другой стороны, если подходить к данному вопросу объективно, то она не такая красивая, как Тонечка. И я надеялся, Семен Янович, что вы от Тонечки получите полный максимум удовольствия...

— Так что же случилось?

Валя-часовщик печально покачал головой:

— Что случилось? В этой жизни всегда что-нибудь случается! Я посадил девушек в машину, мы едем к вам, у нас хорошее настроение. И вдруг мы видим — у витрины магазина «Мясо» стоит пожилой человек и плачет. Лидочка его узнала первая. Она мне сказала: «Смотрите, Валя... — Мы с ней на «вы», между прочим. — Смотрите, Валя, — сказала Лидочка, — это же Эдуард Аршакович Казарян!» Я останавливаю машину, выхожу и вижу — действительно, это Казарян, которого мы напрасно ждали на юбилее месье Раевского. Он стоит и плачет. А я должен вам сказать, Семен Янович, что это очень страшно, когда плачут пожилые люди!.. Оказывается, у него был сегодня обыск. Явились эти бандиты из ОБХСС, перевернули всю квартиру вверх дном, кое-что забрали, кое-что опечатали и взяли с Казаряна подписку о невыезде. А он одинокий, как собака, ему даже пожаловаться некому... Так я вас спрашиваю, Семен Янович: если человеку, который стоит у витрины магазина «Мясо» и плачет, доставить немножко радости — это хорошо, это гуманно? Ну, и мы пригласили его с собой.. И мы..

Внезапно оборвав свой монолог на полуслове, Валя-часовщик



установился на конверт с сургучной печатью, которым рассеянно, как веером, обмахивался Таратута.

— Ой, я знаю этот конверт! — шепотом пропел Валя-часовщик. — Ой, я очень хорошо знаком с этим конвертом. Когда вы его получили, Семен Янович?

— Только что. Я еще даже не успел его распечатать.

— Распечатайте! — сказал Валя-часовщик. — Немедленно распечатайте. Вы же видите, там написано: «Очень срочно!»

Таратута, пожав плечами, содрал сургуч, открыл конверт и достал почтовую открытку.

— Так я и думал! — выдохнул Валя-часовщик. — Что в открытке?

Таратута медленно прочел:

— «Министерство внутренних дел УССР. Одесский отдел виз и регистраций, улица Бабеля, пять. Таратуте С. Я. Просьба явиться в среду, третьего октября, в десять часов утра к товарищу Захарченко, имея при себе паспорт и военный билет. Ваша явка обязательна».

— Среда — это завтра! А товарищ Захарченко Василий Иванович — это начальник ОВИРа! — сказал Валя-часовщик и торжественно поднял руку. — Семен Янович, дорогой, вас сам Бог послал — и я это почувствовал сразу! — Он обнял Таратуту за плечи: — Идемте!

— Куда? — отстранился Таратута. — В номер?

Валя-часовщик усмехнулся:

— Нет, зачем же в номер? В номере сейчас лично вам делать нечего. Но вы не беспокойтесь, Семен Янович, я о вас подумал — я налил вам ванну... Вы можете полежать и отдохнуть от всех этих кошмарных переживаний! Тем более что завтра вам, очевидно, кое-что предстоит!

— Черт возьми! — пробормотал Таратута и перечитал во второй раз загадочную открытку. — Не понимаю... Для чего я им так срочно понадобился?

— Завтра в десять утра вы все узнаете! — снова шепотом пропел Валя-часовщик. — А до завтра осталось уже всего ничего... И не надо мучиться над вопросами, на которые все равно отвечаем не мы! Идемте, Семен Янович!

В маленькой ванной комнате, дверь из которой выходила прямо в прихожую, Валя-часовщик, подсучив еще выше рукав рубашки, наклонился над ванной, попробовал локтем воду, сказал деловито и озабоченно:

— Если вам покажется, Семен Янович, что прохладно, так можно подбавить горяченькой!..

Но Таратута не ответил.

Слегка приоткрыв рот и сдвинув брови, он смотрел на едва заметный синий шестизначный номер, вытатуированный на могучей руке Вали-часовщика и выползавший из-под засученной рубашки.

— Что это, Валя?

— Где?

— Вот,— сказал Таратута и ткнул пальцем в номер.

— Э-э! — небрежно сказал Валя-часовщик.— Ерунда! Мои родители, они были великие умники. В июне сорок первого года они отправили меня погостить к бабушке в Вильнюс. Ну, так четыре года я прожил в гетто, бабушка умерла, а я... Одним словом, ничего интересного, Семен Янович! Можете мне поверить! — Он снова наклонился и попробовал локтем воду: — Я думаю, что все-таки нужно немножко подбавить горяченькой!..

〈6〉

Больше всего на свете Таратуте в это мерзкое, дождливое утро хотелось спать.

Всю дорогу от гостиницы «Дружба» до улицы Бабеля он мучительно боролся с зевотой и с желанием плюнуть на все, вернуться в номер, упросить коридорную сменить белье и упасть, как в обморок, в сон.

В сущности, он почти всю ночь пролежал в ванне в холодной воде — вопреки совету Вали-часовщика, он не стал подливать горячей, чтобы не уснуть и не захлебнуться,— стараясь не слышать и слыша, как звенят за стеной стаканы, гудят мужские голоса и заливаются русалочьим смехом девицы.

По временам Валя-часовщик просовывал в полуоткрытую дверь ванной комнаты кудлатую голову и спрашивал бесстыдно и бодро, как сержант-сверхсрочник:

— Ну как, Семен Янович, отдыхаем?!

Таратута в ответ бормотал что-то невнятное, и Валя-часовщик, хохотнув, скрывался.

Уже под утро Таратута все-таки ненадолго задремал.

Ему даже приснился сон — необъятная лужа у палатки «Пиво — воды» и длинная, бесконечно длинная улица, круто уходящая в гору. Он бежал по этой улице быстро, молча, а за ним, преследуя его, бежали не Валерик и Толик, а двигалась целая армия с броневиками, танками, дальнобойными орудиями, и во главе этой армии, впереди, ехал на трехколесном велосипеде Валя-часовщик в черном пиджаке, с черным бантиком-бабочкой и весело улыбался.

— Семен Янович!

Таратута через силу продрал глаза и увидел, что в дверях ванной стоит Валя-часовщик в черном пиджаке и с черным бантиком-бабочкой.

Он словно бы перешел из сна в явь и сделал это настолько естественно, что Таратута даже не очень удивился.

— Дорогой Семен Янович! — сказал Валя-часовщик и церемонно поклонился. — Позвольте мне от имени Лидочки и Тонечки, от имени Эдуарда Аршаковича Казаряна и от себя лично выразить вам наши извинения и глубокую, сердечную благодарность!

— Служу Советскому Союзу! — сказал Таратута и лягнул зубами от холода. — Готов выполнить любое задание партии и правительства!

Но Валя-часовщик, утомленный любовными утехами, юмора не оценил. Он просто снова поклонился и притворил за собой дверь.

Еле волоча ноги, Таратута доплелся до улицы Бабея.

Дом номер пять найти было нетрудно.

У ворот этого дома группами, оживленно переговариваясь и жестикулируя, стояли евреи — молодые и старые, интеллигенты и оборванцы, женского, мужского и среднего пола.

Некоторые, особенно молодые, носили бороды, пейсы и традиционные бархатные шапочки — кипы.

Увидев Таратуту, они все на мгновение замолчали, проводили его глазами, когда он вошел во двор, и кто-то в спину ему сказал:

— Отказник из профессоров, чтоб я так жил!

Молоденький, очень важный милиционер-казак у входа в ОВИР внимательно прочитал открытку, которую показал ему Таратута, подумал, потом зачем-то козырнул и сказал:

— Вам, гражданин, на второй этаж.

Едва только Таратута поднялся на второй этаж и вошел в зал, битком набитый людьми, как громкий металлический голос, усиленный двумя висевшими на стене динамиками, сказал:

— Таратуту Семена Яновича, если он здесь, просят пройти в комнату номер двенадцать!

В зале немедленно начался галдеж:

— Таратута?! А кто такой Таратута?!

— Послушайте, вы не видели Таратуту?!

— Где Таратута?!

Из общего шума выделился звонкий женский голос:

— В конце концов, это хамство! Таратута Семен Янович, где вы?

Не отвечая, Таратута, ожесточенно орудуя локтями, начал

продираться сквозь толпу к дверям, обитым черной клеенкой, на которых сияла золотая цифра «двенадцать».

Он был уже почти у цели, когда дорогу ему преградил маленький встрепанный человечек в лыжной куртке, украшенной каким-то совершенно невероятным количеством «молний». Уперев Таратуте в грудь длинный указательный палец, человек-«молния» строго спросил:

— Одну минуточку, это вы — Таратута?

— Я, — признался Таратута.

— Вы что же, не слышите, что вас вызывают?

— Слышу.

— Так почему же вы не идете?

— Я иду.

— Ну так идите!

— А вы перестаньте тыкать мне в грудь пальцем! — обозлившись, гаркнул Таратута.

Человек-«молния» обиделся.

— Ах, так это, оказывается, я виноват? Люди — и, между прочим, постарше вас — занимают очередь чуть не со вчерашнего вечера. Они приходят, они сидят, они ждут — но их не вызывают! Вызывают вас, а вы не идете! Так кто же виноват, хотелось бы мне знать?!

Таратута двумя руками взял человечка-«молнию» за плечи, молча, как шахматную фигуру, переставил его с одной паркетной клетки на другую, усмехнулся:

— Слон бьет на же семь!

Потом он шагнул вперед, толкнул заветную дверь и громко сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Семен Янович!

Если бы в системе Министерства внутренних дел проводились конкурсы красоты на звание «мистер ОВИР», то подполковник Василий Иванович Захарченко, начальник Одесского ОВИРа, не имел бы соперников.

— Красавчик! — звали его за глаза подчиненные.

— Вася-Василек! — говорила ему любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Тебе бы в кино, Василек, сыматься! Против тебя никакой Радж Капур не потянет!

Имя этого индийского киноактера упоминалось не случайно. Был Василий Иванович черняв, белозуб, с глазами бессмысленными и прекрасными. Но, в отличие от тщедушного Раджа Капура, Василий Иванович унаследовал от своих сибирских дедов и прадедов, прасолов казачьего корня, могучую статью, грудь колесом, широкие плечи борцовского разворота. Картинная эта

внешность в сочетании с характером, исполнительным и покладистым, и была одной из причин, если не главной, быстрого продвижения Василия Ивановича по служебной лестнице вверх.

«Глуп, но надежен», — написал на его личном деле начальник Четвертого управления МВД УССР генерал-лейтенант Ильин.

И написал он это, между прочим, явно несправедливо.

Василий Иванович Захарченко был отнюдь не глуп. Просто ему по занимаемой должности никакого ума не требовалось. А не требовалось, так и не надо.

Ну в самом деле, какая еще такая необходима сообразительность, чтобы, ознакомившись с решением, присланным из Киева (или из Москвы), сообщить очередному безумцу, собравшемуся ехать куда-то к чертовой бабушке, на край света, о том, что ему, безумцу, в его просьбе отказано?

В тех куда как более редких случаях, когда из Киева (или из Москвы) приходил положительный ответ, сообщать о нем Василий Иванович предоставлял своим младшим сотрудникам — инструкторам.

— Сказать «да» — это всякий дурак может! — объяснял Василий Иванович любящей жене Марине. — А вот сказать «нет» — это, милая моя, дело тонкое!

Говоря «нет», Василий Иванович, как правило, улыбался. И вовсе не от высокомерия или злорадства, совсем наоборот. Ему совершенно искренне было жаль этих чудаков, рвущихся из прекрасного мира, где все так хорошо, разумно и справедливо, в неведомый страшный мир хаоса и насилия, — и сообщение об отказе воспринимал он как спасение очередной заблудшей души. И улыбался.

Одному почтенному еврейчику, заслуженному артисту, маэстро, который на своей родной скрипочке пикировал даже по радио, Василий Иванович, видя, как тот переживает отказ, сказал дружелюбно и участливо:

— Ну что вы убиваетесь? На кой вам этот Израиль?! Чем вам у нас плохо?

Но маэстро Скрипочкина от этого вполне дружеского вопроса почему-то всего перекосило, он зыркнул на Василия Ивановича бешеными глазами и сказал, заикаясь:

— Вот именно поэтому!

Василий Иванович не понял, что он имел в виду, но с тех пор решил в откровенные разговоры с психами не вступать и придерживаться раз и навсегда установленного порядка:

— Мы внимательно рассмотрели ваше ходатайство, и я упол-

номочен вам сообщить, что вам отказано. Следующее заявление можно подавать через год со дня отказа. До свиданья!

Иногда какой-нибудь не в меру ретивый еврейчик спрашивал:

— А могу я обжаловать это решение?

Василий Иванович улыбался еще шире и дружелюбнее:

— Можете. Вы можете послать вашу жалобу в Президиум Верховного Совета, но там — должен вас предупредить откровенно — читать ее не будут, перешлют нам. Так что сами понимаете!..

Но сегодня Василий Иванович Захарченко нервничал.

И надо же было этому Ершову из 12-го отделения явиться к нему вчера со своими дурацкими идеями, и надо же было, чтобы азартная кровь прадедов ударила Захарченко в голову в самую неподходящую минуту.

Выслушав Ершова, Василий Иванович позвонил в Киев, из Киева его, как водится, переадресовали в Москву, а Москва; к полному изумлению Захарченко и Ершова, сообщила причудливо-суконным языком, возвышенно-канцелярским слогом о том, что в данное время как раз изучается проект общего решения вышеупомянутой и нижепоименованной проблемы, что конкретный вопрос, поднятый товарищами из Одессы, идеально вписывается в этот проект и что их звонок как нельзя более кстати, — так сказать, инициатива снизу, поддерживающая инициативу сверху.

Василий Иванович с пылающими ушами поинтересовался: а как ему следует поступить, если возникнут трудности?

Москва, похмыкав, ответила, что дело это новое, экспериментальное, что на первых порах товарищам на местах предоставляются самые широкие полномочия, — разумеется, в разумных пределах.

— Ты чего это, Василек, ворочаешься? — проворчала глубокой ночью любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Это надо же — из-за евреев не спать! Все несчастья от них, честное слово!

— Ну, не скажи, Марина, не скажи! — возразил Василий Иванович. — Всяко бывает! Есть такие, знаешь, русские, что даже хуже евреев!

И вот теперь подполковник Василий Иванович Захарченко сидел за письменным столом в своем служебном кабинете, бесцельно перекладывая то справа налево, то слева направо какие-то бумаги, хмурил соболиные брови и все не решался открыто поглядеть на этого Таратуту Семена Яновича, из-за которого он провел сегодня бессонную ночь.

Наконец он поджал губы, расправил богатырские плечи и без надобности громко сказал:

— Так вот, Семен Янович... Мы пересылали ваше дело в Москву, там с ним ознакомились и приняли положительное решение — вы можете ехать!

— Ехать? — спросил Таратута сдавленным голосом, поскольку новость эта застигла его в самом начале сладчайшего зевка.— Куда ехать?

— Как это, Семен Янович, куда? В Израиль! — твердо сказал Захарченко, впервые поглядел на Таратуту и удивился. «Где-то я встречал этого подлеца! — мельком подумал он.— Не вспомню сейчас, где и при каких обстоятельствах, но личность определенно знакомая! Ох, Ершов, Ершов! Ох, подведешь ты меня, Ершов, под кузькину мать!..»

А Таратута, как всегда, когда ему бывало необходимо выиграть время, снял очки и принялся их тщательно протирать. Он делал это так долго и нудно, что Захарченко на всякий случай повторил:

— В Израиль, Семен Янович!

— А зачем? — ухмыльнулся Таратута, все еще продолжая протирать очи.— Для чего мне туда ехать?

— На вашу историческую родину, Семен Янович! — сказал Захарченко.— Для воссоединения семьи.

— Здравсьте! — нагло сказал Таратута, надел очки, уселся поудобнее и вытянул ноги.— Во-первых, я далеко не уверен в том, что Израиль моя историческая родина. Может быть, моя историческая родина — это Огненная Земля или мыс Доброй Надежды. Ву компрене? А во-вторых, никакиж родственников у меня в Израиле нет.

— Нет? — улыбнулся по привычке Захарченко и сразу же почувствовал себя увереннее и спокойнее.— Так-таки и нет?

— Нет.

— Любопытно!

Захарченко открыл лежавшую перед ним на столе папку-скоросшиватель, перелистал какие-то бумажонки, снова улыбнулся:

— А вот, между прочим, у меня тут имеется заявление от гражданина Таратуты Семена Яновича. Датированное двадцатым ноября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. И в этом заявлении гражданин Таратута Семен Янович просит, чтоб ему разрешили выехать на его историческую родину в Израиль для воссоединения семьи.

— Но...

— Минуточку! — строго сказал Захарченко.— И тут же,

приложенный к заявлению, имеется вызов — он, правда, устарел, но это мелочь, — вызов Семену Яновичу Таратуте от его двоюродного брата Симона Сокольского, проживающего в Израиле, в городе Тель-Авиве, улица Алленби, двенадцать... — Улыбаясь все шире и слаще, он уже без боязни, в упор поглядел на Таратуту: — Как же прикажете все это понимать, Семен Янович? Мне бы не хотелось понимать так, что вы имели намерение нас обмануть!

Таратута подтянул ноги и сказал:

— Ну зачем же — обмануть?! Все это значительно сложнее...

— Правильно! — сказал Захарченко. — Вернее, было сложно, стало просто. Придется мне повторить то, с чего я начал, — ваш вопрос в Москве решен положительно, и вы можете ехать.

— Я не могу ехать, — тихо и растерянно сказал Таратута.

— Можете не можете, а должны! — усмехнулся Захарченко. — Виза, которую вы получите в Москве, действительна пять дней, по восьмое октября. Если вы не уедете седьмого или, в крайнем случае, восьмого утром — вы будете задержаны как лицо без подданства, нелегально находящееся на территории Советского Союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Он победоносно тряхнул головой и не без ехидства сказал:

— Вы спросили меня, Семен Янович, «Вы компрене?». Мы-то, как видите, компрене! А вы?

Наступило молчание.

Таратута, опустив голову, с преувеличенным вниманием разглядывал носки своих заляпанных грязью польских туфель, а Захарченко, скосив на Таратуту глаза, по-прежнему безуспешно пытался припомнить, кого ему напоминает этот очкарик.

Оба они — и Захарченко и Таратута — были сейчас похожи на боксеров в ту короткую минуту отдыха после схватки, когда спасительный гонг развел их по разным углам, и они сидят, расслабившись, жадно глотая воздух, и благодатные руки массажистов разминают им плечи и спину, и влажная губка смачивает им опаленные лица, и что-то нашептывает им секундант, что-то очень важное, но что уже не имеет теперь ни малейшего значения.

Если продолжить это сравнение, то первый раунд сегодняшней схватки совершенно очевидно остался за Василием Ивановичем Захарченко. Но он понимал, что это только начало, что его противник еще не показал все, на что он способен, еще не выложил на стол все свои козыри, не пустил в ход главное оружие.

И, словно почувствовав эти опасения Василия Ивановича, Таратута оторвался от созерцания своих ботинок, вздохнул и сказал:



— Я не поеду. Не хочу... В конце концов, вы не имеете никакого права насильно заставить меня уехать.

— Смотря куда! — сказал Захарченко и значительно поглядел на Таратуту.

— Это что же — угроза?

Захарченко усмехнулся:

— Нет, Семен Янович, это не угроза. Это просто, так сказать, железный факт! Вы же не маленький, вы же, слава богу, прекрасно все понимаете сами! — И тут, чтобы не дать противнику прийти в себя, Василий Иванович заговорил быстро, решительно и деловито: — Значит, сегодня вечером вам нужно будет выехать в Москву. С самолетом связываться не советую — можно застрять, а у вас каждая минута на счету. Сегодня у нас третья, среда, в Москве вы четвертого — и это уже четверг, и у вас, в сущности, остается неполных два дня на все оформление: получение документов в ОВИРе, получение виз в голландском и в австрийском посольствах, билет на самолет до Вены, сдача багажа... Хотя вы человек одинокий, вещей у вас небось не так-то уж много, чемодана два-три...

— Чемодан у меня один! — резко перебил Таратута. — Не в этом дело. Я не хочу ехать. И, кстати, если бы я даже и хотел, я не могу ехать.

— Почему?

Таратута развел руками и с обезоруживающей улыбкой сказал негромко и четко:

— У меня нет денег.

— Что?!

— Нет денег!

Василий Иванович растерялся. Именно этого наипростейшего обстоятельства он не предвидел и не учитывал, готовясь к сегодняшней операции, которой они с Ершовым, развеселившись после звонка в Москву, дали кодовое название «Баба с воза».

— Нет денег? — тупо переспросил он. — Совсем нет?

— Ну, совсем не совсем, — кротко сказал Таратута, — но того, что есть, хватит только на билет до Вены. Вот, пожалуйста... — Он вытащил из кармана бумажник, пересчитал имевшуюся в нем наличность, печально усмехнулся. — Двадцать четыре рубля... Ну и еще рубля на два мелочи. Это наличные. И на сберегательной книжке — сто сорок. И все! А за одну визу, насколько мне известно, надо заплатить четыреста. За выход из гражданства — пятьсот. Это уже девятьсот. Теперь — налог на образование... Или он отменен?

— Не отменен, но имеется указание, чтоб временно не взыскивать, — с убитым видом пробормотал Василий Иванович.

— Ладно, — охотно согласился Таратута, — налог на образование не считаем. Но мне все равно, даже и без налога, недостает — и это по крайней мере тысяча рублей. Как же я могу уехать?

Таратута спрятал бумажник в карман и, еще удержавшись, чтобы не подмигнуть Василию Ивановичу, встал, как бы давая понять, что разговаривать им больше решительно не о чем.

— Подождите, Семен Янович, подождите, не торопитесь! — почти испуганно сказал Захарченко.

— Пожалуйста, — сказал Таратута и сел.

Снова наступило молчание. Только теперь уже Таратута искаса разглядывал Василия Ивановича, а Захарченко, понимая, что второй раунд был проигран им начисто, в пух и прах, лихорадочно соображал, как ему выпутаться из этого глупейшего положения.

Ничего не придумав, он на всякий случай спросил:

— Неужели вам не у кого одолжить?

— У кого, например? — со смешком поинтересовался Таратута.

— Ну, я не знаю... Все у кого-нибудь одалживают. Люди имеют родственников, знакомых.

Таратута печально покачал головой.

— Вот, вот! А у меня, представьте себе, как раз никого — ни знакомых, ни тем более родственников. И, кстати, не кажется ли вам, что все это очень странно: у людей есть родственники и знакомые, есть желание уехать и есть даже деньги, чтобы за это желание заплатить, но им разрешения не дают. А я без денег и никуда уезжать не хочу, и меня прямо-таки выталкивают! Да еще так внезапно! Почему? Зачем? В чем тут секрет?

— Никакого тут секрета нет! — сердито сказал Захарченко. — Заявления на выезд рассматриваются в порядке очереди. Ваше заявление давнее; подошла очередь, рассмотрели, решили — пожалуйста, можете ехать.

— Так ведь мне уже один раз отказали!

— Тогда отказали, теперь разрешили! — еще сердитее сказал Захарченко. — Между прочим, а на что вы тогда рассчитывали, если вы такой бедный? Деньги-то все равно надо было платить.

— Тогда у меня были друзья, которые могли мне помочь. А теперь — одни знакомые. Да и то, знаете, такие, у которых больше чем на пять рублей до получки не разживешься. Они сами только и глядят, у кого бы стрельнуть.

— Ну а по пятерке-то они дадут? — деловито поинтересовался Захарченко.

— По пятерке, может быть, дадут.

— Тогда так.— Захарченко задумчиво двумя пальцами оттянул нижнюю губу, посмотрел на Таратуту: — Есть такая поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей! У каждого друга займешь по три рубля, будет триста рублей! — Он деланно засмеялся.— Так вот, Семен Янович, что я хотел бы вам посоветовать...

— Есть и другая поговорка,— резко перебил Таратута,— советы нужны Ротшильду! Ему, Ротшильду, нужен хороший совет, и ничего больше. А нам нужны деньги и еще многое другое! Вы что же думаете, что я буду, высунув язык, бегать, как заяц, по всему городу и одалживать копейки, чтобы ехать в какой-то Израиль за тридевять земель, куда-то... — И вдруг Таратута запнулся.

И вдруг он вспомнил: летние сумерки, могучая старая липа, залезавшая ветвями в открытое окно, и вальс «Дунайские волны», который играл самодеятельный студенческий оркестр в беседке на Чистых прудах. Они — Аглая Николаевна, Адель и Семен — уже несколько вечеров подряд читали вслух, по кругу, колониальный роман Клода Фарера, действие которого происходило в Алжире. И, дочитав последние строчки, Аглая Николаевна отложила в сторону книжку, закурила, помолчала и сказала каким-то внезапно тоненьким, девчоночьим голосом:

— Дальние страны! Дальняя дорога! А я вот никогда, кроме Свердловска, нигде не была... Даже в Болгарии... Теперь все почему-то ездят в Болгарию! Вы непременно, дети мои, непременно должны отправиться когда-нибудь в дальнюю дорогу, в дальние страны! Пообещайте мне, пожалуйста!

И Адель с Семеном дружно ответили:

— Обещаем!

И еще — уже в Одессе — был другой вечер, когда они сидели вдвоем, Таратута и Леня Каплан, в пассажирском порту, на пирсе, а далеко в море — по линии горизонта, как по линейке, плыл белый пароход.

— Синее море, белый пароход! — пропел Леня первую строку из старой, времен гражданской войны, частушки и невесело засмеялся.— Ты знаешь, Семен, мы, одесские Капланы, не семья, а династия. Нас было когда-то так много, что все скрывали день своего рождения. Кого-нибудь не позвать — обидеть, а позвать всех — для этого нужно было снимать по крайней мере Оперный театр. И только однажды на моей памяти вся династия собралась вместе. Это было как раз здесь, на пристани. Мне было тогда лет пять, но я этот день очень хорошо помню. Два моих дядьки — Роман и Лазарь, братья отца,— уезжали в Палестину, в Израиль. А мы их пришли провожать. Прабабушку принесли в кресле,

представляешь?! Мой отец и еще один его брат, Натан, так, прямо в кресле, и несли ее по всему городу сюда, на пристань. И вот мы стояли здесь, в Роман и Лазарь — на борту парохода. Мы стояли молча — больше ста человек, наверное. И никто не плакал. А когда стали убирать сходни, Роман — он был старший — крикнул: «Приезжайте! Мы будем ждать!» И с той самой поры Израиль для меня — это страна, куда уплывает из моего детства белый пароход по синему морю и где меня ждет мой дядька Роман! — Леня снова невесело засмеялся, взъерошил пятерней седые волосы: — Между прочим, его убили в сорок шестом году...

И Таратута, чувствуя где-то под ложечкой знакомый озорной холодок, сказал, глядя в упор на Василия Ивановича Захарченко:

— Вот что мне сейчас пришло в голову: а может быть, вы мне одолжите эти деньги?

— Я?! — шепотом от удивления спросил Захарченко.

— Ну, не вы непосредственно, а организация, ведомство, министерство, которое вы представляете. Если вам за чем-то нужно, чтоб я уехал, — вы и платите!

Эти нахальные слова Таратуты произвели на Василия Ивановича Захарченко неожиданно странное действие. Как и вчера, когда они звонили с Ершовым в Москву, удаляя кровь казацких предков ударила ему в голову, он весь как-то набычился, тяжело задышал, уперся кулаками в крышку стола и, с ненавистью глядя на Таратуту, глухо спросил:

— Так сколько, вы говорите, у вас есть?

— Чего? Денег? Денег у меня ровно, как в аптеке, сто шестьдесят четыре рубля сорок копеек.

Василий Иванович сузил глаза, что-то быстро прикинул в уме, грохнул кулаком по столу и решительно — понимая, что катится в пропасть, но не давая самому себе времени, чтоб одуматься, — проговорил:

— Ладно! Давайте так — выкладывайте триста рублей, остальное доложим мы! По рукам?

— А откуда ж я возьму триста рублей? — ухмыльнулся Таратута.

— Сто шестьдесят у вас есть?

— Сто шестьдесят есть. И еще даже — четыре рубля сорок копеек.

— Ну, копейничать мы не будем, — великодушно махнул рукой Захарченко. — Советская власть, как... кое-кто, извините за выражение, из-за копейки не удавится! Сто шестьдесят у вас есть, сто сорок достаньте и — полный вперед!

Таратута вздохнул и пожал плечами:

— А откуда же я достану сто сорок?

— Одолжите. Соберите. Это уж надо быть... я просто не знаю кем, чтоб не суметь в Одессе достать сто сорок рублей. Ну, ладно, ну, пожалуйста, долбжите девяносто, чтоб у вас было ровно двести пятьдесят. Это как раз на самолет до Вены и на обмен валюты... Договорились?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — еще нахальнее, чем прежде, сказал Таратута и даже позволил себе язвительную улыбку. — Я уже сказал вам — никаких денег я доставать не намерен. Хотите — доплачивайте за меня, не хотите — не доплачивайте.

— Хорошо, — после паузы, тихо, все еще тяжело дыша, сказал Василий Иванович. — Хорошо! — не своим голосом закричал он в припадке сумасшедшего, отчаянного восторга, с которым бросаются голой грудью на колючую проволоку, с которым прадеды его, прасолы, обжулив хмельного бедолагу, рвали черными пальцами рубаху на потной груди, бросали шапку оземь и топтали ее сапогами. Это второе «хорошо» Захарченко прокричал так громко, что за дверью, в приемном зале, откуда все время доносился глухой и ровный, как из предбанника, гул, наступила мгновенная тишина. — Хорошо! — в третий раз, азартно блестя бессмысленно-прекрасными глазами, сказал Василий Иванович. — Идите собирайтесь. Поезд в Москву отходит в двадцать два пятнадцать. Билеты вам доставят прямо в гостиницу. Завтра, по приезду в Москву, вам следует... Впрочем, я скажу инструктору — он вместе с билетом передаст вам памятную записочку — что, где, когда... Вот и все, до свиданья, идите! — Он сгорбился, обмяк, опустил сразу погасшие глаза и почти попросил: — Идите! Идите, чтоб я вас больше не видел.

Таратута встал, потоптался на месте, оглядел кабинет Василия Ивановича и, вспомнив рассказ месть Раевского, спросил:

— Между прочим, вы не знаете — а что здесь, в вашем помещении, было до революции?

Не поднимая глаз, Василий Иванович Захарченко ответил сгорбно и глухо:

— Здесь — был всегда сумасшедший дом!

<7>

Итак, он уезжает.

И это не придремалось, не причудилось, не пригрезилось. Дальняя дорога, как Валя-часовщик, перешла из сна в явь, и вот она лежала на столе в конверте — дальняя дорога, шестерочка пиковая, билет на скорый поезд Одесса — Москва, отправление

третьего октября, в двадцать два пятнадцать, пятый купейный вагон, место одиннадцатое, нижнее.

И вещи, уже готовые тронуться в путь, стояли рядом на незастеленной постели — чемодан, перехваченный ремнем, вещевой мешок и авоська, нейлоновые ручки которой Таратута благовидно обмотал и стянул носовым платком.

«Без авоськи — ни шагу! — подумал он. — Еще ни один советский человек, сколько бы чемоданов он с собою ни вез, не сумел обойтись без авоськи!»

Билет на поезд вместе с памятной запиской, составленной инструктором ОВИРа, принесли ему в гостиницу уже в полдень.

На то, чтобы уложить вещи, понадобился час, — он, кстати, большую часть этого времени потратил на то, чтобы хоть как-то замести следы вчерашней вальпургиевой ночи и разыскать под креслами и диваном раскатившиеся с опрокинутой доски шахматные фигурки. Одну белую пешку он так и не нашел. Жаль пешку! Прощай, пешка!

«Пешки — не орешки», как любил говорить доктор Тараш!» — вспомнил он дурацкое присловие, которое услышал впервые в Московском шахматном клубе от длинноносого и длинноногого мастера, обучавшего их, мальчишек-первокурсников, теории печечных окончаний.

Тогда ему, Таратуте, довелось получить от мастера поощрительный щелчок по лбу за то, что он сумел решить знаменитый этюд Рети, где белый король в одиночку героически борется на два фланга с черным слоном и проходной пешкой. Прощай, пешка!

В памятной записке среди прочих ценных указаний и советов был и такой: «Не заходите без особой надобности на работу, в железнодорожный техникум. Кто надо, поставлен в известность, — говорилось в записке, — а лишние разговоры ни к чему!»

Вот и хорошо! Вот и превосходно! И нечего ему туда заходить, и нечего ему там делать, в этом железнодорожном техникуме! Прощай, железнодорожный техникум!

Да, ну а все-таки, а что ему делать в эти последние оставшиеся до поезда девять часов? Куда их девать? Как ими распорядиться?

Все, что с Таратутой случилось вчера и сегодня, случилось так внезапно, так оглушительно неправдоподобно, что он еще не успел понять, не успел разобраться, радоваться ему или печалиться, негодовать или покорно плыть по течению.

Там, в кабинете Захарченко, в ОВИРе, он словно бы смотрел на все со стороны, словно бы играл в старую детскую игру — «Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте!».

Выиграл он или проиграл? Или, что больше всего похоже на истину, ничья повторением ходов? Должно быть, ничья. Ничья хотя бы уже потому, что пусть они — всегда безликие и безымянные (даже если и были у них имена и лица), — пусть они добились своего и вроде бы выиграли, но, во-первых, он заставил их самих заплатить за выигрыш, а во-вторых, если уж говорить совсем откровенно, то он-то ничего, в сущности, не терял.

Его случай был особым случаем. Он уже прожил три жизни — в Свердловске, в Москве, в Одессе.

И это не было этапами, ступеньками, главами одного и того же существования, нет, это были именно три отдельных жизни, не имевших почти никакого касательства одна к другой. И только вторая — московская — жизнь оставила по себе пронзительную и светлую память, а Свердловск и Одесса просто-напросто были и прошли.

Он усмехнулся. Еще не начиная прощаться, он уже простился с Одессой.

В дверь постучали.

— Да? — сказал Таратута.

Вошла Лидия Феликсовна.

Она молча кивнула Таратуте и, надменно поджав тонкие сухие губы, принялась проверять инвентарные номера — круглые металлические бляхи, прибитые к спинке дивана, к ручкам кресел, к ножке стола и к абажуру настольной лампы.

Эти инвентарные номера были почему-то предметом особой заботы Лидии Феликсовны, словно она подозревала постояльцев, что они только о том и думают, как бы им подменить гарнитуру «Дружба народов» Рижского мебельного комбината на гарнитуру «За мир и дружбу» Харьковского комбината или вовсе на какую-нибудь безвестную рухлядь.

Обычно Лидия Феликсовна приносила с собой толстую канцелярскую книгу и дотошно сверяла номера на инвентарных бляхах с номерами, записанными в книге. Но сегодня она ограничилась беглым осмотром. Так же наспех, небрежно и халтурно, проверила она одеяло, простыню, пододеяльник и наволочку, которые были проштемпелеваны с четырех сторон огромными черными, навеки несмываемыми печатями.

— Кодекс кодексом, — говорил Леонтий Кузьмич Верченко, намекая на «Моральный кодекс строителей коммунизма», — но с клеймом — оно, знаешь, надежнее! Не сопрут и на барахолку не стащут!

Закончив осмотр номера, Лидия Феликсовна направилась в ванную.

— Не крал, не крал, честное слово! — закричал ей вслед Та-

ратута.— Полотенца не крал, зеркало над умывальником не свинтил, туалетной бумаги целый рулон оставил!

— Вы напрасно острите,— снова появляясь в комнате, сказала Лидия Феликсовна.— Вы сдаете номер, а я обязана его принять. И между прочим, недостает одного стакана.

— Подумаешь, стакан! — сказал Таратута.— Я выйду сейчас и куплю.

Лидия Феликсовна иронически подняла брови:

— Как это у вас все просто — выйду, куплю... Вы вот выйдите, а тут как раз ревизия! Обнаружат недостачу, кто виноват? Лидия Феликсовна виновата! Нет уж, гражданин Таратута, я должна составить акт.

— Составляйте,— вздохнув, сказал Таратута.

Лидия Феликсовна подумала, зябко поежилась и неожиданно махнула рукой:

— А-а, ладно, бог с ним — со стаканом!

Она присела на валик дивана, снизу вверх, слегка наклонив голову, поглядела на Таратуту:

— Значит — уезжаете?

— Уезжаю,— сказал Таратута.

— А где вы будете жить?

— Пока не думал,— улыбнулся Таратута.— Все это, знаете, так внезапно... Ну, буду, наверное, где-нибудь жить... Но ведь хочется и мир поглядеть.

— Это верно! — кивнула Лидия Феликсовна и, помолчав, добавила: — Может быть, даже и в Финляндии будете?

— Вполне возможно,— сказал Таратута.— А у вас там знакомые есть? Родственники? Хотите что-нибудь передать?

— Нет, нет, нет,— испуганно затрясла головой Лидия Феликсовна.— Что вы?! Откуда?! Я никого не знаю... Я только знаю, что там есть водопады. И господин Кекконен.

Она поспешно встала, протянула дощечкой руку:

— Ну, до свиданья! Счастливого вам путь!

— Мы еще увидимся — мой поезд вечером,— сказал Таратута и, наклонившись, поцеловал Лидии Феликсовне руку.

Она хотела ее отдернуть, но не отдернула, прикрыла на мгновение глаза, тихо сказала:

— Спасибо!

Потом она вдруг спохватилась:

— Ой, совсем из головы вон... Вас непременно просил зайти к нему Леонтий Кузьмич!

Кабинет Леонтия Кузьмича Верченко, заместителя директора гостиницы «Дружба», помещался на втором этаже, рядом с буфетом.



Когда Таратута вошел, Леонтий Кузьмич стоял в мрачном и глубоком раздумье, держась одной рукой за дверцу несгораемого шкафа. Одет он был, как всегда, причудливо и небрежно — без пиджака, в клетчатой рубашке, расстегнутой на могучей груди, в допотопных диагональных галифе, заправленных в толстые, деревенской вязки, шерстяные носки.

Увидев Таратуту, Леонтий Кузьмич просиял:

— А я, понимаешь, стою и думаю — рано еще или пора... Ну, а уж коли ты пришел, то, как говорится, сам бог велел!

Он открыл тяжелую дверцу, достал из несгораемого шкафа бутылку «Столичной», тарелку с солеными огурцами и кислой капустой, перенес все это добро на стол и сказал:

— И не вздумай отказываться. Без посошка на дорожку я тебя все едино не отпущу!

Он сел, выдвинул рывком ящик письменного стола, достал две пластмассовые стопочки — голубую и красную, себе налил в голубую, а Таратуте, как гостю, придвинул красную.

— Ну, будь!

И только теперь Таратута заметил, что Леонтий Кузьмич не то успел уже изрядно поддаться с утра, не то еще не протрезвел с вечера.

— Давай, Семен!

Выпили. Покряхтели. Деликатно закусили огурчиком и кислой капустой. Верченко поискал глазами, обо что бы ему вытереть мокрые пальцы, не нашел ничего подходящего и вытер их об усы.

— Хитер! — сказал он и одобрительно подморгнул Таратуте. — Хорошо, мне из ОВИРа позвонили, а то я бы и не знал.

— Я и сам не знал, — сказал Таратута.

— Хитер, хитер! — продолжал тягуче Леонтий Кузьмич и вдруг, наклонившись, сказал свистящим заговорщицким шепотом: — А я ведь тоже, между прочим, кое-где был, веришь — нет?! В Кон-стан-ти-но-по-ле! — произнес он по слогам и засмеялся. — Нас всей бригадой в каботажное плаванье брали. На «Михаиле Лермонтове». Ну, приходим в Константинополь, а нам — увольнительную на берег, на шесть часов... Веришь — нет?! А в Константинополе этом знаешь чего пьют?! Они, черти маринованные, денатурат пьют. И не скрывают. Так прямо на бутылке и нарисовано — череп и две кости! Ну, мы, как на берег сошли, взяли по бутылке на личность, выпили тут же, на пирсе, и закосели... Хотим добавить, а денег не хватает. Ну, мы обиделись и на корабль вернулись, часа не прошло. Нас помполит хвалил потом за это и другим в пример ставил. А что, Семен, в Израиле пьют?

— Понятия не имею,— сказал Таратута.— Я далеко не уверен, что там вообще пьют.

— Ну как это может быть? — удивился Леонтий Кузьмич и даже слегка пригорюнился.— Ну зачем ты, Семен, такие глупости говоришь?!

— Жарко там очень. Я вот читал, что...

— Ты за прошлое читал! — перебил Леонтий Кузьмич и снова повеселел.— Ну, раньше они возможно что и не пили. А уж теперь, когда наши туда понаехали... И это, знаешь, не важно — евреи, не евреи... Важно, что советские! А жара, я тебе скажу, так это хорошо даже. Жара — она только крепости добавляет! Ты мне пиши оттуда, Семен. Ну, что пьют и как пьют — это, может быть, цензура не пропустит, а ты напиши: извини, мол, Леонтий, ошибался. И я пойму! Напишешь?

— Напишу,— пообещал Таратута.

— Леонтий Кузьмич! — В дверях, ведущих из кабинета прямо в буфет, появилась растрепанная пожилая буфетчица (похожая сразу на всех трех ведьм из пьесы «Макбет» английского драматурга Шекспира, как сказал бы месть Раевский) и прокричала с рыданиями в голосе: — Леонтий Кузьмич, сил моих больше нет, тут вас требуют!

— А что случилось?

— А ничего не случилось! Муха тут одному, видите ли, в кофий попала...

Леонтий Кузьмич нахмурился:

— Муха? Ну и что? Ну а я при чем?

— А он велит, чтоб жалобную книгу принесть. А я ему говорю, что книга у вас.

Буфетчица вскрикнула.

— Ну, тихо, тихо, Тамара! — сказал Верченко, тяжело поднялся, провел по лицу растопыренными пальцами, словно сдирая с себя хмель.— Извини, Семен! Попрочься — и то не дадут. Аристократы, мать их растак! Он мухою, понимаешь, брезгует, ему за двенадцать копеек бабочек подавай!

А дождик, ливший всю ночь и все утро, к полудню, как ни странно, прошел. И в разрывах облаков появилась подсвеченная золотом голубизна, и Одесса в одно мгновение посветлела, похорошела.

Таратута медленно шел, заложив по привычке руки за спину, насвистывал, глазел по сторонам. Ему было почему-то грустно, хотя он и не хотел себе в этом признаться. Вернее, запретил.

За все годы, что прожил он в Одессе, он так и не сумел полюбить этот город.

Разумеется, он проникался по временам прелестью его прозрачных вечеров, морскими томительными закатами и шуршанием каштанов; его восхищала забавная одесская речь — певуче-ленивая, с лукавыми, всегда вопросительными интонациями, речь настолько своеобразная и соблазнительная, что он и сам охотно ей подражал; его восхищала непоколебимая уверенность одесситов в том, что все у них самое лучшее — лучший Оперный театр, лучшая глазная больница, лучший Приморский бульвар, лучшая главная улица и уж конечно лучшие женщины, воры и музыканты.

И он готов был даже с ними согласиться, но все-таки полюбить Одессу не мог. Ему было неуютно в этом городе, скучно, одиноко.

Впрочем, ему, наверное, всегда будет одиноко, всюду, где нет Адели. Но об этом он и вовсе запретил себе думать. Раз и навсегда.

Он внезапно остановился и постарался вспомнить, хорошо ли он уложил единственное свое сокровище — «Декабриста Лунина». Кажется, хорошо. В картонную коробочку, набитую ватой, а сама миниатюра завернута в папиросную бумагу в несколько слоев, можно не волноваться.

На Приморском бульваре, радуясь неожиданно просветлевшему дню, сидели на скамейках чинные молчаливые старики.

Это были не бездельники пенсионеры — часы пенсионеров и домино наступали позже, — это были деловые люди, знаменитые продавцы «слова».

Необычайный этот промысел, единственный и неповторимый, родился в Одессе в первые послевоенные годы и дожил до наших дней, то затухая, то разгораясь снова до жара и яркости адского пламени.

«Слова» делились на множество групп, видов и подвидов: «слова» женские, мужские и детские, «слова» продовольственные, «слова» особые.

В этом последнем подвиде больше всего ценились такие «слова», как «телевизоры», «холодильник», «бритвенные лезвия», «ковры» и «пылесос».

Сам процесс покупки-продажи «слова» происходил так:

— У кого есть мужское «слово»? — спрашивал покупатель.

— У меня есть мужское «слово»! — отвечал продавец.

— На когда?

— На сегодня.

— Почему?

Продавец пожимал плечами:

— Смотря какое «слово» вам нужно.

Покупатель, оглянувшись, чтоб убедиться, что никто не подслушивает, ронял сквозь зубы негромко:

— Обувь. Есть?

— Есть. Только «слово» «обувь» стоит сегодня полтора рубля.

— Почему так дорого?

— Потому что очень хорошее «слово». Зимнее. Импортное. Уверю вас, вы будете гулять с вашей дамочкой или бежать за трамваем — и вы будете вспоминать меня, такое я вам продам «слово»!

— Ну, ладно.

Покупатель платил полтора рубля и получал в обмен бумажку, на которой бисерным почерком было написано: «В три часа дня в специализированном магазине «Обувь», у вокзала, будут в продаже чешские зимние ботинки от сорокового до сорок четвертого размера. Заведующую мужской секцией зовут, на всякий случай, Нина Петровна».

Откуда продавцы «слова» получали эти сведения, не знал никто, но в достоверности их можно было не сомневаться. Человек недобросовестный, уличенный во вранье, изгонялся беспощадно и навсегда из великого ордена продавцов «слова». Даже малейшая неточность и та каралась лишением права торговать на шесть месяцев.

Поравнявшись со стариками, Таратута поднял руку в торжественном салюте:

— Братский привет народам Африки, Азии и Латинской Америки, борющимся за свою независимость и свободу!

Старики добродушно закудахтали, и один, с седой эспаньолкой, сказал:

— Молодой человек, есть особое «слово» — пальчики оближешь!

Таратута остановился:

— Телевизор?

— Нет.

— Холодильник?

— Послушайте, молодой человек, вы же не знаменитая парижская гадалка мадам Ленорман и не бюро прогнозов! Заплатите два рубля, и вам не нужно будет ломать себе голову!

Таратута подумал и сказал:

— Прошу учесть, что лично я вообще уезжаю и мне ничего не нужно. Но я готов внести два рубля на поддержку справедливой борьбы за свободу и независимость!

Он вытащил из кармана кошелек, отсчитал мелочью два рубля и получил от старика с эспаньолкой сложенную «фантиком» бумажку.

Таратута развернул ее, прочел, засмеялся.

— Нравится?

— Очень! — Он поклонился. — Спасибо и до свиданья.

— До свиданья! — хором ответили старики. — Желаем счастья!

Прощайте, продавцы «слова»! Прощай, Приморский бульвар, и прославленная лестница, ведущая от бульвара в порт, и Воронцовский дворец! Прощайте и не вспоминайте лихом!

У будки телефона-автомата он слегка замедлил шаги, раздумывая, кому позвонить, попрощаться. Он даже приготовил двухкопеечную монету, но, перебрав в уме всех своих одесских знакомых, с удивлением понял, что звонить-то ему некому. Каретниковы были на работе, Майзель в командировке, а у Алеши Тучкова телефона нет.

«Лучше просто к нему заехать», — подумал он и тут же решительно прогнал эту мысль.

Этого делать нельзя, это опасно. Вот уже пять лет пытался Алеша получить инвалидную коляску, вел по этому поводу бесконечную переписку с Министерством здравоохранения, собирая сотнями справки, характеристики, ходатайства; ему наконец обещали, что к весне он будет внесен в список тех, кто действительно в таковой коляске нуждается, а там, глядишь, через год-полтора он ее и впрямь получит; и как бы не повредил ему, как бы все это не порушил прощальный визит Таратуты.

Нет, не надо заезжать к Алеше Тучкову! Прощай, Алеша Тучков!

Опыт всех трех его прошлых жизней — в Свердловске, в Москве, в Одессе — научил Таратуту нехитрому правилу: если случается с тобою что-то неожиданное и непонятное, если вмешиваются в твою судьбу силы неведомые, грозные и есть подозрения, что называются эти силы именем коротким и черным, которое, как имя черта, не принято произносить к ночи, — замкнись и не впутывай в твои дела других (друзей особенно), не звони, если не звонят они сами, не навещай, не тревожь, чтоб не говорили потом, чтоб не жаловались, что ты их подвел.

Прощай, Алеша Тучков!

Но в будку телефона-автомата Таратута все-таки зашел, опустил монетку в отверстие, снял трубку, набрал номер и, услышав щебечущее «алло», сказал:

— Маргоша, привет! Это Семен.

— Ой, Любочка, милая, здравствуй! — пропела Маргоша, Маргарита Николаевна, товарищ Озерская, артистка Одесского театра оперетты. — Здравствуй, Любаня! Ты где же это пропадаешь?!

— Все ясно! — сказал Таратута.— Господин супруг и повелитель дома. Жаль. А я уезжаю и думал, что мы с тобою где-нибудь встретимся и пообедаем вместе!

— Не могу, Любочка, не могу никак. Сережа прихварывает, а у меня еще спектакль сегодня, и я...

— Ладно, ладно! — сказал Таратута.— Ну что ж, могу оказать тебе на прощанье небольшую дружескую услугу. В пять часов вечера в универмаг на Пушкинской, в отдел кожгалантереи, поступят в продажу польские чемоданы и сумки. Прощай, Маргоша!

Маргоша охнула, а Таратута повесил трубку, выбрался из будки телефона-автомата, повздыхал, покрутил головой и побрел по улице Карла Маркса по направлению к Дерибасовской.

«Я сижу в своей подворотне на улице Карла Маркса...» — припомнились ему слова Вали-часовщика, и тут же, словно по заказу, он увидел и эту самую подворотню, и вывеску «Часовая мастерская, ремонт и починка». Но на дверях мастерской висел огромных размеров, похожий на гирию замок, к которому шнурком от ботинок была привязана записка: «Ушел на базу».

Снизу зеленой тенью для ресниц кто-то успел приписать: «Ну и х... с тобой!»

«Так я, стало быть, и не узнаю, какая разница между починкой и ремонтом», — подумал, усмехаясь, Таратута и поглядел на часы.

Было четырнадцать часов пятнадцать минут. До отъезда еще оставалось восемь часов.

Ровно через восемь часов он будет стоять у окна вагона, и услышит негромкий свисток, и увидит, как внезапно откатнется назад перрон...

## ⟨8⟩

Он стоял в вагоне, у окна.

Раздался негромкий свисток, и Таратута увидел, как откатнулся и поплыл назад перрон, и столб с электрическими часами, и уныло сгорбившийся носильщик с тележкой, а Валя-часовщик и Толик с Валериком пошли рядом с вагоном, всё убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь.

Когда Таратута приехал на вокзал, они уже ждали его на платформе, у пятого вагона. Впереди, в излюбленной наполеоновской позе, скрестив на груди руки, стоял Валя-часовщик, а сзади, нагруженные какими-то свертками, переминались с ноги на ногу Валерик и Толик.

— А мы уже начали волноваться! — сказал Валя-часов-

щик. — Я хотел подвезти вас к поезду! Звоню в гостиницу, мне говорят — он уехал! Мы мчимся сюда — вас нет... Где вы пропали, Семен Янович?

— Искал такси,— сказал Таратута и с удивлением поглядел на Валю-часовщика. — А как вы вообще узнали, что я уезжаю?

— Семен Янович, дорогой...

Валя-часовщик криво улыбнулся, и лицо его на какую-то долю секунды — как вчера на банкете в ресторане «Волна» — стало серьезным и даже немножко печальным.

— Если бы я не знал обо всем, что случается в этом городе, за час до того, как это случается, я бы уже давно не гулял на воле и не имел бы счастья с вами познакомиться! — Он тряхнул головой и, переменяв тон, деловито спросил: — Это все ваши вещи?

— Да.

— Хорошо. Тогда так...

Он обернулся и поманил пальцем Валерика с Толиком.

— Мальчики отнесут вещи в вагон, всё положат, всё устроят, а мы с вами немножко прогуляемся. О'кей, мальчики?

— О'кей! — в один голос ответили Валерик и Толик.

Они поклонились Таратуте, взяли у него из рук чемодан, вещевой мешок и авоську, но почему-то не полезли в вагон, а направились легкой трусцой куда-то в конец состава.

— Эй, куда они? — дернулся Таратута. — Вот же пятый вагон.

— Семен Янович, не волнуйтесь! — сказал Валя-часовщик. — Вы едете в мягком. Я прямо удивляюсь на этих деятелей из ОВИРа! Такого человека они сажают в жесткий вагон, крохоборы! Но все в порядке — мы уже договорились с проводником!

— Да?

Таратута озабоченно сдвинул брови:

— А сколько нужно доплатить?

— Ничего не нужно доплачивать! — весело сказал Валя-часовщик, и на щеке его заиграла детская ямочка. — Проводник — свой человек. Вы будете с ним ехать, как с родной тетей! Идемте!

Он взял Таратуту под руку, они пошли следом за Валериком и Толиком в конец состава, к мягкому вагону, мимо почти странно пустого поезда, мимо немногочисленных провожающих и уезжающих, стоящих на ступеньках и на площадках вагонов.

Стрелка на круглых электрических часах перепрыгнула с десятой минуты на одиннадцатую.

— Семен Янович, хочу вас просить сделать мне небольшое одолжение! — сказал, понизив голос, Валя-часовщик. Он вытащил из кармана пиджака почтовый конверт без марки, про-

тянул его Таратуте: — Возьмите. Это письмецо нужно передать... Там, на конверте, все написано — и телефон, и адрес. Но лучше не звонить, а просто зайти. Вернее, обязательно нужно зайти. Есть в Москве такой художник — Лев Андреевич Ушаков. Говорят, что он очень известный художник, но это не имеет значения. Он приезжал в прошлом году в Одессу. Нас с ним познакомили; прямо скажу, что любви у нас не получилось, но он меня просил, чтоб я ему кое-что достал, я, конечно, достал, но это тоже не имеет значения. Вы просто передадите ему письмецо, он живет в центре, у площади Маяковского, много времени у вас не отнимет. Теперь скажите мне, Семен Янович, откровенно: куда вы полетите из Вены? В Рим или в Тель-Авив?

Таратута поглядел на Валю-часовщика, хмыкнул, покачал головой, проговорил медленно и задумчиво:

— Куда я полечу из Вены? В Рим или в Тель-Авив? Еще вчера я думал, хорошо бы съездить в Ленинград, и понимал, что это далеко и сложно. Мне всегда казалось, что мир кончается где-то у пограничной станции Брест, а остальные части света пририсованы просто так, для красоты... Одним словом, Валя, если я действительно окажусь в Вене, то из Вены я полечу в Тель-Авив.

Валя-часовщик кивнул:

— Я почему-то был совершенно уверен, что вы ответите именно так. Но очень важно, Семен Янович, очень-очень важно, чтоб вы не забыли сказать об этом Ушакову! А-а, вот и мальчишки!

Валерик и Толик стояли у мягкого вагона вместе с каким-то бородатым молодым человеком в железнодорожной форме. Оказалось, что это и есть тот самый проводник, с которым Таратуте предстояло ехать до Москвы, как с родной тетей.

— Все в порядке? — спросил Валя-часовщик.

— Все в порядке! — ответили Валерик и Толик. — Третье купе, любое место.

Стрелка часов прыгнула с двенадцатой минуты на тринадцатую.

— Прощу, — сказал проводник.

— Ну, Семен Янович! — сказал Валя-часовщик, коротко обнял Таратуту и подтолкнул его к ступенькам вагона. — Счастливый путь! Помните, как сказал вчера Ваню, — гора с горою не сходится, а человек с человеком сходится. Может быть, мы еще встретимся! Счастливый путь!

— Счастливый путь, Семен Янович! — крикнули негромко Валерик и Толик.

Он стоял у окна, а они шли рядом с вагоном, все убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и



улыбаясь. А потом они отстали, перрон кончился, и в последнем пучке света возникла и уплыла назад надпись: «Одесса».

Прощай, Одесса!

Таратута вздохнул, вошел в купе, снял пальто, огляделся.

Вещи его — чемодан и мешок — мальчишки подняли наверх, авоську оставили внизу, а на столике в живописном беспорядке, как игрушки под елкой, лежали два блока американских сигарет «Мальборо», бутылка английского джина, коробка чешских конфет и польский дорожный несесер из свиной кожи.

— Сумасшедшие психи! — вслух сказал Таратута и сел.

Он внезапно почувствовал, что смертельно устал, голоден, оглушен, что он все еще не в состоянии понять, — что же это с ним произошло и чем все это кончится.

Ему захотелось курить, но открывать «Мальборо» он не стал, а вытащил смятую пачку болгарской «Шипки», встряхнул ее, вытянул зубами сигарету.

И тотчас же, словно из-под земли, появился в открытых дверях купе проводник и протянул Таратуте зажженную спичку.

— Спасибо, — сказал Таратута, прикурил и решил, что он больше ничему удивляться не будет.

— Чаек согреть? — спросил проводник.

— Попозже, — сказал Таратута. — Я, знаете, съел бы чегонибудь...

— А ресторан рядом, — сказал проводник, — вы ступайте, пока народу немного, поужинайте. А я вам тем временем постельку постелю и чаек поставлю. Ступайте.

В вагоне-ресторане было и вправду почти пусто. Только за крайним, у входа, столиком сидела компания пожилых и каких-то на редкость, как на подбор, некрасивых мужчин. Мужчины пили пиво и молча наблюдали за тем, как одна из официанток, взобравшись на стойку, снимала с верхней полки буфета картонные коробки и передавала их буфетчице, румяной толстухе в вышитой украинской кофте. Вторая официантка — кривая на один глаз, но с модной прической, называемой в просторечии «вшивый домик», — стояла рядом и зевала.

Таратута сел у окна, включил настольную лампу, постучал ножом по краю бокала.

Кривая официантка обернулась, подошла, укоризненно проговорила:

— Только сели, а уже стучите! Вам пива?

— Нет, — сказал Таратута. — Я хочу есть.

Он раскрыл меню.

— Что вычеркнуто, того нет, — предупредила официантка.

— Так у вас тут почти все вычеркнуто.

— Что вычеркнуто, того нет,— тупо и привычно повторила официантка.

— А что же есть?

— Холодное, горячее?

— Горячее.

— Гуляш,— сказала официантка и вздохнула.

— А еще?

Официантка, сдерживая зевоту, ничего не ответила.

— Ну ладно, давайте гуляш.

— Один гуляш,— сказала в пространство официантка.— Что будем пить? Коньячок? Водочку?

— Какой у вас коньячок?

— Молдавский. Пять звездочек.

— Ого! — сказал Таратута.— Ну хорошо, принесите сто пятьдесят.

— Коньячку сто пятьдесят,— бросила на ходу официантка буфетчице и поплелась на кухню.

Таратута покачал головой, раздвинул от нечего делать шелковую в сборку занавеску на окне, поглядел в запотевшее стекло.

За окном была темень, редкие огоньки.

Дальняя дорога — шестерочка пиковая — вечер, поезд, огоньки. Все как в песне. И, как в песне, у Таратуты вдруг непонятной тревогой заняло сердце.

Она была сочинена в России, эта песня, и только в России, с немислимыми ее расстояниями, могут люди оценить и понять слова:

Вечер, поезд, огоньки,  
Дальняя дорога.  
Сердце ноет от тоски,  
А в груди тревога...

Ну в самом деле, ну что такое для европейцев дальняя дорога, когда, к примеру, от Парижа до Осло («на край света», как говорят парижане) всего-то пути ночь до Копенгагена, там пересадка, еще несколько часов — и Осло.

А суток пять или шесть не угодно ли? И это еще хорошо — бывает, что и подольше; бывает, что и по месяцу, если не по два!

И отправляются в такую дорогу не с одним, как европейцы, немудрящим чемаданчиком или сумкой, а с мешками и корзинами, с баулами и сундуками, с неизменным и обязательным чайником, чтоб выбегать на остановках за кипятком, с ножами, и ложками, и солью в тряпице; и даже ночью, извините за выражение, посудой, если берутся с собою в дорогу малые дети или такие старики, что вот-вот, не ровен час, отдадут богу душу.

И каких только разговоров, каких только былей и небылиц не наслушаешься в этой дороге! Неторопливо течет беседа, и кажется, что нет ей ни конца, ни начала, ни смысла.

Свесится с верхней полки чужой человек, послушает — и не поймет ничего.

— А Ленька-то тыр-пыр, а все равно своя рубашка ближе к телу, верно я говорю?

Но ответят не сразу. Ответят после паузы. А в паузе этой и чайку попьют, и по нужде сходят, и подумают, и пробежит поезд еще с десяток километров; и когда чужой человек уже и про вопрос-то забудет, тогда только наконец последует ответ:

— Оно, конечно, верно, но ведь и ей — Вологда Вологдой, а интерес иметь надо!..

Вот и пойми!

И куда бы ты ни ехал, как бы ни ехал — в теплушке или международном спальном вагоне, где красное дерево, бархат и зеркала, — в какую-то минуту, самую внезапную, непременно настигнет тебя тоска.

«Тоска вагонная, железная» — это тоже недаром сочинено в России.

В ранние сумерки или на рассвете ты выглянешь в окно — твой поезд притормозил на каком-то разъезде, — и ты увидишь домик, маленький, неказистый, с покатою крышей и цветастыми занавесками.

А на крыльце стоит молодая женщина, простоволосая, в ситцевом платье и в мужских сапогах на босу ногу. Одной рукой она держится за перила крыльца, а в другой руке у нее свернутый флажок — не разберешь, какого цвета.

И ты подумаешь о том, что никогда в жизни не узнаешь, как зовут ее, кто она, о чем думает. Никогда, никогда не повторится это мгновение — и все это вроде бы вздор и не стоит памяти, — но у тебя почему-то зайдет сердце от мысли о необратимости времени и о том, какое великое множество людей, живущих в одни с тобой годы, на одной и той же земле, никогда не слышали и не услышат о тебе, не узнают твоего имени, они пройдут, и уйдут, и не обратят внимания на то, что ты тоже существовал.

— Вот так встреча на Эльбе! — пропел над головой Таратуты тоненький голос.

Он поднял глаза и, хоть и дал себе слово ничему больше не удивляться, все-таки удивился.

Перед ним в кружевном, не первой свежести фартуке стояла та самая вчерашняя чернявенькая девица с черной челкой и зелеными глазами, та, из «джинсовой» компании, из прошлой жизни.

— Батюшки! — сказал Таратута. — Действительно — встреча!

— А я вчера весь вечер ждала, думала, что вы позвоните.

— Не мог, — коротко, не вдаваясь в подробности, ответил Таратута. — Между прочим, я ведь забыл спросить, как вас зовут?

— Алла.

— Прекрасно! Рад видеть вас, Аллочка!

— Я тоже. Вы ужинать будете?

— Да. Но я уже заказал.

— Кому? Лизке? Гуляш?

— Да.

— Вот падла! — искренне возмутилась Алла. — Этот гуляш ни один человек в здравом уме и твердой памяти есть не может. Мы его специально для алкашей держим, которым все равно, было бы во что вилкой тыкать.

Она наморщила лоб, подумала и, неожиданно переходя на «ты», спросила:

— Ты как к омлету с ветчиной относишься?

— Вполне положительно, — сказала Таратута.

Она улынулась, кивнула — черная челка взметнулась вверх и снова упала на глаза, — сказала:

— Не скучай! Через пять минут я вернусь!

Вернулась она хоть и не через пять минут, но все-таки довольно быстро, принесла омлет, коньяк, хлеб и от себя добавила порцию маринованной селедки и бутылку боржоми.

— Я быстро, да? — спросила она с наивным хвастовством. — Знаешь, когда сезон, никто быстрее меня не обслуживает. Лизка только с первой сменой рассчитывается, а у меня уже вторая ест. Я тебе селедочки еще принесла, ничего? Конечно, селедка под коньяк не очень-то, лучше бы водочка...

— Хорошо, хорошо, — сказал Таратута. — Все в порядке. У нас без предрассудков, у нас не только коньяк, шампанское селедкой закусывают...

— Ну и ладушки! — засмеялась Алла и приказала: — Ешь, не буду тебе мешать.

— Ой нет, погоди! — попросил Таратута. — Посиди со мной, а? Или не полагается?

— Вообще-то, конечно, не полагается...

Засунув руки в кармашки фартука, она покачалась на каблучках, прищурилась, негромко сказала:

— Ладно. А если кто спросит, скажи, что ты мой двоюродный брат.

Она присела на краешек стула, помолчала, стряхнула со

скатерти какие-то невидимые, скорее всего, воображаемые крошки, быстро взглянула на Таратуту и тут же снова опустила глаза.

— Ты слышал? Между прочим, твой Лапидус пришел сегодня домой!

— Это точно?

— Совершенно точно.

— Интересно! — сказал Таратута, хотя вовсе это было ему не интересно, потому что и сам Лапидус, и вся его история стали уже тоже вчерашним, прошлым, не имеющим смысла, но он все-таки повторил: — Очень интересно, — и поднял бокал с коньяком. — Ну, если так, то со свиданьем, Аллочка, и за благополучное возвращение Лапидуса!

— Чин-чин! — пропела Алла.

Таратута отхлебнул большой глоток, с шумом выдохнул воздух. У него закружилась голова, и он подумал: «Это, наверное, с голода. Я ведь, оказывается, ничего не ел со вчерашнего вечера».

Он отхлебнул еще глоток, посмотрел на Аллу, и ему показалось, что зеленые ее глаза побежали ему навстречу. Он слегка наклонился вперед и накрыл ладонью ее руку.

— Ужасно я рад, Аллочка, что мы все-таки встретились. Ты мне сразу понравилась! Ты красивая, умная...

«Господи, что я несу?!» — подумал он, но уже был не в силах остановиться.

— У тебя глаза умные... Слушай, а как ты здесь оказалась?

— Где — здесь? — не поняла Алла.

— Ну, в ресторане. Я думал, ты учишься или... Неужели не могла найти себе места получше?

— Получше? — Алла насмешливо покачала головой. — Ах, миленький, много ты понимаешь! Да ты знаешь, за то, чтобы получить это место, люди по тысяче рублей платят. И еще спасибо говорят, в ножки кланяются.

— Почему?

Алла пожала плечами:

— Зарботки хорошие.

Таратута снял очки, повертел в пальцах и, забыв протереть их, снова надел.

— Чаевые?

Алла скорчила презрительную гримаску:

— Чаевые! Скажешь тоже... Чаевые, миленький, — это пшено, печки-лавочки, детишкам на молочишко. Вот ты, например, пьешь коньяк.

— Пью, — сказал Таратута и с внезапной догадкой поглядел на Аллу. — А вы чаем его разбавляете?

Алла засмеялась:

— Мы подобными глупостями не занимаемся.

Она оглянулась на буфетчицу, тряхнула челкой, негромко и серьезно сказала:

— Бутылка этого коньяка в магазине стоит восемь рублей. А у нас почти шестнадцать, вдвое. И это не мы набавляем, ты не думай. Это официальная государственная наценка. С тебя в любом ресторане возьмут столько же. Получаем мы этот коньяк на особой базе Министерства путей сообщения. По счету получаем, по накладной — такое-то количество бутылок. Отправляемся в рейс — получаем, возвращаемся — за пустые, которые выпили, рассчитываемся, а которые не выпили, обратно сдаем. Ты сечешь?

— Секу, — пробормотал Таратута, — секу, но не понимаю — на чем вы тут зарабатываете?

Алла усмехнулась:

— А тут даже чокнутый — и тот заработает! — Она еще больше понизила голос: — На каждую бутылку, которую мы получаем с базы, ставится печать, штамп: Министерство путей сообщения, база номер такая-то, вагон-ресторан номер такой-то. Все в ажуре! Но только у буфетчицы нашей, у Марьи Григорьевны, есть точно такой же штамп. Сечешь? Перед рейсом мы в складчину покупаем в магазине по нормальной цене тридцать — сорок бутылок, ставим на них штамп и пускаем в продажу. Которые с базы бутылки — те в ящике, под буфетом или на кухне. Ну, конечно, несколько штук мы — для отчетности — продаем... Но в основном торгуем нашими. В сезон за один сдвоенный рейс мы, бывает, столько продадим, что пустыми назад едем: ничегошеньки не остается — ни коньяка, ни вина, ни водки...

— Хитро, — пробормотал Таратута.

— А ты говоришь — чаевые! — с воодушевлением сказала Алла. — И это, миленький, один всего лишь пример, а их... Такие есть номера — закачаешься. Объяснять только долго!

Гремя сапогами, вошли в ресторан двое военных, два майора. У обоих были совершенно остекленевшие, бутылочного цвета глаза и нарочито четкие движения.

За столик они не сели, а прошагали прямо к буфетной стойке, заказали по чайному стакану водки и по бутерброду с вареной колбасой; без удовольствия, словно выполняя ответственное задание, выпили, заели колбасой, расплатились и направились к выходу.

Уже в дверях один из них — тот, что был помоложе, — обернулся, поднял руку с оттопыренным указательным пальцем и громко сказал:

— Прошу учесть, что римский Ко-зи-лей был разрушен! Ясно?!

— Ясно,— ответила Алла и пообещала: — Учтем!

Майоры ушли.

— Пьянь несчастная! — сказала Алла.

Таратута допил коньяк и со вздохом сожаления поставил пустую рюмку на стол, поставил очень аккуратно, но она почему-то упала и едва не разбилась.

Таратута засмеялся, облизнул языком пересохшие губы. У него кружилась голова, перед глазами плыли какие-то веселые радужные пятна, и в одном из этих пятен то появлялось, то исчезало Аллино лицо. Иногда целиком, иногда по частям — нос, ухо, глаза, челка.

«Я на ней женюсь,— решил Таратута.— Женюсь и возьму с собою в Израиль. Мы будем жить счастливо и умрем в один день. Сейчас я ей все это скажу, но сначала нужно еще выпить!»

— Нужно еще выпить! — сказал он вслух.

— А тебе не хватит? — спросила Алла.

— Ха-ха! — сказал Таратута.

Алла поднялась, забрала пустую рюмку и ушла.

Таратуте захотелось петь. Но сколько он ни старался, он не мог припомнить ни одной подходящей к случаю песни. Он покрутил головой и с испугом обнаружил, что куда-то пропала компания очень некрасивых мужчин. Только что сидели, пили пиво — и вдруг пропали.

— Где они? — спросил Таратута, хватая за руку проходившую мимо кривую официантку Лизку.

Но Лизка, вместо того чтобы ответить по-человечески, вырвала руку и крикнула визгливо и непонятно:

— Какой с него калым?! Он уже и так левым винтом пошел!

Таратута обиделся, и голова у него перестала кружиться.

Алла вернулась, поставила на стол графинчик с коньяком и рюмку, озабоченно спросила:

— Ты как?

— Превосходно! — сказал Таратута.— А что за калым?

— Выкуп,— объяснила Алла.

— Почему? — спросил Таратута.

— Ну, это если ты хочешь,— не сразу ответила Алла.

Она покосилась на Таратуту, закурила, выпустила колечком дым, повторила:

— Если ты хочешь... Надо заказать шампанское и какой-нибудь закуски. Для всех — для буфетчицы, повара, Лизки... Посидим, погуляем, и тогда они отпустят меня к тебе. Но это, конечно, необязательно! — добавила она, вдруг как-то заторо-

пившись и глотая слова.— Это они так предлагают, а ты уж сам... Это, как говорится, тебе решать. И ты не думай, что я...

Таратута туго поморгал глазами и спросил:

— А шампанское дорогое?

Алла усмехнулась:

— Ну, вот об этом уж ты как раз не волнуйся. Твой счет оплачен. Заранее и даже с верхом. Мне Валерий Исаевич перед отходом пятьдесят рублей дал. Сказал, если ты загуляешь, так чтобы все было тип-топ.

— Валерий Исаевич?! Какой Валерий Исаевич?

— Что значит — какой? — развела руками Алла.— Ну, он же провожал тебя, я из окна видела. Ну, Валя-часовщик!

Они повесили на дверях, снаружи, с двух сторон таблички с надписью «Ресторан закрыт». И постелили свежую накрахмаленную скатерть. И погасили верхний свет, оставив гореть только уютную настольную лампу. Алла сидела рядом с Таратутой, напротив буфетчица и повар Игнатий Игнатьевич — очень худой человек неопределенного возраста, беззубый, но в таких же, как у Таратуты, фасонистых роговых очках.

А кривая Лизка, приплясывая, принесла ведерко, из которого торчали серебряные головки бутылок шампанского, игриво подмигнула Таратуте здоровым глазом и снова умчалась на кухню — за закуской.

Повар Игнатий Игнатьевич очень длинными белыми пальцами вытащил из ведерка бутылку шампанского и, сдирая с горлышка серебряную обертку, вежливо спросил у Таратуты:

— В Москву едете?

— В Москву,— сказал Таратута и икнул.

— Ничего, бывает! — благодушно заметила буфетчица, и было не очень понятно, к чему относятся ее слова — к тому ли, что Таратута едет в Москву, или к тому, что он икает.

— Ты смотри только не усни! — шепнула Алла.

Она прижималась к Таратуте плечом, и от нее пахло луком и польскими духами «Быть может».

Повар Игнатий Игнатьевич ловко, не пролив ни единой капли, открыл шампанское и первому, как хозяину стола, налил бокал Таратуте.

Прибежала Лизка с закуской — селедкой на тарелочках и вишнегретом в суповой кастрюле,— захлопала в ладоши, закричала:

— За молодых, за молодых!

А поезд сошел с рельсов и шпарил теперь прямо по полю, по мокрой ночной траве, через речку — по узкому деревянному



мостику, прорезал наискосок березовую рощу и закружился на одном месте.

— Не засыпай! — сказала Алла.

— Я не за-сы-паю! — сказал, засыпая, Таратута.

Он проснулся минут через пять, как ему показалось, но когда он с трудом разлепил глаза, то обнаружил, что лежит в своем кипе, а за окном совершенно светло, солнечно.

Из радиодинамика доносилось какое-то шипение и потрескивание, как будто на гигантской кухне на гигантской сковороде жарили гигантскую яичницу.

Потом шипение и потрескивание прекратились, и отвратительно бодрый голос сказал:

— Граждане пассажиры! Наш скорый поезд номер тридцать второй прибывает в столицу нашей Родины, орденосный город-герой Москву.

В радиодинамике что-то щелкнуло — и сводный хор молодых и девиц, счастливо избежавших тягот военной службы и ужасов честного труда, грянул во всю дурацкую мочь:

Москва моя, страна моя,  
Ты самая любимая!

*Бад-Хайльбрун, Мюнхен, Париж  
1976—1977*

П р и л о ж е н и е  
В о с п о м и н а н и я  
о б  
А л е к с а н д р е  
Г а л и ч е

## О ГАЛИЧЕ — ЧТО ПОМНИТСЯ

Когда уходит знаменитый человек, он мгновенно обрастает друзьями, как пень опятами в грибной год. Сколько друзей появилось у довольно одинокого в жизни Твардовского и особенно — у Высоцкого. Нечто подобное происходит ныне с Галичем. Хотя свидетельствую: те, кого он называл друзьями, почти все ушли. Саша дружил большей частью с людьми старше себя, и нет ничего удивительного, что они покинули этот свет, ведь и Саше сейчас было бы за семьдесят.

Наши отношения с Сашей (я называю его так, как называл при жизни, величание по имени-отчеству было бы с моей стороны жеманством, ломаньем) прошли через несколько этапов: мгновенное влюбленное сдруживание с затянувшейся эйфорией от мощи первого толчка, долгая дружба, знавшая приливы и отливы, но прочная, верная, преданная — люди спаяны, но не настолько, чтобы поврозь не дышалось, не пелось, не пилося; встречи происходили зачастую непреднамеренно (мы вращались в одном кругу, бывали в одних местах, так что вполне случайными их не назовешь), порой под болезнь, но в основном — под внезапное душевное движение одного, мгновенно находившее отклик в другом, затем пришло чуть настороженное отчуждение, за которым все же скрывался жар, наконец резкое охлаждение, не убившее окончательно того доброго, что было заложено в молодости, но разведшее нас по разным концам света, сперва фигурально, а там и буквально — я не получал от Саши привета из того далека, куда занесла его судьба.

Попробую рассказать обо всех поворотах наших отношений, может быть, это что-то прибавит к образу Александра Галича, бронзовеющего на глазах под тихоструйной течью елеса и патоки. А Саша был настолько значителен и хорош, что несколько не нуждается в приукрашивании. Он не труп, не надо подмазывать ему губы и румянить щеки, он присутствует в нашей жизни,

более близкий и нужный, чем притворяющиеся живыми мертвяки.

Поведу я свой рассказ о Саше от жены его Ангелины, по-вгиковски — Ани, затем — с легкой Сашиной руки для всех сколь-нибудь близких — Нюшки. Простонародное прозвище было выбрано Сашей по контрасту — редко кому это теплое деревенское уменьшительное имя так мало подходило, как худой, утонченной, с длинными хрупкими пальцами Ангелине. Очень часто во внешности красивой женщины доминируют глаза, реже волосы, шея, рот, у Ани (я так и не смог перейти на Нюшку) руки были средоточием прелести. Бывало, на скучных, томительных вгиковских лекциях я, чтобы не отчаяться, неотрывно смотрел на длинные, нервные, нежные пальцы с миндалевидными темно-вишневыми ногтями. Сразу оговорюсь: нас связывала та прекрасная дружба, которая возможна между мужчиной и женщиной, когда и с той и с другой стороны нет и тени влюбленности.

Аня была очень худа, сперва здоровой девичьей худобой, затем худобой чрезмерной, какой-то декадентской. Один режиссер замечательно сказал, что она похожа на рентгеновский снимок борзой. Большой бесплотности и представить себе нельзя. В послевоенном ВГИКе, куда Аня вернулась за дипломом, ее называли Фанера Милосская. Для автора этих воспоминаний идеалом женщины была даже не Венера Милосская, а Русская Венера, запечатленная щедрой кистью Кустодиева. Чистота нашей дружбы охранялась этим вкусом. И как чудесно дружить с юным, красивым, соблазнительным для других существом, когда ты сам застрахован от соблазна тверже, чем целомудренный Иосиф Прекрасный от чар жены Пантефрия!

Аня в юности была открыта, доверчива, необыкновенно добра, преданна в дружбе, влюблива и долго оставалась такой. Отличал ее и немалый снобизм. Имена, репутации, известность человека значили для нее очень много. Ее женская суть охотно откликалась не просто привлекательному мужчине, а мужчине ну хотя бы заметному. Что не мешало ей быть долго и безответно влюбленной в моего дружка Осю Роскина, бедного московского школяра. Первый серьезный Анин роман был с человеком, который впоследствии сделал себе громкое литературное имя, а в ту пору ходил в подающих надежды режиссерах.

Летучие влюбленности в знаменитостей мирового и вгиковского масштаба завершились весьма прозаическим браком с ординарцем ее отца — бригадного комиссара. Ординарец был нижним чином, но имел за плечами не то мединститут, не то фельдшерскую школу. Красивый тихий парень с пепельными волосами и пушистыми ресницами. Будущий муж никак не походил на

героев Аниных действительных и воображаемых романов — скромнейший человек, которому ни при каких обстоятельствах не светило стать знаменитостью. Но ему светило стать отцом ее ребенка, и бригадный комиссар строжайших нравственных правил не спрашивал ни его, ни дочернего согласия на брак: полковой батюшка насильно обвенчал грешную пару в гарнизонной церкви. (Не знаю, с чего вдруг потянуло по-сашесоколовски смешать разные исторические пласты.) Они расписались, и Аня приняла смешную, совсем ей не идущую простонародную польскую фамилию мужа. Она была радостным, отходчивым человеком и легко приняла неожиданный поворот в своей судьбе. Тем более что муж по обстоятельствам военной службы довольно редко появлялся в доме. Возможно, эти обстоятельства создавал сам бригадный комиссар, жалея проштрафившуюся дочь в глубине своего чугунного сердца.

Трудно было представить более неподходящего Ане отца, или, это будет вернее, менее подходящей дочери, нежели Аня, для жестоковыйного комиссара с кругозором, ограниченным «Кратким курсом ВКП(б)». При этом у него был облик полководца эпохи наполеоновских войн. Статью и ростом он напоминал графа Игнатьева, а лицом был красивой, и значительной, и, как ни странно, аристократичней, хотя не существовало дворянского рода Прохоровых. Если и пробивались Прохоровы в первые люди, то по купечеству или предпринимательству. Но вот такая игра природы: Анину утонченность, изысканность профиля с коротким надменным носом легко было вычитать в могучих чертах отца. От матери, милой, домашней и вовсе некрасивой, у Ани не было ничего, кроме доброты и гостеприимства, что немало.

В положенное время Аня родила девочку. Роды пошли ей на пользу, она чуть пополнела, у нее расцвел рот, и лицо обрело горячие южные краски,— может, кожа стала восприимчивее к солнцу. Она кормила, у нее появился бюст, в этот период жизни никому не пришлось бы в голову пошутить: Фанера Милосская. Она, видимо, чувствовала происшедшую в ней перемену и помогала ей: стала широко, во весь цветущий белозубый рот, смеяться и напускать света в серые, с голубоватыми белками глаза.

Мы были соседями и вместе ездили в институт, встречаясь у остановки трамвая на углу Кропоткинской. Доезжали до Арбатской площади, где пересаживались в троллейбус № 2 и через всю Москву плыли к Сельхозвыставке. Помню, мы ехали и разговаривали о популярном и на редкость идиотском романчике «Мими Блюэт», неизвестно почему заходившем в институ-

те по рукам. Это была история потаскушки, написанная как бы от лица ее поклонника-друга, тривиальная, оставшаяся в моей памяти литературным курьезом, ибо автор странным образом не определил своего отношения к неопрятным похождениям героини. Об этом можно было писать осуждающе, иронически, сочувственно, насмешливо, даже восторженно, а он писал как-то рассеянно, будто не понимая, о чем идет речь, и завершал очередную скабресную историю меланхолическим возгласом: «О Мими Блюэт, нежный цветок моего сада!» «Какой сад? — недоумевала Аня. — Он так называется публичный дом?» — «Он имеет в виду де Сада», — глубокомысленно изрекал я. Мы болтали, несли околицу, и Аней все сильнее овладевала смешливость. Вскоре ее смех стал неадекватен поводу — с переплеском. Так разряжаются порой непролитые слезы. Отвалился — пусть на миг — камень, и возрадовалось бедное человеческое сердце. Пассажиры оборачивались, это не сулило добра. Хотя всеобщее озлобление не достигало в ту пору нынешнего накала, молодой смех в публичном месте воспринимался «винтиками» как личное оскорбление. Я ждал, что ее обхамят, но люди смотрели на заливающуюся Аню снисходительно, даже добро, иные сами начали улыбаться. Чему-то они отозвались — безоружности смеха или дарящей открытости горячего доверчивого лица?..

Когда мы расставались на обычном углу, я сказал:

— Ты была удивительно красивая в троллейбусе. Тебе надо чаще смеяться.

Она посмотрела на меня. Лицо ее будто оплавилось и померкло.

— Какая разница?.. Игра сыграна и проиграна.

— Ты бредишь?

— Нет. Проиграна бездарнейшим образом. Ладно. Пока.

Она повернулась и пошла, ссутулившись, словно немолодая усталая женщина, покорившаяся судьбе. И вот тогда вошли в меня невыносимая жалость к чужой жизни и жар лермонтовской молитвы...

В самом начале войны Анин муж пропал без вести. Отец ушел на фронт. Аня с матерью и дочерью эвакуировались в Чистополь.

Встретились мы через полтора года, а казалось — через век. Аня вернулась в Москву одна, семья оставалась на Каме. Она почти не изменилась, только немного побледнела и чуть опустили уголки губ. Наша встреча получилась печальной, Аня все время плакала. Она не знала ни о гибели Оськи, ни о гибели других наших друзей. Это ее так ударило, что она стала лить слезы при любом сообщении, даже не таящем смертельного

исхода. Меня она оплакала со всех сторон. Я был на фронте — в слезы... Демобилизовался после контузии — в слезы... Работаю военкором «Труда» — в слезы... Развелся с женой — поток слез... Женился опять — тючевский разлив.

— Ты стала слезлива, как Железный Дровосек, — сказал я.

То был персонаж из нашей любимой сказки «Волшебник Изумрудного города». В его железной груди билось бесхитрое железное сердце, отзывающееся на любую боль, в отличие от искушенного человеческого, умеющего себя защитить. Поэтому он все время плакал и от слез ржавел.

Аня вспомнила, засмеялась и подсушилась.

У нее был медицинский спирт и копченая утка — посылка отца с фронта (охотился он там, что ли?). Мы сели ужинать. Я разбавил себе спирта.

— Как можно пить эту гадость? — Ее передернуло отвращением.

Я счел вопрос риторическим и промолчал. Жестокий ответ даст Ане через много лет сама жизнь.

Мы часто перезванивались с Аней, но виделись реже, чем нам хотелось бы. Я уже не был ее соседом, мотался по фронтам и тылам, а в свободное время обживался в новой семье, в непривычном для меня густом быте, притирался к людям незнакомой мне среды, пытаюсь как-то примирить эту новизну с тем, что мне было дорого в старом укладе. Словом, жил сложно...

В эту пору я познакомился с Сашей — где-то на улице, наспех. Нас познакомил мой вгиковский товарищ, выпускник режиссерского факультета. Оканчивающие во время войны киноинститут получали работу и «бронь», кроме лиц еврейской принадлежности. Справедливо посчитали: пусть молодые киноевреи повоюют за Россию, пока русские выпускники будут строить советский кинематограф в одной отдельно взятой стране. И этот одаренный режиссер, впоследствии поставивший много фильмов, среди которых были настоящие удачи, оказался в какой-то захудалой прожекторной части, где служил прославившийся вскоре Алексей Фатьянов. Алеша был справным золотолосым солдатом гвардейской стати и лихости, а наш друг, потрясенный несправедливостью, совсем опустился.словно воин поры начальной неподготовленности, он носил обмотки, башмаки б/у, шинельку б/у, матерчатый зеленый ремень и засаленную пилотку, которую надевал из цинизма не вдоль, а поперек. Он охранял Москву почему-то с востока, в Салтыковке, а на западе стал насмерть, в частях полевой почты, другой вгиковский еврей, ныне известный писатель. Я уделяю всему этому так много места не только потому, что режиссер-прожекторист познакомил меня

с Галичем, но он познакомил с Галичем и Аню, у которой частенько находился постоем, получая увольнительную из своей призрачной части. Познакомил, как поется в песне, «на свое несчастье, на свою беду».

Еще во вгиковскую пору Аня относилась к нему с повышенным вниманием, поскольку он по праву считался одним из самых элегантных молодых людей Москвы. Его пиджаки, пальто и шуба на бобрах сводили с ума московских пижонов. У него был богатый дед, не чаявший души в сироте внуке.

Когда он представил меня Саше, я вспомнил, что видел того на сцене театра-студии Арбузова в спектакле «Город на заре». Эта пьеса, написанная коллективом юных студийцев (в том числе Сашей) под руководством Арбузова, спустя многие годы таинственным образом оказалась единоличным произведением метра. Саша хорошо играл плохого (троцкиствующего) секретаря комсомольской организации великой стройки. По нынешним временам пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она звучала волнующей дерзкой правдой. А сама студия была тем, чем для другого поколения оказался молодой театр «Современник». В спектакле звучали человеческие ноты, в непременную, как бы основополагающую ложь было упаковано немало истинной жизни и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, наверное, самая неблагодарная роль, но он с честью вышел из положения.

В короткие минуты первой встречи разговор зашел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, ушедшем на фронт, он меня о Севе Багрицком, бывшем студийце и молодом поэте, погибшем на Волхове почти на моих глазах. Мы обменялись телефонами.

Саша произвел на меня сильнейшее впечатление. Высокий рост, благородная худоба, длинное узкое лицо, чудесные карие глаза, казавшиеся темнее от тени, отбрасываемой полями шляпы. Когда Саша, прощаясь, приподнял шляпу, плеснуло смуглым золотом. Прекрасна была и его скромная элегантность: серое пальто реглан, почти черная, с седым начесом фетровая шляпа, безукоризненная складка брюк. Вот кто умел носить вещи! В дальнейшем я несколько раз ловился на этом. Встречаю Сашу на улице в новом неземном костюме.

— Где шил? На луне?

Он смеется.

— Нет, правда, в Риге, у Бирнбаума?

— В литфондовском ателье. У Шафрана.

Шафран — закройщик из Белостока, откуда пришли все лучшие портные и джаз Эдди Рознера (они достались нам в результа-



те рукопожатия Молотова с Риббентропом), — шьет мне отличный костюм, но вполне земной, не с луны. Мне кажется, что он для Саши больше старается, ведь Саша далеко не Аполлон: сутулится и плечи могли быть пошире. Самолюбивый Шафран лезет из кожи вон, шьет мне новый костюм — опять с земли. Шьет Саше — с луны. Дело не в Шафране, а в том, что каждая вещь на Саше живет, а не «сидит», она становится словно второй кожей, участвуя в каждом движении, жесте, шаге, повороте. Он словно населял вещь своим изяществом и шармом.

Н. Коварский называл Сашу «еврейский Дориан Грей».

Я не умел завязывать знакомства, вечно боялся оказаться в тягость, и наша встреча наверняка бы кончилась ничем, не позвони мне Саша на следующий день с предложением «пошататься по городу». Я выдвинул контрпредложение: небольшая выпивка в домашних условиях. Жил я в ту пору на улице Горького, а Саша неподалеку — на Малой Бронной. Надо сказать, Саша никогда не ломался и был предельно точен. Он появился раньше, чем мы с женой успели накрыть на стол.

— Прямо так сразу? — спросил Саша, застенчиво покосившись на графинчик с водкой.

— А чего терять золотое время?

Мы приступили. Его манера пить мне не понравилась. Он был из незакусывающих. Это значит, он не гасил заедком ожога глотка, а предоставлял организму самому справляться и уж затем что-то вяло жевал. Он был гурманом, а не едоком. Знал толк в еде, умел о ней поговорить, а сам ел мало и неохотно. Он должен быстро пьянеть, подумал я. Так оно и оказалось.

Саша спросил мою жену, чем она занимается.

— Учусь петь.

— Не пой, красавица, при мне, — наклонив голову баранчиком, сказал Саша.

Шутка была сомнительная — он окосел на третьей рюмке. Вскоре он уже спал на диване, заботливо прикрытый пледом.

Через много лет, перенеся два тяжелейших инфаркта и болезни многие, Саша держал выпивку куда лучше, чем в молодости. Вскоре в нашем доме, в том дружеском кругу, куда ступил Саша, привыкли к его манере гулять. После первых трех рюмок он веселел, становился разговорчив, начинал рассказывать истории, которые мы уже знали наизусть, но могли слушать без конца, после четвертой его тянуло к роялю; он пел всегда одни и те же песни: «Вдали белеет чей-то парус». «Помню, в саях под медвежьей шкурою», «Как в одном небольшом городишке», после пятой замолкал, только улыбался, наклоняя голову баранчиком и тараща свои прекрасные глаза, затем вдруг

исчезал. Кидались его искать, он спал в свободной комнате глубоким, тихим сном. Мы его не трогали. Он просыпался, когда гости уже расходились, застенчиво улыбающийся и совершенно трезвый. «Посошков» он не признавал.

Мне всегда не хватало Саши, даже в тех редких случаях, когда он держался дольше обычного. С его отходом ко сну застолье теряло остроту и очарование. Все становилось плоским, грубым, тусклым, одухотворенный мир сползал в пьянку. И, чувствуя это, кто-то из компании начинал подражать Саше, повторяя его номера: о неудачнике циркаче, который, начав падать с подкупольной высоты, под конец свалился в люк, о продавце патентованного средства «потоляз». Иные делали это очень искусно, почти один к одному, и все равно не получалось, пропадала какая-то изюминка.

В нашем первом скромном пировании, когда Саша проснулся, причем довольно скоро, мы начали с ним ту упоительную игру, которая останется с нами на годы. Называется эта игра: «А помнишь?» Нам почему-то попался под руку Лермонтов.

— А помнишь: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»?

— А это помнишь: «Есть слово, значенье темно иль ничтожно...»?

— А это: «По небу полуночи ангел летел...»?

— А это: «Наедине с тобою, брат...»?

— А это: «В полдневный зной, в долине Дагестана...»?

Хотя Саша и был актером, стихи он читал не по-актерски, а по-домашнему, пусть и в романтическом ключе, без заземления. И он как-то приближался в эти минуты, потому что Саша почти всегда находился в некотором отдалении. Не то чтобы он держал расстояние — ничуть, но в нем шла постоянная сильная обременительная работа души, которая не позволяла ему раствориться в окружающем, распахнуться другому человеку. Но стихи он любил... свирепо (любимое горьковское словечко, за которое Алексей Максимович хватался, не в силах найти обозначения своей увлеченности) и тут выплывал из темных глубин, становился доверчивым, незащищенным и близким. Наслушавшись Сашиного чтения, моя жена сказала однажды, что не может смотреть на Сашу без слез. Она не была такой уж любительницей поэзии, но, верно, угадала за маской самоуверенного денди незащищенную, ранимую душу.

Мне кажется, Саша страдал от несоответствия своей истинной сути официальному, что ли, статусу. Он знал, чего стоит, а положение актеришки заштатной прифронтовой студии (бывшие арбузовцы обслуживали воинские части) ощущалось им болезненно. Так и в дальнейшем, когда его, творца необыкновенных

пьес (недаром же так рано заговорили о «театре Галича»), третиrowали как мальчишку газетные недоумки, когда его упорно не принимали в Союз писателей, хотя у него уже были поставленные пьесы и фильмы, когда его, автора «Матросской тишины» и «Я умею делать чудеса», знали лишь как соавтора блестящей, но легковесной комедии «Вас вызывает Таймыр». Его драматургию упорно не пускали на сцену, лучшая пьеса «Матросская тишина» дошла лишь до генеральной репетиции, другая — до премьерного спектакля, после чего была снята. Зеленую улицу дали лишь конформистской поделке «Пароход зовут «Орленок» — плоду душевной усталости.

Не обольщался он грандиозным успехом чепуховой и по словам, и по залихватскому мотиву песни «До свиданья, мама, не горюй». Недаром в одноактной пьесе С. Михалкова появлялся популярный слесарь по кличке «Маманегорой». Лишь когда по всей стране зазвучали в записях и на голосах его горестно-насмешливые песни, исполненные раскаленного гражданского чувства, произошло совмещение истинного образа Саши с его проекцией на действительность. За этими песнями был автор «Матросской тишины», а не развеселых комедий или уютных пьес о «хорошем советском несчастье» вроде «Орленка».

А как давно тянуло Сашу к песне! Еще тогда, в дни войны, рояль и пианино производили на него магнетическое действие. Но что за песни он сочинял в те сумеречные годы! О «золотых листьях», легших на офицерские плечи — ввели погоны, о страданиях театрального рабочего Григория, полюбившего «инженюдраматик». Помню, он должен был срочно воспеть коня и, по собственному признанию, «тачал» о нем так неистово, что «ноги стали кривыми, как у кавалериста». Саша жил по тем же законам, что и мы все. Напиши он тогда самую легкую и безобидную из своих гражданских песен, с ним было бы покончено.

Собственно говоря, с ним и так было покончено в свой час, ибо для Саши изгнание означало смерть, хотя песни его прозвучали совсем в ином историческом климате, после оттепели, после XX съезда, вернувшего партию к ленинским нормам. О эти никак не дающиеся нашему партийному руководству ленинские нормы! Можно подумать, что нравственный кодекс Ленина был сродни рахметовскому: спать на гвоздях и прочие самогубительные подвиги. А ведь речь идет всего-навсего о том, чтобы соблюдать элементарную порядочность. Сашу травили, преследовали, судили на секретариате СП и вышвырнули, как Пастернака, из наших «честных рядов». Его друг и учитель Арбузов огласил постыдное судилище криком: «Ты присвоил себе чужую биографию!» Вон как! Это потому, что Саша пел

от лица узников, ссыльных, доходяг, работяг. С таким же успехом подобное обвинение можно бросить Высоцкому, певшему от лица разных бедолаг, и заодно инкриминировать ему самозванство: он пел о войне как солдат, а ведь он был малым ребенком в те годы. Благородному Арбузову, похоже, в голову не пришло, что, живя территориально на улице Черняховского в писательском доме, душой можно быть с теми, кто на лесоповале, что можно носить костюмы от Шафрана, а чувствовать на плечах засаленный ватник. Выходит, Н. А. Некрасов тоже украл биографию у русского мужика-страстотерпца. Ему бы об английском клубе петь, где он так удачно понтировал, а он о пахарях, бурлаках, странниках надрывался.

Любопытно, что достоверность Сашиных песен ввела в заблуждение зарубежных издателей, и они действительно приписали Галичу чужую биографию: «Провел в тюрьмах и сталинских лагерях до 20 лет. После смерти Сталина был реабилитирован». Но Саша не отвечает за чужие промахи.

Впрочем, все это еще впереди. А сейчас я возвращаюсь из очередной поездки, набираю знакомый номер, и через полчаса мы до одури надсаживаемся:

- А помнишь: «Образ твой, мучительный и зыбкий...»?
- А это: «Над желтизной правительственных зданий...»?
- А это: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез...»?
- А это: «Я пью за военные астры...»?
- А это: «Мой щегол, я голову закину...»?

Долгое время нашими героями были Лермонтов, Тютчев, Мандельштам, потом к ним прибавились Цветаева и Пастернак.

Вскоре Саша дал мне прочесть одну из своих ранних пьес — «Улица мальчиков». Я был праведным реалистом и совершенно не понимал даже малой условности в искусстве, но запретный плод сладок, и я сразу влюбился в Сашину пьесу. Я никак не мог взять в толк, что за радость жить на улице, населенной одними мальчишками. С девчонками вроде бы интересней. Эзоповский язык пьесы от меня ускользал. А ведь символика ее была так проста: жить на улице мальчиков — это значит бежать из дурного мира взрослых с их ложью, соглашательством, лицемерием и ханжеством. Все это прекрасно поняли люди, управляющие театром, и отвергли пьесу. Исполненный дружеского рвения, я предложил Саше сделать из пьесы повесть. «Проза для меня — дверь за семью печатями», — сказал он. «Я буду писать вдоль твоего текста, от тебя потребуются лишь руководящие указания». Он улыбнулся, пожал плечами. «Если тебе не жалко времени...» Мне ничего не было жалко для этого сказочного человека. Ощущение, что Саша не из настоящей

жизни, а из какого-то странного, нездешнего, печально зачарованного карнавала Ватто, пробуждало во мне страх утраты: казалось, он может исчезнуть, испариться в иное пространство и время, где ему будет уютнее. Годы не сближают людей, это неправда, и если была дружеская близость, то она постепенно тощит в усталости и разочаровании, но что-то от моей первой молодой очарованности Сашей сохранилось во мне навсегда...

Саше сопутствовала некоторая таинственность. Он не любил говорить о делах и обстоятельствах своей жизни. Об ином человеке за рюмкой водки в первый же день такого узнаешь, что потом на весь век хватит. О Саше мы поначалу вообще ничего не знали. Какое-то время за его плечами маячила призрачная фронтовая студия, но с окончанием войны и она отлетела. Где он учился и учился ли вообще?.. Служил ли или был свободным художником?.. За ним не угадывалось детства, школы, он был человеком с луны, сейчас бы сказали — инопланетянин. Затем как-то исподволь и чаще не от него самого стали поступать смутные сведения: он вроде был женат, когда мы познакомились, но сейчас то ли развелся, то ли разъехался с женой, как будто и ребенок есть. Отец у него хозяйственный работник: не то заместитель министра, не то завскладом, не то коммерческий директор завода; мать в консерватории, вроде не поет и не играет, а ведет концерты, по другим сведениям — администратор. Зато точно известно, что есть младший брат — студент операторского факультета ВГИКа.

Однажды мне срочно понадобился Саша в связи с повестью, которую я продолжал упоенно и обреченно писать, уже поняв, что реалистическая отмычка не срабатывает в мире тонких условностей. Саша сослался на плохое самочувствие и предложил навестить его. Дал адрес. Я был взволнован. Оказывается, в глубине сознания таилось представление, что Саша обитает на ветке.

Саша открыл мне, убедительно покашливая. В глубине квартиры плакал ребенок, никто его не утешал. Проходя мимо столовой (кажется, то была столовая), я увидел за непритворенной дверью детскую кроватку с сеткой и в ней младенца.

— Моя дочка,— ответил Саша на невысказанный вопрос странно рассеянным, отсутствующим голосом, как бы приглашающим не развивать эту тему.

Да я и не собирался. Я понятия не имею, чем надо восхищаться в личинке человека, не знаю никаких «агу», «тпруа», «мням-мням» и прочей людоедчины, младенцы не для меня. Те-

перь я понимаю, что сподобился мимолетно лицезреть нынешнюю Алену Архангельскую, энергичную хранительницу и устроительницу отцовской памяти и литературного наследства.

Однажды во время войны мы отправились большой компанией на Тишинку. В ту пору этот давно ушедший в тень рынок играл выдающуюся роль в торговой и общественной жизни Москвы. Здесь сосредоточивалась вся частная купля-продажа столицы. Барахолка подавила жалкий продуктовый базарчик и торговала всем, чем можно и нельзя: от старой обуви, заношенного шмотья, солдатских шинелей до барских шуб, золотых колец и антиквариата, от балалайки без струн и гармошки с порванными мехами до краснощековой семиструнной гитары и скрипки Страдивариуса, от старых трубастых граммофонов до арфа, пистолетов ТТ, орденов и поддельных документов, от фронтовых ушанок и ватников до архиерейских риз, брюссельских кружев и американских летных комбинезонов на меху; здесь можно было купить егерское белье, комплекты «Нивы» и «Синего журнала», балетные туфли, протез, бормашину, сто томов «Рокамболя», горжетку из крашенных крысиных шкур, гипсовый бюст Сократа, набор дореволюционных порнографических карточек, романовский полубубок, салоп, елочные игрушки, левую сторону мужского костюма «от Журкевича», фарфоровый сервиз, качалку, пилу, колун, — короче говоря, все. И все продать. И получить вместо денег «куколку» — ком старых газет, а бывало, и нож под ребро. Здесь играли в бессмертные рыночные игры: три листика, три камушка, веревочку, буру и рулетку: кручу-верчу — деньги плачу. Безногие инвалиды в колясках торговали рассыпными «Казбеком» и «Беломором», на них не было штанов, они мочились, задрав рубашку, чуть в сторону от своего разложенного на газете товара. Тут бродили громкоголосые пятновыводчики — древние, засаленные, неправдоподобно нахальные и бодрые старики.

В тот раз я наблюдал смешную сцену. Рекламирая свой очищающий товар, старик в картузе с высоченной тульей — он сбежал с картины Шагала — призывал окружающих дать ему самое страшное пятно: чернильное, жирное, сальное, и он его тут же выведет. К нему суетливо протолкался другой шагаловский старик с брюками-дипломат в руке. Пятновыводчик взял брюки и придиричиво осмотрел.

— Это не жир, не сало, не бог пятен, сатана пятен — чернила. — Он сделал эффектную паузу. — Это сперма!

— Не грехи, — сказал владелец брюк. — Мне за восемьдесят.

— Значит, это не ваша сперма и вы перекупщик! — заклеил его пятновыводчик.

Толпа грохнула, а оскорбленный заказчик, ругаясь и брызгая слюной, ринулся прочь.

Я тоже пошел дальше, мимо калек-папиросников, мимо сволочных казино, где цыганистые парнюги обирали заезжих лопухов, мимо несчастных испитых женщин, торговавших своим последним замученным достоянием, к тихому углу рынка, где нашла пристанище «модная лавка». На подходе к ней мордастые молодайки крикливо рекламировали новейший товар: грубодобротные робы, плащи и комбинезоны из американских посылок частной помощи. Предназначались они рабочим, но, как полагаются, оказались в руках спекулянтов.

А потом — тишина: чистенькие старушки с букольками и осенней пожухлости дамы торговали кружевами, бисерными кошельками, перламутровыми театральными биноклями, страусовыми перьями, лайковыми перчатками. И эффектно над «бу-тоньерками осенних роз» высилась стройная фигура мужчины в элегантном пальто с поднятым воротником и красиво заломленной фетровой шляпе. Он стоял меж траурной старухой, пытавшейся откупить хоть сколько-то стылой жизни за вытертую до мездры лисью горжетку, и сухощавой дамой со следами былой красоты и несколькими самодельными острогрудыми лифчиками на шею, изящно отставив ногу и округлив левую руку, через которую была переброшена дамская фисташковая комбинация.

— Ха-ха,— сказал Саша, увидев меня.

Этим он как бы уплатил дань очевидной растерянности человека, не ожидавшего увидеть на Тишинском рынке Дориана Грея, пусть и еврейского.

В этом сказалось его самообладание и умение без потерь принимать уродливые неизбежности жизни. С тем же мужеством играл он в безнадежно выдохшемся театре, тачал про коня до кривизны ног, лепил для «Ленфильма» «проходные» сценарии, сочинял для эстрады и цирка. Он не выбирал себе подобных занятий, но если нельзя выжить иначе, он делал, что требовалось, не растрачивая ни грана своей личности. В число смертных грехов эти поступки не входили, значит, нечего терзаться, дело житейское, не подлежащее каре божьей. И разве плохо стоять тихим, дремлющим мартовским деньком среди пожилых интеллигентных женщин, кружев, страусовых перьев, вееров, шелков далеких лет, в этом блоковском наборе, и думать о новой пьесе, веря, что ты умеешь делать чудеса.

Мне ли перед ним задаваться! Угрызаясь и самоедничая, я халтурил в десять раз больше и грубее Саши, а если бездельничал на торжище, так лишь потому, что в зимнем ряду

моя жена изнывала под тяжестью двух шуб из номенклатурного распределителя.

Я рассказал Саше о «перекупщике».

— Это гениально, — сказал он, — готовый номер.

А что такое «готовый номер», мы узнали тем же вечером, когда собрались в нашем доме смыть не покупки, а продажу. Первое место среди «торговых гостей» занимала моя теща, распродавшая через подставных лиц почти весь свой гардероб, подлежащий решительному обновлению. Дальше с большим отставанием шли моя жена, молодой искусствовед, реализовавший полученное по ордеру демисезонное пальто, и старый философ, загнавший чернобурку жены и фотоаппарат «Зоркий». Саша сокрушался, что ему, жалкому лотошнику, не по чину гулять с первогильдейными. А потом изобразил сценку на Тишинском с «перекупщиком», украсив ее таким количеством сочных подробностей, что моя скудная информация стала искусством.

Меж тем попытка превратить «Улицу мальчиков» в шедевр социалистического реализма потерпела полное фиаско. Пока я пробирался проселками действительной жизни, дело как-то шло, но вот подступило то, ради чего писалась эта пьеса, и я безнадежно завяз. Я физически чувствовал, как окостеневали персонажи, до этого находившиеся в движении, в определенных отношениях друг с другом. Они онемели, лишились дара перемещения в пространстве, ослепли, оглохли, а там наступил и полный паралич. В хрупком мире условностей здравомыслию нечего делать. И я сдался.

Саша никогда не спрашивал, почему вдруг тема мальчиков, захотевших жить своим особым миром, исчезла из нашего общения. Думается, он все знал заранее и был рад, что попытке с негодными средствами настал конец.

Как раз в это время человек в обмотках познакомил Сашу с Аней. Размундиренный боец-прожекторист где-то случайно столкнулся с Аней, и она вспомнила, каким ослепительным кавалером был он в незабвенные вгиковские дни. Но дело, конечно, не в снобистской памяти, а в доброте, которая была основным качеством Аниной души, она смертельно зажалела бывшего лорда Бреммеля. Теперь у него всегда был постой и ночлег в Москве. Получив увольнительную, человек в обмотках ехал из Салтыковки прямо к Ане на Кропоткинскую, сбрасывал военную ветошь, надевал чистую, наглаженную Аней сорочку, прекрасный костюм, начищенные до блеска ботинки (обувь у него была грязной даже в золотые дни), с неподражаемым искусством повязывал бабочку, выпивал спирту, закусывал копченой уткой и обретал если не счастье, то покой и волю.



Один из своих дивных пиджаков он подарил Ане, которой удивительно шли мужские вещи: куртки, пиджаки, плащи, шляпы (она всегда помнила, что любимая героиня нашей юности, очаровательная и шалавая Брет из «Фиесты», носила мужскую шляпу). Они куда-то шли. Всю войну в Москве работали рестораны «Арагви» и «Националь», был открыт коктейль-холл на улице Горького. В одну из своих вылазок они наткнулись на Сашу. Человек в обмотках горделиво представил Аню. Сашу затащили домой, угостили разведенным спиртом под дежурное блюдо. Он распустил павлиний хвост. Воину пора было возвращаться в часть. Он переоделся, как всегда неумело накрутил свои обмотки, напялил пилотку, так что звездочка оказалась над левым ухом, повязался ремнем, как кушаком, и отбыл — сперва в комендатуру на Ново-Басманной за порочащий Красную Армию вид и отсутствие противогаза — крайне необходимого в тот период войны, — а потом в часть.

Саша спохватился, что пора идти домой, когда время перевалило за полночь, а у него не было ночного пропуска. «Не беда, переночую в милиции, авось не привыкать», — сказал он с меланхолической улыбкой. Аня была не таким человеком, чтобы отпустить странника во тьму. Он остался и всю ночь читал ей стихи. Мандельштам доконал уже подавшуюся душу.

Больше салтыковский воин копченой утки не едал. Для решительного объяснения Аня вышла к нему на улицу в «старомодном ветхом шушуне». Она прихватила с собой старый чемодан со всеми нарядами бывшего постояльца. Произошла тяжелая сцена. Аня без обиняков сказала ему, что любит Сашу. Он с не меньшей прямоотой сказал, что любит ее. Аня, узнавшая наконец, что такое любовь, поняла, как ему сейчас плохо, и расплакалась от жалости. И он тоже расплакался, чего с ним на трезвую голову никогда не бывало. Потом он признался мне, что в этом потоке слез посчитал дело свое выигранным и был потрясен, когда, отплакавшись и высморкав нос, Аня железным голосом сказала, чтобы он не смел приходить. Дав от ворот поворот этому кавалеру, наша влюбчивая, легкомысленная Аня навсегда вошла в тот образ верной, преданной жены, от которого никогда не отдалялась, что бы ни вытворял муж. Впрочем, женой Саши ей еще предстояло стать.

А человек в обмотках снова оказался в комендатуре в тот роковой день, его взял патруль за подозрительно красное лицо, мокрые глаза и отсутствие противогаза.

Весной сорок пятого года решено было отпраздновать мой день рождения: как-никак четверть века жизни и пять лет околосредствительной деятельности. Война стремительно шла к победе,

настроение было повышенное, и мы назвали полный дом народа.

До этого я находился в долгой фронтовой командировке и ничего не знал о происшедших событиях. Меня поторопились проинформировать. Человек в обмотках был патетичен: у него разбито сердце, он никого так не любил, как Аню, и ни одна женщина не сможет заменить ее. Саша сказал просто: «Ты знаешь, мы теперь с Нюшкой». Так впервые прозвучало новое имя Ани, которое не легло мне на сердце.

Аня сияла, сверкала, лучилась глазами, улыбкой, даже кожей, источавшей какой-то матовый свет, и не нужно было никаких признаний. Я сказал:

— «Ни о чем не надо говорить, ничему не следует учить...»

— «И приятна так и хороша темная звериная душа», — подхватила Аня. — У меня сейчас звериная душа. Я забыла все, чем жила, всех, с кем жила, словно и не было никакой жизни. А может, ее и правда не было?

Меня испугало ее счастье, такое откровенное, распахнутое, ничем не защищенное. Боги не любят, когда смертные становятся слишком беспечны, слишком доверяют судьбе.

Потом человек в обмотках увел Аню на кухню — для последнего объяснения. Тертый калач в какой-то необъяснимой слепоте ни за что не хотел признать очевидное. Он был эгоцентриком до мозга костей, ужасно жалел себя и не мог поверить, что Аня не разделяет этой жалости. Он надеялся на ее доброту, слабость перед чужой болью, согласен был и на брезгливую подачку: ей невыносимо станет видеть его перемазанную горем рожу, и она махнет рукой на Сашу. Гордостью, мужским самолюбием тут не пахло. Любовь сделала мягкую, податливую Аню железной. Из кухни он вышел с красными полубезумными глазами и весь долгий праздник пытался испортить людям настроение своим неопрятным страданием. Мне вспомнился платоновский инженер, который был так несчастен в любви, что пришлось его уничтожить, потому что люди не могли больше видеть таких мук. Здесь собрался народ повыносливей. Все же когда он отбыл то ли в Салтыковку, то ли в комендатуру, по меньшей мере трое почувствовали облегчение: Аня, Саша и я как хозяин дома.

Памятуя о комендантском часе, гости разошлись в начале двенадцатого. Саша и Аня задержались, они словно забыли о времени. Далеко за полночь Саша спросил: «Можно, мы остаемся у вас?»

— По-моему, вы уже это сделали.

Место было только в ванной комнате. Жена принесла две гладильные доски, тощий матрасик, белье. Ложе получилось довольно узким и твердым.

— Ложе ригориста,— заметил Саша,— хорошо хоть, без гвоздей.

Утром за завтраком я спросил, как им спалось.

— Лучшая ночь в моей жизни,— улыбнулся Саша.

— И моей! — воскликнула Аня.

Они были так неподдельно счастливы, что я предложил жене спать отныне только на гладильных досках.

— Ничего у вас не выйдет,— сказал Саша.

— Почему?

— Вы ветераны. А у нас это была свадебная ночь.

Мы тепло поздравили молодоженов. Жена принесла шампанское.

Конечно, мне было интересно, зачем любящей паре понадобились ванна и гладильные доски, если у Ани стоит пустая квартира. Когда женщины пошли варить кофе на кухню, я спросил Сашу. Он сказал, что не может пробыть там больше минуты. Квартира населена любовью и муками человека в обмотках, и это дает нестерпимый эффект присутствия. Я засмеялся, Саша подхватил. Есть такое противное выражение: смехунчик в рот попал. Это случилось с нами, не могу понять почему. Разговор-то шел о грустном, а мы ржали как жеребцы. Очевидно, снимались какие-то напряжения. Но что-то в этом смехе настрожило меня. Его волны докатились до счастливого, безмерно, беззащитно счастливого лица и затопили его. Лицо пошло ко дну, не было на нем и следа счастья, лишь пустота и отчужденность смерти.

— У тебя это серьезно? — спросил я.— Я Анютку знаю как облупленную, у нее такого сроду не было. Если она сейчас обманется... Все. Конец. Прости, что я об этом говорю.

Он мгновенно стер смех с лица.

— Не бойся. Это серьезно. Думаю, навсегда.

Так оно и случилось. Они поженились. Саша не давал Ане обет целомудрия, да она и не ждала от него никаких жертв. Саша был нужен ей такой, какой есть, а не украшенный чуждыми всей его сути добродетелями: верный муж, председатель общества трезвости, борец с никотином и другими наркотиками, примерный во всех отношениях гражданин. Ей был нужен блестящий, безудержный, неуправляемый, широкий, талантливый, непризнанный, нежный и в любых кренах жизни преданный человек, на которого она могла бы смотреть хоть чуточку снизу вверх. Ане нужен был не просто любимый, а любимый, которому можно поклоняться. Как бы ни складывалась их жизнь, а в ней было много всякого, как почти в каждой настоящей, не сусличьей жизни,— и семейные распри и брань, что не виснет на воротах,

и дым коромыслом, но взгляд чуть снизу все равно оставался, ибо в главном, в боговом, Саша никогда не ронял себя. То не был взгляд сброшенной с седла амазонки (такой может быть и свысока), а взгляд женщины, склонившейся перед уходящим на бой воином. И ведь близилоь то время, когда каждый день Сашиной жизни станет боем с противником, неуязвимым, как Ахилл, столь же свирепым, но куда менее обаятельным.

Саша не позволял обстоятельствам брать верх над ним. Я редко встречал такое спокойное, не кичливое, вроде бы не сознающее себя мужество. Когда сталинский антисемитизм стал доминирующим цветом времени, он написал лучшую свою пьесу «Матросская тишина» и, не в силах поставить ее на сцене, стал читать по домам. Читал он «Матросскую тишину» и в нашей компании.

Нельзя сказать, что он нашел благодарную аудиторию. Прежде всего, проблема пьесы никого кровно не затрагивала, а недостаток интеллигентности не позволял чувствовать чужую боль изгнанничества внутри собственной страны, как свою боль. Похоже, Саша провидел в пьесе свою судьбу, хотя тогда ничто не говорило, что «инженю-драматик» сменится песнями гнева и печали. Впрочем, почему не говорило? «Матросская тишина» по тем временам была опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя. Саша понимал это и хладнокровно шел читать в любое сборище, где его готовы были слушать. Аня восхищалась его бесстрашием, сама трусила, но не до омрачения. Она приучалась «жить с молнией».

В тот раз Саша зря потратил время, душу и артистический темперамент — вежливо-одобрительное мычание показало, что пьеса не дошла. И мои натужные критические рассуждения тоже были ни к чему Саше. Антон Рубинштейн говорил: творцу нужна похвала, и только похвала. Особенно творцу непризнанному или полупризнанному, каким был Рубинштейн-композитор, каким был Саша с его домашней славой.

Появились, как положено, водка, закуски. Хотели выпить за пьесу, Саша сказал: «Нет, нет, за дела не пьют!» Выпили за него. Кто-то попросил: «Старик, изобрази «пришел на копчик». — «Да, это больше подходит...» — пробормотал Саша и начал знаменитый, в зубах навязший монолог о циркаче-неудачнике.

Пьеса по-настоящему дошла до меня, когда я прочел ее в прекрасной книге Саши «Генеральная репетиция». А ведь он здорово умел писать прозу! Как жаль, что он пренебрег этим своим талантом. Может быть, отложил на старость, чтобы воплотить в воспоминания о бурно прожитой жизни? Но старости

у него не было. Проводок сволочного суперновойшего проигрывателя пустил в его большое, грузное тело несильный ток парижской сети, и остановилось истерзанное инфарктами, преследованиями и растущими дозами морфия сердце, немного не дотянувшее до того порога, за которым начинается старость. А книга горькая и мастерски построенная. Тут и в самом деле описана генеральная репетиция пьесы «Матросская тишина» со всеми переживаниями автора, с надеждами, страхами — ведь спектакль смотрят две сановные дамы, от которых зависит: быть или не быть. Внутрь этого описания поактно вложена пьеса — вся целиком. Происходящее на сцене и происходящее в зале взаимопроникают, образуя единый скрут боли. Напряжение достигает кульминации, когда в антракте чиновные дамы встают с непроницаемо-суровыми лицами и величественно выплывают из зала. Неужели они ушли, не досмотрев? Но ведь это смертный приговор спектаклю. Нет, дамы с тем же значительным видом возвращаются, они просто ходили в туалет. Но приговор — смертный — лишь отложен. Он будет вынесен в свой час.

Мечта философа Федорова оживить всех ушедших осуществляется сейчас в нашей литературе. Среди оживленных — Галич с его пьесой «Матросская тишина», ставшей спектаклем. А чиновные театральные дамы помаленьку перемещаются из кабинетов-застенок в кооперативные туалеты, где им и место.

В этой книге замечательный конец. Гаснет свет в опустевшем зале, Галич прижимает к себе грустную поседевшую голову своей уже немолодой жены. Вот то, чего не отнимут, как отнимают спектакли, фильмы, книги, успех, славу, заработки, возможность видеть мир, молиться, петь, общаться с близкими по духу, — единственное прибежище и спасение. Искреннее, чистое, усталое, глубокое чувство вложено в финал этой печальной книги. Саша не ошибся, не переоценил своих душевных возможностей, когда, поднявшись с гладильных досок, сказал мне сильное слово н а в с е г д а.

А вот бытовой пример Шашиной силы воли. В исходе войны, в середине апреля, мы гуляли у другого вгиковского воина, охранявшего западные подступы к Москве — в Одинцове. Это был первый солнечный и голубой день пасмурной, хоть и не студенной весны, и мы решили осушить предобеденную чарку на давно уже вскрывшейся речке. Пришли, увидели блестящую веселую воду, и кто-то сказал, что не грех бы искупаться, смыть грехи перед большим, истовым застольем. Все мужчины хвастливо поддержали предложение, но легко дали отговорить себя разволновавшимся женам. Пока мы ломались и кочевряжились,

изображая мужскую снисходительность к слабостям боязливых женщин, Саша неторопливо разделся до трусов. Моя жена спросила Аню: «Это серьезно? Он что, с ума сошел?» — «Если Саша что решил, его не собьешь», — с вымученной улыбкой отозвалась Аня.

— Ах ребята вы ребята! — сказал Саша. — Такого удовольствия себя лишаете.

Он медленно вошел в ледяную воду, чуть постоял и нырнул. Прошел под водой метров пять-шесть и стал отмахивать саженками. Он переплыл на тот берег, посидел на купающихся в воде голых ветвях ивы, снова нырнул.

Он плавал еще минут десять, не отзываясь на наши подло-благоразумные призывы: «Выходи! Довольно форсить! Что за ребячество? Ты простудишься! Ладно тебе геройствовать, нашел чем удивить!..» Нам было стыдно, но никакой стыд не мог загнать нас в ошпаривающе ледяную воду. «Он что — морж?» — спросил кто-то Аню. «Какой там морж! Он в ванну, если меньше сорока, не полезет». Да, не полезет. Но здесь был брошен вызов, и он единственный, кто его принял. Главное даже не в том, что он заставил себя выкупаться, а в том, как он это сделал. Спокойно улыбаясь, не дрогнув ни единой жилочкой, даже без гусиной кожи, что вовсе загадочно, не торопясь, до конца сохраняя такой вид, будто это ему в привычку и в удовольствие.

Выйдя из воды, он не спешил одеться, говоря, что надо сперва обсохнуть. Так же не спеша выпил стопку водки, крикнул: «Эх, хороша!» — и пошел в ивняк, чтобы выжать трусы и одеться.

Должен сказать два слова в защиту вгиковских рекрутов. Не всех их задержал Московский военный округ, остальные попали на фронт. Один благополучно довоевал до конца войны и так полюбился властям, что те решили не расставаться с ним. Ему оченьгодились солдатский ватник и справные кирзовые сапоги в дальнейших долгих странствиях. Другому оторвало руку и вышибло глаз; за ненадобностью его отпустили. Со временем он стал видным деятелем белорусской кинематографии. Воевали и другие, я не знаю их судеб, знаю лишь, что все они вернулись.

Видел я Сашино мужество и иного рода. Мы проводили лето в Алуште. Я приехал туда по Сашиному зову. Почему он выбрал это самое скучное и не поэтичное место на всем Крымском побережье, не помню. Аня и Саша жили в маленькой и дружной московской колонии, облюбовавшей тихий край городка. Хотя это место находилось в стороне от алуштинского променада, сюда каждый вечер наведывались комсомольские патрули и

заставляли игравших в волейбол женщин надевать поверх сарафанов баски. Голые плечи считались неприличными.

— Вы не на пляже,— говорил двадцатилетний белобрысый и красноглазый альбинос, капитан комсомольской полиции нравов.

— Но это же спорт! — бессильно возражали мы.

— Спортом занимаются на стадионе, а здесь открытое место. Постарайтесь соблюдать приличия.

— Вот не знали, что русский сарафан неприличен. Это же национальная одежда. Его наши бабушки носили.

— Не умничайте, если не хотите в милицию.

— За что? — спросил Саша.— За ум или за сарафан?

Парень посмотрел на Сашу, и его белые, в красном обводе глаза налились ядовитой желтью ненависти.

— У вашей жены, гражданин, национальная одежда не сарафан, а котиковая шуба.

— Вы ошибаетесь,— улыбнулся Саша.— Моя жена русская. А у вас есть зачатки мышления. Почему вы не развиваете их? Зачем вы мотаетесь по жаре и мешаете людям жить? Кстати, вы знаете, что женщины под сарафаном голые? Да, да, совсем голые, даже без фигового листа. Снимите с них мысленно сарафан, что вы там видите? Ай, яй, яй, а еще комсомолец!..

С раскаленным злым лицом парень повернулся и пошел прочь.

Любопытно, что это идиотское ханжество и прочие крымские «бетизы», как говаривал Лесков, обязаны своим появлением визиту Сталина в Крым. Ему не понравились кипарисы за их траурность, курортницы — за легкомысленный вид. И пали под топорами и пилами прекрасные старые деревья, а стыдливая комсомольская юность взяла на себя заботу, чтобы ни один лишний сантиметр загорелого женского тела не оскорблял целомудренного взгляда.

Но я не к тому вспомнил Алушту. В дни, когда мы безмятежно резвились под присмотром комсомольских патрулей, в «Правде» появилась разгромная статья о спектакле Театра сатиры по новой пьесе Галича, написанной в соавторстве. Еще шел с неубывающим успехом «Вас вызывает Таймыр», ожидалось, что и новый спектакль на гребне этого успеха принесет театру битковые сборы и славу. Так сначала и шло, и вдруг — мощный залп из всех бортовых орудий. Мнение «Правды» было в ту пору непререкаемым, каждое критическое слово звучало как приговор к высшей мере. И что-то загадочное было в этой статье: стрельба из пушек по воробьям, мрачно-безжалостный, предельно грубый тон, будто речь шла не о легкой,

непритязательной комедии, но о сотрясении государственных основ, и все это — при совершенной бездоказательности разносного текста. Невинные и довольно беззубые шутки персонажей преподносились как угроза общественному вкусу, традиционная комедийная путаница трактовалась как попытка дезориентировать советских людей перед лицом капиталистической опасности. Из статьи становилось ясно: если порочная пьеса останется в репертуаре, то нечего и думать о построении коммунизма.

Словом, то был сталинский маразм на высшем уровне, когда отбрасываются все моральные запреты, приличия, вежливость, дневной разум и чувство реальности. И на что потрачен весь этот неимоверно боевой арсенал? На уничтожение милой театальной шутки. Лев Толстой меньше напрягался, ниспровергая Шекспира. Но там гигант борол гиганта, здесь же на кусочек пастилы накинута раздувшаяся в железную свинью мышь.

Мы были подавлены, тем паче что в нарочитой грубости статьи, ее житейской неоправданности проглядывала та мрачная и таинственная воля, которая никак не хотела дать передохнуть несчастному, истомленному войной народу, измышляя для него все новые муки. Статья несомненно была инспирирована сверху. Так оно и оказалось. Пришла очередь творческой интеллигенции (с упором на еврейскую ее часть) двинуться на голгофу. Впрочем, излишней щепетильности не проявляли, на позорище мог быть выставлен и русский (хотя бы Малюгин). Сейчас был брошен пробный камень. Один из наших друзей, деливший с нами алуштинские утехы и дни, Н. Мельников, искренне сочувствовавший Саше, не знал, что окажется Иоанном-предтечей космополитизма. С разгрома его талантливой повести «Редакция» начнется та долгая и зловещая кампания, которая увенчает терновым венцом одних и позорными лаврами других, в том числе Константина Симонова, который все чистился, да не очистился от грязи, которую так трудолюбиво сбивал с конца сороковых до смерти Сталина.

Саша появился на пляже ближе к обеду, по обыкновению подтянутый, выбритый, элегантный и улыбающийся. У меня даже мелькнула мысль, что он не видел газеты.

— Ну как ты, старик?

— А что? Тачал с утра... Ах, ты об этом!.. Ничего. Надел чистую рубашечку, погладил брюки и сюда.

Я смотрел на Сашу. То, что произошло, не было локальной неудачей. Совершенно очевидно, что ему опять перекрыли кислород. Хорошо, если «Таймыр» не снимут. Год с небольшим длилась его удача. Не говоря уже о том, что рухнули надежды на хороший заработок: больше ста театров собирались ставить его



песу, теперь об этом не может быть и речи. И тоска проработки, когда настырно, тупо, зло, бессмысленно будет склоняться твоя фамилия, чтобы вся литературная шушера могла лишний раз расписаться в своих верноподданнических чувствах, когда мелкое (к тому же липовое) литературное прегрешение вырастет до размеров стихийного бедствия. Словом, скука зеленая, безнадега, и никто не скажет, когда ты опять выползешь на свет божий. Да и выползешь ли? А Саша держался так, будто ничего не случилось. Впрочем, «держался» плохое слово, в нем проглядывает искусственность, тягота усилия, а Саша был естествен, свободен, ничуть не напряжен. Вот так же не дрогнул он в ледяной воде, так же принял глухоту друзей, которым читал свою заветную пьесу, так же вышел недавно с заседания секретариата СП, вновь не принявшего его в Союз писателей. Его нельзя было согнуть. Крепкой человеческой сталью называл таких людей Александр Грин.

Явилась Аня с припухшими глазами, но шутила, смеялась и напоминала, что вечером идем в кафе. Мы-то малодушно решили, что поход отменяется по причине траура. В кафе мы засиделись допоздна. Когда все посетители ушли, мы с благословения заведующей сдвинули столики, заказали еще напитков, раскрыли старенькое пианино, и Саша закатил грандиозный концерт. Он спел «Маму» и все другие свои песни, не получившие столь широкого признания, репертуар Вертинского, Лещенко, Морфесси, жестокие романсы. А пили мы пиво пополам с ситро, Саша называл напиток «панаше», и закусывали печеньем, которое называлось «курабье». В конце вечера Саша исполнил романс-экспромт о брошенной девушке. Кончался романс на рыдающей ноте:

Все бывшее развеялось прахом,  
А на сердце у ней курабье.

А какое курабье было на сердце моего певца, у которого одним нагло-воровским выпадом отняли успех, деньги, надежду на спокойную жизнь и работу?..

И вот еще на тему Сашиного мужества. Он очень часто бывал в нашем доме, порой с ночевкой, и, верно, ему захотелось отплатить за гостеприимство. Он решил отпраздновать свой день рождения и пригласил всю честную компанию, состоявшую сплошь из его почитателей. Так, во всяком случае, считалось. Через много-много лет, вернувшись из Парижа, я сказал одному из тогдашнего дружеского круга, что ходил на Сашину могилу. Этот человек был едва ли не самым горячим поклонником Саши, он пел под него и не без успеха подражал его устным рассказам,

одевался «под Сашу», коверкал язык под Сашу: «Ах робята вы робята!» А сейчас: «Да?..» — бросил он рассеянно. «Тебя это не волнует?» — «Нет. Ты же знаешь, я никогда не разделял ваших восторгов». — «Я помню прямо противоположное». — «У тебя плохая память», — сказал он, спокойно и прямо глядя мне в глаза. Его недавно избрали секретарем партийной организации института, где он заведовал кафедрой. Все, я в том числе, считали его отличным малым. Он не стучал, не предавал, не делал гадостей, просто умел, когда надо, наступить на свое вчерашнее сердце.

Но в описываемую пору Галич, которого надо бояться, Галич, от которого надо открещиваться, еще не существовал, и все охотно приняли его приглашение. Саша был на редкость мил и любезен в качестве хозяина. Мы познакомились с его матерью — величественной дамой с прекрасно уложенной бронзово-рыжеватой головой (так мне, во всяком случае, запомнилось) и низким, глубоким голосом. Она работала концертным администратором в филармонии и, похоже, очень ценила свой пост. Отца дома не оказалось. Он вообще был фигурой несколько эфемерной. Когда о нем заговаривали, Саша уплывал в таинственные горные выси и возвращался назад не раньше, чем тема давшего ему жизнь затухала. С появлением Ани невидимка чуть обрисовался. Оказывается, он был маленький, лысый, ушастый и чем-то заведовал. «Трудно поверить, — говорила Аня, — что это Сашин отец. Уж больно простоват. Он вообще не монтируется с остальной семьей». Он и сам поймет это со временем. Но до этого должно пройти много всякой жизни, включая долгий и чем-то томительный день рождения Саши. И не сказать было, откуда взялась эта томительность, все вроде разворачивалось по обычному сценарию, только Саша обошелся без положенного выпадения в освежающий сон, что можно было только приветствовать. И Сашина мать была гостеприимна, и брат Валерий симпатичен, как всегда.

Если бы Саша не пел так много и охотно, мы долго бы не выдержали. По дороге к дому — нам всегда было по пути — мы тщетно пытались понять, что нам мешало. Квартира мрачная, говорил один, тяжелая мебель, тусклый свет. А мне кажется, возражал другой, Сашина мать была не в восторге от нашего визита. Она, как все матери, считает, что Сашу спаивают друзья. Валерий был какой-то напряженный, высказывал свои соображения третий. И ушел рано, почти демонстративно. Мы сами виноваты, самокритично прикидывал четвертый, не нашли правильного тона. Как-то уж очень по-свойски стали себя вести...

Через некоторое время мы узнали, что в канун Сашиного дня рождения арестовали его отца. Саше не хотелось ни говорить нам об этом, ни придумывать фальшивую причину для отмены праздника. Он выбрал путь самый трудный для любого человека, кроме него: делать вид, будто ничего не случилось. Это ему вполне удалось, но ни мать, ни брат не обладали его выдержкой. И, как ни старались, от них веяло неблагополучием...

Сашин отец не был «политическим», то есть не обвинялся ложно по 58-й статье. Он шел по какой-то хозяйственной статье, тоже ложной, судя по тому что вскоре его выпустили.

И последнее на тему Сашиного мужества. Не помню, в каком году Саша начал колотиться. Знаю, что это случилось после тяжелейшего инфаркта, когда не было уверенности, что он выкарабкается. Или же после второго инфаркта, последовавшего вскоре за первым. И тогда Саша подсчитал, что ему осталось жить самое большее семь лет. А потом инфаркты зачастили воистину с пулеметной быстротой. Будь это действительно инфаркты, Саша получил бы почетное место в книге Гиннеса как мировой рекордсмен. На моей памяти их было не меньше двух десятков. Но близкий Саше человек сказал (я уже понял это без него), что жестокие сердечные инциденты, кидавшие Сашу в постель и щедро выдаваемые за инфаркты, случались от резкого повышения дозы морфия. А он делал это всякий раз, когда привычная доза переставала действовать. К морфию же он пристрастился во время своих настоящих инфарктов, сопровождавшихся ужасными болями, которые иначе невозможно было снять.

Однажды в Ленинграде он сделал себе укол и занес инфекцию. Страшнейшее заражение крови. В больнице врачи настаивали на ампутации руки, иначе не ручались за его жизнь. Он наотрез отказался. Уже звучала на всю страну его гитара и лилась главная песня. Из Москвы вызвали Аню. Она на коленях умоляла согласиться на операцию. В больницу пришли Сашины друзья, они плакали и просили Сашу остаться жить. Саша — черное лицо, выпадающие из орбит глаза — выборматывал с ужасной улыбкой:

— Вы видели безрукого гитариста?

Аня кричала, что покончит с собой, если он умрет.

Саша уверял, что вовсе не ставит себе целью умереть, но жить согласен лишь в полном комплекте. «И он все улыбался, сволоочь такая!» — рассказывала после Аня с яростью и восторгом. Случилось непонятное врачам и противное природе — человеческое упрямство победило.

Я предчувствую взрыв читательского ханжества. Какой же он сильный человек, если не мог побороть пристрастия к наркотикам? А он и не собирался, как и Высоцкий, который в последние годы жизни тоже начал колотиться. Их это не ослабляло, а усиливало в той борьбе, которую вела против них всесильная власть. У власти была одна цель: заткнуть им рты, а они пели, пели вопреки всему. Им перекрыли все краны: не давали площадок, не пускали ни на радио, ни на телевидение, ни в печать, ни пластинок их не было, ни кассет, а они умудрялись быть услышанными по всей стране, да что там — по всему миру. Какой душевной силой, каким мужеством, смелостью и верностью своему избранничеству надо обладать, чтобы выстоять против чудовищной машины насилия и уничтожения! Но иногда иссякали внутренние ресурсы, металл ведь тоже устает, а человеческое сердце не из металла, и они давали себе перевести дыхание, отключиться — уколом в вену, чтобы затем снова в бой. Гитара и губы против железного хряка бездушия. И казалось, хряк победил: сжевал Высоцкого, а Галича отрыгнул в изгнаничество и гибель. Ан нет, песни остались, победа за певцами.

Пусть их судит лишь тот, кто сам способен поставить жизнь на кон ради правды и чести, а не добродетельные и законопослушные холоуи власти.

И вдруг мне вспомнился совсем иной пример Сашиного самообладания. Эту историю я слышал от трех ее участников: Саши, Ани и Дамы, их версии совпадали. Дело было в Дубултах, в доме отдыха, в каком году, не помню, но знаю, что уже минуло много нелегкой и разной жизни. Можно сказать так: на заре туманной старости, когда люди, знающие, что им до конца оставаться в одной упряжке, начинают многое прощать друг другу. Саша сообщил Ане, что хочет совершить большую прогулку по берегу, в сторону заката солнца, в компании с одной из отдыхающих. «Я давно не обращаю внимания на Сашины шапки, — рассказывала мне Аня, — но тут я обозлилась. Девка была как-то противно похожа на меня. Будь она совсем другой: «незнакомка», или рубенсовское тесто, или ренуаровский рыжик, или «куда ни тронь, везде огонь», я бы слова не сказала, он правда застоялся, но тут — какого черта? Доска — два соска. Зачем тебе навывнос, когда можно распивочно? Я могла бы увязаться с ними, но болят ноги и собралась компания для «разбойничка».

Аня придумала другой хитроумный план. Едва романтическая пара двинулась вдоль белой нитки прибора, как с балкона послышался отчаянный крик:

— Саша!

— Что, Ньюша?

— Ты взял валидол?

Он похлопал себя по нагрудному карману.

— Взял!

— А нитроглицерин взял?

— Хватит валидола.

— Нет, нет! Без «нитры» я тебя не пущу.

Аня сбегала вниз и протянула Даме стеклянную капсулу с нитроглицерином.

— Если ему будет плохо, дайте две крупинки.

— Хорошо,— сказала Дама и положила лекарство в сумочку.

— Гемитон у тебя есть?

— Зачем еще?

— А если подскочит давление?

— Что за чепуха!

— Ничего не чепуха. Ждите!

Аня сбегала в номер и принесла набор лекарств: от давления, от аритмии, от желудочных колик, бруфен (если схватит поясницу), спазмальгон и пантокрин. Все это она передала Даме с подробными наставлениями, при каких обстоятельствах и как эти лекарства давать.

«Мой расчет был не на Сашу,— говорила Аня,— ты же знаешь его хладнокровие, хотя тут дрогнул бы и каменный Голем, а на Даму. Кому захочется идти с таким ненадежным кавалером? Я недоценила ее. Она выслушала все спокойно, кое-что уточнила, а потом сказала:

— Ньюша, дайте еще клистир и ночной горшок, и поскорей, не то мы пропустим закат.

Перед такой выдержкой я спасовала.

— Ладно, идите на... закат. Если у него будет эпилептический припадок, смотрите, чтобы не проглотил язык.

— У меня не проглотит,— сказала Дама.

И они ушли на закат, а я утешалась «разбойничком». Мне здорово везло в тот вечер».

Не стоит только думать, что в семейной жизни все шишки валялись на одну Аню, что она была страстотерпицей, а Саша беспечный гуляка. Каждому выпала своя ноша, и трудно сказать, чья оказалась тяжелее. Анина нервность, почти не ощутимая в юности и лишь изредка смещавшая ее легкие черты в зрелости, в ходе лет обострилась. А сгущавшиеся над Сашиной головой тучи усиливали ее беспокойство, которое надо было скрывать. Она жила в постоянной тревоге и страхе. Никакие успокоительные не действовали, и Аня стала искать забвения там, где его от века ищут и находят русские люди. Аня, которая без содрогания не могла смотреть на пьющего человека! Это

бестелесное существо выбрало самый неподходящий к его эльфической структуре напиток: пиво — и загружалось им, как бравый солдат Швейк «У чаши». Опыянение от пива медленное и тяжелое, все клетки тела налиты жидкостью. Все же разрушение психики опережало телесную деформацию, и только к моменту вынужденного отъезда изысканная Аня воплотилась в цельный, законченный образ грузной, неуклюжей, скандальной бабы с кирпичной грубой кожей.

Саша воистину «ни единой долькой не отдалялся от лица», всегда был на высоте и дрогнул лишь в день своего вынужденного отъезда, когда Аня во дворе нашего общего дома устроила истерику, не хотела садиться в машину, кричала, плакала. Он не сдержал себя и впервые, с мучительно перекошенным лицом, наорал на нее. Но я не уверен, был ли то настоящий срыв или необходимая лечебная мера, чтобы привести ее в сознание, пробиться сквозь защитную корку полубезумия-полувздора сорвавшейся с петель души. В «Цитадели» Кронина молодой врач в сходной ситуации отхлестывает по щекам зашедшую в приступе истеричку, чем и приводит ее в чувство. Саша обошелся без силового метода. Аня позволила усадить себя в машину и даже улыбнулась провожавшим. Много народа, презрев пугливую осмотрительность, высыпало во двор. С нашего унылого, никогда не озаряемого солнцем двора и начался страдальческий путь этих людей, приведший их довольно скоро к «полной гибели всерьез».

Оставить Родину никому не легко, но никто, наверное, не уезжал так тяжело и надрывно, как Галич. На это были особые причины. Создавая свои горькие русские песни, Саша сросся с русским народом, с его бедой, смирением, непротивленчеством, всепрощением и естественно пришел к православию. Он крестился, как Пастернак, и по той же причине. Он ни от чего не отрекался, ибо ничего не имел, будучи чужд иудаизма, но ему необходим был этот смешной и несовременный в глазах дураков акт, исполненный глубокого душевного и символического смысла. Он не думал, да и не мог ничего выгадать этим у русского народа (известно: жид крещеный, что вор прощенный), за беззаветную службу которому поплатился потерей своей русской родины.

Саша стал тепло верующим человеком. И я не понимаю, почему хорошие переделкинские люди смеялись над ним, когда на светлый Христов праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и пасху. Свою искренность он подтвердил голгофой исхода.

Анино отчаяние было прощю. Она боялась за себя. Она остав-

ляла мать, дочь, не захотевшую ехать с ними, друзей, квартиру и налаженный быт, дающий некоторую гарантию прочности, и, больная, запойная, отправлялась в никуда с человеком, хотя и любимым и преданным, но ненадежным ни в смысле здоровья, ни в смысле страстей.

Может, стоит досказать здесь историю изгнанников. Аня не обманулась в своих худших опасениях. После тихой (весьма относительно тихой, поскольку Аня уже познакомилась с клинкой) жизни в Норвегии они поехали в Париж. Туда же последовала новая мюнхенская влюбленность Саши — мужняя жена, о которой я слышал два взаимоисключающих мнения: одно трогательно-рождественское, в духе байки о замерзающем у озаренных праздником барских окон маленьком нищем, другое уничтожающее; Аня же застарожилилась в психической больнице, очень дорогой и комфортной — Саше пришлось подналечь на работу, чтобы содержать там Аню, — но все же и в минуты просветления не дающей радости существования. Ужасная и горестная жизнь, что там говорить. Саша разрывался между работой, концертами, бедной возлюбленной — мюнхенский муж громкогласно объявил, что едет в Париж иступить хорошо наточенный резак: он был мясником по роду занятий и уголовником по той тьме, что заменила ему душу. На все это путаное, тягостное существование накладывалась гнетущая тоска по России, неотвязная, как зубная боль.

Он свободно пел свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем, любим, знал, что и дома его помнят, но ни один человек из тех, кого я расспрашивал о Саше, не сказал мне, что он был счастлив, весел, хотя бы покоен. Конечно, его угнетала Анина болезнь и вся нелепость обстоятельств, но главное было в том, что Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с родиной. А это единственный способ смириться с жизнью в изгнании. Я не видел таких, кто был вовсе не скучал по России, но видел многих, кто склонен был преувеличивать свои изгнаннические муки, это тоже входит в эмигрантский комплекс. Саша ничего не преувеличивал, не угнетал окружающих подавленностью, не жаловался, молчал и улыбался, но в стихах звучала лютая тоска.

Зигмунд Фрейд отвергал случайность в человеческом поведении: оговорки, обмолвки, неловкие жесты, спотыкания, — он считал, что все детерминировано и перечисленное выше — проговоры подсознания. «Ты зачем ушиб локоть?» — спрашивал он ревущего от боли малыша, и выяснялось, что тот в чем-то проштрафился и сам себя наказал, ничуть, разумеется, об этом не догадываясь. «Зачем ты поскользнулась?» — допы-

тывался он у дочери, и выяснялось, что девочка тайком полакомилась вишневым вареньем. Если б можно было спросить Сашу: «Зачем ты коснулся обнаженного проводка проигрывателя?» — ответ был бы один: так легко развязывались все узлы. Сознание человека — острове́рши́к айсберга, который скрыт в темной глубине. О подводную массу айсберга разбился «Титаник». Все главное и роковое в нас творится в подсознании. Я уверен, оттуда последовал неслышимый приказ красивой длиннопапой Сашиной руке: схватись за смерть. И никто не убедит меня в противном.

Когда я был в Париже в 1978 году, вскоре после Сашиной гибели, то пошел в Сен-Женевьев де Буа проведать его могилу. Я долго мыкался по этому не слишком большому, но какому-то путаному кладбищу, где среди скромных крестов безвестных русских людей, умерших на чужбине, высятся пышные надгробья героев белого движения, неизменно выходя к странному, вроде бы мальтийскому, кресту на могиле Бунина, к бедным плитам Мережковского и Гиппиус. Никто не мог показать мне еще свежего Сашиного захоронения. Наконец какой-то дед, подновлявший дерн на запущенной могиле, согласился проводить меня за небольшую мзду. Он привел меня, взял деньги и повернул назад. Старое, облупившееся, оштукатуренное по камню надгробье сохранило полустершиеся буквы незнакомого женского имени. Я долго его помнил, а сейчас забыл.

— Дедушка! — окликнул я старика, он был русский. — Это не та могила. Здесь какая-то женщина лежит.

— Недолго ей тут лежать, — отозвался старик. — Скоро ее выселят, а Галич ваш один останется.

Оказывается, в связи с перенаселением кладбища покойников из забытых могил стали вывозить в другие места упокоения. Место на кладбище не покупается раз и навсегда, за могилу надо постоянно платить. Аня хотела похоронить Сашу только на Сен-Женевьев де Буа, она подкупила сторожа, и тот подселил Сашу в чужую смертную квартиру. Я отыскал маленькую дощечку: «Александр Аркадьевич Галич». Вот ирония судьбы: и посмертно Аня вынуждена оставлять Сашу с другой дамой.

Вся дорожка возле могилы была закидана лепестками анютиных глазок, они лежали, словно мертвые бабочки, бархатистые фиолетовые, желтые, синие, коричневые. На могиле цвели свежие розы и торчали обезглавленные короткие стебельки анютиных глазок. Я догадался, что тут произошло: Аня пришла на могилу, обнаружила бедные цветы, посаженные соперницей, и все их пообрывала.



Остается сказать о судьбе Ани. Конец ее был нелеп и ужасен. После смерти Саши она бросила пить, очень подтянулась, стала заниматься общественной деятельностью, литературным наследством мужа. Затем пришла весть о скоропостижной смерти Гали, ее дочери от первого брака, которую она очень любила. Известие ее потрясло. Аня «развязала». А тут, как на грех, приехала старая приятельница и бывшая собутыльница. Аня высоко зажгла свой костер. Однажды она заснула с непогашенной сигаретой в руке. Затлело ватное одеяло. Аня почти не обгорела, она задохнулась во сне.

Так бездарно кончилось то, что началось молодо и счастливо на гладильных досках в доме по улице Горького. А Саша вернулся в свою страну, в свою Москву, как и предсказывал, вернулся песнями, стихами, пьесами, фильмами, вернулся легендой, восторгом одних и кислой злобой других, вернулся громко, открыто, уверенно, как победитель.

Но все это потом, а тогда, в те неправдоподобно далекие годы, была своя жизнь, какая-никакая, а была. И порой она казалась нам прекрасной. Саша обладал удивительным даром создавать из всего праздник. Качество, начисто отсутствующее у меня и потому особенно мною ценимое. Я умел или запойно работать, или вусмерть гулять. Я говорю о той поре, когда изживалась сильно затянувшаяся юность. До войны для меня главным был спорт, к исходу пятидесятых появилось два мощных увлечения: охота и рыбалка. А вот после войны до мартовской встряски пятьдесят третьего я умел лишь менять рабочий стол на пиршественный. В свободное время запойно читал и порой вовсе забывал, что происходит за окнами. И тогда возникал Саша с каким-нибудь простым, но ошарашивающим меня предложением.

Звонок.

— Юрушка, ты когда последний раз был в бане?

— В поезде-бане с вошебойкой я был в октябре сорок второго, в Малой Вишере.

— Нет, в настоящей бане. В Сандунах или Центральных.

— В Сандунах я сроду не был, а в Центральных, когда мне было шесть лет. В женском отделении, с мамой и Вероней.

— Я приглашаю тебя в мужское отделение. Пойдем в Центральные, там хороший бассейн. Ты паришься?

— Нет.

— Ладно. Обойдемся без парилки. С нами будет мой старый друг. Смешной и милый парень. Не возражаешь?

Мы встретились у главного входа в бани. Саша разговари-

вал с грузноватым и рыхловатым человеком, приметно старше нас, с шапкой курчавых волос, большим лицом и редкими неровными зубами. Последнее сразу бросилось в глаза, потому что человек этот все время смеялся, картинно смеялся, на публику, что мне резко не понравилось. Мог ли я думать, что Саша делает мне свой лучший подарок: этот заливающийся показным хохотом человек станет одним из самых дорогих моих друзей и неизбывной болью, когда уйдет до срока.

— Драгунский! — гаркнул курчавый озорник, объявив свое имя не только мне, но и всему Театральному проезду. — Как, неужели вы обо мне не слышали? — удивился он моей слишком спокойной реакцией на столь шумное имя. — Я самый знаменитый московский бродяга.

— Ладно тебе, — улыбнулся Саша, — есть и познаменитей.

— Это кто же? — воскликнул тот. — Скажи в любой компании: Виктор, и сразу добавят: Драгунский.

— А правда, что каждый Виктор мнит себя Гюго? — спросил я.

— Не больше, чем каждый Вальтер — Скоттом, — немедленно отпарировал он. — Не поймаете. Это старая шутка Хлебникова.

— «Но дней минувших анекдоты!..» — с пафосом продекларировал Саша.

— «От Ромула до наших дней хранил он в памяти своей», — подхватил Драгунский.

— Чем он занимается? — спросил я Сашу, когда Драгунский отошел купить билеты.

— Актер. Работал в цирке. Коверным. Сейчас в Сатире. И вроде бы снимается у Ромма.

Потом я высчитал, что как раз в эту пору Драгунский задумал свою «Синюю птичку», неожиданную и необыкновенно талантливую поначалу, когда она была капустником, и неуклонно тускнеющую с получением официального статуса театра. Пока Драгунский просто резвился, реализуя свои многочисленные таланты: драматурга, режиссера и актера, его спектакли напоминали, по выражению Олеси, кипящий суп. А потом к нему протянулись щупальца Главреперткома, всевозможных инстанций, управлений, а против этого бессилена любой талант. Теперь требовалось тупое и однообразное разоблачение маршала Тито, бенилюксов и плана Маршалла — очарование ушло. Но довольно долго «Синяя птичка» была единственным ярким пятном на серости будней.

Драгунский без умолку говорил. Мне запомнилась грустная история циркача на призывном пункте. Когда его спросили,

какая у него воинская специальность, циркач ответил: движущаяся мишень.

Мы еще не знали, что каждому из нас в какой-то период жизни можно будет так же определить свою не воинскую, а гражданскую специальность. Но в полной мере движущейся мишенью окажется Саша. По нему гвоздили из всех калибров за песни, расстреляли — до взлета — его лучшие сценарии и наконец дружным залпом прикончили человека с гитарой.

В бане мне был преподан урок, как надо наслаждаться жизнью. В первый и в последний раз воспользовался я услугами банщика — костлявого могучего старика в набедренной повязке, с бело-трупными руками, железной хваткой и разбойной серьгой в ухе. Он сломал мне все суставы, растоптал мою плоть, потом взбил, как сливки. Отдышавшись, я узнал благо нагретой простынки и ледяного пива с красными от стыда за человека, бросающего живое в кипяток, хрусткими раками.

Завернувшись в простыню, я выстоял маленькую очередь в парикмахерскую, находившуюся тут же, при раздевалке. Я все время боялся, что простыня соскользнет, а бывалые Драгунский и Саша держались со свободным достоинством римских патрициев на форуме, их простыни казались тогами. Помню, бегавшая то и дело к телефону хорошенькая парикмахерша вдруг круто осадила и принялась разглядывать Драгунского и Сашу, морща узкий лобик трудной, ускользающей мыслью.

— Братья? — спросила она радостно.

— Ага! — столь же радостно подтвердил Драгунский.

— Как не похожи! — сказала она с недовольной гримасой.

— Люблю маленькие загадки жизни, — говорил позже Саша. — Ее вопрос мог возникнуть только из ощущения сходства, хотя между нами ничего общего. Что происходило в ее маленьком мозгу, упрятанном под перманентом? Мы никогда этого не узнаем. А ведь там творилась сложнейшая работа наблюдения, умозаключений, открытия и внезапного разрушающего прозрения.

— Рассуждения в духе Панурга, — заметил Драгунский. — Такое же велеречие и пустота. Давайте лучше выпьем. Пошли в «Арагви».

— Если хочешь получить хороший карский, — назидательно сказал Саша, — надо идти не в «Арагви», а в шашлычную рядом с бывшим «Великим Немым».

Это было характерно для Саши: он всегда знал, куда надо идти, если хочешь, чтоб было хорошо.

За корейкой — нам порекомендовал ее официант — мы вспоминали баню, и тут я с грустью обнаружил, что мы побывали

словно бы в разных местах. У них было куда интереснее. Они вспоминали множество подробностей, начисто от меня ускользнувших. Оказывается, там все время происходило что-то занятное, смешное или глупое. В этот цирк вносили свою лепту посетители, банщики, буфетчик, хранитель бассейна, сантехники, парикмахерши. Подобный тип наблюдательности — со стороны — мне начисто чужд. Я бессознательно отбираю из окружающего то, что меня близко касается. А все нейтральное или чуждое моей сути я просто не вижу. Это большой недостаток для пишущего. Угадав мою слабину, оба начали с серьезным видом «вспоминать» всё новые невероятные подробности. Оказывается, рядом с нами мылась бородатая женщина, банщик с серьгой был сыном знаменитого налетчика эпохи военного коммунизма Леньки Пантелеева — одно лицо! — жулик буфетчик у каждого второго рака оторвал клешню, у парикмахерши, бегавшей к телефону, халат был надет на голое тело, в бассейне ходила полутораметровая щука...

Тот блаженный день, начавшийся омовением, пивом и парикмахерской, продолжившийся корейкой, лавашем и саперави, имел продолжение. Нам не хотелось разлучаться. И когда официант предложил кофе, Саша решительно сказал:

— Спасибо, давайте счет. Поедем пить чай из самовара с горячими калачами.

— У тебя есть машина времени с задним ходом? — спросил Драгунский.

— Бродяга должен знать свой город. В Парке культуры, на границе с Нескучным садом, в ложбинке схоронилась чайная. Там самовар, горячие калачи с маслом и зернистая икра.

— Схоронилась, говоришь? — ядовитым голосом сказал Драгунский. — Небось на курьих ножках? В кассе — Баба Яга, официантом Кощей Бессмертный?

— Может, поспорим?

— Идет! На калач с икрой.

Конечно, он проспорил. Все было, как говорил Саша: самовар, калачи, горячие, сдобные, желтое масло, зернистая икра. Бабы Яги и Кощей Бессмертного не было, но их Саша и не обещал. И вот что странно, не было посетителей. Саша объяснил это тем, что никто не верит в существование такой чайной, и мы завтра перестанем верить, отнесем к похмельным видениям.

Вечер мы завершили в коктейль-холле на улице Горького, «котельной», как прозвала это заведение Галина Шергова. В компании оказался один начинающий писатель, который почему-то требовал, чтобы его называли Никита, хотя у него было другое, тоже красивое имя. Он и ныне здравствует, так и оставшись

по простевии жизни начинающим писателем. Он помнится мне человеком одаренным, умным, острым, внешне привлекательным. У его колыбели присутствовали все наличные феи, одарившие его своим богатством, кроме какой-то одной, довольно заудалой, но, видать, необходимой. У нее самой ничего нет, как у бедной родственницы, но она запускает в ход дары своих старших товарок, иначе они бездействуют, как двигатель без горючего. Все дарования Никиты остались вещью в себе, никак не оплодотворив человечество.

Никита придумал игру в неузнавание знакомых. Игра примитивная, но очень смешная. Подходит старый знакомец, дружески вас приветствует, а вы ноль внимания. Он кланяется снова, делает приветственный жест рукой, вы сидите с каменным лицом, словно поклон относится к кому-то за вашей спиной. Человек сбит с толку, он пытается что-то вам объяснить, волнуется, горячится, вы — сама вежливость и внимание — не понимаете, чего он от вас хочет. Озадаченный, расстроенный и обиженный, человек неловко отходит. Игра занята реакцией неузнанных. Почти никому не удается выйти с честью из положения; все тратят массу ненужных слов, сердятся, бывает, ругаются, чуть не плюются, хоть бы один рассмеялся и махнул на шутников рукой. Впрочем, один нашелся — Смирнов-Сокольский. Он внимательно смотрел на Сашино отчужденное лицо.

— Простите,— сказал он,— я принял вас за своего протезиста.

Саша расхохотался, вскочил, они расцеловались.

Эта игра надолго увела от меня Сашу. В тот вечер он поддался змеиному очарованию Никиты, которого знал давно, но как-то не сумел оценить. Никита принадлежал к большой и замечательной семье, обладавшей, кроме достоинств доброты, гостеприимства, расположения к людям, неизъяснимым семейным очарованием, которое каждый из членов семьи сохранял, хотя в разной степени, отрываясь от клана. Я никогда не видел таких умельцев обольщать людей, как эти обитатели дома с мезонином на Сивцевом Вражке. Стоило попасть к ним однажды, окунуться в атмосферу тепла, искренней заинтересованности в твоих заботах и бедах, глубочайшей порядочности, лишенной даже намека на педантизм и ханжество, услышать легкий, музыкальный смех, как ты навсегда становился их пленником. Саша там не бывал, возможно, поэтому проглядел Никиту, который один из всей семьи был с некоторой червоточиной, видимо отвращавшей Сашу, хотя он едва ли отдавал себе в этом отчет.

У Никиты были все семейные достоинства: и легкий смех, и море обаяния,— но иногда его привлекательное лицо корезила

grimаса завистливой злобы. Бесплодность несомненного литературного таланта — вот уж «дар напрасный, дар случайный»! — корежила ему душу, из-под шапки пепельных волос вдруг выстреливал взгляд хорька. Он знал это за собой и, чтобы компенсировать проговоры теневой стороны души, эксплуатировал всю родовое очарование. Если хотел, он становился неотразимым. Это было самоутверждением, какого он не мог найти в бегущей его рук литературе. Его главной и злой радостью было разрушать чужие дружбы и любви. Так он надолго испортил жизнь одному нашему общему другу, отбив у него невесту, когда тот уехал в долгую командировку. Едва разбитое сердце склеилось, Никита равнодушно оставил девушку. Лишь случайно не преуспел он в другой подобной же попытке, но крови людям попортил немало.

Он давно уже открыл нашу общую влюбленность в Сашу и решил обездолжить нас скопом. Довольно долго его чары не действовали, что лишь придавало ему охотничьего азарта, и вдруг в «котельной» Саша взял наживку. Ему чего-то недоставало в нашем кружке. Мы были слишком серьезны не только в том, что заслуживало серьезности, но и в загуле, по-русски безудержном, с угарцем и тьмою. Саше хотелось расслабляться более весело и легко, хотелось игры, бездельничанья с милой или дерзкой выдумкой. «Пленительная лень» была не из нашего обихода. А у Саши порой возникала настоятельная потребность в таком вот безмятежном, солнечном ничегонеделании. Лентяй, выдумщик, острый собеседник, Никита как-то вдруг «пришелся» ему. В эту пору Саша вышел из безвестности, из подполья домашней признанности, узнал вкус денег, да и надоело однообразие чуть надрывных аполлоногригорьевских застолий со слезой и битьем себя в грудь. Саша ушел в легкий и разнообразный мир, предложенный ему Никитой. Начав путь вдвоем, они вскоре обросли компанией звонких, прозрачных, легко воспаряющих над землей людей, не таящих под тонким слоем песенного забвения неизбывной русской маеты.

Мне кажется, что в глубине души я так и не простил Сашиного отступничества.

В последующие годы мы встречались куда реже. Ко всему еще обстоятельства моей жизни изменились: мы с женой разошлись, и не стало объединяющего наш круг дома по улице Горького. Дом, разумеется, остался, но соединял он теперь совсем других людей. Наша компания разбрелась.

Порой мы встречались с Сашей за преферансом. Меня втягивала в это дело Аня, не хотевшая окончательного угасания отношений. Я чужд карточного азарта, но тут вдруг по-

чувствовал вкус к пульке, неожиданно явив качества довольно крепкого игрока. За картами открылась еще одна черта Саши, которую он сам называл фатальным невезением. Играя сильнее всех нас, он неизменно проигрывал. Нечто похожее было на бильярде. У Саши был отлично поставленный дар, меткий глаз, он тончайше знал игру, но брал верх куда реже, чем следовало. Что-то ему мешало. Он совсем не умел ненавидеть противника, а без этого выиграть трудно.

В преферанс Саше действительно не везло. Если он объявлял мизер на своем ходе, имея одну восьмерку, то остальная масть оказывалась на одной руке, и приходилось сразу брать неизбежную взятку. Если же Саша играл мизер на чужом ходе, то оставался минимум без трех. Он постоянно налетал на четвертого валета и на те парадоксальные расклады, что потом являются в кошмарных снах. Играл Саша всегда с улыбкой, но однажды не выдержал, ударил себя ладонью по лбу, и какая-то подозрительная звень прозвучала в его голосе:

— Чего стоит все умение, знание игры, партнерство с лучшими игроками, бесчисленные ночи над пулькой перед этим свинским, хамским невезением!.. И ведь во всем так...

Вот тогда я подумал, что невезение тут ни при чем. Мне тоже не шла карта, — похоже, я искупал невероятное, какое-то даже пугающее везение моей матери, ярой картежницы, и все же я чаще всего выигрывал. Саша был представителем почти выродившейся породы людей, которые придерживаются, сами того не желая, но это сильнее их, принципа «fair play»<sup>1</sup>. Я знал лишь еще одного человека — художника Владимира Роскина, который мог бы поспорить с Сашей по обреченной преданности этому роду игрового поведения, да и не только игрового: «fair play» — это жизненная позиция.

В игре необходимы: ожесточение, беспощадность в использовании любого преимущества, умение подавлять порывы благородства и жалости, выдержка и хоть толика жульничества, ну, хотя бы не отводить глаза, если противник дает заглянуть в свои карты. Ничего этого не было у двух образцовых джентльменов: Роскина и Галича, и все их игровое мастерство не приводило к выигрышу. Это не значит, что Саша и Роскин вообще никогда не выигрывали, так не бывает, ибо чужое невезение, чужое неискусство оказывались порой сильнее их бессознательной боязни победить и причинить этим боль другому существу, но суть в том, что они обязаны были выиграть, как правило, а они, как правило, проигрывали. Прикупая однажды на мизере

---

<sup>1</sup> Честная игра (англ.).

туза и короля к валету, Саша сказал со вздохом, что надеется дожить до коммунизма.

— Зачем тебе это надо? — спросил я.

— При коммунизме будут играть с открытым прикупом, — сказал он фразой, ставшую потом крылатой.

Сейчас, когда мой рассказ, вдруг сильно рванувшийся в будущее, вновь вернулся в гиблые сталинские времена, уместно коснуться темы, которая не дает покоя нынешним хорошим молодым людям. Это гласно и безгласно обращенный к нам, старикам, вопрос: как можно было жить в кошмаре террора, зубодробительных проработок, садистских унижений, одуряющей демагогии, доноительства и предательства? Я могу ответить за своих сверстников, родившихся вскоре после революции. Мы жили молодостью, которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами, с готовностью начать новую человеческую жизнь. И мы ее начали. Впрочем, не надо думать, что предшествующую жизнь мы считали нечеловеческой, как бы ужасна она ни была. Есть такая штука — повседневность. Она заполняет время и дает ему течь незаметно, ибо лишь незаполненное время замирает, превращается в стоячую лужу. Мы, наш круг людей, решившихся верить друг другу и не обманувшихся в этом, находили в общении друг с другом много радости. А дурное, о чем говорилось выше, пришло куда позже, но опять же обернулось лишь моральным, а не физическим предательством, служа делу самосохранения. Любопытно, что люди, выдержавшие испытание огнем, согнулись, потянувшись к жирному куску. В ту пору жирного куска не было, а если и был, то требовал не просто нравственной сделки, а подлости всерьез, до конца, на что далеко не все способны.

В принципе каждый из нас мог уничтожить другого, да и всех сразу одним росчерком пера. Каждый был для другого инженером Гаринным, вооруженным лучом смерти. Не важно, что такое же оружие было у стоящего рядом, это не тормоз, а скорее побудитель к опережающему действию, но мы все уцелели, а ведь круг наш был очень широк. Наверное, это придавало тогдашнему общению особую значимость и ценность, что-то почти ритуальное было в наших частых сборищах, которые мы все же не подвергали испытанию политических разговоров. Да и о чем было говорить? Война и первые послевоенные годы были залиты алым светом патриотизма. О политике заговаривали лишь провокаторы и стукачи. Нас это не интересовало. Перед нами разворачивалось огромное поле полулегальной свободы, охватывавшей и неположенную литературу, вроде Мандельштама или Павла



Васильева, Селина, Джойса или Алданова, и не запрещенную, но и не разрешенную живопись импрессионистов, «Мира искусства», русского футуризма. Мы вспоминали театры Мейерхольда, Камерный поры расцвета, новации Каверина, Охлопкова, быковские «Гримасы», Вертинского пели до его возвращения, слушали Лещенко, поклонялись Шостаковичу и Прокофьеву, независимо от их официальной котировки, обожали «цыганщину», пили широко и шумно, но к этому тогда относились снисходительно, рукою Саши писали «Матросскую тишину», рукою Корсаковой рисовали жестко формалистические рисунки, талантом Рихтера ставили костюмированное представление «Марсельский кабачок», воодушевлением Драгунского создавали «Синюю птичку», гортанью Кочеткова выплакивали «Балладу о прокуренном вагоне»; скажу и о себе, чтобы не выглядеть паразитом: повесть «Встань и иди», рассказы «Над пропастью во лжи», «Спринтер или стайер» в первом варианте были написаны мною тогда. И были романы, было много загульной гитары, и драки были, и бильярд до одурения, и шатание по улицам до рассвета, когда сняли комендантский час, а у многих к этому добавлялась помощь своим узникам. Словом, было чем жить, даже до появления замечательных трофейных фильмов вроде «Моста Ватерлоо», «Касабланки» и «В старом Чикаго». Это была наша сладкая жизнь, но вам я не желаю такой.

И это была жизнь, которая формировала Сашу. Ведь песни, которые из него хлынули, как вода из раскрученного крана, где-то в шестидесятые, возникли не враз, а вызревали постепенно, еще в молчании-мычании сороковых и пятидесятых, когда шла работа наблюдения, работа страдания и сострадания, крутеж среди людей и внезапное затворничество. Мы думали, что Саша погружается в свою сокровенную драматургию, летучие пьесы не требовали самоизоляции, но, возможно, тогда уже творилась в горле певца его главная песнь, что в должный час разольется по всей стране без помощи радио, телевидения, пластинок и профессиональной эстрады.

В мертвые годы в халтуре, в домашнем гениальничанье, в шумном бражничанье, в глухой тишине, глубокой любви и легких романах, набирая в глазах все больше печали, но на людях всегда держа фасон, вызревал великий менестрель Галич. В той же дряни, веселье и боли, в тех же компромиссах и верности своему стержню, не бунтуя, но и не принимая причастия дьявола, обретали себя те его друзья, которым в меру отпущенных сил удалось что-то сделать в жизни.

Весна 1953 года была весной вдвойне. Прежде всего, это была полагающаяся по законам природы тревожная, слякотная, пас-

мурная с редкими промывами и все равно благословенная русская весна, а черный март подарил вторую весну: отвалилась от сердца России душащая глыба — «вождь народов», забрав с собой напоследок несколько тысяч задушенных в похоронной давке граждан Москвы, убыл в преисподнюю.

Все порядочные люди испытывали подъем, хотелось много пить и мало работать. Платоновский весенний ветер с удвоенной силой дул в ширинку. В один из ослепительных майских дней мне позвонил Саша, с которым я давно уже не виделся.

— Юрушка, ты чувствуешь, какой день? Сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви.

— Есть кадры?

— Кадров нет, хотя они по-прежнему решают все. Кстати, ты задумывался над этой формулировкой? Не люди, не граждане, не делатели, а кадры. Вот дубина!

— Кого же мы будем любить?

— Город полон молодых, цветущих женщин. Доверимся его весенней щедрости.

— Я не умею знакомиться на улице.

Короткая пауза, затем с уверенностью, в которую я не поверил:

— Зато я мастак.

Мы встретились на улице Горького. Саша был в новом фланелевом костюме, шитом на Марсе, мягких замшевых туфлях из другой галактики и вороной шерстяной рубашке с кометы Галлея. Я подумал, что, если его опыт уличных знакомств и не так значителен, самый вид срывается безотказно.

Но юные существа, выстукивающие каблучками тротуары улицы Горького, были настроены на волну, далекую от нашей. Правда, они останавливались, терпеливо выслушивали Сашу, иные даже вступали в переговоры, что-то уточняли, но затем решительно, хотя порой не без легкого сожаления, продолжали свой путь. Не знаю, о чем у них шла речь, от стыда я всякий раз отскакивал к витрине, газировнице, киоску, делая вид, что не имею никакого отношения к этому приставале.

Но одно я понял: обращаться с диковатым предложением провести вместе вечер можно без риска каких-либо осложнений к любой незнакомой женщине. Саша глядел лишь на возраст и внешность, ничуть не заботясь социальным и нравственным статусом дамы. Странно, что солидные матроны вели себя точно так же, как вертлявые травестиюшки, сонные студентки, озабоченные служащие с портфелем, спешащие домой после утомительного трудового дня, и те неопределенного назначения смазливые существа, которые вошли в молодую литературу шести-

десятих годов под кодовым названием «кадришки». Одна величественная особа даже записала Саше свой телефон — губной помадой на клочке бумаги, прежде чем сесть в поджидающий ее «ЗИС» с правительственными стыдливими занавесочками.

У меня мелькнула надежда, что мы завершим этот вечер вдвоем — по Вертинскому: «Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски». И вообще: «Как хорошо без женщин!» Напрасная мечта — Саша зацепил каких-то мединеток.

— Юрушка! — прозвенел восторженный крик. — Иди сюда! С кем я тебя познакомлю!..

Я подошел и представился.

В ответ:

— Нина.

— Оля.

Здороваясь, они подавали вялую ладонь и чуть приседали, будто делали книксен. Откуда взялся такой политес? Может быть, темным наитием Сталина этот старинный светский подсед ввели в женских школах?

— А теперь познакомь меня, — попросил Саша.

Я назвал его. Он счел необходимым добавить, что является автором пьесы «Вас вызывает Таймыр». Это произвело впечатление. Щедрый Саша решил поднять и мое реноме, на чем я вовсе не настаивал, но девушки — им было лет по двадцать — ни «Трубки», ни «Зимнего дуба» не читали.

— «Трубку» вы могли по радио слушать, — сказал Саша. — Ее все время передают.

— А мы в парикмахерской не работаем, — довольно находчиво сказала Нина, видимо ведущая в паре.

Естественно, это определило Сашин выбор, а мне досталась «вторенькая», к чему я был готов, исходя из правил подобных встреч.

Большой разницы между девушками не было: обе невысокие, ладненькие, русоволосые, с круглыми личиками. И одеты сходно: шерстяная юбка, свитер, сумка через плечо. Они вместе работали, жили рядом, в Замоскворечье, и сейчас вышли прогуляться после работы, больно вечер хорош. Все эти мало что говорящие сведения сообщила Нина.

— Куда мы пойдем? — спросил Саша. — Самое время поужинать. Предлагаю четвертый этаж «Москвы». На террасе. В помещении душно. Мы будем сидеть под московским вечеряющим небом и смотреть на закат.

Девушки чуть оробели от такого велеречия. Между ними произошел быстрый, суматошный обмен, похожий на вспышку во-

робьиного волнения над свежей навозной кучей: шорох, шелест, мелькание крыл, скачки, шебуршня. У них, конечно, это выглядело иначе: молчаливый и поразительно богатый содержанием разговор при крайней ограниченности средств выражения — взгляд, взмах ресниц, поджатие губ, передерг плеча, вскид головы, встрях волос, вытарщ глаз, кивок. Это читалось примерно так: «Он чокнутый?» — «Вроде нет, выпендривается». — «Может, пошлем их?» — «Чуваки вроде солидные». — «Не люблю, когда лапшу вешают». — «А нам-то что — скрутим динаму...»

— Мы не одеты, — сказала Нина.

— Для этого бар... бара? Вы прекрасно одеты.

— Небось мест нету.

— Для нас всегда найдутся.

Мы разбились на пары и похлюпали к гостинице. Я мучительно придумывал, о чем бы заговорить. Страна находилась на переломе, весь мир настороженно следил, куда мы пойдём; весна чудно преобразила город, женщины скинули зимнее барахло и в простой легкой одежде дивно похорошели; на улице ежеминутно что-то происходило: подростки, гоняя друг за дружкой, сбили с ног лотошницу, продавец воздушных шаров упустил шарик и так расстроился, что чуть было не лишился всей связки, огромный негр купил брикет мороженого и неумело лизал его, капая на костюм, прошел Лемешев, стесняясь своей известности и красоты, пьяный мочился в урну — словом, материала для беседы было более чем достаточно, но я не знал, как им распорядиться. Я понимал, что говорить надо небрежно, беспечно, хотя и с тонким подтекстом, помогающим сближению, но какая-то тяжесть навалилась на плечи, словно атлант дал подержать свою ношу. Впереди Саша разливался соловьем, и Нина, более смекалистая из подруг, похоже, убрала колючки. Она смеялась, потом взяла Сашу под руку.

Я начал складывать в уме идиотскую фразу, что нашим друзьям хорошо друг с другом, но не мог найти интонацию. Ирония тут неуместна и вредна, одобрение глупо, простая констатация факта — бессмысленна. Фраза должна звучать как объективное наблюдение, но с игривым подтекстом: мол, и нам бы так! Но попробуй быть игривым, когда на плечах земной шар!

— Вы в отпуске еще не были? — спросил я, удивленный собственной тупостью.

— Нет, не была. — Через минуту-другую она спросила: — А вы?

Как сказать ей, что у писателей нет отпусков, мы сами выби-

раем время для отдыха? Она просто не поймет. Придется объяснять статус человека свободной профессии, члена творческого союза. Это далеко заведет. И я сказал с непонятым подъемом:

— Нет, еще не был!

По счастью, мы вышли на угол Охотного ряда, надо было обеспечить переход опасного перекрестка. Я бывало и ловко — так мне казалось — взял ее за острый локоток и быстро повел через улицу, уговаривая себя, что мы выглядим живо, юно и бесконечно привлекательно. А потом я подумал, что настанет день, когда все это окажется в далеком прошлом, и я буду вспоминать о маленьком приключении не только спокойно, но, может, даже с улыбкой. Скорее бы это время настало.

Мы вошли в ресторан, и дамы, как принято у наших соотечественниц, немедленно скрылись в туалете. Отсутствовали они так долго, что в душе шевельнулась спасительная надежда на «динамиу». Но они все-таки вышли оттуда, в том же самом виде, в каком ушли. Что они там делали столько времени? И почему у западных женщин нет такого обычая? Надо полагать, что физиологически они устроены так же, значит, причина не в этом. Наверное, у наших всегда что-нибудь не в порядке с туалетом: какая-нибудь штрипка держится на честном слове, ослабла резинка на трусах, пуговицы на лифчике вот-вот оторвутся, поехала петля на чулке, и ее надо заклеить слюнями. Или они забыли вымыть утром шею, почистить зубы, проверить уши, но отечественным дамам всегда нужна доводка, как «Жигулям», идущим на экспорт. Все это коренится в запущенности советского человека и убогости нашего быта. Чем, впрочем, не исключается и повальный цистит.

Мест, конечно, не было, но Саша немедленно получил столик, к тому же у самой балюстрады, откуда во все концы распахивалось сиреневое вечерующее городское пространство.

Когда-то Саша рассказывал мне, как он завтракал с Вертинским за одним столиком в «Европейской». Саша, желая не ударить лицом в грязь перед таким ценителем всех радостей жизни, каким справедливо считался Вертинский, заказал зернистую икру, поджаренный хлеб, миног, омлет с ветчиной, марочный коньяк и кофе. Официант равнодушно принял заказ и почтительно склонился к Вертинскому, который с брезгливой миной вертел в руках меню.

— Чаю, — наконец гнусаво сказал тот.

— Прикажете с лимончиком, вареньем или сливочками?

— Просто чаю. Вы понимаете русский язык?

После этого он трижды возвращал стакан официанту: в первый раз было не крепко, в другой — чай отдавал мочал-

кой, в третий — подстаканник был не по руке. Но официант, крайне небрежно обслуживший Сашу, здесь не жалел ног. А когда Вергинский ушел, забрав сдачу, официант умильно посмотрел ему вслед и сказал мечтательно:

— Настоящий барин!..

Но здесь в качестве настоящего барина фигурировал Саша. Мои жалкие попытки вмешаться в происходящее обрывались суровым взглядом официанта, желавшего иметь дело только с Сашей. Правда, его барственность отдавала сейчас купеческим размахом. Он, видимо, решил ошеломить наших подруг. Какие блюда он заказывал! Какие придумывал к ним соусы! Как сокрушался, что нету устриц и трюфелей!

Старый официант с трясущейся головой наслаждался этими барскими причудами, напоминавшими ему былые сладостные времена «Ново-Московской» и «Стрельны». И даже раз обмолвился странным обращением: «Господа купцы».

Перед первой рюмкой Саша сказал:

— Юрушка, какие мы с тобой счастливые. Лучшие девушки Москвы сидят за нашим столом, а вокруг такая весна! Давайте обойдемся без тостов. Пусть каждый выпьет за свое. И это окажется общим, ведь все мы пьем за любовь!

«Лучшие девушки Москвы» как-то подозрительно отнеслись к этому витийству, они переглянулись и молча выпили.

Сашу не остановила их сдержанность, он продолжал в том же возвышенном стиле, словно утратив ориентировку в окружающем. Сыпал Мандельштамом и Пастернаком, рассказывал истории из жизни знаменитостей, о которых наши подруги сроду не слышали, замечательно рассуждал о том, как по московской весне бродят тысячи одиноких и не догадываются, что самый нужный, единственно нужный человек только что прошел мимо, бросив беглый, неузнающий взгляд, опустил на ту же садовую скамейку, задел локтем в дверях магазина, счастье часто бывает рядом, только мы не знаем его в лицо. Естественно, все это требовалось для того, чтобы оттенить редкую удачливость Саши и Юрушки, ведь «лучшие девушки Москвы»...

Надо сказать, что наши приятельницы, несмотря на все Сашино красноречие, стихи, обильный стол и серьезные возлияния, оттаивали медленно. Даже Нина, встрепенувшаяся было на улице, опять подморозилась. В какой-то момент они дружно встали, извинились и отправились в туалет. Отсутствовали они так долго, что я вторично окрылился надеждой на освобождение. Правда, сейчас не без некоторой досады. О чем сказал Саше.

— Господь с тобой! Они вернутся. Неужели ты не видишь,

что они очарованы? Просто стесняются. Девственные, не испорченные цивилизацией души.

Саша оказался прав. Беглянки вернулись оживленные, улыбающиеся, какие-то одомашненные, видимо, туалетные переговоры окончились в нашу пользу.

— Небось думали, что мы динаму скрутили? — кокетливо сказала Нина и ущипнула Сашу за ухо.

— Никогда! — пылко вскричал Саша. — Я знал, что вы придете, что ты придешь! Позволь говорить тебе «ты». «Вы» лишено сердца!

Ты придешь и на голос печали,  
Потому что светла и нежна.  
Потому что тебя обещали  
Мне когда-то сирень и луна.

— Выпьем, Юрушка, за наших прекрасных подруг! За нашу встречу!

— «Бывают в жизни встречи, и то лишь иногда», — вдруг проговорила молчаливая Оля.

Саша был потрясен:

— Как вы хорошо сказали!

— У нас на Восьмое марта поэт выступал, — чуть ревниво вменялась Нина. — Коноплев. Он в этом... Союзе писателей работает. Со сцены травил неинтересно, а на междусобойчике хорошие стихи читал.

— Ты знаешь поэта Коноплева? — спросил меня Саша.

— Вроде слышал.

— Он известный поэт. Я один стишок даже запомнила.

— Прочтите! — молитвенно сложил руки Саша.

Нина откашлялась, постучала себя ладонью по груди, изгоняя никотиново-водочную хрипотцу.

Чтоб не страдали наши киськи  
В Международный женский день,  
Жуй мясо, шпик, шашлык, сосиськи,  
Налей глаза — и к черту лень!..

Саша улыбнулся напряженно, слегка бодаясь, что было у него признаком душевного дискомфорта. Но быстро справился с собой и шепнул:

— А все-таки мы их приручили.

После чего стал врачевать нас от виршей Коноплева прекрасной русской поэзией. Он растрачивал себя так щедро, будто от этого зависела судьба. Большой актер не думает, для кого играет, ибо играет прежде всего для самого себя. Насквозь

артистичный, Саша не применялся к аудитории, он играл вза-  
хлеб, «при этом не выгадывая позы»...

Был одиннадцатый час, но еще дотлевала долгая майская  
заря, когда мы вышли из ресторана.

Я был с машиной и развозил компанию, хотя меня самого  
порядком развезло. Но это никогда не смущало тех, кого я  
развозил. Нигде в мире не видел я такого полного, спокойного,  
безоблачного доверия к нетрезвому водителю, как у нас. Даже  
когда меня почти вносили в машину и я не мог попасть ключом  
в щель зажигания, не было случая, чтобы кто-нибудь засомне-  
вался, стоит ли доверять свою единственную и неповторимую  
жизнь выпавшему из сознания шоферу. А стоило сказать: «Да  
что вы, братцы, мне и до дома не доехать!» — как начина-  
лось: «Зазнался!.. Бензин жалеешь!..»

Первой мы отвезли Нину, она жила ближе. Саша пошел ее  
проводить. Настроившись на долгое ожидание, я завел с Олей  
разговор на библейскую тему: «Накормите меня яблоками, на-  
поите молоком, ибо я изнемогаю от любви». Но не успел  
развить тему, как Саша вернулся. Какой-то странный, смущен-  
ный, улыбающийся, тихий. Молча сел в машину. Мы тронулись.

Старый деревянный поленовский дом Оли находился в глуби-  
не сельского замоскворецкого двора. Она сказала, что заезжать  
туда не стоит, народ разбудим.

— Я провожу вас! — крикнул я, когда она выпрыгнула из  
машины. И тихо спросил Сашу: — Что случилось?

Он боднул воздух лбом.

— Она поцеловала мне руку.

— Зачем? — тупо спросил я.

— Не знаю.

— А дальше что?

— Ничего. Что же могло быть дальше?

— Гнилой интеллигент! — крикнул я и кинулся со всех ног  
за Олей, решив взять с нее за себя и за того парня.

Нагнал я ее в подъезде. Тут хорошо пахло старым деревом,  
паутиной и теплой пылью. Оконные ниши, широкие подокон-  
ники, батареи — все располагало к любви, но Оля целеустрем-  
ленно цокала каблучками по скрипучим ступеням, и я поспе-  
шил за ней.

Она отомкнула обитую клеенкой дверь и пропустила меня в  
сумрачную прихожую. Приложив палец к губам, открыла дру-  
гую дверь и зажгла свет.

— Олька, ты, что ль? — послышался старушечий голос из-за  
ситцевой занавески.

— Я, бабушка, спи.



Посреди комнаты стояла детская кроватка, в ней находился раскаленный младенец, заткнутый соской.

— Жарко бедняжке! — Оля подошла и стала что-то делать с младенцем, который продолжал спать, кисло жмурия глазки.

— Девочка или мальчик? — обреченно спросил я.

— Пацанка.

— А отец где?

— Кто его знает? Нам никто не нужен. Мы сами по себе.

Кто-то тяжело, по-животному, задышал. Мелькнула бредовая мысль, что за стеной обитает корова.

— Бабушка,— сказала Оля.— Астма у нее. Хорошая у меня дочка?

— Замечательная. Как звать?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда.

— Ну, я побежал,— сказал я деловито.

Саша курил, широко раскинувшись на заднем сиденье.

— Тебе привет от Наденьки.

— Кто это?

— Надя, Наденька, Надюша, Надюнечка, Надежда. Дитя любви.

— У нее дочка? Сколько ей?

— Не знаю. Совсем новенькая. Еще есть бабушка. За занавеской. Я не был ей представлен.

Саша засмеялся.

— Не злись. Это же здорово! Вот увидишь: всякие варфоломеевские ночи, как говорит наша лифтерша, забудутся, а это нет... «Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет».

— Чье это? Ранний Коноплев?

— Нет, поздний Георгий Иванов, тоже прекрасный поэт.

Вот так «пожуировали жизнью», по выражению лесковских купчиков, вернувшихся из Парижа...

.....

Наше расхождение началось в пору, когда песни Галича завоевывали страну. Рать его поклонников была если не многочисленнее тьмы почитателей Окуджавы, то куда шумнее, поскольку моложе. Саша знал, что делает главное дело своей жизни, и дело весьма опасное, которое может сломать ему судьбу, ему нужно было понимание и союзничество, а я не мог ему этого дать. Я был в плену у Окуджавы, Сашины песни мне не нравились.

А так хотелось, чтобы нравились, ведь я по-прежнему любил

Сашу и боялся потерять его окончательно, впрочем, долгое время такая мысль мне и в голову не приходила.

Как-то мы оказались в Ленинграде вместе: Саша, Булат и я, хотя каждый приехал по своему делу. У меня в номере началось нескончаемое застолье, что так любил Саша и не выносил Булат, но терпел, поскольку собрались наши общие близкие друзья. Невольно вспоминается строфа Георгия Иванова о милых приметах Царского Села: «То, что Анненский нежно любил, то, чего не терпел Гумилев».

Среди присутствующих оказалась очередная Сашина поклонница, женщина большой душевной энергии и, как выяснилось много позже, выдающегося литературного дара, которого никто не хотел за ней признать. Сейчас мне кажется, что этой женщине, с ее страстным, необузданным, склонным к конфликтам характером, очень хотелось столкнуть наших бардов, в надежде, что верх окажется за ненаглядным ее Сашей. Она все время висела на телефоне, отыскивая ристалище для песенного поединка, гостиничный номер для этого не годился. Словом, готовилось нечто вроде трагического состязания знаменитых менестрелей Вольфрама фон Эшенбаха и Генриха фон Офтердингена в замке Вартбург. Там побежденный должен был принять смерть. И лишь заступничество великого барда Вальтера фон Фогельвейде<sup>1</sup> склонило владетельную княгиню помиловать побежденного Офтердингена, заменив ему смертную казнь изгнанием. Не думаю, чтобы Сашина подруга оказалась столь же милосердной. Наконец дом для песни был отыскан.

Окуджава — это было в его стиле — сказал, что петь не будет, но с удовольствием слушает Сашу. Гитару тем не менее он с собой прихватил.

Мы приехали в типично петербургскую старую квартиру с высоченными, темными от копоти потолками, кафельными печами и останками гарнитура красного дерева. Старинные грабюры с мачтами и парусами угрюмились на стенах. Но тридцатилетняя хозяйка была вполне из нашего времени, даже несколько впереди, она исходила агрессивным задором, сленгом и никотином. И все время что-то потягивала из стакана. Нам всем поднесли выпить и сразу расчехлили Сашину гитару с загнутым грифом.

Саша пел очень много, как всегда не ломаясь, на всю железку. Тут были песни из «золотого фонда»: о том, как «молчальники выходят в начальники, потому что молчание золото», о супер-

---

<sup>1</sup> Подробнее о поэзии миннезингеров см. в кн.: История немецкой литературы в 3-х тт. Т. I. С. 32—82.

номенклатурном зяте, растоптавшем чужую жизнь, о том, что «любое движение вправо начинается с левой ноги», о могилах сталинских лагерей, перед которыми «премьеры» не преклоняют колен, о Егоре Петровиче, которого руководящие указания поднимают со смертного ложа, о народном Демосфене Климе Петровиче, выступающем на митинге от лица советской матери. После каждой песни Сашина поклонница и хозяйка дома обводили слушающих восторженно-свирепым взглядом: мол, попробуй скажи, что тебе не нравится. Но это никому и в голову не приходило. Всем нравилось, все любили Сашу и восхищались им. Я тоже восхищался, не пытаюсь ничего оценивать, Сашиной смелостью, едким сарказмом и болью за униженных и оскорбленных.

Быть может, все обошлось бы, но Булат дал себя уговорить спеть. Больше всего старался в своем неизменном благородстве Саша. Ему Булат не мог отказать. И вот уже последний троллейбус плывет над Москвой, верша по бульварам кружение...

Сознание не участвовало в том вздохе-стоне души, который вырвался из меня, едва замолк голос певца:

— Боже мой, как хорошо!

— А вы не кричите! — перекосив лицо ненавистью, заорала хозяйка дома. — За стеной люди спят!

— Нет элементарного такта, — свистящим шипом кобры подержала Сашина поклонница. — В чужом доме... Какое хамство!

Это было так дико по невоспитанности, злобе и несправедливости — и Булат, и особенно Саша рождали куда больше шума, никого не тревожившего за толстыми ленинградскими стенами, — что я растерялся, съезжился и не нашел ответа. Мне казалось, что Саша должен осадить их, но он промолчал. Видимо, окончательно понял по моему невольному проговору, что его муза мне чужда, и, как говорится, умыл руки. Больше он никогда не пел в моем присутствии.

Когда Владимира Войновича, недавно гостившего в Москве, спросили по телевидению тоном жесткого утверждения: вы, конечно, любите Галича? — он, отвечавший до этого тоже жестко и решительно до агрессивности, вдруг смутился и промямлил, что любил, «как и все мы тогда», Окуджаву... Но да... конечно, он хорошо относится и к Галичу...

Отвлекусь на вдруг мелькнувшую мысль: почему можно любить Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина, Мандельштама и Пастернака, Леонардо и Рафаэля, Пруста и Джойса, но нельзя любить Козловского, если любишь Лемешева, Доминго, если любишь Паваротти, Тибальди, если любишь Каллас. Исключения бывают, но крайне редко. Может быть, пение действует

на какие-то ментальные или чувственные центры, что исключает совместительство, как истинная любовь — страсть?

Я, как и Войнович, пусть он моложе меня, человек эпохи Окуджавы. Моя любовь к нему не уменьшилась и сейчас, хотя я стал куда примчивей и открытее другому пению, в том числе песням Галича, слушаю их с огромным удовольствием. Кажется, я могу объяснить, в чем тут дело.

Недавно мне дали прочесть рукопись мемуарной книги одного умного и одаренного журналиста-ученого (надеюсь, рукопись эта станет книгой), где он пишет о своей потрясенности Галичем в те самые годы, о которых речь идет у меня. Человек шестидесятых годов, он говорит, что любил Окуджаву, но явился Галич и отнял эту любовь. Ибо Булат Окуджава, при всем его таланте и обаянии, выражается символами, порой не до конца ясными (черный кот, который в усы усмешку прячет), а Галич все называет впрямую, своими именами. Его гражданское чувство, мол, куда сильнее и действеннее.

Это не локальная проблема: Окуджава — Галич. Когда вышел фильм «Покаяние», его многие не приняли за иносказательность, «замаскированность» героя. Надо было делать фильм впрямую о Сталине, а не размывать образ: то ли Сталин, то ли Берия, то ли какой-то диктатор местного масштаба. Но громадность этого фильма как раз в том, что он дает вселенский, на все времена образ деспотизма: от древних царств и Рима до наших дней, а не разменивается на конкретику частных судеб.

Первый фильм о пережитом апокалипсисе мог быть только таким. Трагический фильм впрямую о Сталине вообще невозможен, потому что, превращая жизнь в трагедию, сам Сталин не был фигурой трагической. Низкорослый, рябой, сухорукий, косноязычный дворцовый интриган с примитивным мышлением и отсутствием душевной жизни (отсюда его ошеломляющее и часто необъяснимое кровоядство), не Макбет и даже не Ричард III — у него не могло быть такого взлета, как у горбатого хромца, оболбившего венценосную вдову над могилой убитого им мужа. И о Гитлере не может быть трагического произведения, он тянет разве что на сатиру в духе чаплиновского «Великого диктатора». Сталин страшная, но пошлая фигура. Художественное чутье Абуладзе подсказало ему единственное верное решение. Он создал могучий символ, а не бытовую, пусть и «украшенную» всеми пороками, фигуру.

Для меня — и не только для меня — песни Окуджавы больше сказали о проклятом времени загадочной песней про черного кота, чем предметные и прямолинейные разоблачения Галича. Но дело не только в этом, и даже вовсе не в этом. Окуджава

разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радиоозвученности тусклых дней; нам открылось, что в глухом, дрожащем существовании выжили и нежность, и волнение встреч, что не оставили нас три сестры милосердных — молчаливые Вера, Надежда, Любовь, что уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались лю д ь м и. Окуджава открывал нам нас самих, возвращал полное чувство жизни, помогал преодолению прошлого всего, целиком, а не в омерзительных частностях. И для людей, несших на себе клеймо этого прошлого, его часто печальные, но не злые песни были значительней разоблачений и сарказмов Галича. А вот уже другому поколению, не знавшему наших мук и душ пропажу, конкретика песен Галича была привлекательней.

Для меня песни Галича зазвучали по-настоящему года три-четыре назад. Казалось бы, то, о чем он поет, отодвинулось, утратило остроту — ничуть не бывало. За минувшие годы мы не только не залечили ни одной болячки, не разрешили ни одного мучительного вопроса, не приблизились к чему-то лучшему, если исключить право (весьма лимитированное) кричать о наших муках, физической и моральной нищете и униженности, но довели все до последнего предела. И Сашины сарказмы ничуть не пожухли, напротив, выострились. Теперь пришло время называть все своими словами, прямо в лоб. Покров тайны сорван с действительности, не надо играть ни в какие символические игры, нужны конкретные имена, точные обстоятельства преступлений. Сашины песни переживают второе рождение, став, как никогда, нужными расхотевшему терпеть народу.

Так вот соединился я с Сашиными песнями. А в далекие годы мне куда больше нравилась его поэма о Корчаке, стихи. Любил же я лишь песню о возвращении. Саша оказался провидцем, хотя едва ли мог предположить, что возвращение его на родную землю будет столь победительным.

Я по заслугам потерял Сашу. Он шел своим крестным путем, он был обречен песне, знал, что его ждет жестокая расплата: либо тюрьма, либо изгнание, — и не мог тратить душевные силы на тех, кто был всего лишь т ё п е л.

Я все время думаю о Саше, разговариваю с ним, вижу его прекрасные глаза, улыбку, слышу глубокий голос, так богатый интонациями доброты, и вдруг олений трубный возглас сотрясает мне душу: «Юрушка, какие мы счастливые, — лучшие девушки мира!..»

Ах, Господи, где они, где мы, где прошлогодний снег?..

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...»

Книжка эта — самиздатовская. В темно-красном переплете коленкоровом. На обложке — «А. Галич». На первой странице — «Книга песен. Москва, 1964—1966 гг.».

Вторая страница с таким текстом: «Это стихи. И это песни. Во всяком случае, это песни, которые поются. То, что исполняются они, как правило, под аккомпанемент гитары, — не делает их ни лучше, ни хуже. Просто именно так и для этого — они написаны!»

Третья страница — посвящение: «Ангелине».

Надпись на книге: «Дорогому любимому Толеньке — учителю от ученика. Александр Галич. 7 января 1967 г.».

Книга эта подарена ко дню рождения Анатолия Аграновского. Учителю исполнилось 45 лет, ученику — 49. Через семь лет Александр Галич уйдет из нашей жизни, а через десять лет из жизни навсегда.

Вот такие даты...

\* \* \*

1957 год. Жаркое лето. Я приезжаю с сынишкой на день в Малеевку к мужу из деревни, где живу летом у родителей. Это в десяти километрах от Дома творчества. По дороге от автобуса спрашиваю встретившего нас Толю, кто из знакомых в Малеевке, с кем он за столом сидит. Он перечисляет, а за столом с ним — Галичи. Кто такие? «Он — драматург, человек милый, умный, интеллигентный. Жена его — красавица, остроумница. Они тебе понравятся».

Так, еще не видя Галичей, познакомилась я с ними. Аттестация мужа была точной, за семнадцать лет, что я знала Галичей, не поколебалась.

Пришли мы к обеду. Галичи уже сидели за столом. Муж по-

знакомил нас. Александр Аркадьевич церемонно встал, поклонился, поцеловал руку, подвинул стул, ласково заговорил с Алешей. Ангелина Николаевна приветливо улыбнулась, порекомендовала, чем покормить сынишку. Знакомство отметили бутылкой хорошего вина, купленного тут же, в буфете. Я, несколько одичавшая в деревне, чувствовала себя как на празднике. Отменное общество, интересная беседа, еда подана и посуду мыть не надо... Очень хотелось, хоть в малой степени, соответствовать этой элегантной паре (эх, зря не надела свое лучшее платье в синий горошек!). На Ангелине Николаевне белая блузка, на шее повязан платок шелковый с турецким рисунком, белые брючки. Александр Аркадьевич «в бежевых тонах» — сорочка, брюки, пиджак (который он снял, попросив разрешения у дам).

Вечером я попеняла мужу, что он выходит к столу в своей любимой тельняшке: «Посмотри, как Галич одет. Он себе такие вольности не позволяет». — «Так он же благополучный драматург, он не может выйти «из образа»; жена его из аристократок. А я бедный очеркист, обремененный семьей, и жена моя из крестьян».

По дороге в Малеевку наставляла я четырехлетнего сынишку, как вести себя за столом со взрослыми: не разговаривать с набитым ртом, не брать с тарелки руками... Кое-что он запомнил, на какой-то вопрос дяди Саши ответил не сразу, а прожевав сначала. А мясо взял все-таки рукой и хотел было отправить в рот, но опомнился и наколол кусочек на вилку. А больше накладок с нашей стороны вроде не было. В грязь лицом перед изысканными Галичами не ударили.

После обеда уложили спать Алешу, сели на скамейку под окном Толиной комнаты. Вышли к нам Галичи «потрепаться», нарушив свой режим, обычно они спят после обеда. Это Толя отметил как расположение к нам. «Площадку заняла» Ангелина Николаевна. Рассказчиком она оказалась прекрасным. Героем рассказа был Сашенька, который «провалился» недавно на встрече со зрителями в ВТО. «Вы бы слышали, какие банальности он нес! Какие-то анекдоты «с бородой», вялые остроты изрекал! Провал полный! Я рыдала от жалости к нему, сидя в зале. Причина? Ему жал пиджак, сшитый специально к этому дню». Галич с удовольствием слушал, смеялся, подсказывал забытые подробности. Много раз потом присутствовали мы с мужем при их совместном устном творчестве. Это всегда был праздник юмора, самоиронии, наблюдательности. Много времени спустя по просьбе Саши рассказала Ангелина Николаевна историю своей приятельницы, которую вызвали в Инюрколлегию по случаю

смерти ее дальней родственницы, богатой и не имевшей наследников в маленькой капстране. Только было претендентка на наследство спланировала, на что потратить свалившееся на нее богатство, как по радио сообщение: в стране произошел переворот, лопнули банки. Так появилась потом одна из любимых нами песен Галича: «Баллада о прибавочной стоимости».

Поздним вечером, трясаясь в разбитом автобусе по разбитой дороге с задремавшим сыном на руках, вспомнила я слова своего деда, приезжавшего из деревни в Москву навестить сына, моего отца: «Ах, день задался!..» А сказано это было в день, когда отец мой познакомил его со Светловым и Голодным, и знакомство это было со взаимной симпатией. Теперь и я повторила про себя: «День задался!..»

Неделю спустя. Мы с отцом пилим дрова. Алеша собирает и относит под навес щепки и чурки. Рядом в коляске спит наш годовалый Антошка. Скрип калитки — Толя и Галичи! Полный конфуз, никак не вписываются в наш деревенский быт эти гости. На веревках навешано только что выстиранное белье — ползунки младшего, кальсоны деда... Мы в затрапезном: отец в ватнике (день прохладный), я в материнной старой вязаной кофте. Галич в замшевом с ног до головы, о жене его и говорить нечего, что-то «простое» для поездки в деревню. Первая мысль — метнуться в чулан переодеться. А во что?! Толя бодрым голосом: «Жена, становь самовар, принимай гостей!» Схватила ведра, коромысло — на родник за водой. Для самовара воду из родника всегда берем, из колодца не такая вкусная. Отец отправляется с бидоном к соседям за парным молоком, только что была дневная дойка. Со мной на родник просится Ангелина, я отговариваю — грязно там, топко. «Ах, чепуха!» Восторги горожан: «Ах, она воду на коромысле носит...», «Ах, как у вас пахнет хорошо, дровами, рекой...», «Ах, вы белье в речке полоскаете...», «Ах, печку ваш папа сам сложил!..»

Поставили самовар. Алеша подкидывал в трубу еловые шишки. Рассказывает дяде Саше, что собирал шишки сам. Опять восторг: большие шишки он называет «шиши». Галич: «Прелесть, покупаю для пьесы, маленькие — шишки, большие — шиши». (Много позже мы рассказали Саше, как Алеша, повалив Антона и делая вид, что душит его, приговаривал: «Молилась ли ты на ночь, Квазимода?» Галич: «Покупаю для пьесы!»)

Поспел самовар. Сели полдничать. «Ничего, — думала я, — чайку попьют и уедут. Толе выговор устрою — привез этот «высший свет» без предупреждения... Как они обратно поедут, автобуса сегодня уже не будет...»



А за столом меж тем все шло своим чередом. Молока и чая было выпито немало. Реплика Галича: «Давно я так не напивался!» Отец мой, лишенный в деревне достойной аудитории, гостям рта не дал раскрыть. Тут и деревенские истории были рассказаны, и процитированы к случаю любимые авторы — Стерн и Плутарх. «Не знаю, доводилось ли вам, Ангелина Николаевна и Александр Аркадьевич, читать у Гофмана (Стерна, Плутарха, Сократа)...» Но не тут-то было — доводилось! Еще и дополняли. Не удалось моему отцу «обставить» гостей, не на тех напал. А хотелось! Отец много раз в разговорах с зятем ужасался низкой культуре братьев писателей, малой их начитанности. Зятя приобщал к «великой литературе».

Уехали гости уже затемно на попутке — крытом грузовике колхозном, который и довез их до поворота на Малеевку.

Реплика отца: «Милые, интеллигентные люди. А по виду не скажешь...»

Я в тот день полюбила Галичей, еще не зная их слишком. Причина была — они без меры хвалили наших сыновей. Алешу не спускал с колен Саша, ворковал с ним. Ангелина держала на руках Антошу, поила его чаем с блюдечка и не поморщилась, когда он опрокинул чай с молоком, облив ее «простое» платье. Да, очень милые, добрые, красивые! Много ли мне надо от людей, если они моих детей хвалят?

За тот месяц много раз приезжала я к мужу. Наведывались к нам и Галичи в деревню. Саше пришлось по душе мой отец. Вели они долгие литературные разговоры, обоим было что рассказать. Сопереживание Галичей судьбе нашего деда было полным. Мало кому отец рассказывал свою горькую жизнь — 37-й год, а в войну немецкий плен... На его семидесятилетию были и Галичи. Вот какой тост произнес Саша, помню почти дословно: «Дорогой Федор Георгиевич! Спасибо вам, что дожили до такой даты, несмотря ни на что! Долгие вам лета! Нам же, добрым молодцам, пример, есть с кем себя сравнивать, не скулить по поводу неудач и огорчений, ибо все они того не стоят рядом с вашей жизнью. Будем на вас равняться!»

В тот месяц в Малеевке услышала я впервые поющего Галича. Но ни одной еще песни из подаренной десять лет спустя книжки, и не под гитару. Песни эти были из его кинофильмов и спектаклей, романсы Вертинского, Лещенко, Козина. Под расстроенное пианино в холле, на втором этаже. Артистичности Саше было не занимать, слушатели, а особенно слушательницы, принимали восторженно.

Потом услышали мы цикл его частушек, медицинских. Как назвал их наш приятель-врач, «пособие для студента-медика».



многих теперешних публикациях о Галиче мелькают определения «благополучный», «богатый» — в материальном смысле. Видела я за свою жизнь драматургов и писателей, к которым можно применить эти термины вполне. Но не к Александру Галичу. К нему — нет! Я знала, видела их быт изнутри. В будни и праздники, утром и вечером. В небольшой квартире было красиво, уютно, хлебосольно, но не богато. Вот книг было «богато». Хорошая, красивая одежда, но ни мехов, ни драгоценностей, ни машины, дачи, челяди. По дому Ньюша все делала сама. Умела и любила держать дом в порядке. Да к тому же была еще профессиональной сиделкой и медсестрой. Я видела, как умело она делала Саше уколы внутривенно. А болел Саша часто и подолгу.

1958 год. Снимаем на лето в Паланге комнату с верандой. Сблазнили Галичи: дешево, на самом берегу, с продуктами проблем нет. И действительно, магазинные полки ломаются от сортов мяса, колбас, сосисок, молочных продуктов. Рядом — дешевый рынок. Спасибо Галичам, что уговорили!

Старые фотографии: пляж, в шезлонгах — Саша, Ньюша, Толя. У их ног копошатся в песке дети, наши Алеша с Антошей и их новые друзья Тито и Лолик, два шоколадных мулата (местные ребятишки спросили Алешу: «Эти что — негры?» Алеша: «Нет, это мои друзья». Галич: «Покупаю для псы!»). Тут же их родители: Тито Ромалио — эстрадный певец и танцор, мама — сибирячка, светлейшая блондинка по имени Евфалия. Еще фотография: Галичи, Тата и Юра Семеновы с сыном, Юлий Борисович Харитон, отец Таты, Баклановы с сыном, Бондаревы с дочкой... Тридцать лет тому назад!

Славное было бы лето, если бы не инфаркт у Саши. Вот где пригодилось знакомство с академиком Харитоном. При его содействии было налажено лечение Саши в хорошей больнице, доставались нужные лекарства. Тут я впервые увидела Ньюшу в роли сиделки, умелой и неутомимой. За месяц Сашиной болезнью она превратилась, что называется, в щепку. Спала урывками, есть мы ее заставляли едва ли не силой. На меня легла обязанность ушивать ее платья и юбки, висевшие на ней как на вешалке. Как-то, утешая ее, я сказала, что худоба ей идет, красоты не портит. На что она усмехнулась: «Теперь я Фанера Милосская... Сашенька огорчается, вот что плохо».

Сашу мы навещали каждый день, по очереди. Никакой тяжести в посещениях не было, он не отягощал своей болезнью. Сам задавал тон, острил. В первый мой приход извинился, что не может встать в присутствии дамы. Вышел, мол, на время из «образа джентльмена». На что я вспомнила: у Шоу написано, как его в детстве муштровали, приучая к хорошим манерам:

«Я вставал, когда в комнату вползала моя восьмимесячная кухня...» Саша рассмеялся: «Так вот как это называется — «комплекс Шоу». Я страдаю им тоже с детства».

Прошел месяц, отмеренный природой и медициной на болезнь. Саша встал с больничной койки, и вот мы провожаем их всем миром на клайпедском вокзале в Москву. Не очень-то хороший вид у Саши. Бледный, растерянный. Смущен, что чемоданы за него другие тащат. Подмигнул мне, шепнул: «Комплекс Шоу». Устроили Галичей в купе, помахали на прощанье: ни пуха!..

Шло время. В нашем доме навсегда поселилась гитара. Сначала дешевая, «по средствам», потом хорошая — мастера Циммермана. Ее ездили торговать и купили Саша и Толя. А вместе с гитарой пришли и остались по сей день в нашем доме песни. Пели друзья, пел хозяин дома, пели сыновья наши. На старых магнитофонных пленках, вернее, на картонных коробках рукой Толи написано: «Миша, Саша, Булат...»

Сейчас многие пытаются (будут пытаться и впредь) проследить развитие этого жанра — авторской песни. Кто от кого пошел? Кто раньше начал? Мне кажется, нет тут спора, хронологию не проследишь. Предтеча — жизнь. Она не скупилась на темы. А создатели песен — люди с обостренной совестью гражданской, бесстрашные воители, исповедовавшие кредо: «НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»

И все же свидетельствую: Толя спел Саше песню Анчарова, которая называлась длинно (почти у всех песен Анчарова длинные названия) — «Песня про пограничника, который в больнице им. Ганушкина не отдавал санитарам свою пограничную фуражку». Саша восхитился, попросил спеть еще раз. И много времени спустя у нас дома услышали мы его новую песню: «Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего старшего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах».

Телефонный звонок Галича: «Толенька, сделал песню благодаря тебе. Приезжай послушать». Приехали. Саша болен, в кровати полулежа спел: «Я принимаю участие в научном споре между доктором филологических наук профессором Вяликом и действительным членом Академии наук СССР Соболевым по вопросу о том, может ли машина мыслить». Каким образом связано это с Аграновским? А вот каким. Порядочное время тому назад Толя рассказал Саше, как отказался писать о «лженауке кибернетике» после того, как в Дубне профессор из Чехословакии сказал ему: «Молодой человек, машина может все, машина только не может быть сволочь!»

Вспоминая Сашу, думая о нем, не могу не сказать о его нежности, внимании, сострадании к друзьям. Уже сам он в опале, запретили «Матросскую тишину», сам нуждается в поддержке — и его звонок: «Ребятки, вы дома? Можно, мы приедем с Нюшей?» Приехали утешить в трудный час — рассыпали набор Толиной повести после письма в «Правде» троих конструкторов-лауреатов-депутатов, Героев Соц. Труда и проч. Мы с Нюшей сидим на кухне пригорюнившись. Мужчины тихо разговаривают в соседней комнате. Вскоре — гитарный перебор, поют вдвоем: «Все будет хорошо, зачем такие спешки... и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички пойдут по четвергам...» «Господи, какие дураки! Все им ничто!» — сокрушаемся мы с Нюшей.

Напечатаны очерки Аграновского «Суд да дело» о подсобных промыслах. Вызвали гнев Конотопа, тогдашнего секретаря обкома Московского. Посулил Конотоп: «Я этого журналистишку по стене размажу!» В газете «Ленинское знамя» разгромная статья, заказанная хозяином области. Телефонный звонок Саши: «Толечка, я опять залег, приехать не могу. Ты плюнь, не горюй. Конотопы приходят и уходят, а мы остаемся...» Эти звонки Сашины, его утешительные монологи записаны у мужа в записной книжке.

Еще звонок Саши. Просит помочь Гене Шпаликову. Приведу здесь выдержки из письма Шпаликова, чтобы было ясно, в чем нужна помощь:

«Дорогой Толя, здравствуйте! Не знаю, в Москве ли Вы, и вообще надо бы просто позвонить, но письмом это получится более внятно. У меня к Вам дело и просьба. Газетных связей у меня никаких, кроме Вас. Просто я Вас всегда читаю, слежу и проч. И Вы, наверно, помните меня. (Познакомились мы со Шпаликовым у Галичей.— Г. А.)

Толя, мне нужен Ваш совет. Я собираюсь писать (не знаю еще, что и как) о депутате, и лучше бы — Верховного Совета. Идея эта не такая бредовая, как может показаться, так как простор для различных соображений (не сволочного порядка) здесь несомненный. <...> Характер, нравящийся мне, да и Вам, наверно, я вполне могу вообразить, хотя и умозрительно.

Анатолий Аграновский, на мой взгляд, вполне мог и депутатом быть. Пишу это совершенно всерьез. Но так как я (по финансовым соображениям) вряд ли смогу вытянуть избирательную кампанию, придется это дело отложить. <...> Подскажите мне такого человека. Я очень верю Вашей оценке людей. Вашему выбору, вкусу. <...> Хорошо бы, конечно, чтобы человек этот был сравнительно молодым, и не сволочью, и не слепым. <...> Я живу

в Переделкине, в комнате № 13. Напишите мне. Передайте привет Вашей Гале, если она меня помнит.

*Гена Шпаликов*

*6 марта 1974 г.»<sup>1</sup>*

В архиве я нашла лист бумаги, на котором рукой мужа написано: «Для Геннадия Шпаликова». Далее на машинке отпечатаны три фамилии депутатов Верховного Совета и их характеристики. Оставалось совсем немного времени до известия о том, что в Переделкине покончил счеты с жизнью Геннадий Шпаликов.

И до отъезда Галичей оставалось совсем ничего. Были мы у них еще несколько раз. Саша болел, лежал много. Вставал по необходимости — выходил продавать книги. Сказал как-то: «Я теперь — книгоноша...» Категорически отказался принять нашу посильную денежную помощь. «Я еще и сам могу помочь», — сказал он в один из наших приходов, когда позвонили в дверь и Нюша, поговорив с кем-то негромко, вошла к нам и достала из письменного стола конверт, приготовленный, видимо, заранее. «Это для семьи Н. Сашенькины носильные вещи я уже отдала, а это денег немного... У вас нет ли с ребят одежды, из которой они выросли, там как раз двое парнишек?» Одежды с сыновей не было и быть не могло, они снашивали все до дыр. (Младший наш доносил не так давно за дядей Сашей пару ботинок. «Ботинки с барского плеча», — сказал Саша.)

Мы знали, для кого эта помощь, к нам обращались не раз. А сейчас денег с собой не было, заняли у Галичей... (Теперь узаконено милосердие, а тогда оно было чревато и подпольно.)

Наступил день, когда отъезд Галичей был предрешен окончательно. Муж уезжал в командировку вечером, днем поехали проститься. Дверь открыла немолодая незнакомая женщина. Похожая провела к Саше, сказала, что Ангелина Николаевна нездорова. Саша познакомил нас — Ольга Всеволодовна Ивинская<sup>2</sup>. Я прошла к Нюше. Она лежала бледная до синевы, настроена нервически, принималась плакать несколько раз. Сказала: «Мы едем умирать...» Я на нее прикрикнула: «Возьми себя в руки, не такая ты сейчас нужна Саше». Прижалась она ко

---

<sup>1</sup> Последний сценарий Г. Шпаликова — «Девочка Надя, чего тебе надо?». Героиня — Надежда Смолина, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, — сжигает себя на городской свалке.

<sup>2</sup> О. В. И в и н с к а я — близкий друг Б. Л. Пастернака, послужила протипом Лары в романе «Доктор Живаго».

мне со словами: «Молитесь с Толенькой за нас...» Мы молились, но это не помогло им.

Вернулась я к Саше. Толя настраивал гитару. По просьбе Саши спел («Для Ольги Всеволодовны, она ведь тебя ни разу не слышала...») пастернаковские романсы: «Стоят деревья у воды...», «Свеча горела...», «Засыплет снег дороги...», «Больничную». И тут слезы, и мы уже не выдержали... А приехали подбодрить!

Вышла Ольга Всеволодовна готовить кофе, и Саша, показав глазами на портрет Пастернака, сказал: «Думал ли я, что в черные мои дни он будет поддерживать меня и подкармливать... Он и она...»

Пробыли мы у Галичей до вечера. Ни слова не было сказано об их отъезде. Говорили обо всем, только не о главном. Пел Толя по просьбе Саши и Ньюши (она встала все-таки, сидела неприбранная, на себя непохожая, курила сигарету за сигаретой) весь свой репертуар. Начал было последнюю: «Все будет хорошо, зачем такие спешки...» Саша положил руку на гриф гитары: «Не надо...» Обнялись, попрощались. И последние слова Саши: «Поцелуйте мальчиков. Пусть будут счастливы. Скажите — дядя Саша велел».

Шли мы к метро молча, понуро. Я подумала, а оказалось, вслух произнесла, что не понравилась мне Ивинская. (Может, тому виной ее книга была, которую я прочла незадолго до знакомства с ней.) На что Толя резко сказал: «Женщина, которой посвящены такие стихи, не обсуждается!» И я прикусила язык...

\* \* \*

Вернусь к подписи на книге Галича. «Саша,— сказала я ему тогда,— после слов «учителю от ученика» добавь, что он на гитаре тебя учил играть. А то, если брать будут, как оправдаемся? Детей жалко!» Посмеялись мы не очень-то удачной этой шутке. А Галич, помолчав, сказал: «Если брать будут, ничто уже не поможет...»

*Сентябрь 1988*

## ПЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ГАЛИЧА

Последний раз, когда я видел Сашу Галича, он лежал на полу, большой, грузный, с раскинутыми руками, а над ним, то ли на полке, то ли на каком-то стенде, его убийца — сверхсовершенный радиоприемник, о котором Саша мечтал всю жизнь. Потом появились полицейские. Они с трудом подняли его и, перекинувшись несколькими фразами полусшепотом, унесли. Перед уходом сняли с его груди крестик и отдали мне. А через несколько дней мы его хоронили на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Незадолго до этого нашего печального расставания были мы вместе в дождливой осенней Венеции на знаменитом «биеннале»<sup>1</sup>, столь разгневавшем тогда Москву. Советский Союз демонстративно отказался участвовать в нем, поскольку советским людям дышать одним воздухом, пусть даже венецианским, с отщепенцами-клеветниками не пристало.

Саша выступал тогда и пел, но был какой-то грустный и усталый. Мне запомнился он после одного из своих выступлений. Мы попрощались (думал ли я, что в последний раз?), и он пошел вдоль тихого, туманного канала тяжелой походкой, опираясь на палку, ссутулившийся, совсем не такой, каким был только что на сцене. И я подумал тогда: «Да, время-то идет, идет, не молодеет...»

И вспомнился он мне в тот вечер (да и сейчас вспоминается) таким, каким мы привыкли его видеть в Москве, на дому у кого-нибудь из друзей, — несколько пополневшим, но, как всегда, кра-

<sup>1</sup> Речь идет о Венецианском биеннале, посвященном культуре диссидентов, который состоялся 15 ноября — 15 декабря 1977 года. Организаторы его выпустили книжку песен бардов, куда вошли стихи Александра Галича, немца Вольфа Бирмана и чеха Карела Крыла.



сивым, немножко даже слишком, в белом свитере под всегда модным пиджаком.

«Ну, с чего же начнем?»

И все умолкнут, задвигают стульями, поудобнее устроятся на диванах, креслах, разных там пуфчиках, а то и просто на полу.

Саша задумается, жене кинет: «Не перебивай только, пожалуйста, не подсказывай,— посмотрит куда-то в окно, вдаль, переберет струны...— Начнем, пожалуй...» И начнет.

Это были замечательные вечера. Все чувствовали себя причастными к чему-то серьезному, настоящему, и невольно начинало почему-то казаться, что при всем при том может и у нас существовать такой Саша Галич, Александр Аркадьевич, член Союза писателей, может и он выступать здесь, и не только здесь, среди друзей, но вот приглашали — и пел в Новосибирске, в Академгородке... Значит, все-таки что-то можно... И об этом «можно», или «не всегда и не везде...», или «зависит от...», или «не радуйтесь, не радуйтесь, еще не вечер...» говорили потом, разливая по рюмкам и стаканам вино, водку, коньяк, перебивая друг друга и все же радуясь или печальясь, каждый по-своему, что вечер еще не пришел...

Но вечер есть вечер, и он пришел.

И на первом после пришедшего все-таки «того» вечера — парижском вечере я тоже был. Народу собралось много, очень много, и в зале, и толпящегося в вестибюле, и я кого-то устраивал, пропускал, и сам оказался без билета, и пролез как-то зайцем («Забавно,— подумал,— на Сашу — и зайцем...»), и, устроившись потом где-то, не помню уже где, почувствовал, что волнуясь. А когда на эстраду поднялся очень немолодой человек и оказалось, что это сын Петра Аркадьевича Столыпина, того самого, убитого в моем Киеве в год моего рождения, мне совсем не по себе стало. Вот объявит он сейчас о выступлении известного поэта и барда А. А. Галича, а поймут ли его, советского поэта и барда? Поймут ли его люди — а их большинство в зале, — никогда в глаза не видевшие живого вертухая, а то и просто милиционера, не понимающие, что такое «порученец», и почему «коньячку принял полкило», и где это Абакан, куда плывут облака?

Кое-кто понял, кое-кто нет, но хлопали много, вызывали на «бис», и, как говорится, концерт прошел с успехом, но после него, когда мы обнимали и поздравляли Сашу, отделаться от какого-то странного чувства было трудно.

Я сказал «странное», но это не то слово, и касается оно не только Галича, а всех нас, пишущих здесь, на Западе.

Я живу здесь уже девятый год, многого до сих пор еще не понял, но одно понял со всей четкостью — аудитория наша осталась там, дома. Для нее мы и пишем. Может быть, в мое «мы» не входят все живущие и пишущие здесь, во Франции, в Америке, в Израиле русские писатели, но мое поколение это ощущает и понимает. А мы с Галичем одного поколения. И ему, Галичу, в этом отношении было еще сложнее. Ему нужен был не только читатель, но и слушатель, зритель. И как бы хорошо и проникновенно он ни пел, как бы хорошо ни переводили текст его песен, в зале перед ним — чужестранцы. Пусть в Иерусалиме их меньше, чем в Палермо или Венеции, но проблемы-то у них свои, и пьют там не ста граммами или полкило, а маленькими глотками свое кьянти или вермут, и облака у них плывут не в Абакан, а в какую-то неведомую нам, непонятную даль.

Галич писал не только стихи, но и прозу. Совсем недавно я перечитал с не меньшим увлечением и волнением, чем в первый раз, его «Генеральную репетицию» — рассказ о несостоявшейся премьере его пьесы «Матросская тишина», которой театр «Современник» должен был открыться. И бывает же такое в жизни — через двадцать с лишним лет после описанных событий мне посчастливилось говорить об этой действительно прошедшей когда-то генеральной репетиции с людьми, из которых один был тогда на сцене, а другой в зрительном зале. Я навсегда запомню этот вечер в одном из монпарнасских кафе.

Конечно же пьеса сейчас не так уж звучит — много и разной воды с тех пор утекло, но то, что тогда она была в самую точку, говорила о чем-то очень важном и существенном, была бы достойнейшим началом для молодого, ищущего и что-то утверждающего театра, нет никакого сомнения. Но этого не случилось. Пьесу запретили. Да, запретили, и зритель ее так и не увидел, а в историю русского театра она все-таки вошла, и прочно вошла. И в первую очередь самим фактом той «генеральной репетиции» и всеми ее участниками, от актеров до двух простуженных комитетских дам и многое решившего своей репликой Товстоногова. И последующим рассказом об этой последней репетиции Галича.

Обо всем этом мы и говорили в тот вечер в монпарнасском кафе. Когда-нибудь в другой раз я вернусь к этой теме, к страшной, железной логике происшедшего.

...Пять лет, как нет с нами Галича. И это очень чувствуется. Не хватает нам его песен, гитары, таланта, всего его облика, горько-печальной усмешки, его умения видеть, замечать, слы-

шать, подслушивать то, что мы не слышим, мимо чего проходим, пробегая вечно замотанные, куда-то спешащие, озабоченные, а то, чего греха таить, к чему-то и безразличные.

Иной раз, глядя на Сашу, такого красивого, элегантного, в красивом пиджаке, мы думали: хорошо ему, такому умному, талантливому, разъезжающему по всему миру со своей гитарой и песнями, будящему если не во всех, то в нас, во всяком случае, что-то хорошее, полузабытое, а то и полупроклятое... Хорошо ему... А вот не так уж и хорошо ему было, умному и талантливому, может быть, именно потому, что умному и талантливому не всегда и не везде хорошо.

*Париж*  
*1982*

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

*Все вышедшие на сегодняшний день сборники произведений А. Галича представляли в основном одну из граней его творчества — либо стихи, либо пьесы или сценарии. В данной книге А. Галич представлен во всей полноте своего таланта, что позволяет лучше его узнать, причем не только изнутри, благодаря автобиографической повести «Генеральная репетиция», но и со стороны, увидеть Галича глазами его друзей. В книгу включены основные поэтические произведения Галича, наиболее известные его пьесы, две из которых — «Август» и «Магросская тишина» — ранее не публиковались.*

*Стихотворения. При жизни у А. Галича выходило три относительно полных поэтических сборника: «Песни» (1969), «Поколение обреченных» (1972), «Когда я вернусь» (1977 и 1981). Все они выпущены издательством «Посев» (Франкфурт-на-Майне). Не все включенные в эти книги тексты были выверены самим автором, что привело к ряду существенных ошибок. В основу настоящего сборника легли самые популярные варианты стихотворных текстов, сверенные по сохранившимся черновикам и магнитофонным записям. В некоторых местах восстановлены авторские посвящения. Это делалось в тех случаях, если посвящения существенны для восприятия текста. (Иногда Галич не публиковал их, опасаясь за судьбу адресатов.) Так, «Баллада о сознательности» (стр. 38) посвящена известному нейрохирургу Э. Канделю, «Памяти Живаго» (стр. 76) — близкой знакомой Б. Пастернака и А. Галича О. Ивинской, «Псалом» (стр. 99) — поэту Б. Чичибабину. Впервые в на-*

стоящем сборнике публикуется по беловому автографу стихотворение «Понеслись кувырком, кувырком...» (стр. 96), посвященное ленинградскому литературоведу Е. Невзглядовой.

Пьесы. Пьеса «Август» была поставлена в 1957 году Ленинградским театром имени В. Ф. Комиссаржевской. Однако после нескольких представлений спектакль был исключен из репертуара и объявлен упадническим. В 1958 году пьеса репетировалась Юрием Любимовым в театре имени Евгения Вахтангова, но поставлена так и не была.

Наиболее известным драматическим произведением А. Галича стала пьеса «Матросская тишина», поставленная в Советском Союзе лишь в 1989 году. Впервые она была опубликована вместе с повестью «Генеральная репетиция» также в издательстве «Посев» в 1974 году. Композиция предыдущего издания существенно отличается от нынешней. Каждая глава повести чередовалась с одним из действий пьесы, создавая таким образом не только внешнюю, но и внутреннюю переключку двух произведений. Подобный способ публикации объясняется самим автором: «Я ведь хотел «Матросскую тишину» напечатать, а пьесы идут плохо. В таком оформленном виде пьеса пошла» (Е. Романов. Возвращение. «Посев», № 2, 1978).

Сюжет «Генеральной репетиции» построен на рассказе Галича о попытке поставить «Матросскую тишину» в Театре-студии МХАТа, будущем «Современнике». Необходимо отметить, что в тот же период работа над пьесой — также с участием автора — шла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (принята к постановке худсоветом театра 29 мая 1957 года). 17 декабря в Ленинграде состоялся прогон пьесы, а 9 января 1958 года она была запрещена к показу.

Проза. «Генеральная репетиция» была задумана и написана в Москве, в Доме отдыха Большого театра в Серебряном Бору. Здесь же создавался и одноименный цикл стихотворений.

*В зарубежный период жизни А. Галичем был задуман и начат целый ряд прозаических произведений, из которых опубликована лишь первая часть «авантюрной», по замыслу автора, повести «Блошинный рынок» (журнал «Время и мы», №№ 24—25, 1977—1978).*

*Воспоминания. Большая часть воспоминаний о А. Галиче относится к периоду его работы в Театральной студии А. Арбузова и В. Плучека, а также к периоду эмиграции. В качестве пояснения к публикуемым воспоминаниям необходимо добавить следующее. Ангелина Николаевна Прохорова (Галич)(1921—1986) являлась второй женой Александра Галича. Совместных детей у них не было. От первого брака с актрисой Валентиной Архангельской (познакомились они в период эвакуации в городе Чирчике) у Галича осталась дочь Алена Архангельская (Галич), ныне актриса. В некрологе на смерть Ангелины — Нюши. Владимир Максимов отмечал, что «подвигом ее жизни была сама жизнь с Александром Галичем и самоотреченная верность его памяти». Похоронена Ангелина Галич вместе с мужем на кладбище Сент-Женевьев де Буа.*

*Составитель выражает благодарность за помощь в работе над рукописью членам комиссии по творческому наследию А. Галича при секретариате правления СП СССР.*

*А. Ш а т а л о в*

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Алексей Зверев. «...это время в нас ввинчено штопором» . . . .</i>	<b>3</b>
---	----------

### СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

<b>Н о ч н о й д о з о р</b>	
Спрашивайте, мальчики! . . . . .	22
Ошибка . . . . .	23
Ночной дозор . . . . .	24
Старательский вальсок . . . . .	25
Леночка . . . . .	26
Песня про счастье . . . . .	29
Неоконченная песня . . . . .	30
За семью заборами . . . . .	31
Петербургский романс . . . . .	32
«Вот пришли и ко мне седины...» . . . . .	34
Облака . . . . .	36
<b>Б а л л а д ы</b>	
Баллада о сознательности . . . . .	38
Песня-баллада про генеральскую дочь . . . . .	40
Баллада о прибавочной стоимости . . . . .	43
Баллада о стариках и старухах, с которыми я вместе жил и лечился в санатории областного совета профсоюза в 110 км от Москвы . .	46
Баллада о том, как одна принцесса раз в два месяца приходила по- ужинать в ресторан «Динамо» . . . . .	47
<b>И з ц и к л а «К о л о м и й ц е в в п о л н ы й р о с т»</b>	

О том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам . . . . .	50
О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира . .	52
О том, как Клим Петрович добивался, чтоб его цеху присвоили звание «Цеха коммунистического труда», и, не добившись этого,— запил . . . . .	54
Возвращение на Итаку	
Памяти Б. Л. Пастернака . . . . .	57
Без названия . . . . .	59
Легенда о табаке . . . . .	60
Возвращение на Итаку . . . . .	63
На сопках Маньчжурии . . . . .	65
Поезд . . . . .	68
Снова август . . . . .	70
Слушая Баха . . . . .	72
Уходят друзья . . . . .	72
Мы не хуже Горация . . . . .	74
Русские плачи	
Памяти Живаго . . . . .	76
Марш мародеров . . . . .	78
Занялись пожары . . . . .	80
Русские плачи . . . . .	81
По образу и подобию . . . . .	84
Засыпая и просыпаясь . . . . .	86
Воспоминание об Одессе . . . . .	87
Разговор с музой . . . . .	90
Черновик эпитафии . . . . .	91
Когда я вернусь	
«Я в путь собирался всегда налегке...» . . . . .	93
Номера . . . . .	94
Песня исхода . . . . .	95
«Понеслись кувыркком, кувыркком...» . . . . .	96
Песня о ночном полете . . . . .	97
Псалом . . . . .	99
Опыт ностальгии . . . . .	100
Переселение душ . . . . .	102
Я выбираю свободу . . . . .	103
Закливание Добра и Зла . . . . .	105
Песня про велосипед . . . . .	106
Песня об Отчем Доме . . . . .	108
Прощание с гитарой . . . . .	110
«Когда-нибудь дошлый историк...» . . . . .	111
После вечеринки . . . . .	113
«Когда я вернусь...» . . . . .	113



<b>Поэмы</b>	
Кадиш . . . . .	115
Поэма о Сталине (Размышления о бегунах на длинные дистанции). . . . .	126
Вечерние прогулки . . . . .	136

### ПЬЕСЫ

Пути, которые мы выбираем (Первое дело) . . . . .	146
Август . . . . .	199
Матросская тишина . . . . .	260

### ПРОЗА

Генеральная репетиция . . . . .	325
Блошинный рынок . . . . .	405

### ПРИЛОЖЕНИЕ. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ГАЛИЧЕ

Юрий Нагибин. О Галиче — что помнится. . . . .	488
Галина Аграновская. «Все будет хорошо...» . . . . .	539
Виктор Некрасов. Пять лет без Галича . . . . .	549
От составителя . . . . .	553

*Составитель Александр Николаевич Шаталов*

*Александр Аркадьевич Галич*  
**ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ**

Редактор  
*В. Т. Башкирова*

Художественный редактор  
*М. К. Гуров*

Технические редакторы  
*Н. В. Сидорова,*  
*И. М. Минская*

Корректор  
*С. Б. Блауштейн*

ИБ № 8293

Сдан в набор 27.09.90. Подписано к печати 22.11.90.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Школьная  
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 29,40.  
Уч.-изд. л. 32,92. Тираж 100 000 экз. Заказ № 663.  
Цена 5 руб.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский  
писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.  
Тульская типография Государственного комитета  
СССР по печати. 300600, г. Тула, проспект Ленина,  
109.

**Галич А. А.**  
**Г 15**    **Генеральная репетиция.**— М.: Советский писатель,  
1991.— 560 с.

ISBN 5—265—02168—X

Книгу «Генеральная репетиция» составили лучшие стихотворения и поэмы Александра Галича (1918—1977), его пьесы «Пути, которые мы выбираем», «Август», «Матросская тишина», повести «Генеральная репетиция», «Блошиный рынок», а также воспоминания людей, близко знавших писателя.

4702010201—463  
Г ————— КБ. 17—31—90  
083(02)—91

ББК 84 Р7

С ти хо тво ре ни я и по эм ы

П ь е с ы



П р о з а

